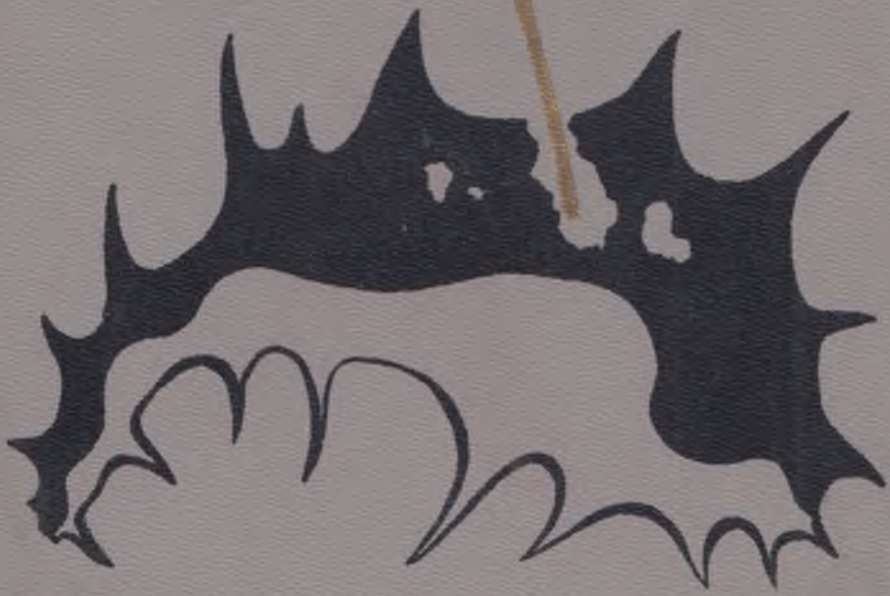
С
К-20

Йонас Авижюс

ДЯГИМАЙ



Книга должна быть возвращена не позже указанного здесь срока

Количество предыдущих выдан _____	
30/11-90 - 15	
13/IV-91 - 14	
9/XII-91 - 12	
30/VI-96 - 992	
4/V-01 - 42	
4/XI-01 - 1345	
15/VII-04 - 5	

Т-4. Зак. №2005

Йонас Авижюс

ДЯГИМАЙ

РОМАН

Авторизованный перевод с литовского Григория Кановича

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1987

ББК 84. Ли 7
А 20

Художник Владимир Сорокин

А $\frac{4702360200-295}{083(02)-87}$ 323—87

© *Состав и оформлени*
Издательство «Советский писатель», 198

Любимой жене Ирене
посвящаю

Часть первая

УНТЕ

I

— Сколько лет, сколько зим!

— Ну уж, ну уж, ни лет, ни зим, Гиринис. Мимо редко прохожу, когда бываю в деревне.

— Давненько не видались, Антанас, давненько, не оправдывайся.

— Из-за зимы задержка вышла. Снегу как в добрые старые времена навалило, без грейдера не выберешься. А тут еще хворь, будь она неладна, прицепилась. Семьдесят годочков — дело нешуточное, Йонас.

— Салюте, детка, помоги человеку раздеться,— бросает невестке Гиринис, радуясь от всей души гостю.— Сымай шубу, Григас,— и за стол: у меня кое-что в заначке есть.

— Сбегаю в чулан, нацежу,— говорит Салюте, обхаживая Григаса.

— Ладно, ладно, невестушка, сбегай. А ты, Антанас, садись, гостем будешь.— Йонас Гиринис хватает Григаса за руку, подталкивает к столу — садись, мол, на самое почетное место в доме.— Так ты говоришь, снегу навалило? Ну, ну... Хоть раз за десять лет зима как зима. А бывало, как развезет в октябре, так до середины зимы по уши и вязнешь. Ни стужи настоящей, ни снега. Спутники там всякие, корабли космические испортили нам климат.

— Ничего, все образуется,— не теряет надежды Антанас Григас.— Писали же в газетах, что и в старину бывали зимы без снега, а ведь тогда люди в космос не летали — в телегах тряслись...

— Писали, это верно... А как на самом деле было?

— Так оно и было. Ты что, ученым не веришь? — Антанас Григас усмехнулся в свои пышные усы и думает: принюхаться не успели, а уже друг друга по обыкновению

— Без ученых сейчас и шагу не шагнешь, Антанас. Как же им не верить? Только вот беда — наука их не всегда на пользу.

— Как так не всегда? Разве раньше люди так легко работали, сытно ели и красиво одевались? Да ни за что, Йонас, не сравнишь! А почему, спрашивается? А потому, что человеку машины служат. Как ни говори, а нынче без науки мир — ни туда ни сюда...

— Тебе, Антанас, только бы кусок послаще и одежда покрасивей. Как подумаешь, ты и Стропус — два сапога пара. Что из того, что машины твои человеку служат, ежели они ему, человеку твоему, яму роют? Фабрика на фабрике, да еще новые все строят и строят. На земле и на небе машин всяких видимо-невидимо, смотреть страшно. Уж теперь дышать нечем, а что будет дальше?

Йонас Гиринис замолкает, глушит свои опасения, поворачивается к окну, прячась от взгляда Григаса,— от него поддержки не жди. Отсюда как на ладони вся деревня видна: стайка берез качается на ветру у пруда; возле скособочившейся баньки двуствольный ясень с кустом ракиты соседствует, а дальше, насколько хватает глаз, простираются белые равнины, усыпанные серыми коробками изб. А ведь совсем недавно всю деревню опоясывали густо разросшиеся столетние тополя, к которым льнули сараи и риги. Шло время, селяне пустили на растопку хиреющие постройки, уцелели только глинобитные столбы и каменные основания. Но и их вместе со старыми тополями смели мелиораторы, отвоевав для колхоза большой лоскут урожайной земли.

— Никак ветер поднимается, темно-то как стало. К вечеру, глядишь, и завьюжит,— говорит Антанас Григас, тоже косясь в окно.— Зря Стропус эти деревья срубил... Они деревню от вьюг укрывали. И вообще глаз радовали. Наша Дягимай зеленела издали, как грядка с рутой.

Вошла Салюте с ведерком пива.

— Разве ему, Стропусу, дорога Дягимай? Он не тут родился, не тут рос. Приехал — уехал. Ему все одно, где землю гадить. Жмот!

— Ты о нем что угодно говори, а колхоз-то наш он поднял.— Антанас Григас прищуривается, смотрит, как Салюте наливает в кувшин желтое пенящееся пиво, источающее кисло-сладкий запах.— А ведь и здесь было такое же болото, как в нашей Лиепгиряй, пока Толейкис председателем не пришел. Как сейчас помню, вызвал меня в райком Юренас — а Вешвиле тогда только что объединилось с Епу-

шотасом — и без обиняков сказал: председателем пойдешь в Дягимай. У меня волосы дыбом. Ну, думаю, Григас, пропал ты, как пить дать пропал. С Толейкисом, думаю, как парторг, ты воз хорошо тянул, а вот теперь, когда один будешь, хвост, пожалуй, так к проруби примерзнет, что и не отдерешь. Пока не поздно, перекрестись и откажись! Шутки шутками, но я и впрямь чуть не перекрестился. Под носом у самого Юренаса.

— Юренас человеком был.

— Потому его и на повышение...

— Кто там разберет, за что повышают, за что понижают.— Гиринис дрожащей рукой наливает бокалы, торжественно поднимает свой.— Выпьем, Антанас, за наше стариковское здоровье.

— Так вот, перебрался я в эту вашу Дягимай...— снова погружается в воспоминания Григас, смахнув ладонью с усов белую пленку пены.— Ужас! Воровство, пьянство, лодырь на лодыре... В колхозной казне — шаром покати. Голова кругом идет. За что взяться, с чего начать? Прокорпел эдак год, другой, а все как было, так и есть, с места не сдвинулось. Может, только на трудодень чуток прибавили. Думал, думал и решил: начну-ка я с культуры. Привлеку людей поближе к книге, к театру, к самодеятельности. Так и только так долбану по пьянству. И начали мы, значит, Дом культуры строить. А через год, пока я, значит, уговаривал своего сына Тадаса перебраться в Дягимай, к нам агронома нового назначили — Стропуса Андрюса.

— Давай еще по глоточку, Антанас.

— Да у меня уже и щеки горят.

— Для того оно и сделано.

— С первого дня смекнул: трудно мне с новым агрономом будет. Оба мы вроде бы к одному шли, только дороги у нас разные были. Что ни придумаю, он сразу: не годится, ерунда! Как говорится, сразу видно — в председатели метит. А мне что — пусть себе метит! Мужик способный, энергии не занимать, работа у него спорится, а я, честно признаться, не оправдал доверия секретаря райкома. Черкнул я заявление и — в отставку. А Стропус, к счастью всего колхоза,— в мое кресло.

— Не вижу в этом большого счастья,— говорит Йонас Гиринис и вертит початый бокал; нервно вздрагивают небольшие, ладно закрученные усы.— Колхоз он, правда, вывел на первое место в районе. Все мы, слава богу, сыты, одеты, в сберкассах денег — куры не клюют. Воры перевелись, лодыри: какой же прок красть и лодырничать? Ты

спросишь, с пьянством как? С пьянством, которое ты хотел Домом культуры одолеть? Думаешь, сегодня люди меньше заливают, глотки у них сузились? Нет, Антанас, когда ты председательствовал, ты мне душевно ближе был, чем этот хваленый Стропус. Эх, давай лучше еще по глоточку. Не мы с тобой председателей назначаем, не мы с тобой их взашей гоним.

Антанас Григас подносит к губам бокал и ставит на стол, не отпив даже половины.

— Крепкое! Мастак ты, Йонас, умеешь варить.

— Чистое, ячменное. Солода вдвое больше уходит, но сахара ни крупинки не кладу. Так что не бойся, не отравишься, мое пиво — не яд какой, а само здоровье и веселье. Мне и самому приятно после сытной еды отведать и гостя любезного попотчевать,— простодушно хвастается Гиринис, не скрывая своей гордости.

Григас, согретый легким хмелем, одобрительно кивает. Как хорошо, как приятно под этой кровлей! Кажется, здесь ты родился и вырос, здесь, в этой старой избе, где каждый почернелый сруб дышит воспоминаниями о твоем безвозвратном детстве. Только зажмурься и услышишь, как за печкой сверчок стрекочет, а в распахнутые двери кухни с фонарем в руке входит мать в длинной домотканой сорочке. Зажмурься и обдаст тебя вдруг запахом вареной капусты, картофельного пойла для свиней, а из сеней вместе с клубами пара ввалится отец с ведрами ледяной воды...

— Тепло у тебя, Йонас,— говорит Григас и пытается скрыть свое смятение.

— Старые мастера знали толк. Помню, я еще ребенком был, когда эту избу ставили, а вот надо же, стоит по сей день, и попробуй хоть щелочку в стенах найди. Стоит как новая — и еще сто лет простоит.

— Сруб что надо, и мха не пожалели. В Лиепгиряй и у меня изба была. Ее еще отец мой срубил. Только разве с твоей сравнишь! Твоя, что хоромы с крыльцом, о двух концах, а моя — карман, продуваемый ветрами. Когда назначили меня в Дягимай, думал: и ее перевезу. Но пока снимал с основы, половина рассыпалась. Хорошо тебе — сидишь на одном месте и не двигаешься.

— А я и в случае надобности не сдвинусь. Как же так — дом свой оставить, вотчину, где ты с каждой пядью земли сросся? Да ни за какие коврижки! Пусть в гробу увозят.

Антанас Григас щупает плешь: это значит, что не согласен он со словами Гириниса. Но вслух ничего не говорит,

старается отвлечь хозяина. Так или иначе, он, Йонас Гиринис, может считать себя счастливым. Уж только потому, что таких детей вырастил. Не каждый отец может с гордостью сказать: «Доброе имя моего рода, его честь в надежных руках». А он, Йонас Гиринис, может. Правда, Юстина еще девка, видно, опоздала она с замужеством, как-никак ей все-таки за сорок, но зато какая работница! И дома, и на ферме. Даже орден дали. Ей и Герой Труда светит, она доярка не хуже Руты Бутгинене. А другая дочь — Бируте Стиртене? Ее и люди, и власти уважают. Кабы не дети, а их у нее, слава богу, целая куча, никакая свинарка ее не обогнала бы. А сыновья? Выросли три сына, три исполина, прославили род Гириниса не только на родине, в Дягимай, но и в городах: в Вильнюсе, Епушотасе... Механизатор, ученый, секретарь райкома... Право слово, Гиринис, другой на твоем месте от радости прыгал бы, а ты пожимаешь плечами, качаешь головой, вечно чем-то недоволен.

— Да нынче ученых и секретарей райкомов хоть пруд пруди. А они, по-твоему, кто? Дети таких же родителей, как я,— подытоживает вслух Гиринис.— Вырастить хороших детей — долг хорошего отца. А долг остается долгом, и нечего, исполнив его, прыгать до потолка от радости. Ведь и твой сын достоин тебя.

— Как же, как же. Мой агроном, я, как говорится, горжусь! — оживляется Григас и от волнения подносит к губам бокал пива.

— И я своих детей не стыжусь. Только порой диву даюсь, это правда. Взять Повиласа, самого старшего. Ученый, о звездах пишет. И о нем пишут. В газетах, может, видал его фотографию? Просто не верится, что это мой сын. Уж слишком он умный, уж слишком для нас, для Гиринисов, знаменит... И скажи, откуда он такой? Ведь и я, и моя жена, царство ей небесное, его мать, простые люди, ничего в науках не кумекали. Или другой сын, Даниелюс? На весь район главный, сколько у него людей в подчинении, не счесть. К тому же всяких специальностей, кто ученый, кто неученый. Просто уму непостижимо, как только справляется! Ведь он и в Москву ездит, с высшими властями там на сессиях заседает, государственные дела решает. Хоть убей, не пойму, как же они, дети наши, своих отцов обогнали. Унте, тот от меня недалеко ушел, как говорится, яблоко от яблони... Только ума у меня, почитай, больше, чем у него, было. Я знал, когда грустить, когда радоваться, не стоял как баран перед новыми воротами, мол, мочи нет, отпирайте. Семь раз отмеривал, а уж только потом отрезал.

А Унте — истый вертопрах! Порой до того распустится — хоть на лавку укладывай и секи. Но ведь это мое дитя, не чужое. В малолетстве ему не раз от меня за проделки влетало. Березовой каши отведали и ученый, и секретарь райкома, но Унте доставалось чаще, хотя душа у меня за него и больше болела. И нынче, когда с ним что-нибудь случается, больше, чем других, его жалею. И с Бируте я тоже не такой строгий — не повезло ей: вышла за этого пьяницу Стирту, пошли дети... Не жалуется, но по всему видно — не сладко ей. А Юстина не пропадет — умеет жить, в жилах у нее кровь моей жены, царство ей небесное. И у Даниелюса, и у Повиласа той кровушки хватает. Смело прут, но и под ноги глядят — как бы не оступиться... Говорят, для родителей все дети равны. Может, оно и так, но я душой прикипаю к тому, кто, как говорится, чаще других в соплях ходит. Ну и к тому, конечно, кто в душу меньше наплевал. Я говорю не о каких-нибудь пустяках, я — о серьезной обиде. Не спорю, можно и должно ребенка простить, на то ты и отец, но обидчика — никогда!

— Наши дети не причинили нам такой обиды,— вмешивается Антанас Григас, гордый собой и Гиринисом, щеки которого слегка порозовели от пива, а язык развязался.

— Причинили, Антанас, ей-богу, причинили,— возражает хозяин, косясь потемневшим зрачком на половицы.— Твой Тадас, может, и не причинил, а мой Даниелюс...

— Даниелюс?! — Григас откидывается на спинку стула, словно кто-то невидимый потянул его за воротник. Зашатался стол, зазвенели, стукаясь друг о друга, бокалы.

— Кто прошлое помянет — тому глаз вон. Но все равно застряло в сердце, как заноза, и ноет...— Йонас Гиринис с минуту сидит в задумчивости, покусывая ус, словно жалеет о своей откровенности. Не раз откровенность выходила ему боком.— Эх, да стоит ли сейчас старье ворошить? Может, в другой раз. Своему родному брату Теофилюсу и тому, хоть и полагалось, ничего не говорил. А ведь его самого Даниелюс...— Старик раздраженно машет рукой, шарит в карманах, находит сигарету, делит ее бритвочкой на три равные части, вставляет одну часть в длинный, сделанный из крушины мундштук.— Не могу от дымка отказаться. Шутка ли, такого курильщика, как я, во всей округе не было. Лучше всего, конечно, бросить. Да много ли от того в конце жизни выгадаешь? Вот и обманываю себя.

— Одно время и я к этой дряни пристрастился, но вовремя опомнился, вот уже, почитай, сколько годков — ни одной затяжки.

Йонас Гиринис хвалит твердость Григаса и предлагает выпить за нее еще пивка.

Оба выпивают. Хоть Антанас Григас человек нелюбопытный, намек Йонаса Гириниса на Даниелюса не выходит у него из головы.

— Зря он тогда со своей женитьбой поспешил,— осторожно начинает гость, желая вылущить неподатливый орешек.

— Кто? — озадаченно спрашивает Гиринис.

— Даниелюс, кто же еще. Да ты же сам мне рассказывал, как он в Москву ездил, на курсы, а оттуда с женой вернулся с ребеночком на руках.

— Не выдумывай, никакого ребеночка не было. Говорила только, будто ждет. Но и не ждала вовсе: соврала, хотела моего растяпу скорее заарканить,— возмущается Гиринис, словно заново переживая козни своей бывшей невестки.— Первый ребенок года через три-четыре родился. Не родись он, глядишь, они бы раньше развелись. Но женщина — хитрое создание.

— Я знал ее. Познакомился, когда на лето приезжала. Вроде бы ничего себе.

— Да и я о ней дурного слова не скажу. Думаешь, большое счастье мужчине на шею вешаться, а прожив вместе столько лет, в одно прекрасное утро разойтись? Невелика радость, Антанас. Жалко их обоих: и ее, Ефимью, и Даниелюса. Но уж, видать, так бог судил.

— Ничего, старые раны заживают, Йонас. Вот только развод — дело горькое и противное. Но я всегда и всем говорил и буду говорить до гроба: чем жить друг с другом в ненависти, в сто раз лучше разойтись.

— И без твоего совета каждый второй так и поступает.

— Что поделаешь, если человек не сразу свое счастье находит,— обрывает его Григас и снова пытается построить разговор так, чтобы Гиринис открыл ему свою тайну.

— Счастье?.. Эх, Григас, коли уж с одной серьезно жизнь начал, то и держись за нее, не поглядывай по сторонам,— не сдается Гиринис, не обращая внимания на хитрости гостя.— Жену выбрать — не кобылу купить. Здесь, брат, со всех сторон осмотрись, чтобы потом людей не смешить и самому не плакать.

— Твоего Даниелюса люди уважают...

— И я его не хулю.

— Хулить-то не хулишь, но и строг уж слишком.

Йонас Гиринис нетерпеливо машет рукой, словно призывает Григаса к порядку: заткнись, мол, друг любезный, отцу лучше знать, чего стоит его чадо, и вдруг вспоминает, что в прошлом году в Дягимай умерли четверо их знакомых. Антанас Григас просто ошеломлен таким поворотом разговора и в свою очередь перечисляет столько же свадеб, причем две совпали с крестинами. Кроме того, у тех родились сыновья, а этим бог послал дочерей, так что урон, причиненный смертью, с лихвой покрыт. Возможно, и покрыт, соглашается Гиринис, ежели не считать тех, кого прошлой осенью призвали в армию (половина из них в деревню не вернется), и тех, кого забирают по весне! А эти, что к детям в город перебираются?.. Остаются пустые усадьбы — каждая как холодная яма на месте вырванного с корнем зеленого дерева. А теперь, когда под боком, в Гедвайняй, фабрику соорудят, то и сюда город придет. Нет, нет, Григас, на селе только машин становится больше, а не людей.

— Ну какой, скажи, в стариках прок,— сетует Антанас Григас.— Ежели кому наше кладбище не по душе, пусть едет и умирает на городских камнях. Только тех жалко, в ком силушка играет, а они-то на фабричные трубы и заглядываются.

— Умному заглядываться нечего, Антанас. Ты небось Юозаса Гайлюса из Дягимай знаешь?

— Знаю.

— Так вот, старшая дочь с зятем уже пятый год их к себе заманивают: продайте, батя, усадьбу и перебирайтесь с мамой к нам в город. Но Гайлюс — ни за какие коврижки. И правильно делает. В деревне он сам себе хозяин, а в городе кто — захребетник-горемыка.

— Конечно, Йонас, конечно. Последнему дураку ясно: лучше принимать детей у себя, потчевать их, как гостей, чем жить у них нахлебниками. А уж о Гайлюсе и говорить нечего — хитер, как бес.

— Да, Гайлюс стреляный воробей, на мякине его не проведешь,— соглашается Йонас Гиринис.— Все у него под каблуком. Держит их в ежовых рукавицах, как крепостных. Он на все готов, только бы урвать побольше. Ему уж давно шесть десятков стукнуло, а он хватает, грабастает где может, смотреть противно, в могилу, что ли, унесет?

— Ну что такому в городе делать? — поддакивает Григас.— Здесь он начальник. Над женой, над детьми. Ко-

мандует, указывает, мошну набивает. А там дочь командовать будет. Люди говорят: вся в отца...

— Ясное дело, будет,— не сомневается Йонас Гиринис.— До замужества вдоволь от него натерпелась. Что правда, то правда: в ученье отдал, но когда приезжала на каникулы, роздыху ей не давал — с утра до вечера то на помидоры, то на огурцы гонял...

— Когда-нибудь дети отплатят ему.

— Кто знает, а может, будут такими же сквалыгами, как и он.

— Может, и будут, но только добра от них не жди. Младшенький уже теперь над ним исподтишка посмеивается. А Альбертас не раз говаривал: плюну я на эти папашины плантации и подамся в город. И подался бы, кабы на папашины тысчонки не зарился: уедет из дому и не видать ему денежек как своих ушей. Вот он и честит старика, и терпит.

— Не приведи господь дожить до того дня, когда родные дети врагами становятся,— ужасается Гиринис.— Отец Юозаса вроде бы таким шкуродером не был. Неужто Сибирь так людей портит?

— Сибирь здесь ни при чем. Каким мироедом был, таким и остался. Если ты с малолетства не испорчен, то сам черт тебя в свои силки не заманит.

Йонас Гиринис согласно кивает головой, наливает бокалы: что же, еще по глоточку, чтоб на сердце потеплело и в глазах посветлело...

II

Ишь ты, разошлись стариканы, усмехается Унте, лежа в светелке, отделенной от кухни неплотной дощатой стеной; через нее, как через сито, из избы звуки сыплются. А как манит звон бокалов за столом... Кажись, ничего острого за завтраком не ел, жажда вроде не мучит, но только подумает о пиве, слюна так и брызжет. Ох, если бы ему чарочку поднесли!.. Но за первой чарочкой вторая последует, потом третья и четвертая, а потом вся бутылка, а уж коли бутылку опорожнишь, то не остановишься, пока не обалдеешь. Проклятье! Не знает меры — и все тут. Вчера, правда, взял себя в руки, как и подобает мужчине. Да! Главное — не зацепиться. Первая капля словно искра в бочке бензина. Вспыхнула — и взрыв. Вчера искру не высек, хоть и был повод, потому и голова не трещит и со-

весть чиста. И от стыда не надо краснеть, чувствуешь себя невинным, как новорожденный ребенок. Да, да! Коли не умеешь веселиться по-людски, пей воду вместе с лошадьми.

Унте переворачивается на спину, и широкая улыбка скользит по худому и бледному лицу, оттеняя крупный нос с горбинкой и мохнатые черные брови, слегка изогнутую линию тонких губ и тяжелый, крупный подбородок. Эх, пусть они, старички, веселятся, ему, Унте, хорошо и одному. Хорошо без полупьяных разговорчиков, без дурмана... А потом, разве он один? Эта комнатка — целый мир, куда он вступил вместе с детством и где по сей день частенько чувствует себя ребенком. Когда-то здесь и его старшие братья жили: Даниелюс и Повилас. Но они один за другим уехали в город учиться. И только в каникулы в светелке звенели их голоса. Ни Даниелюсу, ни Повиласу теперь эта комнатка не нужна, в ней хозяйничает Унте, которому и в голову не приходит, что кто-то другой, кроме него, может занять этот угол. Зимой здесь бывало холодно, потому что сквозь дощатую загородку из кухни едва проникало скупое тепло. Ах, как любил он, бывало, понежиться под теплой горой одеял и подушек, потом наконец вскакивал с кровати и сломя голову бросался в избу, схватив в охапку свою одежку! Бывало, спрячет под одеялом влажный, закоченевший нос и слушает, как из кухни доносятся шум и шорохи утренней стряпни, как к ним примешивается говор домочадцев, слушает и смотрит, как занимается день, как заливает он своим веселым светом комнатку, некрашеный потолок, испещренный живым рисунком древесины.

И чего только не отыскивало буйное воображение Унте в затейливом переплетении годовых колец, в росписи несметного множества веток! Он таращил свои голубые глазки, и перед ним мелькали причудливые видения, всякий раз другие. Всякий раз он слышал новую, дотоле не слыханную сказку о девятиглавых драконах и других чудищах. Непроходимые, дремучие леса кишмя кишели хищниками, птицами, страшилищами; сверкали необъятные озера, в которые с чудовищным грохотом впадали огромные реки, не обозначенные ни на одной карте мира. В свете керосиновой лампы этот дивный мир казался еще загадочнее и страшнее. Унте дрожал от страха и, чтобы умерить его, скликал на помощь героев прочитанных книг, своих знакомых и близких, которых храбро защищал от опасностей в этих непроходимых, дремучих лесах или отдавал на растерзание како-

му-нибудь хищному зверю. А потом спокойно засыпал, уверенный в том, что все эти чудища ему послушны.

Только много лет спустя все эти сказки и видения обернулись простым, почерневшим от времени деревом. Но и нынче оно, согретое воспоминаниями детства, нет-нет да и оживает. И сейчас вот эта большая ветка над головой, на самом конце доски, во что только не превращается: и в царевича-дурачка, и в грозного льва, и в парящего над вершинами орла, и еще бог весть во что...

Брат Даниелюс?! Его рабочий кабинет в райкоме... Письменный стол, стул, два кресла возле маленького столика у самых дверей... Слишком просторно и аккуратно, но не очень уютно. «Занесла же меня сюда нелегкая, мог ведь дождаться, когда братец с Юргитой в деревню пожалует...»

Но с Унте часто так бывает: знает, что потом пожалеет, а все равно по-своему делает, словно бес его толкает.

Даниелюс расхаживает по кабинету, засунув руки в карманы брюк. Не очень-то он похож на Унте: высокий лоб, серые спокойные глаза, прямой крупный нос, массивный подбородок, розовые мочки ушей, торчащие из-под седых волос, прикрывающих сильную шею и придающих его лицу выражение осознанного достоинства. Роста Даниелюс среднего, но ниже обоих братьев, хотя Унте всегда казалось, что Даниелюс — высокий мужчина.

Господи, до чего же неприятно ерзать в кресле возле вычурного столика, пока хозяин расхаживает из угла в угол... Унте встает, но властный жест брата усаживает его на прежнее место.

Так было и прошлой осенью, в конце страды, когда Унте привез проект Дома культуры: Даниелюс так же расхаживал по кабинету, уча младшего брата уму-разуму, а младший брат так же сидел в мягком, обитом искусственной кожей кресле. Нет, он не отрицает, у архитектора Петренаса богатое воображение. Проект хорош, по нему и впрямь можно отгрохать великолепное здание, оригинальное, вписывающееся в окружающую среду. Важно и то, что в нем использованы традиции народной архитектуры. Хотя если копнуть поглубже... Нет, нет, не все то золото, что блестит. Взять, скажем, библиотеку-читальню. Какой простор, какая роскошь, да и интерьер замысловат. То же самое можно сказать и о фронтоне: стародеревенские окна, всякие там барельефы, резьба, башенки... Короче говоря, два с половиной этажа какого-то винегрета. Кирпич вперемешку с камнем, дерево — с железом, стекло, пластмасса... Есть о чем

подумать, есть. А вообще проект стоящий, и он, Даниелюс, за то, чтобы правление колхоза серьезно его обсудило.

Унте терпеливо объяснил Даниелюсу: перед тобой копия, а оригинал вот уже третий месяц Андрюс Стропус мусолит.

Даниелюс успокоил брата, пообещал поговорить со Стропусом.

И впрямь поговорил: созвали правление колхоза, обсудили проект и решили представить его на рассмотрение специалистам.

— Вот, видишь,— сказал Даниелюс,— дело сдвинулось с мертвой точки. Если проект не завалят — а я в этом нисколько не сомневаюсь,— через год-полтора с божьей помощью и начнете.

— Навряд ли...— замотал головой Унте.— Пустили на правлении пыль в глаза, а проект снова под сукно... Не по душе Дом культуры Стропусу.

Даниелюс не согласился с братом, отмахнулся от него. Нетерпимость Унте его раздражала, лезет не в свое дело. «Человеку четвертый десяток пошел, а он все еще, как ребенок, воздушные замки строит» — можно было прочесть в добродушном взгляде Даниелюса. Вообще же донкихотство и беспокойный нрав брата ему нравились.

— Слушаю тебя, Унте, и вспоминаю рассказы старожилов о нашем деде Доминикасе,— сказал Даниелюс, примостившись на подлокотнике кресла.— Добрейшей души человек, трудяга, но горячая голова, его все чудаком считали. Дед Доминикас сани мастерил, возки, ульи, коньками кровли украшал. Бывало, вырежет из дерева какого-нибудь святого, люди просто диву даются: деревянный, а как живой. В Епушотасском костеле по сей день его распятие висит. А в нашей усадьбе, при дороге, дубовый крест стоит с изображениями спасителя, вырезанными по какому-то торжественному случаю. Золотые у него были руки. Но и нрава он был беспокойного. Отец о нем не все рассказывал — стеснялся, разве расскажешь внукам о всех проделках деда. Но от людей правду не скроешь. Весной, говорят, в самую страду, уходил на целый месяц из дому, взвалив все работы на плечи жены. Никто и знать не знал и ведать не ведал, где его черти носят и что он там делает. А уж возвращался вконец измочаленный, на человека непохожий — только глаза горят да борода чернеет. Слухи потом всякие доходили, от них у домочадцев уши вяли. Притворился якобы дед погорельцем и давай гулять, кутить со всякими проходимцами, и без женщин, ясное дело, не

обходилось... Что и говорить, наслушалась о нем наша бедная бабка уйму всякого, но любила она своего сорвиголову так крепко, что стоило ему порог переступить, как она от радости слезами обливалась. И как тут не заплачешь, если дед Доминикас от калитки до крыльца на коленях к бабке ползет, руки-ноги ей целует, себя последними словами поносит. А потом, бывало, отправится в баню и назавтра, чистенький, разнаряженный, появляется в исповедальне Епушотасского костела. Через весь храм от входа до божьего престола — тоже на коленях, и слезы, настоящие слезы катятся у него по щекам, даже самые заядлые богомольцы диву даются. Ты, Унте, чем-то чертовски похож на нашего деда.

— Чем же? Может, скажешь, божков вырезаю и в костел хожу? — удивился разочарованный Унте.— За юбками вроде бы не бегаю, бабником не слыву. А ежели порой черт бутылку в руки сунет, так разве я один такой?

— Да я совсем не о том. Я про твой характер. Уж слишком он у тебя заковыристый, необузданный. Все в тебе, как в котле, кипит, а разум не всегда за чувством поспевает.

— А я и не выхваляюсь разумом,— ответил уязвленный Унте.— Будь у меня побольше мозгов, глядишь, как ты, какой-нибудь вуз закончил бы. А тут даже сельхозтехникума не одолел.

— Одолел бы, но воли у тебя маловато. И собственного достоинства, и крепости душевной. Протирал в сельхозтехникуме полтора года штаны, а потом стрекача дал, а ведь это государству в копеечку влетело. Серьезные, исполнительные люди что делают — институты кончают, в аспирантуру идут, диссертации пишут и не считают себя умнее всех на свете. А ты только подтруниваешь над такими. Слишком ты о себе хорошего мнения, и чванства у тебя хоть отбавляй.

Пока Даниелюс говорил, Унте вертелся в кресле, обхватив руками тяжелую, заросшую черными густыми космами голову, а на продолговатом, тщательно выбритом лице застыло какое-то нелепое, ни о чем не говорящее выражение. Только в голубых глазах сквозила насмешливая улыбка, словно они принадлежали не Унте, а совсем другому человеку. «Жгутас-Жентулис даже по сравнению со мной был безграмотным, а вы ему памятник... Случись со мной то, что с ним стряслось, разве я не защищался бы из последних сил? Неужто достойной смертью можно подлость искупить?»

— Не хочется мне тебя обижать, брат,— ласково, как бы сожалея о сказанном, продолжал Даниелюс.— Знаю, ты любишь на досуге книжки читать, стараешься подтянуться. Это похвально. Никто не должен ограничивать себя интересами своей семьи и своей специальности. Полноценный человек — это и активный общественник, и отличный работник. Но есть проблемы, которые не каждому по плечу. Я хочу сказать,— уточнил свою мысль Даниелюс, поймав вопросительный взгляд Унте,— что дело, которое привело тебя сюда, не такое уж простое, как это тебе кажется.

— Таким оно кажется каждому в Дягимай. И не только в Дягимай. Кто знавал Жгутаса-Жентулиса или слышал о нем, все диву даются — кому, мол, памятник надумали...

— Ого, все, видите ли!

— Да, все. Если на такой памятник деньги собирали бы, то никто, уверяю тебя, никто и копейки бы из кармана не выгреб.

— Ладно, проверю.

— Ничего у тебя не выйдет. Кто отважится поднять голос против того, кто уже объявлен святым?

— Жгутас-Жентулис — не святой, он такой же смертный, как и мы с тобой. Были у него свои изъяны и слабости... А если он порой и зарывался, так кто же, скажи, не грешен? Иные канули в Лету, не сделав ничего доброго, не отплатив за обиды, а Жгутас-Жентулис сложил голову за светлое будущее, за нас. Не спорю, есть в его жизни и темные пятна, но есть, как говорится, и белая сторона. Почему же мы должны учитывать только пятна?

— Человек должен быть чист со всех сторон, Даниелюс! — воскликнул Унте, все более распаляясь.— Кто был всю жизнь мелюзгой, того никакая смерть не возвеличит. Никакой подвиг! Прожить всю жизнь по-людски куда трудней, чем денек блеснуть.

— Возможно. Эти слова и тебе подходят, Унте,— отрезал Даниелюс и встал.

— Меня никто не возносит, брат,— обиженный Унте снова заерзал в кресле.— И вообще нашел что сравнивать. Я грабил, что ли, избивал, убивал невинных?

— А не слишком ли сурово судишь, мой милый? В народе давно и справедливо говорят: тот, кто сам в тени, норовит бросить тень на другого. Что ты знаешь о Жгутасе-Жентулисе, если тогда еще под стол пешком ходил?

— Мне было десять. Нет, вру, двенадцатый шел. Я очень хорошо помню. Случилось это ночью, незадолго

перед тем, как семью дяди Теофилюса вывезли. Да ты и сам все прекрасно знаешь, хотя тогда и учился в Вильнюсе.

— Знаю,— упавшим голосом произнес Даниелюс и снова зашагал по кабинету.— Выкладывай, что на душе наболело, авось полегчает.

— Ту ночь я никогда не забуду,— выдохнул Унте, не уловив в словах Даниелюса насмешки.— Ввалился Жгутас-Жентулис со своими дружками и давай все переворачивать вверх дном. «Где бандиты?» Обыскал все кровати, сундук с маминым приданым, содрал со стен картинки со святыми. Когда кончился обыск, в избе все было разворошено, сдвинуто, раскидано, не поймешь, где окна, где двери. А тут еще отец возьми да ляпни: обыщите, мол, мой бумажник, может, какой-нибудь бандит туда залез. Жгутас-Жентулис долбанул его прикладом по голове. Потом гнев героя обрушился и на нас, на «кулацких выкормышей», как нас тогда величали. Вызывали по-одному в светелку, допрашивали, допытывались, как часто к нам бандиты заходят, кого из них знаем. Сестра Юстина после такого допроса вернулась сама не своя, жалуется, захлебываясь от слез, кто-то из людей Жгутаса-Жентулиса поволок ее в чулан, но Жентулис заступился за нее. Да, твоя правда — он не был законченным негодяем. Однако как бесчеловечно пытался вырвать он из нас признания в том, в чем подозревал без малейшего основания. Вот он какой, братец, этот человек, которого ты возносишь.

Даниелюс в растерянности переминался с ноги на ногу, хрустел, заложив руки за спину, пальцами и наконец произнес:

— Тебе трудно понять, какое тогда было время. Не человек против человека шел, а класс против класса. И ради более важных ценностей, чем исчезнувшая во время обыска вещичка.

— Или невинный человек, убитый наповал...

— Да. Когда полыхает огонь классовой борьбы, люди частенько оказываются не на той стороне баррикад, на которой им надлежит быть, и повинна в этом только логика событий.

— Не понимаю,— пробормотал Унте.— Уж очень все мудрено.

— Ты должен понять: власть в свои руки взяли люди, которых долгие годы угнетали богатеи. Из поколения в поколение передавали они свою обиду, обида рождала в сердцах [illegible] ненависть, жажду мести. Ты требуешь, чтоб[illegible]чно, а подумал ли ты, что

детство у большинства из них прошло под батрацкой крышей, где вместо ласкового материнского слова свистел хлыст работодателя? Тот же Жгутас-Жентулис ведь и двух классов не кончил, с шести лет пас у кулаков скот. А сколько к народным защитникам примазалось таких, кого в их ряды привело не классовое сознание, а грязный расчет. Когда река по весне выходит из берегов, в ее поток попадает и немало дряни. Почему ты видишь только дрянь? А ты постарайся подняться выше личной обиды. Не как человек, а как гражданин. Над своим отчим гнездом, над своими личными интересами, чтобы взглянуть на все с высоты птичьего полета — широко, по-государственному.

— Чтобы с твоей птичьей высоты не было видно Жгутаса-Жентулиса? Так, может, лучше зажмуриться! Зажмуришься — и никаких крыльев не надо,— усмехнулся Унте. Унте хотел встать, но поскользнулся, снова рухнул в кресло и, когда падал, заметил, что Даниелюс добродушно смеется над его неуклюжестью. Это еще больше разозлило Унте.— Зря тебе, братец, голову морочу, дурачка из себя строю,— возвысил он голос, поднялся наконец из мягкого кресла.— Что до хуторских деревьев, ты помог нам, это правда. Не все Стропус вырубил. Парочку дубков в поле оставил и стайку берез над Скардуписом пожалел, чему мы душевно рады. Надеемся, и со строительством Дома культуры поможешь. Хоть столько пользы с помощью райкома и господа бога... А вот памятник недостойному человеку поставите. И фабрику небось тоже построите. Все наши подписи, все мольбы, все твои обещания — все псу под хвост. Немногое ты можешь, Даниелюс.

— Я сдержал свое слово: сделал все от меня зависящее, чтобы фабрику построили в другом месте.

— Вот я и говорю: немногое, брат, можешь.

— Я не привык взваливать ношу на чужие плечи. Так поступают только из корысти. Черт знает что творится: люди боятся строек, как чудищ каких-то, словно кто-то хочет всех впихнуть в пасть девятиглавого дракона. А ведь вы как работали в колхозе, так и будете работать. Фабрика и без вас рабочих найдет.

— В том-то и дело, что найдет. Понаедут, нагрянут отовсюду! Ведерко на ночь не оставишь — стащут. Расплодились!

— Чудной ты! Порой так рассуждаешь, аж завидки берут, а порой такое скажешь — ну, мракобес мракобесом. Стыдно! Послушать тебя — самый лучший выход: закрыть фабрики и, скопом взявшись за деревянную соху, землицу

пахать. Да, да, за деревянную, потому что где же ты железо добудешь, если всю промышленность к черту!.. Заживешь, стало быть, как в каменном веке: воздух чист, в реках рыбы, а в пущах зверей и птиц прорва, ни тебе автомобилей, ни медобслуживания — попробуй без промышленности обыкновенный шприц сделать. Словом, назад, к тем временам, когда человечество в пеленках лежало.

— Не передергивай, ничего подобного я не говорил.— Унте повернулся к Даниелюсу спиной, собираясь уйти.— Мы с тобой толкуем о строительстве фабрики в Гедвайняй, а ты меня всей промышленностью кроешь.

Даниелюс нетерпеливо развел руками.

— Слышал про обвалы в горах? Обломится, скажем, кусок утеса — и вниз. Катится, катится и увлекает на своем пути другие. Строительство фабрики в Гедвайняй — такой камень, он летит с грохотом вниз, и не один, братец, а с целой грудой. Может, сравнение мое не годится, но я хочу, чтобы ты понял, как смешны те, кто пытается остановить процесс индустриализации. Человечество с самого младенчества двигалось вперед, к более прогрессивным цивилизациям, хотя такие пессимисты, как ты, причитали, что прогресс роет человеку могилу. Впрочем, остановись, застынь он на месте, глядишь, мир и впрямь рухнул бы. Таков закон природы, и мы бессильны что-либо изменить. Есть только два пути — либо в ногу со временем, либо, выпятив грудь, тщетно пытаться задержать его и, следовательно, потерпеть фиаско. Самое большее, что мы можем, это направить поток камней так, чтобы они не летели нам на голову. Не очень-то ты дальновиден, брат мой.

— Сами на себе петлю затягиваем, сами вопим о спасении. Не понимаю...— пожал плечами Унте.

— Так, может, ты возьмешь в толк хоть то, что строительство фабрики в Гедвайняй и вам, дягимайцам, принесет пользу? Я уже не говорю обо всем районе, боюсь, снова не поймешь.

— В прошлый раз ты уверял: получите, мол, горячую воду и кое-что в придачу... Это дело хорошее, но не слишком ли дорого мы за нее заплатим? Как ты понимаешь, не о деньгах речь...

Даниелюс беспомощно покачал головой: дальше вести разговор не имело смысла.

Унте подумал, соглашаясь с братом: «И впрямь не столкуемся. Ни насчет Жгутаса-Жентулиса, ни насчет фабрики. Может, летом в Дягимай приедет Повилас или я к нему на денек выберусь — Повилас меня поймет».

Он холодно поклонился Даниелюсу и затопал к выходу. Но тут двери отворились, и в кабинет вошла Юргита, жена Даниелюса. На ней была черная каракулевая шубка с белой норковой горжеткой, на ногах — элегантные черные сапожки. Из-под белой меховой шапочки выбивались гладкие черные волосы, и на длинных темных ресницах мерцали мелкие капельки растаявшего снега.

— Кого я вижу! Унте! — искренне обрадовалась она, игриво протягивая деверю свою красивую руку.— Шла из редакции, думаю, забегу ненадолго к мужу. Но что у мужа тебя встречу — ей-богу, не ожидала. Мы так редко встречаемся, ну просто стыдно! Теперь уж ты, косолапый, от меня не уйдешь — пойдешь к нам обедать, и все.

Поеживаясь и краснея от застенчивости, Унте несмело улыбнулся, отвечая на бурные приветствия Юргиты. Он испытывал какое-то чувство стыда и неловкости, словно в чем-то провинился перед братом, но ему было до легкого головокружения приятно от прикосновения теплых ласковых пальцев своей невестки.

Да, они и впрямь редко встречаются, смиренно соглашался он с Юргитой. Что правда, то правда. Да, родственникам так не подобает. Но что поделаешь, если все так сложилось: они, дягимайские Гиринисы, тут, в своей деревне, а Даниелюс долгое время вдали от родного дома жил. Теперь, когда его из Дзукии перевели в Епушотас, они, конечно, будут встречаться чаще. В том никаких сомнений нет. Ведь Гиринисы Гиринисам — не чужие люди. Только вот что до сегодняшнего обеда, то... нет, нет, он не может. Было бы очень даже приятно, но, к сожалению, дома дел невпроворот...

— Врунишка! — Юргита кокетливо пригрозила ему пальчиком.— А ну, посмотри мне в глаза. Неправду говоришь. Какие срочные дела в деревне в середине зимы?

— Не упрямься, Унте,— пришел на помощь жене Даниелюс. Пока брат разговаривал с Юргитой, он молча стоял у письменного стола.— Посидим, потолкуем. Наша Алюте замечательные голубцы готовит. Невежливо отказывать даме.

— Нет, не могу. В другой раз. Сынишка хворает,— не сдавался Унте.— Надо помочь Салюте скотину накормить, загон отгородить — скоро свинья опоросится. Прости, брат, прости, невестушка, но как-нибудь в другой раз.

— Что ж, в другой, так в другой,— неохотно уступил Даниелюс и, повернувшись к Юргите, добавил: — Через

год нашему отцу семьдесят пять стукнет. Пора подумать, как его получше поздравить.

— Подумаем. В другой раз встретимся и подумаем.— Унте протянул на прощанье руку и, глядя в упор на Даниелюса, почувствовал, как жаркая волна захлестывает его щеки, багрит затылок и уши.

«В жизни, должно быть, нигде нельзя обойтись без обмана...»

Мог же он в конце концов отведать эти Алютины голубцы. Мог посидеть, потолковать. Поставили бы, наверное, на стол бутылку с каким-нибудь редким напитком. Разговорились бы, вникли бы в суть дела, глядишь, и на сооружение памятника Даниелюс посмотрел бы совсем по-другому. А теперь только обидел родичей, особенно Юргиту. Да, ее, потому что Даниелюсу конечно же меньше всего хотелось, чтобы он, Унте, сидел с ним за одним столом и изгалялся над его добродушными братскими назиданиями. Юргита, ах, эта Юргита!.. Если он одним махом перечислил столько неотложных дел: и то, что сынишка хворает, и то, что свинья скоро опоросится, так в этом только Юргита виновата, хотя сама об этом и не догадывается.

Унте теперь уже не помнит, когда первый раз увидел ее. Правда, в одном он уверен, было это раньше, чем брат разошелся с Ефимьей, первой своей женой, и без всяких обиняков написал родителям о том, что наконец нашел с в о ю женщину, с которой-де сможет счастливо прожить остаток жизни, ибо обоих связывает духовное родство, настоящая любовь.

Старый Гиринис резко ответил, омрачив его счастье: к чему, мол, такие фокусы на исходе пятого десятка — одну бросать, с другой — под венец, словно какой-нибудь птенец желторотый.

Даниелюс пытался переубедить старика, объяснить ему, какие они с Ефимьей чужие, но Йонас Гиринис стоял на своем: нет, не подобает такое серьезному человеку, так поступают ветрогоны; во всяком случае в роду Гиринисов никто себя на посмешище не выставлял.

Сын, обиженный отказом отца, целый год в родной деревне не появлялся, напоминал о своем существовании только скупыми письмами, где словно в отместку всегда приписывал: «самые горячие приветы от меня и от моей Юргиты».

Унте незлобиво посмеивался над пофыркиваниями отца, не забывал при каждом удобном случае вставить, что когда-то и первую супругу Даниелюса, Ефимью, тот встре-

тил не очень-то дружелюбно («И надо же было черт знает откуда привезти ее, словно на родине своих девчат нет...»). Но Йонас Гиринис насмешки сына пропускал мимо ушей, ибо свято верил, что жены — не перчатки, и негоже их менять когда заблагорассудится, только господь бог дает и забирает женщину, на все его воля. Не смягчилось сердце старика и тогда, когда Даниелюс со своей новой женой приехал в Дягимай и Юргита сразу же расположила к себе всех. Свойская, веселая, услужливая, остроумная, покладистого нрава, она за короткий срок успела растопить ледяную стену, отделявшую одну семью от другой, поэтому и холодная сдержанность отца казалась не столько естественной, сколько притворной. Старик и сам не мог устоять перед чарами своей невестки.

Унте никогда такой женщины, как Юргита, не видел. Женщины, которая умеет так заразительно смеяться, так стрелять глазками, вовремя найти подходящее слово, от которого на душе становилось тепло-тепло.

В тот давний вечер, когда все улеглись, а Даниелюс со своей женой, впервые приехавшей в деревню, отправились в светелку спать, осоловелый Унте долго бродил по усадьбе, кружил вокруг построек, заросших старыми деревьями, на их блестящей листве причудливо переливались лунные блики. Унте хотелось, чтобы брат скорее убрался, а в другой раз приехал без жены. Но в ту осень он снова появился с Юргитой и двухлетним сыном: отец пригласил их на яблоки. Юргита, разгоряченная, сновала, как девочка, между кухней и уставленным яствами столом, помогая умаявшейся Юстине. И Унте уже не хотелось, чтобы брат с семьей скорее уехал, было приятно, чертовски приятно чувствовать близость Юргиты, слышать ее раскатистый ласковый смех и печальной улыбкой отвечать на ее дружеские взгляды.

— Теперь, когда мы перебрались в ваш район, держись, Унте: прокутим мы все твое хозяйство,— пошутила она.

— Не бойтесь, хватит на всех. Только приезжайте почаще,— ответил Унте и весь покраснел, устыдившись своего горячего приглашения.

— Обязательно приеду. Ведь у вас так хорошо, словно выросла здесь.

В ту ночь, после того как Даниелюс с Юргитой устроились на ночлег в светелке, Унте не потянуло во двор. Он не отправился бродить по усадьбе, а нахохлившись сидел в углу избы и не сводил глаз с Салюте, стелившей постель. Коробили ее полнота, ее толстые икры, угловатые, почти

мужские движения. Но когда она повернулась к нему и улыбнулась доброй, застенчивой улыбкой, выявившей едва заметную ямочку на заплывшем подбородке, Унте стало тоскливо и стыдно.

А ведь был же жаркий летний день и благословенный ливень с молниями во все небо. Была же поездка вдвоем на мотоцикле — мчались из Альгирдишкской пущи, и шумели над их непокрытыми головами дубовые ветки, встревоженные дождем... Да, все это было. Тогда он, Унте, не видел ничего, кроме нее, Салюте, насквозь промокшей девчонки в прилипшем к телу цветастом ситцевом платьице.

— Послушай,— прошептал он, когда они оба легли,— я вспомнил, как мы с тобой познакомились. То есть знать-то я тебя знал давно, но в тот день меня как бы осенило: вот какая мне женушка нужна.

Салюте тихо рассмеялась.

— Куда лезешь? Пьяный ты. Спи.— И ласково шлепнула его по руке.

— Выпить, что ли, нельзя? Ведь родной брат приехал. И потом совсем я не пьяный. Неужто только пьяный может признаться в любви своей женщине? А я тебя... да ты и сама, Салюте, знаешь... Ты для меня самая красивая из всех, кого я только видывал.

Унте казалось, будто из светелки доносятся шепот, шорохи, и, распаленный подозрительными звуками, он шептал жене нежные словечки, страстно ласкал ее, стараясь заглушить то, что будоражило душу.

III

Унте зажмуривается, горестно качает головой, тихонько ругается. Злополучный потолок! Может, только Ляонас Бутгинас не поднял бы его на смех, расскажи ему Унте, какая чертовщина мерещится в собственной спальне. Ну не спятил ли он? В самом деле, чего вчера не остался обедать у брата, чего потом наклюкался, чтобы погасить пожар, пылающий в его душе?

Унте дотягивается до брошенной на подоконник книги — четвертый раз сегодня принимается читать, но даже страницу не одолел.

— Все дрыхнешь? — спрашивает Салюте, просунув голову в дверь кухни.— Уже за полдень. Пора мне на ферму свиней кормить.

«Мог бы помочь, но она обязательно отрубит: не надо».

— А свою скотину не забыла?

— Неужто, думаешь, я ждать буду, пока книгу прочтешь?

— Старики все еще сидят...

— Не бойся, не налакаются. Это не ты,— жестко бросает Салюте, стоя уже на пороге.

— Что за чушь порешь? Я тебе что — Стирта, который каждый день под градусом? — злится Унте.

— И ты голову теряешь. Порой не поймешь, какой бес в тебе сидит. И вчера думала — вернешься из Епушотаса и будешь носом землю рыть.

— Мог бы. Повстречался мне один дружок. Пристал: «Пошли в ресторан!»

— Ну и слава богу, что не поддался... Может, говорю, образумишься...

Унте минуту-другую молчит, уткнув нос в книгу. «Ах, скорей бы она отправилась свиней своих кормить...»

Не дождавшись, пока за Салюте закроются двери, Унте выдыхает:

— А все-таки я добьюсь своего. Дом культуры будет светить на весь Епушотасский район, как храм божий, а Жгутас-Жентулис не дождется памятника.

— Дай-то бог,— усмехается Салюте.— А не повторится ли история с фабрикой: бегал, носился как угорелый, орал на весь свет, баламутил воду, а что вышло — пшик?

— Вперед не забегай, фабрику еще не построили,— сердится Унте: кому приятно, когда о неудачах напоминают.

— Не построили, так построят.

— Поживем — увидим...

— Может, взорвешь ее? — не унимается Салюте. Ей доставляет большое удовольствие дразнить мужа.

— Чего язык распустила! Марш скорей к своим свиньям — мне пора штаны надевать!

Салюте обиженно хлопает дверьми кухни, а Унте все еще валяется в постели, пытаясь заглушить нахлынувшую обиду. Вот тебе и баба! Вот тебе жена! Послушаешь ее и невольно к рюмке потянешься...

— Сегодня у Мармы горячий денек,— доносится голос отца.— Суббота. Почитай, половина Дягимай в баню нагрянет.

— Банщик, видать, тертый калач,— бормочет Григас.

Унте смотрит в книгу, ничего не соображая, потом швыряет ее на подоконник и вдруг сбрасывает с себя одеяло. Наспех натягивает штаны, влетает в одной сорочке на

кухню, а оттуда, умывшись холодной водой, чешет назад в спальню — одеться как следует. И снова возникают видения детства: расписанное морозными узорами окно, летчики Дарюс и Гиренас возле своей «Литуаники» на фотографии, заливистое пение кочета и ленивый лай собак.

Старики все еще белят усы пивной пеной. На щеках — багрянец, на душе хорошо, и хмель нисколечко не берет.

— Спишь до обеда, как граф какой,— незлобиво язвит отец.— Может, кофейку с банкухеном?

— На кой такому мужику твой кофеек,— возражает Григас.— Ты пивка ему налей, сыру, копченого окорока отрежь. Посидишь с нами, Унте?

— Сесть-то сядет, вот только встанет ли,— говорит Гиринис, опасливо косясь на сына.

— Раз так, то и впрямь присяду!

— Тебе бы только наперекор...— Гиринис разочарованно и печально качает головой.— Возразить бы только...

— Слышал, тебе у брата вчера не шибко повезло,— говорит Григас, подвинув бокал к Унте.— Даниелюс умный мужик, но, видать, не вник в дело.

— Ум у таких знаете где? В заднице,— ухмыляется Унте.— Всё заседают.— И уже почти жалеет: зачем так о брате при чужом человеке?

— Работа такая,— заступается за Даниелюса Григас.— Без совещаний, без постановлений шагу не шагнешь. А ты, Унте, молодец, что за культуру взялся. И насчет этого памятника голос поднял. Коли уж делать из человека святого, то пусть он и вправду будет святым.

— Вам обоим только и делать, что гадать, кто святой, а кто так себе — блаженный,— перебивает гостя Гиринис.— Ты сына моего не подзуживай, Антанас, он и так, надо или не надо, пускается во все тяжкие.

— Будь у нас Дом культуры — мы бы ого! Город позавидовал бы,— продолжает Григас, не боясь прогневить хозяина.— У кого голова на плечах, тот понимает, что колхозу надо. А то, что Стропус хвостом вертит, не беда, мы его прижмем. Нагрянем скопом и прижмем.

— Хоть один человек нашелся.— Унте поднимает бокал.— За твое здоровье, дядя.— Выпивает до дна, тут же наливает себе снова и под глухое бормотание отца «наперекор, все наперекор» опрокидывает.— А теперь дуйте без меня. Спасибо тебе, дядя, на добром слове.— Встает не спеша и, нарочно шатаясь как пьяный, топает к дверям, криво усмехаясь.

Бог ты мой, сколько раз он это видел: увязшие в сугробах плетни, кривой колодезный журавель с дубовой колодой-гирей на конце. Чуть поодаль — затейливая вязь голых яблоневых веток, хлев, а за хлевом — верхушки осин, справа — серое обледенелое шоссе. По ту его сторону — снова усадьбы. Всюду, куда ни глянешь, усадьбы. Деревня. Старые, построенные десятки лет тому назад хаты, только хозяйственные постройки и летние кухоньки, сложенные из силикатных плит, новые.

Унте сладко потягивается, стоя на обледенелых деревянных мостках. В груди разливается приятная пивная теплынь, хочется куда-то идти, что-то делать, только не растерять бы эту негаданную радость. Эх, кабы еще бокальчик... Но не возвращаться же обратно. Вот и слоняйся из самолюбия по задворкам один до вечера. А вечером что? Та же спаленка, та же кровать, та же Салюте под боком... Правда, как водится, спросит у детишек, сделали ли уроки, пожурит их, ежели начнут шалить. Как ни крути, все-таки кое-какое развлечение. Да, ежели бы не детишки, можно было бы со скуки подохнуть. Завтрак, обед, ужин. Ночь проваляешься в постели, и снова завтракай, снова тащи корм для коровы, снова толки картошку для свиней, снова коли дрова, неси в избу воду. Стежку расчисть, ежели за ночь замело. Каждый божий день та же песня, хоть волком вой. Потом придет весна, все вокруг зазеленеет, запестреет от цветов, солнце и то взойдет в небе по-другому, вот только дни будут схожи, как горошины в стручке: с утра до вечера на тракторе (осенью на комбайне), уход за огородом, три раза на дню кормежка, и так — до самой зимы. День за днем, год за годом, до гробовой доски. За все это время в деревне отпразднуют сотни именин и дней рождения, сыграют на сотнях крестин и свадеб, зароют в землю десятки близких, с которыми без водки (раньше, если верить отцу, и пива хватало) никак не распростишься. Но и эти развлечения как бы заранее запланированы. Неведомо, какое из них когда состоится, только одно знаешь — состоится, обязательно состоится, зачерпнешь ты свое из наполненной доверху цистерны, уготованной тебе судьбой... Может, этот банщик прав, когда уверяет, что жизнь стоит ровно столько, сколько удается урвать удовольствий до смерти. Но чем тогда человек отличается от скотины?

Унте сам не свой. Добредет до шоссе и — обратно. Пнет сапогом сруб колодца, сунет нос в летнюю кухоньку. Отовсюду на него пялится скука. Даже Маргис, привязанный

что очарование души и целомудренность делают их похожими на детей.

Тякле не была распутницей. Бывало, парень проведет ночь в ее каморке, а победой похвастать не может. Но никогда она и не отталкивала того, кто хоть ненадолго умел пробудить в ее отзывчивом сердце жалость.

— Люблю тебя,— шептала она в ту ночь Робертасу,— потому что ты несчастный. Все вы там несчастные, бедняги обреченные. Ни дома у вас, ни семьи, ни ласковой женской руки. Шатаетесь, как звери проклятые, сами гибнете и другим жить не даете. А чем вам помочь? Словом добрым, теплым бабьим прикосновением? Но что из этого? Сегодня я, завтра, может, смерть тебя приголубит.

— Не каркай,— рассердился Робертас.

Ему было больно и приятно чувствовать, как Тякле преданно и покорно льнет к нему, знать, что кто-то в эту стылую осеннюю ночь от души жалеет его, что на свете есть человек, понимающий его, пусть он и не в состоянии изменить его судьбу, но он всегда утешит и никогда не предаст.

Под утро он ушел в сопровождении младшего брата Тякле, для которого, как и для Мармы, лес был самым надежным убежищем от Красной Армии.

— Ты добрая,— сказал на прощанье Марма.— Я не забуду эту ночь.

Через несколько дней он снова появился в этой усадьбе, расположенной на опушке леса. Отсюда до Дягимай не было и часа ходьбы, но даже когда совесть подсказывала ему навестить жену и детей, он все же оказывался не у них, а здесь, на опушке.

— У тебя другая, развратник проклятый! — испепеляла его взглядом Йоне, истомившаяся от полугодовой разлуки.— Не отнекивайся. Как-то ночью твой дружок из леса пожаловал. Хотел ко мне в постель забраться. Я смазала ему по роже, а он все и выболтал.

Марма конечно же все отрицал («Нашла кому верить, дурочка. Ты что, мужиков не знаешь? Чтобы подольститься к бабе, они целый воз грязи на голову другого обрушат, только бы ревность ее разжечь и своего добиться»).

А через две недели, когда он, устав от неверных ласк, спал глубоким сном рядом с Йоне, своей женой, а снилась ему Тякле, в настежь распахнутые двери ввалились какие-то незнакомые люди в униформе.

Сука! Продажная душа! С каким удовольствием придушил бы он ее, если бы незваные гости хоть на минутку оставили его без наручников.

Прошли годы, он отбыл наказание, и судьба их снова свела, на сей раз на дальнем Севере. Йоне только что бросил сибиряк-лесоруб, которому, бесконечно одинокому, нужны были хозяйские руки и бабье тепло. Лежа рядом с Йоне и прислушиваясь к угрюмому гулу северной пущи, Робертас Марма иногда вспоминал прошлое, похороненное за тысячи верст отсюда. Тякле... Серенькая девчонка, каких не счесть, всякий раз он чувствовал что-то похожее на облегчение, когда расставался с ней на рассвете. Однако позже перед ним во всей своей яркости проносились часы, проведенные вместе, наваливалась невыносимая тоска, и у него не хватало сил превозмочь ее. Тогда Марма не был уверен, любит он Тякле или нет. Но сейчас, по прошествии стольких лет, когда сердце замирало от сладостных воспоминаний, когда он представлял каждую черточку ее лица, каждый изгиб ее тела, цвет ее волос, выражение глаз при встрече и при расставании, когда в ушах словно вчера звучал ее приглушенный певучий голос («Я воспитаю нашего ребенка, только бы здоровым родился»), Робертас Марма не сомневался, что только с ней, с Тякле, он был бы счастлив.

— Тебе хочется найти эту женщину, Робертас Марма. Очень хочется,— говорит он зеркалу, морща лоб с залысинами.— Увы, вот уже более двадцати лет усадьба на опушке пуста, и никто не знает, куда подевались ее жильцы. Калекой стал твой старший брат, Тякле, вконец сморщилась бабка, которая каждое утро за печкой шептала молитвы, просила господа бога, чтобы смилостивился над ее грешной внучкой. Крапивой, густой крапивой заросло то место, где когда-то жили люди. При желании, конечно, можно отыскать след, найти живого или мертвого. Но ты ведь трус, бедняга банщик. Тебе лучше ничего не знать и не ведать, жить глупыми иллюзиями, тешить себя смутными надеждами, но только не встречаться с глазу на глаз с прошлым. Да, да, лучше неведение, терзающее душу, чем попытка отыскать стежку к Тяклиной могиле или встреча со своей любовью, живой, счастливой, чьей-то женой, матерью, среди детей которой, может, есть и твой ребенок.

— С чего ты взял, что она умерла или вышла замуж? — спрашивает у зеркала плешивый человек с продолговатой яйцеподобной головой.— Она может быть вдовой или разведенкой. В конце концов, в старых девах ходить, если и впрямь тебя любила. Знай, есть женщины, которые до одури сентиментальны и до гроба хранят верность своей первой и единственной любви.

— Ты так считаешь? — Марма тяжело дышит от волнения.— Может, ты меня еще обрадуешь тем, что она вырастила моего сына, который уже женился и у которого парочка детишек? Только шагну через порог, и вся семейка, ополоумев от беспредельного счастья, бросится банщику Марме на шею. Ха, ха, ха! Ничего себе сказочка, только уж очень пошлый у нее конец.

Яйцеподобная голова, словно соглашаясь с услышанным, кивает, склоняясь на левое плечо. Белесые редкие ресницы топорщатся, морщины на лбу собираются в гармошку. Горестные задумчивые глаза навыкате, под ними темные мешки.

— Конец как конец,— шевелит в зеркале тонкими губами плешивый.— В жизни несметное множество всяких историй. И как только они не кончаются! Однако же счастливые концовки бывают только в сказках... В этом ты прав, Робертас Марма. Когда человеку за пятьдесят, нечего для полета крылья прилаживать. Все равно то, что потеряно, за хвост не поймаешь. А если что и поймаешь, то только крохи, объедки, которые оставили такие же свинтусы и неудачники, как ты, те, кого прогнали от корыта. Все, что тебе еще остается, чтобы не задохнуться от удушливого чувства утраты,— это смотреть на этот задрипанный мир свысока. На этот муравейник, кишащий мерзостными насекомыми! И ты в нем отираешься, изъеденный, искусанный! Скопленье смрада и гнили. Но человек! Да, человек, ибо не тешишь себя пустыми иллюзиями, не создаешь никаких мифов, не поклоняешься вымышленным богам, как это делают дураки, похожие на Унте. Ты — реалист, существо мыслящее, ведающее, что по сравнению с возрастом планет тебе отведены на земле только мгновенья, чего бы ты ни добился, финал у всех одинаков — дерьмовая смерть. Дети наши, мол, будут жить лучше, радейте за их благо... Комедия, право слово, комедия. Наши дети будут так же поедом есть друг друга, как и их родители, придумают кучу новых лозунгов, станут во имя своих потомков сживать друг друга со свету, пока не отправятся к праотцам, а потомки, которых они наплодят, еще ловчей будут разыгрывать сей нескончаемый фарс. О, это царство карликов, достойное сожаления! О, эта гора черепах, взбирающихся и карабкающихся друг на дружку. Ничтожества, выродки. Ты стоишь рядом и смотришь на них. Стоишь и заносишь в свою летопись все самые интересные случаи и происшествия. Пусть это занятие бессмысленное, обреченное, как и все остальное на свете. Но, водя пером по бумаге, ты испытываешь мсти-

тельное удовольствие от того, что можешь сказать слово правды о тех, кто, возможно, никогда не прочитает ни строчки твоей летописи, но кому ты все-таки с лихвой отдал заслуженную дань презрения, и в этом твое единственное утешение.

V

В предбаннике шумно. Вместе с густыми клубами пара, хлынувшими в раздевалку, только что туда ввалилась орава тех, кто попарился всласть. Нетерпеливые мужики толкутся возле вешалки, продолжают начатые на полках тары-бары. В тусклом свете лампочки, еще более приглушенном мельтешащими тенями, мелькают руки, натягивающие на мокрые тела рубашки, светятся зады, ноги, пытающиеся попасть в штанины.

— Ух, здорово! Все причиндалы взопрели.

— Гляди, как бы они у тебя по дороге домой не отвалились. Цего доброго, есе потеряесь.

— А тебе-то что за печаль? Баба твоя найдет и небось обрадуется.

— Поцему обрадуется? Цто — разве узе одалзивать пора?

— Ха-ха-ха! Отбрил, отметелил. Пирсдягиса голыми руками не возьмешь.

— Лавку сторожить — не лес возить. Когда времени навалом, еще и не такие байки-прибаутки придумаешь.

— Что ты, мил человек! У него ж служба ответственнейшая. Другому давно бы по башке дали.

— Счастливый дядечка, что и говорить. Каждый год воры подметают подчистую полки, а ему даже фонарик под глазом не зажгут...

— Воры тоже люди, я так считаю. И у них есть совесть, понимают, что спящего, как и лежачего, не бьют.

— Попридерзи язык, Гайлюс,— не выдерживает Пирсдягис.— По-твоему, езели воры меня не тронули, то и, стало быть, сам эту лавку... Да за такие слова, знаесь, я могу тебе по морде... Вот так,— добавляет он по-русски.

— Ну, чего, спрашивается, вспыхнул как спичка?.. Разве я сказал, что ты сам?

— Я не такой дурак, визу, куда гнесь,— Пирсдягис размахивает короткими мускулистыми руками, как петух крыльями. Он уже одет, но еще бос, и не по росту большие,

широкие ступни белеют на полу. Штаны сзади вытянулись, свисают до лодыжек, изрядно удлиняя и без того длинное туловище; ростом Пирсдягис не вышел, и почти каждый мужик в округе — выше его.— Клеветник проклятый. В зубы такому, цтобы кровь хлестала. В суд такого! Поеду завтра в Епусотас, зайду к следователю. Он знает, сто я не виноват касательно этой лавки. Я его самого, следователя, знацит, свидетелем запису, вот увидись. И тебя, Гайлюс, упекут в холодную за поклеп на цестного целовека. Вот так,— снова добавляет он по-русски.

— Сдурел он, что ли, люди добрые? — пожимает плечами Гайлюс, напяливая на себя пиджак.— Да ничего я не говорил. Не то что не говорил, а даже не подумал, если хотите знать. Недаром говорится: на воре шапка горит, так лично я считаю.

Ну уж это слишком. Квадратное лицо Пирсдягиса, усыпанное желтоватыми прыщами, синеет, бесцветные глаза лезут на лоб. Он замахивается обоими кулаками, бросается на Гайлюса, но тому что — он выше сторожа на целую голову да в плечах пошире, хватает Пирсдягиса за руку и усаживает на лавку.

Пока они тягаются, мужики животики со смеху надрывают, обступив их кольцом. Кто-то уже выскальзывает за порог. Ведь ясно, чем все кончится. Пирсдягис частенько вспыхивает из-за мелочи как спичка, но чтобы пожар разжечь, так нет, бог, видно, пороху пожалел.

— Но, но, но,— миролюбиво басит Мотеюс Кябярдис, рослый, широкоплечий мужчина с большой головой почти без шеи, прозванный Моте Мушкетником: в первые послевоенные годы, когда он работал в Дягимай председателем сельского Совета, ему выдали военную винтовку, которую он всюду таскал с собой и почему-то называл мушкетом.— Послушайте, не будьте теми, кто землю роет. Давайте лучше за стол. Может, говорю, бутылочка отыщется для разгону крови. После баньки не помешает. Опасно без внутреннего согрева сразу на мороз.

— Бутылоцкой подольститься хоцесь,— огрызается Пирсдягис, ища под лавкой свои сапоги.— Нет, я за стол не со всяким сазусь. Обокрасть цестного целовека... Народного засцитника, борца за Советы. Гайлюс, тот горазд других обизать, но пусть сказет прямо, где он сам был, когда мы за власть трудясцегося народа кровь проливали.

— Что было, то сплыло, Еронимас.— Моте Мушкетник запускает руку в карман висящего на стене полушубка и бодро извлекает оттуда пол-литра.— Зачем прошлогод-

ний снег вспоминать? Партия лучше знает, кого судить, а кого оправдать. Так что ша, кончай! Садитесь.

— Как не знать, ясное дело, знает,— смягчается Пирсдягис.— Не мне, маленькому человецку, учить ее уму-разуму. Только с такими, Гайлюсовой масти, надо бы построже. Уз больно подобрели мы, Моте. Норовим целовать того, кто совсем недавно зубами нам в глотку вгрызался...

— Тут, пожалуй, твоя правда — уж больно сердобольными стали. Демократии вот этой сегодня куда больше, чем рабоче-крестьянской твердости. Хотя ежели поглядеть на обратную сторону... Как же тут, брат, рассортируешь всех, кто, дескать, с зубами, а кто без,— терпеливо объясняет Моте, раскуривая трубку: она очень подходит к его усам и серой, военного покроя, гимнастерке со стоячим воротником.— Живет, дескать, среди нас человек, работает на совесть, стало быть, он наш, гражданин Союза, помогает коммунизм строить. А ежели так, то чего ж от него еще хотеть? Хотя ежели поглядеть на обратную сторону, то всяких граждан сегодня развелось видимо-невидимо, за своим автомобилем и кучей денег такой и дорогу к коммунизму не видит. Но разве нам, дурьим головам, знать, что хорошо и что плохо. Лучше пусть наши государственные законы решают, кто советской власти друг, а кто недруг. Вышестоящим оно видней.

Пирсдягис сомнительно покачивает головой. Молчит. Молчит и Юозас Гайлюс, скрывает в коричневой подковке пышных усов усмешку. Четвертый, оставшийся в предбаннике,— колхозный пенсионер Игнас Сартокас. Ему уже за шестьдесят, но он еще довольно крепок, ладно сбит, глаза глубокие, нос крупный, посиневший кончик почти касается верхней припухлой губы, щеки впалые, кое-где нитки морщин. Правда, под подбородком мешочек сморщенной кожи уже свисает, а лоснящуюся плешь покрывают до самых ушей островочки редких седых волос. Сартокас издавна слывет непревзойденным плотником, удивительным резчиком по дереву. Кто сосчитает, сколько коньков вырезал, сколько наличников украсил, сколько крылечек затейливыми узорами расписал. До войны Игнас Сартокас барельеф вырезал с изображением деревни Дягимай, но его работа куда-то загадочно исчезла.

— Не поспешай, мастер,— говорит Моте Мушкетник, заметив, что Игнас Сартокас собирается уйти.— Кому, кому, а тебе в бутылке всегда капля светит!

Все усаживаются за длинный, четырехугольный стол, сколоченный из некрашеных досок, еще пахнущих со-

сной. Моте Мушкетник к водочке сальца с луком прихватил да еще хлеба краюху. Правда, зачерствел хлебушко в кармане, шутка ли, второй день подряд Моте с ним гуляет (неужто его выбросишь, ежели, как назло, дружка с поллитровкой нет), но закуска — ого-го! Такая закуска может и на вторую бутылочку вдохновить.

Пирсдягис, разогретый стаканчиком, ухмыляется — не идет у него из головы Гайлюсова язвительность.

— Кто был кулаком, тот им и остался. При Сметоне — на тридцати пяти гектарах, а при советской власти не меньсий пан на сестидесяти арах. Батраков и батрацек нет, не наймесь, не погонись на помидоры, бабу с детисками запрягай, пусть сеют, как крепостные какие, только бы побольсе пользы из лоскутка земли вызать... Эх, поймал бы я всех — и каздому колхозному мироеду по одной: нате, мол, гоните в Епусотас, от Пирсдягиса по рублику полуците. Вот так.

Это уж он меня батогом вытянул, мокрой тряпкой по физиономии съездил, по всему видно, догадывается Гайлюс. Но притворяется дураком и пытается замять разговор.

— Болтаешь всякую чепуху, чушь городишь, Пирсдягис. Разве выморишь всех вшей? Будь баня как баня, деревянная, а то домина, из кирпичей сложенный, забрались твои вши, Пирсдягис, за обивку и ждут удобного случая, чтобы выползти оттуда и шмыгнуть под рубаху соседа...

Моте Мушкетнику не по душе эта критика. Так рассуждать, видишь ли, может только недобросовестный элемент или совершенный невежда, прошу прощения за выражение. Скажите, кто раньше в деревне мылся в такой бане? Горячий душ, холодный душ, дымоход, а уж полки какие — ляжешь и таешь от удовольствия. Всюду простор, чистота, ни дымочка. И воду не надо ведрами таскать, и веники с собой брать. Никаких тебе забот! А давно ли, бывало, забирался в эдакий, набитый сажей, карман, стены от копоти в жирных разводах, ткнешься нечаянно плечом в стену или стукнешься головой о потолок — и приходишь домой перепачканный, в пятнах, с больной головой, трещит, бедная, от угара. Черт побери, неохота мне сегодня в такой бане париться, пусть она будет хоть трижды деревянная.

Но тут ощетинивается мастер Игнас Сартокас — он целиком и полностью за дерево. Пусть оно будет самого худого качества, но дерево есть дерево, оно из земли вырастает и набирается сил под тем же небом, под тем же солнцем, что и человек. Дерево — это жизнь! Потому-то оно и тянет к себе человека. Не холодная, безжизненная глина,

не камень, которые, правда, крышу крепко держат, но душу, душу не греют... Говорите что хотите, а дерево никто никогда не одолеет...

— Но, но, но, мастер, ты с панталыку сбился,— горячится Моте Мушкетник.— Как это так — не одолеет? Где, скажи, ты видел фабрику, настоящую, большую фабрику, срубленную как изба? Дерева там днем с огнем не сыщешь — только жженый кирпич и железный бетон. Нет, не спорь, мастер, не будь тем, кто землю роет, прошу прощения за выражение, дерево давно отжило свой век.

— Ну уж, ну уж!.. Каждая стройка своего материала требует, Кябярдис. Для фабрики, как ты говорил, жженый кирпич, железобетон нужен, а баня, она дерева просит.

— Что из того, что просит, когда этого дерева давно и в помине нет,— оживляется Гайлюс, опрокинув стаканчик и приглядываясь к закуске. Что выбрать: сальце Моте Мушкетника или свой сыр? — Хоть бы стены досками обшили, лично я так считаю. Но куда там! Все доски на председателевы хоромы ухлопали...

— На то они и хоромы!.. Цетыре комнаты внизу, цетыре наверху. Играй себе в футбол! Салон для гостей. Только на обивку внутренних стен целая гора досок усла. Говорят, панов нет. А Стропус? Три целовека такой замок оккупировали, а мы, пятеро, как сельди в боцке... Граф! Вот так.

— Но, но, но! — одергивает его Моте Мушкетник.— Нечего на Стропуса собак вешать. Председателю колхоза положен простор. Может, гость какой нагрянет или, скажем, еще кто... Неужто большое начальство прикажешь на кухне привечать? Или, к примеру, кто-нибудь из другой республики пожалует, чтобы на наш колхоз поглядеть... ведь мы же не какие-нибудь, а образцовые. Стыдно будет за Дягимай. А что до графства, то мы графы похлеще, чем Стропус, ежели, конечно, по домам судить... Со своим домом, пусть и дрянным, все что тебе заблагорассудится делай — твоя собственность. А Стропус — ни-ни... Замок, как ты, Пирсдягис, выразился, так сказать, общее богатство... за денежки колхозные построен. Его не продашь и внаем не сдашь, придет другой председатель — выметайся, уступи все комнаты внизу и наверху новой власти.— Моте Мушкетник пялит косоватые глаза на собутыльников. Водка румянит его круглые щеки. Маленькие, спрятавшиеся под лохмами уши пламенеют, как маки в середине лета. Он сидит, втянув голову в плечи, и на затылке, едва виднеющемся в темноте, багровеют обозначившиеся веревки вен. Силища! Саженные плечи, широкая грудь, толстые, креп-

кие жгуты рук!.. Взвали на спину Кябярдису стопятидесятикилограммовую ношу — и потащит, не пошатнется, а ведь он седьмой десяток разменял. Глядишь на его молодое, брызжущее здоровьем лицо и думаешь: не шесть десятков ему, а лет сорок, не более.— Вот так мне, Еронимас, кажется... А теперь, ежели перевернуть страницу и заглянуть в твои бумаги, то всемером в трех комнатах — это сегодня каждый олух знает — тесновато. В городе, правда, бывает и потесней... Но мы же не о городе толкуем, а о Дягимай, об образцовом хозяйстве. В таком колхозе, как наш, каждый, заглядываясь на другого, желает жить получше... Твоя Салюте сама выхвалялась: в будущем-де году новую избу построим! Видать, от отца и от Юстины отделиться хочет... Помучаешься зиму-другую и следующей осенью сможешь к Гиринисам перебраться.

— Цто, милости просить? — обижается Пирсдягис, вперив взгляд в почти допитую бутылку.— Еронимас Пирсдягис никогда и ни перед кем хребта не гнул и гнуть не будет. Вот так.

— Ясное дело. Кто тебя не знает,— насмешливо басит Моте Мушкетник, скрывая улыбкой свою обиду.— Ты — прямой, принципиальный... И головастый, как царь Соломон... Это какое-то недоразумение, что такого человека, как ты, в правление не избрали. Но ты потерпи, Еронимас, скоро отчетно-выборное, может, тебе удастся забраться в Стропусово кресло. Тогда его хоромы в твоих руках.

— Не гоносись, не гоносись,— Пирсдягис кладет на стол пустую бутылку и принимается ее катать.— Поставил каплю водки и думаесь: мозесь над всеми насмехаться. Нацальник, видись ли, отыскался! Он мне, как последнему захребетнику, видись ли, цузую крысу предлагает! И у кого — у Гиринисов! У этого недотепы Унте! Тьфу! Пирсдягис луцсе дерном накроется, небесами, но не позволит, цтобы какой-то молокосос указывал ему, как по избе ходить. Хоть я и не ахти какой пан, но был и до гроба буду сам себе хозяин! Вот так!

— Хозяин с сумой,— словно между прочим замечает Гайлюс, по-прежнему пряча в подковку усов хитрую усмешку, и сует руку в карман штанов.— Раз так, давайте скинемся по рублику и двадцать пять копеек. У банщика, так я считаю, отыщется для нас бутылка. У него всегда есть. Может, говорю, тогда все сговорчивей станем...

Пирсдягис подскакивает как ужаленный, увидев на ладони Гайлюса помятый рубль. Еще мгновенье — и он у дверей комнаты Мармы.

— Впусти, Робертас, дело есть,— последние слова он произносит по-русски.— Дай одну бутылоцку отравы за питерку.

Вскоре Пирсдягис возвращается охваченный каким-то радостным озорством, шумно ставит бутылку на стол. Желтые прыщи у него на лице сияют, как под солнцем.

— Нузен мне вас рубль двадцать пять копеек как собаке пятая нога... Пирсдягис, благодаренье богу и советской власти, ни нисций. Вот так.

Гайлюс, довольный удавшимся маневром, запихивает свой рубль обратно в карман. Только мастер Сартокас и Моте Мушкетник пытаются всучить Пирсдягису свою долю. Но тот ни за что не соглашается. Пейте!.. И чтоб ни мур-мур... Пирсдягис рубля не пожалеет! И мужики пьют. Стакан идет по кругу, горяча кровь и развязывая языки. Но теперь уже верх берет не вражда, а миролюбие. Судачат о том, на чем все сходятся. Например, о геологах, буривших здесь все прошлое лето. Или о строительстве фабрики в Гедвайняй, по соседству с Дягимай. Один уверяет, что фабрика будет делать цемент, другой — удобрения, а третий, ссылаясь на каких-то очень серьезных людей, клянется, что будет построена не фабрика, а завод по выпуску шелка и трикотажа. Тканей будет, мол, изготовлено столько, что их с лихвой хватит на всех женщин Европы. Поскольку шелкопряды питаются листьями какого-то дикошиного дерева, то большую часть колхозных полей якобы отведут под шелковичные леса. Гайлюс соглашается, что такое может случиться («Черту и тому неведомо, что нынче могут придумать!»). Но вот насчет того, что колхозную землю отведут под шелковичные леса?.. Нет, дело до этого вряд ли дойдет, уж на кукурузе обожглись... Сартокасу и Моте Мушкетнику тоже кажется: навряд ли... Кукуруза ведь показала: чудес на свете не бывает, Литва — это тебе не Украина или Грузия, а край зерна и сала. Но Пирсдягис, как обычно, ввязывается в спор. Не Украина или Грузия? Каздому дураку известно: Литва — это Литва. Но цто до селковицного дерева, то... Умора!.. Разве вы газет не цитаете? Не знаете, цто узе полтора столетия тому назад в пасем крае разводили первые селковицные деревья, которыми помесцики украсили свои усадьбы? И сегодня этих деревьев немало... Растут, поцему бы им не расти... Только редко кто их высазивает... А при зелании... Поцему? Мозно и все поля отвести под селковицные леса... Но этого не сделают... Потому цто никакого селкового завода не будет. Бабам и так хватает тканей. А украсая баб капиталистицеских,

светлого завтра не построись. Надо народное хозяйство подымать. А ему подавай удобрения, цемент! Вот так!

Надо так надо, не возражают мужики, благодушно настроенные поллитровкой Пирсдягиса. Пусть другая фабрика, не шелковых тканей, а все же фабрика. Без людей она не заработает. А откуда их выцарапаешь? Понаедут всякие со всех концов, шагу из дома не шагнешь, не заперев дверь. Город под боком раскинется. И будет все время расти, на колхозные земли попрет, а люди наши, молодежь из колхоза — туда. Всю силу из Дягимай выжмут, останутся одни только старики да машины.

Моте Мушкетник мотает головой, пытаясь откинуть нависшие на уши львиные космы: но, но, но, зачем до срока слезы лить? Мало ли народу и сегодня из колхоза улепетывает? Нет, кто на городские харчи позарился, того никакими пирогами в деревне не удержишь. Человек, дескать, до такой жизни дошел, что тянет его туда, где погуще, и все тут. В конце концов, ежели поглядеть на оборотную сторону, иначе и быть не может. Перед войной на земле сколько жило? Два с половиной миллиарда. А сегодня? Скоро за четыре перевалит! Куда же людям деваться? Разве деревня может всех принять? Потому-то и бегут граждане в города, жмутся друг к другу, хоть и теснота там и дышать нечем... Право слово, нечему дивиться: ежели не внуки наши, то уж правнуки обязательно доживут до того дня, когда деревни вообще сгинут, только пригороды будут в сплошных фабричных трубах...

— Ни черта,— перечит Гайлюс, печальным взором окидывая последний кусочек сыра, к которому потянулась рука мастера Сартокаса.— Никто до этого твоего дня не дотянет, так я считаю. Бомба атомная в дело пойдет, и останется от всех городов только куча золы, чтобы котлы в пекле греть.

— Пойдет в дело, всенепременно пойдет, коли человеку негде будет повернуться,— одобрительно ворчит мастер Игнас Сартокас.— Но куда разумней... во всяком случае такое мое мнение. Почему бы государствам не заключить такой договор: вырастить столько человек, сколько помирает. Тогда бы все оставалось на своих местах: город — на своем, деревня — на своем. Жили бы по-людски, не задыхаясь в вонючих муравейниках.

— Какие тут могут быть договоры? — диву дается Пирсдягис.— Как мозно договориться насцет таких дел? Неузто возмесь и у каздой бабы запонесь?

— Наши в этом не нуждаются — у них и так ума хва-

тает, так я считаю,— опережает Гайлюс мастера Сартокаса, только разинувшего рот.— Может. кое-кому из тех, кто в матери-героини метит, и можно бы...

Так судача, мужики и вторую бутылку выдули. Можно и домой идти, но мастер Игнас Сартокас чувствует себя должником — мол, и за ним пол-литра. С мнением мастера охотно соглашается Юозас Гайлюс, решивший убраться восвояси раньше, чем придет его очередь раскошелиться. Моте Мушкетник и Пирсдягис тоже не прекословят, ждут, пока мастер стучится в дверь Мармы, и думают: в самом деле, почему бы не посидеть еще часок? Так или иначе — вечер пропащий. Успеем, мол, бабьи укоры выслушать. Бабы все равно не поймут, до чего же приятно потолковать в тепле за бутылочкой, когда за стеной свищет студеный зимний ветер, швыряя в заиндевелые окна хлопья снега и по пояс заметая стежки-дорожки, по которым добираться домой. Но покамест не стоит морочить себе голову. На сердце от коварного хмеля так хорошо, столько в нем доброты и великодушия, что, кажется, усадил бы каждого за стол, поделился бы с каждым последней каплей. Только пусть зайдет, пусть постучится в дверь. Правда, дверь бани и не заперта, и тот, кого меньше всего ждали, входит почти незамеченным, Антанас Гиринис! Унте! На миг все замолкают, вперив взгляды в выросшую на пороге фигуру рослого, засыпанного снегом зятя Пирсдягиса. Затем начинается шум, гомон, мужики перебивают друг друга. Механизатор! Зять! Сосед! Как это здорово! Как это здорово! Садись, согреешься маленько, рассказывай, какие ветры тебя сюда занесли!

Пирсдягис подскакивает с места, просит зятя раздеться — тот, мол, поможет ему, старику, до дому добраться. Моте Мушкетник показывает Унте, куда повесить пальто, чтобы меховой воротник скорее высох, а Юозас Гайлюс прикидывает в уме: хоть и дойдет до него очередь, раскошелиться не придется, ибо не было случая, чтобы Антанас Гиринис осрамился и лишний рубль зажилил...

VI

Проснулся Унте со страшной головной болью. Сразу и не сообразил, где он. Поначалу подумал: дома, а женщина, прильнувшая к нему, Салюте. Унте перевернулся на другой бок, ткнулся лицом в пахнущие розовым маслом

волосы и тотчас отпрянул: Салюте никогда так не душилась, от нее всегда пахло ромашками и свежим молоком. Он грубо отбросил руку, обвившую его шею, и отодвинулся на край кровати.

— Ты что, святой или того... не можешь? — прыснула Живиле.

Унте поворачивается к ней спиной. Ветер унялся, вьюга улеглась, но за окнами, как и прежде, непроглядная тьма. Встать и — домой! Только подумаешь о доме, как сразу охватывают и стыд, и ужас, да еще злоба на самого себя — кабы мог, заскрежетал бы, как зверюга, зубами.

Но и Живиле — порядочная свинья. Желая подразнить Альбертаса Гайлюса («Что только пьяному не взбредет в голову!»), Унте растянулся на диване и захрапел. А Альбертас с Живиле возьми и перетащи его на кровать. Эта бесстыдница разделась, осталась в чем мать родила и юркнула к нему под одеяло! Проклятье! Свинство-то какое!.. Нарочно, обормоты, подстроили!.. Дернула же его нелегкая в баню заглянуть!.. Но разве пошел бы туда, не приложись он к рюмке у Бутгинасов? Да и не в ней дело. Во всем утренний кувшин пива виноват, глотнул с отцом и дядей — и пошло-поехало; дьявол тут как тут — напомнил ему про обещание племяннику. Вот он с Кястутисом и подался из дому. А у Бутгинасов, как назло, вся семейка перед обедом за свою музыку взялась. Кястутис просто тает от удовольствия, да и Унте при первых звуках обмяк: к музыке издавна слабость питает...

Когда Унте с племянником вошли в дом к Бутгинасу, хозяин захлопнул аккордеон, но Гиринис замахал обеими руками: давай, давай! Унте нравилась не только музыка, но и исполнение. Хорошо Бутгинасы играют! Часы напролет мог сидеть на топчане у дверей и смотреть, как Ляонас Бутгинас берет аккорды своими длинными костлявыми пальцами, а Рута обворожительно, как настоящая артистка, смеется, водя смычком по струнам контрабаса и стараясь попасть в такт скрипке. А как удивительно звучит скрипка в руках маленькой Гедруте, как сливаются ее скорбные причитания с осторожными ударами барабанных палочек, которыми ловко орудует Пятрюкас.

— Здорово у вас получается. Просто за душу берет,— признался Унте, когда Бутгинасы перестали играть.

— Стало быть, это и есть тот молодец, который просится в нашу капеллу? — обратился Ляонас Бутгинас к племяннику Унте, пропустив мимо ушей похвалу.— А какой у тебя инструмент?

Кястутис, худющий, с родинкой на верхней губе, несмело достает из-за спины скрипку.

— Это я ему в прошлом году на день рождения купил,— похвастался Унте.— Уж очень его к музыке тянет, все играет да играет, ну просто уши прожужжал... Эх, кабы мои дети с такой охотой...

— Ну, показывай, что умеешь! — обратился к бледнолицему Кястутису Ляонас Бутгинас.

Мальчуган долго артачился, бормотал что-то невнятное, пока не вмешался Унте и не заставил его сыграть.

— Будешь у нас второй скрипкой,— решил его судьбу Ляонас.— Нашему квартету, стало быть, каюк... С сегодняшнего дня у нас не квартет, а квинтет!..

На том и следовало поставить точку. Устроил племянника второй скрипкой в капеллу — и домой! Но Ляонас Бутгинас — хлебосольный человек, Ляонас Бутгинас — не жмот, не сквалыга. Кроме того, он друг, обойди всю округу, более верного не сыщешь. И Рута, жена его, тоже на друзей палкой не замахивается, со двора их не гонит; если по правде, дома не Ляонас, а она верховодит. Нет, нет, Унте, так легко ты от нас не уйдешь... Мы тебе что — чужие? Ты же у нас на свадьбе сватом был! Ведь был? Такой повод: из квартета — квинтет!.. Сколько хочешь отнекивайся, а уж за стол сесть придется, пообедаем вместе по такому случаю... А где обед, там, ясное дело, пиво. Оно, конечно, не динамит, но и не водица, сидишь пьешь, языком чешешь — удовольствие! Что ни говори, а таких пивоваров, как Ляонас Бутгинас, раз, два и обчелся.

И уломали его.

Сел за стол, ест, пивком запивает. Поначалу по глоточку, с роздыхом да перекуром, хозяин даже понукал его, а потом по стаканчику, покуда не осушил все до дна без всяких понуканий.

— А ты, часом, не обалдеешь, Унте? — забеспокоился Ляонас Бутгинас.

— А ты что, в пиво белены добавил?

— Жалко тебе, что ли?— одернула мужа Рута: ей нравилось наблюдать за глупыми выходками других, хотя своему Ляонасу она за такое глаза бы выцарапала.

— Не обязательно же до конца,— осторожно вставил Бутгинас, но Унте снова весело отрубил:

— Что поделаешь, ежели пить, так пить!

Бледнолицый Кястутис умолял взглядом: дядя, домой! Но Унте, видя, что кувшин пуст, а хозяин и не думает его

наполнить, ни с того ни с сего пожелал услышать вторую скрипку — ну-ка, как она звучит в квинтете?

— Не будь ты самым близким моим другом,— пробормотал в припадке великодушия Гиринис,— я бы подох от ревности. Ты только, Ляонас, погляди, какая у тебя жена! Плясунья! Музыкантша! Не только как розан цветет, но еще и Герой Труда... Да и ты не лыком шит... Не лыком... А уж дети!.. У меня ну просто сердце замирает, когда вы все играете... Люблю тебя, старина... ей-богу... Начхать мне на твою должность, подумаешь: председатель апилинкового Совета... чиновник... Дай бог, чтобы все чинодралы были такими, как ты...

— Ладно. Послушаем вторую скрипку,— сдался хозяин, решив, что и впрямь пора что-нибудь сыграть,— пауза позарез нужна, может, Унте перестанет потягивать...

Гость сидел, уставившись неверным осоловелым взглядом на музыкантов, на своего племянника. Кястутис от волнения то и дело фальшивил (чувствовалась его несыгранность с другими), но в дядиных ушах музыка обретала неземное звучание, а музыканты казались ему настоящими ангелами.

Пой, гармонь, сестра веселья,
грусть-тоску мою развей...—

мурлыкал он не в состоянии оторвать взгляд от пальцев Ляонаса, ловко сновавших по клавишам. Когда же все-таки оторвал, тут же уставился на Руту, стоявшую чуть поодаль: черт побери, неужели я пою, а она своими грубыми натруженными руками, ласкающими контрабас, выводит:

Длинноногий, от души
польку-полечку пляши!

Рута лукаво улыбалась, удивительно красивая и молодая, хотя и была на шесть лет старше своего Ляонаса.

Нашелся бы у Унте хлесткий куплет и для барабана со скрипками, но на него навалилась такая тощища, что он и не почувствовал, как откинулся на спинку стула и дрожащим голосом заунывно затянул:

Рвитесь, треклятые струны,
прочь улетай, соловей!
Гибну, красивый и юный,
жертва жестоких людей...

— Либо мы играем, либо ты поешь,— предупредил гостя Ляонас Бутгинас.

Но Унте решил затянуть и второй куплет: пенье, видите ли, очень даже подходит к музыке.

Ляонас набычился, стукнул вдруг рукой по клавишам, сжал аккордеон и дал знак своей капелле: кончайте!

Вот тут-то и подкараулил Унте, как это всегда с ним бывает, когда на душе муторно, злокозненный дьявол... Дрянь! Да, да, ты, Ляонас, дрянь! Ты такой же зализанный хапжа, как мой брат Даниелюс!

Бутгинас, стерпев обиду, бросился защищать Даниелюса, но еще больше распалил Унте. Что за мир? Что за люди? Расплодилось их, как мошкары на болоте, а человека, с которым можно поговорить по душам, днем с огнем искать надобно... Куда ни глянь — подхалим, приспособленец, ловчила! Врут без зазрения совести в глаза, а сами думают, что правду-матку режут. К черту!.. Унте оставил недопитый кувшин, сплюнул сердито — и вон! Вышел и припустил по деревне. Кажись, еще куда-то заходил. А потом его, как ночную бабочку, приманил свет в окнах бани. Почему бы к Марме не зайти? Порой, когда слушаешь странные его речи, так и подмывает расквасить ему сопатку. Но при всем при том он мужик башковитый, с ним всегда найдешь о чем потолковать, да и рядом с ним, обломком жизни, мелюзгой, чувствуешь себя и крепче, и уверенней.

Унте ввалился в баню и сразу же нарвался на тех, кто колдовал над бутылкой. Завсегдатаи, они приходили сюда частенько, и какой-то острослов даже прозвал их «новыми римлянами». Унте сел, маленько подсобил старикам, сунул Гайлюсу пятерку, чтобы тот от Мармы принес еще бутылочку. А потом, когда и ее осушили, послал за второй. Разговор снова перекинулся на строительство фабрики. Унте безжалостно высмеял бредни про шелковичные леса, правда, сам факт существования таких лесов он не отрицал, но для выращивания шелкопряда они так же пригодны, как хвоя для кормежки скотины. Другое дело — тутовое дерево. Но его в наш край никакими калачами не заманишь: холодно у нас. Зачем же тогда трепаться о шелковой промышленности, работающей на местном сырье в Гедвайняй? Нужно тутовое и только тутовое дерево.

Ой, ракита, туто, туто,
на душе такая смута...

Лицо Пирсдягиса сияло, как надраенная старинная монета: видите, какой ученый у меня зять, он, братцы, не лыком шит и не скопидом какой; Моте Мушкетник и Гай-

люс уверяли, что Унте правильно поступает, пробивая проект Дома культуры. Такой дом сделает честь всему колхозу. Между тем мастер Игнас Сартокас доказывал, что человеку приятно жить в окружении красивых вещей, и обещал своим резцом и пилочкой так отделать новое здание, что перед ним поблекнет и Епушотасский костел. Унте понял, хоть и был изрядно пьян, что Гайлюс бессовестно врет, у него только одна забота — выпить на дармовщинку, а вот Моте и Сартокас, те говорят от души, однако в их словах было бы меньше пылу, не будь водки. Как бы там ни было — Унте было чертовски приятно слышать слова одобрения, верить в то, что он слышит, обольщаться обманчивой надеждой и поднимать стаканчик за Петренасов проект. Одним словом, все шло гладко, складно и дружно. Он, наверно, и третью бутылку выставил бы, да тут нежданно-негаданно встрял в разговор Пирсдягис со своими злополучными овцами. Разве, мол, не говорил он, что придет время, когда колхоз отменит свой запрет на содержание овец. Правда, пятнадцать годочков запрет все же действовал, люди и вкус-то баранины позабыли, отвыкли от полушубков, но его, Пирсдягиса, пророчество все одно сбылось! Да как же ему было не сбыться! Разве можно овцу, полезную для народного хозяйства скотину, вывести как какую-нибудь заразную мушку? Слово за слово, и Пирсдягис договорился до того, что в позапрошлом году завел себе барана английской породы и что весной обе его овцы принесли от того «англичанина» по трое ягнят, из-за которых-де вся бригада передралась: каждому хотелось иметь такого ягненка. Нет, таких ягнят нигде ни за какие деньги не купишь, даже за золото. Но Пирсдягис за рублем не гонится, для него человек дороже, чем копейка. Поэтому-то он трех ягнят осенью зарезал, парочку себе оставил, а самого лучшего барашка отдал Унте. А мог за него пятьдесят рублей содрать, не меньше. Но сердце говорило: нет, зятю — бесплатно. Вот так.

Унте вспылил, стукнул кулаком по столу. Дьявольский старикан, и только. Стоит собраться в кучу, начинается: я ему своего барашка отдал!

Тысячу раз тестюшка повторяет одно и то же. Хватит! Не нужен мне твой подарок! Завтра дам Салюте пять червонцев, пусть отнесет, заткнет старому глотку.

Мужики бросились гасить огонь. Гайлюс, смекнув, что третья бутылка может уплыть из рук, напустился на Пирсдягиса, но Унте ничего и слышать не хотел, он вскочил из-за стола и поплелся к Марме.

Тот одетый валялся на диване и читал какую-то книжицу. Из транзистора, стоявшего в изголовье, на подоконнике, струилась тихая музыка.

— Слыхал? — Унте рукой махнул на дверь.— Какая скотина! Ежели он еще раз заикнется об этом задрипанном барашке, я ему в харю съезжу.

— Пустяки,— Марма лениво поднялся.— Выдуете пол-литра и помиритесь. Погоди, сейчас найду.

— Поищи, но больше я с теми субчиками ни капли... С тобой раздавим.— Унте непрошено плюхнулся на диван, а Марма побрел к шкафу.

— На закуску мануфактура с водичкой,— сказал банщик, поставив на стол бутылку и два стаканчика.— Но у меня, брат, с наценкой. Ни копейки меньше. Из принципа...

— Знаю. Свинья иначе не может.— Унте извлек из кармана брюк горсть помятых банкнот и, отсчитав пять бумажных рубликов, швырнул на стол.

Марма рассмеялся.

— Все, брат, свиньи. И ты к их породе принадлежишь. Только визжишь ты громче других, когда тебе жрать не дают. Понятие «человек» придумали из чванства... Из спеси... Чтобы прикрыть свою свинскую натуру... Но это все хитрости ночного горшка, самозванно объявившего себя кастрюлей.

— А я думаю наоборот: ночной горшок желает, чтобы все были на него похожи...— Унте налил в стаканчики.— Ночной горшок чувствует себя униженным. Потому-то он и вопит: «Смотрите, и у вас всего-навсего одна ручка!»

— Ловко,— ухмыльнулся Марма.— Однако, если смотреть в корень, так ли уж важно, чем ты набит: дерьмом или отменными харчами, которые тоже наутро в дерьмо превратится.

— Все мы, Робертас, в него превратимся. Но покуда мы живы, будем же людьми. Сегодня я наклюкался, можешь смеяться надо мной сколько угодно, но я тебе все равно вот что скажу: хочу жить так, чтобы с поднятой головой ходить, а не рыться в земле, как крот...— Унте залпом выпил и вытер губы рукавом.

— Да ты, братец, оптимистический поэт,— осклабился банщик, опрокинул стаканчик и отхлебнул из чашки воды.— Комедия, право слово.

— Другим и, скажем, тебе, Робертас, может показаться, будто я последний неудачник, лоботряс, чудак и еще черт знает кто... Но мне наплевать на это. Главное, чтобы

я сам... Понимаешь, сам... Унте ударил себя кулаком в грудь.— Чтобы вот здесь, в сердце, чувствовать... словом, чтобы стыд не жег... чтобы не стыдиться... не других, а самого себя... понимаешь?..

— Софистика,— буркнул Марма.— Что-то я лично не слышал, чтобы уголовный преступник стыдился своего преступления. Напротив. Выражаясь твоим любимым словом, он гордится им.

— Я с тобой о людях толкую. Чего ты мне своих подонков суешь? Не был я там, где ты, и не имел с ними никаких дел.

Марма вдруг поднял побледневшее лицо и, прищурившись, впился в Унте взглядом.

— Я сидел не за ограбление или воровство,— выдавил он изменившимся голосом.— Если бы ты родился на десяток лет раньше, может быть, и ты бы там очутился.— Губы у него дрожали.— Давай лучше не будем об этом.

— Ладно, не будем,— оттаял Унте. Он миролюбиво чокнулся с Мармой, выпил и снова налил, запив водку водой из чашки.

Некоторое время банщик молчал, прислушиваясь к тому, что происходит за стеной, в раздевалке. Но там было тихо — никто не шумел, не спорил. Только доносилось глухое завывание ветра за окнами, да где-то под шкафом несмело скреблась мышь.

Не сказав ни слова, Марма выскользнул за дверь, закрыл изнутри баню и вернулся с охапкой пустых бутылок.

«Пять,— насмешливо подумал Унте.— Шестьдесят копеек дополнительной выручки». А вслух, сам не зная почему, произнес:

— Странно, не правда ли, Робертас?

— Что странно?

— Чую, ничего из этого не выйдет, а все равно пытаю счастье, кручу шарманку, словно бес во мне сидит... А может, и впрямь сидит?

— Что стряслось? — недоуменно промолвил Марма.— Не втемяшилась ли тебе в голову какая-нибудь новая блажь?

— Да нет, ничего,— проворчал Унте.— Просто душа болит. Правда вроде бы на моей стороне, а вот доказать ее силенок не хватает... Даже близкий друг и тот руки не протянул...

Марма разлил и поторопил Унте: пей!

— Вот видишь,— сказал он, опорожнив стаканчик и глотнув из чашки воды.— А еще отрицаешь, что все мы

свиньи. Жаль мне тебя, Унте. Ломаешь голову из-за чепухи, мучаешься... Возможно, испытываешь от этого удовольствие... Но почему бы тебе не поискать таких удовольствий, которые требуют меньше сил и не превращают человека в белую ворону.

— В белую ворону? Среди кого? Таких, как ты?.. Или мой свояк Стирта? Тесть Пирсдягис? И еще дюжина, на них похожих? Тех, кто на словах горы своротит, а наткнувшись на камень, обходит его стороной, не отважившись убрать с дороги? Черные вороны!.. Ха-ха-ха!..

— Что ж, убирай свои камни, ежели это доставляет тебе удовольствие,— подкусил его Марма.— В самом деле, как это мы, представители гомо сапиенс, самые совершенные твари на свете, можем признаться в том, что ничем, ровным счетом ничем не отличаемся от других тварей, скажем, от лося, который может прожить всю зиму, питаясь ростками деревьев, и все же обгладывает кроны молоденьких березок только потому, что они гораздо вкуснее. Вот мы и прикрываем свою наготу, свое убожество высокими словами. Я не знаю другого такого создания в природе, которое было бы таким лицемерным, как человек. Комедия, право слово.

— Да ты ж, Марма, сам не веришь в то, что говоришь,— рассмеялся в глаза ему Унте.— Все для тебя свиньи, лоси, и сам о себе ты думаешь, что человек. И не какой-нибудь, а самый что ни на есть настоящий, первого сорта, единственный.

Марма потупил взгляд и опрокинул недопитый стаканчик. Затем провел рукой по лоснящейся плеши, покрытой мелкими росинками пота, и ни с того ни с сего сказал:

— Слышал? Свадьба расстроилась... ну той... с птицефермы... Живиле...

— Мне не до Живиле,— нетерпеливо махнул рукой Унте.

— Само собой... Живиле — не проект Дома культуры, куда тебе до нее, но ты послушай, послушай, не так уж много веселого в нашей жизни. Мушкетники теперь сияют, как солнце. Не по душе, ох не по душе была им невеста. И другие всячески отговаривали Зенюса. У него что, не все дома — гулящую девку в жены берет. Думаете, ей его одного хватит? Только отвернется, мол, она ему рога тут же и наставит. Но Зенюс, как известно, упрям как баран. Люблю, дескать, и точка. Словом, влип парень по уши. Да и неудивительно. Девка смазливая, веселая, глазками так и стреляет... Что говорить о молодом, ежели и у меня при виде ее кровь закипает. Гайлюсов Альбертас, как тебе известно,

тоже вокруг Живиле крутится. У него, конечно, на уме ничего серьезного, но почему бы не потискать девку, ежели, почуяв парня, она на стену лезет? В конце концов, скажи: кто в окно ее комнатушки не стучался? Когда же они с Зенюсом договорились о свадьбе, святой стала, каждого, кто приставал, прочь гнала, не подступишься. Сынок Мушкетника ходил, нос задрав. Дескать, теперь-то видите, для кого голубка ворковала. Альбертас за глаза прыскал в кулак и трепался, что, помани он только мизинцем, Живиле бросится ему на шею. Услышал Зенюс такие речи и хвать Альбертаса за грудки. Съездили раза два друг другу по морде, а потом с глазу на глаз заключили пари, условились, значит, о времени и месте, куда Зенюс должен прийти, чтобы убедиться, прочна ли на самом деле любовь Живиле. Проигравший ставит пару литров или получает столько же раз в зубы. Комедия, право слово. Но для сынка Мушкетника она кончилась плачевно: отправился он по уговору среди ночи в Гайлюсов сарайчик и застал свою Живиле в объятиях Альбертаса. Вот это, брат, ситуация, не правда ли? Тут, так сказать, можно и свихнуться. А Зенюс парень горячий, хоть и кроткого нрава. Бросился он как зверь на Альбертаса. Но тот заранее все предвидел и на всякий случай багор припас. Как саданул Зенюса по пояснице! Зенюс и полетел головой вниз с лежанки. Хорошо еще, на солому упал, а то, брат, шею свернул бы. Альбертас сегодня в баню приходил. Смеется: выручил, говорит, мужика, от беды спас, но вряд ли он мне пару бутылок выставит, потому как про багор и поясницу никакого уговора между нами не было. Вот видишь, какие девки нынче пошли... С нареченными в постели, а с полюбовником на сене. Комедия, право слово.

Унте встал. Водки в бутылке было что кот наплакал. Он плеснул остаток в стакан, опрокинул и, не сказав ни слова, двинулся к выходу.

— Погоди, теперь я пол-литра ставлю. В такой вечер только и делать, что сидеть и пить.

Унте обернулся, хотел что-то сказать банщику, но только махнул рукой и решительно сжал дверную ручку. Лицо его исказила ярость, а губы судорожно подрагивали.

Марма равнодушно пожал плечами и поплелся вслед за ним открывать дверь.

— Жене от меня привет!

— Подавись ты!

Ветер подхватил не засунутый за воротник конец шарфа, сорвал его с шеи и швырнул в сугроб. Было темно, хоть

глал выколи. Унте стал искать дорогу наугад. Он брел, то сворачивая с тропинки в сугроб, то снова нащупывая ногами твердь, местами занесенную снегом до самых щиколоток. Было около десяти часов вечера, многие еще не спали, однако сквозь гудящую стену пурги не пробивался ни один огонек. Только по наитию да по лаю собак Унте догадывался, в какой стороне деревня. Правда, где-то справа пели. Слышно было, как перекрикивают друг друга нестройные голоса. Но петь могли и в Гедвайняй: строители фабрики выпили и затянули песню, со стороны Гедвайняй как раз и ветер дул. Унте заскрипел зубами. Голова кружилась от выпитого, однако мозг работал четко, как часы,— сколько бы он ни вылакал, Унте никогда не терял рассудка. Наоборот: мысль его становилась острей, гибче, задиристей. Он строже относился к себе, куда скрупулезней и безжалостней оценивал каждый свой поступок. Его бесило, что он надрался, что возвращается поздно домой, что не помог Салюте управиться со скотиной. И все из-за этого проклятого обеда у Бутгинасов... Не загляни он к ним, не начни у них... Но нет — зачем винить других, а себя выгораживать? Все равно отыскался бы повод... все равно... Ведь еще вчера, когда он вышел из райкома, в сердцах захлопнув дверь кабинета Даниелюса, у него уже упрямо, хоть и подсознательно, вызревало смутное желание: поймать кого-нибудь и разговориться по душам... А разве с кем-нибудь разговоришься за пустым столом! И все-таки он переборол свое желание, поначалу не поддался соблазну, взял себя в ежовые рукавицы... Ах, этот злополучный памятник Жгутасу-Жентулису... Даниелюс! Вот кого надо бы хорошенько взять за шиворот и встряхнуть, попадись он только на пути! Однако, как ни крути, как ни верти, нечего было в баню заходить... Только поцапался с тестем, наслушался гадких бредней Мармы... В самом деле, какого черта поперся он к этому ничтожеству? Почему он не мог отбрить Пирсдягиса, встать со стула и — домой! Куда там!.. Все ему мало — и водки, и трепа, и человеческого тепла!.. А это человеческое тепло не что иное, как болтовня, словоблудие! Марме вздумал он излить душу... Оставить там всю грязь и вернуться восвояси... Олух царя небесного, и только. Ты зайди к нему, когда на душе чисто, как в светелке перед праздником. Зайди, распираемый снисходительной гордостью и уважением к самому себе. Тогда, возможно, и сможешь равнодушно внимать его речам, выслушивать его «комедии», смотреть в глаза, которые бесстыдно радуются чужому несчастью.

Унте снова заскрипел зубами. Он старался не думать о расстроившейся свадьбе Живиле, но рассказ Мармы глубоко запал ему в душу — Унте чувствовал почти физическую боль, представляя себе во всех подробностях случившееся. А воображение у него было пылкое, оно все расцвечивало и укрупняло. Скотина! Разрушил счастье обоих. Кто знает, может, Живиле только этого и не хватало — выйти замуж, найти спокойное семейное пристанище. А они со своими дурацкими пари. Нашли кого испытывать — распущенную слабовольную деваху!.. Молокососы! Оба — и Зенюс, и Альбертас. Альбертас помимо всего прочего еще и подлец. Толкнул женщину, лети, мол, в пропасть, в тот момент, когда ей надо было протянуть руку... Под суд такого негодяя! И наказать его, как закоренелого преступника!..

Унте с отвращением сплюнул. К черту! Бредет, бредет, подставив лицо ветру, а конца дороги не видать. Эта задрипанная тропка должна влиться в асфальт где-то около двора дяди Теофилюса... Но тут ветер переменил направление — стал задувать сбоку. Неужели Унте свернул не в ту сторону? В такую погоду можно и не заметить бывшей усадьбы Жгутаса-Жентулиса, возле нее проселок как бы раскалывается надвое. Еще не хватало, чтобы Унте вышел к коровникам. Остановился, перевел дух. Закурить и — вперед! Если вернуться, то и вовсе заплутаешься. То-то будет смеху — заблудился в своей же деревне! Комедия, право слово, как выражается этот ублюдок. Унте обыскал все карманы, нашарил смятую пачку сигарет, но не мог найти ни одной спички. Обыскал карманы еще раз, вывернул наизнанку. Нет нигде, ни одной. Оставил на столе в бане. Проклятье, и только. Бывало, возвращается из гостей, а карманы битком набиты чужими спичечными коробками, а тут последний посеял. И еще курить до одури хочется. Так хочется, что, кажется, в Епушотас махнул бы — только бы прикурить. Сунул заскорузлыми пальцами сигарету в рот и, подставляя спину ледяному ветру, уставился в кромешную тьму, словно ждал, когда же кто-нибудь волшебной рукой чиркнет у него под носом. И что-то на самом деле вспыхнуло! Унте даже попятился назад от удивления, провел рукой по мокрым, запорошенным снегом ресницам. Он не сразу сообразил, что случилось, как прорубило этот мрак освещенное четырехугольное оконце. Когда Унте подошел поближе, он увидел огромную (во всяком случае так ему показалось) стену какого-то здания, но сколько ни озирался, дверей так и не обнаружил. Тогда,

увязая по пояс в сугробах, дополз до окна и костяшками пальцев побарабанил по стеклу. Тенью мелькнула чья-то голова, рядом с ней прижалась к стеклу другая. Мужчина и женщина. А может, мать и дитя? Разве разглядишь сквозь двойную заиндевевшую раму?

— Это я, Унте! — воскликнул он, сложив лодочкой ладони.— Свой! Дайте прикурить! И я ухожу к черту!

Тени за окном чего-то ждали. Унте еще раз побарабанил по стеклу. Сильней и сердитей, чем прежде. Головы отлетели друг от друга и скрылись. Вскоре где-то на другом конце дома скрипнули отворяемые двери. Унте закусил губу, отругал себя в мыслях («Сумасшедший! Таскаюсь по ночам, ломлюсь в чужие дома!») и потопал, доверяясь скрипу. Там, на пороге, словно застывшее изваянье, его поджидал одетый в черное человек, которого Унте ни за что бы в жизни не узнал, не заговори тот ласковым, чуть удивленным голосом:

— Унте! Вот это неожиданность! Заходи, гостем будешь! Чего топчешься на пороге, в самом деле? Неужто хочешь меня застудить?

— Я домой... Мне бы только прикурить,— бормотал Гиринис, кляня в мыслях последними словами непогоду и водку.— Шел мимо, вижу — свет в окне. А спичек как назло... Дай, ежели имеешь, и я отправлюсь своей дорогой.

— Говоришь, прикурить? Ладно, дам тебе прикурить, я еще никому не отказывала,— плутовски рассмеялась, и смех ее еще больше подчеркнул двусмысленность слов.— Но прежде всего милости просим в дом. В такую погоду хороший хозяин и собаку не выгонит.

Живиле взяла Унте за рукав, и он, сам не понимая почему, покорно проследовал за ней по узкой, как карман, прихожей внутрь.

Однажды он уже был у нее. Только один-единственный разок за минувшие полтора года, прошедшие с того дня, как Живиле перебралась на постоянное жительство в Дягимай. И тогда он тоже был пьян, ввалился, обругал хозяйку, надавал кому-то затрещин, получил сдачи и вышел. Та же железная койка, наспех накрытая смятым покрывалом, напротив — подержанная софа (зеленый плюш!), круглый столик, радиоприемник, аляповато и беспорядочно обклеенные журнальными вырезками, преимущественно цветными, серые стены. Пейзажи, портреты знаменитых спортсменов и кинозвезд. Убогие крохи, собранные со всего мира, начиная с голой русалки на палангском пляже и кончая светилом бразильского футбола, Пеле.

— У меня гость,— сказала Живиле, невинно улыбаясь своими пухлыми губами.

Но раньше, чем она объяснила, Унте увидел развалившегося на софе Альбертаса Гайлюса.

— Глянь-ка, Бертас, кого к нам вьюга замела,— обратилась Живиле к Гайлюсу, и снова ее губы тронула улыбка непорочной девы.— Садись, гость нежданный, поможешь справиться.— Она откуда-то вытащила почти полную бутылку водки и поставила на стол тарелки с остатками ветчины.

«Их объедки!..»

Унте прикурил и, жадно затянувшись дымом, сел. Но не рядом с Альбертасом, не на софу, куда рукой показала хозяйка, а придвинул к столу стул и примостился на нем. Хмуро насупив брови, он следил за Живиле, борясь с соблазном броситься к ней, содрать с нее пальто Альбертаса и убраться к чертовой бабушке, на прощанье одарив каждого из них оплеухой. Однако Живиле, словно разгадав его желание, вовремя сняла чужую одежду и предстала перед ним во всем блеске: стройная, фигуристая, в коротком, василькового цвета, платье, облегавшем ее и не доходившем до колен.

— Откуда путь держите, товарищ механизатор? — спросила Живиле и присела рядом с Альбертасом, но так, чтобы одним бедром касаться Унтиного бока.

— Из чертова царства прямо в пасть дракона,— пробормотал Унте, оттолкнув стул от софы.— А вы, позвольте полюбопытствовать, по какому такому поводу? Помолвку отмечаете, что ли?

Альбертас тряхнул головой, покраснел малость, хотел что-то сказать, но его опередила Живиле:

— Ты, Унте, брат крупного партийного товарища, а от буржуазных предрассудков не избавился. Люди отмечали помолвку в старину. А какое же благословение может быть в наше время? Понравились друг другу, решили, так сказать, барахлишко в одну кучу... раз-два — и свадьба. Не правда ли, Альбертас?

Альбертас, чуть заметно улыбаясь, кивнул квадратной головой с густыми, зачесанными наверх серыми волосами.

— Ты как по писаному, Живиле.

— Налей стаканы, Бертас.

Унте грубо вырвал бутылку из Альбертасовых рук, сам налил и залпом выпил все до дна. Вкрадчивая ласковость Живиле, сытое равнодушие Альбертаса бесили его.

— Бертас...— Унте криво усмехнулся.— Не по-нашему звучит,— добавил он с презрением.— Может, скажете, какая у вас, мистер, фамилия? По виду мы вроде бы с вами знакомы. Не тот ли вы самый, который на ровной дороге своему другу подножку подставил?

Хозяйка и ее хахаль переглянулись. Альбертас залился краской, разинул было рот, но Живиле снова вмешалась:

— Ты что-то путаешь, Унте. Мне кажется, дорога была не ровная, а ухабистая, а тот товарищ, которого ты имеешь в виду, хром на обе ноги.

— Ага,— выдохнул Унте, тщетно пытаясь совладать с нахлынувшей ненавистью и вперив взгляд в Альбертаса.— Значит, начали вы не с того конца. Когда же, мистер Берт, день вашей свадьбы?

— Когда окончательно решим объединить манатки, товарищ механизатор. Раз-два и — свадьба,— явно глумясь над Унте, отрезал Гайлюс.

— Сволочи! — Унте самовольно налил в стакан, опрокинул его и снова налил.— Сволочи! — повторил он, вытерев ладонью губы.— Вам наплевать и на свое, и на чужое счастье.

— Счастье...— глубоко вздохнула Живиле.— Ты, Унте, мог бы пойти в ксендзы.

Он ничего не ответил. Потупил взор, уставился на бутылочную этикетку, чувствуя на себе насмешливый взгляд Альбертаса, прикосновение бесстыдных, беспокойных коленок Живиле и ловя себя на мысли, что должен что-то делать, ежели не хочет, чтобы его, олуха царя небесного, осрамили; должен уйти, но вдруг его охватило полное безразличие. Как часто бывало с ним в таких случаях, сегодняшний день куда-то отступил, исчез, вдруг как через растаявшую завесу тумана брызнули лучи солнца, которые когда-то согрели ему душу. Внезапно всплыл в памяти один ясный осенний денек — прозрачный, чуть затянутый трепетным шелком паутины. Запахло пожелтевшей листвой, картофельной ботвой. (Унте всегда печалил этот запах увядающей природы, и в память врезались случайные, не связанные, кажется, ни с какими значительными событиями картины.) Унте обожал осенний печальный покой, и когда тишину взрывал грохот проезжающей машины или отравлял смрад выхлопных газов, он просто-напросто зверел. Однажды, когда его на повороте обогнал грузовик и, ослепив, обдал облаком пыли (большак в ту пору еще не был заасфальтирован), он чуть не сбил мотоциклом какую-то женщину. Поскольку она несла набитую доверху корзи-

ну, Унте решил остановиться и предложил ее подвезти. Женщина что-то ответила ему и залилась смехом. Он не услышал ее слов и выключил двигатель. Потом, как он ни бился, никак не мог его завести. Так они и шли до самой Дягимай: она, толкая мотоцикл, ухватившись за руль, он — вцепившись в багажник, на котором чернела злополучная корзина. Когда они оба добрались до колхозной конторы, у него в ушах стоял звон от ее трескотни: всю дорогу она болтала, что-то рассказывала о себе, удивляя и повергая в изумление Унте своей наивной, простодушной откровенностью, которая всегда сразу подкупала его. Звали ее Живиле, но чаще всего — просто Жильве. Отвратительное имя. Нет, нет, пусть он, Унте, не думает, она не в обиде на мать, не винит ее. Но с другой стороны не скажешь, чтобы она ее любила и уважала, как подобает дочери... Может, в детстве, в незапамятные времена, любила и уважала. А потом они стали постепенно отдаляться одна от другой, отчуждаться, пока в конце концов не стали относиться друг к другу как знакомые, и только. В этом, наверно, и кроется причина того, что она, Живиле, скитается по Литве... Отец? Нет у нее отца... Конечно, конечно, быть-то был, иначе бы и на свет не родилась. Мать уверяла, что отец был порядочный человек и что если бы не его внезапная смерть... Но она, Живиле, ничуть не сомневается, что мать это выдумала, пытаясь утешить себя, оправдать ошибку молодости, подняться в глазах других. Глупая спесь! Словно кому-то важно, умер твой будущий муж за день до свадьбы, не сдержав слова, или сгорел на зорьке ранней в камышах.

Унте прислушивался к ее голосу — в нем изредка звучала скрытая печаль — и искренне сочувствовал ей, прямодушной девчонке, жестоко обиженной жизнью, обделенной родительской любовью. Унте всегда глубоко волновала красота — не важно, в чем воплощенная. Он и теперь не мог надивиться смазливости Живиле, чувствовал какое-то радостное удовлетворение, а вместе с тем и смущавшее его разочарование: ему казалось, что Живиле не может и никогда не сможет проникнуться к другим чувствами, каких сама не испытала в жизни,— не будет их любить, не будет им верить, а это, как ни крути, частенько причина всех наших мук и страданий, но без мук и страданий не дано нам изведать и полноты счастья. Позже, когда Унте ближе узнал Живиле, его просто повергало в отчаянье ее легкомыслие. Порой он даже ловил себя на том, что презирает ее. Но он все-таки больше жалел ее, чем осуждал. А если

кого и осуждал — с нескрываемой ненавистью, так только похотливых мужиков, которые стучались в двери ее комнаты, чтобы только поиграть ее чувствами, удовлетворить свои низменные желания.

— Что с тобой, Унте? Ты что, уснул? Знай: у нас есть еще одна бутылка.

Он поднял невидящие глаза. Из какой-то густой липкой мглы выплыли голос Живиле, Альбертас, плюшевая софа, вернувшие его к действительности.

— Вспомнился мне один денечек,— Унте протянул Живиле стакан, чтобы та наполнила его.— Красивый, солнечный осенний денечек. Ночью были сильные заморозки... Жухлая картофельная ботва... паутина... Молодость.

Он осекся, помолчал, как бы о чем-то раздумывая, и выдохнул:

— Да, да, девушка с русыми волосами... Глаза с поволокой, рот куколки, душа... Несчастная душа... А потом — хлев, свинья в углу хлева... Кто ни зайдет, тот за ушками и чешет. А она, довольная, хрюкает. Почешет, нагадит — и поминай как звали... А она все равно довольная хрюкает.

— Боже, как интересно! — заверещала Живиле, прильнув к гостю. («Снова бедро свое сует, шлю...») — Унте, ты, ей-богу, презанятен, когда выпьешь.

Она рассмеялась, выпила и снова рассмеялась. Может, над Альбертасом, неуклюже обнявшим ее и привлекшим насильно к себе.

«Слюнтяй!»

Унте вдруг почувствовал себя совершенно пьяным. Набрался по уши, как выражается Пирсдягис. Надо встать. Уйти. И Унте ушел бы, не будь Альбертаса. Что, оставить ее с этим надутым индюком, а самому — за дверь? Чтобы этот «Бертас» потом глумился над ним, облизываясь, как кот после сытного обеда? Да ни за что в жизни! Не подохнет мистер, ежели одну ночку не согреется под крылышком Живиле!

— Тащи свою бутылку.

Она принесла водку, достала еще закуски, поставила на стол. Но Унте не притронулся к еде. Отщипнул кусок, чтобы не икать: проклятье, всегда икота мучает, когда заложит крепко. Кажется, Живиле поставила на стол его любимое блюдо — студень. Но он раза два ткнул в тарелку вилкой и отодвинул ее, а потом залез туда и рукавом. К черту еду! Пить! Водки! Вот что смывает с души человека всю накипь! И Унте смывал ее — один стакан, второй, третий!.. Выпил полбутылки, до самой этикетки, это он хорошо

помнит, а дальше сплошной мрак. Все размылось, расплылось: и сонная улыбка Альбертаса, и Живиле, и бутылка на замызганном столе! Он куда-то рухнул, за что-то ухватился, пытался на кого-то напасть или сбежать. Скорее всего — сбежать, в комнате невыносимо, до одури, запахло терновником и можжевельником («Откуда у нее такие духи?»), ему почудились вдруг похороны, скорбные голоса, шаги... Живиле или Альбертас (да, Альбертас) столкнули его с софы. Теперь Живиле льнула к нему другим своим бедром, а чьи-то грубые пальцы орудовали на макушке, боронили его волосы. Потом все сгинуло, и только из черной пустоты доносились бессвязные, невнятные и заговорные слова женщины:

— Альбертас, кому сказано? Тебе или псу? Ступай домой!

Альбертас ушел. Ясное дело — ушел. Иначе Живиле не лежала бы рядом с ним. Но какое свинство он ему перед уходом учинил, сын собачий! «А может, это она сама перетащила его к себе в кровать?»

— У, гадость! — Унте срывает с себя одеяло, вскакивает с кровати. Господи, как трещит голова! Кажется, кто-то кол в затылок вбил.— Пить... Есть у тебя что-нибудь?

— Водка осталась,— заговорщически шепчет Живиле.— Пошарь под кроватью... я сунула ее туда. На похмелку...

— Водка? Смотреть не могу. Чего-нибудь кисленького дай. Простокваши, что ли? Где тут выключатель? Надо свет зажечь...

— Мой выключатель у меня,— мурлычет Живиле и пинает его оголенным коленом.— А вот где твой, позволь у тебя спросить, ежели ты о простокваше, когда девка под боком?

— Горбатого могила исправит. Почему ты меня, Живиле, не выгнала взашей? Не спровадила? Я бы тебе только «спасибо» сказал. Зачем ты меня в постель затащила?

— Это Альбертас придумал. Ты же знаешь, он большой шутник.

— Так я и думал. Сопляк! Перед отцом на задних лапках ходит, а в чужом доме ерепенится. Но и ты хороша. Кто я тебе? Жених, что ты ко мне под одеяло лезешь? Стыда у тебя ни на грош!..

Живиле молчит. Даже ее дыханья не слышно.

С грехом пополам Унте добирается до выключателя, зажигает свет, с шумом утоляет жажду потеплевшей за ночь водой, зачерпывает кружку, выливает себе на голову.

Растерянно слоняется по комнате, сжимает руками виски, стараясь унять и боль, и гуд. Одеться. скорей одеться — и дёру! Штаны он натянул еще в темноте. («Они даже меня раздели, гады! Вот это да».) Унте напяливает пиджак, опускается на софу, обувается. Остатки пищи, грязная посуда, загаженный, заваленный окурками столик, заплеванный пол... Воздух сперт, дышать нечем. Плюшевая софа завалена одеждой Живиле — платьице, свитер, сорочка... От них разит терновником и можжевельником. Ужас!

— Ты погибнешь, Живиле,— ворчит Унте, не столько жалея ее, сколько сетуя на злополучную ночевку.— Зря ты якшаешься с этим Альбертасом. Думаешь, он женится на тебе? Даже захоти он взять тебя в жены, его папаша никогда не согласится... ни к чему ему такая невестка... Каждому дураку ясно: ничего из этого не выйдет. Потаскается, потаскается и бросит.

Кажется, она прыснула. Глухо, из-под одеяла. Унте косится на кровать. Головы Живиле не видно, только на подушке разбросаны русые пряди. Но в ее приглушенном, как бы запутавшемся в этих прядях голосе, доносящемся из какой-то неведомой дали, ничего веселого... ни капельки, нисколечко.

— Пусть бросит. Другой найдется. Разве важно — тот или этот? Делать это каждый умеет... каждый, кто хочет... Все вы, паразиты, думаете, что женщине от вас только этого и нужно... что этого ей достаточно.

— В том-то и дело, Живиле, что недостаточно,— оживляется Унте, удивленный переменой ее настроения.— Все эти приключения, удовольствия... Я не говорю, что человек должен быть святым, но ежели он, так сказать, только это, понимаешь, делает, не может удержаться... и вообще... Ясно тебе?

Живиле качает головой.

— Как-то, знаешь, низко... стыдно... по-скотски, что ли... Говоришь, не важно, тот или этот, ежели без любви. Согласен. Любовь, Живиле, в первую очередь... она — главное, вот что! Но любовь сама не приходит. Терпи, значит, жди, не суетись... придет... Вот увидишь, Живиле, придет!

— Придет...

Только теперь он замечает, что она лежит лицом к стене.

— А ты откуда знаешь, может, уже пришла? Может, он милее всех других? И лучше, и красивее? Я бы ему ноги

мыла и воду пила, будь он моим. Но он никогда из-за меня не бросит ни детей своих, ни жену, стань я даже ангелом.

Унте опешил. Вот это да! Вот это врезала! Мотая тяжелой, как бы стянутой железными обручами головой, он зачерпывает из ведра еще одну кружку, жадно выпивает («Черт побери, как во рту горит!») и — за полушубок.

— Ну, я пошел, Живиле. Ты уж близко к сердцу не принимай мое вчерашнее свинство. Не сердись. Ляпнул спьяна...

Кровать скрипит, скрип замолкает. Унте стоит у дверей, ждет: может, она что-то скажет. Но до слуха долетает только всхлипыванье, тихое, едва уловимое, и Унте весь напрягается.

— Что стряслось, Живиле! Я тебя обидел? — Унте подходит к кровати, с минуту стоит неподвижно, следя за тем, как мелко подрагивает одеяло, и не знает, что делать.— Я, правда, не все твердо помню, но вроде бы я ничего такого... Чего ты плачешь, Живиле?

— Иди, иди! Беги к своей Салюте,— неожиданно сбрасывает она с головы одеяло и садится в кровати. Побледневшие (или поблекшие) щеки в слезах, в карих глазах — ярость зверька, у которого хотят отнять добычу.— Ничего такого... Проповедник несчастный! Не сердце у тебя, а камень, на который пьяные... Чеши отсюда, да поживей, чего стоишь?

— Ты что-то путаешь, Живиле...

Он произносит эти слова невнятно, бормоча себе под нос, оглядываясь. Унте словно чужими руками хватает дверную ручку и вываливается во двор. Заметенная снегом тропка, пытающаяся догнать проселок... Асфальт. За спиной, на птицеферме, весело кукарекают петухи, возвещая новый день; он занимается на востоке, окрашивая в светло-розовые тона усыпанный звездами небосвод. Но что Унте небосвод! Живиле! Боже ты мой, как она смотрела! Была в ее взгляде и злость, очень много злости, и беспомощная ярость, и даже ненависть. Но сквозь эту злость, это яростное бессилие и ненависть пробивалось то, что даже слепой бы увидел...

— В самом деле, рехнулась, что ли? Только этого мне не хватало.

Часть вторая

СТАРШИЙ БРАТ

I

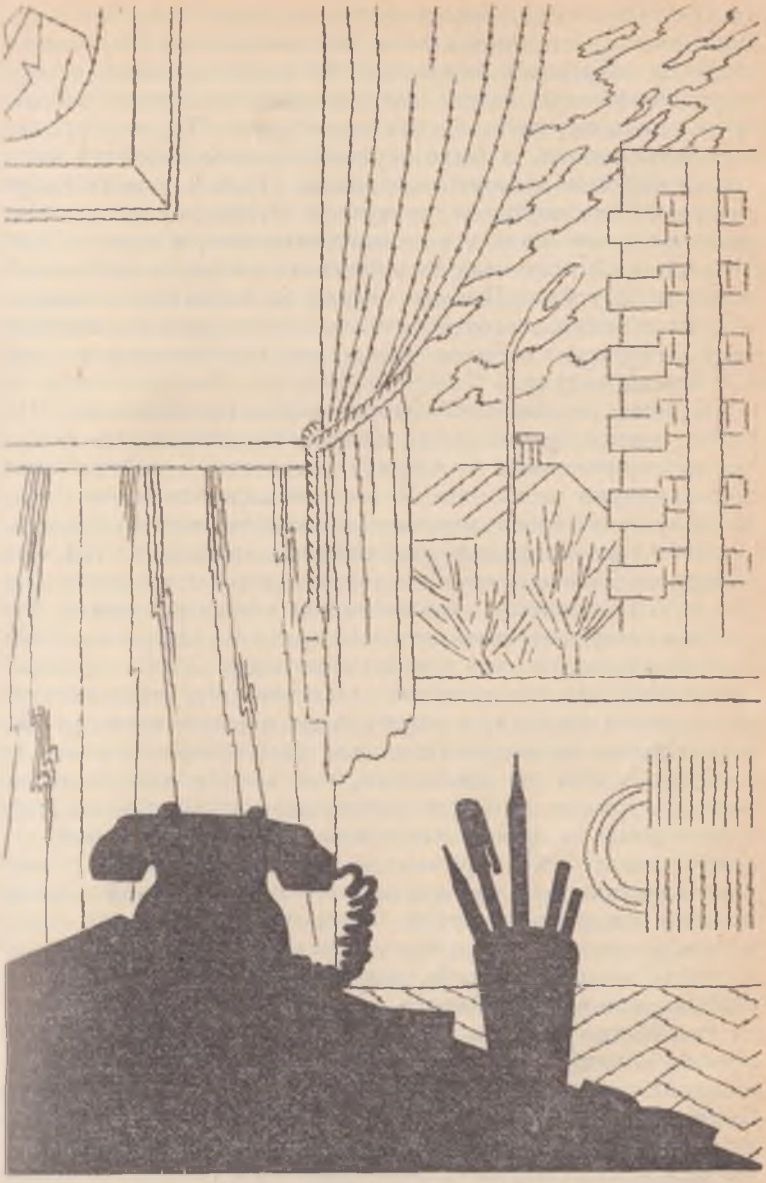
Ушли... Первым ушел Унте, этот вечный правдоискатель. За ним и она, Юргита. В кабинете до сих пор стоит легкий аромат ее духов. Он до сих пор чувствует на губах вкус ее озорного поцелуя. А какие у нее глаза! Взглянет и обожжет, во взгляде — любовь и преданность. И еще какая-то тревога. Кажется, капнули мутную дождевую каплю в стакан чистой воды. Скорее всего, ее обидел Унте своим отказом от обеда. Правда, он и любопытство ее разжег: интересно, по какому делу пожаловал? Но Юргита из приличия ни о чем не спросила. Она прекрасно понимает: нет и не может быть между нами никаких секретов. Рано или поздно все равно ей все расскажу.

С Ефимьей было иначе. С самого начала, с первых же дней, между нами была стена недоверия. Порой рухнет, но ненадолго, а затем обнаружится еще более глубокая пропасть. Пятнадцать лет прожили мы с тобой под одной крышей! Вместе нажили двух детей... Не подобает вроде бы поминать тебя худым словом даже в мыслях, но и хорошего в памяти не осталось. Почти ничего. Хотя, видно, было и другое... Миг, другой... Ни дать ни взять промельк, блестка сусального золота... Частенько я корил себя за припадки откровенности, когда доверял тебе то, что хранил в тайниках души, куда и сам не очень-то отваживался заглядывать. Тогда ты не осудила меня, но, увы, не сумела и понять. Но я тебя не виню, не упрекаю: не каждому дано глубоко и сильно любить. Ты что-то, правда, буркнула в ответ, хотела вроде бы утешить, но тут же спохватилась и добавила, что сама не стала бы из-за этого так волноваться... Не стала бы... Не знаю, может, сказав это, ты желала показаться благородной, но я почему-то почувствовал себя униженным, ничтожным и вдруг поймал себя на горькой мысли, что пропасть между нами все больше и больше растет.

Конечно, я не отрицаю, у тебя, как у каждого, были свои заповедные душевные уголки, но для меня они всегда оставались закрытыми и недоступными. Порой, правда, удавалось заглянуть туда, но ты тотчас отшатывалась от меня или я сам отшатывался в испуге — до того все казалось мне там чуждым. Чуждым как тогда, когда, еще ничего друг от друга не скрывая, ты не то с сочувственным презрением, не то с презрительным сочувствием бросила: «Я не стала бы из-за этого волноваться!» На твоем месте и я, пожалуй, не волновался бы. Но согласись, мы были разными, мы с тобой родились и выросли под разными небесами. Кажется, одно солнце в небе, да и то неодинаково греет. Ты была из тех, кому были открыты все пути, а я жил среди тех, к кому относились с недоверием, и страшно хотел учиться.

Я приехал в Вильнюс с фанерным сундучком, набитым колбасой и копченостями. До сих пор помню их запах... Мать сунула и банку с топленым жиром — когда я учился в Епушотасской гимназии, он не раз меня выручал. Во внутреннем кармане пиджака лежал аттестат и комсомольский билет: комсомольцу куда легче было поступить в вуз, чем другому выпускнику. По правде говоря, те, что вручали мне билет в райкоме, понимали: товарищ Гиринис еще не очень тверд в своих убеждениях, еще не до конца осознал величие наших идеалов, за которые борется наша передовая молодежь и готова, если понадобится, умереть. Но я был одним из лучших учеников в классе, родители к советской власти относились лояльно, богачами не были, и мне предложили вступить в комсомол. Да, но в политическом смысле я был еще зеленый... Ничего, ответили мне, созреешь, есть время. Главное — добрая воля, отрезал комсорг школы, когда я попытался возразить ему. Я отнекивался, конечно, не из скромности или, не дай бог, из иных соображений — просто знал, что родители никогда не одобрят такого шага, они всегда настороженно относились к принадлежности любой организации. Дети должны учиться, а не морочить себе голову политикой, говаривал отец, а мать согласно кивала головой. Но комсоргу я об этом не рассказал: я боялся бросить тень на родичей, хотя, как потом понял, причина была в другом — в моем непомерном самолюбии... И еще мной помыкал страх — как же я признаюсь, что меня, эдакого дылду, мамочка за ручку водит?

Сегодня я нет-нет да переношусь мысленно в ту далекую пору, отыскиваю крутые повороты своей жизни, обдумываю каждый шаг и говорю себе: годом раньше, годом позже ты, Даниелюс, все равно вступил бы в комсомол, без



всякого наущения. Сызмальства, как и все в нашем роду, я не терпел несправедливости, да и выдумщик я был завзятый, что называется, мечтатель; частенько, не смыкая глаз, строил сказочные замки, где все жили счастливо, в братском согласии, не предавая друг друга. То, что сулила советская власть, и было осуществлением одной из моих грез, совпадало с моими идеалами. Правда, жизнь скоро показала, что дорога к желанному будущему не устлана розами, но все же она и не плод вымысла, я верил в нее, хотя со всей ясностью сознавал, что сверну с избранной стези на другую... Причем сверну не случайно, а в силу многих горьких обстоятельств, выберу профессию партийного работника, и она поможет мне осуществить то, что я в жизни задумал.

Я долго скрывал, не говорил родне про комсомол. Но в один прекрасный день все всплыло на поверхность. К моему удивлению, родители приняли новость спокойно. Только упрекнули за то, что не посоветовался с ними. Отец, тот обиженно бросил: как постелешься, так и спать будешь.

Тебя тогда, Ефимья, еще в Литве не было. О том, что творилось у нас в первые послевоенные годы, ты знаешь по рассказам — большинство из них не в ладу с истиной. Ты не была свидетельницей того, как приходят ночью одни, все переворачивают в доме и, всласть потешив душу глумлениями и угрозами, возвращаются обратно в лес, чтобы назавтра снова сеять панику и смерть. А днем появляются другие, наши, снова переворачивают все вверх дном, угрожают, требуют, чтобы ты признался, кто к тебе наведывается ночью,— и к соседу. Тот встречает их, как ксендза во время колядованья,— дрожит как осиновый лист, без устали головой кивает. Тебе, Ефимья, не пришлось жить под двумя властями, как меж двух огней. На стороне одной — сила и закон, на стороне другой — бессилие, неизбежное поражение и ярость: во что бы то ни стало кровавой местью отстоять прошлое. Я тебе рассказывал, но сам никогда не слышал, как рыдают близкие над могилой. У ямы, бывало, по два, по три гроба, и хоронят не только мужиков, но баб и детей — вечная им память! Случалось, и яму нечего рыть, и оплакивать некого: ворвутся ночью, уведут («Предатель! Смерть тебе!»), и нет человека, исчез, испарился, как в воду канул. Или в какой-нибудь денек возле Епушотасского костела уложат трупы: авось какая-нибудь мать, проходя по рыночной площади, узнает своего сына, или сестра — брата. Но куда там! Пройдет мимо, не выдаст. И только в том месте, где сына, грязного, окровавленного, босоного-

го, зароют, там будет мать на коленях ползать, кричать от горя не своим голосом, целовать лоскуток неосвященной земли, приютившей ее любимое чадо. Да, Ефимья, месть порождала месть, страх порождал страх. Ляжешь вечером и не знаешь, встанешь ли поутру. Даже если ты держался золотой середины — не за тех, не за этих,— ты все равно не был уверен в том, что ночью в твою дверь не забарабанит дозорщик, а на зорьке не нагрянут люди Жгутаса-Жентулиса. Если врасплох не застигнут, ты, конечно, выкрутишься. Выкрутишься, если не поймают тебя с поличным. Но узелочек на память завяжут: ты уже на подозрении. А коли ты на подозрении, коли тебя в меченые записали, то не удивляйся — пожалуют к тебе гости с автоматами и скажут: «Приготовься в дорогу... в дальние края!...»

Таким, Ефимья, я оставил свое село, когда отправился в Вильнюс на филологический. Город поднимался из развалин, неуютно было в нем чужаку. В общежитии теснота, койка возле койки, шум, гам. Чужие лица, толчея, мрачные, пропахшие средневековьем коридоры. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким, таким растерянным и неприкаянным, как тогда. Город казался мне огромной тюрьмой, куда по собственной воле попадают те, кому деваться некуда. Я тосковал по деревне, частенько жалел, что оставил ее, но все-таки не мог себе представить, как сложилась бы там моя жизнь. Нет, меня не пугали ни грязь, ни керосиновая лампа, ни скука, ни дождливая осень, меня не кидало в дрожь при мысли о долгих зимних вечерах, когда за окнами неистовствует ветер, а для тебя, молодого, полного сил и жажды деятельности, весь мир замыкается на двух-трех дворах, куда можешь зайти в гости. Я был дитя деревни. Но в ту пору деревня — моя родина, моя колыбель — оказалась в гибельном водовороте крови, слез и насилия, каждую минуту он мог вовлечь и меня. Мне не хотелось умирать. Я боялся смерти — однажды я уже на своей шкуре испытал ее ледяное дыхание.

— А, Гиринисово отродье! Здорово, тайный комсомолец! Что, под рождество на каникулы пожаловал?

Меня обступили трое. Они словно из-под земли выросли. В руках автоматы, полушубки перепоясаны широкими офицерскими ремнями. А мело!.. В сумерках нельзя было разглядеть лица, но тот, кто окликнул меня, был мой знакомый, мы с ним когда-то учились в гимназии, я его сразу по голосу узнал. В прошлом году после летних каникул он в класс больше не пришел, а вскоре по гимназии пополз слушок, что он связался с лесовиками.

Один из тройки схватил меня за лацкан пальто, выбив сапогом из рук портфель, и так ударил, что я отлетел на обочину и плюхнулся в сугроб.

— Предатель!.. Пулю ему в лоб!

— Не стоит из-за такого сморчка патрон холостить,— с презреньем бросил третий.— Повесить его на собственном ремне, и вся недолга. Или — чего возиться? — садануть прикладом по башке, пусть подыхает в снегу.

— Встань! — заорал тот, с которым я когда-то учился в гимназии.— Ты знаешь меня? Знаешь, продажная шкура, не отнекивайся! — рассвирепел он, когда я молча замотал головой.— Но мне теперь все равно: родителей моих вывезли, а на родню мне начхать. Ничего не боюсь. Понимаешь, что тебе говорит Альгирдас Бутвила, большевистское отродье? Ничего не боюсь.

Да, я понимал, что он говорит, очень хорошо понимал: ему нечего было терять. Нечего, кроме жизни, поставленной на карту.

Я невольно прикрыл ладонью сердце. Оно билось громко и безнадежно. Долго ли осталось?

— А ну-ка выкладывай свое собачье удостоверение. Ты что, не слышишь? Где твой комсомольский билет, спрашиваю?

Я стоял как вкопанный. Впервые в жизни меня охватило такое странное состояние: в голове светло-светло, мозг работает безотказно, а тело сковано намертво: шага не шагнешь, языком не пошевелишь, сухие, как наждак, губы не оближешь...

Я не заметил, кто из них ударил меня кулаком по лицу первый. Посыпался град ударов — в голову, в плечи... Меня пинали ногами, когда я рухнул на твердый, накатанный санями, проселок. Обыскали все карманы, отодрали подкладку пальто и бросили меня, избитого, окровавленного, почти без сознания. Комсомольский билет они все-таки не нашли. Отправляясь из Епушотаса домой, я зашил его в правой штанине. Они бросили меня и скрылись так же неожиданно, как и возникли. Я долго не мог взять в толк, почему меня не укокошили. Может, засомневались: комсомолец ли я? А может, в последнюю минуту в Альгирдасе Бутвиле проснулся человек? Может, вспомнил он, как мы оба выступали за гимназическую баскетбольную команду? Нет, все было куда проще: видно, кто-то из них учуял что-то подозрительное, и все сиганули в кусты. Надо сказать, они вовремя улепетнули. Еще минута, и попали бы в руки к Жгутасу-Жентулису. Его люди преследовали банду Бут-

нды. Осенью, когда я вернулся в Вильнюс, в университет, я уже знал, какие чувства одолевают человека, оказавшегося с глазу на глаз со смертью.

А ровно через два года, когда я перешел на третий курс... Да, Ефимья, мне было трудно поверить в то, что сказал мне комсорг факультета. — — —

десять тысяч голов. Настоящую фабрику свинины! Если строительство не оправдает себя, как ты думаешь, кто ответит? Аполинарас Малдейкис! То-то... И я, брат, рискую. Пусть не по своей инициативе, но рискую.

Даниелюс. Жизнь рассудит, кто прав, кто неправ. Мое мнение — такие гиганты строить нечего. Для начала разумней построить один комплекс на две-три тысячи голов. А потом посмотрим.

Малдейкис. Может, ты и прав, но я, брат, согласен с мнением вышестоящих товарищей. А что слышно со строительством фабрики в Гедвайняй? Ведь ты, кажись, всему этому голова...

Даниелюс. Голова, голова!.. Взвалили ответственность на мои плечи... как бы не надорваться.

Малдейкис. Не скромничай. Знали, на чьи плечи валить. Ну и везет же тебе, Даниелюс, такая махина строится. Лучшего повода показать, на что ты способен, и не найти. Мне бы такой... Я бы, брат, себя показал — у всех бы в глазах зарябило! А теперь день и ночь господа бога распекаю, почему он, всемогущий, не пустил воды Скардуписа через мою Лаукуву.

Даниелюс. Я бы охотно поменялся с тобой.

Малдейкис. Один или с женой?

Даниелюс. Я серьезно. Эта фабрика, Аполинарас, как жернов на шее.

Малдейкис. Не бойся: на дно не утянет. Только почета прибавит. Знаешь, как Епушотасский район загремит, когда задымят фабричные трубы. В тот день, помяни мое слово, тебе правительственную награду подкинут. Очень высокую. Даже, может быть, высшую.

Даниелюс. Что же, спасибо за такую щедрость. Счастлив, тронут до глубины души. Прослезился бы от радости, кабы...

Малдейкис. Кабы что?

Даниелюс. Кабы не те нерешенные проблемы.

Малдейкис. У тебя что, со стройматериалами туго? Сроки поджимают?

Даниелюс. И туго, и поджимают. А где рабочую силу взять? Хоть голоси.

Малдейкис. Да, нелегко тебе с твоей принципиальностью... Представляю! Мой совет: больше организационной тонкости, гибкости, братец. Главный таран не принципиальность, а «связи, которые в порядке, и взятки, которые гладки»... И тогда все проблемы рухнут, как карточный домик. Попробуй! Как другу советую.

Даниелюс. Не старайся казаться хуже, чем на самом деле. Не знай я тебя, мог бы подумать, что ты и впрямь дорогу себе тараном пробиваешь.

Маздейкис. Не пробиваю, но иногда опираюсь на него, как на палку. Удобно... Так как же все-таки обстоят дела с фабрикой? Может, я, как сосед, могу тебе чем-то помочь?

Даниелюс. Не думаю. Проблема куда серьезней, чем тебе кажется. Желая мне помочь, ты должен бы, как волшебник, махнуть палочкой и остановить строительство. А еще лучше, если бы вообще его не начинали.

Маздейкис. Ты выражаешься загадками.

Даниелюс. Ты же знаешь мое мнение... Я сдержанно отношусь к стройке. Я ее одобрил потому, что не могу не подчиниться партийной дисциплине, и возражал не потому, что поддерживал мнение большинства колхозников. Да и не только колхозников. Многие скептически смотрят на чрезмерную индустриализацию района.

Маздейкис. Вот это уже, братец, не партийный подход.

Даниелюс. Но и не приходский, не провинциальный, продиктованный местным патриотизмом, как это мне когда-то хотели приписать некоторые. Совсем недавно Даниелюс Гиринис был прав. Когда обсудили мои возражения, строительство в Гедвайняй приостановили на целый год. Высказывались серьезные сомнения, стоит ли вдали от источников сырья строить крупную фабрику, да еще при отсутствии квалифицированных местных кадров и рабочей силы. Тем паче что идею строительства фабрики не одобряют жители района. Я бы покривил душой, если бы сказал: нет, никакие сантименты не повлияли на мою точку зрения. И отлично понимаю переживания отца, брата Антанаса. В конце концов земля эта не чужая, я болею за свою деревню, где такая фабрика никому никогда и не снилась. Хочешь не хочешь, но получается так: сердцу ближе то, что рядом, что помнишь с детства. Видать, крепко во мне крестьянская жилка сидит и трудно, а порой и невозможно, побороть свою инертность. Но, поверь, сантименты меньше всего решали — быть фабрике или не быть. Прежде всего я посмотрел на дело как гражданин, как коммунист, а не как сентиментальный романтик, каковым иные меня считают. Стоит ли государству за сотни, тысячи километров везти сырье на фабрику? Ведь при перевозке готовой продукции можно сэкономить миллионы рублей. А кадры для будущего предприятия? Специалисты, рабочая сила? Они

с неба не падают. Даже десять районов, объедини их, не обеспечат ими фабрику. Придется рабочих привозить из других мест. Рационально ли это? Зерна больше не станет от того, если пересыпаешь его из одного мешка в другой. Это одна сторона медали. А другая — отрицательное влияние фабрики — тут ты и свою родную Лаукуву приплюсуй — на производство сельхозпродукции. Ведь этот ненасытный гигант проглотит уйму сельских жителей, позарез необходимых колхозам. Мы избежали бы такой опасности, будь в колхозах восьмичасовой рабочий день, постоянный отдых, отпуск и тому подобное. Увы!.. Фабрика растет быстрей, чем рабочая сила на селе. Поэтому-то, Аполинарас, и болит душа из-за этих скороспелых строек, и я не устану повторять, что на наших урожайных нивах государству выгодней выращивать зерно, мясо, а не производить промышленные изделия.

Малдейкис. Это тебе так кажется. Кроме тебя, есть еще люди, что стоят повыше. Ежели уж они такое строительство затеяли, стало быть, на то были веские причины... Наверху могли и не посчитаться с твоими аргументами.

Даниелюс. Все решило географическое положение. Удобные дороги, река... И еще кое-что... Эх, лучше не вникать, все равно речами делу не поможешь. Теперь не это главное. Я коммунист. Я должен сделать все, чтобы фабрика была построена и своевременно сдана.

Малдейкис. Наконец-то ты образумился. Откровенно говоря, тебе давно пора угомониться, не осложнять жизнь ни себе, ни другим.

Даниелюс. Советовать легко!..

Малдейкис. Пойми, не наше дело обсуждать то, что давно решено не нами. «Там лучше знают». Так, Даниелюс, и о нас наши подчиненные говорят. И вечное блаженство, покой и душевное равновесие — их спутники. Учись у своих подчиненных!

Даниелюс. Постараюсь. Но прежде всего — у тебя: лучшего учителя вряд ли сыщешь!

Малдейкис. Ха-ха-ха! Погоди! Что-то я тебе еще хотел сказать. А-а!.. Встретил я твою бывшую супругу. Ехала мимо и завернула. Навестила по старой памяти. Говорит, в Гедвайняй переберется. На стройку. Будет у тебя, Даниелюс, под боком знакомая медсестра... Нет, нет, я не иронизирую, я просто диву даюсь: Ефимья не может выбросить тебя из головы. Погоди! Кто-то звонит!.. О дьявол!.. Вильнюс! Я так и не успел сказать тебе о глав-

ном. Прости, Даниелюс, попозже звякну. Вот это житуха! С другом и то некогда поговорить... — — —

— Недоразумение? — товарищ Заука побагровел, стал заикаться: до того озадачило его мое упорство.— Кто лучше знает: соседи, родственники или те, кому поручено такими делами заниматься? Ты что, сомневаешься в правоте советской власти?

Меня вдруг охватило точно такое чувство, как в тот зимний вечер, когда поперек дороги встал Альгирдас Бутвила со своими подручными.

— Этого я не говорил, товарищ Заука. Я комсомолец — как я могу сомневаться? Но если бы вы лично знали дядю Теофилюса... ничего не понимаю... Скажите, что с ним стряслось?

— Стряслось то, что должно с антисоветским элементом стрястись: в его усадьбе обнаружили гнездо бандитов. Мой совет: поменьше думайте об этом своем дяде, лучше позаботьтесь о себе. Вам, надеюсь, не надо объяснять, что такие связи не украшают комсомольца. Отнюдь.

У Теофилюса Гириниса бандиты? Неслыханно! Когда я приезжал на летние каникулы, он при мне возмущался кровавыми делами лесовиков, говорил, что для них куда лучше было бы, ежели б они вняли призыву властей и как можно скорей сложили оружие. Никогда не поверю, что этот миролюбивый прямодушный мужик оказался двурушником.

— Ты хороший комсомолец,— продолжал комсорг.— Деятельный, дисциплинированный. Достаточно сознательный, чтобы понять и поддержать меры советской власти, даже если они касаются твоих родственников. Бюро первичной комсомольской организации,— словно читая газету, продолжал Заука,— предлагает тебе выступить на открытом комсомольском собрании, принципиально заклеймить Теофилюса Гириниса и решительно порвать с ним.

— Мне надо на денек съездить домой,— сказал я, подумав.

— Что ж, поезжай, если считаешь, что комсомол занимается наветами. Только запомни: по какой бы причине твой дядя Теофилюс Гиринис ни оказался за тысячи километров от родной деревни, от Епушотаса, он — враг народа. А ты — его близкий родственник. Полагаю, такому студенту в комсомоле и университете не место.

Через неделю состоялось комсомольское собрание. Так уж случилось, что накануне ко мне в Вильнюс приехала мама. Нет, в усадьбе дяди Теофилюса не было никакого бандитского гнезда, они просто раза два заглянули туда

среди ночи, кто-то донес, и нет человека. Возможно, я должен был сказать маме, что завтра комсомольское собрание, что я самыми суровыми словами скажу о тех, кто смеет подать лесовикам кружку воды, и предательски отрекусь от дяди Теофилюса, хотя и любил его сызмала и уважал как отца родного. Но я молчал. Мне было стыдно, я терзался своей трусостью, краснел при одной мысли, что последним пунктом повестки дня значится проверка моей преданности, унизительная исповедь, которую будут слушать сотни студентов. А ведь должен был я сказать вот что: «Поймите этого человека! Что он, безоружный бедняга, мог сделать, чтобы бандиты к нему не заглядывали? Он осужден несправедливо. У меня нет основания, я не могу и не хочу оплевывать его!» Но я, Ефимья, не осмелился произнести вслух то, что думал. Я решил, что, обливая грязью близкого человека, защищу свое право носить в кармане не только комсомольский билет, но и зачетную книжку. Я знал, что потом, когда встречусь с отцом, услышу от него горькие и безжалостные слова:

— Такого человека продал. Ничего не скажешь — лихо, сынок, начинаешь.

А ты, Ефимья, за мою откровенность потом мне еще и отомстишь. Сердясь на меня, вымещая на мне свою злость, желчно бросишь:

— Мелкобуржуазный либерал! Заладил: человек, человек. Мягкосердечие и классовая борьба несовместимы.

«Неужто человечность — недостаток коммуниста?» Но и опять я не отважился произнести вслух то, что думал. Я не стал с тобой спорить, Ефимья... Просто удивился: неужели ты моя жена? Неужто сын наш, первенец, плод любви, а не обыкновенного мужского вожделения,— ошибка? Не слишком ли дорого я за нее заплатил? Я почти ненавидел тебя, Ефимья. Ненавидел и боялся... Тогда я еще не встретил свою женщину, но не сомневался: она есть и мы с ней обязательно встретимся.

— —

— —

Секретарша. Лаукува. Товарищ Малдейкис.

Даниелюс. Хорошо. Спасибо. Алло, алло! Слушаю тебя, Аполинарас.

Малдейкис. Начну сразу о деле — чтобы успеть, а то снова прервут. Между прочим, я о том же и с Вильнюсом толковал. С товарищем Багдонасом. Но сперва вот что мне скажи: как ты собираешься провести уик-энд? Ведь послезавтра суббота.

Даниелюс. Не знаю. Собирался вроде бы на охоту. Но иногда и дома не грех посидеть. У телевизора. Книжку полистать. Люди читают, а я, так сказать, в хвосте плетусь...

Малдейкис. Догонишь... Говорят, ты стишки пописываешь? Лучше скажи прямо — боишься молодую женушку оставить. Что ж, понимаю, ведь ты сам еще не старик. Но и женушка должна понять. Она у тебя умница... и красавица, каких мало! Ты обязательно шепни ей мои слова. Скажи: Аполинарас Малдейкис шлет, так сказать, поклон сердечный.

Даниелюс. Перед моей женитьбой ты вроде бы другую песню пел?

Малдейкис. Не ревнуешь ли ты, старина. Не бойся. Наша многолетняя дружба крепка как сталь. Раз ты на охоту собирался, я тебя и приглашаю на воскресную...

Даниелюс. В воскресенье?

Малдейкис. Да, да, на воскресную охоту. По тону твоему чую: хочешь отвертеться. Прошу тебя, подумай хорошенько. У телевизора еще насидишься с женушкой в обнимку, а такая охота не каждый день. Приезжает сам товарищ Багдонас. С ним еще какой-то товарищ, повыше его... Поохотимся, а потом у камина по-дружески... в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания потолкуем, рюмашку выпьем. Такие встречи с вышестоящим начальством на пользу району.

Даниелюс. Дела района я решаю в своем кабинете, а не у камина. И без жаркого из кабанины.

Малдейкис. Решай себе на здоровье. Твои принципы всем известны. Но почему бы не побродить с двустволкой под мышкой по перелескам? В нашем возрасте во избежание инфаркта полезно подышать свежим воздухом.

Даниелюс. Хорошо на природе... Особенно зимой... в погожий денек... в лесу...

Малдейкис. Значит, договорились?

Даниелюс. Все зависит от погоды... Посмотрим. Твердо не обещаю.

Малдейкис. Включаю тебя в список гостей. И, пожалуйста, никаких возражений. Не станешь же ты портить отношения со своим ближайшим соседом?

Даниелюс. Пойми, не один я живу...

Малдейкис. Жену куда-нибудь отправь. Не бойся... И не забудь ей передать от меня привет и рученьку поцеловать. Чего доброго, твой отъезд еще ее обрадует. Ведь и женщина, особенно молодая и красивая, должна, хоть

в воскресенье, отдохнуть от семейного счастья. Будь здоров, старина! До скорой встречи в Лаукуве.

...Отдохнуть от семейного счастья... И это о тебе, Юргита. Ах, Аполинарас, Аполинарас, обязательно ком грязи швырнет. Иначе не может... И в этом они схожи: он и Ефимья. Если послушать их, то от красивой молодой женщины, вышедшей замуж за человека старше ее, всегда жди измены. Кто сам не любит, тот не верит в любовь. Какая, мол, любовь, обыкновенный мезальянс, желание обеспечить себе солидное положение, и только. Ах, горемыки, горемыки! Если бы они могли, Юргита, хотя бы на денек-другой перенестись в ту пору, когда я встретил тебя и в моем заскорузлом сердце что-то вдруг проснулось, вспыхнуло, встрепенулось от любви! Если бы они вдруг очутились в том пустынном курортном городке, где Великий случай свел нас с тобою, если бы прошли по-над Нямунасом по старому сосняку, по нашим счастливым следам...

Все еще так живо, так свежо в памяти: и этот парк с поредельми деревьями, и крутосклон над рекой, и тропка... И медленно идущая по этой тропке девушка — волосы распущены, черные глаза, в глазах тайна... Я догадывался, что за ее сдержанностью и нелюдимостью скрывается какая-то житейская драма... И только издали — взглядами и в мыслях — бродил за ней, одинокой, выделяющейся в толпе своей неброской печалью, по паркам чистенького, почти игрушечного курортного городка. А потом...

II

Наконец она справилась со своим недугом, с облегчением подумал Даниелюс.

Сердясь на самого себя, он почему-то стеснялся сказать ей, кем работает. Охотнее он представился бы инженером или агрономом, но девушка смотрела на него с таким доверием и искренностью, что не осмелился соврать.

Когда они оба поднялись, в столовой, кроме них, не было ни души: за разговором они не заметили, как прошло обеденное время. Даниелюса так и подмывало пригласить Юргиту погулять по парку, но у него снова не хватило смелости. Только через неделю, когда они стали — пусть и официально,— обращаться друг к другу по имени («товарищ Юргита», «товарищ Даниелюс»), он решился предло-

жить ей билет на концерт какого-то залетного эстрадного ансамбля, хотя сам предпочитал классическую музыку. Даниелюс ничуть не сомневался, что она будет довольна, но Юргита не проявила никакого восторга.

— Эстрада — это музыка вашего поколения,— сказал он, когда концерт закончился.

— Музыка всех поколений — хорошая музыка,— сухо ответила она.

Он одобрительно кивнул. В душе даже обрадовался: их вкусы совпадают!

Назавтра Даниелюс пригласил ее в кино, а в конце недели Юргита как бы невзначай обронила, что в субботу в большом зале санатория состоится вечер отдыха и что, было бы с кем, охотно пошла бы.

Он сделал вид, будто не расслышал, однако в субботу отправился с ней на танцы. «Кто-нибудь пригласит ее, и я исчезну»,— решил он, поймав себя на мысли, что он не пара для молоденькой плясуньи.

Но когда другой пригласил ее, он даже вспотел от нетерпения: скоро ли, скоро ли конец? Затем весь вечер не отпускал ее. Стеснялся ее молодости, бледнел и краснел, когда поблизости кто-нибудь двусмысленно смеялся («Это надо мной, черт побери!»), и тем не менее толкался в танцующей толпе, кому-то наступал на ноги, стукался плечами, извинялся. «Неужто это я, Даниелюс Гиринис? — спохватывался он в минуты отрезвления.— Ответственный партработник, отец двоих детей? Можно подумать, будто мне шестнадцать, будто я мальчишка, первый раз пригласивший девчонку на танец...»

Утром он позавтракал в номере, а обедать явился последним, чтобы не застать Юргиту. И к ужину опоздал. Но на другой день сдался: желание увидеть Юргиту оказалось сильней. «Мало того что на танцах осрамился, так еще прячусь, как набедокуривший школьник!.. Бог весть, что она обо мне подумает... Ну и пусть себе думает на здоровье!» — пытался он себя утешить.

— Случилось что-нибудь? — встревоженно спросила Юргита, когда Даниелюс как и обычно появился вечером в столовой.— Скверно себя чувствуете? Или другие земные заботы гложут?

— Ничего особенного, товарищ Юргита,— ответил он, пытаясь обесцветить свой голос.— Когда-нибудь при удобном случае расскажу...

Но удобного случая все не было, хотя после этого они не раз встречались за обедом, бродили по парку, ходили на

всякие увеселительные вечера. Да и представься он, этот удобный случай, Даниелюс ни за что не признался бы, что прятался от нее. Но разве можно спрятаться от того, что, как говорится, суждено свыше? Простофиля! «Где-то по земле ходит тот, кому она достанется. Эх, почему я не родился хотя бы на десять лет позже?» — ревнуя и сетуя, думал Даниелюс.

Близился день расставания. Накануне пошел снег, густой, щедрый, какой редко бывает в ноябре.

— Завтра за мной придет машина,— сказал Даниелюс за завтраком.

— А у меня еще два дня,— вздохнула она.— За мной тоже придет... поезд...

— Надо бы отметить наше расставанье. Не сходить ли нам в ресторан?

— Дивное предложение! — обрадовалась Юргита.— А как со столиками? Наверно, все уже занято.

— Столик уже заказан.

— О! С вами не пропадешь!

Они немного помолчали, глядя в окно на белые шапки сосен. В сквере хлопотал толстяк дворник, расчищавший огромной фанерной лопатой дорожки, а какая-то озябшая парочка отдыхающих, задрав головы, глазела на белку, перескакивавшую с ветки на ветку.

— Вам этот пейзаж ничего не напоминает?— неожиданно спросила она.

— Что напоминает?— задумался Даниелюс.— Пожалуй, детство: во дворе запряжена в розвальни лошадь... Там же мать, отец... Я на санках качусь с горы...

— Какая романтика!— улыбнулась Юргита.— А мне кажется — где-то я видела что-то похожее на холсте. Дворник, сосны, парочка, глазеющая на белку...

— Вы любите живопись?

— Иногда, под настроение, я и сама балуюсь... Когда-то я даже собиралась поступать в художественный институт, но журналистика взяла верх.

— Говорите «когда-то», словно это было десять лет назад...

— Если вас интересует мой возраст...

— Что вы, что вы...— пристыженно выпалил Даниелюс.

— Полгода назад стукнуло четверть века.

— В самом деле?— воскликнул он, не скрывая своего удовлетворения.— А я то думал — вам двадцать, не больше.

— Вы очень скупы. Что ж, спасибо вам за вашу скупость,— усмехнулась она и встала из-за стола.— Кажется, мы с вами опять уходим последними.

За обедом, на прощанье, они поставили новым соседям бутылку рислинга. Все вместе выпили, пожелали друг другу удачи, а вечером Даниелюс и Юргита отправились в ресторан, единственный в этом курортном городке. Поначалу разговор не клеился. Оба чувствовали себя неловко, словно впервые очутились вместе.

— Вам скучно?— произнес Даниелюс и беспомощно развел руками.— К сожалению, я не принадлежу к числу тех мужчин, с которыми женщинам весело. Уж вы простите великодушно, но анекдотов не знаю, не хохмач, в обстоятельствах серьезных и вовсе кажусь трагиком. В моем районе, в Дзукии, был такой случай. Самодеятельные артисты одного колхоза в виде премии получили полный набор инструментов духового оркестра. Шли годы, музыканты разъехались кто куда, трубы ржавели. И вот совсем недавно оркестр был создан заново, но играть ему не на чем... Дело в том, что один из бывших музыкантов приспособил все трубы... для гонки сивухи.

— А что здесь, простите, трагического?

— Я этот факт привел в одном из своих выступлений и всем отравил праздничное настроение. Меня за это по головке не погладили.

Юргита расхохоталась.

— Здорово заливаете! А еще говорите — не хохмач.

За столиком стало веселей. Даниелюс обмяк, почувствовал себя раскованным и принялся рассказывать о своем житье-бытье, о себе, о Ефимье. Правда, о себе он вначале говорил в третьем лице: дескать, у него был друг, друг легкомысленно женился на нелюбимой женщине, он давно развелся бы, если б не дети. Однако Юргита смотрела на него пронзительно-пристально, красивые губы кривила недоверчивая улыбка, Даниелюс краснел, путался, пока не признался: друг этот — он сам, это не чужая, а его собственная история.

— Я поняла,— ласково промолвила она с той же улыбкой.— Как ни стараетесь, враль все равно из вас никудышный. Есть люди, которые способны на многое, но вот простые вещи им никак не даются, хоть убей.

— Простите,— пробормотал Даниелюс, сжимая ее хрупкую руку, покоившуюся на столике рядом с тарелкой.— Я не потому, что вам не доверяю. А потому, что за себя стыдно...

— Таких браков, как ваш, несметное количество. Никто не застрахован от неудач и ошибок. И я этих людей не осуждаю, я им сочувствую.

— Стало быть, вы и меня...— Даниелюс поднял глаза и встретился с сочувственным взглядом Юргиты.

— Если я когда-нибудь выйду замуж, то при одном условии...— Она помолчала и добавила: — Мы оба должны любить друг друга.— И сжала кулачок, трепыхавшийся в руке Даниелюса, как плененная пташка.— Любовь, только любовь, и ничего другого — вот в чем залог счастья. Счастья одного, счастья двоих, счастья целого государства...

— Любовь... Конечно... Бывает так, что иногда молодые люди иллюзию любви принимают за настоящую любовь.— Даниелюс наклонился к Юргите.— Но я ее не любил... свою жену. И теперь должен всю жизнь расплачиваться. Равнодушие к собственной судьбе еще не освобождает от ответственности за будущее другого.

— Разве та женщина думала о вашей судьбе? По-моему, обе стороны должны чувствовать одинаковую ответственность,— заметила Юргита.

— Легче всего, конечно, во всем обвинять другую сторону. Зачем, мол, обнадежил ее? Зачем таким мягкотелым был и так далее и тому подобное... Как это ни парадоксально, но порой на собственной шкуре убеждаешься в простой истине: не делай добра, не увидишь и зла... Да, да, доброта порой порождает и зло. Прояви я твердость, может, моя жизнь сложилась бы совсем иначе. Но куда там! Теперь же получается так: она соблазненная и обманутая, а ты подлец!.. Как сейчас помню: сидела в коридоре на чемоданах и рыдала навзрыд. Теперь, по прошествии стольких лет, оглядываешься назад и не веришь, что это было не с кем-нибудь, а с тобой. И эти слова, и эта женитьба, и эти слезы... Оглянешься на прошлое, и давай жалеть и кусать локти...

— Почему же вы друг друга не любили?— тихо прошептала Юргита, подняв бокал с шампанским.

— «Не любили» не то слово,— хмуро ответил Даниелюс.

— Страшно жить без любви... детей народить... Страшно!

— Да уж не позавидуешь. Хорошо еще, работа спасает. Работаешь как вол, стараешься для людей... И в этом — одно утешение.

— Утешение?— усомнилась Юргита, обращаясь не

столько к нему, сколько к самой себе.— Работа — необходимость. Но для полноты жизни ее, согласитесь, маловато. Мне всегда казались неискренними те, кто уверял: «У меня любимая работа, я счастлив». Они либо врут, желая оправдать свою ограниченность, либо сами ничтожества...

Даниелюс обиженно глянул на Юргиту:

— Я не вру. Может, я кое-кому и кажусь ничтожеством, но работа для меня превыше всего. Работа и мечта. Вы только не смейтесь... Я даже стишки пописываю. Для своего удовольствия.

— Ну вот видите! Говорили только что — работа превыше всего, а без стихов жить не можете,— сверкнула глазами Юргита, словно услышала величайшую новость.— Секретарь райкома — и поэт... Редкое, прямо скажем, сочетание.

— Какой из меня поэт? Я же сказал: пописываю.

Слово за слово, и разговор зашел о литературе, о живописи, музыке и других искусствах. Весь вечер, соглашаясь и споря, они чувствовали какую-то незримую, но крепкую связь, основанную на взаимном доверии и искренности. Юргита, как всегда, была весела, словоохотлива, хотя изредка игривая улыбка угасала, взгляд застывал и в глубине черных глаз мелькала тень какой-то печали.

— Вы чем-то расстроены, Юргита?

Она вздрогнула при его словах, но быстро взяла себя в руки.

— С чего вы взяли?

— Мне так показалось. Простите... Вы привыкли действовать, а в санатории не развернешься. Процедуры, столовая, процедуры.

Юргита помолчала, улыбнулась печально и, словно прося прощения, взглядом объяснила: не могу же я все выложить вам, любезный...

— Видите ли,— сказала она после паузы,— сюда приезжают не только те, кто лечит телесные недуги... Ноябрь — самый жуткий месяц для меня. Голые деревья, жухлая трава. Ветер, дождь, слякоть... Солнце изредка выглянет из-за туч и тут же спрячется. Да если и выглянет, то скорбно, несмело. Месяц смерти. Удобное время для того, чтобы похоронить то, что умерло в нас или захирело при всей видимости жизни. Простите... Давайте лучше говорить о чем-нибудь другом.

III

На другой день Даниелюс уехал. Юргита стояла в сквере санатория и улыбалась. Весело, бойко: счастливого, мол, пути!

Но взгляд был печальный. Он всю дорогу сетовал на то, что, устыдившись водителя, не подошел к Юргите и не попрощался как следует, хотя простились они еще вчера, когда вернулись из ресторана. «Все-таки я большой трус,— ругал себя Даниелюс.— Только бы обо мне ничего не подумали... Странно, в жизни бывают такие минуты, когда самого себя не узнаешь».

В таком раздражении он приехал домой — нервный, хмурый.

Фима пошутила:

— Ходишь кислый какой-то... как в воду опущенный. Не завел ли ты в санатории какую-нибудь красоточку?

— Завел. Но у моей красоточки, видно, другой,— то ли в шутку, то ли всерьез ответил он, сказав почти правду.

С Ефимьей и раньше было нелегко. А теперь стало еще тяжелей. Однажды он поймал себя на стыдной и нелепой мысли: что, если вдруг что-то случится с ней и он останется вдовцом? При этом он явственно представил себе ее застывшее лицо, услышал, как заколачивают крышку гроба. Представил свою квартиру —свободную, просторную, в которой легко дышится... «Господи, какой я негодяй,—пронзило его.— А мы еще диву даемся, как среди нас вырастают выродки, посягающие на своих близких, поднимающие на них руку?»

В канун Нового года он послал Юргите на адрес редакции поздравительную открытку. Вскоре он получил ответную: Юргита благодарила его за память и желала счастья в Новом году.

А время шло. Они обменивались новогодними открытками, в которых между строчек можно было прочесть: вспоминаю вас с удовольствием, как и удивительные дни в том жутком ноябре... Когда Даниелюс приезжал по делам в Вильнюс, его так и подмывало позвонить ей в редакцию, но он подавлял это желание, уверяя себя, что свидание с ней — чистое безумие, еще больше душу растравишь. Но однажды он все-таки не выдержал и набрал ее номер. Хриплый мужской голос ответил, что она уехала в командировку. А осенью они чуть ли не столкнулись на проспекте Ленина, в Вильнюсе. «Что, опять ирония судьбы?— с радостным удивлением подумал Даниелюс, встретившись ве-

чером с Юргитой в кафе, в Старом городе. Подумать только — четыреста тысяч жителей в Вильнюсе, а мы с тобой не разминулись! Два счастливых лотерейных билета из сотни тысяч пустых. Кто-то невидимой рукой перемешивает всех в этой огромной урне, а мы — надо же — находим друг друга...»

Опьяненный ее близостью, Даниелюс не спускал глаз с Юргиты, долго разглядывал в уютном сумраке кафе ее одежду, отметив про себя удачное сочетание черного и красного цвета, и ему казалось, будто они и не расставались никогда, будто сидят в курортном ресторане, потягивают шампанское и продолжают начатый разговор. Ничего не изменилось за прошедшие четыре года: он по-прежнему «тянул бодягу» с Фимой, а Юргита жила одна, без своего любимого, работавшего который год вдали от родины.

Когда они попрощались, Даниелюс долго стоял на тротуаре и с какой-то тревогой, смешанной с отчаяньем, глядел в ту сторону, где в толпе скрылась Юргита. «Как хорошо, что она живет на свете... Может, и не суждено ей стать моей, но все равно хорошо...»

— Вчера я тебя видел на улице с какой-то Кармен,— сказал назавтра Аполинарас Малдейкис, когда кончилось совещание.— Молодец! Зря в столице времени не теряешь...

Даниелюс нахохлился:

— Оставь свой цинизм! Это моя старая знакомая. Работает в республиканской газете. Человек известный...

— Корреспондентка? Ого! Ты, брат, не зеваешь,— похлопал его по плечу Малдейкис.— Тиснет хвалебную статейку про твой район, вот тебе и прок.

— Как тебе совещание?— Даниелюсу не хотелось говорить о Юргите.

— Как всегда. Переливание из пустого в порожнее.

— А сам-то ты что с трибуны вещал? «Очень полезный обмен мнениями, координация идеологической работы...» Златоуст!

— Трибуны для того, брат, и существуют, чтобы с них пламенные речи произносить.

— Пламенные, но не лживые,— поддел его Даниелюс.

— Ты, брат, толком не знаешь: где кончается оптимизм и где начинается вранье.— Аполинарас беззаботно рассмеялся.— Пошли лучше в ресторан! Поужинаем, лясы, как все люди, поточим.

Даниелюс согласился. Аполинараса Малдейкиса он знал давно: вместе учились в Москве, а потом года два

в одном и том же районе работали — Даниелюс секретарем райкома, а Малдейкис председателем райисполкома. Совершенно разные люди, ни в чем не похожие друг на друга, они тем не менее ладили. Даниелюсу нравилась организованность Малдейкиса, его способность найти выход в самых щекотливых ситуациях, его ровный и жизнерадостный характер. Правда, решения его не всегда были лучшими. Даниелюс, в отличие от него, ломал голову в поисках самых оптимальных и ужасно огорчался, когда, не найдя их, вынужден был поступаться своими убеждениями. Поверхностность Малдейкиса он решительно отвергал, но не отрицал, что работать с ним легко, несмотря на его прагматизм, который Малдейкис не считал пороком, постоянно подчеркивая, что величайший тормоз в деятельности партийного работника — идеализм.

— Такая обстановка мне по душе,— сказал Малдейкис, когда они устроились в ресторане аэропорта.— Простор, свобода, не накурено, дым коромыслом не висит. За стеной лайнеры гудят. Особенно ревут при посадке... Никто не гарантирован от того, что не врежутся в землю. А мы с тобой сидим за столиком в целости и сохранности, набиваем брюхо, водочку попиваем. Ну чем не жизнь?

— Тебе позавидовать можно: всегда весел, всегда доволен, не морочишь себе голову,— выпалил Даниелюс, окидывая Аполинараса добродушно-насмешливым взглядом.— Скажу тебе откровенно: я не в восторге от таких, как ты, но посидеть с вашим братом приятно... отдохнуть, расслабиться...

Аполинарас слушал и, счастливый, улыбался пухлыми чувственными губами, поглаживая белыми мягкими пальцами каштановые кудри, не вязавшиеся с его пунцовым лицом.

— Другой на моем месте смертельно обиделся бы,— притворился серьезным Малдейкис, но глаза его светились спокойно и незлобиво.— Я тебе прощаю. Как старому другу. Кроме того, мне неохота портить себе настроение. Сегодня и без того трудный денек.

— Да. Пять часов просидели... Хорошо еще, журнал с собой прихватил.

— Ты меня не понял,— Аполинарас скороговоркой сообщил официанту, чего они желают.— Когда бывает скучно, я начинаю думать о рыбалке. Но сегодня не до этого... Представляешь, после отчетно-выборной меня собираются перевести в другой район. А я так привык к своему, кое-что для него сделал, и вот тебе: в какую-то Лаукуву...

— В Лаукуву? — оживился Даниелюс. — Это же моя родина.

— От этого сие задрипанное захолустье...

— Почему захолустье? Есть отличное шоссе. И железнодорожный узел... Район, брат, серьезный.

— Отсталый.

— Вытянешь!

Аполинарас, все еще лучась радостью, для приличия вздохнул.

— Поэтому меня туда и переводят. Ну и житуха!.. Обжился в одной избе, а тебя тут же в другую суют. В чужом дерьме копаться...

— А я бы только обрадовался, если бы меня перевели в Епушотас, хотя район, по правде говоря, никудышный, — сказал Даниелюс. — Хороша дзукийская земля, а своя лучше. Тянет, и ничего не попишешь.

— По-моему, не видать тебе родного края как своих ушей. Может, только гостевать приедешь. И с песчаной Дзукией придется распрощаться, — Аполинарас загадочно понизил голос. — Ты наверху на хорошем счету... Увидишь, в один прекрасный день тебя возьмут в аппарат. Об этом уж и слухи ходят.

— Смотри-ка, даже в аппарат. Как же так — до тебя слухи дошли, а я ни-ни? — удивился Даниелюс.

— Да так оно, брат, так: жена обманывает мужа, а он про ее измену последним узнает, — отрезал Малдейкис, поднимая рюмку. — За твои успехи!

— И за твои, Аполинарас!

Завтра в это же время я буду дома, думал Даниелюс, краем уха прислушиваясь к скороговорке Малдейкиса. Как только приеду, Фима спросит: как совещание? Крепко всыпали району? Что сказал тот (или этот) руководящий товарищ о твоем выступлении? Не распустил ли ты по обыкновению язык и не наговорил ли глупостей? Нет, глупостей, кажется, я не наговорил... Меня, милая, на повышение... Пока ничего определенного, но люди говорят. А раз люди говорят, значит, так тому и быть. Нет дыма без огня. Фима конечно же заахает, заохает, от радости чуть ли не онемеет, пока опомнится от такой новости. «Разве я тебе не говорила, что ты прирожденный партработник? Ах, какое счастье, какое счастье — наконец-то мы выберемся из этой дыры!»

Но я пока ничего Фиме говорить не буду. Кто знает: может, Малдейкис просто болтает. В конце концов, если и не врет, стоит ли сразу же всему свету, даже жене...

Давно я с ней ничем не делился... Делим только постель... Делимся едой, крышей... Детьми...

Настырная скороговорка Малдейкиса вывела Даниелюса из оцепенения.

— Ты что, оглох? Сколько раз повторять одно и то же. Дернем по второй — скоро суп принесут!

— Прости, задумался.— Даниелюс поднес к губам рюмку.— За твою удачу в новом районе, Аполинарас.

— Моя удача зависит от тебя.

— От меня?

— Ну да! Забравшись на верхотуру, ты, надеюсь, не забудешь старого друга?

— Не смеши! Лучше расскажи, как идут у тебя дела? Не секретарские, а семейные, мужские...

— Нормально. Жена верна, единственная дочка послушна. Пользуюсь успехом у женщин, но осмотрителен, их благосклонностью не злоупотребляю, ибо хорошая должность без любви скучна, а любовь без хорошей должности невыносима.

— Молодец!— насмешливо буркнул Даниелюс.— Помнится, ты как-то говорил, что жену любишь.

— Люблю, но не раболепствую,— отрубил Аполинарас, упиваясь своим остроумием.— И она отвечает мне тем же. Короче говоря, не строим из себя молодоженов. Она — мать моей дочери, хозяйка, а я — прилежный отец, кормилец семьи. На том, брат, и стоим.

— А ты ей изменяешь?

— Случается, но не с кем попало. Мои женщины могут сделать ей честь.

— М-да,— брезгливо протянул Даниелюс и вдруг почувствовал, что опьянел. С минуту он сердито разглядывал снисходительно улыбающегося Аполинараса, и ни с того ни с сего у него вдруг появилось желание взять его за шиворот и ткнуть мордой в недоеденную тарелку борща.— Ты, друг, наверно, обзовешь меня старомодным, но я так считаю: уж лучше разойтись, чем обманывать друг друга. Когда люди становятся чужими, никакими силами семью не спасти... никакими... Даже детьми.

Аполинарас впервые за весь вечер глянул на Даниелюса серьезно и вопросительно.

— Уж очень ты порядочным заделался,— сказал он почти разочарованно и с явной укоризной.— Можно подумать, что ты и Фима — идеальная пара. Женился ты не по любви: я же своими глазами видел, как Фима тебе крылышки подрезала.

— Что ты хочешь этим сказать? — выдавил побледневший Даниелюс.

— А то, что она тебя, увальня, вокруг пальца обвела, — выпалил без всякого стеснения Аполинарас.

Даниелюс с трудом совладал с собой, чтобы не обрушить на голову Малдейкиса град оскорблений.

— Ты ничего не смыслишь в делах чести, — процедил он, обуздывая свою ярость. — По-моему, порядочный мужчина не имеет права бросить на произвол судьбы ту, которую он однажды соблазнил.

— Из-за минутного удовольствия обречь себя на всю жизнь? Ничего себе порядочность! Это то же самое надувательство, тот же обман, которым ты только что возмущался. По-твоему, жену можно не любить, но жить с ней, изредка требуя от нее исполнения бабьих обязанностей. Не порядочнее, не честнее ли в таком случае вообще не иметь с ней дела и жить с какой-нибудь другой?

Даниелюс даже рот разинул: до того ошеломила его логика Малдейкиса. Когда он наконец опомнился, то и сам не мог взять в толк, как у него вырвались эти слова, — то ли их нашептало самолюбие, то ли глубокое убеждение в своей правоте, то ли желание положить на лопатки Аполинараса.

— В таком случае самый лучший выход — развод. Да, да, развод. Я, скажем, решил разойтись с Фимой.

Аполинарас как держал у рта полную ложку борща, так и застыл с ней, потом откинулся на спинку стула, залив варевом пол.

— Разойтись? Да ты в своем уме? — пробормотал он, оторопев и даже не посмотрев, осталось ли на брюках пятно. — Как же так — ни с того ни с сего разводиться? А-а, теперь я, кажется, допер... тебе вскружила голову эта Кармен.

— Положим. — Даниелюс не сводил глаз с вытянувшегося лица Малдейкиса. — У этой, как ты изволил выразиться, Кармен, своя жизнь. И я вовсе не собираюсь просить ее руки. Просто надоело лицемерить! Буду жить один с сыном. Суд ведь может одного сына присудить мне?

— Не знаю. Не знаю, — пролепетал Аполинарас, озадаченный признанием Даниелюса. — Скажите пожалуйста у него даже план есть, как детей поделить... Да у меня, братец, слов нет... Но чую: в такую историю влипнешь, какой врагу своему не пожелаешь.

Даниелюс отрешенно улыбался и высокомерно поглядывал на Малдейкиса. Иногда его захлестывало такое чувство — редко, но захлестывало: в сердце что-то вдруг

вспыхнет, заклокочет, вознесешься на головокружительную высоту и так захочется с нее вниз лететь, что никакие сожаления не в силах тебя остановить.

— Кажется, уже влип, Аполинарас,— сказал Гиринис спокойно.— Как говорят, песенка моей семейной жизни спета. Прощай, лицемерие! Да здравствует честное соломенное вдовство!

Вконец озадаченный Аполинарас Малдейкис почесал лысеющую макушку.

— А о последствиях ты, братец, подумал? Не к лицу ответственному партработнику разводиться. Думается, кое-кто сделает из твоего поступка надлежащие выводы, и ты, вместо того чтобы взлететь вверх, полетишь на одну, а то и на две ступеньки вниз. А ежели тебе и удастся удержаться, то о повышении и не помышляй. Не забудь, ты женат не на ком-нибудь, не на какой Алдоне или Бируте, а на Ефимье Никитичне,— Аполинарас многозначительно вскинул брови. Больше он не острил, всем своим видом показывая, что судьба друга волнует его всерьез.— Да что я тебе втолковываю, ты же не дитя малое. Пошутить, конечно, можно... И я не раз фордыбачил: брошу, дескать, секретарство, пойду в какой-нибудь колхоз председателем. Служба у нас, что и говорить, незавидная: с утра до вечера звонки, заседания, совещания. Себе не принадлежишь... Но с другой стороны, братец, есть, так сказать, и некоторые преимущества. Ночью глаз не смыкаешь, всякие там планы, постановления, директивы в голову лезут, зато днем жена в очереди за ливерной колбасой не стоит.— Малдейкис громко рассмеялся.— Иногда гостя паштетом из тресковой печенки попотчуешь... Как-никак, а я в районе высшее начальство, хозяин. Приеду из района в Вильнюс — и в столице кое-что значу. Конечно, на сессии Верховного Совета и без меня могут принять то или иное решение, но сам факт, что сидишь в зале рядом с лучшими людьми страны, позволяет испытывать некоторую гордость и чувство самоуважения. Эх, Даниелюс, Даниелюс, говори что хочешь, но от телеги, именуемой властью, отрываться негоже, пока не вышвырнули на обочину.

— Ты свой пост ценишь только потому, что он приносит тебе выгоду,— сказал Даниелюс, стараясь не смотреть на Малдейкиса.— Для тебя главное — власть и привилегии, которые она дает. А где же обязанность коммуниста служить народу? Когда мажешь на хлеб икру или твой знаменитый паштет, то не забывай, что есть люди, в глаза не видевшие этих яств. И если я до сих пор сижу, как ты это

окрестил, в телеге власти, то не потому, что ищу для себя каких-то выгод, а потому, что хочу принести как можно больше пользы. У меня в жизни одна цель, чтобы каждый добился того, чего ему надо, и чтоб в сердце каждого жили правда и любовь к другому. Ты не любишь людей, Аполинарас. Удивляюсь, как ты можешь заниматься такой работой.

— И заниматься неплохо,— весело добавил Малдейкис. Лицо его сияло по-прежнему, глаза улыбались, он снисходительно смотрел на Даниелюса, как на озорного мальчишку.— Ах ты, неисправимый идеалист, когда же ты наконец спустишься с облаков на землю?

Даниелюс только покачал головой, ответив на слова Аполинараса насмешливой улыбкой. Полноте, товарищ Малдейкис!.. Давайте лучше выпьем еще по одной, закусим цыпленочком и не будем портить друг другу кровь бессмысленными словесами, еще раз вспомним сегодняшнее совещание и те проблемы, которые должны одинаково заботить и тех, кто ходит по земле, и тех, кто парит в облаках.

Попрощались они по-дружески, хотя оба чувствовали, что играют: один — желая удачи в новом районе, другой — советуя хорошенько подумать и не спешить с разводом.

Даниелюс уже почти жалел, что черт дернул его за язык и он наговорил лишнего. Разве нельзя развестись тихо, мирно, без посредников? Без советов и консультаций? По-мужски! Одним ударом разрубить узел, и все. Свободен!

После того как он познакомился с Юргитой, Даниелюс все чаще стал подумывать о такой возможности, но не осмеливался об этом мечтать, не желая растравлять душу пустыми надеждами. И уж раз он сообщил о своем намерении Аполинарасу, то должен был тщательно продумать все последствия. Может, потому он и решился сказать Малдейкису о разводе как о деле, якобы не вызывающем сомнения, хотя признание было для него самого неожиданностью. Так или иначе, но впервые он понял, что развод — это поступок, который никто другой за него не совершит, этот шаг надо сделать самому. А сделав, приготовиться к суду, дележу детей, имущества... И конечно же к тому, чтобы выслушать несметное количество наветов и бредней. Фима сделает все, чтобы он сухим из воды не вышел. Имеет ли он, Даниелюс Гиринис, который должен быть примером, право рисковать своим авторитетом ответработника, пасть в чужих глазах? Вот что главное, а не паштет из какой-то печенки...

Однако, поразмыслив хорошенько, он поймал себя на том, что не так уж равнодушен к тому, что о его вызывающем поступке скажут там, наверху, и какие из этого будут

сделаны выводы. Эта двойственность даже покоробила его («Неужто и я похож на Аполинараса?»). Он ничуть не сомневался, что это чувство не покинет его и при благоприятных обстоятельствах прорвется наружу.

IV

Охота прошла прекрасно. Правда, Даниелюс умаялся изрядно, увязая в снежной жиже и продираясь сквозь кустарники; промок до нитки, оцарапал лицо, натер пятку, но не зря: ухлопал кабана и пару зайцев. Царская добыча, всех братьев-охотников обошел. Вечером у костра разделил кабанину на восемь частей — столько было охотников,— зайца сунул знакомому в сумку (он в тот день ничего не добыл), а потом все, согревшись и отдохнув, отправились к Аполинарасу Малдейкису для дальнейшего обмена охотничьими впечатлениями. Стол ломился от яств, были тут и импортные напитки, и литовские водки «Ужуовея» и «Паланга», и горячие блюда, приготовленные расторопной хозяйкой, и норвежская селедка в баночках, и икра, и крабы — деликатесы, в магазинах их днем с огнем не сыщешь. Все гости ели и пили умеренно, не теряя достоинства, приличествующего их положению. Посыпались, чего греха таить, и остроты, и анекдотцы, вызывающие дружные смешки, только не было песни.

Песня грянула, когда компания перебралась в финскую баню. Правда, грянула не сразу, а после того, как гости хорошенько пропотели в «газовой камере», как кто-то назвал тесную парилку, и посидели в светелке за уставленным яствами столом, не менее щедрым, чем в доме Аполинараса Малдейкиса. Время летело быстро и весело, кто блистал остроумием, кто мусолил серьезную проблему, кто рассыпался в комплиментах хозяину. «Товарищ Аполинарас — ого-го! Не отмахивайтесь, милый Аполинарас, нечего скромничать, хотя скромность и украшает человека. Давайте лучше вспомним, каким был ваш Лаукувский район при прежних хозяевах. Средний надой молока от коровы не превышал двух тысяч литров за год. Урожайность — двенадцать-тринадцать центнеров с гектара. Мясо, яйца опять же... Словом, стыдно было жителю Лаукувы, получившему газету, в сводку заглядывать. По заготовкам, по севу, по уборке урожая — последнее место в республике... А сегодня? Нет, нет, не качайте головой, товарищ Аполинарас... Да, да, это не только ваша заслуга, согласны: народ, наши

трудолюбивые пахари. Но те же пахари пахали здесь и семь лет назад, а результат, сами знаете... Массы, конечно, это сила, но без мудрого руководства они похожи на парализованного исполина. Вы сумели зажечь их энтузиазмом, вдохновить, направить, так сказать, исполина к цели...»

Товарищ Аполинарас скромно улыбался, краснел, пожимал плечами, защищаясь от потока похвал и лести, но, к великому удовольствию, отмечал про себя, что не зря гости сорят превосходными степенями: район из года в год занимает первое место, о нем постоянно пишут столичные газеты, работники сельского хозяйства удостаиваются высоких правительственных наград, орденов и медалей, есть даже пара Героев Труда, а колхоз «Передовик», долгое время ходивший в середнячках, в последние годы попал в первую десятку в республике.

Даниелюс Гиринис иронически улыбался, борясь с обуревавшим его искушением. «Передовик»... Ого, крупная рыбина, кто о нем не знает... Недавно им руководил товарищ, занимающий нынче весьма высокий пост в Вильнюсе. Смешно принимать на веру каждый слушок, но Даниелюс не раз слышал из очень достоверных источников... В конце концов, сами колхозники, сами «передовики» на каждом шагу выхваляются: у нас всего полно — чего только душа желает — и удобрений, и стройматериалов, и новейшей техники. Вот и разберись, коли такой умник, кого славой венчать за то, что «Передовик» попал в первую десятку: многоуважаемого Юлюса Багдонаса, бывшего председателя колхоза, нынешнего его покровителя, или нашего любезного Аполинараса Малдейкиса?

Даниелюс едва сдержался: еще минута, и он все выложит. Но напротив него сидел тот из Вильнюса, бывший, ну, словом, Юлюс Багдонас. Так не лучше ли усмехнуться (пусть гость подумает, что Гиринис сам над собой...) и предложить тост за процветание сельского хозяйства.

— Самое главное — перелом. В одну или в другую сторону. Тогда можно с уверенностью сказать: цель на девяносто процентов достигнута,— разглагольствовал Аполинарас Малдейкис, по-хозяйски расположившись в торце стола.

Да, да, закивали гости. И Юлюс Багдонас покачал своей крупной кудрявой головой, хотя по его лицу — одутловатому, с отвисшей челюстью — не поймешь, какие мысли одолевают его.

— Перелом! Ясно как день: самое главное — перелом. Но давайте вспомним, когда и с чего он начался? Кто дал

толчок? Те, кто сегодня пожинает чужие лавры, или те, кто, сделав свое, были изгнаны со сцены, как шекспировский мавр,— в хор похвал диссонансом ворвался голос хватившего лишку Юочки.

— Ешь кабанину,— попытался спасти положение Аполинарас.— Подайте, товарищи, нашему уважаемому Юочке минеральную воду.

— Это директор мельницы,— услышал Даниелюс громкий шепот справа: кто-то из соседей Гириниса просвещал столичного гостя.— Мука высшего сорта. На экспорт. Удивительный человек. Если понадобится, последнюю рубашку отдаст. Никто, если так можно выразиться, имени его не знает. Для всех он: Юочка,— Юочкяле,— Юочкюкас. Это от полноты чувств. Личность, что и говорить, занятная: и подпольщик, и на фронте кровь проливал, и работник, каких мало. Патриот. А вот язык за зубами держать не умеет. Говорят, сразу же после войны в Вильнюсе на ответработе был, потом турнули в район председателем исполкома, а теперь вот на мельнице... Мука высшего сорта. На экспорт. Но, простите за выражение, мельница есть мельница, а Совет Министров — Совет Министров...

Сосед справа — столичный гость, которого все уважительно величали товарищем Клигасом (только Аполинарас Малдейкис изредка позволял себе обращаться к нему по имени) и которому кто-то тоже отдал своего подстреленного зайца, а услужливый хозяин «организовал» в дорогу колбасу из кабанины,— был высоким моложавым мужчиной с хитроватыми глазами, с залысинами на открытом лбу. Каждый, кто сталкивался с ним, тут же проникался к нему симпатией, но быть до конца откровенным никто не рисковал.

— Да, да, да,— зачастил товарищ Клигас, отвечая своему соседу.— Я немного знаю товарища Юочку — Юочкяле — Юочкюкаса. И не считаю, что для таких, достойных всяческого уважения, людей работа на мельнице — позор.

— Достойных уважения?— побагровел сосед.

— Да, да, всяческого уважения.

— Очень приятно... бесконечно рад, товарищ... Вот я и говорю: Юочка такой человек, что последнюю рубашку отдаст...

Между тем директор мельницы, оттолкнув кабанятину, которую к нему подвинул Малдейкис, и разбавив минеральной водой коньяк в рюмке, продолжал:

— Перелом, говорите? Разве сегодня мы бы говорили об этом, если б не добавочный рубль, который колхозник

получает за килограмм привеса, за молоко? Если б не твердые цены на зерно? А кто и когда, вспомните, пожалуйста, добавил этот рубль? Раньше как было? За каждое плодовое дерево — плодоносит оно или не плодоносит — платили налог. Вот ведь до какого абсурда докатились!

— Вы говорите-говорите, да не заговаривайтесь!

— Никто и не заговаривается, товарищ Юлюс,— возразил Клигас, сверкая своими хитрыми карими глазами.—Когда я работал инструктором райкома, то знал одного инженера, который ничем другим не интересовался, только своей специальностью. В кино не ходил, газет не читал, художественной литературы в руки не брал. Зачем? Все искусства, все газеты, дескать, вранье, придумки, вульгарная пародия на правду. На кой черт серьезному человеку патентованная ложь, если он сам неплохо петрит? И жизнь назубок знает?

Кто-то сдержанно улыбнулся, недоумевая: говорит Клигас всерьез или в шутку? А Юочка — Юочкяле — Юочкюкас высосал из рюмки весь коньяк и как ни в чем не бывало продолжал:

— Полагаю, нет надобности читать газету, чтобы удостовериться, летают ли космические корабли. Об этом можно смело судить по ценам, рост которых вполне успешно соперничает с темпами развития техники.

Багдонас насупился, понурил воловью голову, однако, заметив, что товарищ Клигас смеется, ожил, крякнул и даже изобразил на своем лице улыбку.

Накалившаяся было атмосфера остыла. Все повеселели, то и дело чокались, время от времени понукали Юочку, обхватившего одной рукой спинку соседнего стула, а другой — свою мудрую голову, заросшую жесткими седыми волосами и, казалось, не очень крепко державшуюся на тонкой, почти девичьей шее. Само собой разумеется, каждый должен согласиться с тем (ежели у него в голове мозги, а не опилки), что рост цен зависит не столько от расширяющегося с каждым днем наступления на космос, сколько от растущей гонки вооружений, утверждал председатель Лаукувского райисполкома Юргис Папечкис, и директор мельницы согласно кивал. Представить себе невозможно, какие горы благ свалились бы на человека, если бы, хоть на год, удалось остановить это безумное производство оружия. Само собой разумеется, каждый должен с этим согласиться (ежели у него в голове мозги, а не опилки), и снова согласно кивала седая голова Юочки, державшаяся на тонкой, почти девичьей шее, хотя в душе директор мельницы вос-

ставал против такой точки зрения, не хотел, упрямец, признавать, что завоевание космоса и производство атомных ракет — две разные вещи. В наш век кибернетики война, наверное, должна быть совсем другой, не такой, как тридцать с лишним лет назад. Ежели раньше человеку было тесно на трех континентах, то сегодня ему весь земной шар тесен, да что там земной шар, вся окружающая нас атмосфера... Вот он и рвется на Луну, на Марс, озирается из космического корабля на другие планеты... Ищет новые территории для того, чтобы построить площадки для атомных ракет...

Товарищ Юлюс Багдонас возмутился. Человек! Человек! Человек! Что это — политическая близорукость или издевательство над дорогим нам понятием? Уж если говорить о человеке, то не о каком-нибудь, а о нашем, социалистическом, советском, не о какой-то туманной личности, борце за абстракцию, глупо именуемую идеей, а о борце за мир, защитнике покоя на белом свете. Вы что, товарищ Юочка, думаете: мы, значит, должны не покладая рук работать, создавать горы благ, как здесь весьма банально выразился товарищ Папечкис, а что до оружия, то зачем оно, мол, нам? Не нужно, путь его капиталисты делают, мы же эти блага голыми руками защитим. Ну, знаете... Старый коммунист, подпольщик... Да и вы, товарищ Папечкис, хороши... Не понимаю: крайний оппортунизм или... в детство впали, что ли?

Здесь вмешался товарищ Клигас (махнул рукой через стол Багдонасу, словно остановил мчащуюся машину) и попытался, шутя и балагуря, смягчить впечатление от его тирады. Мы, мол, не на заседании бюро, не на торжественном собрании, сказал он. На мой взгляд, товарищ Юочка не сказал ничего такого, что задело бы достоинство честного советского гражданина, в данном случае ваше, товарищ Багдонас... Мы ценим вас как крупного работника, но не надо перегибать палку. Почему, товарищ Юлюс, на часок-другой не расковаться, не почувствовать себя за этим столом простым деревенским парнем, поработавшим всласть днем, сытно поевшим, попившим и собирающимся на ночь влезть через окно к своей Магде? Люди мы, товарищ Юлюс, или манекены — иллюстрации к правилам хорошего тона для великосветских дам?

Кто-то прыснул, кто-то улыбнулся, но сдержанно, чтобы никого не обидеть.

Даниелюс схватил рюмку, выпил ее до дна, ответив непосредственной улыбкой на улыбку высокого гостя,

предложившего выпить. Выпить так выпить! Почему бы нет? Надо пользоваться возможностью, пока не свалил инфаркт, рокотал товарищ Клигас, элегантно качая седеющей головой.

Бог его знает, то ли лишнего хватил, то ли простодушие соседа подействовало (должно быть, и то и другое), но Даниелюса развезло. По правде говоря, виной всему — как это ни смешно — чертова финская баня Аполинараса!

«Здесь можно отдохнуть от городского шума, от назойливых разговоров с посетителями. После охоты твоя баня, Аполинарас, просто молодость возвращает. Молодец!» — заливался Юлюс Багдонас, этот покровитель «Передовика». Остальные хором поддержали его: «Да, это даже коню ясно — у Лаукувы секретарь что надо! Голова! Он и работать умеет, и отдыхать». Даже товарищ Клигас, скупой на похвалу, и тот не удержался, чтобы не погладить Малдейкиса по шерстке, признав, что во многих бывал он банях, но такой, как у Аполинараса, нигде нет («Типовой проект, но все оборудовано со вкусом, с выдумкой. Сюда и иностранного гостя не грех пригласить»).

Даниелюс слушал, и вдруг его обуяло неудержимое желание излить душу. Именно здесь, за этим столом, сейчас же, пока раздражают его это самодовольство и эта сытость. Он никак не мог взять в толк, что же заставляет его открыто, без обиняков выложить то, что наболело. Поначалу он даже злился на самого себя, пытался образумить себя и уговорить, что лучше помолчать, но так и не смог устоять перед соблазном, вырвавшим с каким-то дьявольским остервенением у него изо рта слова, оголявшие душу. Если бы разговор принял другой оборот, Даниелюс, может быть, и промолчал бы. Но кто-то из гостей вежливо заметил, что пора и честь знать, время позднее, а Аполинарас Малдейкис возьми и одерни его грубым смешком:

— Только через мой труп. Или при условии, что сосед Гиринис всех прихватит с собой.

— Я? Милости просим, товарищи. Но предупреждаю: в Епушотасе финской бани нет.

— Нищие! — бросил Юргис Папечкис.

— Почему нищие? — поспешил на помощь зарвавшемуся председателю исполкома Малдейкис. — Епушотас чуток отстал от нас, это правда. А вы что хотели, чтоб новый секретарь за три года совершил в экономике района переворот? Я оптимист, товарищи, я смею всех заверить: еще до конца пятилетки товарищ Гиринис пригласит нас в свои владения, в еще более прекрасную баню, чем та, под гостеп-

риимной крышей которой мы с вами вкушаем эти скромные яства...

— Ура!— прокатилась дружная волна одобрения.— Ура!— раздались хлопки.

Даниелюс медленно и тяжко встал из-за стола.

— Нет!— закричал он.— В свои владения я вас не приглашу, как осмелился заверить всех устроитель нынешнего вечера. А если такое и случится, то у вас, мои уважаемые гости, не будет столь приятной возможности обмыть охотничьи трофеи в финской бане, ибо такого строения в Епушотасе никто — во всяком случае, пока я работаю секретарем — не увидит. И не потому, что мы нищие, достойные сожаления, и не потому, что не такие оптимисты, как уважаемый товарищ Малдейкис. Нет, совсем не потому. Захоти мы, и построили бы баньку ничуть не хуже, чем эта. Что правда, то правда. Но мы, видите ли, люди нерасторопные, не всегда успеваем за модой. Кроме того, и мозги наши работают не в том направлении, о каком большинство из присутствующих здесь думает. Финская баня — это хорошее дело, спору нет, но пусть в ней парятся сами финны. Мы же лучше построим на несколько квартир больше, потому что в них очень нуждается рабочий народ.

За столом воцарилось неловкое молчание. Слышно было, как тяжело дышит сосед Даниелюса Юлюс Багдонас.

Первым опомнился Юочка. Вскочил как ужаленный:

— Товарищи! А ведь Гиринис правду говорит. Попариться, попотеть, потом посидеть за рюмашкой — приятно, ясное дело, может, ответработники и заслуживают такого, но когда знаешь, сколько еще людей ютится в одной комнате, в тесноте, то... Короче говоря, проблема эта большая! Есть над чем голову поломать...

— Ну и ломай на здоровье,— выдохнул Юргис Папечкис, сверля директора мельницы сердитым взглядом.— Ступай домой, сунь свою голову под подушку и ломай ее сколько тебе заблагорассудится; а за столом, в приличной компании, людям кровь не порть. Ишь ты, Сократ нашелся!

— Красиво, ничего не скажешь,— вспыхнул и Багдонас, наклоняясь к Даниелюсу.— Товарищ Гиринис, меня поражает ваша политическая безграмотность: вы грубо искажаете идею равенства.

— Я только позволил себе напомнить присутствующим о партийной совести, товарищ Багдонас.

— К чему эта демагогия, любезный,— Багдонас покраснел до синевы.— Ссылаетесь на народ, а скажите...

Но Аполинарас Малдейкис не дал ему договорить. Подскочил и, словно дирижер, призывающий к порядку огромный оркестр, замахал своими ручищами:

— Внимание! Внимание, товарищи! Юочка затягивает, все другие подхватывают. Раз, два, три! «По селу скакал я, вдруг с коня упал».

Чьи-то голоса затянули песню, но, нестройные, скоро замолкли.

Между тем Юлюс Багдонас продолжал:

— Ссылаетесь на народ... как же... А скажите, любезные, чем же народ обижен. Чем, товарищ Гиринис? У каждого пятого в деревне мотоцикл, многие ждут легковых машин, в магазинах товаров навалом... («Только не таких, какие хочешь»,— буркнул себе под нос Юочка, но так, чтобы другие слышали.) Квартир не хватает? Во всем мире с жильем туго. Нечего из этого трагедию делать. Хотите, чтобы уже сегодня...

— Ясно, ясно,— нетерпеливо перебил его Даниелюс, опасаясь, что вот-вот ляпнет товарищу Багдонасу какую-нибудь дерзость.— Все прекрасно: шагаем победно из пятилетки в пятилетку, вперед да вперед («Какого черта иронизирую?»), но, полагаю, не очень убедительно звучат аргументы тех, кто все наши трудности сваливает на войну... После войны уже два поколения выросло.

— Браво!— воскликнул Юочка.

Товарищ Клигас сидел, подперев ладонью голову. Лица его не было видно, светилась только плешь на макушке, но Даниелюсу почему-то казалось, что его сутулая костлявая спина едва заметно подрагивает от беззвучного смеха, хотя Клигас и не думал смеяться, даже не улыбался, застыл как изваянье, которому безразлично все, что творится вокруг.

— Нелогично? Да, но кое для кого такие оправдания страх как удобны,— еще больше распалился Даниелюс, вконец выведенный из себя притворным подрагиванием сутулой Клигасовой спины.— Я не говорю, что для всех удобны... Если люди, которые думают, ищут, анализируют, стараются найти ответ на трудные вопросы. Но многие... э-э, зачем, мол, голову себе морочить, углубляться, еще наткнешься на какую-нибудь мину, лучше всего свалить собственное безделье на войну — и не ошибешься. Но это тактика трусов и недоумков!

У Юлюса Багдонаса дрогнула челюсть. Он собирался что-то сказать, но раздумал, а может, просто не успел, потому что в разговор снова вмешался Аполинарас Малдей-

кис, боясь, что его недостаточную активность истолкуют превратно.

— Это мне, Гиринис, нравится. В самом деле — компания яйца выеденного не стоит, если все придерживаются одного и того же мнения. Тогда, как говорится, капут: только есть и спать... Поздравляю тебя, брат. Поздравляю... Никогда бы не подумал, что тебя, как и нашего мельника Юочку, изнуряют порой припадки критического реализма. И как раз в те моменты, когда окружающие желают, веселясь, забыться... Стоит ли за стол садиться, если наперед знаешь, что не удержишься, чтобы не испортить праздничного настроения?

Даниелюс поднялся.

Никто его не остановил, не задержал. Багдонас на прощанье холодно протянул руку, за ним последовали другие, только Клигас как ни в чем не бывало сжал его пятерню, ободряя Даниелюса взглядом своих бархатных глаз, а Юочка — Юочкяле — Юочкюкас даже потрепал его по плечу.

«Домой! И никаких гвоздей! Юргита, видно, заждалась»,— в который раз за сегодняшний вечер подумал он, и у него потеплело на душе.

С этим теплым чувством и забрался он в машину, устроился рядом с водителем и деланно-бодро скомандовал:

— В Епушотас, Гедрюс! Поохотились. Хватит!.. Ведь и тебе небось надоело слоняться с дружками вокруг бани и ждать, когда начальство кончит свое веселье?

Шофер Гириниса, Гедрюс Люткус, прячет нескладную улыбку в каштановой бороде, она свисает от подбородка до замшевого пиджака, а наверху сливается с рыжими, франтовато закрученными усами, которые как нельзя лучше оттеняют его мужественное моложавое лицо. («Со вкусом к модной рубашке подобран галстук, брюки всегда отменно выглажены, ботинки надраены до блеска, возит с собой обувную щетку. Не шофер, а министр...»)

— Ах ты, молчальник эдакий!— обиженно вздыхает Даниелюс и ловит себя на мысли, примиряющей его с Люткусом: «В душе же ты согласен со мной, Гедрюс... Не отнекивайся. Ведь согласен... Ты же не дурак, понимаешь, что и финская баня в Лаукуве, и все яства на столе,— это все за народные денежки...» — Прости, я сегодня, кажется, немного того...— бормочет Гиринис, спохватившись, что ляпнул лишнее.

— Гм... Вам, товарищ секретарь, лучше знать,— Люткус вежлив, почтителен, голос его звучит чуть ли не ласково.

Гиринис удобнее устраивается на сиденье и больше не тревожит Люткуса своими вопросами. Обмякший, протрезвевший от езды, он безучастно вглядывается в заснеженную ленту дороги, которую фары вырывают из сырого мрака ночи и которая как бы расступается на поворотах — вширь и в глубину,— открывая взгляду заиндевелое дерево или одинокую усадьбу, маячащую на обочине.

От качки, от тряски, от легкого круженья клонит ко сну: кажется, вот-вот уснешь, но тут зарницей вспыхивает мысль: скоро развилка, а от нее до дома рукой подать, рывок — и Дягимай. Свернуть, что ли, с дороги и отца навестить? Отца? Теперь только отца... А ведь совсем еще недавно и мать была жива, хранительница дома, добрый дух его, от одного ее взгляда все светлело вокруг. Погасли ее благословляющие глаза. Только укоризна, тяжкая, неизбывная, и горькое раскаяние остались: ах, Даниелюс, Даниелюс, сын неблагодарный, почему ты так редко в отчий дом наведывался, не приезжал сюда, чтобы одарить истосковавшуюся душу матери хоть крохой радости, ведь сердце ее всю жизнь билось для вас, для детей?

«Фима»,— осеняет Даниелюса, и он тяжко вздыхает. Нет, нет, первая жена не оправдание его черствости. Это правда, Фима не любила ездить к его родителям, она деревню вообще не любила, потому что, не зная языка, она скучала там и чувствовала себя чужой. Долгонько приходилось ее уговаривать, чтобы хоть раз в году навестить его родных. Хоть разочек... («Господи! Я одариваю из жалости какими-то крохами утешения тех, кто отдал мне все!») Будь он поупрямей, потверже, нет, будь он подушевней, люби он их больше, нашел бы время для того, чтобы почаще бывать у своих. Пусть один, без Фимы. Даже если бы она засыпала его упреками... Всегда так, размышляет в задумчивости Даниелюс, прислушиваясь к размеренному гулу мотора, пока человек здоров, ему кажется, будто он сто лет проживет. Не навестил весной, навещу осенью. Приеду, когда антоновка поспеет... А осенью мать и рухнула под яблоней... как раз под этой антоновкой... и когда я приехал, то мог только ее застывшие руки поцеловать.. А ведь и отцу... неровен час... Хоть он еще и крепок, и бодр, но по возрасту уже гость на этой земле... Какого черта я сегодня таскался с двустволкой по чужим лугам? Лучше бы с отцом

по родной усадьбе побродил! Но нет, потянуло совсем в другую сторону. Свернул... и сейчас сверну. От развилки. Потому что время позднее. Потому что устал по-собачьи. Потому что — и это главное — Юргита заждалась. Вот так-то, виноват, отец, как-нибудь в другой раз...

Другого раза, Даниелюс, не будет: и тому, что приходит, и тому, что уходит, суждено в жизни случиться только раз. Жизнь — смерть, первый поцелуй — любовь... Тебе кажется, что ты столько раз поутру встаешь, сколько дней в году... встаешь, умываешься, завтракаешь... Нет, ты встаешь только один раз в жизни. Только один раз умываешься, завтракаешь... Ибо назавтра ты уже другой, не такой, как сегодня. И вещи, и люди, и солнце другие, хотя ты этого не замечаешь. Не замечаешь, что каждый миг в тебе что-то умирает, что-то рождается. Когда ты снова обнимешь отца, отец уже будет другим, не таким, каким ты видел его в прошлый раз или, если бы навестил, увидел сегодня: постаревший, с угасшими чувствами и притупившимся умом... Откладывая на завтра то, что могло быть твоим сегодня, ты навеки теряешь ценность, присущую только мгновению. «Может, ты и права, Юргита. Но к отцу как-нибудь в другой раз... В другой раз, милая. Я знаю: ты заждалась... ты беспокоишься».

V

До обеда еще так-сяк, но вечером минуты тянутся часами, а часы кажутся просто вечностью. И так всегда по воскресеньям, когда Даниелюса нет дома. Юргита верила: родит, и будет легче. Теперь Лютаурасу три годика, с ним и впрямь веселей, но Даниелюса она ждет с прежней тревогой.

Юргита садится к зеркалу, смотрится. Недурна... Да, пока еще вроде бы недурна. Черные глаза сверкают молодо, лицо гладкое... конечно, если хорошенько всмотреться, можно и морщинку найти. Пройдет лет десять — пятнадцать, и ей как женщине каюк... С помощью косметики можно, пожалуй, и больше протянуть, но чувства... чувства никакой косметикой не подновишь. Когда-нибудь и ко мне придет усталость, и сердце осенним холодком ужалит, и все вокруг предстанет как за пыльным стеклом. Матовая любовь... Матовые чувства, радость, счастье. К чему ни прикоснешься, все будет как бы захватано онемевшими пальцами. Не сбудутся ли тогда слова языкастой злючки: «Сна-

чала все мы любим и счастливы, а наши мужья удивительны...»

«Бог ты мой, что за дурацкая переменчивость? Еще сегодня ночью я шептала Даниелюсу, что счастлива. К чему же эти черные мысли, это недовольство? Зачем я отравляю себе жизнь, отпугиваю радость? Другие благодарны судьбе, если им перепадает какая-нибудь кроха, а у меня есть почти в с е, и я хочу еще чего-то вдобавок... Подай мне абсолютное счастье, и все!»

Юргита виновато улыбается. Вытирает надушенным носовым платком глаза, другой рукой тянется за помадой. Кажется, черная туча прошла мимо, в просветах сверкнуло солнышко, заголубело небо...

И действительно, не прошло и получаса, как из зеркала на нее смотрела уже другая женщина: хорошенькая, игривая, свеженькая, следы недавней печали придают еще больше обаяния ее лицу. Черные волосы, длинная — из фиолетового бархата — юбка, пышная сиреневая блузка из муслина, туфельки на высоких каблуках... На шее — шикарные бусы (подарок Даниелюса, привез из туристической поездки в Индию).

«Знаешь, милая, я почти довольна тобой. Даниелюсу не должно быть стыдно перед другими мужьями... жена у него что надо!»

Юргита улыбается. Улыбка становится все ясней, все веселей, все шире. Правда, что-то ноет в груди — видно, печаль ожидания...

Горячим трепетом окатывает ее телефонный звонок («Господи, что-нибудь с Даниелюсом?..»). Нет, опять незнакомый женский голос.

Юргита с минуту сидит растерянная и прибитая хлесткими обидными словами. Потом медленно, как лунатичка, кладет на рычаг трубку. Оттуда, кажется, еще доносится злобное шипенье.

В последнее время такие нападки стали редкостью, потому-то, наверное, они и ранят так больно. Она устала и от анонимных звонков, и от оговоров, и от зависти, и от хамства — от всей этой гадкой, омерзительной грязи, которая обрушилась на них в тот день, когда стало известно об их свадьбе. Правда, были и такие, которые желали им добра, которые от души поздравили их и приняли в свой круг, но, видно, так уж заведено: ласка никогда не оставляет таких глубоких следов в душе, как жестокость. Кроме того, доброта застенчива, многие прилюдно и не выказывают ее, между тем низменные страсти (жажда мести, рев-

ность, ненависть, неприязнь неудачника к счастливцу) ни с чем не считаются, так и прут наружу.

Юргита с детства была оптимисткой, она бесконечно верила людям и никак не могла взять в толк, что же плохого им сделала, почему они к ней так несправедливы и жестоки. Особенно женщины. Глядишь, знакомая, никогда не отличавшаяся добродетелью, но оставшаяся одинокой, встретит ее и, слащаво улыбаясь, скажет: «Как я рада, дорогая, как я рада. Такому мужику голову вскружила! Тебе, видно, нелегко было его приручить. Ничего, сумела позаботиться о своем будущем... Прими мои поздравления!» Другая ту же песенку поет... Только добавит: ты, Юргита, не зевай, держи своего старика в ежовых рукавицах, нынешние мужики такие... А третья, любившая когда-то, глядишь, тоже ушат помоев выльет, потому что у нее все в прошлом, а у тебя глаза сверкают, и ты счастлива. «Когда-то мы все были счастливы и любимы, а мужья наши удивительны. Во всяком случае строили из себя счастливых... А что же такое счастье для замужней женщины? Спокойная и обеспеченная жизнь... Тебе крупно повезло, Юргита».

Да, повезло... Очень даже повезло! Только, конечно, не в том смысле, как вы, несчастные, думаете. А самой любить и быть любимой!

И все-таки были минуты, когда достаточно было малейшей зацепки (а порой, кажется, и без всякой зацепки), и сердце начинало бешено колотиться от внезапного подозрения: «А вдруг это все только иллюзия? Однажды утром откроешь глаза и убедишься, что царевич твой — обыкновеннейший пастух, только ты, ослепленная своей мечтой, приняла посох в его руке за царский скипетр...» Ведь так уже случалось. И не раз. Правда, под внешним лоском она сразу угадывала пустоту, угадывала еще задолго до близости, однако каждое такое разочарование, пусть и неглубокое, пусть кратковременное, оставляло в душе рану или ссадину. Ей не давала покоя удивительно живучая мысль о том, что любовь — это временное чувство, подобное извержению вулкана. На такие мысли наталкивали ее и вечные жалобы подруг, недовольных своими мужьями: один, мол, настолько ушел в работу, что даже жену не видит; другой стал изменять... А ведь большинство из них когда-то свела и связала любовь, большинство из них парило когда-то в облаках. Почему же все так обернулось? Неужто брак — могила любви? Нет, нет, настоящая любовь вечна. Какое это счастье встретить достойного, глубоко

понимающего и любящего тебя человека, умеющего ради тебя (как, впрочем, и ты ради него) пойти на любую жертву! Разве не в этом смысл истинной любви? Любви, закаленной долгим и терпеливым ожиданием, любви, подаренной тебе его величеством Случаем, который ты, к радости твоей, не прозевала. Это и впрямь чудо — встретить своего суженого на шумных перекрестках жизни. Но коли судьба не судила тебе такой встречи, то не кляни ее, не поноси, ибо куда лучше остаться одинокой, чем мучиться вдвоем без любви.

Большая любовь Юргиты, о которой она так мечтала, пришла к ней неожиданно, вдруг, с первого взгляда. Как и для него, Ричардаса, серьезного, порядочнейшего семьянина, талантливого инженера, всегда осуждавшего случайные связи. В ночном мраке ярко вспыхнула искра, и они слепо бросились на нее, как две беззаботные бабочки.

Судьба как бы поглумилась над ними. Дело в том, что незадолго до их встречи Ричардас стал жертвой случайной истории: познакомился с женщиной, увлекся и вынужден был жениться, поскольку та ждала ребенка. Он ужасно терзался, ругал себя, что из-за карьеры уступил давлению своего начальства. Юргита старалась понять и оправдать его компромисс с совестью, но не могла подавить в себе гнетущего чувства недоверия к своему возлюбленному. И все-таки верила, что нашла то, к чему всю жизнь стремилась, чего желала,— свой идеал любви. Любовь! О, могучее, ни с чем не сравнимое чувство! И в твоем, и в его сердце горит огонь любви, и твое, и его сердце полно благородства и жертвенности — не это ли дает человеку крылья? Правда, тебя подстерегают и опасности: можешь грохнуться с головокружительной выси на землю. Юргита тогда и не думала о ее гибельном притяжении. А если это ей порой приходило в голову, то, не желая омрачать свою жизнь, которая конечно же не была сплошным праздником, бездумно отдавалась судьбе. Юргиту унижало то, что она должна делиться крохами счастья с другой, даже не подозревавшей, что ее обманывают. Это не вязалось с прямой натурой Юргиты, вызывало в ней отвращение к самой себе, повергало в отчаянье, и постепенно она свыклась с мыслью, что не счастье, а страданье является спутником любви. Юргита поняла: Ричардас не может отказаться от предложения отправиться на работу за рубеж, где открывалась широкая перспектива для его способностей и карьеры. Ей стоило большого труда совладать с собой и не крикнуть: не уезжай, если тебе дорога наша любовь! Она слишком крепко любила, чтобы требо-

вать от него такой жертвы. Прощаясь с ней, Ричардас сказал: ты единственная женщина на свете, которая понимает меня. «А ты меня?» — спросила она взглядом. Да, и он ее понимал, он знал, что обрекает ее на одиночество и томительное ожидание, однако и ему предстояла та же печальная участь.

«Забыть... как можно скорей забыть... забыть...» — механически, как заученную в детстве молитву, повторяла она, понимая, что только забвенье может спасти ее от бессмысленной, изнурительной тоски.

В поисках забвенья она и отправилась в тот тишайший курортный городок, где познакомилась с Даниелюсом. Вернулась оттуда успокоенная, но ненадолго... Теперь ее единственным утешением были воспоминания, будоражившие душу, и редкие телефонные звонки. Чувства их постепенно блекли — она это поняла по его голосу, когда он сообщил по телефону, что возвращается из-за рубежа в Вильнюс. Навсегда. «Уехал возлюбленным, а возвращается любовником»,— ужаснулась Юргита.

Прихватив с собой самое необходимое, она поехала на взморье. Добиралась целый день (стояла поздняя осень, рано темнело), но дорога не наскучила: охваченная своими мыслями, которые изредка рассеивал мелькавший за окном вагона пейзаж, она и не заметила, как пролетело время — о нем напоминали только громоздкие часы на вокзалах, показывавшие бог весть что. Приехав в приморский город, Юргита сняла в гостинице номер, разделась, легла спать, и всю ночь ей снились вокзальные часы, голубые стрелочники, размахивающие оранжевыми флажками. Они смеялись и махали флажками... Махали ей, проехавшей добрых три сотни километров и счастливо прибывшей на место. Проснулась она в странном состоянии. Острое чувство одиночества, невеселые мысли («Надо было самолетом, вдруг разбился бы...»). Но сквозь сумятицу, сквозь хаос противоречивых чувств, как блеклый осенний луч сквозь тучу, пробивалась успокоительная мысль о том, что Вильнюс, город ее страданий, остался где-то далеко-далеко...

Берег моря, куда Юргита отправилась после завтрака, был совершенно пуст. Только волны, грохоча и пенясь, накатывали на песок, да стужа леденила пасмурное небо. Вдали виднелся белый корабль, одинокий отшельник в бушующем морском просторе, кишащем уймой невидимых опасностей, и Юргите было приятно чувствовать под ногами землю. Неистовствовал ветер, гудел в ушах, сбивал с ног, обдавая ледяными брызгами, но она упрямо продол-

жала идти вдоль берега, прислушиваясь к грозному гулу волн и как бы отдавшись суровой ласке стихии. Изредка Юргита поворачивалась спиной к ветру, вглядывалась в замысловатую вязь своих следов, то и дело исчезающих под белесой пленкой пены. На обратном пути буря и вовсе разыгралась, но теперь ветер дул в спину, и Юргита должна была сопротивляться, чтобы не упасть. В голове было пусто, ясно, покойно — ни одной мысли, только неумолчный гул моря в ушах, и — насколько хватал глаз — студеное пространство. Даже рыбачьи избы, видневшиеся в просветах прибрежного сосняка, и те казались совершенно пустыми. Какой-то человек, единственное живое существо, шел ей навстречу, и полы его куртки призрачно трепыхались на ветру, как крылья диковинной птицы, но и он внезапно исчез среди кабин для переодевания, словно сквозь землю провалился, и Юргита даже усомнилась, видела она его на самом деле или он только померещился ей?

Она уехала автобусом после обеда и всю дорогу чувствовала грозное неистовство морской стихии, явившейся ей недавно во всем своем величии... Вышла она в курортном городишке, где когда-то познакомилась с Даниелюсом, заметив в окне знакомый пейзаж. В памяти мелькнули сосняк, потонувший в снегу, прыткая белка, перескакивающая с ветки на ветку. Она услышала, как монотонно долбит толстенную кору дятел... Уютное и надежное прибежище — словно жарко натопленная среди зимы комната, где она в детстве, сделав уроки, любила сидеть и слушать музыку.

На другой день Юргита уехала в Вильнюс. Уехала, исходив вдоль и поперек все улочки этого тишайшего, почти игрушечного городка, всласть побродив по парку, по извилистым тропинкам, усыпанным сосновой хвоей и жухлыми листьями, побывав в санатории и у источника целебной минеральной воды, где собирался пестрый, разношерстный люд, хлынувший сюда со всех концов страны, чтобы поправить свое здоровье.

Вагон, как и обычно в межсезонье, был почти пуст. Напротив нее сидел молодой — примерно ее возраста — парень и что-то бойко рассказывал пожилой паре, мужчине и женщине, слушавшей его очень внимательно. Некоторые долетавшие до слуха фразы привлекли и ее внимание. В другой раз Юргита не стала бы подслушивать чужие тайны, пересела бы куда-нибудь подальше, но сейчас была абсолютно равнодушна ко всему. Подумаешь — невидаль: парень родом из Епушотаса (кажется, это родина Даниелю-

са Гириниса), правда, в Епушотасе давно не живет, а на курорт ездил, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье. Хотя ему, пожалуй, грех жаловаться, кости его, мол, давным-давно истлели бы в земле, он бы света белого не видел, если б не какой-то Жгутас-Жентулис, в ту пору народный защитник; это он вынес его вместе с братишкой из горящего дома, который подпалили проклятые лесовики, порешившие до этого его бабушку, дедушку и отца, председателя только что народившегося колхоза. Да, да, одобрительно кивали головой мужчина и женщина, слушавшие его с прежним вниманием и засыпавшие словоохотливого попутчика массой всяких вопросов, которые помогли Юргите окончательно разобраться в его истории: мать рассказчика чудом уцелела, на другой день после убийства собрала она, значит, косточки своих близких, выгребла их из неостывшей золы, сложила в гроб, сколоченный сердобольным соседом, и сама зарыла, потому что селяне, напуганные бандитами, не отважились ей помочь.

Когда Юргита вернулась в Вильнюс, она еще долго вспоминала того парня, которому какой-то смельчак подарил жизнь. Пылкое воображение, распаленное его рассказом, воссоздавало сцены кровавой, разыгравшейся той ужасной ночью драмы, перед которой блекли все ее собственные переживания и неудачи. В зловещей полночной тишине она видела полыхающий огненный куст, взметнувшийся в черное поднебесье и расцветший призрачными, пляшущими языками пламени, и великана, выходящего из него с двумя невинными детьми, прижатыми к широкой груди, в которой бьется бесстрашное сердце, сердце, которое замолкло бы навеки, рухни несколькими мгновениями раньше горящая крыша избы. Ранней весной, когда по заданию газеты Юргита отправится в Епушотас и неожиданно наткнется на такой материал о Жгутасе-Жентулисе, что не написать о нем не сможет, выяснится, что был он не великаном, а низкорослым, хотя и плечистым, мужчиной, на которого, по словам знавших его женщин, и «смотреть-то нечего». Но для мальчишки, который в ту ночь льнул к груди своего спасителя, Жгутас-Жентулис был ни с кем не сравнимым великаном. Он стал как бы олицетворением жизни отца, дедушки, бабушки, матери, которая только через несколько часов прибежит из леса, чтобы помолиться над грудой горячего пепла. Был он, наконец, для него олицетворением мира, хотя этого он своим детским умом не понимал; будущего, счастливых и несчастливых мгновений, уготованных ему судьбой, того магического клубка

нитей, имя которому время и которое он, добрый великан, подхватил своими могучими руками на самом краю пропасти...

Впервые после нескольких бессонных ночей кряду Юргита как следует выспалась. Проснулась, но ощущение сна, образ курортного городишки еще тревожили сознание. Своим гудом навевали покой сосны. Над их кронами плыли косматые осенние облака.

Раздался телефонный звонок. Раз заверещал, второй. Настырно. А-а, Ричардас? Вернулся? Привет, привет... Он удивился, струхнул даже: что случилось? почему твой голос такой странный?.. Ничего, ответила она, я долго и тяжко хворала, но, слава богу, оклемалась наконец. Да, да, оклемалась... Все в порядке... Будь он повнимательней, он бы в словах и голосе Юргиты почувствовал горечь... О чем уж Ричардас точно не подумал, так о том, что голос Юргиты как бы ставит крест на их прежней любви. Он, видно, и сейчас не сомневался в этом, потому что тут же предложил встретиться. Юргита включила транзистор. Оркестр Берлинского радио играл вальс Гофмана «Беатриче», мелодия звучала печально, навевала горестные и скорбные воспоминания, но Юргита слушала ее отрешенно. «Все,— решила она, поднимаясь с софы, когда Ричардас позвонил в дверь.— Кости моих близких давно сгнили, а крест на их могиле скособочился...»

Он сразу понял все. У него дрожали руки, когда он открывал саквояж, доставал оттуда розы и клал их на стол. Ему хотелось обнять Юргиту, но взгляд ее оттолкнул его. «Слишком долго мы ждали друг друга»,— сказала она. Ричардас глубоко вздохнул, молча оглядел комнату, словно прощаясь навсегда с каждым предметом. Он не сводил глаз с тоненькой, стройной фигурки Юргиты, казавшейся в черном платье стройней, чем всегда, с ее белой шеи, с ее крохотных красивых рук. На безымянном пальце левой руки сверкал старинный серебряный перстень — подарок бабушки — с огромным черным агатом. «Я хотел привезти тебе какой-нибудь сувенирчик. На память,— сказал он.— Но подумал: ты не приняла бы его... Ты никогда ничего от меня не принимала. Столько лет любим друг друга, а у тебя никакого подарочка на память...»

Юргита ничего не ответила. «И никакого подарочка на память...— повторила она, когда он ушел.— А чем была наша любовь? Разве это не самый дорогой подарок?»

Шел дождь. Юргита распахнула окно навстречу промозглому ноябрьскому вечеру, шелесту дождя в полуголых

ветках деревьев, городскому шуму, пожирающему покой, нервы, но удивительно привычному. Таким же он был и для Юргитиных бабушки с дедушкой, знавших о деревне только по рассказам родителей. Повеяло запахом прелой листвы и жаркого из близлежащего ресторана. Крики, гомон... Сейчас грянет джаз. Запоют «Долгих лет желаем...» Каждую субботу или воскресенье в ресторане отмечают чей-нибудь юбилей. Ура! Да здравствует!..

Юргита стояла в задумчивости у окна, прислушиваясь к этому гомону, и никак не могла отделаться от ощущения, что когда-то такой вечер уже был. Точно так же лило, точно также пахло жарким из ресторана, точно так же шелестели мокрые деревья, сверкал асфальт и точно так же охрипшим тоскливым голосом вопила пьяная женщина. Только тогда была не осень, не ноябрь (такие теплые вечера, как нынешней осенью, бывают, наверно, раз в столетие), а середина лета, цвели липы, никто не вопил (да-да, она ошиблась, никто не вопил), громко, почти остервенело играл джаз-банд, горяча молодую кровь. Чем же, право, сегодняшний вечер похож на тот... давний? Только рестораном?.. Правда, еще дождем, его монотонным шелестом в ветвях... Но тогда дождь хлынул намного позже, когда совсем стемнело и стрелка часов приближалась к двенадцати...

— Ни одной звездочки не видно. Что же наши кавалеры достанут нам на прощанье с небес? — полюбопытствовала Юргитина подруга.

Ее парень усмехнулся:

— Давайте скорей, иначе достанется! Над Жверинасом уже сверкает...

— Пусть льет, — махнул рукой шедший рядом с Юргитой мужчина, с которым она познакомилась на приеме. — Я обожаю дождь и молнии...

— «Обожаю мед я, ты на мне женись...» — тихо процитировала Юргита одну поэтессу и сама удивилась: застряли же эти строчки в голове.

— Я бы охотно, не будь я женат...

Сзади шла еще ватага, возвращавшаяся с приема. Одного из них, журналиста, Юргита знала. Он взял да и ляпнул:

— Ты, Ричардас, поосторожней. С Юргитой шутки плохи. Она как Цезарь: пришла, увидела, победила...

— Сердцеедка?

— О! Поля любовных битв усеяны костьми мужчин, потерпевших в борьбе с ней фиаско.

— Не слушайте его, Ричардас. Он вас нарочно стращает. Шпагу из ножен — и вперед!

Грянул гром, суливший ливень. Юргитина подружка и ее попутчик остановили такси, к их счастью, в нем было два свободных места, и уехали. Остальные же приняли приглашение услужливого мужчины, занимавшего солидный пост в торговой сети, зайти к нему в гости и переждать ливень за накрытым столом. Юргита собиралась проститься, но тут Ричардас встал на дыбы: ни за что, мол, не отпустим, как можно — женщину... одну... в такое позднее время, да еще когда Перун гневается. Другие были того же мнения, а о хозяине и говорить нечего. Он всячески старался угодить «товарищу Ричардасу», просто из кожи вон лез: почту, мол, за честь. Что ни говори, а среди нас светило, человек с большим будущим.

Через каких-нибудь полчаса, еще до ливня (первая туча прошла стороной), все очутились в просторной, богато обставленной квартире с хрустальными вазами, фарфоровыми сервизами и другими дефицитными вещами, выставленными напоказ: полюбуйтесь, дескать, на наше житье-бытье. В гостиной всю стену занимала книжная полка, битком набитая книгами: все собрания сочинений, все классики в прекрасных переплетах, альбомы, энциклопедии. Судя по названиям книг, хозяин был человеком весьма широкого кругозора. Но когда Юргита полистала две-три книги, то убедилась в том, что ни одна из них не читана; это же подтвердила простодушная хозяйка, заявившая без обиняков, что такую уйму и за всю жизнь не прочитаешь. Словом, и книги здесь были приложением к мебели, декорацией, долженствующей прикрыть невежество и духовное убожество. Если хозяева что-то и ценили в своей богатой библиотеке, то только то, что было подарено живыми авторами с дарственной надписью в благодарность за услуги — возможность приобрести заграничную дубленку, сервиз или другую ценность, не доступную простому смертному. Да, у этих невзрачных, довольных собой людей было вдоволь всего, что должно было удовлетворить их спесь, кроме личного знакомства со знаменитостями, светилами искусства. Когда же им удавалось завести такое знакомство, они не стеснялись на каждом шагу трубить о той услуге, которую оказали тому или иному таланту.

Угощали в доме только самыми дорогими напитками — шампанским, фирменным коньяком, а для Ричардаса даже нацедили рюмку из полупустой бутылки «Наполеона», которую расчетливые хозяева откупоривали только в честь полезных и именитых гостей.

— Хозяева не знают, что после Нового года я уезжаю из Вильнюса,— шепнул Ричардас Юргите.

— Ну и что? — равнодушно спросила она.

— Они не были бы такими щедрыми,— сказал он и добавил: — Я получил назначение.

— Вас можно поздравить с повышением? Может, даже с поездкой за рубеж? — оживилась Юргита.

— Вы угадали.

— От души за вас рада... Но меня никакими повышениями из Литвы не выманишь,— невольно вырвалось у нее, хотя она относилась к домоседам с предубеждением.

— Очень жаль, но тут наши взгляды не совпадают,— разочарованно протянул Ричардас.— Я лично за простор, где можно расправить крылья.

— Орлы меня восхищают, но, по-моему, они должны остаться верными родному гнезду,— посерьезнела Юргита.

— Конечно! — радостно поддержал ее Ричардас.— Ведь и улетают-то они только для того, чтобы набраться на чужбине сил и еще выше подняться.

Юргита пошутила: не свидетельствует ли такой взгляд о его склонности к карьеризму, но Ричардас сменил тему разговора и принялся подтрунивать над собравшимися (и над собой): дескать, у современного трудового интеллигента нет большего удовольствия («Ах, это вершина блаженства!»), чем интеллектуально, из дорогих рюмок, потягивать дорогой коньяк и думать о себе, что «я самый... мудрый, самый...».

Ричардас выделялся среди всех: элегантный, исключительно внимательный, остроумный, мужественный. Юргите нравилось его умение быстро приноравливаться к людям, если надо, порывать с ними, становиться выше их и не кичиться своим превосходством.

После полуночи все встали из-за стола и собрались уходить. Дождь давно прошел; доносившийся издали громок никого не пугал, никто не подозревал, что прояснившееся небо вот-вот снова затянет тучами.

Хозяева второпях попрощались с гостями, но Юргиту и Ричардаса наотрез отказались отпустить. Куда в такое позднее время? Погода хуже некуда... Да и мало ли что случается по ночам... Не лучше ли заночевать, никто ведь не гонит... а завтра со свежими силами за работу... Если товарищу Ричардасу неудобно, то хотя бы на час, на два... пока не рассветет...

Ричардас улыбался, пожимал плечами. И по его улыбке ничего нельзя было понять. Только когда хозяин распахнул

дверь в комнату (она, должно быть, не раз распахивалась перед именитыми гостями), где белела кровать с двумя взбитыми подушками и заманчиво откинутым одеялом, все стало понятно.

Юргита глянула на Ричардаса. Их взгляды встретились, и оба, захваченные одной мыслью, громко захохотали. Расстроенные, даже обиженные хозяева попытались объясниться, но Ричардас, давясь смехом, уже открывал дверь в коридор. Они спускались по лестнице молча, тихо посмеиваясь и чувствуя такую близость, словно остались вдвоем на всем белом свете. Юргита почему-то вспомнила, что ей двадцать четыре года. Уже двадцать четыре! На миг ей привиделись белая фата, белое цветенье садов, белые поля в середине зимы, белые-белые мгновенья детства, зыбкие и трепетные, как мельканье белых августовских мотыльков. На нее внезапно нахлынула какая-то ослепительная белизна, и на душе стало так хорошо и так тревожно, как будто у нее выросли крылья и она взмыла высоко-высоко...

В таком странном и взбудораженном состоянии Юргита вышла на улицу. Снова зарядил дождь, и она пустилась в пляс по асфальту под пересверк молний и грохот грома. Зачарованный Ричардас что-то выкрикивал в такт, хлопал в ладоши, что-то напевал, пока наконец сам, поддаваясь Юргитиному азарту, не затанцевал. Оба кружились, увлекая друг друга, никого не видя и ничего не замечая. Кружились вместе с снявшимися с насиженных мест домами, оскалившими широкие черные пасти подворотен, кружились вместе с тусклыми уличными фонарями, с мокрыми, как бы озябшими, липами, кружились вместе с милиционером, который вылез из подворотни и уставился на них, этих приплясывающих под струями дождя придурков, гадая, что это, сон или явь.

Потом Ричардас притянул ее своими длинными сильными руками к себе и понес — разгоряченную, умаявшуюся от пляски, дышавшую прерывисто и тревожно ему в лицо — по мостовой. Юргита губами ловила прохладные капельки дождя, вода струилась с мокрых волос по щекам, по шее, за воротник, но она не чувствовала ничего, кроме удивительной легкости, словно ливень смыл с души все, что ее угнетало: и недобрые взгляды, и двусмысленные намеки, и похотливую услужливость хозяев двуспальной кровати, всю мразь и муть, которую порой обрушивают на голову красивой женщины мелкие людишки, завистники и злопыхатели, подходящие ко всему на свете со своей меркой.

В темноте подъехал поздний троллейбус, Юргита испуганно вскрикнула, но Ричардас, смеясь и сыпля остротами, продолжал идти по мостовой, пока троллейбус не остановился возле них. Они забрались внутрь и стали кататься по городу, пережидая ливень. Юргита вернулась к себе домой на рассвете. Она засыпала усталая, но счастливая под шорох благословенного дождя. Гроза давно кончилась, молнии больше не сверкали, Юргита закрыла глаза, но и с закрытыми глазами она все еще видела лоскуток чистого безоблачного неба. (Тогда она еще не знала, что, испытав сильное и большое чувство, которое называется первой любовью, она будет долго и мучительно искать исцеления от него, а потом, как следует не исцелившись, встретит Даниелюса. Возможно, Даниелюс так и остался бы добрым, случайным знакомым, если бы не благоприятные обстоятельства, которые помогли ей глубже понять его, открыть то, что она, как ей казалось, всю жизнь искала. Незаметно, исподволь он завладел ее душой, и наконец наступил день, когда Юргита удивленно сама себя спросила: «Неужто я неравнодушна к нему?»)

Но это случится только по возвращении из командировки в Дзукию, куда Юргиту послали написать очерк о прославившемся на всю республику Доме культуры. Могла она у секретаря тамошнего райкома партии и не побывать, тем более что в райисполком уже заходила, но ей не хотелось обижать Даниелюса. А если честно признаться, не терпелось увидеть его.

Юргита вошла в тесную, битком набитую посетителями приемную, отыскала свободное местечко и села. Секретарша, смекнувшая, видимо, что за гостья пожаловала, дала понять, что сделает для нее исключение, но Юргита не терпела поблажек и ничем не желала выделяться среди других: они пришли сюда по более важному делу и с более неотложными заботами, а не в гости, как она. Какая-то полуживая, высохшая, как гороховый стручок, старуха жаловалась — не принимают ее в дом престарелых, потому что у нее взрослые дети, а их долг содержать родителей. А дети нынче, сами знаете!.. Ах, ах! Горе одно и слезы... Другой почем зря председателя колхоза распекал: не дает шифера для крыши, хоть убей, про дыру и слышать, бес этакий, не хочет, перебирайся, говорит, в поселок, тогда тебя стройматериалами завалим... Легко сказать — перебирайся... Разве такое дело решишь за день?.. В разговор вмешался сосед: у меня, понимаешь, такая же беда — шесть лет назад переехал в новый поселок по плану, а тепе-

рича по новому плану все старые планы к черту полетели, кажись, снова придется избу ставить, только на сей раз в другом месте... Сами дальше своего носа не видят... Сделают, а ты, человече, страдай! Был в приемной и мужичок, который когда-то переселился в другой конец Литвы, где земля пожирней... Супесь в его родной деревне собирались под лес пустить... Однако планы планами и остались: кто не порол горячку, тот остался, не переехал и по сей день на родине возле своих грибочков и ягодок... Свой край, как же. Вот и тянет назад, мочи нет, хоть, может, на чужбине кусок и пожирней. Изба скособочилась, но стоит еще, старая. Может, говорю, товарищ Гиринис войдет в положение, поможет вырваться из того колхоза... наш председатель скорее в гроб тебя загонит, чем позволит назад перебраться... Все в приемной единодушно закивали: секретарь поможет, от него еще никто не ушел с пустыми руками. Может, только какому-нибудь ловчиле, искателю легкой жизни, проныре, ничего у него не перепадет. А если и перепадет, то не то, чего ждет: пристыдит, высмеет, добра не жди. А честного труженика товарищ Гиринис всегда поддержит. Скажет слово — как топором отрубит, попусту его на ветер не бросит. Да, ежели правда на твоей стороне, выкладывай и ступай спокойно домой — будет сделано! Не так ли в прошлом году с почтой на колесах было? Для министра, может быть, и удобство — меньше рабочих да и дешевле, а для простого человека такая почта как телеге пятое колесо... По телефону, когда беда нагрянет, не позвонишь, и телеграмму, когда жизнь заставит, не пошлешь. Худо, и все тут. Пусть одна такая штука для пробы, значит, ездит по округе, но не по головам же... голова, она для таких проб не годится. Ежели министру уж такое от этого удобство, может, он, уважаемый, согласится зимой среди лесов пожить, когда дороги заметает, и воспользуется услугами такой разъездной почты? Сели, написали бумагу, отнесли секретарю. С такой же бумагой явились и по другому поводу, когда лесхоз пастбища урезал и стал высаживать лес прямо-таки под окнами. Лесхоз думал — пишите себе на здоровье, все равно у вас ничего не выгорит, мол, таково указание сверху — против ветра не подуешь... Да и сам товарищ Гиринис ничего не обещал. Но сделал. Сделал! И связь осталась такой, как прежде, только одно отделение на колеса перевели для пробы, и пастбище их не тронули... Кто-то вспомнил о работнике, которого начальник понизил в должности только потому, что его мать ходила в костел. Гиринис вызвал его и потребовал отменить

дурацкое решение. И добавил еще, что людей надо воспитывать не силой, а чуткостью и личным примером.

Юргита прислушивалась к басовитым шепоткам, и ей казалось, что Даниелюс сделал что-то для каждого из них: потому-то все они верят, что и на этот раз он поможет... Она настороженно следила за тем, как они — кто с надеждой, кто с доверием — смотрят на дверь кабинета, как осторожно или громко — в зависимости от настроения — закрывают ее, выходя. Вот вышла несчастная старуха, вскормившая бездушных детей и ищущая теперь пристанища в доме для престарелых. Даниелюс, видно, проводил ее до самой двери, взяв под руку и защищаясь от слов благодарности. Взволнованная до глубины души, не изведавшая в жизни ласки, она что-то бессвязно и жарко шептала — наверно, о счастливых родителях, воспитавших такого сына, как «господин секретарь».

Даниелюс был настолько возмущен тем, как обошлись со старухой, что даже не заметил Юргиты, сидевшей напротив двери.

Позже, когда Юргита вошла в кабинет и они разговорились, Даниелюс признался, что нет ничего хуже, чем очутиться в таком положении, когда ты чувствуешь себя бессильным помочь человеку.

— Из того, что я слышала в приемной, нельзя заключить, что вы попадаете в такое положение часто,— искренне усомнилась Юргита.

Даниелюс снисходительно улыбнулся:

— Приятно, когда газетчик так лестно думает о секретаре райкома.

— Вы кажетесь таким всесильным... вас все так любят и уважают. Если когда-нибудь вздумаете отсюда уехать, люди будут проливать слезы...

Гиринис растерялся и неловко улыбнулся. Он никак не мог взять в толк: говорит она это всерьез или в шутку, скорее всего, в шутку.

— Два дня назад ко мне один подвыпивший колхозник приходил — милиция его заграбастала за гонку сивухи... Ну, чем я мог ему помочь? Просто сказал: примите кару как должное, зарабатывайте на хлеб честно, не отравляйте людей. Он слушал, слушал и напоследок так глянул на меня, что я подумал, нет ли у него в кармане финки... Этот уж точно не будет слезы проливать, когда я уеду отсюда.

— Не будет и не надо,— заступилась за Даниелюса Юргита, косясь на его сильные руки, обхватившие подло-

котники кресла.— Слезы таких типов никому чести не делают.

Даниелюс ответил не сразу, помолчал, как бы взвешивая какую-то важную мысль, опасаясь, видно, показаться смешным.

— Несчастные люди,— наконец произнес он.— Наказываем их, читаем им мораль... Ах, уж эта сила инерции, будь она неладна, каждое торжество отмечать звоном бокала. Уже нет почти ни одного воскресенья, которое не объявили бы чьим-то профессиональным праздником. Льется водочка рекой, потому что лимонадом или квасом гостя не попотчуешь — непривычно, нерадушно, хотя, честно признаться, такая идея все чаще приходит мне в голову.

— Идея хорошая,— согласилась Юргита.— Но я почти уверена, что она обречена на провал.

Лицо Даниелюса расплылось в улыбке.

— Возможно. Есть у нас такой колхоз, где во время коллективных посиделок на столе только безалкогольные напитки: всякие там соки, молочное шампанское. Но большинство уходит с этих посиделок пьяными. А все потому, что чуть ли не каждый приходит туда с бутылкой водки в кармане... Ставят под стол и угощают друг друга, пока не напиваются до положения риз. Но председатель упрямо держится своего и верит, что постепенно безградусное производство, налаженное его женщинами, возьмет верх. Это похоже на войну Дон Кихота с ветряными мельницами. Но я всей душой поддерживаю его. Лучше что-нибудь делать, чем сидеть сложа руки и взирать на зло.

Юргита не стала возражать. Она только бросила, что донкихотство — это прекрасное качество и что такие люди украшают мир.

— Миром надо править,— сказал Даниелюс.— Пусть украшают его женщины. Предложи мне судьба корону деспота или шутовской колпак, я, не сомневаясь, выбрал бы колпак. Об этом даже стишок написал.

— Почитайте!

— Да ну!.. Все это несерьезно... И потом боюсь, как бы репутации не повредило... как ни крути, а я секретарь райкома,— пытался превратить все в шутку Даниелюс, но Юргита настояла на своем, и он прочитал свои стихи.

Оба смачно рассмеялись.

— Вы и впрямь поэт,— сказала она, вытирая надушенным носовым платком глаза.

— И не простой, а универсальный,— подшучивал над собой Даниелюс.— Сатира и лирика с романтическим укло-

ном. Мои вирши, наверно, напоминают куплет одного начинающего барда:

Только к нам весна приходит,
бес с ума всех девок сводит,
во всю глотку соловей
распевает средь ветвей.

Юргиту просто душил смех.

И Даниелюс, зардевшись от удовольствия, улыбался, как озорной мальчишка, выкинувший лихое коленце. Он поворачивал кресло то в одну сторону, то в другую, словно играя, затем резко встал и решительно зашагал по кабинету, горячо доказывая, что каждому человеку свойственны возвышенные чувства, но их частенько убивает быт. Юргита не сводила с него глаз, удивляясь тому, что такой сдержанный человек, как он, вдруг заговорил о поэзии, заговорил страстно, почти исповедально, и думала: «Вот она, вторая сторона медали. На миг оторвался человек от того, что он назвал бытом, и счастлив... Но вправду ли счастлив?»

Даниелюс вдруг застыл и спросил:

— О чем вы сейчас думаете?

— Счастливы ли вы? — Юргита поднялась, пунцовая от неловкости.

Даниелюс развел руками, словно желая обнять ее, но тотчас же спохватился.

— А в вашей жизни никаких перемен? — осведомился он, глядя на Юргиту в упор.

Юргита кивнула.

Даниелюс крякнул.

— Когда-то я, кажется, вам говорила про одного своего друга. Вот... теперь все в прошлом...

— Видно, он не стоил вас!

— Не будем.

— Ладно, не будем,— Даниелюс взял ее руку и почтительно поцеловал.— Вы спросили, счастлив ли я? Порой для настоящего счастья достаточно одного слова,— пробормотал он.— Давно его жду.

— Прощайте,— прошептала Юргита, напуганная его откровенностью.— Будьте счастливы!

— И вы будьте!.. Вспоминайте изредка, помните: на свете есть такой Даниелюс Гиринис, для которого каждая встреча с вами большая радость.

— Спасибо...

Она вышла из кабинета, озадаченная признанием Даниелюса, хотя давно чувствовала, что он неравнодушен к ней.

Гиринис нравился ей как человек, но Юргита ни разу не подумала о нем как о мужчине. С ним было интересно общаться, беседовать, внимательность его ласкала самолюбие, тем паче что за его внимательностью стояло что-то еще, чего она и не отвергала, и не поощряла.

Если до этого Юргита относилась к Даниелюсу с уважением, то после встречи с ним в ее отношении наступил какой-то перелом, уважение уступило место другому чувству — какой-то восторженности. Юргита восторгалась его умом, его искренностью, его прямотой и откровенностью, простотой и другими качествами, свойственными, как ей казалось, только незаурядным и сильным натурам. Чуткая, не лишенная художественных наклонностей, Юргита от души поддерживала поэтические опыты Даниелюса, хотя сам он относился к ним с нескрываемой иронией, убежденный, что поэт из него липовый,— недаром он никогда никому не показывал того, что пишет. Гиринис отличался от других ответработников, и это отличие тоже привлекало Юргиту, не щадившую ни банальность, ни трафареты. Даже то, что она причисляла к его слабостям — чрезмерную доверчивость, склонность к идеализации, самоуничижение,— не раздражало, а делало добрей и отзывчивей. В один прекрасный день она поняла, что любит его, и если до сих пор боялась в этом себе признаться, то только потому, что болезненно не доверяла своим чувствам и не желала еще раз испытать горечь разочарования.

Должно было пройти какое-то время, пока не пришло решение. А пришло оно месяца через два-три в той вымершей дзукийской деревушке, куда их обоих забросил случай.

VI

Даниелюс. Какая ты красивая!.. Длинное платье, алмандиновое ожерелье... ого! Куда-нибудь собралась? Или, может, только что вернулась?

Юргита. А что? Положим, собралась...

Даниелюс. Ничего. Скучно тебе в нашем Епушотасе. К большому городу привыкла. Понимаю...

Юргита. А ты, милый, часом, не ревнуешь? По глазам вижу: в них ревнивые бесенята прыгают.

Даниелюс. Если в них что-то и прыгает, так только страх... Страшно потерять тебя.

Ю р г и т а. Если женщина в ожидании своего мужа наряжается, чтобы понравиться ему, то мужу ничего не грозит.

Д а н и е л ю с. Стало быть, ты ради меня? Милая моя... Неужто твой ночной гуляка заслужил такое?

Ю р г и т а. Кажется, не очень-то ты по мне соскучился...

Д а н и е л ю с. Что ты! Сама знаешь: люблю свою работу, она смысл моей жизни. Но если потеряю тебя, то сам не знаю, во что превращусь. В робота, что ли... Но роботы не могут быть счастливы... Ведь не могут?

Ю р г и т а. А ты? Ты счастлив или только убеждаешь себя?

Д а н и е л ю с. Неужели ты этого, премудрая, не чувствуешь?

Ю р г и т а. Может, и чувствую... Но любимой женщине приятно, когда она это слышит из уст своего любимого... раз... еще раз, тысячу раз... Говори! Повторяй!

Д а н и е л ю с. Плутовка! Так вот знай: я по тебе соскучился... Ведь мог бы еще задержаться в лауковской сауне. Но нет! Благородный зверь помчался домой сломя голову, потому что любимая лань ждет...

Ю р г и т а. Не задабривай, не задабривай... Если бы помчался, давно был бы дома. Но разве вернешься, не обмыв добычу? Традиция!

Д а н и е л ю с. Традиция не традиция. Не было, понимаешь, повода раньше удрать. Каюсь...

Ю р г и т а. Ну уж если каешься, то, может быть, в наказанье выпьешь со мной глинтвейна и исповедаешься в своих грехах?

Д а н и е л ю с. О Юргита! За что мне такая милость? Кстати, Малдейкис шлет тебе сердечный привет... Он еще до охоты просил, чтобы я тебе передал. Извини, просто из головы вылетело...

Ю р г и т а. Какой ты забавный!.. Но, скажите пожалуйста, каким внимательным Аполинарас стал...

Д а н и е л ю с. Он и сегодня тебя напропалую хвалил. Наверно, и осанну пропел бы, не испорть я всем за ужином в бане настроение. Зря я, конечно, полез. Ведь все равно разговорами ничего не изменишь. Если хочешь что-то сказать, то не за пиршественным столом, а с трибуны... Но мы ведь герои за глаза...

Ю р г и т а. Что у тебя за привычка обобщать? Зачем ты себя в одну кучу с другими валишь? Нечего путать орла с воронами... Я бы тебя перестала уважать, если бы ты

смолчал тогда, когда надо защищать свою правду и свои убеждения.

Даниелюс. Ты, как всегда, слишком добра ко мне. Всегда оправдываешь...

Юргита. Ты настоящий ребенок. Седой, большой ребенок...

Даниелюс. Малдейкис известный сердцеед.

Юргита. Ты неподражаем, когда ревнуешь. Лучше обними меня и поцелуй.

Даниелюс. Ах ты баловница!..

Юргита. Мне так хорошо, когда ты меня обнимаешь...

Даниелюс. Ах ты притворщица!

Юргита. Это и впрямь загадка: все время те же слова, та же ласка — и не надоедает...

Даниелюс. Может, это потому, что мы те же и всякий раз другие? Не в этом ли секрет обновления души?

Юргита. Мы... только мы и секрет, и разгадка, мой милый... — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Юргита. Когда тебя дома нет, просто места себе не нахожу. Потому-то и махнула сегодня в Дягимай. Я бы не поехала, если бы не Салюте... Зашла вроде бы случайно, а когда разговорились, слова не дала вставить. Ты же знаешь, какая она трещотка. Всю жизнь свою с Унте как на духу выложила. Они, кажется, не очень-то ладят.

Даниелюс. С Унте и ангел божий не поладит. Куда ни ступит, всюду какую-нибудь кашу заварит. Салюте и ко мне в райком забегала, жаловалась на муженька. Представляешь себе, ввалился пьяный к какой-то птичнице. Там его так напоили, что потом — как мертвого! — уложили в кровать... и он домой только поутру приплелся. Салюте не верит, что у него с этой птичницей что-то было, но и простить не может: так он ее осрамил. А всему виной якобы...

Юргита. ...памятник, который собираются соорудить в Дягимай напротив Дома культуры?

Даниелюс. Вот видишь, и тебе она жаловалась.

Юргита. Да. Напрасно ты утаивал от меня. Думал, не узнаю.

Даниелюс. Прости! Но сама подумай, с какой стати я должен тебя бреднями кормить. Послушать моего братца — всегда другие виноваты.

Юргита. Потому что он не такой, как эти другие.

Даниелюс. Ты не думай, я его не только осуждаю... Салюте, видно, снова плакалась, что им до сих пор машину не дают?

Юргита. Ты угадал. Она боится, как бы Унте все сбережения не спустил.

Даниелюс. Дурочка. Не понимает, что деньги здесь ни при чем. Тебе надо было сказать: пойми, Салюте, секретарь не раздает своей родне машины, придет твоя очередь и получишь, как все.

Юргита. Ты прав. Тем более что не машина у него на уме. Узнай он о стараниях своей благоверной, глядишь, и скандал бы устроил. Кстати, Унте мне показывал проект нового Дома культуры. По-моему, стоящий! Поскольку Стропус относится к этому делу, мягко выражаясь, с прохладцей, то я и подумала, не пора ли нам вмешаться; дадим статью о равнодушии некоторых хозяйственных руководителей к вопросам культуры и еще кое о чем... Я понимаю Унте... Не зря так переживает эту волокиту.

Даниелюс. Унте на все смотрит со своей колокольни. Ему кажется — важнее Дома культуры ничего нет. Наивный человек! Если бы так можно было решить вопросы подъема культуры, мы были бы одной из культурнейших стран в мире. Унте! Широкая душа, но узкий обзор. Да и больно вспыльчив. Стоит ли из-за строительства громы и молнии метать. Или из-за памятника... Я тебе, кажется, не говорил...

Юргита. Я все знаю. И не согласна с тобой. Думаю, твой брат прав.

Даниелюс. Жгутас-Жентулис был обыкновенный смертный, а Унте хочет видеть в нем святого.

Юргита. Я была первая, которая, если угодно, подняла его на щит...

Даниелюс. Ах, да... припоминаю. Твой очерк... Конечно, конечно...

Юргита. Мне рисовалась большая и благородная личность, но чем глубже я вникала в материал, тем больше убеждалась, что самым героическим в жизни Жгутаса-Жентулиса была его смерть. Люди в ту пору уже не боялись говорить правду, и именно от них я узнала, что этот Жгутас-Жентулис погиб с честью, но не всегда умел с честью жить. И все-таки я написала о нем очерк, ибо меня заинтересовала проблема двойственности личности. Я показала Жгутаса-Жентулиса без всяких прикрас, таким, каким он был в жизни. Я написала о его трагическом финале, отмеченном подвигом. Однако редактор был другого мнения.

Когда я увидела его правку, не узнала свой очерк. Жгутаса-Жентулиса «причесали», хоть бери и ставь на алтарь. Вскоре мой очерк перепечатали другие издания, перевели на русский... Черные пятнышки, которые могли, дескать, затемнить его образ, были замазаны белой краской, суровая правда пострадала от спасительного умолчания. Если бы я знала, то не написала бы ни строчки.

Даниелюс. Ты что думаешь — все те, чьи имена высечены на мраморе или граните, были такими, какими мы знаем их сегодня? Кое-кому, как и Жгутасу-Жентулису, можно предъявить счет, особенно если заглянуть за кулисы... Но мир и история простили им ошибки, может, даже преступления за то добро, которое они сделали для человечества.

Юргита. Нет, мир и история ничего никому не прощают. Если бы прощали, не рушились бы памятники, которые легкомысленный человек воздвигает живым.

Часть третья

ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ, ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ

1

Три недели подряд то слякоть, то дождь, но вот уж который день солнышко жалует своим теплом землю, сушит в ложбинах последние лужи; дренажным трубам, забитым грязью, ни капельки не достанется. Небосвод ясен и чист, словно надраен, только там и сям сиротливо бродят по небу тучки, повисшие как белый дымок над раскинутыми до самого горизонта лесами, опоясывающими темно-синими лентами просторные равнины. Деревня лежит по обе стороны большака, по которому без устали, днем и ночью, снуют машины, поднимая тучи пыли (иногда наперегонки с двуколкой протарахтит трактор). Островерхие крыши как бы запутались в ветвях деревьев, со всех сторон их подпирают белеющие колоннады садов, где уже зеленеют островки нестойкой, еще робкой, травы, а под частоколом, на добрый вершок от земли, поднимается хмель, озираясь вокруг в поисках привычной жерди.

Во дворах — куры и босоногие детишки.

Из хлева вместе с застойным зимним запахом навоза доносится мычанье.

Телок, только что отлученный от вымени, вырывается во двор и очертя голову бросается к овину, распугивая сердитую стайку гусей, шипящих ему вдогонку.

Йонас Гиринис опускается на траву подле смородинового куста. Сюда не доходит смрад выхлопных газов и пыль не долетает. Старик блаженно улыбается, впалой грудью глубоко вдыхает запах оживающей земли, настоянный на робкой зелени.

— Весна...— шепчет посиневшими губами старый Гиринис, прильнув щекой к прохладному смородиновому кусту, усыпанному лопающимися почками.— Скоро и листочки распустятся, и цветок проглянет... Воистину чудо господне!

— Эй, тестенек, чего там молишься? — доносится хриплый голос со стороны большака.

Пранюс Стирта, кто же еще. Остановился возле двора. Ехал мимо с сеном и остановился: чертовски сухо во рту после вчерашнего, может, у тестя хоть капелька пива найдется.

— Пора, папаша, огороды пахать,— умасливает он Гириниса, развалившись на телеге и похлопывая себя кнутовищем по резиновым сапогам.— Унте намедни говорил: лошади нужны... Так вот — выгружу эту подстилку возле свинарников и айда назад. Так как — нужен помощник или нет?

— А сам-то ты свой огород вспахал? — Старый Гиринис холоден как лед.

— Успеется... Я не из тех, кто первым кусок в рот сует.

— Кусок, может, и не суешь, а вот насчет глоточка — тут тебя никто не обгонит.

Пранюс Стирта хмурится, разочарованно мотает головой. Собрался было скатиться с телеги вниз, но в последний момент раздумал: нечего, мол, торопиться, лицо тестя ничего хорошего не сулит.

— Худо,— вздыхает Стирта, ероша пышные черные усищи, всегда небрежно закрученные.— Человек подыхает от жажды, и ни одна душа не догадается ему хоть каплю поднести... Как же так, дорогой папаша, можно, да еще с родней? Ну хоть капельку, губы смочить...

— Ну почему только губы? Ежели желаешь, я тебе целый кубшин кленового сока зачерпну... Он у меня на овсе настоян,— без всякой жалости отрезает Гиринис, злорадно уставясь на одутловатое лицо зятя.

— У тебя, папаша, в груди не сердце, а камень могильный.

Стирта желчно скалится, подергивает вожжи, подстегивает лошадей и под тарахтенье колес сорвавшейся с места телеги заводит похабную песенку — благодарность черствому тестю за радушие:

С бабой дед плясал вприпирку,
обронил вдруг старый гирьку,
как же деду дальше жить,
как же гирьку ту пришить?

Баба молвила со зла:
— Гирька век свой отжила!
Положи ее ты в гроб,
не дразнила девок чтоб...

— Лоботряс несчастный,— шепчет старый Гиринис, провожая взглядом удалящуюся телегу.— Надо же, чтоб Бируте так не повезло!..

И больше не мил старику ни этот зеленый цвет осмелевшей весны, густой щеточкой пробивающийся на нагретых солнцем взлобках, ни эти набухающие на яблоневых ветках почки, которые вот-вот лопнут и где-то к середине мая раскроются во всей своей красе и оденут всю деревню в розовато-белый наряд. Йонас Гиринис покидает сад, неуклюже волоча отяжелевшие вдруг ноги. Скорей за сарай, к поленнице!.. Расколет какое-нибудь полено или чурку, вдохнет смолистый запах опилок и успокоится. Запах опилок всегда умиротворяет. Но вдруг откуда-то до него докатывается тревожная волна взрыва, и старик еще больше скисает. За первым взрывом воздух сотрясает другой... Еще, еще... Не такие, правда, чтобы в избах стекла дрожали, но уши закладывает, и, когда все стихнет, у старого Гириниса все равно от них в голове гудит.

Йонас Гиринис с минуту сидит на колоде, молитвенно сложив на животе жилистые руки, наклонив голову: неужто еще раз вдарит? Но со стороны Гедвайняй, откуда накатились и этот грохот, и эта будоражащая душу волна, доносятся только редкие и нестройные удары, словно кто-то невидимой рукой молотом бьет по наковальне.

Уже неделя, как будоражат душу: каждый второй день по нескольку взрывов, и вот эти невидимые глухие удары молота о наковальню. Когда подходишь поближе к Гедвайняй, слышны и другие звуки: гудят, грохочут трактора, грузовики идут один за другим, оглушая адским шумом, какие-то железные чучела мелькают то тут, то там, задирая вверх, к самому небу, свои головы — ни дать ни взять привидения. Глотку щиплет этакий удушливый смрад, он, кажется, клубится из недр земли, которые проделал самый прожорливый червяк на свете — человек. Кто знает, что делается за высоким трехметровым забором, огородившим площадь чуть ли не в десять гектаров, за забором, оплетенным колючей проволокой. Бог ты мой, какие там яровые росли! Сахарная свекла... Или лен... Посеешь, бывало, и вырастет, поднимется стеной, получишь сам-десять в награду за пролитый пот. А теперь? А теперь на этом месте построят фабрику. Спору нет, и фабрики нужны, как же без фабрик, но что же они там выпускать будут? И потом — почему именно здесь, под самым боком? Неужто в городах места мало, и фабричные станки должны гудеть там, где испокон веков люди хлеб добывали?

II

Так думал старый Гиринис и в тот день, когда со стороны Гедвайняй до деревни докатились отголоски первых взрывов, положившие конец разговорам и пересудам о том, что строительство фабрики решено-де временно заморозить, потому что власти еще раз хорошенько пересмотрели проект, оказавшийся явно устаревшим.

— Раз так, дело застряло лет на пять, не меньше,— утешали друг друга жители Дягимай.

Одни из них тихо радовались («На кой нам этот город в деревне?»), другие в душе сожалели, что не смогут связать свою судьбу с фабрикой.

Йонас Гиринис ни сожалел, ни радовался. На строящуюся фабрику старик смотрел, как смотрели его предки на крепость, которую противник обычно сооружал на захваченных владениях; чеши языком сколько влезет, на заложенном фундаменте все равно непробиваемые крепостные стены вырастут, ежели кто-нибудь их не разрушит. Но, даже не веря слухам, старый Гиринис питал смутную надежду, что в них, в этих слухах и пересудах, кроется беззащитное зернышко правды.

Поэтому-то на другой день, как только установилась погода, собрался он в Гедвайняй, чтобы все самолично проверить. Четыре километра ходьбы были для его норовистых ног еще совсем недавно сущим пустяком — он столько за всю свою жизнь пешком проходил, что всю землю, пожалуй, раза два обогнул, но сейчас ноги не слушались. И уж совсем они подкосились, когда внезапно грохнул взрыв и над стройкой повисло черное облако пыли. Потом снова грохнуло. И снова!.. И еще раз!.. Всего, наверно, с полдюжины... Старый Гиринис только разевал рот, как рыба, выброшенная на берег, смирнехонько сидел в канаве и ждал, когда кончится эта бомбардировка, и в его встревоженном, гулко бьющемся сердце снова затеплилась погасшая было надежда: а вдруг на самом деле заморозят? Вот этими самыми взрывами сметут то, что уже сделано, и вздохнет земля... Но когда старый вылез из канавы, насытившись утешением, самому стало смешно от своих мыслей: за высоким фабричным забором чернел лес кранов и экскаваторов, и был этот лес гуще, чем две недели тому назад, и шум над ним стоял такой же, если не больший, и людей как будто прибавилось. В широко распахнутые ворота вползали самосвалы, груженные землей, а со стройки возвращались порожняком, изредка преграждая путь

могучим «МАЗам», таскавшим прицепы со стройматериалами.

Йонас Гиринис долго стоял, впившись жадным взглядом в стройку и отыскивая в каждой мелочи то, что могло подтвердить глупую надежду, побудившую его отправиться из деревни сюда, в Гедвайняй. Напрасно! Фундамент крепости рос неудержимо, вскоре на нем воздвигнут и все строение, и в его бастионах, чуждых и непонятных старому Гиринису, обоснуется, расположится, укрепится весь гарнизон, готовый к новым завоеваниям...

Смутно догадываясь о том, что он всего-навсего мелкая щепка в бушующем океане времени, Йонас Гиринис потопал домой еще более подавленный, чем прежде... Подумаешь — горе, утешал он себя, ежели им позарез нужно, пусть себе строят, мне-то что? Все равно долго не протяну, на мой век хватит еще и воздуху, и воды, и добрых людей, и лесной зелени... Нет, нет, не задохнусь, пока жив. А мертвому все одно, цветут ли на могиле цветочки или выжгли землю так, что не найти на ней, на сто верст вокруг, ни одной травинки...

Его вдруг захлестнула непостижимая, несказанная тоска, смешанная с прорвой других, невыразимых и безымянных чувств. Что это были за чувства? То ли предостережение? То ли страх? То ли тревога? Ответственность за будущее рода, за судьбу своего племени? То ли унизительный стыд за свое бессилие? Йонас Гиринис просто задыхался от наплыва этих навязчивых, подспудных чувств, не находя (да и не пытаясь найти) им ни начала, ни объяснения, и, спроси у него кто-нибудь, чего ты, старче, такой мрачный, он мог бы только ответить: сегодня у меня чертовски скверно на душе. Но когда старый Гиринис недалеко от Дягимай встретил трех чужаков, все его чувства слились в одно — в ненависть. Старик притворился, будто не видит их, хотя прекрасно видел: один из чужаков нес пластмассовый бидончик с какой-то жидкостью, а двое других — пузатые портфели. Достаточно было одного взгляда, чтобы запомнить их. Наверно, они чем-то отличались друг от друга — возрастом, внешностью, наконец, одеждой, но старику Гиринису показалось, что троица удивительно похожа, он даже на миг подумал, не троится ли у него в глазах... Но нет, их и впрямь было трое. Все они были одинаково одеты — в комбинезоны,— обуты в резиновые сапоги, а на круглые головы нахлобучены шлемы, казалось, будто они срослись телами: не только плечи, груди, бедра, но даже складки на комбинезонах были словно выточены.

Выточены, ей-богу, выточены, уверял себя старый Гиринис. Выточены и с ног до головы серы от пыли. Серая одежда, серые сапоги, серые шлемы, серые руки и лица. И глаза серые.

Йонас Гиринис какое-то время смотрел им вслед. Смотрел на них, как на отлитые из какого-то серого металла статуи. Когда они проходили мимо, на него вдруг пахнуло алкоголем, и Гиринис весь похолодел, съежился. Могли они, конечно, в пластмассовом бидончике нести молоко, но старый Гиринис не сомневался, что там сахарное пиво, а в пузатых портфелях бутылки дешевой водки, купленной ими, видно, впрок.

«Из фондов Гайлюса,— с горечью подумал Йонас Гиринис.— Но и у Мармы этого добра полно. А уж сахарное пиво в каждом втором дворе рекою льется. И как ему не литься, ежели столько пьющих вокруг? Кто даром лакает, кто за денежки, вот так, как эти жучки. Выкладывай полтинник за пол-литра, вылакал четыре бутылки, и весел! А уж ежели его Пирсдягис сварил, то и трех хватит — мастер, ничего не скажешь! Вот так и губят себя люди отравой — только бы подешевле, только бы покрепче, подумав только — за то, чтобы здоровье погубить, ты же и плати! Совсем испортилась деревня! Не хватает еще, чтобы сивуху гнали, чего в здешних краях сроду не было. Отцы выпивали стопочку в праздник, или на свадьбе, или на крестинах, или в честь какого-нибудь торжества, а дети пьют почти ежедневно, и не стопочками, а стаканами... Отсюда и всякие нелады в семьях, распри, разводы. Просто люди добровольно в могилу лезут и туда же своих близких тащат. Взять хотя бы Пранюса, зятька. С утра до вечера заливает, из-за этой треклятой браги ни детей, ни жену не видит. В усадьбе все загажено, плетни поломаны, дрова не пилены, не колоты, так и валяются на дворе до самой середки лета. Это тебе не старый Стирта, его отец. Куда Пранюсу до него! Старик и меру знал, и время, когда веселиться. У него на плечах голова была, а не горшок из глины. Земли немного было, но на своих пятнадцати гектарах так хозяйничал, что выжимал из них больше, чем иной из тридцати. Не одному хозяину переезд на хутора дорого обошелся, кое-кто года два оправиться не мог, а для Стирты это переселение — что другому штаны сменить. Сменить на новые, из добротной ткани. Так-то... И избу на загляденье срубил, и сад огромный развел, и... да что тут говорить! Бывший хутор Стирты и сейчас ни с каким другим не спутаешь, хотя от усадьбы только клены остались. Вот какой

был человек, царство ему небесное... А сынок!.. Господи, сохрани и помилуй!»

Старый Гиринис даже перекрестился — до того разволновался. Но не очень-то удивился, увидев перед собой темную еловую завесу, за которой когда-то плодоносил Стиртин сад: задумался Йонас и не заметил, как по узкой луговой тропке свернул к бывшему хутору приятеля. «Ноги сами меня сюда привели»,— усмехнулся старый Гиринис в усы, почувствовав, что угнетавшее его недавно чувство улеглось и на душу снизошла какая-то возвышенная печаль, навеянная безвозвратной утратой. Глаза у старика подернулись дымкой, он зашагал, с трудом волоча ноги по заросшей дорожке, где в лунках ржавела вода, которую не успело высушить выглянувшее из-за туч солнце, и в его, Гириниса, смятенной голове то возникали, то пропадали, выцветая и расплываясь, картины юности. Они возникали бессвязно, случайно, казалось, совершенно разрозненно, но удивительно ярко, словно все было вчера. Вот здесь был овин, а там, среди этих четырех берез, хлев с флюгером — оранжевым петушком на крыше. За хлевом — пруд, огороженный высоким плетнем, чтобы ночью в него какой-нибудь прохожий или ребенок не свалился. А уж рыбы в пруду — видимо-невидимо!.. Гиринис не раз вытаскивал из пруда невод, раздевшись по пояс вместе с другими гостями Стирты. И теперь, кажется, он ясно видел: и ослепительно яркое солнце в неоглядной синеве, и шумную, неугомонную стайку людей на высоком берегу пруда — господи, сколько знакомых лиц, ему больше не суждено их увидеть... Прошлое... умершее прошлое... как и колодец, заросший бодыльем... как и этот прогнивший журавль, рухнувший на землю... Или как замшелый фундамент избы, на каменной груди которого покоилось жилье Стирты, покрытое оцинкованной жестью, с крылечками, с небольшой, но вместительной светелкой. Вот здесь, где торчат стебли прошлогодних лопухов, были наружные двери. Так называемый каждодневный вход. Через кухню. А со стороны дорожки гости входили. Йонас Гиринис всегда через кухню ходил, потому что своим человеком был. Там же, на кухне, его за стол усаживали — напротив печурки, уставленной горшками. Бог ты мой, как было уютно у Стирты! Йонас Гиринис, кажется, и сейчас еще видит покойницу Стиртене, распаренную, хлопочущую, колдующую над горшками... Когда хозяева варили пиво, приглашали в избу, а на праздники — даже в светелку. Выпьют ячменного и как затянут песню — оконные стекла дрожат. Стирта, бывало,

утихомиривал: эй вы, мужики, не дерите так глотки, свет погаснет. Только увещевания Стирты для Гириниса — как масло в огонь: еще громче выводит, во всю мощь своих легких гудит, как отлаженный орга̂н, аж потолок качается. Лампа, глядишь, и впрямь гаснет, и в избе темнеет. Да, был у него, у лешего, как его Стирта прозвал, голос. Да что там голос — голосина. Свадьбы, крестины, поминки — нигде без Йонаса Гириниса не обходится, как нынче без Унте.

Старик бродил по усадьбе бывшего друга юности, млея на каждом шагу от приятных воспоминаний, от которых нет-нет да кольнет сердце и затуманит слезой глаза. «Прожил человек целый век, а что оставил? — печально размышлял старый Гиринис, присев на солнцепеке на сломанную скамейку под яблоней.— Ежели бы не этот еловый венок вокруг сада, не плодовые деревья, никогда не подумал бы, что здесь когда-то труба дымила, коса звенела, которую точили в подклети, что дети гомонили и гуси гоготали... В самом деле, не господня ли кара: работаешь, строишь, из кожи вон лезешь — мол, детям останется,— а они твой труд собаке под хвост. Оберут до нитки, обчистят, и будь добр, догадайся, жил когда-нибудь здесь Юргис Стирта или не жил?.. Так-то... Каждая пядь земли полита его потом, а его самого будто и не было вовсе. Только рута, ельничек, четыре березки да еще эти яблони... Но и они, эти красавцы деревья, сгинули бы, не будь Унте... Немного не хватало, чтобы только ветры здесь гуляли. Совсем немного... И какая же тогда о тебе осталась бы память, человече? Разве что каменный крест на могиле, который ты сам же и соорудил, как бы предчувствуя, что от детей такого почета не дождешься».

Солнце уже близилось к зениту, а Йонас Гиринис все еще сидел на замшелой скамейке, погруженный в свои невеселые думы. Сидел, изредка поглядывая то на черную стену ельника, подпиравшего своими стрельчатыми кронами голубизну весеннего неба, то на голые ветки яблонь, на которых весело чирикали воробьи, соперничавшие своим щебетом с прилетевшими недавно скворцами, радостно обживавшими скворечни. От чистого воздуха у старого Гириниса кружилась голова и светлели мысли. Ничего не хотелось, только спать, спать под веселую музыку весны, уснуть и не проснуться. Сейчас же, сей момент. Птахи возвращаются из теплых краев — глядишь, и пропоют тебе отходную. Пока стоят еще эти ели, источающие удивительный, ни с чем не сравнимый запах жизни... Пока еще зеле-

неют ржаные всходы, чешет по опушке заяц и фабрика рядом круглосуточно не дымит. Уснуть навеки, запечатлеть образ родной земли, малой частичкой которой ты был, и в небытие... Ага, я бы сказал: спасибо, господи, за такую милость. Только перед тем, как позовешь меня к себе, за облака, позволь проститься... обойти усадьбу, и мимо пруда, мимо ельничка, навевающего своим шелестом покой и благодать, доплестись до дому, чтобы в последний раз глянуть на те места, с коими сызмала сросся, как дерево с землей...

— Что ж, вставай и иди, добрый человек,— донесся всемилостивейший голос с неба.

Йонас Гиринис благодарно улыбнулся тому голосу и зашагал прочь с хутора Стирты, чувствуя в ногах удивительную, дотоле не виданную легкость. Мимо пруда (казалось, его только выкопали и доверху наполнили желтоватой глинистой водой), мимо яблонь и смородиновых кустов, раскинувшихся за березняком, гремящим от неумолчного щебета пичуг и пичужек. Мимо зеленого ельничка, с трех сторон обступившего сад, на краю которого виднелась изба Стирты — только что срубленная, такая звонкая и легкая, почти невесомая — кажется, тронь пальцем, и польется со сруба музыка. И ели казались почти невесомыми бумажными вырезками, словно приклеенными к земле. И Юргис Стирта был прежний, но тоже невесомый. Кажется, повис на прозрачной нитке, прикрепленной к вколоченной в землю жерди. Потяни ее, сорви, и старик Стирта воспарит в небо, как воздушный шарик.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Йонас Гиринис, удивляясь тому, что и язык у него во рту невесомый, и слова не он говорит, а кто-то другой.

— Хочу взять то, что жизнь мне недодала,— отрубил Стирта, и старый Гиринис еще больше удивился: не слова вылетали изо рта друга юности, а фиолетовые мыльные пузыри, и от них исходил какой-то странный гул наподобие резкого звона пилы.

Старый Гиринис зажмурился и снова открыл глаза — не снится ли ему? Стирта со своими фиолетовыми пузырьками вдруг исчез, но резкий, пронзительный звук пилы еще острей отдавался в ушах. Только теперь вроде бы доносился с другой стороны. Старый Гиринис глянул туда и снова увидел Юргиса Стирту, опустившегося на одно колено и пилившего ель. Другой конец пилы тянул Андрюс Стропус, колхозный председатель, свежевыбритый, разодетый по-праздничному, с каким-то причудливым, видно, замор-

ским галстуком, в белой сорочке, в новой пиджачной паре, в ботинках на высоком каблуке — они были так начищены, что старый Гиринис отражался в них, как в зеркале. Короче говоря, франт франтом, каким он и впрямь был. Только на лацкане пиджака почему-то чернела сатиновая ленточка — знак траура.

— Пилите? — воскликнул Гиринис.

— Пилим,— спокойно ответили оба и даже не взглянули на него.

— Такие ели!.. Юргис, неужто ты рехнулся? Ведь ты же сам своими руками высаживал их!

— Потому и пилю, что своими руками...

— Да вы же так весь ельник под корень. Без всякой жалости, без зазрения совести? — прошептал Гиринис, чувствуя, как слезы застят ему глаза.

Никто ничего не ответил. Только пила без устали жужжала, разбрызгивая белые снежинки опилок и холодно поблескивая на солнце своими стальными зубьями. Жужжала все более громко и остервенело. Старый Гиринис, как в тумане, видел островерхую крону ели, дрожавшую в предсмертных судорогах, вот-вот упадет набок, отчаянно цепляясь мохнатыми ветками за землю.

«Не вымолил я у господа милости: не меня дерево, а я дерево переживу...» — с тоской подумал старый Гиринис, щупая рукой грудь,— ее словно стиснули железными тисками и не отпускали...

От этого удушья, от этой наползавшей духоты старый Гиринис и проснулся.

Первым, что приметил его сонный взгляд, был колхозный газик, который маневрировал на подворье и никак не мог развернуться. Уставившись на фанерный кузов, выкрашенный в зеленый цвет, старый Гиринис не сразу обратил внимание на человека, ошивавшегося чуть поодаль от машины. В двух-трех шагах от него топтались еще двое: один из них держал наспех скрученную веревку, а другой что-то записывал в какую-то книжицу.

— А теперь обмерьте сад! — бросил тот, кто терся возле машины.

Двое натянули веревку, первый взялся за один конец, его напарник — за другой, и стали обмерять край сада, где когда-то стояла изба Стирты. Между тем третий — колхозный председатель Стропус — уже не во сне, а наяву вышагивал между яблонь и придирчиво оглядывал каждое дерево. Заметив старика Гириниса, Стропус кисло поприветствовал его.

— Что, бывших соседей решил навестить, Гиринис?

— Да вроде бы так,— ответил тот, не скрывая своей неприязни.— Ведь скоро и меня зачислят в «бывшие». Вот я и ищу то, что глаз радует, что душу ласкает... А мест таких немного осталось.

— Странные вы оба. И ты, батя, и сын твой — Унте.—Стропус хотел было примоститься на замшелой скамейке, но, убедившись, что она сломана, передумал.— Будь ваша воля, вы бы все вокруг лесами засадили... весь край. Назад к праотцам, в древность. А ведь когда-то и впрямь здесь пущи шумели. Но люди выжгли их, чтобы землю для пахоты отвоевать. Отсюда, батя, если желаешь знать, и название нашей деревни — Дягимай... Погорелое, значит...

— Ученый ты...— промычал Гиринис.

— Что? — не понял Стропус.

— Говорю, ученый ты, а не знаешь, что человек сыт не хлебом единым.

— Гиринис, с той поры, когда тебя мать на свет родила, население Земли увеличилось почти в три раза.

— Ну и что? Все поместятся. Есть еще такие места, где десять верст пройди и человека не встретишь.

— В пустыне, батя. В тайге. А здесь обжитой край. Цивилизация.

— Пусть в другом месте люди и живут в твоей цивилизации. А нам-то здесь зачем фабрику за фабрикой городить? Человека на человека валить?

Стропус осуждающе замотал головой.

— Ну просто, батя, не верится, как ты мог таких детей воспитать: Даниелюса... Повиласа! Так сказать, маяки нашей жизни... Да и дочери у тебя не лыком шиты, у каждой по ордену. А если честно признаться, то твоей Юстине и до Героя Труда рукой подать... Откуда же ты, батя, такой взялся? Живешь вчерашним днем, не желаешь, как говорится, с жизнью в ногу шагать.

— Что до маяков, то не всем же светить, председатель.— Гиринис усмехнулся, но тут же спохватился: — А насчет Юстины — неужто ее какая-нибудь цацка на груди осчастливит? Жизнь, товарищ Стропус, такая штука: для нее одного ума мало, ей — душу подай!.. А у тебя, если речи твои послушать, не душа, а счетная машина.

Стропус рассмеялся. Слишком громко, неискренне, пытаясь скрыть раздражение. Но взгляд его был непроницаем. В округлых глазах стыли высокомерие и злость, которую

нельзя было прикрыть улыбкой, холодным светом озарившей его широкое, чуть припухлое лицо.

Наконец подошли и «землемеры» — председатель ревизионной комиссии колхоза Ромас Ралис, приземистый, плечистый, багроволицый, словно ошпаренный, и руководитель Дягимайского отделения Альвидас Юодвалькис, долговязый, неуклюжий, в узкой, едва налезавшей на него нейлоновой куртке, из коротких рукавов которой торчали длинные жилистые руки.

— Здравствуй, отец,— они по очереди подали старому Гиринису руки.

— Покуда вроде бы еще здравствую,— пробормотал тот.

— Так как? — обратился Стропус к Ралису.— Сходятся концы с концами?

— В саду ровно сорок пять аров,— отозвался Юодвалькис.— Вместе с подворьем и тем местом, где березы и изба стояла, шестьдесят с копейками... Как раз для огорода. В прошлом году оттяпали мы для колхоза тот конец усадьбы... до самого пруда. Как будто в воду глядели...

— Это не совсем так,— поправил его Ралис.— Если оставить Стирте до прошлогодней борозды, то у него будет не шестьдесят, а шестьдесят три ара.

— Я же сказал: с копейками,— напомнил Юодвалькис.

— Три ара!.. Ничего себе копейки!— возмутился Стропус.— Придется колхозу запахать четырехметровую полосу через всю усадьбу!

— Взвешиваем, как сахар,— пробормотал Юодвалькис.— А ведь сюда входят и фундамент избы, и ямы, и прочее.

— Не скули. Техника, брат, причешет землю, как шерстку,— ни камней тебе, ни ямин,— успокоил его Стропус и повернулся к старому Гиринису, стоявшему в сторонке и не очень-то соображавшему, о чем они толкуют.— Отмерили мы, батя, Стиртам землю под огород,— добавил он с удовольствием.— Далековато от дома, но зато душе приятно. Как-никак отцовская усадьба... Как говорится, взаимная выгода: им пары, сад, а колхозной технике не надо будет время тратить, крутиться среди деревьев.

— Вы что, со всеми, кто с хуторов переселился, так?

— Нет. Только с теми, чьи усадьбы твой Унте объявил заповедниками, памятниками природы,— съязвил Стропус.— А что? Не нравится?

— Не знаю.— И он впился взглядом в Стропуса, по-прежнему глядевшего на старика с едва скрываемой ус-

мешкой.— Все зависит от того, с каким ты чувством подходишь ко всему: с чистым сердцем, из желания сделать добро или помышляя только о собственной выгоде.

Стропус нетерпеливо махнул рукой:

— С тобой, батя, не столкуешься. Какая мне выгода от огородов? Зачем мне это, спрашивается? Для денег или для славы? Смех и грех... Неужели не ясно: все, что делаю, делаю только на благо колхозу. На благо всем. В том числе и тебе, Гиринис.

— Мне? Ты и дягимайские хутора хотел с лица земли стереть для моего, значит, блага? И березнячок над Скардуписом для того же вырубил?.. И... И...— Старый Гиринис закашлялся, захлебнулся словами, долго шмыгал носом и вытирал слезящиеся глаза.

— Не надо так близко принимать к сердцу, дядя,— сочувственно посоветовал Юодвалькис, положив старому Гиринису руку на плечо.— Мало ли что в жизни делается не так, как хочется, но стоит ли из-за этого живым в могилу лезть? Ты только глянь, какой нынче денек выдался! Что за воздух, что за птичьи трели! Ну прямо-таки рай земной, а не жизнь...

— Весна...— многозначительно вставил Ралис, с улыбкой глядя на верхушки елей, где перекрикивали друг друга скворцы.

— Самое лучшее время года, не так ли, дядя?— Захваченный ликованием пробуждающейся природы, Юодвалькис широко раскинул свои длинные руки, потянулся, аж суставы затрещали.— Все словно заново нарождается, продирает спросонья глаза, и человек словно другой... какой-то новый... Добрый... и более счастливый, что ли...

— Красотища, ничего не скажешь,— смягчился Гиринис, растроганный его словами.— Из всех времен года и мне весна более всего по душе. Как бы возносит над землей, оживляет... Весело, ладно. И в то же время какая-то печаль, потому что знать не дано: может, последний раз такое чудо зришь? И так каждый год, когда земля ото сна просыпается... Когда с юга первая птаха прилетает... Когда на солнцепеке набухают почки... когда проклюнется зелень озимых на полях, запах их так и щекочет ноздри. Так-то... И подумаешь: такие ли раньше были весны? Таким ли душистым был воздух? Так ли зеленели поля и леса? Так ли заливались пичуги? Как только зажмурюсь, прислушаюсь и всмотрюсь в ту пору — все передо мной как на ладони... Кажется, иду за плугом и пою себе. И пою не один, все

поли от песен звенят; куда ни глянешь — пахари в одних рубахах. А там, в вышине, в сверкающем до ряби в глазах небе, тоже поют... Птицы! Так и ведем, тягаясь друг с другом, — небо и земля, и такая на сердце щемящая услада, что и плакать хочется, и смеяться. Счастливыми мы были. Так-то. И с богом не ссорились. Вот чего у нас не было, так спеси пустой, никто из нас и думать не смел, что он могущественней господа. Течет себе река мимо, ну и пусть течет на радость человеку, к удовольствию каждой живой твари, не будем ей мешать. Но разве такие жадюги, как ты, Стропус, стерпят? Вам подавай как можно больше пахотной землицы, вам подавай кусок хлеба потолще, словно вы с голоду мрете. Там, где куст зеленел, словно бритвой прошлись, болото в дренажные трубы загнали. И стала земля что твой блин — без красоты, без любви, словно женщина нелюбимая, годная только для того, чтобы детей плодить. А Скардупис!.. Бедный наш красавец Скардупис! Выпрямили реку, втиснули в каналы! Но и там, где старое русло, не река течет, а струйка, пущенная телком-однолетком. А бывало, разольется Скардупис, выйдет в паводок, ранней весной, из берегов — на версту все поля и луга зальет, даже смотреть страшно. Силища! У моста льды сгрудятся — и на дорогу! Луговица цвенькает, кричит в испуге над бескрайними просторами шуги. Вороны вопят над деревенскими гумнами как ошалелые. А уж петух надрывается, кукареккает без устали, куры кудахчут, греясь на солнышке, ворк, ворк... Гуси на подворье га-га... А мычанье коров, а блеянье овец, застоявшихся за зиму в хлеву! Дягимай с утра до ночи звенит всякими голосами: и птицы, и скотина, ни дать ни взять колокол, который раскачала чья-то невидимая рука и который, кажется, слушай, слушай, и не наслушаешься... Куда там! С прежними веснами нынешние ни за что не сравнишь!..

III

Солнце еще не встало, можно еще часок понежиться в теплой постели, но Андрюс Стропус уже потихоньку спускает ноги с двуспальной кровати, чтобы жену не разбудить. Нет у него привычки валяться под одеялом, когда он бодрствует. Такую роскошь могут себе позволить только лодыри, они ничего путного в жизни не добьются.

— Уходишь уже, Андрюлька?

— Пора...— Стропус недоволен, что жена его, Габриеле, тоже проснулась и теперь задержит его без всякой надобности.— А ты спи, спи... Ведь в школу еще рано.

— У меня сегодня только один урок — последний.— Габриеле сладко потягивается, выныривая, полуголая, из-под одеяла.— Ой, какой сон видела!.. Будто мы с тобой, Андрюлька, на курорте. На взморье. Дюны... На пляже ни души. Только ты и я. И оба — в чем мать родила... Ты слышишь меня, Андрюлька?

— Слышу, конечно, Габи. Но у меня времени в обрез. Расскажешь вечером,— нетерпеливо бросает Стропус, хватая со спинки стула брюки.

— Вечером,— куксится Габриеле, в сердцах натягивает на себя одеяло.— Вечером снова повернешься спиной и захрапишь, вынашивая план работы на завтра,— язвит она.— Порой мне кажется, что колхозная корова интересует тебя больше, чем я.

— Говори, говори, да не заговаривайся. А еще учительница! Как же вы там детишек воспитываете, если у вас самих ни на грош чувства долга?

— Проповедник нашелся! Сперва я для тебя женщина, а уж потом учительница. Заруби себе на носу: сперва жен-щи-на!— Габриеле говорит спокойно, но спокойствие ее деланное, оно громом гремит, и Стропус слышит его раскаты.

— Ладно, Габи, ладно: сперва женщина. Но не забывай — кроме тебя на моих плечах колхоз. Тысячи гектаров земли и сотни людей. Я отвечаю за то, чтобы они были хорошо одеты, сыты, счастливы.

— Счастливы? Ты собираешься сделать их счастливыми?— Натянув одеяло на голову, Габриеле поворачивается к стене.— Да ты не можешь сделать счастливым одного человека... Одного!

— Кого одного?

— Одного,— повторяет Габриеле, прижимаясь к стене.

Стропус досадливо морщит лоб, с минуту раздумывает, потом наклоняется к жене, завернутой в одеяло, как в кокон, собирается стянуть его и поцеловать Габриеле, шепнуть что-нибудь ласковое, но тогда Габриеле конечно же зарыдает в голос, начнутся излияния...

— Ах, не упрямься, моя козочка, будь умницей,—басит Стропус, чмокает ее в висок, проводит пятерней по завернутой спине и спешит к выходу.— Мне нужно идти, Габи. Не сердись!.. Ну, я пошел! Если не смогу вовремя приехать на завтрак, я тебе позвоню.

«Позвонит! Ха... Дождешься! Вечером явится и скажет: не мог, понимаешь, дела...»

— Иди... Беги к своим свиньям, коровам...

— Глупая ты, вот что я тебе скажу.

Стропус раздражен. Проснулся в прекрасном расположении духа — отдохнувший, бодрый, а Габриеле со своими дурацкими упреками. Совсем у нее нервы расшатались... После свадьбы нарадоваться не мог: до чего была мила, весела, миролюбива («Кажется, она не только меня, но и дело мое уважает»). Испортилась... только. И все потому, что голова у нее занята не тем, о чем должен в первую очередь человек думать. Нет у Габриеле большой цели... Размаха нет. Конечно, от женщины и требовать нечего — не может же она сворачивать горы... Пусть себе забавляется в школе двумя-тремя уроками в день, пусть за домом смотрит («и больше к ней никаких претензий»). Но пусть, черт побери, и мужа понимает! Ежели господь бог самой крыльев не дал, пусть хоть не мешает другим летать. Выше, дальше!.. А ты, жена, поддерживай мужа, поощряй его предприимчивость, восторгайся им! А теперь все мои устремления, все мои мечты для нее пустой звук («Можно подумать, ее больше устраивает, чтобы я работал не председателем, а возчиком кормов на ферме или лакал бы вино, как сизоносый Стирта»). В конце концов не стоит морочить голову, все женщины одинаковы, есть на свете, слава богу, дела и поважней.

Успокоив себя таким образом («волевой человек должен сам создавать себе необходимое настроение»), Андрюс Стропус принимается размышлять о другом. Господи, что за утро нынче!.. Все вокруг просто звенит — до того чист и прозрачен воздух. Поначалу весна всех припугнула, а потом все пошло на лад — одно удовольствие, прямо скажем. Если так недельку продержится, перед Майскими праздниками последнее зернышко посеем. Шутка сказать — справиться с севом за две недели!.. Конечно, веселись, народ! Дягимай снова в первом ряду на демонстрации. Как в прошлом году, как прошлой осенью на Октябрьские («Нет, переходящего Красного знамени не отдам. Дудки!»). Андрюс Стропус поставил Дягимай на ноги. И сможет постоять за них — никого не осрамит.

Не только постоит за Дягимай, но еще выше поднимет: о них не только в республиканской печати напишут, но и во всесоюзной, по всей стране слава пойдет...

Андрюс Стропус усмехается в черную щеточку усов, франтовато ухоженных, садится за руль, и вскоре зеленый

газик, как жучок, выползает со двора и пускается по пыльному большаку на другой конец поселка, где издали краснеет сложенная из обожженного кирпича и крытая шифером контора колхоза (под одной крышей с библиотекой-читальней и сельским Советом).

На мощеном дворе уже толпятся люди — главный агроном Тадас Григас с заместителем председателя, руководители отделений, механизаторы... Короткие указания, сверка заданий на сегодняшний день, и через полчаса все расходятся.

— Привет, мужики,— властно машет рукой Стропус и лихо выскакивает из газика.— Как спалось?

— Здравствуй, председатель... Выспались, спасибо,— нестройно отвечают голоса. Кто-то снимает шапку, кто-то сдержанно улыбается.

«Мой ударный взвод,— с гордостью думает Стропус.— Только скомандуй, и бросится в огонь...»

— Отделению, которое первым отрапортует о завершении сева — тысячу... Триста рублей руководителю, а остальное — полеводам. Лучшим, так сказать, людям.

Над головами густеет облако табачного дыма.

— А сколько за второе место, председатель?

— Больше никаких мест. Первое, и только. Деньги — победителю.— Стропус неумолим, никаких сомнений и возражений не потерпит.— Сегодня в канцелярии вывесят объявление. Ясно?

— Ясно, председатель.

— Трактора должны вкалывать днем и ночью, пока вёдро. Днем и ночью. Поняли?

Табачный дым рассеивается понемногу, все молчат. Несмелое покашливание, вороватое переглядывание. И молчание.

— Как же так — круглые сутки, председатель? Я своих трактористов не запрягу. Человеку хоть часок поспать надобно,— наконец не выдерживает Юодвалькис.

— Поспят... Есть же у нас два-три человека, что раньше на тракторе работали? От них, конечно, пользы как от козла молока, но я думаю: пусть на часок-другой в дневное время кое-кого заменят... Только график составьте. Юодвалькис! Дрема! Как-нибудь поделите между собой этих помощничков, и чтобы работа уже этой ночью шла полным ходом!..

— Полным ходом, председатель,— заверяет Стропуса Дрема, ленивый, косоглазый человек. Всегда спешит пообещать, чтобы скорей отделаться.— И прицепщики тоже смо-

тут подменить, учились же водить трактор. Как-нибудь справимся, председатель!

— Молодец, Каролис,— Стропус благодарно хлопает его по плечу, и услужливый Дрема расплывается в ленивой, бесцветной улыбке, словно обещанная тысчонка уже у него в кармане.— Еще какие-нибудь предложения есть? Вопросы? Замечания? Дополнения?

Нет так нет. Было время, когда и спрашивали, и замечания делали, и дополняли, а сейчас разве что друг с другом поспорят. Но чтобы кто-нибудь попер против Стропуса!.. Только Тадас Григас нет-нет да полезет на рожон. И то зря — все равно председатель верх возьмет. Только тупица станет с ним спорить и омрачать торжество. Стропус башковитый мужик, колхоз из такой ямы вытащил, полтора десятка лет хозяйство в хвосте плелось, притча во языцех.

Так на кой черт терять время на какие-то вопросы, замечания, дополнения? Все!.. Пусть товарищ Стропус выложит до конца что хочет, мы внимательно выслушаем его, и каждый за работу!..

— Слышал, ты хотел, председатель, потолковать со мной по какому-то делу?— говорит неизвестно откуда взявшийся Ляонас Бутгинас.

— С тобой? А-а, правда... Я велел, чтобы ты зашел.— Появившаяся было улыбка застывает на лице Стропуса, и он становится холодно официальным.

Стропус поднимается вместе с Бутгинасом по скрипучей лестнице на второй этаж. Рядом с канцелярией — она пока закрыта, потому что нет девяти,— тесный председательский кабинет, в нем едва умещается простой шкаф, письменный стол, кресло и два обитых красным гобеленом кресла.

Ляонас Бутгинас непринужденно усаживается в одно из них, вытянув длинные ноги в резиновых сапогах. Бутгинасу тридцать семь, но ему можно дать и больше, и меньше: он какой-то безликий, на лице выделяется только подбородок — продолговатый, как бы загнутый, похожий на деревянный башмак-клумпе, да крупный, чуть приплюснутый нос.

— Чем дальше, тем меньше мы понимаем друг друга,— Стропус прямо переходит к делу.— Ты порой забываешь, Ляонас, что нельзя распускаться, если хочешь быть порядочным. Я говорю о твоем отношении ко мне. Можешь не соглашаться с моим мнением, отвергать мои решения, но зачем напролом переть? Поговорил, отвел душу на собраниях, устроил мне головомойку, и хватит. Мечи громы и мол-

нии, искры высекай — пожалуйста, я не против критики, но какого черта ты носишься по лесу с горящей головешкой? Зачем подстрекаешь других? Хочешь показаться умнее, чем на самом деле? А может, ты надеешься эдак спихнуть Стропуса и занять его место? Ты не смейся, твое поведение, Ляонас, и впрямь для меня загадка. Взять хотя бы этот проект Петренаса — Дома или, как вы его с Антанасом Гиринисом называете, Дворца культуры. Чего ко мне пристаете? Чего поносите где попало? Райком одобрил идею этого мота Петренаса, вот и стройте себе на здоровье, транжирьте колхозные денежки!

— Если ты насчет проекта, председатель, то мы о нем поговорим в другом месте... Впрочем, раз уж заговорили, давай кончим,— спокойно отразил Бутгинас наскок Стропуса.— Только для начала уточним: проект Петренаса предполагает строительство не только читальни, библиотеки с двумя залами для проведения всяких культурных мероприятий, но и помещения для сельского Совета и правления колхоза. Как видишь, целый комплекс.

— У нас уже есть такой комплекс. Вот этот, где мы с тобой сидим. Наследие нашего дорогого Антанаса Григаса. Ясное дело, помещение это — скромная избушка по сравнению с Дворцом, который вы собираетесь с Антанасом Гиринисом отгрохать, но и в него мы сунули чуть ли не сто тысяч. Хорош был прежний председатель: колхоз концы с концами не сводит, а он тысячами сорит. Олух спесивый!.. Хотел выслужиться перед другими, пофорсить, пыль в глаза пустить: мол, знай наших, ни у кого в районе нет такого Дома культуры, а Антанас Григас взял да соорудил! Такое легкомыслие, по-моему, равносильно преступлению.

— Не знаю... Но согласиться с тобой, председатель, не могу. Вся беда Антанаса Григаса в том, что он не умел колхозом править, а не в том, что Дом культуры построил. От Дома культуры польза всем. Хоть на вид неказистый, хоть, как ты изволил выразиться, избушка, но мне трудно себе представить, как бы мы сегодня без него обошлись? Куда правление девать, сельский Совет? Где вечера проводить? Пусть тесно, пусть скученно, но на безрыбье и рак рыба, покуда новый по проекту Петренаса не построим.

Стропус поднимается — он сидел напротив Бутгинаса, переминается с ноги на ногу, и выражение лица у него такое, словно он решает: выйти самому или выгнать взашей Бутгинаса.

— Может, прикинешь, во сколько ваши придумки обойдутся колхозу? По меньшей мере в миллион!.. А пока

кончим строительство, и за два перевалит. Уж я не говорю о муках со стройматериалами, проект-то ведь не типовой!..

— Колхоз наш, слава богу, не из бедных. Сегодня для него миллион не то, что во времена Григаса сто тысяч.

— А почему не из бедных? Потому что деньгами не сорим, не тратим их на что попало,— Стропус хватает кресло и сердито отодвигает от письменного стола: плюхнется в него, пусть Бутгинас почувствует, кто здесь хозяин. Что из того, что по рангу Ляонас выше, но для Стропуса он бедный приживал. Проситель!— Капитал надо вкладывать в доходное дело — таков принцип разумного хозяйственника, и я им руководствуюсь в работе. А взять и вышвырнуть миллион в болото? Согласен: простор нужен. Правлению колхоза, тебе. Пожалуйста!.. Всадим пару сотен — я говорю о тысячах,— и у нас будет дюжина комнат. Неужто не хватит? А культуртрегеры пусть штаны протирают в прежних. На кой дьявол нам сдался какой-то костел за миллионы, если можно затратить в десять раз меньше? Не знаю, что думают товарищи из райкома, но с их согласием я не согласен. Спору нет, большая честь прогреметь на всю страну. Для меня, для правления, наконец, для сельского Совета. Но так дорого расплачиваться за все, столько денег профинтить? Нет, Ляонас, я никогда не позволю тратить колхозные средства зря. Ежели прикажут, раскошелюсь, но буду строить без спешки, с оглядкой на то, как бы скорей отделаться от тех, кто подбивает меня на это.

Бутгинас хмуро улыбается, морщит широкий лоб.

— Гм... гм,— кашляет он, подавленный Стропусовой откровенностью, поглаживая хохолок редеющих русых волос.— Ты ужасный материалист, товарищ председатель. Всех только сытно накормить, одеть, впихнуть в четырехкомнатные квартиры с удобствами. Каждому по автомобилю, по телевизору... Словом, живи и катайся как сыр в масле... А как с душой? С ее потребностями? По-твоему, положи человека в люльку, как ребенка, сунь ему в рот подслащенную соску, и он счастлив?

— Древние римляне говорили: здоровый дух в здоровом теле. А долголетний опыт наших женщин доказал, что путь к сердцу мужчины проходит через желудок. Как видишь, самая важная сторона в жизни — материальная. Она и душой правит. А ты, Ляонас, рассуждаешь, как ксендз, призывающий морить плоть во имя совершенства души.

— Да никого я не хочу морить. Я имел в виду наши чувства, внутреннюю культуру человека...

— Интересно.— Стропус наваливается на письменный стол, впивается острым взглядом в Бутгинаса, словно видит его впервые.— Что ж, мне остается только порадоваться, что ты совершенствуешься, Ляонас... Да, да, совершенствуешься! Это именно то слово, многоуважаемый председатель сельсовета. Вырос! Помнишь, каким глупым увальнем лет восемь назад ты был, когда мы выбрали тебя парторгом? Выбрали... да, выбрали...— Стропус лукаво улыбается, сверлит по-прежнему взглядом Бутгинаса, нажимает на слово «выбрали»...

— Не выбрали, а поставили. Ты это хотел сказать.— Голос у Бутгинаса равнодушный, отрешенный, но уши как спелые вишни, и багрянец понемногу заливает все лицо.

— Не поставили, а поставил. Я поставил! Как после тебя — Галиниса, после Галиниса — Гоштаутаса. Товарищи, пользуясь своим правом, предлагают кандидатуры, но последнее слово всегда за мной. Думаешь, в райкоме млели от твоей кандидатуры? Нет, дорогой, нет... Мне пришлось хорошенько потрудиться, пока я их убедил, что это за птица Ляонас Бутгинас, пока доказал, что без него и мне не выполнить и не перевыполнить принятые на себя обязательства...— Стропус хихикает, барабанит костяшками пальцев по столу, все еще буравя неприязненным взглядом собеседника.

— Помню...— Бутгинас замолкает, косясь на носки ботинок. Щеки, покрытые красными пятнами, судорожно подрагивают.— Очень хорошо помню. Тебе нужна была податливая глина, чтобы лепить из нее все что угодно. А я таким и был. Послушный материал в твоих руках. Но до поры до времени.

— Ишь куда тебя занесло!.. На кой ляд мне из кого-то что-то лепить? Нет, Ляонас, единственное, что я тогда хотел от тебя, это чтобы ты не мешал мне работать. И не обманулся. Увы, до поры до времени, как ты справедливо заметил.

— И тогда на мое место выбрали Галиниса...

— Да, Ляонас. Но тот оказался бо́льшим растяпой, чем я предполагал.

— А кто на отчетно-выборном заменит Гоштаутаса?— губы Бутгинаса кривит насмешка. Крохотные голубые глазки фехтуют со взглядом Стропуса, пока не устремляются на аккуратно сложенную стопку бумаг на письменном столе.— Наверно, у тебя покамест никого на примете нет.

А пора подумать: ведь и Гоштаутас начинает тебе мешать.

— Нет, Ляонас. Покамест — не мешает. А если порой и не понимаем друг друга, то его легко убедить — он не такой упрямец, как ты.

— Да, до принципиальности ему далеко, но насчет Дома культуры он поддерживает меня.

— Поддерживает,— Стропус искренне смеется.— Хотел бы я видеть, как он тебя поддержит в моем присутствии. Нет, Ляонас, Гоштаутас рассуждает здраво, на него не надейся, таким, как ты и Унте, он не помощник — вместе с вами воздушные замки строить не станет. А если что-то похожее и будет делать, то только под давлением обстоятельств.

Ляонас Бутгинас пожимает плечами: не знаю, мол, не ведаю, встает из глубокого кресла, пружины которого громко скрипят.

— Я был почти уверен, что с Гоштаутасом советуюсь зря. Собственными силами или с чьей-то помощью мне все равно у тебя без боя денег не вырвать. А они нам нужны, председатель. Для библиотеки.

— Получите. Дам,— Стропус отодвигается вместе с креслом от письменного стола, собираясь вроде бы встать, но еще удобней откидывается на спинку, окидывая рослого Бутгинаса покровительственным, добродушно-уничижительным взглядом.— Несколько сот рублей тоже деньги.— Он смотрит снизу вверх на Ляонаса, вымахавшего почти до электрической лампочки, висящей под потолком, и продолжает: — Это свинина, молоко, яйца. Пот колхозников. Такие деньги с неба не падают. Их надо заработать. Но не бойся: тебе не придется их вырывать с боем. Получишь. Не хочу, чтобы ты каркал с трибуны: Стропус такой, Стропус такой, начхать ему, мол, на культуру... В конце концов это дело чести нашего колхоза. Пусть каждый посетитель библиотеки видит, что и у нас есть источники мудрости. Только при комплектовании смотрите в оба: чтобы книги были как книги. Всякие там книжонки ни к чему: ни полистать, ни гостю показать.

— Покупают не для показа, а для употребления. Самые лучшие, на наш взгляд.

— Не спорю. Все книги нужны. Одни — Пятрасу, другие — Юргису. Но человек не в состоянии прочесть все... Дай бог, десятую долю... Кому позарез нужно, тот пусть в городскую библиотеку едет. А для нашей с умом покупайте и помните, чтобы книга была как книга, а не какая-то там макулатура.

Ляонас Бутгинас не может скрыть своего удовлетворения: неожиданно легко уломал Стропуса.

— Спасибо, председатель.

Ляонас направляется к двери, но Стропус нетерпеливым жестом возвращает его обратно.

— Не уходи. Мы с тобой не договорили. Самая интересная часть впереди... Интересная — для тебя.— Стропус встает, снова садится, словно испытывает какую-то неловкость оттого, что ему все время приходится смотреть на Бутгинаса снизу вверх.— Ты со мной знаком не первый день и, наверно, знаешь: не люблю совать нос в чужие дела. Делай со своим сельсоветом все что хочешь, а мне колхоз оставь. Терпеть не могу, когда начинают поучать, наставлять, указывать. Как будто я недотепа и только что из дурдома бежал. В твоей компетенции всякие там распоряжения, налоги, контроль за выполнением плана поставок и так далее и тому подобное. Показывай зубы, властвуй, действуй... А вот что колхозу строить — то ли современную свиноферму, то ли фантастический Дом культуры — это, брат, позволь уж мне решать. Жаль, Ляонас, что миновали те времена, когда каждый из нас знал свое место. Когда власть еще не вскружила тебе голову. Когда тебе еще не казалось, что все топчутся на месте и только ты один шагаешь вперед. И не простыми шагами, а семимильными!.. Десять лет назад — парторг колхоза, депутат райисполкома, теперь председатель сельского Совета, а в ближайшем будущем и кандидат в Верховный Совет. Не качай головой, выдвинут, если будешь разумным. Словом, растешь как на дрожжах. Только вся беда, что забываешь, чьи эти дрожжи. У тебя что, память отшибло? А забывать не следует, Ляонас, не следует. Для своего же блага.

— Послушать тебя, председатель, что же получается: ты навоз возишь, а я на нем расту?

— Ну зачем так грубо, Ляонас? Лучше положа руку на сердце скажи: ты что, сам в рост пошел, без всякой, так сказать, посторонней помощи?

— В природе ничто само по себе не растет... Особенно в нашем обществе,— уклончиво отвечает Бутгинас, чуть ли не касаясь головой лампочки. Взгляд его блуждает по кабинету, не задевая Стропуса, словно его и в помине нет.— Да, я все время чувствую твою поддержку, но я считал, что заслужил...

— Никто не отрицает: заслужил! Но, как гласит пословица, свет на тебе клином не сошелся. Мог я и другого

выбрать... Смешно, но у меня слабость к высоким... Я имею, Бутгинас, в виду рост человека, а не его положение.

Бутгинас хмурится: стрела попала в цель, он всегда считал большим недостатком свой двухметровый рост.

— Зачем зубоскалить, председатель? Может, когда-то, в самом начале, я и держался за твою полу, но те детские дни давно прошли. Я уже, слава богу, умею и сам ходить. Правда, не так, как тебе хочется, но разве из-за этого ты должен все время дуться или хвастать на каждом шагу, что сделал из меня человека? Можно сделать женщине ребенка, а человека делает жизнь. Я, ты, наши друзья и недруги. Весь мир. Зачем же ты говоришь: пока меня здесь не было, ничего здесь не было? Ни орденоносцев, ни Героев Труда, ни условий для роста... Нет, председатель, была Дягимай — не пепелище, не выжженный пустырь, хотя, если судить по названию местности, может, здесь когда-то и впрямь все огонь сожрал. Были стойкие, крепкой породы люди — пусть и без орденов, пусть и не герои — они-то и вытянули колхоз. Я не хочу принижать твои заслуги, но без них ты никто...

— Над орденоносцами подтруниваешь, над героями? — Стропус медленно встает, испепеляя взглядом Бутгинаса. — А ты ответь: откуда они, эти герои, взялись? С неба свалились? — Стропус бесконечно учтив, по-рыцарски снисходителен, но и полон злорадства. — Кто их сделал? Я говорю, разумеется, не обо всех. Но кое-кто должен быть мне благодарен... В том числе и знаменитая в прошлом доярка Рута Гиркальните, теперешняя твоя супруга. Не пяль на меня глаза и не скреби затылок: тебе не снится, нет, я описываю все так, как было. Наверно, не стоит вспоминать, да я и не вспомнил бы, если бы ты, Ляонас, не зарывался. Сейчас ты увидишь, кого ты обливаешь грязью...

— Давай! — тихо бормочет Бутгинас, облизывая пересохшие губы. — Рассказывай, как ты мою жену в героини вывел.

— Только, ради бога, не подумай, будто у нас с ней что-то было. В тот год, когда я принял Дягимай, Рута Гиркальните уже была одной из лучших доярок. И хорошей общественницей. Я нисколько не жалею, что приложил, как говорится, к ее звездочке руку...

— Приложил, — чуть слышно бормочет Бутгинас, — давай гони дальше.

— Ей пяти минут до звания Героя не хватало, вот я ей и заменил пять худых коров на пять жирных, и жена твоя

взмыла как ракета... Прославила колхоз, подняла у всех настроение... Ничего не поделаешь, надо было. Для общего блага. Вот я и хочу, чтобы ты навсегда запомнил: без моей помощи Рута вряд ли получила бы звездочку и была бы избрана в Верховный Совет. Ты взял бы в жены только доярку...

— Ты, наверно, думаешь, что я из-за этого на ней женился? — Бутгинас стоит спиной к Стропусу, еще шаг, и великан шмыгнет в дверь. — По голосу твоему чую: думаешь, думаешь. Многие так в Дягимай думают. Гиркальните, дескать, старая дева, на шесть лет старше Бутгинаса, не возьмет же он такую в жены без расчета. А Бутгинас отважился и взял. Не героиню, не депутата, а женщину Любимую женщину! Да разве тебе это, Стропус, понять?

— Перестань!.. Не мое дело в твоих чувствах копаться. — Стропус встает из-за стола, направляется к единственному окну, поворачивается к Бутгинасу спиной. — Меня чужая любовь и ненависть не интересуют. Меня интересует одно — колхозное производство. Если я тебе и открылся, то только для того, чтобы ты понял: у нас могут быть разногласия, но в разумных пределах, не наносящих вреда общему делу.

— Врешь, Стропус. Врешь и не краснеешь, — раздается в наступившей тишине глухой голос Бутгинаса. — Тебе не понимание нужно, не согласие, а покорность. Вот ты и изобразил из себя благодетеля, осчастливившего меня и мою жену. Изобразил, чтобы мы чувствовали себя твоими должниками, плясали из благодарности под твою дудку. Нет, не выгорит! Я не деталь, которую смазал — и работает до тех пор, пока двигатель не выключишь... Я — человек, председатель! Мыслящее существо. У меня есть свое достоинство, свои интересы, свои представления о жизни. Может, когда я держался за твою полу, чтобы не упасть, россказни про пять худых и пять жирных коров произвели бы на меня впечатление, но теперь я смотрю на это как на отвратительное надувательство, за которое следует карать по всей строгости закона.

Андрюс Стропус снисходительно усмехается: сейчас он Бутгинасу так ответит, так ответит, но слышит только звук удаляющихся шагов, ржавый скрип дверной ручки... Ушел!

Какое-то время Андрюс Стропус смотрит в окно. Приятная прохлада обволакивает плечи. Две молоденькие березки, растущие напротив конторы, как бы отгораживают, отрезают ее от тонущего в весенней дымке лоскутка равни-

ны, от клубящегося где-то там вдали облака пыли. Это быстроходный «Кировец» шныряет по полям, захватывая своими широкими плугами половину борозд. Силища! Человек создает технику, но что он по сравнению с ней — мелюзга, жалкое насекомое! Как и ты, Ляонас Бутгинас, хотя корчишь из себя черт-те что. «Мыслящее существо... у меня свои интересы... Тьфу!..» Что правда, то правда: книг прочел уйму, но доверь тебе, книгочею, колхоз, ты за год его по миру пустишь, и никакие философии твои не помогут. Как не помогли хозяйству и те неучи-идеалисты, при которых люди даже на кусок хлеба не зарабатывали... Чтобы владеть землей, наука нужна, а не всякие там сантименты и словеса: землица, мать родная, в твоих жилах наша кровь струится, и тому подобная чепуха. Цветочками ее украшают, наряжают, а она как корова: корми ее до отвала и старайся, чтобы давала как можно больше молока.

IV

Стропус уехал на работу, а Габриеле все еще валяется в постели и никак не может уснуть. В голове роятся мысли, но быстро ускользают — какая-нибудь сверкнет, как солнышко из-под облака, но тотчас же гаснет. Господи, что за долгий день впереди! Будь дочурка дома, надо было бы уже встать: самое время в школу ее проводить. Но Пярле у бабушки, в Епушотасе, и только в субботу, пополудни, когда девочка приезжает на конец недели домой, все вокруг как будто оживает от веселого стрекота. Сегодня только среда, середина недели, и у Габриеле, как назло, один урок. Можно с ума сойти от скуки. Лежи и зевай себе, пока голод не выкурит из постели. Может, приготовить Андрюсу завтрак? Но муженек закусит там, в колхозной столовке. А если и нагрянет, с голоду не помрет — в чулане да и в холодильнике всякой всячины полно («Буду я вокруг него прыгать, как служанка!»).

И Габриеле еще глубже зарывается под одеяло, упиваясь благодатным теплом постели и чувствуя, как все тело понемногу тяжелеет от дремы. Стропене прищуривается и в густеющем сумраке видит: комнату (огромный четырехугольный сосуд) заливает какой-то чернотой, которая редеет, рассеивается и превращается в нестойкий ползучий туман. Сквозь него неспешно проступают квадраты окон и дверной проем. И в проеме возникает чья-то фигура. Лицо кажется удивительно знакомым. Знакомые жесты,

движения... Замызганный, испачканный с головы до пят... Габриеле вглядывается повнимательней и узнает Унте. Хам!.. Самозванец! Своими выдумками Стропусу житья не дает... Чего ему?..

Она испуганно подскакивает в постели, впивается взглядом в наглухо закрытую дверь. Сумеречно, пусто. Глаза ясные, словно и не засыпала... В самом деле чертовщина какая-то: не спала, и вдруг этот увалень приснился, этот лоботряс. Господи, хоть бы разок приснился настоящий мужчина. Но во сне, как наяву, настоящего не сыщешь. Свой смотрит на нее как на вещь, есть надобность — берет, нет надобности — не трогает. Все колхоз да колхоз, чтоб ему сквозь землю провалиться. У Андрюса и минутки нет, чтобы позавтракать вместе. Пентюх!.. Надо бы ему наставить рога с первым попавшимся мужиком!..

О том же Габриеле думала и на прошлой неделе, когда Стропус приехал из Вильнюса не вечером, как обещал, а поутру. Прости, но иначе, мол, не мог: нужных людей угощал, тех, с кем нельзя отношения портить, если хочешь урвать для колхоза кусок пожирней. А кусок этот — удобрения, техника, стройматериалы, распределение средств и прочее. Ты что, Габи, не слышала про проблему «пробивной силы»? Подарки, связи, взятки — для тебя что, новость?

Не новость. Но разве это оправдание: является домой измочаленный, уставший до смерти, с опухшими от бессонницы и возлияний глазами, и валится в постель, даже не чмокнув ее, жену, в щеку, валится, чтобы через два-три часа снова окунуться в колхозное производство.

— А эти нужные колхозу люди, случайно, не женщины? — со злой усмешкой поинтересовалась она.

— Были и женщины,— равнодушно ответил Стропус, стаскивая с себя одежду.— Не могу пожаловаться на то, что с ними труднее договориться, чем с мужчинами.

— Все равно правду не скажешь,— отрезала Габриеле, едва сдерживая ярость.— Если колхозу понадобится, ты, не моргнув глазом, с любой переспишь... А может, уже?..

— Господи, как ты глупа,— буркнул Андрюс Стропус, растянувшись на постели.— Лучше засни и дай мне немножко... чтобы завтра в форме был.— Он потянулся, поворачиваясь к стене, и Габриеле вдруг учуяла запах пирушки. Ее охватил такой гнев, такая досада, что она пулей вылетела из кровати.

Андрюс глянул на нее удивленно, жмуря покрасневшие глаза, но тотчас же прикрыл их тяжелыми веками, погружаясь в здоровый сон усталого человека.

Габриеле оделась и вышла во двор. Сердце бешено колотилось, руки, ноги дрожали. Когда одевалась, порвала платье — Габриеле слышала, как что-то треснуло, но до платья ли? Теперь ей было все равно, могла даже голой пройтись по поселку или еще что-нибудь натворить, чтобы только досадить мужу. О-ох, ее бил озноб при одном воспоминании о том, как он завалился в постель, чувствуя только свою усталость, и сладко сопел носом.

Некоторое время Стропене стояла во дворе, ежась от утренней прохлады, потом накинула на плечи пальто и вышла на улицу. Ночью ударили заморозки, и земля затвердела, а лужицы на обочинах затянуло белесой коркой льда. Слабый ветерок доносил с полей живительный запах весенней земли и робкое, нестройное пение птиц, изредка прорывавшееся сквозь монотонный гул тракторов. Солнце только что встало, и лучи его просачивались сквозь сплетение ветвей, золотя крыши старых изб и кровавыми сполохами отражаясь в оконных стеклах, через которые глядело на восход не одно здешнее поколение.

Только минуешь десяток дворов, и старая деревня обрывается: по обе стороны дороги в строгом армейском порядке стоят кирпичные домики с садами и хозяйственными постройками. Одни — с мансардами, с крылечками, выходящими прямо на улицу, другие — без них, но все крытые серым шифером и удивительно похожие друг на друга. Габриеле шла, не оглядываясь по сторонам, но всем своим существом чувствовала и возню собак, и шорохи домашней птицы, и вопросительные взгляды, и ей было не по себе оттого, что мозолит в такую рань глаза всей деревне, возбуждая толки и догадки, но, словно одержимая, шла дальше и дальше. Даже когда перед ней выросли учителя — супруги Бреткунасы, Габриеле не повернула назад, хотя при желании могла пройти незамеченной.

— Доброе утро, Габриеле.

— Доброе удро, Дангуоле. Привет, Арвидас.

— Куда это ты в такую рань?

— А вы?

— Мы? Неужто не видишь — на огород. Юодвалькис лошадей дал, надо ловить момент.

— А уроки?

— У Арвидаса сегодня нет, а я договорилась с директо-

ром. Страда... Директор все понимает, беды-то у нас одинаковые...

— Одинаковые?— Габриеле зло рассмеялась.— Объявит субботник, и родители засеют ему огород.

— Не одному ему помогают,— спасительно вставил Арвидас Бреткунас.— Будь у тебя огород, и ты бы небось...

— Зачем ей огород?— уколола Дангуоле.— За спиной такого, как Стропус, каждая женщина чувствовала бы себя барыней. Если бы мой Арвидас председательствовал, я бы никогда о навоз руки не марала. Пусть кроты землю роют...

— Думаешь, Габриеле по своей воле отказалась от аров?— заступился склонный к соглашательству Арвидас.— Нет, она же сама деревенская, не боится руки замарать... Но Стропус, если память мне не изменяет, всегда выступал за колхозы без приусадебных участков, и было бы, конечно, ни то ни се, если бы он себе отрезал землицы... Разве я, товарищ председательша, не прав?

— Не прав, товарищ учитель,— возразила Габриеле и злорадно добавила: — Ничего ты не понимаешь, Арвидас. Когда мужчина действительно любит, он прежде всего печется о возлюбленной, а не о каких-то арах. Как-то я обмолвилась, что не прочь держать корову, откармливать поросенка, но Андрюс меня только поднял на смех. Что? Корову? Поросенка? Ты что, рехнулась: чтобы я любимой женщине позволил в хлеву отираться!.. Вот какие принципы у моего Стропуса, если вам угодно...

— Счастливица,— завистливо процедила Дангуоле и проглотила подступивший к горлу комок.

— Да, дорогая, жаловаться мне грешно.— Габриеле натужно улыбнулась.— У меня, правда, порой бывает слишком много свободного времени, но оно приятнее, чем вечная занятость. Сегодня, например, проснулась раньше, чем обычно, и отправилась гулять. Ведь сегодня такое изумительное весеннее утро! Что за воздух! Что за трели!.. Сердце замирает от радости...

— А мы до обеда будем на своих арах потеть,— обиженно пролепетала Дангуоле.

— А чем уж так плохи эти ары?— спросил Арвидас Бреткунас, с трудом подавляя раздражение.— Работай себе и радуйся... Я лично за активный отдых, мои дорогие. Конечно, и прогулки хороши, спору нет. Легкие проветришь, кровообращение улучшается. Но с физической нагрузкой на свежем воздухе не сравнишь. Ты как хочешь,

Габриеле, но я лично против этих городских моционов. Через неделю будем картошку сажать. Приходи, сама убедишься, что лучшей зарядки нет.

«Хватит у вас помощников и без меня. Если родители сами не смогут, детей пришлют,— недружелюбно подумала Габриеле, провожая взглядом удаляющуюся супружескую пару.— Совсем опростились!.. Дангуоле, когда приехала сюда, такой барышней была... А сейчас? Заматерела, как деревенская баба. Или Арвидас... Напялил на себя какой-то задрипанный плащ!.. Кирзовые сапоги, штаны с протертым задом — ни на грош интеллигентности... Плетется в хвосте в прямом и переносном смысле, шлепает за лошадью, помахивает кнутом — деревенский недоросль, и только. А надо же: довольны... Может, даже и счастливы...»

Габриеле завистливо вздохнула, но когда представила себя на месте Дангуоле, плетущейся рядом с Арвидасом за лошадьми, то вся съежилась. Она вдруг почувствовала какую-то смутную вину, словно отмочила дурацкую шутку, которая не казалась уже такой остроумной, как десять минут назад. Что за бред — ни свет ни заря расхаживать по деревне и строить из себя мученицу? Повернуться — и домой! Да побыстрей! Господи, вот когда пригодился бы сказочный ковер-самолет! Только скажи слово и унесет тебя, куда пожелаешь. Но время сказок прошло, придется на своих двоих возвращаться к мужу, к Андрюсу Стропусу, влюбленному в свою работу, в свой колхоз, в свою карьеру. А может быть, по-своему и в нее, свою жену? Разве он не любит ее, как удобную вещь, как, скажем, какой-нибудь стул с резной спинкой, к которому привык и без которого себя не мыслит? Попробуй отними его, и он, Андрюс Стропус, взбеленится и бросится защищать этот стул, яко львица своих детенышей. Поди знай, что у него было на уме, когда он отказывался от домашнего хозяйства — от коровы, от огорода? Может быть, вовсе не принципы, а любовь к ней, желание избавить ее от нелегких домашних работ? Поди знай...

«Я ненасытная,— укоряла она себя, вспоминая свой недавний приход к Стиртам.— Кое-кому всевышний швырнет кроху, и они довольны, а у меня в руке не кроха, а целая краюха, и я еще жалуюсь, что масла пожалели, слишком тонко намазали». Ей вдруг показалось, что она все еще стоит в светлой, но захламленной Стиртиной комнате, уставленной незастеленными кроватями, между которыми валялись какие-то игрушки, а на спинках стульев серела чья-то одежда.

Бируте Стиртене, вошедшая вслед за гостьей, густо покраснела и виновато залопотала:

— Есть у нас и поприличней комната... Милости просим.— Хозяйка упрямо толкала Габриеле к двери: — Все у нас поломано, раскидано, смято, и все из-за этой непролазной работы... Заходите сюда, учительница. Садитесь.

Габриеле послушно села за большой круглый стол с шестью стульями. Комната, видать, предназначалась для гостей, но по углам торчали какие-то баулы, огромная корзина и несколько эмалированных ведер, должно быть, с топленым жиром или с вареньем. Пол был грязен, с крупными пятнами от чьих-то следов, хотя, судя по редким чистым островкам, его недавно мыли.

— Хорошая комната,— сказала Габриеле, глядя на окна.

— Всего у нас четыре, не считая кухни... Спасибо председателю — колхоз дом построил. Правда, мы немного задолжали, но расплатимся...

— И центральное отопление есть?— пропела Габриеле, заметив за обвисшими занавесками гармошку радиатора.

— Местное, но не бог весть что,— пояснила Стиртене.— Пока плиту топим, тепло. Но все-таки с печным не сравнишь. Хороший дом, что и говорить.

— Вам такой и нужен. Ведь вас много...

— Как же... Детей семеро да мы с мужем... А скоро и прибавление,— Бируте Стиртене погладила живот и застенчиво улыбнулась, словно прося прощения за такой необдуманный шаг — хватило бы, мол, и семерых.

Габриеле хотела спросить у Бируте, где муж, но вовремя спохватилась: через открытую дверь увидела в другой комнате человека, растянувшегося в резиновых сапогах на потертом диване.

— Прилег, бедняга,— выдохнула Бируте, поймав настороженный взгляд гостьи, и тут же прикрыла дверь.— С шести часов утра на ногах. Пока накормишь телят, придешь с фермы, уже одиннадцать, и к своей скотине: корову подои, свиньям корма задай... Пока поешь, пока какую-нибудь мелочь по дому сделаешь, глядишь, и обедать пора. Снова ферма, снова своя готовка. И так с утра до вечера крутишься как белка в колесе. А Пранюс, тот корма возит...

— Но на ваших плечах семеро детей!— не стерпела Габриеле, возмущенная снисходительностью Стиртене.

— Они друг за дружкой присматривают, учительница. А самый старший нам с мужем помогает, за телятами уха-

живает. Нет, у меня с детьми никакой беды нет, все уже самостоятельные, если не считать малышей...

— Они плохо учатся. Пропускают уроки.

— Не из распущенности, учительница, по надобности пропускают.

— Знаю, что по надобности,— согласилась Габриеле, чувствуя свое полное бессилие.— Но родители в первую очередь должны заботиться о том, чтобы их дети получили образование. В этом их будущее. Неужели оно вас не беспокоит?

— Беспокоит, каждую мать беспокоит. Но стоит ли стараться, чтобы все дети профессорами стали? А может, они сами не хотят? Зачем же их учить насильно? Пусть в колхозе работают, телят кормят, как и мы с отцом... В жизни всякие люди нужны. Посмотрим — может, младшенький будет способнее к наукам?

— Не будет, если вы не измените своего отношения к учебе,— откровенно сказала Стропене.— Для того чтобы дети учились, нужны условия. Вы их создаете?

Стиртене защитилась от ее холодных нравоучений застенчивой улыбкой, ничего не ответила, но растерянный взгляд как бы говорил: «А мне? Кто создал условия мне?»

«И плохо, что не создали. Не была бы такой неудачницей»,— ответила она Стиртене взглядом и встала со стула. Габриеле знала, что это бестактно, но женское любопытство взяло верх над достоинством, и, выдержав паузу, она спросила:

— Вы, наверно, очень любите своего мужа, если нарожали столько детей?

— Вы думаете — дети только от любви?..— ответила вопросом на вопрос Стиртене, удивленная ее простодушием.

— А как же иначе?

— Может, оно и так... Но что это за штука — любовь, право, не знаю... Просто не думала...

— Неужто вы никогда не любили?

— Почему? Детей любила и люблю. Потому-то они и погодки... Сердце замирает, когда прижмешь к груди теплый, нежный комочек. И мне хватает... такой любви... Спросите, почему пошла за Стирту?— Она помолчала и добавила: — Не хотела в старых девах остаться. И детей хотела... Да и Пранас в ту пору так зверски не пил. Ну, и и пошла за него, не привередничая и наперед зная, что не золото мне привалило...

— Я сама мать. Я знаю, как много значит любовь к своему ребенку... Но кроме любви к детям есть...

— Ничего, кроме нее нет,— сказала Стиртене.

— Есть,— повторила Габриеле и почему-то покраснела.

То ли она вдруг устыдилась своих заскорузлых назиданий, то ли Стиртене обидела ее своей непреклонностью, сказав горькую для нее правду и не уступив.

— Для полного счастья,— промолвила Габриеле,— надо, чтобы и тебя любили.

— Меня дети любят, учительница.

— И вы их, Стиртене, любите,— перевела она слова хозяйки в повелительное наклонение.— Только не на словах, не прижиманиями к груди. Создаете ли вы им нормальные условия для учебы?

— Да ну вас,— обиделась Стиртене.— Вам легко говорить. Будь вы на моем месте...

— На вашем месте,— посуровела Габриеле,— я бы в первую очередь подумала перед тем, как подарить жизнь еще одному... У вас нет чувства ответственности, Стиртене,— выпалила Габриеле и шагнула в дверь, даже не прислушавшись к сердитому бормотанию хозяйки.

Посещение Стиртов так запало в душу, что она еще долго вспоминала о нем.

Поэтому и сейчас, возвращаясь по деревенской улице домой, Стропене вспомнила грязную комнату, уставленную незастеленными кроватями, и мужчину в резиновых сапогах, лежавшего на потертом диване. Всех детей Габриеле тогда не видела, вокруг бродили только младшенькие и их нянька — восьмилетняя девочка с тупым выражением лица. В деревне поговаривали, будто у нее не все дома... Несчастная семья... Несчастная мать... Проклятый пьяница-отец... И эта обделенная судьбой, обездоленная женщина еще находит в себе силы смеяться, защищать мужа, гордиться своей материнской любовью... Вряд ли осознает, как она несчастна!

Габриеле уже не идет, а бежит. Ей кажется, что, опоздай она хоть на минуту, случится что-то непоправимое, о чем придется жалеть и жалеть, может быть, всю жизнь. «Господи, какая я дура... какая дура!» — шепчет она, ничего вокруг не видя, кроме трехэтажного замка из жженого кирпича, замка, построенного для всех бывших, нынешних и будущих председателей. Кроме просторных светлых комнат и усталого Андрюса на белой подушке. «Только бы он не проснулся и не ушел... только бы не ушел...»

Стропус спит.

Вспомнила о его любимом блюде — картофельных оладьях со сметаной. Габриеле бросается готовить. Трет картошку, смешивает с яйцом, а когда Стропус просыпается, оладьи готовы: только подноси к кровати.

Он дивится ее расторопности и рвению. Давно такого в доме не было, давно.

Андрюс добродушно посмеивается над ее услужливостью, а она наивно верит, что эти ее хлопоты если и не преобразят его, то во всяком случае возымеют какое-то действие. Стропус прячет усмешку, умеряет свою прыть, и им так хорошо, как в самые счастливые годы их молодости. Длится это час или два. Затем он снова уходит с головой в хозяйственные дела, хоть и мог после поездки подольше понежиться в постели.

— Некогда даже передохнуть,— сетует он, поймав укоризненный взгляд Габриеле.— Разве надо было бы за каждой шавкой следить, будь у людей совесть и чувство ответственности, уважай они себя и других. А теперь только и гляди, чтобы свинью не подложили. Я не говорю, что все такие, но есть все же типы, которые не могут не совать палки в колеса, особенно если колеса хорошо крутятся и воз поднимается в гору... Зависть, злость застилает им глаза. Взять хотя бы и этого увальня — Антанаса Гиринис. Еду я вчера, смотрю, как трактористы работают, и вдруг вижу: стоит «Кировец». Ты представляешь себе, что значит простой такого исполина, хотя бы пятиминутный, да еще в страду? По меньшей мере полгектара невозделанной земли! Подхожу — да это же Унте. Копается, возится над гнездом какой-то пичуги, и делай с ним что хочешь. Он, видите ли, должен это гнездышко перенести, чтобы под ножами культиваторов яички не погибли... Ну, скажи, есть у человека разум?

— А может, в этих яичках уже и птенцы шевелились?— спрашивает Габриеле.

— Птенцы?— сердится Стропус.— Положим, птенцы. Какое ему дело? Если из-за каждого птенца прыгать с трактора, то у нас осенью хлеба не будет.

— Доброе у него сердце,— бросает Габриеле, притворившись беспристрастной, хотя ее так и подмывало возразить мужу.

— Нарочно хотел позлить. Он меня терпеть не может. Как, впрочем, и я его.

— Что же вы не поделили?

— Жизни. Я за сегодняшний день, за прогресс, за будущее. А он за девятнадцатый век. Старье!..

«Занятный экземпляр...» — собирается сказать Стропене, но сдерживается.

Габриеле остается одна, и еще долго ее мысли вертятся вокруг Унте. Вспоминает о том, что слыхала о нем от других, думает о не проклюнувших скорлупу пичугах. «И впрямь занятный экземпляр... Видно, потому мне и приснился такой дурацкий сон, хотя ничего подобного в голову никогда не приходило. Ей-богу, бред сивой кобылы...»

V

— ...Так вот как, товарищ Антанас. А теперь позвольте спросить, почему вы переносите птичьи гнезда?

— Какие гнезда, товарищ Стропене?

— Как это — какие? А за что председатель снял вас с трактора?

— Он меня не снял. Он заменил его. Я снова получил свою «Беларусь». И только рад. Не по мне эти новинки... С такими не поля пахать, а людям кости ломать. Железные чучела, чтоб земля дрожала.

— И все-таки почему вы эти гнезда?..— Габриеле смотрит на Унте глазами простушки, удивляясь совпадению: снился человек, и вот, пожалуйста, он перед тобой.

— Ваш муж из мухи слона сделал,— говорит Унте, недоверчиво косясь на председательшу.— По правде говоря, пару гнезд я перенес, но чтобы все время трактор простаивал... Чепуха!

— Я вас не осуждаю. Напротив. Мне нравятся добрые сердца...

— Добрые сердца? Да каждый нормальный человек поступит так же,— оттаивает Унте, обласканный теплым словом Габриеле.— Во всяком случае должен так... Ведь речь-то о живой твари. Представьте себе: вы сидите верхом на этом железном чучеле, все у вас как на ладони. Только остановитесь, и сразу же из-под гусениц облако пыли. Но вы — вперед и только вперед, выполним, так сказать, план сева в срок. Жмете, аж искры летят. И вдруг тут же, в двух шагах, фьюить — и вверх! Жаворонок!.. Ясное дело: гнездо! Неужели, думаешь ты о себе, ты, бандюга, птичий дом разрушишь? Притормозил я, значит, малость, слез и перенес гнездышко в безопасное местечко — туда, где куль-

тиваторы прошли. И еще палку воткнул: дескать, в оба смотрите, не напоритесь, сеятели!.. А для товарища Стропуса такой поступок чуть ли не преступление.

— Стропус — хозяйственник, вы — поэт,— вырывается у Габриеле. А ведь хотела сказать «чудак».— То, что одному кажется черным, другому — белым. Честно говоря, мои симпатии скорее на стороне поэтов, нежели хозяйственников.

— И все-таки выбрали хозяйственника,— ехидно замечает Унте.

Габриеле снисходительно улыбается:

— Разве с вами так не бывает: собирались сделать одно, а вышло по-другому?

— У меня всегда по-другому...

— Вот видите,— вздыхает Габриеле, исподлобья поглядывая на Унте.— Оба мы неудачники.

Унте что-то бормочет себе под нос и ускоряет шаг. Идет и разглядывает раскинувшуюся вдали деревню, где особенно выделяется двухэтажное здание школы: красное, со сверкающей на солнце жестяной крышей, возвышающейся над вереницей колхозных домиков.

«Что это вам в поле понадобилось так далеко от дома?» — подмывает спросить у Габриеле, но она, как бы желая насытить его любопытство, сама начинает разговор:

— Почему вы пешком? Как ни крути, версты две будет, не меньше.

— Целых три,— уточняет Унте, и Стропене почему-то кажется, что он подтрунивает над ней.— Будь вдвое больше, я лучше на своих двоих, чем на мотоцикле. Но не всегда время есть.

— Да, мотоцикл — ненадежное средство сообщения. Недаром говорят: купил мотоцикл, заказывай гроб.

— Нет, я не поэтому, товарищ Стропене.— Унте вдруг поворачивается к Габриеле, мотает большой кудлатой головой — он удивлен и даже рассержен.— Когда я на мотоцикле, то шлем не надеваю — стесняет он меня. Уж если суждено разбиться вдребезги, то не как солдату, а как свободному человеку. Нет, не из страха я больше доверяю своим ногам — просто хочется отдохнуть от грохота, от смрада и от пылищи.

— Само собой...— соглашается Габриеле.— Каждая работа, пусть даже самая приятная, с течением времени надоедает. А когда такой жуткий грохот, пыль и вонища от бензина... Может, это вас обидит, но я не люблю технику. Охотно пользуюсь ее услугами, но не люблю.

— Вы не любите, а я ненавижу, товарищ Стропене. Когда-то она меня ошарашила, даже напугала, я боялся ее, как какого-то загадочного чудища, растущего не по дням, а по часам, а теперь ненавижу. И охотно отказался бы от всех удобств, только бы не иметь с ней дела.

— О-ля-ля!— удивленная Габриеле хлопает в ладоши.— Механизатор, и такие речи!.. Вы занятный человек. Объясните же мне, неразумной, почему вы из всех профессий выбрали самую ненавистную?

Унте задумывается: на такой вопрос сразу и не ответишь.

— Так уж вышло. Вы же сами сказали: собирались сделать одно, а... вышли за хозяйственника.

— Я?— Габриеле натянуто улыбается, де́лает вид, что не поняла намека Унте, но вскоре поджимает губы, и в глазах вспыхивают искорки.— Откуда вам известно — может, тогда мой муж не был хозяйственником? Не слишком ли сурово и опрометчиво вы судите о тех, кого не знаете? Потом, разве он не может быть с хозяйственниками хозяйственником, а с женой — другим. Преданным, любящим. Не правда ли? Фу, какой вы неотесанный, товарищ Антанас, ничего не смыслите в отношениях между мужчиной и женщиной... Хозяйственник! Другая на моем месте рассердилась бы на вас.

— Гм, гм,— незлобиво мычит Унте, вглядываясь в какую-то точку поверх ее головы.

Габриеле криво усмехается. У нее больше нет никакого желания шутить, показывать свою женскую силу. Так вот он каков, этот Антанас Гиринис, ласково прозванный селянами Унте! Шагает рядом, как тень, и ему все равно, будто ты и не женщина вовсе. Улыбайся не улыбайся, намекай не намекай, все отскакивает от него, как горох от стенки. Пень! Такого если что и расшевелит, то только поллитра...

Со стороны деревни мчится мотоцикл. Все ближе и ближе. Уже можно различить и водителя — Робертаса Марму. Он сидит за рулем, разинув рот, напялив на глаза огромные защитные очки, насмешливый, презирающий всех. Промчался мимо, сверкнул молнией и скрылся, обдав Габриеле и Унте вонью. На заднем сиденье — Живиле Кукурите, знаменитая птичница, которую недавно Альбертас Гайлюс прозвал Венерой. Рот у нее до ушей, улыбается Унте и Габриеле, кокетливо машет им левой, а правой обнимает за талию банщика. («Смотрите, мол, и завидуйте! Как мне хорошо! Какая я счастливая!»)

— Эта встреча вам ни о чем не говорит? — ехидничает Габриеле, поймав косой взгляд Унте.

— О чем именно? — Унте морщит лоб, стараясь что-то вымудить.— А-а!.. Глупейшее недоразумение!.. И все из-за этой водки треклятой. Несчастная девушка.

— Легкомысленная,— коротко клеймит председательша промчавшуюся Живиле.

— Марма — известная личность... К тому же он ей и папаши годится. Что-то не верится, чтобы она с ним...

— А ей-то что? Не разбирает... С фабрики к ней на птицеферму толпами...

— Развелись тут всякие, только смотри, чтоб беду не накликали...

— А вам-то чего расстраиваться? — не унимается Габриеле.— Мотылек на то и мотылек, летит на огонь, чтобы сгореть.

— Ну уж... ну уж...— бормочет Унте, вдруг задумавшись. Говори ему сейчас что хочешь, все равно ничего не услышит, все пропустит мимо ушей, в них ни слова не застрянет. Унте кивает, поддакивает, только бы не вспугнули его мысли. Да это, может, и не мысли, а какие-то отрывки, смесь красок и безымянных предметов, запрудивших сознание.

— Ваше подворье,— слышит он, будто спросонок, голос Габриеле.

— Прощайте,— бросает Унте, опомнившись.— Будьте здоровы!

— И вы... будьте.— Габриеле протягивает руку:— Было очень приятно.

— Извините, моя рука...— Унте растопыривает длинные, измазанные мазутом пальцы.

— Ничего, ничего,— частит она, сжимая своими белыми пухленькими пальчиками его пятерню.

— Раз ничего, то ничего,— Унте лениво пожимает плечами и сворачивает на подворье.

— Надеюсь, не последний раз...

— Гм...— хмыкает он. И уходит, даже не взглянув на председательшу, провожающую его взглядом до тех пор, пока он не скрывается за углом избы.

Унте останавливается возле веранды, запрокидывает голову и долго смотрит в синеву, кое-где запятнанную карликовыми белыми тучками. Обрывки мыслей, смесь каких-то картин и предметов отрывают его от земли и на невидимых крыльях уносят куда-то ввысь, в желанную и недосягаемую даль.

«Дети еще, видно, не вернулись из школы... Салюте на ферме... Борщ и мясо на плите... Поесть и скорее в кровать, потому что пополудни снова на трактор. И так до завтрашнего дня... до позднего завтрака завтрашнего дня». Ноги еще касаются земли, а мысли уже воспарили над ней. Унте жмурится, мотает головой, как пьяный: что это — не белые карликовые тучки в небесной сини, а сверкающий, переливающийся всеми цветами радуги прибой в бесконечном морском просторе. Какое диво! Какое диво! Не нужны тебе ни билет, ни виза, все видишь: и бурное волненье океана, и затерявшиеся там острова, и корабли, которые, может, через час-другой навеки поглотит пучина...

Где-то в сарае остервенело кудахчет курица. Весь мир должен знать о том, что она снесла яичко. По соседству не унимается другая. Без устали поет кочет, крякают утки, облепив колодец. Салюте с утра забыла открыть воротца, чтобы пернатые могли добраться до пруда, а Унте такая мысль и в голову не приходит. Он все еще парит над морем-океаном, наконец покидает его пределы и переносится в тайгу, над которой такое же синее небо, усеянное белыми тучами. А из тайги в мгновенье ока перелетает на епушотасские равнины, занесенные свежим, только что выпавшим снегом и освещенные лучами заходящего солнца так, что глазам больно. Унте прищуривается, выскальзывает со двора, видит следы машин на ленте асфальта и нескольких женщин, минутой назад вышедших из стоящего автобуса.

VI

Одна из них — Салюте, а другая... Другую он сразу и не узнал: Юргита! Жаркая волна захлестнула грудь, под меховой шапкой на лбу проступили капли пота. Он вдруг устыдился своих валенок, своего старомодного зимнего пальто — ни дать ни взять захребетник деревенский!

— Гостью привезла,— с гордостью сказала Салюте.

— А я собрался было к Бутгинасу,— Унте покраснел, поняв, что спорол глупость.— Но теперь... поскольку Юргита приехала...

— Не вовремя? Да?

— Что вы? Что вы?

— Ну уж теперь все равно не выгоните,— Юргита улыбнулась. На ней была белая меховая шапочка, делав-

шая черты ее лица еще мельче, но подчеркивавшая черноту глаз.— Тем более, что приехала-то я неспроста, по серьезному делу, касающемуся нас обоих.

Унте ничего не понял — только повел бровью и снова ляпнул ни к селу ни к городу:

— Очень удобно, когда автобусы останавливаются у самого двора. В снег ли, в дождь ли...

Салюте схватила желтевший на снегу тяжелый саквояж.

— Оставь! Унте возьмет,— промолвила Юргита.

Унте обернулся и чуть ли не силой вырвал из жениных рук ношу.

— Да мне не тяжело... до дома-то всего два шага... Не такие тяжести таскала...— защищалась Салюте, не отдавая саквояж.

Унте покраснел как рак.

— Чего это ты накупила столько,— грубо перебил он жену, боясь, чтобы та не принялась рассказывать, сколько потратила денег.

Открывая дверь в прихожую и приглашая гостью войти, Салюте похвасталась перед Унте, что гостила у Юргиты и до тех пор не отпустит ее домой, пока не ублажит своими угощениями.

Вошел старый Гиринис. В одной рубахе, как юноша, меховая шапка в соломинках, он только что из хлева — скотину кормил.

— Здравствуй, невестка,— радушно встретил он Юргиту, прижимая ее к груди.— А Даниелюс что?.. Опять не мог?..

Юргита хотела сказать правду («На охоту уехал»), но не стала огорчать свекра.

— Доклад готовит. Совещание скоро,— соврала она.— Секретари, отец, люди подневольные.

— Что верно, то верно, подневольные,— согласился старый Гиринис и горько усмехнулся.— Теперь все казенное.

— А где Юстина? — спросила Юргита, уводя свекра от опасной темы.

— На ферме. Ведь и Юстина казенная. Воскресенье не воскресенье, возится со своими коровами неизвестно за какие грехи... Просто жаль смотреть на нее. Но что это мы тебе своими бедами голову морочим? Ведь в гости приехала!.. Салюте, голубка, сбегай в чулан за пивком!

— Нашел, видите ли, с кем пиво пить! — прыснула Салюте.

— А что? Такое вкусное, как отцовское, и я не прочь...— сказала Юргита.

— Ну, что я говорил? — старый Гиринис весь сиял.— Какие это гости, если на столе кувшина нет?

— Председатель обещал представить Юстину к высокой награде,— насмешливо выпалил Унте, когда Салюте шмыгнула в чулан.— Но Героя она не получит, потому что две звездочки одному колхозу не дадут... Тем более что у одной доярки, Бутгинене, уже есть.

— В бирюльки играют, как дети, право слово,— заметил старый Гиринис.— Лучше бы Юстине сменщицу дали, может, так бы не уставала.

— А где ж ее взять? — отозвалась Салюте, вернувшаяся с пенящимся горьковато-сладким пивом.— В колхозе людей не хватает, не только коровницы, но и мы, свинарки, света белого не видим.

— Такие заботы мучают не только Дягимай,— поддержала золовку молчавшая до тех пор Юргита.— По всей стране не хватает рабочей силы... В деревне и в городе, в колхозах и на фабриках.

Старый Гиринис нервно мотнул головой.

— И будет не хватать, пока люди не научатся работать,— не выдержал он.— Пока не будут себя уважать и других. Потому-то и товар никудышный, да и производят его меньше. А эта ваша материальная заинтересованность только предлог для начальников... Чтобы оправдаться. Настоящих причин они-то не хотят видеть. К примеру, наш колхоз. У людей не сотни рублей — тысячи на книжках. Стало быть, заработок у каждого приличный. В городе, конечно, хуже; живя на асфальте, на жалованье далеко не уедешь, не разбежишься, как говорят. Но и там никто голым не ходит, с голоду не пухнет. Живут люди-человеки... Есть у них на что и одежу справить себе, и поесть, и, коли позарез нужно, машину купить. Нет, дети мои, не здесь собака зарыта, дело не в том, что одни работают каждый день, не ведая, что такое выходной, а другие баклуши бьют. Нет! Порядка не хватает — вот что! Дисциплины! Уж больно много всяких чинодралов развелось! Начальничек над начальничком, контора над конторой, поди угадай, куда сперва пойти, куда потом, ежели у тебя какое-нибудь дело. Намедни и сам Даниелюс возмущался... рассказывал, как одна вдова двадцать справок собрала, чтобы своим малолетним детям пенсию выхлопотать. Вы это называете бюрократизмом, а я так думаю: проверка за проверкой не от хорошей жизни — от недоверия к человеку, от страха, вдруг

власть обманут. И что же?.. Все равно обманывают, сколько там проверок ни учиняй! А когда нужно призвать виновного к ответу, вот тут и начинается: виновников вроде бы и нет, закон запутался среди прорвы ответчиков, каждый посылает к другому, и в конце концов всю кашу должен расхлебывать самый меньший. Всех этих щелкоперов, всех этих переписчиков, переливателей из пустого в порожнее, всех этих выдавальщиков справок и бумажек надо к работе, к делу приставить! А ведь сколько их, этих канцелярских крыс, во всем нашем необъятном отечестве небось миллионы... и все они только и делают, что наши закрома опустошают. Пусть же производят то, что нужно, пусть человеку пользу приносят, дармоеды. Тогда бы никто не жаловался на нехватку рабочих рук... И каждый мог бы по-людски отдохнуть, да и прилавки в магазинах ломились бы от всякой всячины... Эх, да что тут говорить, это и малому дитяти ясно. Почему же те, у кого башка на плечах, те, кто должен заниматься этим, не желают понять...

— Может, и понимают, да боятся мозгами пошевелить,— сказал Унте, наливая всем пива.— Невыгодно, а главное — опасно, еще, не приведи господь, обмишулишься, на смех тебя поднимут вместе со всеми твоими новинками... такое, отец, уже не раз случалось. Поэтому те, что побашковитей, считают так: лучше сидеть в своем кресле и не рыпаться, послушно пережевывать старые истины, забыв главную из них: жизнь не стоит на месте.

— Скажи, какой нашелся! А ты новые истины пережевывал бы, посади тебя в такое кресло? — вмешалась Салюте, направляясь в кухню с пустым ведром.— Легко учить других... Это дело нехитрое...

— А я бы... я бы землю вверх дном перевернул! — не на шутку распалился Унте.— У меня никто бы не врал. Никто бы не крал, никто бы не мошенничал. Моей правой рукой были бы не подхалимы и аллилуйщики, а мудрость и справедливость.

— Словом, ты бы навел порядок,— рассмеялась Юргита.

— В один присест! — не унимался Унте, выдув всю кружку.

— А ты откуда знаешь? Может, так, как ты, думали и они, перед тем как усесться в свои кресла? На словах переворачивать землю вверх дном легче, чем на деле.

— В том-то и вся загвоздка, что на словах! — отрезал Унте, поймав себя вдруг на мысли, что Юргита пытается

защитить Даниелюса.— На трибуне соколами летают, а на земле воробьями чирикают.

Споря, они и не заметили, как пришла Юстина — неказистая, рано располневшая старая дева. Поскольку характер у нее был замкнутый и при чужих она стеснялась выказывать свои чувства, то могло показаться, что приезд гостьи не очень-то ее обрадовал. Юстина сняла нейлоновую куртку и поспешила на кухню, чтобы помочь Салюте. А Юргита между тем попросила Унте показать ей проект нового Дома культуры.

— Я думаю, Стропус сдастся,— сказала она, когда все уселись за стол.— Только не надо уступать. Ведь старый Дом культуры и впрямь не годится для такого богатого колхоза, как Дягимай.

— Для того чтобы отплясывать до одури на танцульках, и теперешний хорош,— буркнул старый Гиринис.— И ежели хочешь какую-нибудь картину посмотреть, то места в зале для всех желающих хватает... Правда, бывает, хлынут из соседних колхозов!..

— Да что вы тут говорите, отец? — подскочил Унте.— Как только что-нибудь посерьезнее или поинтереснее, половина за дверьми остается. В прошлом году театр четыре раза приезжал. Но что из того? Только треть попала!.. А в нынешнем году только два спектакля привезут... маловато, мол, публики, неудобная сцена... Нет, отец, наш старый Дом культуры годится только для самодеятельности. И то не от хорошей жизни...

— Годится не годится, а ты сиди и не суйся,— наставительно произнесла Юстина.— Пусть решают те, кому положено.

— Кто? Стропус, наш благодетель? А может быть, правление, которое под его дудку пляшет? Дождешься, пока они решат!..

— Не решат сейчас, решат попозже,— поспешила Юстине на помощь Салюте.— Тебе все тотчас подавай... как только приспичит. Право же, терпения у тебя ни на грош. Кипятишься, горячку порешь, сгоряча и брата обидел, и с председателем поцапался. А ведь Стропус — неплохой человек, с ним ужиться можно...

— Помещик! — зло бросил Унте.— Колхозник ли говорит, пес ли брешет — ему все едино.

— Простить ему не можешь, что он тебя из правления вытурил? — ужалила Юстина.

— Из правления я сам ушел. На кой черт мне там иг-

рать в демократию, если я все время должен руку поднимать только за то, что нравится товарищу Стропусу?

— А тебе что — поднять ее тяжело? — произнесла Салюте.— Может, скажешь — Стропус колхозу зла желает? Говоришь, как...

— Лучше бы помолчала,— перебил ее Унте.— Сунул тебе краюху хлеба с толстым слоем маслица, вот ты и прыгаешь вокруг хозяина, как собачонка... А надо быть человеком. Со своим разумом, мнением, достоинством. Может, кое-кому и совсем нетрудно поднять руку по приказу господина, а по мне, лучше с голоду подохнуть, чем на коленях ползать.

Старый Гиринис, сияя от гордости, положил сыну на плечо руку: мол, дело говоришь, Унте!..

— Похвально, сын мой. Я не помню своего деда, но отец рассказывал, что во времена крепостного права его забили до смерти плетьми только за то, что по велению пана он осмелился сказать ему горькую правду в глаза. Другой на его месте малодушно соврал бы и выкрутился, но наш дед был человеком гордым и достойным.

— Слава ему,— послушно согласилась Юстина.— Но живым от дедовской правды легче не стало.

— То-то,— заерзала Салюте.— Жена осталась вдовой, а дети сиротами. И уделом их до гроба были нищета и панский гнев.

— Панский гнев? Но и уважение всех,— с нажимом сказал старый Гиринис.

— Нечего им объяснять, отец,— прохрипел Унте, без аппетита пережевывая кусок колбасы.— Они могут оценить только то, что можно на весах взвесить. А почет и уважение... Порядочность, достоинство человека... Не поросенок — не взвесишь, килограммами не измеришь, чтобы цену установить. Так на кой шут этот Дом культуры, ведь его ни доить, ни резать... на кой эти театры, книжки, концерты? К чертям их собачьим! Давайте побольше сала, давайте отгородимся свиными загонами от всего мира и будем набивать рублями сберкассы!

— А по-твоему, их лучше пропить? — без обиняков спросила Юстина.

— В самом деле, ты хоть бы постыдился так говорить,— напустилась на Унте жена.— Радоваться надо, что люди трудятся, с толком деньги тратят, а ты, как Стирта... И без нас хватает лоботрясов и лодырей, по вине которых люди должны бог знает откуда ехать, чтобы купить кусок колбасы или мяса.

— Да разве ж я за лодырей, за пустую трату денег? Ах вы, вороны эдакие! — Унте пренебрежительно махнул рукой, давая понять, что нечего с такими разговаривать. И снова налил всем бокалы, а свою кружку, выпитую до дна, наполнил, не скупясь.

Теперь заговорила Юргита, державшаяся до сих пор в тени.

— Кто же может осуждать человека за его трудолюбие, за умение толково тратить заработанные деньги? Мы должны только гордиться этим и с благодарностью вспоминать наших пращуров, которые воспитали эти черты в нашем народе. Однако одно дело — работать с любовью, из чувства долга, и совсем другое — стать рабом своей работы... Как мне кажется, Унте подразумевал как раз это. Работа, работа и только работа. С утра до позднего вечера. Колхоз, своя скотина, огород... Бесконечный бег по кругу, урывками чтение газеты, еще реже книги или какое-нибудь другое развлечение. Вот человек и становится похожим на рабочую скотинку, за день так умается, что вечером валится как мертвый в постель или засыпает у телевизора...

— Это вы о ком? О мужиках или бабах?

— Обо всех, кто от жадности из кожи вон лезет.

— Ну уж наши мужички не перерабатывают. Не жадные...

— До работы не жадные,— поправила Юстину Салюте.— А от водки никакими силами не отдерешь.

Юстина скупо улыбнулась своими тонкими губами, соглашаясь с Салюте. Затем покраснела, обиженная каким-то тайным намеком, и ни с того ни с сего затараторила, все больше распаляясь и входя в раж:

— Жадность? Мы ишачим, высунув язык, от жадности, по-вашему? Ну знаете ли — такое может ляпнуть только горожанин, отгородившийся от деревни бумажной стеной. Ему-то что — ни огорода, ни скотины. Захочет молока — шасть в магазин, захочет какой-нибудь овощ — туда же. Плати денежки и бери надушенными ручками, лакированными ноготками... Шляпка, кудряшки...

— А чем плохи шляпа и кудри? — вспылила и Юргита.— В человеке все должно быть красиво, гармонично. Кто не смотрит за своей внешностью, у того и душа коснеет.

— Может быть, и коснеет, но зато город сыт. Вы! — рубанула Юстина.— Если мы вместе с вами будем бегать на базар за каждой мелочью вместо того, чтобы самим ее вы-

растить, то и в витринах ничего, кроме деревянных окороков и крашеных бутылок кефира, не останется. Потому-то мы бродим по навозу, потому-то вкалываем на огородах... от жадности. От той же жадности откармливаем какую-нибудь хавронью на продажу, потому что один черт — двух или трех кормить. От той же жадности возимся с колхозными животными — доим коров, кормим свиней, телят... Одним словом, превращаемся в рабочую скотинку, чтобы вы, горожане, с голоду не мерли.

— Какая уж тут жадность! — заступилась за свою работу и Салюте.— Не знаю, нашелся бы хоть один, который копался бы в огороде, ежели бы в деревенском магазине можно было все купить, как в городе? Разве я бы кормила такую ораву свиней, будь в колхозе людей побольше? Строгус так расставил. Вот откуда эта жадность.

— Я не о тебе, Салюте,— поспешила успокоить ее Юргита.— Ведь есть же и такие, которые ни о чем не думают — только бы как можно больше денег зашибить, вещей дорогих купить...

— Что поделаешь, невестка. Человек уж так устроен: ему подавай жизнь получше да покраше,— отозвался и старый Гиринис.

Унте почтительно объяснил отцу, что желание жить получше да покраше не то же самое, что погоня за богатством, а Юргита, желая, видно, разрядить обстановку, добавила, что иногда человека делают жадным неблагоприятные условия, это, мол, их вина. Она даже сослалась на Дигимай: из-за нехватки рук люди должны работать здесь в два, а то и в три раза больше, чем следует; за свою работу они и получают соответственно, то есть жалованье у них в два или в три раза выше, а такие деньги — не так-то просто распустить. И еще: поскольку из-за большой занятости человек как бы наглухо отгораживается от культурной жизни, душа его нищает и хиреет, возникает пустота, которую и заполняют низменные страсти: пьянство, безудержное накопительство и тому подобное.

Юстина со всей решительностью ополчилась против такого мнения Юргиты. Она упрямо, с какой-то отчаянной простью доказывала, что работа может заменить человеку все — всякие там культмероприятия, развлечения, удовольствия, потому что начало всех зол — леность. Дочь поддержали и старый Гиринис, и Салюте: кто родился на свет волком, тот волком и подохнет — лентяй, мол, будет баклуши бить, пьяница — пить, а скупердяй — складывать рубль за рубликом, сколько бы ни зарабатывал.

Унте, вконец потерявший надежду столковаться со всеми, только нервно подергивал плечом, хмурил густые черные брови, косясь на веселое пиво, от которого щеки покрылись легким багрянцем, и растерянным взглядом просил прощения у Юргиты за прямоту и дерзость Юстины. А Юргита искренне радовалась тому, что ужин идет к концу и можно подумать об отъезде.

Но вечерний автобус уже проследовал в Епушотас, а следующий отправится туда только в шесть утра.

— Колхозных шоферов теперь нигде не сыщешь — воскресенье,— забеспокоилась Юстина.— Стропус, тот охотно отвез бы... как-никак жена секретаря...

— Стропус?! — встал на дыбы Унте.— Этого не хватало, чтоб мы у него просили! Лучше я к бригадиру схожу — лошадь даст. За час, глядишь, и доберемся до Епушотаса.

— Так-то,— одобрительно осклабился старый Гиринис.— Лучше всего мотор, работающий на овсе. Только смотри, ноги не отморозь!

— Я дам Юргите свои валенки,— добродушно предложила Салюте.

Унте торжествовал.

Вскоре одноконные сани промчались по деревне. Юргита тихо ахала от удовольствия, сидя на покрытом попоной облучке рядом с Унте, который одной рукой держал вожжи, а другой размахивал над головой кнутом, стараясь поторопить ленивого, но быстрого мерина. Всем существом Унте чувствовал: ей хорошо, ей очень хорошо, и сердце замирало от наплыва каких-то добрых, доселе не изведанных чувств. В голову пришла странная мысль: если бы с Юргитой что-нибудь приключилось в дороге и ей понадобилась помощь? Тогда бы она убедилась, что он готов отдать за нее все, даже жизнь. Его так и подмывало засыпать ее вопросами: не холодно ли, удобно ли, не слишком ли он гонит? Однако Унте не отваживался заговорить, боясь вспугнуть негаданное блаженство, которое казалось таким же бесконечным, как лента шоссе, посеребренная холодным лунным сияньем.

— Господи, какая ночь... какая ночь! — как зачарованная повторяла Юргита, кутаясь в воротник шубы.

Унте чудилось, будто он слышит не шепот ее, а мысли, и его захлестнуло такое чувство близости, что острая тоска сжала горло. Он глядел, не отрываясь и почти не помня себя, на придорожные деревья-лунатики, подпиравшие своими заиндевелыми верхушками небо, на бледную и зябкую луну, и Унте не было никакого дела до того, что часа

через два этот небесный фонарь погаснет и домой придется возвращаться в кромешной тьме. Ехать бы и ехать так всю ночь, слушать скрип полозьев, которому время от времени вторит ржанье быстрого мерина, и чувствовать рядом с собой ту, которую обожаешь...

— Боже, как я рада,— повторила она, высунув голову из воротника свекровой шубы.— Хорошо, что прозевала автобус. Хоть разок всласть на санях покатаюсь!..

— И мне санный путь по нраву,— засуетился Унте.— Только вот беда: вид уж больно однообразный: ни холмов, ни лесов. Небо в ясную погоду куда красивей, чем земля. Смотрите, эвона сколько звезд! Видите вон те, на западе... очень яркие, напоминающие вроде бы крест... Они так и называются Северным Крестом!.. Где-то сразу же за ним должны быть созвездия Льва и Девы, но сейчас их не видно. А вот эта светлая полоса через все небо — Млечный Путь... Трудно представить себе, что самая крохотная звездочка, которую мы видим невооруженным глазом, во много раз больше, чем наша матушка Земля! А ведь за ней еще другие... и еще... Созвездие за созвездием... И так без конца и без края, как подумаешь, голова кругом идет.— Унте замолк, спохватившись, что все эти сведения о звездах и без его болтовни известны: чего он ей небесную механику излагает? Он поглядывал на нее, кутающуюся в воротник отцовой шубы, и, приняв ее молчанье за согласие, продолжал, не требуя ни вопросов, ни ответов:— Когда я был маленький, чего только не придумывал! Бывало, мысленно превращаюсь в какое-нибудь живое существо и... Эх, смешные бредни детства!..

— Ничего смешного в этом нет,— прорвался сквозь скрип полозьев негромкий голос Юргиты.— И мне в голову приходила всякая чушь... В детстве все чисто, прекрасно и невинно.

— Что верно, то верно, чистыми мы были,— согласился Унте и, обласканный ее вниманием, раскрыл душу.— Да, да, всякие со мной случались превращения, как в сказке, обернусь, бывало, то тем, то этим, а чаще всего птицей. Поднимаюсь, бывало, ввысь, и все мне мало. Уже и до звезды рукой подать, и Земля сверху выглядит как маковое зернышко, а мне все мало. Больше всего мне нравилось летать над Млечным Путем. Может, потому, что мне о нем всякие чудеса рассказывал еще мой дедушка Доминикас: выведет в ясную ночь и показывает мне, малу эти рои, эти стада звезд, мерцающих в палевой мгле, и как начнет свои байки... Головастый был старик, царство ему небесное,

а уж врал — заслушаешься!.. От него я узнал, что птицы по нему, по Млечному Пути, в теплые края улетают, а вот эти туманности, которые Повилас называет космической пылью, это отставшие от стаи птицы, которые от спеси хотели выше всех подняться и потому были обречены на вечное скитание среди звезд. И еще всякие другие небылицы поведал мне мой дед, за ночь при всем желании не расскажешь...

— Говори, говори,— подхлестнула его взволнованная Юргита, утопая в теплой свекровой шубе.

Но Унте, побродив по Млечному Пути, вернулся на Землю.

— Так говорите — санный путь нравится? И эти равнины не кажутся вам скучными?

— Конечно нет. Наоборот. Меня равнины всегда волнуют. Вокруг такой простор, такая свобода!.. Да и вообще красиво.

— Это так... Но вот по лесу в санях промчаться... Да еще если он холмистый. Ни с чем не сравнишь!

Юргита прыснула.

— И откуда у тебя, выросшего на равнине, эти холмистые леса? Где ты их здесь видел?

Унте, удивляясь самому себе, пожал плечами.

— Это у меня, видать, с армейских времен. Я служил в гористой местности. Среди лесов.

— А чем этот плох! — Юргита показала рукой на белевший по обе стороны дороги березнячок, куда они только что въехали.— Сворачивай направо и чеши.

— Вы всерьез?

— Еще бы!

— Да? Но мы можем грохнуться...

— Разбиться о березу! — Юргита весело рассмеялась.— Увязнуть! Утонуть в снегу! Господи, сколько всяких опасностей нас подстерегает!..

— Раз так, то вперед! Навстречу смерти! — воскликнул Унте, заражаясь ее игривостью, и стегнул кнутом мерина. Стегнул и рванул вожжи вправо, на обочину.— Но, но!.. Оп-ля! — вопил Гиринис, пританцовывая в санях и остервенело орудуя кнутом, свистевшим над головой лошади, но не обжигавшим ее потную спину.

Юргита и оглянуться не успела, как сани пустились по березняку, перемахивая через широкие тени деревьев, через их затейливый рисунок на снегу, в котором увязали полозья. Оглобли поскрипывали своими стальными ковками, потный мерин только фыркал, пар от него клубился

облаком, и это облако пахло чем-то соленым и едким, а Унте только покрикивал, осклабившись, разинув рот как привиденье — все громче, все веселей, потому что было страх как приятно слушать свое собственное эхо:

— Нооо! Оп-ля!

— Ноо! Оп-ля! — не отставала и Юргита.

Войдя в раж, они пересекли березнячок, проехали через него и вдоль и поперек, а потом, захваченные азартом, поддаваясь какой-то безотчетной страсти, пустились вокруг. Снега было немного, только кое-где белели сугробы, разгоряченный конь так несся, обдавая их хлопьями летящего из-под копыт снега, что по спине у Юргиты и Унте мурашки ползли.

— Хорошо? — то и дело спрашивал Гиринис, готовый безумствовать всю ночь, только бы доставить ей радость.

— Хо-ро-шо! — отвечала та, откидывая голову и защищая лицо от летящего снега.— Оп-ля! Оп-ля!

Ах, никогда еще Унте не было так славно, как в ту зимнюю ночь! От Юргитиного ликования, от ее ахов и охов кругом шла голова, и Унте, как бы желая продлить этот нечаянный праздник, эти богом дарованные ему минуты, неожиданно для самого себя затянул народную песню:

Эх, пил я пиво
и песню пел.
Кто ж расписал лицо мне,
Кто же расписал лицо мне?
Хмелек веселый,
хмелек веселый —
он расписал лицо мне,
он расписал лицо мне.
Что густо вьется,
что ввысь стремится,
тот расписал лицо мне,
тот расписал лицо мне...

— У тебя голос красивый, Унте,— похвалила его Юргита.

— Эту дед пел. Доминикас... Я знаю много. Мне только старинные песни и нравятся. Теперь придумывают, пожалуй, похлеще, но...

— Лучше твоих нет,— возразила Юргита.— Потому что их народ складывал... Ты можешь выступать с ними на сцене вашего Дома культуры.

Унте ответил не сразу. Смотрел на далекие, проплывавшие над ним звезды, и улыбался: в ушах еще звучала песня.

— Приглашали в хор... Но мне и одному неплохо... Нооо! Оп-ля! — снова подстегнул он мерина.

— А ты попробуй не один,— соблазняла его Юргита.— Покажи всем, какой у тебя голос. Порадуешь сотни, а может, и тысячи людей да и сам испытаешь настоящую радость.

— Ноо! Оп-ля! — еще яростней гремел Унте, встав во весь рост.

Сани описали еще один круг, бог весть какой по счету; умаявшийся мерин вдруг метнулся в сторону, сани ударились о дерево и перевернулись.

— Сумасшедший! — пыхтел Унте, барахтаясь в снегу.— Нарочно, чертяка, опрокинул!..

Юргита лежала рядом и тихонько смеялась.

Унте изрядно устал, пока поднялся: ноги его запутались в длиннющем отцовском кожухе, в который была закутана Юргита, маленькая, да удаленькая. Когда же ему наконец удалось освободить ноги, он встал и побрел к мерину, стоявшему чуть поодаль, перевернул сани, сложил вывалившееся сено, попону, облучок, но все это он делал как бы не наяву, а во сне. Он видел себя, окутанного какой-то странной дымкой, держащего на руках Юргиту, видел ее огромные черные, искаженные испугом глаза, слышал, как судорожно-маняще шелестят ее губы... И еще видел, как целует их... И был счастлив, что хотя бы мысленно может прикоснуться к той, которую боготворит, к той, о которой никогда не позволит себе грязно подумать. И от этого счастья ему было немножко стыдно: как же это он распоясался, обидел ее, Юргиту... Брата своего, Даниелюса...

Снедаемый чувством вины, он вернулся домой и несколько дней ходил сам не свой, то и дело вспоминая это буйство, это сумасшедшее круженье по березняку, который мерещился ему ночами,— огромный белый колокол, звенящий от песен...

А в субботу, в банный день, отправился он в колхозную баню. Робертас Марма выбрал ему веник получше, парку поддал, только согрейся изнутри после мытья, и готово. Унте присел к четверке Пирсдягиса, которая в конце каждой недели устраивала в бане складчину, но о том, чтобы опрокинуть стаканчик, он и не помышлял. Просто было интересно слушать, о чем судят да рядят мужики, и, отказываясь от рюмки, чувствовал свое превосходство. Самым молодым тут был Юозас Гайлюс, самыми старшими — Еронимас Пирсдягис да Моте Мушкетник-Кябярдис, порядком перевалившие за пенсионный возраст. К ним при-

соседился и мастер Игнас Сартокас, золотые руки, без его помощи в Дягимай никто не обходился. Мужики чесали языками о том о сем, то переходя от повседневных дел к политике и злобе дня, то перескакивая в далекое прошлое, когда они были почти юнцами и все с ними считались. О-о, попробуй не считаться! Кто теперь, к примеру, Еронимас Пирсдягис? Самый обыкновенный пенсионер-доходяга. А в первые послевоенные годы силища был! Нагрянет, бывало, с такими же, как он, на кулацкое подворье, только пух и перья летят. У всех поджилки трясутся, даже на другом конце деревни дрожат. Милости просим, товарищ Пирсдягис. Все будет сделано, товарищ Пирсдягис. На стол яства ставят, бутылки... Ешь — не хочу! Или Мотеюс Кибярдис, которого в ту пору никто не смел в глаза Моте Мушкетником называть. Товарищ председатель сельсовета — и баста. Да так уважительно, так торжественно, словно он не Кябярдис вовсе, а председатель Совмина.

Да, знали в ту пору люди свое место. Боялись, уважали... А кто нынче председатель сельсовета? Скажем, тот же Лионас Бутгинас. Из-под Стропусова каблука выбраться не может. О-о, попробовал бы такой Стропус тогда... Председатель сельсовета бац кулаком по столу, и твой Стропус тише воды, ниже травы... Мигом на место поставили бы, это уж точно. Это уж точно, согласился Игнас Сартокас и, как уже не раз бывало, когда разговор заходил о тех временах, снова вспомнил про свою загадочно исчезнувшую работу, про свою резьбу с изображением деревни Дягимай. Мотеюс Кибярдис согласно качал головой, но Сартокаса не очень-то убедили слова дружка, будто резьбу эту кто-то спер из зависти. Такая работа — вы только подумайте! Очень подошла бы новому зданию Дома культуры, очень...

Юозас Гайлюс прислушивался к разговорам и криво усмехался: господи, какая чушь! И, улучив момент, заговорил о своих бедах, хотя на сочувствие и не рассчитывал. Эх, не повезло ему со старшими детьми, еще как не повезло! Девчонка, та в Вильнюсе за какого-то чужака выскочила, с ней и договориться-то нельзя, в деревню носа не казала, а ежели и появлялась, то только и делала, что денежки на кооперативную квартиру клянчила. Пожалел ее Гайлюс, построил — как-никак свое дитя. А вот недавно примчалась ни жива ни мертва: дай, батя, веревку, удавлюсь, житья нет. Оказывается, ирод ее, муженек, другую себе нашел. Спутался и привел в дом без всяких стеснений,

потому что половина кооперативной квартиры и ему принадлежит. Несколько тысяч псу под хвост! А ведь каждый рубль кровавым потом полит. А тут — надо же — чужак на твое добро... Спрашивается, где нынче у людей совесть? А Альбертасу хоть бы что, только смеется. Были дураками, вот и построили, говорит. А он-то сам умный, что ли, ежели с такими гулящими, как эта Живиле с птицефермы, якшается? Половина получки — в трубу, а еще хочет, чтобы отец ему машину купил. Днем и ночью донимает, на отцовский карман зарится — денег ему, денег! Однажды, пьяный, даже за грудки схватил, грозился душу вместе с деньгами вытрясти. Не сын, а разбойник, чтоб ему пусто было. Просто не верится, что за год мог так испортиться. Армия, сдается мне, исправила бы. Там последний неслух шелковым становится. Обломали бы ему рога, уму-разуму научили бы. Армия — сущее спасение для таких лоботрясов. Но дело в том, что не берут его... Такую беду старый на себя навлек, хоть в голос вой. Ах, если бы знать, если бы знать... Ни за какие деньги!..

Гайлюс осекся, испугавшись, что сболтнул лишнее, но его собутыльники, догадавшиеся о том, почему Альбертаса, такого здоровяка, не призвали в армию, подбивали Гайлюса-старшего еще на одну бутылку.

— Комбинатор ты, Гайлюс, комбинатор,— приставал к нему Моте Мушкетник-Кябярдис.

А Пирсдягис стращал:

— Свернет тебе сею твой родной сыноцик, помяни мое слово.

Гайлюс стукнул кулаком об стол:

— Мои дети — мои беды, черт бы вас всех побрал! — И швырнул стоявшему поодаль Марме пятерку на поллитра.

Мужики были ошарашены:

— Такой скупердяй раскошелился! Ну теперь все собаки в Дягимай подохнут!

Унте терпеливо сидел, пока мужики не опорожнили Гайлюсову бутылку. Перед ним поблескивала полная стограммовая рюмка — штрафная за опоздание. Собутыльники с обеих сторон подталкивали Унте локтями — тяпни, мол, но он только мотал головой, виновато улыбался и с отвращением взглядом отодвигал от себя напиток. Тогда Пирсдягис, выцедив последнюю каплю из бутылки, нашарил в кармане рубль и предложил скинуться еще на одну поллитровку. Четверо мужиков — четыре рубля. Унте гордо извлек из кармана пятый рубль и, словно милостыню, протянул

собутыльникам, презрительно усмехаясь и окидывая каждого взглядом.

— Ты что, Унте, сюда на покаяние пришел? — спросил Игнас Сартокас.

— Не на покаяние, просто посидеть. Интересно понаблюдать со стороны, как человек в дурака превращается.

— Ишь ты, какой умный! — разозлился Юозас Гайлюс.— Давно ли такой?

— Правильно делаешь, Унте, что не пьешь,— похвалил Моте Мушкетник-Кябярдис.— Пусть старики отравляют себя, все равно у них смерть на носу, а ты давай по борозде примехонько, тебе еще долго идти.

— С такими, как ты, далеко не уйдешь,— отрезал Унте.

— Сто ты сказал? — вскочил Пирсдягис.

— Люди! — снова усмехнулся Унте, отодвинувшись вместе со стулом от стола.— Еще людьми называетесь. Но разве люди такими должны быть? Блевотина вы, а не люди!

— Дайте сюда его сто грамм! Если наш барин не желает, разольем по капельке всем,— бросил рассерженный Гайлюс.

Пирсдягис попытался было взять рюмку, но Унте первый схватил ее и плеснул водку на дверь, за которой копошился Робертас Марма.

— Блевотина! — Унте встал, глянул на всех свысока, как на навозных жуков, и затопал к двери.

Стояла тихая безоблачная ночь. Слегка морозило. Рог месяца висел низко над лесом, затерявшись среди роя звезд, и Унте снова вспомнилось прошлое воскресенье — лунное сияние, белоствольные березы. Юргита сидела рядом в санях и вместе с ним что есть мочи кричала: «Оп-ля! Оп-ля-я-я!» Из-за высокого воротника отцовского кожуха сверкали ее загадочные глаза, такие радостные, чистые, ласковые, желавшие добра ему, Унте! Сидя за столом с мужиками в бане, он как бы чувствовал тот взгляд, видел, как Юргита подбадривает его улыбкой, как одобрительно кивает своей красивой головой всякий раз, когда он отводит от себя рюмку. Ох, как бы понравились ей обидные слова, которые он бросил в лицо этим старым выпивохам!

Унте постоял во дворе бани, протянул руки к усыпанному звездами небосклону. Сердце замирало, так было легко и хорошо, такой неземной благодатью захлестнуло грудь. Когда он зашагал, то совсем не чувствовал ног, казалось, выросли у него крылья и он летит по усеянному звездами небосводу, где только он один — господь и владыка. Никому другому не было места в той пугающей бесконечной

дали, куда с замиранием сердца смотрел Унте, любуясь неяркой, как бы пробившейся сквозь солнечное марево, непередаваемой картиной, которая переливалась, то отдаляясь и тускнея, то приближаясь и вспыхивая так ярко, что, казалось, протяни руку и осязаемо почувствуешь ее, почувствуешь и станешь вдруг до боли ничтожным и вместе с тем как никогда великим, ибо то, к чему теперь прикован твой взгляд, то, что наполняет твою душу благодатью и радостью, создано для тебя, человека. Когда это удивительное видение, сотканное из каких-то бликов, исчезло и перед глазами снова повисло звездное небо, Унте заметил, что он довольно-таки далеко ушел от бани. От этих нализавшихся стариков, от бутылок с водкой, от соблазнительного звона рюмок. Отрубил дракону все девять голов!

И не почувствовал, как из груди вырвалась песня,— она широко и свободно неслась над равнинами, скованными зимней стужей.

VII

— Лучше бы мне не ехать на санях,— говорит Юргита.— А раз уж поехала, то зачем мы так мчались по березняку?

— Приятно было, вот и мчались!

— И мне было приятно, но теперь надо как-нибудь выбраться из снега. Вставай, Унте, вставай!

— Встаю, Юргита. Встал. Иду!

Ноги будто налиты свинцом. Юргита не приближается, а удаляется, словно вьюга ее подхватила, между тем Унте по пояс увяз в сугробе и не может сдвинуться с места.

— Ну и человек... Договориться невозможно! — ни дать ни взять голос Салюте.

— Со мной, что ли, Юргита? Хочешь, затяну ту, старинную, которую дед певал?

Эх, пил я пиво
и песню пел.
Кто ж расписал лицо мне,
кто ж расписал лицо мне?

— Чего орешь как оглашенный? — сердится Салюте, зло тормоша мужа.— Надо же так расхрапеться. Ты что, не мог в избу зайти?

Унте и сам ошарашен. В самом деле, как же так вышло — сел на ступеньки возле дверей избы и дал храпака?

— Черт бы побрал это ночное культивирование,— бормочет он, пытаясь подняться, но ноги как деревянные.— Успели бы и так посеять, по-людски. Вечно спешим, мчимся, высунув язык, как собаки. Невыспавшиеся, осоловелые... Тьфу! Пожрать и то некогда.

— Пожрал бы, ежели бы захотел,— не унимается Салюте.— Завтрак еще теплый был, когда ты домой явился. А ежели остыл, то мог согреть, не барин.

— Что верно, то верно, не барин,— идет на мировую Унте, чувствуя себя как бы виноватым перед Салюте.— Но вот присел на ступеньку — и как мертвый. Мотаюсь по восемнадцать часов в сутки туда-сюда, ты не думай, не филоню.

— Разве я говорю, что филонишь? Ну уж ежели в такое время явился, то мог бы калитку открыть, чтобы утки к пруду пошли,— упрекает его Салюте.— Никогда ничего не сделаешь, все на мою бедную голову. Вечно напоминай, проси, подсказывай.

Унте сладко потягивается, весь еще во власти сна. Упреки Салюте до чертиков ему надоели, но сейчас он к ним относится снисходительно, улыбается.

— Так что, говоришь, надо сделать? — спрашивает он, покорно следя за женой.— Свинья, наверное, снова загородку опрокинула?

— Да разве дело в загородке? Посмотри, как у других красиво. Какие изгороди, какая чистота в усадьбах. А у нас черт ногу сломит. Хорошо еще, что отец жив, тут приколотит, там приберет, а тебе все равно, даже если бы мы совсем одичали, чертополохом заросли.

Унте хочется возразить, что усадьба Гиринисов никогда не была и не будет последней в Дягимай, но Салюте — истинную дочь Пирсдягиса — не переговоришь. Поэтому Унте ничего не отвечает, направляется к газовой плитке и чиркает спичкой.

— Пришел бы раньше, поел бы как человек. А теперь ни то ни се — ни завтрак, ни обед.

— Я сладко поспал, стало быть — завтрак.— Лицо Унте расплывается в добродушной улыбке. Даже удивительно: отчего ему так хорошо?

— Да ты и говоришь как во сне,— шипит Салюте: хорошее настроение Унте ее просто бесит.

— Может, я и впрямь еще во сне,— говорит Унте, зажмуривается, мечтательно улыбается и вдруг неожиданным вопросом совершенно сбивает с толку жену:— А что ты скажешь про мой голос?

...Гончих свора рыщет...
Ты говорила,
ты говорила:
заяц зайку ищет...—

затягивает он так, что все вокруг дрожит.

— Как в пуще...— не может прийти в себя Салюте.— Сдурел, что ли? А может, пьяный?

— А что ты, например, скажешь, если я трень-брень и в колхозный хор запишусь? Затягиваю первым голосом, что твой Виргилиюс Норейка:

Ты говорила:
ветер в поле свищет...

— Дуралей ты, дуралей...— качает головой Салюте.— Не дразнил бы лучше, а помог скотину накормить.

Унте весело смеется, откинув голову.

— Помогу. Поем и помогу.

— Сперва выспись. Какой из тебя работник, ежели ночь напролет без сна.

— Успею.

Но Салюте упрямо гнет свое, и Унте ничего не остается, как поесть и растянуться на кровати.

Сквозь сон он слышит:

— Говорят, кто-то видел Фиму... Ну ту, первую жену Даниелюса... Работает на стройке. В медпункте.

— Фима? — откликается Унте.

— А ты чего удивляешься? Думаешь, Даниелюс ничего не значил для нее? Столько лет прожили вместе, вот ее и тянет поближе к нему.

— Пустое дело. Юргиту ей не переплюнуть.

— Может, и не переплюнет, но кровушку попортит.

— Загнала меня в кровать, а сама спать не даешь,— стыдит он ее, пытаясь скорее закончить неприятный разговор.

— Дрыхни, дрыхни.— Салюте оскорбленно замолкает и с двумя ведрами выходит за дверь.

Унте горько усмехается, вперив протрезвевший взгляд в облюбованный угол на потолке, где кишат — по настроению — самые разные и самые удивительные видения. Нет, теперь-то уж он точно не уснет. В голове мелькают разные картины: последнее гостевание Фимы и Даниелюса... Белая луна... березовая роща... испуганные черные глаза Юргиты... Габриеле... Товарищ председательша! Все время мимо проходила, гордая, прямая, словно аршин проглотила, а сегодня соизволила даже через всю деревню прово-

дить... «Может, было бы и лучше, если б Даниелюс вернулся к Фиме... Тогда Юргита...» — вдруг приходит ему в голову такая неожиданная, такая несбыточная мысль, он краснеет до ушей и от досады стискивает зубы. Подлец и дурак! В самом деле, додуматься до такой глупости! Унте садится, снова откидывается на подушку и снова садится. Шипит от злости, словно добела раскаленный кусок железа, брошенный в снег. Внутри у Унте все кипит, он изо всех сил пытается отделаться от этих подлых, непристойных мыслей и наконец празднует над ними победу. Ах, хоть бы скорее кончился этот весенний сев. Зад прямо онемел от этой тряски на тракторе по ночам. А ведь еще по меньшей мере недели две так придется... Только дом, поля и трактор — замкнутый треугольник, ни одного свободного дня, который нужен не столько для того, чтобы передохнуть, сколько для того, чтобы вырваться из тисков этих серых будней и чтобы душа воспарить могла...

«В воскресенье пошлю все к чертовой матери — и в Епушотас. Пошатаюсь по базару, зайду в ресторан, пообедаю, как вольный человек. А может, ко мне и Ляонас со своей героиней примкнет. Но нет — Рута прикована к своим буренкам, а Ляонас без нее в воскресенье — ни шагу. Будет сидеть дома и пиликать на скрипке. Но вряд ли у него сейчас музыка на уме: ведь начинается посадка овощей на огородах, надо не на скрипке пиликать, а землю копать... Да и вообще забот невпроворот, чиновник... Но все равно вечером какой-нибудь часок урвет. Хотя бы перед сном. Усядется квинтет, сыграет что-нибудь, а там, глядишь, и жбан пива на столе появится, давно не сиживали по-людски... Да, в воскресенье — кровь из носу — надо сходить к Бутгинасам, ибо Ляонас... Да что там говорить! С ним можно и поцапаться (хотя до этого никогда не доходило), но Ляонас все равно настоящий друг. Мужик что надо! И умен, и сердце доброе. Не то что эти дундуки с Андрюсом Стропусом во главе...»

VIII

Воскресенье Ляонас Бутгинас и впрямь целиком посвятил своим арам. Но Унте, переезжая в субботу вечером на другой надел, завернул со всей своей техникой на огород друга и так его измолотил боронами, что хозяину осталось только почву унавозить и посадить то, что хотел.

Ляонас хмурился, отплатив другу упреками за услугу: что это еще, мол, за помощь, колхозная техника и частный сектор, люди бог весть что подумают! Но Унте только посмеивался, зубы скалил: не ершись, казенный человек, все мы служим общему делу...

Так что воскресенье — свободное, картошку садить вроде бы рановато, а к вывозке навоза еще не подготовились. Но он, Ляонас, с Унте в Епушотас не потащится (да и другу там делать нечего): не потакать же бездельнику, кроме того, после обеда заседание правления («Вот это, братцы, страда — даже по воскресеньям заседают!»).

— Может, сегодня, вместе на фермы пойдем? — спрашивает Рута, готовясь к дойке коров.

— Нет. У меня много дел в сельсовете. А после обеда важное заседание правления колхоза.

Рута неприятно удивлена — такого еще не бывало, чтобы муж в выходной день отказался ей помочь.

— И мне нужно на собрание,— властно говорит она, морща лоб.

— Нужно, конечно, нужно Ведь ты герой...

Задетая иронией мужа, она вздрагивает и неожиданно выпаливает:

— Что с тобой, Ляонас? Ты болен или у тебя, может, какие-нибудь неприятности? Чего изгаляешься, ведь я не слепая, я вижу, что ты в последние дни ходишь как в воду опущенный. Чего доброго, в один прекрасный день услышу: твой благоверный завел себе кралю.

— Оставь меня в покое, чушь порешь,— раздраженно отмахивается Ляонас и выходит из избы.

Во дворе веет ранней утренней прохладой. По полям разносится гул и грохот тракторов, такое ощущение, будто никто ночью не спал, однако для стряпни и других домашних дел еще не время, хотя о них то и дело напоминают своим кукареканьем неугомонные петухи. Иногда доносится мычание скотины, лай собаки. Не пройдет и часа, как в симфонию утра вплетутся шаги бабенок на молокоприемном пункте, бойкое позвякивание бидонов, шум, толчея.

Ляонас Бутгинас бесцельно слоняется по усадьбе, то что-то поднимет, то что-то отшвырнет. Работать нет ни малейшего желания. Скользким болотным камнем давит грудь сшибка со Стропусом, случившаяся на днях, когда тот, сам того не понимая, так нагадил Ляонасу в душу, что и деваться-то некуда. Всемогущий господь, осыпавший милостями семью Бутгинасов! Один благодаря ему — председатель сельсовета, другая — Герой Социалистиче-

ского Труда. Хоть отведи его, Стропуса, в сторонку и съезди по роже.

Однако в тот раз Ляонас Бутгинас усмирил свою ярость и, не оборачиваясь, вышел, хотя всю дорогу его так и распирало от обиды и злости. Попадись ему тогда под руку Рута, он бы ей выложил все, что накипело. Но когда она вернулась с фермы, злость улеглась.

— Не горячись! Главное — хладнокровие. И терпение! Побольше терпения!

Будучи одним из тех, кто многое, кроме лжи, прощает, Ляонас Бутгинас не мог понять, как же так случилось, что обманул его самый близкий человек, женщина, которой он открыл свою доверчивую душу: хозяйничай, нет в ней никаких замков, все твое.

О, если бы он больше верил слухам и сплетням! В тот год, когда Рута стала Героем Труда, кто возмущался, кто пытался оправдать поступок Стропуса, кто шушукался, шептался, порочил доярку: мол, Стропус неспроста благоволит к ней, неспроста...

Ляонас Бутгинас бледнел, когда слышал такие наветы, потому что был неравнодушен к Руте Гиркальните и все чаще подумывал о женитьбе. Но не осмеливался открыто спросить девушку, есть ли хоть крупица правды в этой злой болтовне; наконец, не счел нужным, потому что держалась Рута с таким достоинством, так знала себе цену, что все оговоры гроша ломаного не стоили. Этого не хватало, злился Ляонас, чтобы Стропус, потонувший по горло в работе, женатый человек, связался с какой-то девчонкой с фермы! Что правда, то правда, несколько коров он ей заменил, но в этом повинны сами доярки, потому что надаивают от них меньше, чем можно, и теперь ей, Руте Гиркальните, придется хорошенько попотеть, прежде чем она увеличит надои. Ох, уж эти люди, чего только не наплетут!

Мало ли что говорят, на чужой роток не накинешь платок, подумал Ляонас Бутгинас и больше никогда не задавал себе таких вопросов.

И вот по прошествии стольких лет, когда, казалось, все давным-давно забыто, Андрюс Стропус вдруг заявляет: твоя будущая жена была без пяти минут Героем Труда, я взял да и добавил, подарил их ей и вознес на вершину славы!

Да, добавил, а она, забыв о гордости, послушно приняла его унизительный подарок, а потом кичилась своей золотой звездочкой, словно сама, без посторонней помощи взобралась на стеклянную гору. Почетные президиумы, трибуны,

снимки в газетах... Чуть ли не деятельница государственного масштаба. Даже перед ним, Ляонасом, стала нос задирать. А оказывается... Разве теперь, по прошествии десяти лет, он может ей, утаившей от него правду, верить? Кто докажет, что Стропус старался помочь ей как председатель, а не как мужчина, коим двигали далеко не бескорыстные чувства?

Ляонас Бутгинас страдал от своих догадок, но как он ни пытался обуздать свое воображение, ничего у него из этого не вышло. Конечно, лучше всего было бы рассказать все Руте и во всем без всяких обиняков разобраться. Такое разбирательство вызвало бы целую бурю, потому что в семье Бутгинасов не муж, а жена задает вопросы. Рута смертельно обиделась бы, чего доброго, предложила бы развестись (как не раз предлагала в первые послесвадебные годы, пока он не подписал акт о безоговорочной капитуляции), и все кончилось бы тем, что виноватым оказался бы он. Ну, да это еще полбеды — можно сто раз взять вину на себя, только бы она, Рута, осталась невиновной. Но ведь у других доярок и вправду забрали лучших коров! Не тех, которых надо было раздаивать, как она тогда, выкручиваясь, объясняла, а лучших! Неужто, если припереть ее к стенке, она станет отнекиваться? Ясное дело, не станет. А если между нею и Стропусом было что-то большее, чем деловые отношения, то и это всплывет. Из мести к председателю, выхвалявшемуся тем, что облагодетельствовал ее, она раскроет все карты, невзирая ни на какие последствия. А тогда... Как же тогда жить? Нет, уж во сто крат лучше дремучее неведение, чем такое знание. Пусть будет так, как есть, так, как она когда-то объяснила: нераздоенные коровы и честная, политая кровавым потом дорога к лаврам. Стропус выхвалялся, желая насолить ему. А если в его словах и есть крупица правды, то разве плохо, если лучшей доярке колхоза были созданы условия для того, чтобы ее труд был оценен по заслугам? Стало быть, аминь, нечего морочить себе голову из-за того, что когда-то было или не было...

Несколько дней такое решение вроде бы удовлетворяло Ляонаса Бутгинаса. Однако, умом понимая его мудрость, сердцем он никак не мог с ним согласиться. Неумолчный внутренний голос беспрестанно терзал Ляонаса, настойчиво убеждая его: должно же было что-то случиться, если Рута, в ту пору уже его невеста, не была с ним откровенной до конца. Ляонас Бутгинас был не в состоянии заглушить этот голос (у него просто-напросто не было достаточных

доказательств ни «за», ни «против») и с гордостью оскорбленного мужчины принял уготованное судьбой испытание.

В четверг после завтрака, когда он сидел в своей тесной комнатенке, забежал в сельсовет Еронимас Пирсдягис. Ляонас Бутгинас стоял у письменного стола и, прищурившись, смотрел на гостя, прыгавшего перед ним, как турецкий петушок перед индюком.

«Вот этот горлопан знает все, ибо тогда работал на ферме»,— подумал Бутгинас, сразу и не сообразив, что Пирсдягису понадобилось.

— Цево мне нузно? Правды нузно, товарисц председатель сельсовета. Зелаю полуцить то, цто мне принадлежит! — запальчиво выкрикнул старик, брызгая слюной.— Мне пенсия полозена! Вот так! — добавил он по-русски.

— Что? — удивился Бутгинас.— Разве вы ее не получаете?

— Полуцаю, да не совсем такую. Я персональный, товарисц председатель сельсовета, неузто ты, представитель власти, об этом не знаесь?

— Ей-богу, не знал, дядя Пирс... Пирштдягис, объясните, пожалуйста,— попросил Бутгинас и приготовился терпеливо выслушать его жалобу.

— Не знаесь? Весь район знает, а ты, дягимайский человек, и не знаесь! — возмутился Пирсдягис.— Так какого дьявола мы тебя в депутаты выбирали, если ты от народных масс оторвался? Ты, видать, и о насем герое Згутасе-Зентулисе не слыхал? А мы вместе с ним кровь проливали. Народные засцитники, против кулаков боролись за равенство-правду. Згутас-Зентулис с цестью погиб, а я остался зить, бороться мирным трудом за советскую власть. Вот так!

Ляонас Бутгинас снисходительно улыбнулся. О ком, о ком, а о Жгутасе-Жентулисе он слышал. Родители детям об этом смельчаке сказки сказывают. Не боялся с целой сворой лесных братьев тягаться. Однажды в пуще нечаянно наткнулся на вражескую землянку и хитростью всех до единого в плен взял. Смекалистый, отчаянный был мужик.

— Решено ему памятник поставить,— промолвил Бутгинас.— А что до ваших заслуг, дядя, то их надо документами подкрепить. Многие были народными защитниками, но не все одинаково родину защищали.

— Как не одинаково, товарисц председатель сельсовета? — подскочил Пирсдягис.— Ведь я в одном отряде с ге-

роем... Думаесь, он воевал, а я, натянув на голову одеяло, сладко посапывал?

— Да уж не посапывали, товарищ Пирштдягис, не посапывали. Но у вас никакого удостоверения, так сказать, за душой. Не хватает доказательств, дядя. И вообще...

— Каких доказательств? — взвыл Пирсдягис.— Орденов, медалей? А знаесь, как тогда порой говаривали: Ване за атаку — по колпаку,— перешел он на русский,— Марусе за езду — красную звезду... Вот так!

— Похабничаете, дядя,— рассердился Бутгинас.—Может, кто и получал по колпаку, как вы тут изволили выразиться, но бывало и иначе. Скажем, один на часах стоит, головой своей рискует, а другой в это же время окорок с чужого чердака тащит, людей обижает.

— Окорок? Так ты так, Бутгинас, обо мне?

— Что же, если попал в точку, примите и на свой счет.

— О такой цепухе вспомнил, а сколько мы этой контры улозили, тебе наплевать,— понизил голос Пирсдягис.

— Немногое сохранилось в памяти от тех времен — я тогда совсем маленьким был,— но люди помнят, не забывают. Кое-кто и сейчас еще о народном защитнике Пирштдягисе поговаривает, и не с самой лучшей стороны.

— И о Згутасе-Зентулисе поговаривают. Тозе не святой был. Но кто поговаривает? Кулаки, царство им небесное. Или их дети. Вот так. А если медалей и орденов не имею, то не подделывать зе мне их? Не оценили, стало быть. Справедливость мимо меня просла, как молоцная корова мимо окон, за хвост не поймаесь.

— Не поймаешь, дядя Пирштдягис. Это так. И пытаться нечего.

— Ага. Стало быть, надо слозить голову, как Згутас-Зентулис, тогда тебя вознесут,— скукожился Пирсдягис.— А я-то думал — ты целовек, товарисц председатель сельсовета...

— Есть установленный порядок,— твердо ответил Ляонас Бутгинас, властно усаживаясь за письменный стол, чистый, как надраенный перед праздником двор, ибо все бумаги председатель держал в ящиках, куда, отправляясь домой, прятал даже чернильницу с ручками.

Пирсдягис вздохнул, ругнул людей, которые, по его выражению, если б могли, без соли сожрали бы друг друга, хотел было откланяться, но передумал и брякнулся на стул напротив председательского места. Может быть, он и не брякнулся, если бы Ляонас Бутгинас не подал знака —

погоди. Ляонас уже сам, видно, пожалел об этом, сидел растерянный, гладя своей медвежьей лапой стол, а перед глазами мелькали лица Руты и Стропуса.

— Такие-то дела, дядя Пирштдягис,— наконец промолвил Ляонас, чувствуя, как багровеют уши.

— Такие-то такие, товарисц председатель сельсовета. Мог бы и помоць хоросему целовеку,— ответил Пирсдягис, и в его взгляде вспыхнула надежда.

Бутгинас нетерпеливо махнул рукой.

— Да я не о том... Просто хотелось поговорить. Может, у вас есть какие-нибудь замечания по поводу работы сельсовета.

— Какие там замецания? Уз слиском принципиальными заделались. За своими бумагами целовека не видите. Вот так.

— Разве при прежнем председателе было лучше? — продолжал хитрить Бутгинас, ругая себя, но желание узнать хоть крупицу правды было сильнее его.— Если бы сельсовет сбился с правильного курса, Стропус ударил бы во все колокола. Ведь с того дня, как возглавил колхоз, он стеной стоит за закон и порядок.

— Стропус? — Пирсдягис сплюнул сквозь зубы на пол.— Знаю я его закон. Я тогда молоко с фермы возил. Обозвал вором из-за нескольких литров и высвырнул из колхоза, как таракана из миски. Хоть бери и помирай от стыда. Вот так.

— Кого вышвырнул, а кого на вершины вознес...

— И такое было, товарисц председатель сельсовета, было, кто об этом не знает...

— Значит, и здесь несправедливость?

— Разве я сказал — несправедливость?

— Но болтали всякое...— глухо произнес Бутгинас, до шепота понизив голос.

— Не понимаю, о цем это вы, товарисц председатель,— Пирсдягис ощетинился, как еж, которого огрели палкой.— Болтают всегда и везде. Зенсцины такие твари, сто зить не могут, если языком не цесут. Есть такой анекдот...

— Ты свой анекдот попридержи для других. Лучше ступай домой, дядя. Ловчить я и сам умею.

Пирсдягис, еще раз оплакав уплывшую персональную пенсию, отправился домой, а Ляонас Бутгинас заперся изнутри, чтобы посторонние не мешали, и принялся приводить в порядок дела. Однако работа продвигалась медленно. В голову то и дело лезли неприятные мысли, потому что после разговора с Пирсдягисом подозрения Ляонаса еще

больше усилились. Правда, старик ничего такого не сказал, но порой многозначительное молчание красноречивее слов.

IX

На повестке дня правления два вопроса: итоги весеннего сева и ход подготовки к сенокосу, а также строительство свиноводческого комплекса.

По первому вопросу выступил главный агроном колхоза Тадас Григас. Полевые работы идут по намеченному графику. Никаких организационных неполадок и осложнений нет. Если погода не подведет, скоро отпразднуем завершение сева.

Руководители подотделов пропускают мимо ушей критику — они к ней привыкли.

Председатель колхоза доволен — глаза выдают, — на лице выражение напряженного раздумья. Так уж он устроен, Андрюс Стропус: если когда-нибудь и прыгает от радости, так только наедине с собой, за закрытыми дверями.

Второй вопрос взбаламутил все правление. Навострили уши даже те, кто сидел и зевал.

Тадас Григас. Мое мнение: прежде всего надо закончить комплекс для крупного рогатого скота, а только потом браться за свиноводческий.

Бутгинас. Так, так. Но мы уже почти полмиллиона всадили.

Стропус. Оправдают себя эти полмиллиона, не бойся. С каждым годом в колхозе все меньше людей. Надо переходить на полную механизацию. Давайте научимся смотреть вперед, товарищи.

Гоштаутас. Строители обещают сдать комплекс для крупного рогатого скота будущей осенью. Министерство уверяет, что строить два крупных объекта в одном колхозе удобнее.

Стропус. Как видите, и наш партсекретарь за свиноводческий комплекс.

Бутгинас. Смотри, Фортунатас, как бы не получилось так: выйдешь за дверь и запоешь по-другому.

Юодвалькис. Это дело серьезное. Уж если принять решение, то твердое. Ведь мы, согласитесь, не нужник строим. Я поддерживаю Григаса. Закончим комплекс для крупного рогатого, посмотрим, каков он, и тогда возьмемся за свиноводческий. Речь же идет не о копейках, а о миллионах.

Рута. И я, пожалуй, того же мнения. Не закончив одно строительство, взяться за другое — значит провалить оба. Тогда оба комплекса будут построены в лучшем случае в конце следующей пятилетки.

Дрема. Так оно и будет. На обещания они скоры, эти товарищи из министерства, а когда надо за дело взяться — они в кусты.

Гоштаутас. Не все и от них зависит. Стройматериалы, нехватка рабочей силы... Неразрешимые проблемы. Легко обвинять... Надо вникнуть...

Бутгинас. Вот мы и пытаемся вникнуть в суть, Фортунатас. Свиноводческий комплекс обойдется в миллион двести тысяч. Всего нам придется заморозить два миллиона шестьсот тысяч рублей.

Стропус. Почему заморозить? Это капитал, вложенный в строительство.

Бутгинас. Вложенный, но пока что себя не оправдавший. Два миллиона шестьсот тысяч — это, товарищи, не шуточки. А если к этому еще добавить строительство Дома культуры...

Стропус. Сегодня мы говорим не о Доме культуры, а о свиноводческом комплексе.

Чей-то голос. Обсвинячим, братцы, Литву!

Гоштаутас. Посерьезней, товарищи!

Стропус. В самом деле, Бутгинас, дернула же тебя тогда нелегкая уцепиться за строительство нового Дома культуры. Нас прежде всего должны заботить не развлечения, а производство. Не странно ли: приходит человек на заседание правления на правах гостя — мы ведь тебя, Ляонас, приглашаем как представителя местной власти — и начинает диктовать свою волю другим. Больше уважения к колхозной демократии, товарищ председатель сельсовета!

Бутгинас. Я высказываю свое мнение. Так или иначе, товарищ Стропус, не сельсовет принадлежит колхозу, а наоборот...

Стропус. Так чего же ты морочишь голову с этим Домом культуры? Если, по-твоему, это самый необходимый объект в сельсовете, бери и строй, чего руку в колхозную кассу суешь?

Гоштаутас. Товарищи, вернемся к делу...

Рута. Строительство Дома культуры — тоже дело.

Бутгинас. Не виляй хвостом, Фортунатас. Насколько мне помнится, ты ведь «за» строительство Дома культуры.

Гоштаутас. Но сегодня мы обсуждаем не этот вопрос.

Стропус. Да, товарищ Бутгинас, давайте говорить о том, что на повестке дня.

Бутгинас. А почему бы не расширить ее? Ведь эти две стройки, Дома культуры и свиноводческого комплекса, тесно между собой связаны.

Стропус. Ну знаешь, Ляонас...

Бутгинас. По-моему, разумно строительство свиноводческого комплекса на какое-то время отложить и часть средств выделить для Дома культуры. Тем более что строить его рекомендует райком.

Гоштаутас. Рекомендации еще ни к чему не обязывают.

Стропус. Да, товарищ Бутгинас, строит не тот, кто советует, а тот, у кого деньги. И вообще, товарищи, надо бы сегодня внести в этот вопрос полную ясность. Нет, я не открещиваюсь от строительства Дома культуры. Проект мудреный, но шут с ним, если сам товарищ Гиринис... Отгрохаем его! И точка. Но всему свое время. Нечего масло сбивать, пока хлеб не выпечен. Все-таки главное для нашей страны — производство, ибо от него зависит жизненный уровень. Когда человек ходит по миру с торбой, ему, как говорится, культура до лампочки.

Тадас Григас. Ну и ляпнул же ты, председатель. Откуда в нашем колхозе эти торбы?

Стропус. Да я это для сравнения. А то, что у нас есть куда деньги вкладывать, вы и сами видите. Модернизация хозяйства — не моя выдумка. Это диктуется серьезными экономическими соображениями в масштабе всей страны. Если мы отложим строительство свиноводческого комплекса до тех пор, пока не будет завершен комплекс для крупного рогатого, мы потеряем два, а то и три года. В наш век безумной динамики, когда за час иногда делается больше, чем когда-то за месяц, мы не имеем права так транжирить время. Это во-первых. А во-вторых: если мы не будем учитывать требования жизни, мы собьемся с ритма и...

Юодвалькис. Нельзя ли попроще, председатель.

Стропус. Сегодня ты получаешь за рабочий день девять рублей. А если будешь цепляться за старые методы хозяйствования, то докатишься до того, что и пяти не заработаешь. Да что я вам тут втолковываю, ведь это и коню ясно.

Дрема. Конечно, ясно.

Юодвалькис. Что тебе ясно? Миллион двести тысяч...

Стропус. Вы только и видите то, что из кармана плывет. Но знайте, если теперь за свиньями присматривает двадцать человек, то после сдачи комплекса с той же работой справятся шесть, от силы семь.

Дрема. Сиди себе на стульчике у дверей комплекса и нажимай на кнопки... Так, что ли?

Тадас Григас. Ну, может, не совсем так, но автоматика — первый помощник человека.

Стропус. И не забывайте, что под боком строится фабрика, она многих выманит из колхоза. Проблема рабочей силы еще больше обострится. А решить ее можно только при помощи полной механизации хозяйства.

Гоштаутас. Ну, видите. А мы артачимся, как козлы.

Рута. Чего тут артачиться? Вы только поскорее сдайте нам, дояркам, этот комплекс для крупного рогатого...

Стропус. Сдадим, Бутгинене, не волнуйся, строители постараются в срок, как и обещали. Так как, товарищи, какое примем решение? Облегчим жизнь свинаркам или...

Юодвалькис. Ну, ежели так, то, может, твой комплекс и вправду стоящая штука...

Дрема. Конечно, стоящая! Людей-то с каждым годом меньше, а тут автоматика...

Гоштаутас. М-да-а...

Бутгинас. А я бы посоветовал...

Стропус. Слышали мы твои советы, Ляонас. Будем иметь их в виду, но сделаем так, как того требуют интересы колхоза. Верно, товарищи? Ведь за результаты ответ держать нам, а не председателю сельсовета.

Юодвалькис. Какой уж там ответ... В тюрьму небось не посадят? Смешно...

Стропус. А ты не смейся. Моральная ответственность страшнее любой тюрьмы.

Бутгинас. Ты в этом уверен?

Стропус. Не язви.

Рута. Знай свое место, Ляонас.

Бутгинас. Моральная ответственность, тюрьма... И нисколько не сомневаюсь, Стропус, что, если бы тебе позволили выбрать одно из двух, ты бы схватился за первое, а потом спокойно спал в обнимку со своей совестью.

Рута. Ляонас!

Бутгинас. И ты тоже, Рута. Оба храпели бы, аж окна дрожали бы.

Р у т а. Да помолчи ты, мудрец! А то не посмотрю, что здесь заседание, и как смажу...

Д р е м а. Вот это баба!

Р у т а. Ну чего ты фордыбачишь, чего? Председатель сельсовета, видишь ли! Кому председатель, а мне — муж, так что большего начальника, чем я...

Б у т г и н а с. Рута!

Р у т а. Что Рута?! Еще такого не было, чтобы меня уму-разуму учили...

С т р о п у с. Попрошу, товарищи, без семейных сцен!

Г о ш т а у т а с. Да, вернемся к делу.

Р у т а. Я поддерживаю мнение товарища Стропуса насчет свиноводческого комплекса. Дом культуры не к спеху, товарищ Бутгинас. Пусть автоматика помогает свинаркам так же, как и нам, дояркам.

С т р о п у с. Трогательная солидарность, товарищ Бутгинене. Благодарю. Кто еще за прогрессивное хозяйствование?

Г о ш т а у т а с. Я присоединяюсь к большинству.

С т р о п у с. Что же, я поддерживаю такую позицию. Партсекретарь должен идти в ногу с массами. Итак, ставлю, товарищи, на голосование. Кто за незамедлительное строительство свиноводческого комплекса? Григас, Юодвалькис, что-то я ваших рук вроде бы и не вижу — выше, товарищи, поднимайте, выше. Вот, теперь ясно. Все за модернизацию, за прогресс, за благосостояние трудящихся. Спасибо, друзья. Как ни крути, а единство — великое дело

Б у т г и н а с. Ура!

Заседание кончено. Рута первая выскальзывает за дверь. Гоштаутас кричит, чтобы осталась,— у него, мол, для нее важное общественное поручение,— но она даже не оборачивается.

Ляонас Бутгинас идет за ней следом. Господи, какой конфуз: сцепились в присутствии чужих людей, можно подумать, что и дома только и делают, что дерутся. Сам виноват — нечего было ее задевать. Не накричала бы на него, как на мальчишку, он бы так не взбеленился!

— Погоди! — вполголоса просит Бутгинас жену, но та чешет через двор колхозного правления.— Вместе пойдем К чему людей смешить?

Рута строптиво машет руками, выпячивая высокую грудь, молчит.

— Рута! — повышает голос Бутгинас, сворачивая за ней на асфальт.— Зачем этот цирк? Ну, право же! Вся контора на нас глаза пялит.

Но Рута только вскидывает голову, чаще перебирает ногами.

«Барыня нашлась,— снова кипятится Бутгинас.—Привыкла, чтобы за ней бегали, хвостом, как собачки, виляли... Ладно — беги, беги. Дуйся сколько душе угодно, а я полегоньку-потихоньку сам дотопаю... Дотопаю, соберу детей, и грянем! На скрипках и аккордеоне в сопровождении барабана, и начхать мне на твой контрабас! Да, да, госпожа надувака, обойдемся и без тебя».

Но странное дело: как только Ляонас Бутгинас, мурлыкавший для успокоения нервов популярную песенку из репертуара своего квинтета, стал отставать, шаги Руты тоже сделались короче, она то и дело оглядывалась назад. А когда дошла до мостка, остановилась, схватилась одной рукой за поручень, а другой принялась что-то из туфельки вытряхивать.

— Что случилось? — спросил Бутгинас.

— Ногу сломала. Подойди поближе.

— Ногу? Что ты тут выдумываешь?

— Выдумываю, видите ли? Другой мужчина бросился бы на помощь, а он — выдумываешь! Еще ближе!

— Да я же рядом. Где она, эта твоя нога?

Бутгинас нагибается, может, в самом деле беда? Рута неожиданно выпрямляется, словно пружина, и отвешивает своему спутнику жизни две затрещины — одну по левому уху, другую по правому. Да так звонко, что у него аж в глазах зарябило.

— Вот тебе! В другой раз умнее будешь.

Ляонас Бутгинас озирается, закрывая ладонями багровые уши. Слава богу, кажется, никто не видел...

— За что? Вот я тебя сейчас как схвачу, как швырну в речкуя.

— Ты?! Меня?! — Рута ошарашена: чтобы он так взъярился! — Что с тобой? Скажи. Четвертый день подряд как очумелый ходишь?

Ляонас Бутгинас то бледнеет, то краснеет от волнения: сейчас самое время все выложить ей, сказать, какая она лицемерка, его любезная женушка. Но в глазах Руты такая простоть, что у него язык не поворачивается. «Да, тогда она не была откровенной со мной... Может, и сейчас обманывает, но виноватым все равно буду я...»

— Уж слишком ты после своего геройства задаваться стала,— говорит он, отгоняя от себя более опасные мысли.

— А ты на мне пахать и боронить хотел,— не остается в долгу Рута.— Нет, эти времена давно прошли. Теперь у нас, у женщин, есть Восьмое марта.

— Ну и пусть оно у вас будет на здоровье. Но почему ты сегодня на заседании предала меня? В одну дудку со Стропусом дудишь! Дома же ты говорила, что ты за строительство Дома культуры? Лицемерка!

— Я была «за», пока ты мне на правлении свинью не подложил.

— Вот это женщина! Никаких принципов... В конце концов, кто он тебе, этот Стропус, что ты вместе с его подпевалами бросилась строить свиноводческий комплекс?

Лицо Руты светлеет, глаза лукаво улыбаются.

— Кто мне Стропус? — спрашивает она, кокетливо прищуриваясь.— Мужчина! Красивый, симпатичный, привлекательный. Будь он холост, а я не замужем, взяла бы и вскружила ему голову.

Ляонас Бутгинас долго и пристально смотрит на жену.

— Вполне возможно. Я видел, как ты на правлении кривлялась перед ним,— говорит он и вдруг отворачивается.— Нашла красавца. Ну и пустышки же эти женщины! Если мужчина хоть немножечко на мужчину похож, они сразу же и тают. Ладно, и я отращу себе под носом зубную щетку, повяжу галстук... Может, еще и волосы завью, брови подведу — ведь это стиль нынешних франтов...

И Бутгинас, ворча, уходит. Он шагает по дороге, высокий, сутулый, с трудом волоча длинные ноги.

А Рута с хитроватой озорной улыбкой плетется сзади.

— Ляонас, Ляонас! — кричит она, давясь от смеха.— Погоди! К чему людей смешить?

Часть четвертая
ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ

I

В купе кроме него еще трое: какой-то бородач, собирающийся, видно, совершить далекое путешествие, похрапывающий на верхней полке, и влюбленная парочка молодоженов, чувствующая себя куда вольней в коридоре или в тамбуре.

Так что Даниелюс Гиринис почти один. Он вытаскивает из кармана записную книжку. Глядя в окно вагона, он начинает бормотать, но когда пытается записать сложившийся стишок, от хаоса нахлынувших мыслей и чувств остаются всего две-три неудачных строки:

Высоковольтных линий вереница
железобетоном средь родных полей...

Почему «линии» и почему «железобетон», если перед его глазами мелькает смуглое лицо Юргиты и летящие мимо поселки; смотришь на них, и так и подмывает спросить, много ли счастья за большими светлыми окнами в этих новых домах. Счастья, а не денег или белого хлеба... И вправду странно: то, что важнее всего, мы высказываем не сразу; видать, самые ценные мысли, как золото, оседают на дне и надо тонны породы перелопатить, пока до них докопаешься.

Даниелюс сидит сгорбившись у окна, прислушиваясь к мерному перестуку колес. Еще несколько полустанков, и кончатся широкие равнины, поезд помчится по холмистым, лесистым местам. За пять часов он пересечет всю Литву с севера на юг. Да, когда едешь в поезде, совсем другая картина, чем из окна автомобиля. В машине ты лежат, как в коробке, и глядишь, как из-под стрехи. А в вагоне свободно, просторно, никакой нервотрепки. Отдых! Найдутся, конечно, охотники посмеяться над ним: ну и чудак же этот Гиринис — вместо того чтобы выбрать более удобное средство сообщения, влез в поезд. Он и в Вильнюсе,

устраивая дела, будет конечно же толкаться в троллейбусах. Ну и пусть смеются! Теперь не каждого убедишь в том, что не все то, что удобно телу, любезно душе.

Равнины, сплошные равнины... С голубеющими на горизонте лесочками, с линиями высоковольтных передач, тянущимися через густо разбросанные поселки. Пейзаж страны, подвергающийся неукротимому напору индустриализации. Тут мелькнет холм, держащий на своем заснеженном горбу скученные новые каменные дома, там, как жирафы, тянут в небо свои стальные шеи краны, движутся вереницы самосвалов, громоздятся горы строительных материалов. А вон там, за только что пролетевшим мимо мостом, какие-то огромные сооружения, выросшие прошлым летом. Должно быть, завод строят. Поедешь через год, и тебя наверняка встретят гигантские трубы, подпирающие высокое небо Средней Литвы.

Поезд летит и летит, изредка ныряя в призрачную рощицу, и стена заиндевелых деревьев на миг заслоняет открывшуюся даль. В грустном раздумье смотришь ты на летящую мимо пеструю ленту и ловишь себя на мысли, что когда-то эта рощица была совсем иной, и под наплывом волнующих воспоминаний чуть ли не начинаешь жалеть о том, что сел в поезд, чтобы встретиться со своей юностью. Прошлое всегда настраивает на невеселый лад. Уж только потому, что его не воротишь. Глядишь в окно погромыхивающего на стыках вагона, как тридцать лет тому назад, и взбудораженное воображение рисует тебе утопающие в зелени деревни и хутора, рассеянные среди неохватных полей пшеницы, густо политых потом пахаря и его скотины. Чаще всего видятся крыши, крытые соломой и дранкой, стены из бревен или беленого камня с небольшими оконцами, со ставнями, плотно закрываемыми на ночь и украшенными искусной резьбой, как и кровли и деревянные крылечки... А земля... Поля кишат раздетыми по пояс пахарями, идущими за плугом. Не могучий грохот тракторов, а ржание умаявшихся за ночь лошадей и песня селянина, жалующегося на свою горькую долю, переплетаются с весенним щебетом птиц.

Как бьется сердце, прошлое припомнив!
Как труден путь, который мы прошли!
Как странно, что из горя и напастей
такое чудо время создало!

Даниелюс с каким-то трепетом записывает эти строки, но тут же зачеркивает их: до чего же деревянные, ни настроения, ни намека на оригинальную мысль...

— Разве это зима? — врывается в открытую дверь купе мужской голос.— В прошлом году уже казалось, климат пойдет на поправку — была и стужа, и снег,— а нынче снова: ни в санях, ни на телеге. Глянь, мил человек, в лесу и то траву снегом не замело. А поля, что твоя пеструха, все в черных лоскутах...

— Вы из деревни? — ласково спрашивает женщина.

— Оттуда. Бригадир. Весной, как ударят морозы, снова озимым каюк.

— Всякое может случиться, еще только февраль...

— Извините,— доносится голос другой женщины. Хотела, видно, пройти мимо, но от скуки решила поддержать разговор.

Фима! Даниелюс сразу узнает ее крикливый голос, и тело захлестывает жаркая волна. Он знал, что Фима работает на строительстве фабрики в Гедвайняй, но встретиться до сих пор не довелось. Правда, нынешним летом, приехав с Юргитой к отцу, он чуть не столкнулся с Фимой. Если бы еще задержался минут на пять... Но они с Юргитой очень спешили, потому что от домочадцев узнали о внезапной болезни дяди Теофилюса и не были уверены, застанут ли его в живых.

Когда, оставив автомобиль у ворот, они вошли в избу, их встретили опечаленные родичи. Старый пчеловод лежал в постели серый, тронутый тленом, как заготовленный загодя дымарь.

Даниелюс нагнулся над ним, хотел было сказать что-то доброе, но горло сжала печаль, глаза налились слезами.

— Отец, отец...— прошептала дочь, гладя высунувшееся из-под одеяла высохшее плечо.— Даниелюс приехал... секретарь...

Пожелтевшие веки дрогнули и снова застыли. С минуту он лежал неподвижно. Потом лицо его ожило, потеплело от вспыхнувшей мысли.

— Да... да... ниелюс? — наконец прошелестел он обметанными бурой пленкой губами.

— Да, да, дядя Теофилюс, это я,— прошептал Даниелюс, еще ниже наклоняясь к постели.

Старик вздрогнул, задрожал всем телом и открыл глаза. Взгляд его был тусклый, но и сквозь густой туман пробился луч закатного солнца.

Даниелюс хотел спросить, что у дяди Теофилюса болит, ободрить, что скоро поправится, мол, болезнь эта — сущий пустяк, но тотчас почувствовал: нет, не осмелится соврать ему. Неужто человеку, от которого он когда-то позорно

отрекся и которого, наверное, видит в последний раз, он может сказать только это?

— Мы очень редко встречались, дядя Теофилюс,— произнес Даниелюс, почувствовав, как кровь ударила в голову.— У каждого свои дела. И вообще... Но в детстве я вас очень любил. Да не только в детстве. Вы все время были для меня тем, кто светит и согревает сердце.

По смягчившемуся лицу старика вроде бы скользнула улыбка.

— Садись,— прошептал Теофилюс, показывая слабеющей рукой на табурет, черневший у кровати.

Даниелюс послушно сел.

— Наверное, дядя, вы все знаете — такое нельзя утаить, однако мой долг еще раз об этом напомнить,— снова заговорил Даниелюс, не видя вокруг ничего, кроме ожившего лица больного, на котором отразилось нетерпеливое ожидание скорого освобождения и равнодушие к тем, кто остается.— Я виноват перед вами... Очень виноват. В самом деле странно: любишь и уважаешь человека, а потом, когда ему тяжко в жизни, отворачиваешься от него. Теперь у меня в голове не укладывается, как же так могло случиться. Нет, никогда я себе не прощу. А вы, дядя, можете ли вы меня понять и простить? Не оправдать, а только понять и простить? — Даниелюс горячими, подрагивавшими от волнения пальцами прикоснулся к руке Теофилюса Гирипса.— Я должен был попросить у вас прощения раньше. И хотел попросить. Но не отваживался. Стыдно было... Каждый человек стыдится своей минутной слабости.

— Но не у каждого хватает смелости ее признать,— тихо и четко произнес старик, слегка отдернув свою влажную, холодную руку.

— Вы всегда были добры ко мне,— прошептал Даниелюс, наклоняясь к больному.— Если бы я и не попросил у вас прощения, вы бы все равно меня простили, хотя и осудили бы, вспомнив обиду. Но я хочу, чтобы вы меня поняли.

Снисходительная улыбка улетучилась с лица старика. Зрачки были расширены, взгляд трезвый, сосредоточенный. Слабым, но внятным голосом, изредка переводя дух, он молвил:

— Святой Петр тоже отрекся от Христа, и все-таки тот не отказался от своих слов, которые сказал раньше: Петр, ты как утес, и на этом утесе я воздвигну храм.

— Ты понял, дядя Теофилюс, почему я тогда так поступил? — спросил Даниелюс, нагнувшись к больному так

близко, что почувствовал на своем лице прохладное дыхание умирающего.

— Без понимания нет прощения...— просипел старик, бессильно сжав пальцы Даниелюса.

«Есть,— подумал Даниелюс.— Кое-кому нравится прощать. Прощая, такие люди как бы приносят жертву. Но вы же не такой, дядя, не такой?..»

На прощание он поцеловал дядю Теофилюса в остывающий лоб. Хотелось поцеловать и руку, но он устыдился присутствующих. Словно этот поцелуй мог бы унизить его больше, чем только что прозвучавшее извинение. (Позже он не раз будет возвращаться к этой сцене и терзать себя за то, что поступил лицемерно, не послушался внутреннего голоса.)

Вернувшись с Юргитой в Дягимай, он узнал, что заходила Фима. Вроде бы просто так, мимоездом, посмотреть на житье-бытье бывшей родни. Однако никто не сомневался, что у нее была одна забота — увидеть Даниелюса и его «новую», а может быть, выкинуть какое-нибудь коленце.

И вот Фима в вагоне... «А может, это не она, может, только голос похож?» Даниелюс подскакивает, задвигает дверь купе. Снова летят мимо закутанные в облезлый снежный кожушок поля, и душу захлестывает какая-то смутная печаль, и даже мысли о Юргите не в состоянии ее осилить. Она сейчас сидит в редакции... Нет, наверное, уехала вместе с делегацией из Дягимай в Лаукуву, где состоится торжественное подписание договора о соцсоревновании между двумя колхозами. Районная газета отвела этому событию целую полосу. Юргита не любит писать на такие темы — ей больше по душе вопросы культуры,— но раз отвели полосу, она ее подготовит добросовестно.

Стучит открываемая дверь купе. Снова закрывается. Шелест одежды, шмыганье носом.

— Привет, Даниил Йонович! — раздается пронзительное сопрано.

— Привет, Ефимья Никитична,— отвечает Даниелюс, не поворачивая головы.

— Едете, Даниил Йонович?

— Еду.

— И я еду.

— Вот и хорошо, поезжайте, Ефимья Никитична.

— Фу, какой вы невежливый, Даниил Йонович. Хоть бы спросили, куда еду. Неужто совсем не интересно, как бывшая жена живет?

— Совсем, Ефимья Никитична.

— Так, может быть, детишками поинтересуетесь. Когда-то, насколько помнится, вы очень заботились об их будущем.

— Я и сейчас неравнодушен к ним, как вам известно. Навещаю, помогаю чем могу.

— Навещаете? Ха, ха, ха! Раз в году, если не реже. Отец! Если и подбрасываешь грош-другой, думаешь, этого хватает?

— Я посылаю столько, сколько положено,— отрубает Даниелюс, понизив голос.— Нельзя ли чуть потише: на верхней полке человек спит, еще разбудим.

— Пусть себе спит, кто спит.— Фима прыскает, садится напротив Даниелюса.— Ты что, боишься, чтобы другие не узнали, чем ты хочешь ублажить свою совесть? Алиментами! Погубил лучшие годы моей жизни и оставил одну. Кому я теперь такая нужна? Разве деньгами отплатишь за обиду? И разве эти деньги для меня? Твоих детей одевать и кормить надо. Что и говорить, жестоко ты со мной обошелся, Даниил! Никто, даже преступник, так не поступил бы со своей женщиной.

— Я уже это слышал. И не раз,— говорит Даниелюс, вперив глаза в окно.— Что ж, обидел я тебя, признаюсь. Но не по злой воле, а потому, что жизнь так судила. Нет, Фима, никогда ты не была мне близким человеком, сама знаешь. И я тебе тоже. Наш брак был жуткой ошибкой, и ее рано или поздно надо было исправить.

— Исправить! — Фима принимается кашлять, поперхнувшись его словами. На круглом лице — желчная улыбка, под которой столько ненависти, что невмоготу.— Думаешь, ты бросил бы меня, если бы не эта... стерва? Она тебя чем-то приворожила, эта ведьма, вот ты и пустился вдогонку.

— Не ругайся!

— Ни совести, ни чувства долга. Ой, Даниил, кто бы мог поверить, кто бы мог поверить...

Даниелюс вдруг поворачивает голову и смотрит на Фиму с таким гневом, что та съеживается.

— В это поверить мог каждый, кто любит. Только, конечно, не вы, Ефимья Никитична. Да, только не вы, ибо в своей жизни никого не любили.

— Я никого не любила? — Фима сидит сгорбившись, закрыв ладонями глаза, словно силится что-то вспомнить. Наконец вспомнила: — А ты? Разве я тебя не любила, Даниил?

Даниелюс кривит в горестной улыбке рот.

— Видно, любила, если за пятнадцать лет даже не научилась мое имя выговаривать...

— Стану я из-за вас... таких, язык ломать...

— Мы оба не любили друг друга и не старались полюбить. Сидели на вокзале, каждый ждал своего поезда и гадал: придет не придет, придет не придет... Пришел мой, я сел и уехал. Дождись ты первая своего, ты тоже села бы и уехала.

— Нет! Я порядочная женщина...— выдыхает Фима.— Нечего искать причину там, где ее нет. Ты просто-напросто распутник, вот и все. Да и возраст у тебя такой, недаром говорят: седина в бороду — бес в ребро. Я для тебя, видно, стала слишком стара, не волную тебя, потому и вцепился в юбку тридцатилетней. Но не долго она будет благоухать, увидишь! Знаем мы таких охотниц до чужих мужей... Любовь! Ха, ха, ха! Тоже мне молодец-красавец... Она на твое положение позарилась, дурень! Ну, высосет, как паук муху, и к другой жертве кинется. Неужели ты ее до сих пор не раскусил, Даниил?

Даниелюсу уже невмоготу от этих слов. Он встает и обращается к попутчику, заерзавшему на верхней полке.

— Извините, что разбудили,— говорит он, поворачивается к окну и ждет, пока уйдет Фима.

Но она и не собирается уходить. Между тем попутчик-соня ловко спрыгивает в помятых брюках со своей полки и, накинув пиджак, отправляется в коридор покурить, старательно прикрыв двери купе.

— «Извините»... «разбудили»...— передразнивает Фима Даниелюса.— Чего тут извиняться, тоже мне граф! Можно подумать, что ты безбилетник, что не имеешь права среди бела дня с женщиной поговорить. Каким был размазней, таким и остался. Да, настоящим мужчиной ты никогда и не был. Все только «простите», «извините», «не буду мешать»... С людьми надо по-людски говорить, а не сюсюкать. Ведь мы с тобой не в больничной палате...

Даниелюс молчит, впившись взглядом в окно. Лучше всего выйти в коридор, но Фима не выпустит его, это уж ясно как дважды два: слишком хорошо он ее знает. Поэтому разумнее подождать, пока она выместит на нем всю злость,— ведь это он повинен во всех ее несчастьях.

Но и у Даниелюса терпение не железное.

— Не понимаю, чего вы от меня хотите, Ефимья Никитична? — выпаливает он, чувствуя, что Фима не скоро уймется.— Ведь я для вас теперь совершенно посторонний

человек, как, впрочем, и вы для меня. Так что для взаимных претензий, как говорится, нет никаких оснований. Встретились, поздоровались, как бывшие знакомые, и разошлись в разные стороны.

Фима некоторое время молчит, поджав губы, которые вдруг стали похожи на тонкую, розовую, едва различимую нитку. Затем глубоко вздыхает, качает головой, как бы подчеркивая свою озабоченность его судьбой. Удивительная способность молниеносно менять настроение!

— Не понимаете, чего я от вас хочу, Даниил Йонович? — спрашивает она приглушенным голосом, и ее удивлению, смирению, благородству нет конца.— Какое другое желание может быть у женщины, прожившей лучшие годы с любимым мужчиной, если не желание видеть его счастливым? Я рада, Даниил, что ты счастлив с этой вертихвосткой, я завидую, возмущаюсь, но радуюсь. Пусть она будет последняя из последних, но если тебе с этой стервой лучше, чем со мной, что ж, барахтайся на райском ложе, а я посижу у входа в пекло на опрокинутой бороне. Такова, видно, моя доля, ничего не попишешь... Но и твое будущее не из золота соткано. Как же ты слеп и глух, не видишь, что у тебя под носом деется! Ведь она, эта краля, обманывает тебя! Правда, за руку ее пока что никто не поймал, но сомнений нет. Ведь то, что ты у нее не первый, это правда, против нее не попрешь. Когда-то, будучи студенткой, таскалась с каким-то иностранцем, потом подцепила другого, женатого. Так что любительница по чужим гнездам елозить. И теперь она с этим женатиком встречается. Встречается, когда прилетает в Вильнюс. Ты, Даниил Йонович, кулаки не сжимай, есть люди, которые, не желая того, все примечают! А если ты до сих пор ничего не знаешь, то и неудивительно, ведь муж всегда последний узнает. Да еще такой, как ты, ведь твое положение не каждому позволит быть откровенным...

Даниелюс, стиснув зубы, смотрит в окно, не выдавая ни словом, ни жестом своих чувств и мыслей, а Фима говорит, говорит... Бедный Даниил, несчастный Даниил, Даниил, которого эта стерва за нос водит... Кто тебя пожалеет, кто тебе руку в трудную минуту протянет, если не та, которую ты так жестоко оттолкнул. Вспомнишь ты об этом, когда останешься один, оплеванный этой змеей подколодной, ой, вспомнишь, Даниил Йонович!

Выговорившись наконец, Фима замолкает, слышно только ее тяжелое дыхание.

— Так-то, Даниил Йонович,— говорит она после паузы, переведя дух.

Даниелюс стоит у окна ни жив ни мертв. Как хорошо было бы, если б он сейчас мог оказаться в этих летящих мимо полях и идти, идти... По заснеженным логам, холмам, по зеленым ельникам...

— О, как я устала, как устала...— доносится до него дрожащий голос Фимы. Она с трудом сдерживает слезы.

Даниелюс замирает. Такую Фиму искренне жалко.

— Ты еще нестарая, еще устроишь свою жизнь.

— Куда там! То, что расстроено, не устроишь...

Оба с минуту молчат, погруженные в свои мысли. Наконец Фима снова выдавливает:

— Я увидела тебя на перроне в Епушотасе, когда ты садился в вагон. Я в другом вагоне. Через весь состав прошла, чтобы поговорить с тобой.

«О чем? Как найти утерянное счастье, которого, по правде говоря, и не было?» Даниелюс грустно улыбается самому себе, хотя на лице у него выражение непроницаемого спокойствия и отчужденности.

— Я слышал, ты работаешь в Гедвайняй, на строительстве фабрики.

— Да, в медпункте. Строителей лечу.

— Я думал, ты перебралась в Вильнюс. Ведь ты так рвалась в большой город.

— Что мне большой город без тебя, Даниил?

«Лучше бы сказала — без моего положения. Была первой дамой в районе (во всяком случае, строила из себя такую), а теперь только медсестра, да еще не очень умелая».

— Так зачем же вы туда теперь едете, Ефимья Никитична?

— К детям. Сам знаешь, у брата живут. Тяжко им с женой, но что поделаешь? Детям учиться надо. А что за учеба там, в Гедвайняй?

— Школа всюду одна — советская.

— Школа-то одна, но с вашим языком далеко не уйдешь. Помнишь, у нас когда-то уговор был: старший пойдет в русскую, а младший — в литовскую. Сегодня оба учатся в моей школе, Даниил Йонович. И я этому очень рада, потому что каждая хорошая мать желает, чтобы ее дети не узкими стежками шли, а широкой дорогой.

«Твоей дорогой, да-а-а...» Даниелюс барабанит пальцами, по-прежнему глядя в окно, но ничего не видит. Дети, дети... Неужто он и впрямь потерял их? Наказан! Да, нака-

зал... Надо было хотя бы младшенького взять к себе, как он вначале и собирался сделать, но подумал, что Юргите чужой ребенок будет в тягость, и решил выплачивать алименты на двоих. «Приеду и обязательно зайду к Фиминой родне. Конечно, тут же засыплют неприятными вопросами, пойдут всякие намеки (тем паче что сама Фима приехала), но навестить детей надо. Походим вместе по городу — по музеям, магазинам, куплю каждому какой-нибудь подарок... Да, скверный я отец, редко они меня видят, редко. Но будь Фима другой, разве шел бы я на свиданье со своими детьми, как на виселицу? В этом она, эта истеричка, виновата, только и знает — кричать!»

— Где вы собираетесь остановиться, Даниил Йонович? Не у новых ли тестя и тещи? — нарушив долгое молчание, спрашивает Фима.

— Да нет, Ефимья Никитична. Зачем людей беспокоить? Лучший ночлег в гостинице.

— Могли бы и у моего брата. С детьми пообщались бы...

— Мог бы, но вряд ли, Ефимья Никитична... А с детьми пообщаюсь, если, конечно, не захлопнете перед носом дверь.

Фима обиженно встает. Гордая, знающая себе цену.

— Как вы смеете обо мне так думать, товарищ секретарь? Разве я когда-нибудь?..— Энергичным движением руки Гиринене открывает дверь купе, застывает на минутку, раздумывая и что-то решая, потом бросает через плечо: — До свиданья, Даниил Йонович.

— Всего доброго, Ефимья Никитична,— в тон ей отвечает Даниелюс и с облегчением вздыхает.

II

Вывалила целый воз грязи и ушла... Такой она, Фима, была всю жизнь — стремилась к счастью, не считаясь со средствами и — о, парадокс! — сама вечно несчастна. А теперь, желая вернуть потерянное, роет яму Юргите. Бедняга, бедняга... Придумала тысячи нелепостей, хотя сама в это конечно же не верит... В конце концов, это не ново — помои лили на наши головы и пять лет тому назад. Тебя, Юргита, тогда тоже обзывали распутницей, интриганкой, и кое-кто из наших «доброжелателей» даже вызвался «спасти» меня от твоей погибельной руки. Будь ты в эту минуту рядом со мной, мы бы об этом даже не вспомнили, но такое возвращение в прошлое только возвышает душу.

Да, Юргита, моя единственная! Ибо мы вышли из этого испытания победителями и унесли с собой самое дорогое — любовь! А они, эти «доброжелатели», давно выкинули вон это святое чувство и продолжают толкаться среди таких же, как они, лицемеров, поглядывая по сторонам, кого бы еще оплевать.

Сейчас трудно восстановить все подробности. Как-то потускнела, выцвела и беседа с товарищем Клигасом, который в то время только занял нынешний пост и которого я встретил тогда. В память врезались только его рукопожатие, твердое, мужское, и открытая, подбадривающая улыбка. Мне показалось, что он все уже знает и решительно поддерживает меня, но это, наверное, мне только казалось, потому что пройдет еще час, пока я выйду из другого кабинета, куда меня вызвали для объяснения. Я сразу смекнул: Фима постаралась! Виновато письмо, которое я написал, Юргита, сразу же после нашей последней встречи в райкоме, излив на бумаге душу и признавшись, что люблю тебя, что твердо решил начать новую жизнь. Но я его так и не послал — испугался. Нет, нет, я не испугался своего решения,— ради нашего счастья я был готов сделать бог весть что, я просто усомнился, будешь ли ты со мной счастлива. Поскольку я и до этого был неважнецкого мнения о самом себе, я ухватился за годы, разделяющие нас, и чем дольше я об этом размышлял, тем непреодолимее казался мне барьер. Если бы я тогда знал, что ты помнишь наши случайные встречи... Но ты молчала. Прошел месяц, другой, полгода. Молчание, молчание. Жизнь с Фимой казалась мне кощунством. Поэтому в один прекрасный день я достал написанное письмо и прочитал его вслух Фиме, сказав, что, скорее всего, эта удивительная женщина, то бишь ты, никогда не станет моей женой, однако дальше мириться с духовным двоеженством я не в силах.

И вот это письмо, украденное Фимой из ящика моего стола, лежит перед человеком, удобно устроившимся в своем тяжелом дубовом кресле и взвешивающим бог весть на каких весах мои чувства. И пока я буду сидеть, внимая его многомудрым поучениям и отеческим советам, перед моими глазами ни на минуту не исчезнет твой облик, светящийся каким-то несказанным светом, наполняющим сердце решимостью и уверенностью в себе. Меня не собьют с панталыку никакие заманчивые предложения на будущее («У нас, товарищ Гиринис, для вас на заметке очень ответственный руководящий пост») и весьма прозрачные намеки на то, что я могу лишиться доверия партии и народа.

Народа! Неужто он сам не любит, что может осуждать любящего? И в чем я, в конце концов, провинился? В том ли, что не хочу лицемерить, живя с нелюбимой женой и лаская за глаза любимую женщину? В том ли, что прямо, без обиняков, заявил о своем праве на любовь, которая к нашему обоюдному несчастью пришла так поздно? В том ли, что, наконец, оказался бессильным заглушить зов своего сердца, как это сделал бы на моем месте не один солидный товарищ, отрекшись от любимой и любящей женщины ради сомнительной карьеры?

Позже этого человека, пытавшегося «образумить» меня, поправят и объяснят ему, что он перегнул палку, корректируя судьбу другого по своим собственным нравственным меркам, но никто не осмелится внести предложение о пересмотре принятого им решения. Любовь к тебе, Юргита, осудят, а меня проводят до дверей с такими словами, будто и самый последний преступник:

— Ваше поведение, товарищ Гиринис, только мягко выражаясь, можно назвать легкомысленным. Поддаетесь чувству, как какой-нибудь желторотый юнец. Вы, должно быть, забыли, что вам не восемнадцать, а почти в три раза больше. Оставляете в таком возрасте жену и двоих детей и пускаетесь вдогонку за женщиной, которая намного моложе вас!..

— Как это, пускаюсь вдогонку? — нетерпеливо перебил я.— Просто с Ефимьей Никитичной я жить больше не могу.

— Простите, но вы рассуждаете не совсем здраво, товарищ Гиринис,— продолжал морализировать мой собеседник.— С чего вы взяли, что я осуждаю любовь? Я всегда поддерживал и буду поддерживать это благородное чувство, как бы дарующее человеку крылья. Однако давайте прежде всего установим, настоящая это любовь или глупое увлечение. Ведь когда-то вы и свою жену любили? Уж вы не пожимайте плечами, дети просто так на свет не появляются. Любили! А теперь легкомысленно предаете ее. Детей своих и пятнадцать лет совместной жизни. Сдули, как пух с одуванчика, и как будто никогда ничего не было. Только эта, как там ее зовут, Юргита,— смысл и цель вашей жизни. А с партией, позвольте вас спросить, как? Неужто не чувствуете перед ней никаких обязательств, забыли, что вы не рядовой коммунист, что должны отказаться от личного счастья во имя более высоких идеалов? На человека вашего положения обращены глаза множества людей, придирчиво следящих за каждым вашим шагом, и вы не можете, не

имеете права, если, конечно, не хотите уронить авторитет партии, шагать абы как. Образумьтесь, товарищ Гиринис. Неужто нельзя обойтись без скандала, без ломки семьи, без того, чтобы шокировать общество?

— Это цинизм,— сказал я, повернувшись к двери.—Вы предлагаете мне путь обмана и двуличия.

— Нет.— Мой исповедник поправил на носу очки.— Я хотел вам только напомнить, товарищ Гиринис, что вы прекрасно могли бы избежать недостойной сделки с совестью, если бы сумели обуздать сердце и убедить себя, что, кроме жены, на свете не существует никакой другой женщины.

— Такой совет может дать только тот, кто никогда не любил,— отрубил я, пораженный своей дерзостью.

Послышались приглушенный вздох, потом слова, полные искреннего сочувствия:

— Вы очень перспективный работник. Как я уже вам говорил, у нас было намерение... Но теперь, в такой момент... сами понимаете. Жаль, товарищ Гиринис. Очень жаль!

«Жалейте!» Я удрученно пожал плечами и, ничего не ответив, толкнул дверь в коридор. Мне хотелось как можно скорее остаться одному и хотя бы мысленно побыть с тобой, Юргита.

Возвращаясь из Вильнюса в район, я все время думал о тебе, дорогая. А через полгода судьба нас свела в покинутой дзукийской деревне, которую мы в шутку назвали Юргитаном.

...Когда по редеющему сосняку мы вскарабкались на высокий холм и наконец добрались до опушки леса, я попросил водителя остановить машину. Отсюда взору открывалась знакомая, волнующая до слез картина, при виде которой сердце начинало биться чаще, и я, охваченный какой-то невыразимой радостью, широко улыбался каждому встречному и поперечному, не скупясь на добрые слова и крепкие рукопожатия. Но сейчас здесь никого не было... С печалью я смотрел на раскинувшуюся у подножия холма дзукийскую деревню, опоясанную узкой лентой родниковой речушки, петлявшей по только что скошенным лугам, как бы охваченным с обеих сторон зубчатыми крыльями леса. Мне было бесконечно грустно при мысли о том, что настанет день, когда здесь не останется и следа человеческой жизни. Уже теперь то там, то сям чернели голые фундаменты изб, а кое-где их и вовсе не было. Избы, которые не успели разрушить, жались друг к дружке по обе стороны

дороги, покинутые, неприкаянные, с заколоченными ставнями и дверьми, в иных и дверей-то не было, и только на остатках разобранных крыш чернели давно остывшие печные трубы.

Не знаю, сколько времени я стоял в задумчивости, не сводя глаз с печальной картины, словно с лица дорогого человека, черты которого хочется запомнить навеки, ибо видишь его в последний раз. Потом я начал спускаться вниз, преследуемый странной мыслью о том, что это не что иное, как Дягимай, только надо повнимательнее всмотреться и в эти кладбища жилищ и увидеть родную усадьбу — такую же, помеченную печатью смерти и навсегда для меня потерянную. Я брел, с трудом переставляя ноги по пустынной деревенской улице, глядя на сломанные плетни, заколоченные дворы и разоренные сады: плодовые деревья, те, что помоложе, были вырваны с корнем, а те, что постарше, боязливо хирели между своими срубленными однолетками и ожидали той же участи. В палисадниках у изб и на развалинах цвели кусты жасмина и хилые цветы, с трудом пробившиеся через гущу сорняков. За хлевками и амбарами, там, где начинались луга, должны были быть огороды, но и их теперь бросили на произвол судьбы, ибо приусадебные участки переселенцам колхоз выделил в другом месте, поближе к новым усадьбам. У меня пропала охота бродить по этому кладбищу, я повернулся и зашагал назад, совершенно не догадываясь о том, что за тем вот поворотом ждет меня моя судьба...

Ты сидела, прислонившись к старому каштану, спиной к дороге и, положив на колени папку, рисовала полуразрушенную избу и колодезный журавель, сорванный ветром.

— Даниелюс! — вскрикнула ты, вскочив, и я увидел, как в твоих глазах вспыхнули радость и удивление.

— Как вы здесь очутились? Откуда? — пробормотал я, не веря своим глазам.

— Мы с подругой пустились на байдарке, по нашим рекам. Отпуск у нас... Это просто чудо, что мы здесь встретились.

— Чудо происходит тогда, когда его очень ждешь,— ответил я, глядя на этюд и не видя ничего — до того был счастлив.

Ты что-то ответила и сунула лист в папку, сказав, что это только эскиз.

— Правда, в художницы не мечу, но эта покинутая деревня очень волнует. Когда я увидела ее с холма, мне захотелось написать ее.

Ты зажмурилась, словно хотела навсегда запечатлеть эту картину, и твое лицо на миг приняло такое выражение, что у меня, честно говоря, дыхание перехватило.

— Я понимаю вас, Юргита,— сказал я и в который раз подумал, что в своей жизни еще не встречал женщину, с которой было бы так приятно и просто, как с тобой.— Я тоже неравнодушен к этому уголку. Всякий раз, когда я сюда приезжал, на меня что-то накатывало. Возвышенное, радостное. Раньше здесь жили люди... Лаяли собаки, кукарекал петух... Из трубы вился дымок. Жизнь! Даже от осенней плесени и гнили веяло жизнью. А теперь что? Такое чувство, будто стоишь у ворот покинутого кладбища.

— Кладбище! В самом деле! И я так подумала, когда увидела эту деревню с холма,— сказала ты, почему-то обрадовавшись.— Мне, журналистке, это позволено, а вы по своей должности не должны так драматизировать...

Я подхватил твой игривый тон и ответил, что случай явно нетипичный и что я сторонник диалектического материализма, то есть я за вечную борьбу между жизнью и смертью, разрушением и созиданием, ибо иначе не было бы прогресса, но сердце мое не всегда согласно с этим драконовским законом природы.

Ты стояла, склонив набок голову, улыбалась. И не проронила ни одного слова, да слов и не нужно было — до того красноречивым было твое озаренное каким-то внутренним светом лицо. Казалось, я чувствовал каждое движение твоего тела, биенье твоего сердца, шорох твоих ресниц, пьянел от близости и ловил себя на мысли, что никогда еще в жизни не испытывал такого душевного состояния.

— Странно,— сказал я тебе после того, как мы по нескольку раз обошли каждую усадьбу, словно безымянную могилу, на веки вечные покинутую близкими.— А ведь недалек тот день, когда эту пустошь целиком покроет лес. Приедем сюда и будем бродить, держась за руки, как сейчас... И вспомним еще раз все, что сегодня пережили. Услышим те же самые слова, и душу обласкают те же чувства. Ты будешь мне улыбаться, обдавая теплом своих черных глаз, а я буду сжимать своей рукой твои ласковые пальцы. Я себе это так отчетливо представляю, словно все это уже происходит. Будущее! Меня, может, тогда уже на свете не будет... Странно, право же.

— Нет! — прикрыла ты мне ладонью рот.— Не говори так! Ты никогда не умрешь. Для меня — никогда!

— Все равно странно,— не уступил я, желая еще раз услышать твой протестующий голос.— Мне кажется, что одну жизнь я уже прожил и будущее мне ясно: это долгий солнечный день, это праздник. И всюду ты. Как песня, как музыка... А прошлого словно не было. Ни Фимы, ни детей. Какой-то дурной сон. Он то обрывается, то наплывает каким-то смутным воспоминанием. Ужасно! Прожить с женщиной столько лет и не сохранить в памяти ни одного мгновения, которое можно было бы назвать счастливым. Ты можешь презирать меня, Юргита, жалеть, что у меня не хватило воли бороться за свое счастье, но если бы не ты, моя милая, эта канитель продолжалась бы дальше, и единственным утешением для меня была бы работа, а укором — сознание того, что никакое дело не может быть плодотворным, не может приносить радости, пока оно не озарено любовью.

III

Все нарядились как на свадьбу.

Андрюс Стропус — в новой, сшитой по последней моде пиджачной паре, в импортных ботинках, на голове дорогая меховая шапка из выдры, а под расстегнутой югославской дубленкой поблескивают все награды — орден Ленина, «Знак Почета» и орден Трудового Красного Знамени. Продолговатое мужественное лицо чисто выбрито, поэтому на нем еще ярче выделяются черная коротко подстриженная щеточка усов под носом, темные лохматые брови и длинные ресницы, из-под которых чуть насмешливо, донельзя самоуверенно смотрят серые глаза.

Вторая по рангу в этой свите (могла бы быть и первой, если бы не председатель колхоза) — Рута Бутгинене. Тоже с головы до ног по-праздничному разодета, надушена резкими духами так, чтобы, упаси бог, коровником не несло, а под теплым полупальто с воротником из искусственного меха притаилась на высокой груди Золотая Звезда Героя.

Остались три члена делегации колхоза деревни Дягимай — секретарь партийной организации Фортунатас Гоштаутас, молодой, неказистого вида мужчина; руководитель подотдела Альгирдас Юодвалькис и свинарка Бируте Стиртене.

От хозяев праздника — сам председатель колхоза «Пирмунас» Донатас Юркшайтис, пожилой мужчина

с красным, как жженый кирпич, лицом; секретарь парторганизации Анатолис Плятоте; заведующий фермой крупного рогатого скота Витаутас Зурба и доярка со свинаркой — прославленные передовики молочного и мясного производства. Тоже пятеро. Все расфуфырены, надушены, сверкают орденами и медалями.

Только что каждый выступил перед переполненным залом, дал обещание произвести в нынешнем году всего намного больше, чем в прошлом, оба председателя по очереди торжественно зачитали договор о соцсоревновании, тут же его подписали и предложили поставить свои подписи членам делегаций. И вот сейчас, когда волнующая церемония подписания позади, все дружно отправляются через двор в читальню, где для обильного ужина накрыты столы.

Юргита могла бы вернуться домой — материала для полосы предостаточно,— однако под конец торжественного собрания приехал сам Аполинарас Малдейкис, толкнул пламенную речь, и Юргита не могла устоять перед его просьбой и осталась.

— Секретарь нам оказал такую честь! — сияет от счастья Донатас Юркшайтис.— Не говорил ничего, не обещал и вдруг пожаловал, так сказать, на заключительный акт... А уж речь сказал такую, что всех зажег, люди долго будут помнить.

— Думаете, людям важнее всего красивые речи? — осторожно язвит Юргита.

— И речи, и печать, товарищ Гиринене. И книги, и радио. Все важно. Все, вместе взятое, толкает, так сказать, наш воз вперед и помогает ковать наши успехи.

Между тем Андрюс Стропус тихонько выговаривает Бируте Стиртене:

— Ты же без пяти минут мать-героиня, а кто же догадается о твоем геройстве, если ты дома все награды оставила? В такой день лезешь на трибуну голым-гола! Я же тебя по-человечески просил, я же говорил тебе...

— Не успела, председатель. И все из-за детей. Всюду успей, бегай, высунув язык, как собака,— чуть ли не со слезами оправдывается Стиртене.— Да и неловко как-то, ведь я не артистка. Чего доброго, отстегнется какая-нибудь медаль, потеряю, а потом... Нет, лучше такие штуки под замком держать.

— Государство тебя отметило, а ты — под замком,— не может простить ей Стропус.— Привыкла от муженька все прятать... В другой раз смотри у меня!

— Ладно, ладно, председатель...

Гости вешают пальто в раздевалке, причесываются, откашливаются и направляются в просторную комнату, которую делят надвое накрытые для пиршества столы. Пока что на них красуются только холодные закуски, горки хлеба, пироги, бутылки.

— Это наша читальня. Временно оккупировали, — кратко информирует гостей Донатас Юркшайтис. — Прошу садиться, не будем ждать, пока все соберутся.

Но гости скромничают: топчутся в нерешительности около столов, пялятся на свисающую с потолка пластмассовую люстру, на стены, увешанные портретами, фотографиями передовиков колхоза, лозунгами, один из которых, приветствующий участников социалистического соревнования, только что начертан. Пока гости рассаживаются, скрипят стульями, зал читальни постепенно наполняется хозяевами: заведующими животноводческих ферм, учетчиками, руководителями подотделов, конторскими служащими и парой-другой почетных колхозников.

— Вот теперь-то можно будет и начать, — говорит Андрюс Стропус, по-хозяйски устроившись за столом. Рядом с ним усаживаются остальные дягимайцы (хозяева — напротив), а на самом краю — Бируте Стиртене, к которой пытается присоседиться Юргита, но Юркшайтис пресекает.

— Нет, нет, товарищ Гиринене, — громко протестует он, уважительно взяв ее под руку. — Для прессы у нас специальная ложа. Будьте любезны, прошу прощения...

— Может, без церемоний, товарищ Юркшайтис? — противится Юргита.

— Нет, нет, с церемониями, товарищ Гиринене, непременно с церемониями. В природе только потому и существует гармония, что каждый занимает свое место. А ваше место рядом с уважаемым товарищем Стропусом. Сейчас вы сами убедитесь, как здесь хорошо и удобно, сейчас убедитесь...

Ну и лиса же этот Юркшайтис, думает Юргита, усаживаясь рядом со Стропусом и косясь на пустую тарелку и свободное место слева от себя.

Все становится ясным, как только появляется Аполинарас Малдейкис, который после собрания куда-то ненадолго отлучился.

— Сюда, сюда, милости просим, товарищ секретарь, — обращается к нему Юркшайтис и ведет его к Юргите, с трудом неся свое увесистое брюшко.

Аполинарас Малдейкис приятно удивлен. Так счастлив, так взволнован неожиданным соседством, но артист он никудышный, да и вся режиссура шита белыми нитками.

— Простите, я должен был срочно позвонить одному человеку,— начинает он объяснять, смущенный насмешливым взглядом Юргиты.

— Это вполне понятно. Даниелюс тоже звонит мне, когда где-нибудь задерживается,— притворяется простушкой Юргита.

— А я жене не звоню. Зачем ей зря нервы дергать? «Почему не отозвалась? Куда уходила? Почему у тебя такой голос?..» Черт знает, что только в голову не придет. Когда друг другу доверяют, телефонные звонки ни к чему.

— И вы, товарищ Малдейкис, в самом деле никогда, соскучившись, не бросаетесь к трубке, не звоните, чтобы услышать голос любимого человека?

— Н-даа... иногда бывает. Но меня волнует больше близость женщины, чем ее голос.

Юргита не успевает ответить: вдруг встает Донатас Юркшайтис и произносит первый тост. За социалистическое соревнование, за прекрасных гостей — дягимайцев, за разум и сердце Лаукувского района — товарища Аполинараса Малдейкиса.

Скрипят отодвигаемые стулья, у стола вырастает стена тел. Звенят рюмки.

Аполинарас Малдейкис игриво улыбается и, держа рюмку в руке, кланяется во все стороны. Деликатно отхлебывает глоток и первый садится, увлекая своим примером послушную пока что его авторитету застольную братию.

С минуту-другую слышен только звон ножей и вилок, то тут, то там заглушаемый несмелым гулом голосов, в котором звучат щедрые похвалы умелым хозяйкам, так вкусно и изобретательно приготовившим уйму закусок.

— Вот у кого должен учиться наш общепит,— говорит Аполинарас Малдейкис, как бы вписывая свои слова золотыми буквами в несуществующую кулинарную книгу отзывов колхоза «Передовик».

— Погодите, товарищ секретарь, это только цветочки,— весь светится Донатас Юркшайтис, подперев край стола своим увесистым брюшком.— Ягодки будут, когда на стол начнут подавать горячие блюда.

— И у нас в Дягимай ягодки не хуже ваших, уж вы не выхваляйтесь,— не выдерживает самолюбивая Рута Бутгинене.

Самое время и Андрюсу Стропусу сказать ответный тост. За замечательные традиции соцсоревнования, за хлебосольных хозяев, за руководителей обоих районов — глубокоуважаемого товарища Даниелюса Гириниса и Аполинараса Малдейкиса, оказавшего нам большую честь своим присутствием за этим столом.

Все выпивают стоя. Малдейкис снова кивает во все стороны, отхлебывает из рюмки (на сей раз до половины) и медленно садится, как бы нечаянно задев рукой бедро Юргиты.

— Ой, извините... ради бога, извините... Прошу прощения,— вполголоса повторяет он, виновато потупив взгляд.

После пятого тоста (на стол уже поданы и горячие блюда) все навеселе.

— В прошлом году не хватило сантиметра, чтобы положить ваш «Передовик» на лопатки,— уверяет Юркшайтис. Стропус, навалившись на стол.— Только одного сантиметра...

— Да брось ты, Андрюс... Оба колхоза, можно сказать, идут ноздря в ноздрю, нечего мелочиться,— добродушно приговаривает Юркшайтис.— Если кто-то тебя и превзошел, то разве что я своим брюшком.

— Нет, нет, не хватило сантиметра,— не сдается Стропус.— Но нынче у нас другой разговор пойдет, товарищ Юркшайтис. Разве я не прав, товарищ Бутгинене?

— Да чего с ними долго разговаривать,— хорохорится Рута, удобно устроившись справа от Стропуса.— Не будь у вас такого благодетеля-покровителя, как ваш бывший председатель колхоза товарищ Багдонас, мы бы вас давно обскакали. Он ваш колхоз за своей теплой пазухой держит, вот он где, этот сантиметр.

— Не поминайте имени господа всуе, товарищ Бутгинене,— вежливо предупреждает Юркшайтис.— Ваш колхоз тоже получает все, что ему нужно. Стропус умеет постоять за себя. Так что не жалуйтесь. Не подкидыши, нет. Положим, нас кто-то и держит за теплой пазухой, как вы здесь изволили безответственно выразиться, но такие стройки, какие затеяли вы, нам уж точно не под силу. Два животноводческих комплекса, Дом культуры... Колоссально! — добавил он по-русски.

— Какой Дом культуры? Кто его строит? — Стропус искренне возмущен слухами, распространяемыми легковерами.— Может, когда-нибудь мы его и построим, но пока он существует только на бумаге и в чьем-то горячечном воображении.

— Увы, это правда, товарищ Юркшайтис, только на бумаге,— вдруг вмешивается задетая Юргита.— Ибо товарищ Стропус убежден, что людям достаточно и того, что остается от четвероногих.

— Ах, уж эти мне журналисты! — Стропус снисходительно усмехается, прикрываясь улыбкой победившего праведника.— Несколько капель чернил, два-три листа бумаги — и статья готова. А если на машинке, то небось и того проще. А на строительство Дома культуры тысячи нужны, сотни тысяч. Я уже не говорю о таких вещах, как получение стройматериалов, рабочая сила и прочее. Вот когда у нас появятся лишние денежки и энергия, тогда, может, и возьмемся за такую стройку.

— А вы, черт подери, упрямец, товарищ Стропус,— говорит Малдейкис, решительно став на сторону Юргиты.— Если не ошибаюсь, уже год прошел, как проект утвердили, а вы и пальцем не шевельнули.

— Пошевелим, товарищ секретарь, придет время — и пошевелим,— упивается собственным великодушием Стропус.— Время жить, время умирать, как писал Ремарк.

— Читали? Вы, товарищ Стропус, читаете художественную литературу? — атакует беднягу Малдейкис, стараясь угодить Юргите.

— Все мы в юности горы книг прочитали,— спешит на помощь Стропусу Юркшайтис. — А теперь, если за год одну-другую осилишь, то это уже достижение. Счета, отчеты, хозяйственная литература... Заседания, пленумы, сессии... А сколько времени уходит на такие вот застолья? Иногда себя спрашиваешь, кто ты — человек или мячик, который пинают и гоняют из угла в угол...

Кто-то в шутку заметил, что многоуважаемого товарища Юркшайтиса никто сюда, за стол, за уши не тащил. Как, впрочем, и других собравшихся. Могли бы давно сидеть дома у телевизоров или читать книгу, то есть полезно проводить время.

Юркшайтис с этим не хочет согласиться: человек должен тянуться к человеку, иначе отчужденность доконает его.

Аполинарас Малдейкис полностью поддерживает мнение хозяина и прижимается к Юргите, мол, женщина, вот кто убережет нас от отчужденности.

Собравшиеся за столом почтительно кивают, не станешь же перечить секретарю, а Юргита, игриво отстранившись от Малдейкиса, иронизирует, мол, феминизирующемуся мужскому роду ничего не остается, как с грустью вспоми-

нить те времена, когда мужчина был прибежищем для женщины, а не наоборот.

Рута Бутгинене гордо выпячивает украшенную орденами грудь: кто они, эти мужчины? Цыплята!

— Да,— соглашается Малдейкис.— Мужчины правят миром, а женщины — мужчинами.

— Вы так думаете? — улыбается Юргита.

— Эмансипация — плод женской логики: сами бьют и кричат, что их бьют,— кипятится Стропус.— Перестань хоть на миг быть мужчиной и сразу же окажешься под каблуком у женщины.

— А вы не поддавайтесь,— говорит Юргита.— Как только попытается прищелкнуть вас каблуком, вы тут же ей наручники любви. Наденьте и закуйте.

Но Юркшайтис замечает, что эти наручники чаще всего сковывают руки мужчине.

— Если такое и случается,— не возражает Юргита, косясь на Малдейкиса, который (опять-таки нечаянно, мол) прикоснулся рукой к ее колену,— то это только потому, что вы не умеете этими наручниками пользоваться.

Аполинарас Малдейкис виновато смотрит на Юргиту и отрывистым голосом говорит:

— Не умеем. Да, да, это правда. Поэтому и попадаем в плен к женщине. Мы мышки, играющие в когтях у кошки. Вот в чем наша трагедия.

— Трагедия не мужчин, а мышек,— вставляет Юргита.— С настоящим мужчиной женщина никогда не ведет себя, как кошка с мышкой.

Аполинарас Малдейкис готов согласиться, но ему интересно, каким, на взгляд женщины, должен быть настоящий мужчина.

— В этих делах вы разбираетесь не хуже меня,— отрезает Юргита и прислушивается: за дверьми колхозные музыканты начинают настраивать инструменты.— Как бы то ни было, для женщины важнее всего не то, что, создавая семью, предвкушают некоторые мужчины.

— Да у них только это на уме,— рубит сплеча Рута Бутгинене.

— Это уж точно,— вздыхает Бируте Стиртене.

Аполинарас Малдейкис сдается, бессильно разводит руками, пытается что-то сказать, но голос его тут же заглушают звуки музыки, мощным потоком хлынувшие в читальню.

...Юргита смотрит через плечо Малдейкиса на танцующие пары. Она ловит на себе его цепкий взгляд, чувствует,

как дрожит его рука на ее талии. От его одежды несет табаком. Каждое его движение дышит страстью и надеждой, хоть он и сдерживает себя, пытаясь скрыть свои чувства. Танцующие пары то и дело толкают их друг к другу, и Юргите передается чужая дрожь, а Малдейкис, как бы испугавшись такой близости, слегка отстраняет партнершу и взглядом просит у нее прощения. Никогда не знавший поражений, Аполинарас готов зачислить в свой актив еще одну победу. Ну, ну, пусть немножко порадуется, если для него это главное, насмешливо думает Юргита, игриво опустив ресницы и предвкушая свое торжество: ему скоро придется разочароваться. Она входит во вкус и не замечает, как ширится пустой круг, пары одна за другой рассыпаются, жмутся к стенкам и оттуда следят за полетом секретаря Лаукувского райкома с женой секретаря из Епушотаса, кажется — они ногами не касаются половиц. На миг, только на один миг, перед ее глазами проносится та июльская ночь, когда она под открытым небом, под дождем, танцевала с Ричардасом, его озаренное вспышкой молнии мокрое лицо... Шелест приближающегося троллейбуса... Отсветы фонарей на залитом струями воды асфальте... До жути заманчивая тайна глядела на нее со всех сторон своими незримыми глазами, и было чертовски хорошо при мысли, что все, что тебе уготовано судьбой, еще впереди — и любовь, и радость, и скорбь, и сбывшиеся мечты, и разочарования. А сейчас? Господи, а сейчас? Когда у тебя, можно сказать, есть все, о чем только может мечтать женщина, откуда эта неизбывная тревога, разбуженная тоской по далекой юности, обостренная кощунственной мыслью о том, что, кажется, охотно отдашь все, чем сегодня владеешь, за несколько незабываемых часов прошлого, как, например, за ту поездку к морю, когда она бежала от любви; и это неудивительно, потому что по прошествии стольких лет и мука начинает казаться настоящим счастьем.

Малдейкис что-то говорит. А, хвалит ее (вы прекрасно танцуете), под руку ведет к столу, приглашает на следующий танец.

Она кивает, но мысли ее сейчас далеко. Оставив канувший в небытие островок прошлого, они, эти мысли, перескакивают на другое. Юргита в Вильнюсе, идет по знакомым улицам, озирается, ищет знакомое лицо. Нашла. Пустилась следом. Представляет себе, как Даниелюс отворяет тяжелую гостиничную дверь, поднимается вверх по лестнице, неспешно и рассеянно ищет в кармане ключ. Даже представляет себе, как выглядит его номер. Но нет, сейчас

Даниелюс, наверное, не в гостинице, а у Фиминого брата. Со своими детьми. Может, и сама Фима там... И от этой догадки съеживается. Господи, боже мой, каким чужим в эту минуту кажется ей Даниелюс! Со своей бывшей женой, со своими детьми, со всей своей прожитой жизнью... Юргита пытается отделаться от этого наваждения, наплывающего на нее, словно океанский корабль с призраками на борту и исчезающий в тумане, чтобы спустя какое-то время снова напомнить о себе и просквозить душу страхом.

Один танец, другой, третий... Юргита вдруг приходит в себя и чувствует странную усталость, но бесенок в сердце еще не унялся.

— Уже домой? — почти с радостью спрашивает Малдейкис.

— Да, пора. Водитель Юркшайтиса давно, должно быть, ждет.

— Нет уж, доставьте это удовольствие мне,— смиренно просит Малдейкис, улыбается и, не дожидаясь ее согласия, объявляет всему застолью, что ему и товарищ Гиринене, к сожалению, пора домой.

Донатас Юркшайтис как безумный начинает стучать ножом о тарелку, пытаясь утихомирить развеселившихся гостей.

— Внимание! Внимание! Товарищ секретарь просит слова!

Совсем спятил, спокойно уйти людям не дает...

Аполинарас Малдейкис незлобиво грозит Юркшайтису указательным пальцем. Но Юркшайтиса попробуй удержи, бросился к другому концу стола, налил секретарю полную рюмку.

— Могли бы еще посидеть, товарищ Аполинарас...

— Пора, пора. И товарищ Гиринене спешит домой...— Малдейкис поднимает рюмку и как бы крестит ею все застолье. За славных красавиц хозяек, приготовивших такое чудное угощение! За хозяев и дорогих гостей, с которыми было так приятно! За простых тружеников села, за их золотые руки и соленый пот, которым полита каждая пядь земли, на которой растет обильный урожай для строителей коммунизма!

— Ура! — пробились чьи-то голоса сквозь нестройные хлопки.

IV

Поначалу ему пришла в голову мысль остановиться у брата Повиласа. Но, подумав, что такое неожиданное появление обременит их обоих, устроился в гостинице. Лучше зайти просто так, без всякого повода, как и подобает родне, не досаждающей своими частыми приездами. Потом он навестит родителей Юргиты и конечно же завернет к Фиминым родственникам, чтобы побыть часок-другой с детьми. А пока можно побродить по городу и подумать о завтрашнем неприятном визите. Конечно, голову с плеч не снимут, но, судя по вчерашнему разговору по телефону, чувствуется, что и по шерстке не погладят. И не без причины. Можно было, конечно, посоветоваться с кем-нибудь из вышестоящих товарищей, позондировать почву... Но Даниелюс усомнился, поддержат ли его, и потому всю ответственность взял на себя. В конце концов, почему бы не взять, ведь не какую-нибудь авантюру затеял, а серьезное организационное мероприятие, осуществление которого совершит переворот в экономике района. Ну не шут ли он? Как будто без него никто никогда не задумывался над тем, как надо решать задачи государственной важности! Поднимут на смех, ясное дело. И тот, кто вызвал его для завтрашней беседы, будет тысячу раз прав, сказав: «Тебе доверили район, и ты должен смотреть на него прежде всего как на производственный полигон, а не как на лабораторию для проведения экспериментов». Да, да, виноват. Но разве я сам этого не понимаю? Надо помаленьку, потихоньку, негоже сразу брать быка за рога...

В первые месяцы так и было: алкогольные напитки в районе продавали только четыре дня в неделю, причем не только в магазинах, но и в ресторанах. Но одно на первый взгляд пустячное событие заставило Даниелюса прибегнуть к крайности. И это было следствием не сухих умозаключений, а всплеска чувств. Принимая решение, он чувствовал, что потерпит поражение, хотя четко не представлял себе все его последствия. Случилось примерно то же самое, что и с первым браком: знал, что совершает поступок, о котором вскоре пожалеет, однако в тот момент поступить иначе не мог. Он всячески осуждал Унте, но, увы, хорошенько разобравшись в себе, увидел, что и он, Даниелюс, недалеко ушел от брата: в критических ситуациях теряет самообладание, слишком поддается чувству, а эти качества характера не очень подходят людям его профессии, тем, кто призван управлять и кто нередко вступает

компромисс со своей совестью. Разве, скажем, Аполинарас Малдейкис впутался бы в такую историю? Или какой-нибудь другой поднаторевший секретарь? Да ни за что на свете! Какого дьявола! Когда примут соответствующее постановление, тогда, мол, и посмотрим. А над Унте, будь он не братом, они бы только снисходительно посмеялись, вместо того чтобы пороть горячку и делать далеко идущие выводы. Идет себе человек по колхозной улице, взвалив на плечи овцу, ну и пусть себе идет. А ты езжай мимо, закрыв глаза, и вся недолга.

Скорее всего, и он поступил бы так, если бы в тот день не наведался в Гедвайняй к строителям: это там раздался роковой толчок, всколыхнувший всю гору, а Унте только пальцем тронул камень, и покатилось все. Ходил Даниелюс вместе с управляющим трестом, одновременно исполнявшим обязанности начальника строительства, по территории, заваленной стройматериалами и техникой и напоминавшей разоренный сильным землетрясением город, ходили и ломали головы, что же дальше делать: только что пришло строжайшее указание — сдать фабрику в эксплуатацию досрочно. С тем, что строительные работы были заморожены на целый год, никто не хотел считаться. Даниелюс пытался оттянуть сдачу, напирал на потерянное время, на нехватку рабочей силы и стройматериалов. Однако ему пришлось отступить, потому что поставщики в последние месяцы свои обязательства выполняли идеально. Чуть хуже обстояло дело с кадрами строителей, но ответработник из Вильнюса обещал помочь: мол, подбросим дополнительную рабочую силу, хотя вполне справились бы и с имеющимся числом рабочих, не хромай на строительстве производительность труда. Укор был справедливым, и Даниелюсу крыть было нечем. Единственное, что он мог сделать, чтобы снять с себя часть ответственности, это обрушиться на управляющего трестом, которого сам же выдвинул в руководители стройки: потребовать от него повышения дисциплины, усиления контроля, принятия более эффективных мер по идейному воспитанию строителей. Однако, по мнению Даниелюса, это чистая демагогия, которой недобросовестные люди оправдывают свое бессилие, это значит, что он умывает руки. Если потерпел неудачу, то ищи ее причины прежде всего в себе, вместо того чтобы сваливать вину с больной головы на здоровую. Итак, шагая рядом с управляющим трестом, ставшим вопреки желанию и начальником строительства, и никого не пытаясь винить, Даниелюс обсуждал с ним нелегкое положение.

Если судить по Доске почета, то создается впечатление, что дела на стройке идут как по маслу. Шутка сказать — двенадцать портретов передовиков труда! И все улыбаются, у всех прекрасное настроение, кажется, каждый из них — неоспоримое доказательство правдивости слов, выведенных крупными буквами и полыхающих на транспаранте: СДАДИМ ГОСУДАРСТВУ ДОСРОЧНО ГЕДВАЙНЯЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАНТ! О том же, не скупясь на звонкие фразы, возвещала стенгазета («Показали пример... Героический, беззаветный труд... Вдохновленные светлыми идеалами коммунизма...»), хотя говорилось здесь и о фактах, настраивающих не на столь благодушный лад. «Поменьше бы красивых фраз и лозунгов, а побольше бы работы, работы, работы,— подумал Даниелюс.— Но тогда будет поменьше оптимистического пафоса, за который мы, видать, хватаемся, когда надо чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Может, стоило бы поразмыслить над тем, не прикрываем ли мы яму, в которую со временем можем угодить?»

Так же думал и начальник строительства: недостает требовательности, а это порождает успокоенность, заставляет мириться с недостатками. Однако все это результат не стиля руководства, а обстоятельств, обусловливающих такой стиль.

Даниелюс сразу смекнул, что тот хочет этим сказать, потому что досконально знал условия строительства фабрики и чувствовал себя здесь как рыба в воде. Он не удивился (хотя и пришел в сильное раздражение), когда увидел, что часть техники не используется. Позавчера два крана простаивали, виновато уткнув металлические носы в землю. Сегодня, слава богу, простаивает только один... Почему? Испортился или крановщик захворал? Нет, кран в порядке. И крановщик жив-здоров — отправился в общежитие, ругаясь на чем свет стоит, что самосвалы под погрузку грунта не подают. А с этими самосвалами такая катавасия вышла: двух шоферов за прогул, то есть за пьянку, лишили месячной премии; они обиделись, плюнули на стройку и вчера подались на поиски более легкого заработка. Третий же, их верный дружок, запил с горя, да так, что и сегодня еще опохмеляется. А четвертый вдруг позвонил с утра, дело, дескать, срочное, на работу выйти не могу... Обоим надо бы по строгачу объявить, а в конце месяца и премии срезать. Но где гарантия, что они не последуют по стопам своих дружков-беглецов? Лучше уж шофер-прогульщик, чем никакого...

Даниелюс не мог с этим не согласиться, хотя весь кипел от злости, возмущаясь, что негоже потакать таким людям, в которым ради их же блага (уже не говоря об интересах общества), надо применять самые строгие меры. Хмурый и озабоченный, он бродил по стройке, по огромной, в несколько гектаров, площадке, на которой громоздились какие-то кучи кирпича, стыли машины, поднимались вверх стены фабричных корпусов: одни из них уже изрядно возвышались над землей, для других же только траншеи рыли, вынимали грунт для подземных цехов. То там, то сям бросались в глаза следы бесхозяйственности, заметные даже в таком хаосе, но Даниелюс не корил начальника, знал, что этот не щадящий себя человек меньше всего виноват. Вон еще груда сваленных кирпичей. Их бы сложить в штабеля, но где взять руки. Рук бы хватило, если бы не пьянки, если бы человек тратил свою энергию не на алкоголь. Тогда, глядишь, земля в радиусе десяти метров не была бы усеяна обломками, которые перемалываются колесами маневрирующих грузовиков и смешиваются с грязной жижей. И неиспользованные остатки бетонной смеси, вываленной вчера из ванн (в конце рабочего дня), не лежали бы затвердевшими кучами под строительными лесами. И многое другое было бы иначе. А теперь сотни тысяч рублей выброшены на ветер... Миллиардами исчисляется доход от проданной водки, торговых работников, перевыполнивших план реализации товаров, осыпают премиями, а кто подсчитает убытки, число разрушенных семей, неполноценных детей, кто оценит вред, причиненный спиртным здоровью несчастных?

Даниелюс, подавленный, стоял и смотрел на остатки арматуры, возвышающейся над строящимся корпусом. Рядом с ней маячила огромная гора проволоки, за которой трое мужчин копались возле бетономешалки. Двое из них были наголо острижены, отбывали срок, а третий был свободный рабочий. Прибежал бригадир, подхлестнул их и снова исчез, но стой он возле бетономешалки хоть круглые сутки, ничего, кроме сердитого бормотания и сквернословия, из них не выжал бы.

Даниелюс пнул ногой пустую бутылку. Пытаясь скрыть раздражение, он подошел поближе, поинтересовался, как идут дела и услышал в ответ что-то бодрое, совершенно не вязавшееся с их рабочим настроением. Все трое были под мухой. Выпили они, видно, самую малость, только одну бутылку, но другая, наверное, была припрятана на вечер.

Начальник строительства заметил, что пить во время

работы возбраняется, но остриженные только усмехнулись, и Даниелюсу ничего другого не оставалось, как согласиться с их утверждением, что пустую бутылку прикатил ветер из бригады каменщиков.

Со строителями Даниелюс расстался в сквернейшем настроении. Не все, конечно, такие, как эти. Кто того заслуживал, тому он сказал добрые слова, подбодрил, да и сам на какое-то время почувствовал прилив бодрости после того, как побеседовал с настоящими работягами. Тем не менее грязи, беспорядка, заставляющего серьезно задуматься, что предпринять, чтобы сдать фабрику в срок, было предостаточно. Больше всего Даниелюса озаботило полное безразличие кое-кого к государственному делу, отсутствие ответственности и как следствие: пьянство, лень, бесхозяйственность, оборачивающиеся неисчислимым для страны уроном. Прежде всего его возмутило пьянство, потому что в нем начало всех других бед.

Удрученный Даниелюс и не заметил, как въехал в Дягимай. Если бы не Унте с овцой на плечах, он бы пролетел мимо отцовской усадьбы. Поначалу Даниелюс брата не узнал, но тут попался на дороге Пранюс Стирта с возом, груженным кормами. Гедрюс Люткус засигналил, но тут сигналь не сигналь, ничего не добьешься. Правда, воз покорно съехал на правую обочину, но рядом шагавший Унте взял вправо, преградив дорогу так, что никак не разминуться.

Люткус даже посинел от злости, был он очень заносчивым и в чужих поступках, порой даже самых невинных, усматривал желание обидеть его и унизить. В районе даже ходила такая поговорка: «Чванливый, как Люткус». Некоторые водители из зависти к его педантичной аккуратности, к его умению держать в чистоте машину и со вкусом одеваться прозвали его Графом.

— Ну не паразит ли! — прошипел Гедрюс, подталкивая Унте буферами.— Из-за таких идиотов люди и гибнут на дорогах. Ну я ему, свинтусу, покажу, как ходить пешком!

Он дернул ручной тормоз, собрался было выскочить из машины, схватить этого пьянчугу, этого наглеца за шиворот, но тут подвыпивший Унте повернулся, и Люткус так и обмяк у руля, будто его ударили мокрой тряпкой по голове.

Теперь и Даниелюс узнал брата. Взвалив черноголовую овцу на плечи, Унте крепко держал ее за задние ноги, овца билась за спиной, тыкалась слюнявой мордой в его зад.

Передние же ноги животного без устали колотили Унте по поясница, у него уже вылезла рубаха из брюк, едва державшихся на оголенных бедрах, с каждым шагом брюки спускались все ниже, и ноги путались в штанинах.

С минуту Даниелюс сидел, не зная, куда глаза девать от смущения, щеки у него пылали, он видел кривую усмешку на чуть подрагивающих губах Люткуса, и картина перед его глазами казалась кошмарным сном. У Даниелюса мелькнула мысль свернуть в чей-нибудь двор или — что было бы еще лучше! — выждать на обочине, пока этот пьяный рагильдяй не удалится, не скроется со своей ношей. Но вслед за этой мелькнувшей мыслью, пронизанной ненавистью, в голову пришла другая — нереальная, постыдная — нажать изо всех сил на акселератор и подмять автомобилем эту неотесанную скотину. Стереть с лица земли, как насекомое, шмякнувшееся на стекло автомобиля, и баста! Выродков на свете и без него хватает. Но Даниелюс ужаснулся и даже зажмурился, съежившись на переднем сиденье и чувствуя, как машина потихоньку, словно на похоронах, скользит вперед.

Пока Люткус нашел щель между возом Стирты и Унте, который с брыкающейся за плечами овцой свернул наконец на левую обочину, прошло, наверное, не больше минуты, а Даниелюсу казалось, что это унижение никогда не кончится. Он не помнит, что сказал Люткусу, схватившись левой рукой за руль, а может, хватило одного этого движения, чтобы автомобиль вдруг остановился и незримая сила выбросила Даниелюса за дверцу; он в мгновение ока очутился перед шатающимся братом, за которым из дворов следили насмешливые зеваки. Но Унте продолжал идти, ноги у него заплетались, и он словно глумился над братом. Да и выглядел он вблизи еще противнее, чем из окна машины: вспотевший от тяжелой ноши, с нездоровым румянцем на перекосившемся лице, перед рубахи разорван до самого ремня, сползшего на голый живот и не поддерживавшего брюк.

— Вправду ли я перед собой вижу... брата своего... или мне снится? — пробормотал он, качнувшись вперед.— А-а. Да... Даниелюс... Привет, на-а-а...чальник!

— Живо полезай в машину — и поехали! — прохрипел Даниелюс, весь дрожа от злости.— Слышишь? Хватит людей смешить.

— Кошке смех, а мышке слезки,— икая и едва ворочая языком, сказал Унте.— Жизнь моя слезами изошла... Ты это, брат, можешь понять?

— Ладно, ладно, дома поговорим, нечего здесь нюнить. Гедрюс, открой багажник,— приказал Даниелюс, толкнул плечом Унте к машине.— А ты дай-ка сюда свою овцу.

— В багажник? Да пошли вы к растакой матери! — разволновался Унте, как бы трезвея.— Вы что, задушить ее хотите? Ведь это же овца черноголовой породы Пирсдягиса. Отборная! Я должен ее доставить в целости и сохранности.

— А ну-ка сунь поскорее сюда свою черноголовую,— сказал Люткус, стоя у открытого багажника.— Не бойся, не подохнет. Доставим ее вместе с тобой в целости и сохранности в хлев.

— В хлев? Меня в хлев? — вспылил Унте и повернулся к Даниелюсу, да так резко, что потерял равновесие и ударился о крыло машины.— Ну уж этим ты меня, братец, не испугаешь. Не на такого напал.

Даниелюс, не соображая, что делает, схватил брата за плечо.

— Заткнись! Для такого, как ты, и хлев — роскошь! — не выговорил, а прошипел он.

Унте попятился, словно перед глазами сверкнул не взгляд Даниелюса, а остро наточенное лезвие. Между тем овца заметалась пуще прежнего, молотя передними ногами свисающие брюки; казалось, шагни Унте еще шаг, и они совсем сползут.

А потом все произошло в один миг: Даниелюс и Люткус вырвали у Унте овцу, а его самого со сверкающим полуголым задом впихнули в машину.

До самой отцовской усадьбы Даниелюс сидел молча, крепко сжав окровавленную правую руку; не мог взять в толк, как же случилось, что он потерял самообладание и вмазал брату. Если бы Унте не сопротивлялся, а послушно сел в машину... Но он уперся перед дверцами как осел, вот и лопнуло терпение.

— Так вот ты как со мной... с братом...— шмыгал носом на заднем сиденье Унте, вытирая рукавом грязной рубахи испачканное кровью лицо.— Что я сделал плохого? Нес овечку Пирсдягису... Вот отнесу, говорю, и заткну рот. Подавись, скажу, своим знаменитым подарком, и чтоб больше ты у меня и не пикнул! А то я тебя, у-у-у, наизнанку выверну!

Только на третий или четвертый день, когда Унте протрезвел, Даниелюс разобрался в деле, причины коего банщик Марма описал в своей летописи таковыми словами:

«Кронимас Пирштдягис, прозванный сельчанами Пирсдягисом, на каждом шагу хвастался, будто подарил породистую черноголовую овечку своему зятю Антанасу Гиринису. А была та овца давно съедена, и потомки ее приносили ягнят, и росли те ягнята, а бахвальство Пирсдягиса не прекращалось. Тогда Антанас Гиринис, хорошенько подвыпив, решил заткнуть старому бахвалу рот: взвалил на плечи одну из овечек и попер через всю деревню к своему тестю... Славное было зрелище, все запомнят его надолго...»

Даниелюс, конечно, не мог знать о том, как описал сие зрелище Робертас Марма, однако какие сногсшибательные выверты ни делала фантазия банщика, она все равно не могла сравниться с тем, что он, Даниелюс, увидел своими глазами. Ему было стыдно. Ужасно стыдно! Он был возмущен, оскорблен, унижен. Но больше всего огорчался из-за того, что не совладал с собой и ударил брата по лицу. Он чувствовал себя так, словно не у Унте, а у него самого посреди бела дня на виду у всей деревни сползли брюки. Желая как-то обрести душевное равновесие, он пытался вникнуть в свои отношения с Унте, к которому относился то снисходительно, то с пренебрежением, порой даже с жалостью, а то и с прорывающейся вдруг наружу братской любовью. Покопавшись в себе, он вынужден был признать, что наряду с другими противоречивыми чувствами к брату обнаружилось еще одно — непостижимое мучительное чувство, смесь сочувствия и ненависти, а ведь до недавних пор проказы Унте ничего подобного в нем не вызывали.

«А х т ы н е с ч а с т н ы й п ь я н и ц а!»

Через несколько дней на заседании бюро Даниелюс сказал:

— Напитки предназначены не для того, чтобы их свободно продавать в рабочие дни. А из дягимайского магазина надо на веки вечные изъять всякие там «чернила» и водку, если мы хотим сдать фабрику в срок.

Кто-то пробовал возражать, мол, такая мера может сорвать финансовые планы района, но Даниелюс был неумолим.

— Алкоголь пожирает большую часть человеческой энергии. Мы должны отвоевать ее для производства, и это с лихвой окупит наши мнимые финансовые потери.

Верил ли он тогда в свои слова?

Да, верил. Хотя и понимал, что для того, чтобы чего-то добиться, нужны не месяцы, не годы, а, может быть, деся-

тилетия. Понимал и все-таки бросил вызов зеленому змию, этим как бы подчеркивая свою решимость отомстить за брата и свой стыд. «Человек велик и благороден только тогда, когда своим разумом и своей волей он умеет обуздывать низменные страсти и сохранить сердце для истинной любви, жажды труда, борьбы за осуществление своей цели, ибо только это и составляет суть разумного существа, пытающегося создать более совершенный мир»,— думал Даниелюс.

Через несколько месяцев выяснилось, что его затея обречена на провал, а еще через месяц раздался звонок из Вильнюса: ты что, Гиринис, трезвенника епископа Валанчюса [1] из себя изображаешь?..

«...Не изображаю, а пытаюсь что-то сделать...»

...Тротуары запружены по-зимнему одетыми людьми, снующими мимо витрин магазинов. Свежим снегом замело парки и скверы. Заиндевели вывески учреждений. Мосты, словно коты, дремотно выгибают спины над Нерис, которая тихо шелестит шугой; нынче река, видно, не станет, нет у нее охоты надевать ледяной панцирь. Город перемахнул через нее, вскарабкался на холмы Шяшкине, обняв широкими крыльями многоэтажных зданий свою славную старину — от Лаздинай и Каролинишкес до Жирмунай и зеленых сосняков Валакампяй. Молодой, но усталый город глядит на маячащие вдали шпили костелов, застывших посреди муравейника домов, а над этим муравейником взмывает в небо телебашня, побившая все рекорды высоты. А справа и слева то там, то сям из фабричных труб поднимаются клубы черного дыма, и чуткий, привыкший ко всяким запахам нос горожанина даже не чувствует его.

Даниелюс потихоньку, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться открывшейся перед ним картиной, спускается по лестнице с горы Таурас; он подавлен величием города, которое всегда завораживает его, когда он оказывается среди этой полумиллионной массы, города, втягивающего в свой бездонный желудок все новые и новые жертвы и с каждым днем все больше покрывающего своим ненасытным телом песчаные холмы Виленщины.

Шумный уличный поток подхватывает Даниелюса, и он, не раздумывая, куда идти, плывет со всеми вместе, как щепка по течению. Иногда приятно отдать себя во

---

[1] Мотеюс Валанчюс (1801—1875) — классик литовской литературы, епископ, боровшийся за трезвость.

власть стихии, даже очень приятно. Отдых... Если и думаешь о чем-то, то мысли твои легки, почти воздушны. Так бывает, когда слушаешь музыку или шорох леса. Нескончаемый грохот машин, шаги, разноголосый гул... Порой смех, неожиданный, громкий. Смотришь на спины идущих впереди тебя прохожих, на дома, на зимнее небо, тусклое и низкое, и тебе этого хватает. Город со всех сторон обступает тебя, и ты безропотно жмешься к его груди, с какой-то тревогой и боязнью прислушиваясь к мощным ударам исполинского сердца. Ты песчинка в этой снующей массе людей, но тебе ничто не грозит, ты в безопасности.

И вдруг...

Даниелюс останавливается, словно перед ним выросла невидимая преграда. Кто-то налетел на него, выругался... Но Даниелюс и ухом не повел. Увертываясь от толчков, обернулся, глянул вслед уходящему. Плечи, спина, походка... Неужели Вадим Фомич? Зимой он любил носить длинное пальто с барашковым воротником и с такой же барашковой ушанкой, из-под которой сверкали пронзительные глаза, обрамленные густыми рыжими ресницами. Но у этого, пробежавшего мимо, вроде бы другое пальто и на голове облезлая папаха, но взгляд тот же, и крупное угловатое лицо со шрамом на правой щеке, и широкий лоб, и обвисший массивный подбородок, и тонкие волевые губы, и нос с горбинкой... Да, никаких сомнений, Вадим Фомич! Правда, похожих людей на свете много, но такой, как Вадим Фомич,— один-единственный.

V

Когда я и Вадим Фомич впервые встретились, мне показалось, что мы с ним уже когда-то виделись. Не только виделись, но и вместе что-то очень важное для нас обоих решали, хотя и не были друг с другом знакомы. Правда, после университета я работал директором школы в местечке Н., а Вадим Фомич в то время заведовал отделом в укоме партии и порой бывал в волостях, но не припомню случая, чтобы у нас были с ним какие-нибудь служебные дела. Только примерно через три-четыре года, когда я был избран председателем райисполкома и вызван в Вильнюс с отчетом, мы встретились с Вадимом Фомичом. Вместе с несколькими другими товарищами он сидел за длинным, накрытым красным сукном столом и время от времени

окидывал меня пронзительным взглядом, терпеливо слушая ораторов, но сам не промолвил ни слова.

Сейчас и вспомнить трудно весь ход того обсуждения, но суть его глубоко врезалась в память. Меня обвиняли, что я слишком сурово отношусь к некоторым хозяйственным новинкам (в частности, к такой редкой для Литвы культуре, как кукуруза), и связывали мой мнимый консерватизм с недоверием к политической линии нашего правительства в народном хозяйстве. Поскольку на одном из совещаний актива я высказался против штурмовщины, выразившейся помимо всего прочего в стремлении некоторых товарищей урезать личные участки колхозников (на мой взгляд, такие участки играли важную роль в производственных планах района), мне приписали и мелкобуржуазную ограниченность, отнюдь не совместимую с обязанностями председателя Совета рабочих и крестьянских депутатов. «Мы возлагали на товарища Гириниса большие надежды, но, к сожалению...» — разведя руками, многозначительно закончил один из выступавших. А другой с горечью заявил: «Товарищ Гиринис не оправдал доверия партии и правительства». Что же, все ясно. Оставалось поблагодарить за внимание и, прежде чем выйти, спросить, когда и кому передать дела.

Так бы я, пожалуй, и сделал, но тут попросил слова Вадим Фомич. Он сказал, что нам опасны не ошибающиеся, а равнодушные. Да и следует хорошенько подумать, ошибается ли Даниелюс Гиринис. Ведь каждый толковый хозяин, пекущийся о своем хозяйстве, прежде всего сеет не для того, чтобы сеять, а для того, чтобы собрать хороший урожай. И если район пока что только наполовину выполнил план сева кукурузы, то это еще не значит, что кого-то надо загодя винить; посмотрим, сколько зеленой массы получит район осенью. Что же до урезывания личных участков колхозников, то вряд ли такая инициатива заслуживает поддержки, пока до конца не решена проблема производства сельхозпродуктов.

— Руководство должно идти рука об руку с практикой,— закончил Вадим Фомич.— Инструкции и постановления, пусть они будут трижды прекрасными,— это еще не хлеб и не мясо. Я предлагаю выступившим пересмотреть свою позицию по отношению к товарищу Гиринису. Тем более что производственные показатели его района не дают оснований для таких строгих выводов.

Кто-то из ранее выступавших попытался было возразить Вадиму Фомичу, но другие не поддержали его, и об-

суждение вопроса пошло по другому руслу. Согласившись с мнением большинства («Цыплят по осени считают»), сторонники формального хозяйствования все-таки вкатили мне выговор, ибо «если смотреть сквозь пальцы на такое пренебрежение Даниелюса Гириниса к посеву кукурузы, его пример может отрицательно сказаться и на других районах...».

Не помню, кто из собравшихся, недовольных таким ходом обсуждения, усомнился в моей политической подкованности и посоветовал «товарищу Гиринису хорошенько позаботиться о своем идейном уровне». Вадим Фомич, не отрицая этого, сказал, что повышение политической сознательности никогда и никому еще не приносило вреда, и предложил отправить меня на учебу в Москву.

— Считаю постановку этого вопроса пока несвоевременной и неуместной,— строго заметил председательствующий.

Вадим Фомич смолчал, но, когда заседание кончилось, попросил меня зайти к нему.

Пробыл я в его кабинете с полчаса, но и этого было достаточно, чтобы мы, как говорится, раскусили друг друга. Я напомнил Вадиму Фомичу, что совсем недавно он работал в уезде, в который входит и наш район, и был крайне удивлен, когда он сказал, что хорошо помнит меня как тогдашнего директора школы и человека, на которого можно положиться.

— Я вам очень благодарен, Вадим Фомич, за понимание,— сказал я, прячась от его взгляда, доброго, но пронзительного.— Район не может отвести под кукурузу столько площадей, сколько требуется по плану, а распахать клевер было бы преступлением. Этого не одобряют не только рядовые колхозники, но и председатели колхозов. А не считаться с их мнением... Не знаю... Если мы осенью не выполним план по кукурузе — а так оно и случится, потому что на худой земле эта привереда не растет,— то нанесем удар по престижу руководящих советских органов и партийных организаций. А об ущербе сельскому хозяйству и говорить нечего... Поэтому не лучше ли посеять столько, сколько можно вырастить?

— Больше всего не уважаю и не терплю слепых исполнителей. Тех, кто поддакивает, кивает, поднимает в знак согласия руки, думает одним местом, а не головой.— Вадим Фомич уселся на краешек письменного стола, как подросток-озорник вытянув длинные ноги.— Человек, черт побери, должен мыслить! Раз ошибись, два ошибись, три, но

гори и отстаивай свою идею, стремись к цели, ищи оптимальные варианты решения, не сиди сложа руки! Пошевеливайся и других тормоши! Потому что там, где кончается движение, начинается гниение. А сколько таких гнилых в нашем обществе! Грибок перестраховки так и разъедает их, равнодушных, интересующихся только своей персоной! Пальцем не пошевелят, пока не нажмешь на соответствующую кнопку. Да и то, если рука нажимающая не чья-нибудь, а начальника... Равнодушие — страшная штука, мой друг!

Я что-то ответил. Вадим Фомич одобрительно улыбнулся, болтая свисающими со стола длинными ногами, но вдруг посерьезнел и сказал, что мне и вправду не мешало бы поучиться в Москве.

— Я не утверждаю, что вас ничему не научил университет,— добавил он.— Знания у вас немалые. Но надо знать еще больше. Ведь знание на плечи не давит.

Осенью я поехал учиться в Москву.

Когда через несколько лет я вернулся оттуда, первым, кто поздравил меня с новым назначением, был Вадим Фомич.

Мы встречались не часто — два-три раза в году, кроме тех редких случаев, когда я приезжал в Вильнюс по делу. Вадим Фомич занимал более высокий пост, чем я, но он никогда не кичился этим, напротив — был скромен, всегда приглашал к себе в гости, и я, бывая у него, чувствовал себя как дома. Тем же радушием старался отплатить ему и я, когда он приезжал в наш район,— зимой мы охотились, летом ловили на спиннинг щук или просто сиживали с удочками в лодке, любуясь красотой дзукийских озер. О чем мы только с ним не толковали: и о тонкостях политики, и об истории страны, и о разных проблемах экономики, и о бытовых мелочах. Вадим Фомич очень интересовался искусством, особенно литературой, и, когда я однажды признался, что пишу стихи, пристал ко мне, чтобы я что-нибудь прочитал из своих «творений». Внимательно выслушал, восторга не выразил, но мы еще больше сблизились, просто-напросто стали друзьями.

Фима недолюбливала Вадима Фомича, и он, надо сказать, не питал к ней симпатии, хотя оба это тщательно скрывали. «А, снова этот проповедник...» — говаривала Фима, узнав, что Вадим Фомич приезжает в гости. За столом она была внимательной и вежливой хозяйкой, но стоило Вадиму Фомичу отлучиться, как она принималась его оговаривать.

Особенно их рассорил один случай, а причиной были растущие с каждым днем наши разногласия с Фимой.

В то время у нас родился второй сын. Мысленно я себя бранил — зачем нам этот ребенок, если семейный воз и без того трещит? Дело в том, что я давно пришел к безоговорочному выводу, что наш брак с Фимой — роковая ошибка. Безвольная тряпка! У Фимы и впрямь есть основания презирать меня. В душе она, может, меня и презирала, но так или иначе была счастлива. Родился гений под знаком серпа и молота, он будет счастливее, чем его родители, повторяла она как заклинание. Младенцу шел только второй месяц, а мама уже строила планы на всю его дальнейшую жизнь: он-де пойдет в такую-то школу (в районе нет ни одной приличной), будет штудировать там-то и то... углублять свои знания... защитит диссертацию... Нет, лучше всего военная карьера. Военная академия... Генерал, а может, даже маршал... Перед ним — полки... Колонны танков и броневиков... Грозные ракеты...» «Товарищ командующий, по вашему приказу...» Я был уверен: Фима, должно быть, жалеет, что нет пышных эполет, они бы очень пошли ее сыну, который по своей импозантности не уступал бы самому Кутузову.

— Наш сын сам выберет себе профессию,— сказал я однажды.— Откуда ты знаешь, может, он будет ученым, как мой брат Повилас, или, может, поступит на журналистику?

— Если и поступит, то только не здесь, не в этой провинции,— отрубила Фима.— Сыну нужен простор. Я его здесь, в этой вашей клетке, не собираюсь держать!

— В нашей?

— Да, в вашей!

— Чего ж ты сама в эту клетку?..

— Разве я одна? Вот и Вадим Фомич тоже... Без нас вы бы давно здесь ножки протянули...

Не помню, что я ответил. Знаю только, что вмешался Вадим Фомич и как бы подлил масла в огонь. Оба мы слушали, как Фима разоряется,— Вадим Фомич сердито, приглушенно, а я терпеливо, потому что к таким ее выпадам давно привык. Она не понимала, что, смешивая с грязью то, что для меня свято: обычаи моих отцов, культуру, историю — раз за разом рубила сук, на котором сидела сама.

Вадим Фомич не выдержал:

— Полноте, Ефимья Никитична, мне стыдно вас слушать.

— Давайте не будем слишком добренькими, нечего приписывать свои заслуги другим. Кто кровь за других проливал, кто от фашизма освобождал, как, скажем, мой отец и оба старших брата, наконец, вы сами, Вадим Фомич, а кто в это время в окошко спокойно поглядывал, ждал, чем это все кончится... Нет, Вадим Фомич, так не годится...

— Все советские народы ковали победу, Ефимья Никитична, все...

— Может, кто-то и ковал, только не мой муж со своими...— Фима презрительно махнула рукой.

— Для того чтобы нас другие уважали и любили, мы должны платить такой же любовью и уважением,— сказал Вадим Фомич.— Когда находишься у соседа в гостях, то и вести себя подобает как гостю, незачем указывать хозяину, где он должен в своей избе стол поставить, как его накрыть и чем угощать. Может, нам с вами и смешно, что он хочет разуться во дворе или в сенях за дверьми, но оставим ему это право...

Фима отрезала, что нечего мириться с «их» дикими обычаями и, обозвав Вадима Фомича птицей, гадящей в собственное гнездо, выскочила из комнаты, оставив нас одних за столом.

Мы оба долго молчали.

— Если бы вы друг друга любили...— наконец промолвил Вадим Фомич.— Любовь все сплавляет воедино.

— Да,— сказал я, боясь вздохнуть.— Самая большая вина в этом — моя: в нужный момент твердости не проявил. Мне стыдно признаться, но чем дальше, тем больше убеждаюсь, что женился-то я из страха, шума испугался, Фима грозила поднять его, думал, повредит моей карьере. Хотя, с другой стороны, ни я сам, честно говоря, не думал, ни вы, Вадим Фомич, наверное, не предполагали, что у меня задатки карьериста... Как бы там ни было, я презираю себя за этот поступок и никогда себе этого не прощу.

— Не простите? Ну и что? Разве вы будете счастливы от угрызений совести? — спросил Вадим Фомич.— Вообще-то я не сторонник разводов, но иногда они — единственный выход. Конечно, никто не гарантирует, что разведенные свое счастье найдут, но у них хотя бы больше возможности искать его. А счастливая семья — это залог счастливого общества.

Этот вывод показался мне логичным, и я не мог с ним не согласиться.

В тот же вечер Вадим Фомич откланялся, хотя собирался уехать только на другой день вечером. На прощанье он крепко пожал мне руку и, обняв, поцеловал в обе щеки.

Меня просто поразила неожиданная его сентиментальность. Я успел сказать ему, что мне было бы приятно видеть его почаще в своем доме, и пригласил его на именины моего младшенького, которые должны были состояться через месяц. Вадим Фомич обещал, но слова своего не сдержал, прислал письмо, в котором, передав свои добрые пожелания имениннику, коротко и невнятно объяснил, почему не может приехать. Не приехал Вадим Фомич и на районный праздник урожая, который для него всегда был хорошим поводом навестить нас. Правда, зимой он раза два наведывался — на охоту и на подледный лов рыбы, но останавливался в гостинице: зачем, мол, доставлять лишние хлопоты Ефимье Никитичне. Короче говоря, встречи наши стали реже, хотя каждый раз, когда я бывал в Вильнюсе, Вадим Фомич с той же искренностью, что и раньше, звал меня в гости, к себе в дом, где меня всегда встречали тепло и радушно.

Так прошло несколько лет.

Однажды жарким летним днем Вадим Фомич неожиданно позвонил в двери нашей квартиры. Я не удержался, даже вскрикнул от радости, но гость остудил мой пыл, сказав, что приехал ненадолго, только попрощаться в связи с переводом на работу в другую республику.

Я долго не мог обрести дар речи.

— Нечего унывать, братец,— широко улыбаясь, сказал Вадим Фомич.— Важно, чтобы сердца не отдалялись. А расстояния в наш век ничего не значат.

Фима не скрывала своего удовлетворения.

— Желаю вам всяческих благ, Вадим Фомич,— сказала она тоненьким голосом на прощанье. И когда он уехал, добавила:— Так и обрастает человек пылью чужих дорог, кочуя из республики в республику.

Я долго не мог свыкнуться с мыслью, что потерял, можно сказать, близкого человека. «Расстояния в наш век ничего не значат...» Нет, дорогой Вадим Фомич, значат, и очень много значат. В свободный денек не сядешь в самолет, чтобы навестить друга, не отправишься за тысячи километров, потому что и своих дел невпроворот. Да и не могу к тебе выбраться, хотя каждый раз, когда вспоминаю тебя, печаль сжимает мое сердце. И вместо того чтобы собрать чемодан в дорогу, я пишу тебе письмо, выкладываю, что наболело, и питаю робкую надежду, что дела

наконец сложатся так, что мы сможем по-дружески обнять друг друга. О том же пишешь и ты, уповая на такую же встречу...

Да, пока что только письма. Туда и оттуда. А письма, как известно,— это только заменитель живого слова и крепкого мужского рукопожатия. Неудержимо бежит время. Понемногу остывают чувства, притупляется память, даже если она и хранит нашу с тобой дружбу.

VI

— ...Алло, алло! Ты слышишь меня, Юргита?

— Слышу, слышу, дорогой, говори.

— Помнишь, я тебе не раз рассказывал о нем? И частенько ловил себя на мысли, что было бы очень хорошо с ним встретиться. И вдруг вижу — он, мой Вадим Фомич, идет мне навстречу! Я остановился как вкопанный, не мог поверить своим глазам. А потом бросился вдогонку. Какая-то непостижимая сила несла меня вперед. Я уже почти не сомневался, что это не он, а все-таки бежал, продирался сквозь толпу, не сводя глаз с папахи. В один момент я потерял ее из виду, но она снова мелькнула, и я, ясно сознавая свою глупость, взял того, в папахе, за плечо. Он повернулся и удивился. На меня смотрело незнакомое лицо... Мне стало как-то не по себе, побеспокоил чужого человека. Странная ошибка... Правда? Что-то необыкновенное...

— Потому что ты сам необыкновенный... Я очень соскучилась по тебе.

— И я по тебе, Юргита. Считаю часы, оставшиеся до нашей встречи. Только подумай: целых три дня, три долгих дня и ночи мы не виделись! Почти восемьдесят часов. Одно утешение, что завтра снова будем вместе... Поверь, мне хотелось все бросить и мчаться домой...

Она хотела было сказать, что вчера тоже чуть не сделала ему сюрприз: думала сесть в самолет и прилететь в Вильнюс. Еще минута, и эти слова слетели бы с уст, но она вдруг почему-то раздумала: пусть это лучше останется маленькой тайной. Конечно, она когда-нибудь откроет ее Даниелюсу. А вместе с тем и то, о чем она сейчас спокойно подумать не может, осуждая себя за легкомысленность.

Разговор оборвался, но в ушах Юргиты еще долго звучали слова Даниелюса, его мужественный голос, да и он сам

стоял перед глазами как живой, только протяни руки — и он подхватит тебя и прижмет к себе.

— Хозяин звонил? — спрашивает Алюте.— Вы так говорили, что даже дух захватывало.— На глаза Алюте навертываются слезы.— Это редкость, чтобы люди друг друга так любили. Так хорошо на душе, дорогуша моя, оттого, что вы счастливы.— Алюте утирает лицо передником и прикрывает за собой дверь в кухню — нечего своим шмыганьем портить настроение хозяйке.

«Счастливы...» Юргита съеживается, словно слово это тяжелым камнем упало у ее ног. В последнее время она все чаще замирает, когда слышит или сама его произносит. «Счастлива... Да, я счастлива... Очень счастлива...» — шепчет она упрямо, чуть ли не сердясь, словно кто-то ей перечит.

Подавленная, она направляется в спальню. Разложив между кроватями и шкафом игрушки, здесь хозяйничает сынишка Лютаурас. Юргита удивлена: пять минут тому назад ребенок спал и вот уже снова играет. Она чуть не проговаривается, что звонил отец. Мог бы с ним поговорить и Лютаурас. А теперь зачем бередить детскую душу?

Увидев мать, Лютаурас засыпает ее вопросами, не по возрасту серьезными и прямыми.

— Мудрец ты мой,— говорит Юргита, усаживаясь рядом с ним на ковер.— Так что мы с тобой будем сейчас делать?

— Я город строю. Когда построю, налетят самолеты и разбомбят его. Ты будешь противником,— выкладывает свои планы мальчуган.

— Нет, лучше я помогу тебе строить. Не надо войны, Лютаурас. Умные люди работают, а не воюют,— объясняет Юргита, гладя его светлую головку. «Когда подрастет, волосы потемнеют. Глаза большие, синие. Весь в Даниелюса».

— Люди все делают,— не соглашается Лютаурас.— Строят, разрушают и снова строят. Войны, говорит Алюте, нужны, чтобы людей перебить, когда их слишком много.

— Алюте? — кусает губу Юргита.— Ты лучше нас с папой слушай, а не то, что во дворе болтают.

— Алюте знает... Так ты будешь противником? Сейчас давай строить, потом объявим войну, налетят самолеты... Как по телевизору. Хорошо, мамочка?

— Нехорошо, Лютаурас.— Юргита долго и терпеливо объясняет сыну, какое это несчастье война («Ты потерял

бы папу и маму...»), пока мальчуган не отказывается наконец от своей затеи.

— Лучше я тебе сыграю, хочешь?

«Вот так и растут дети под присмотром чужих,— огорченно думает Юргита, садясь за пианино и начиная играть «Детский уголок» Дебюсси.— Мать целыми днями пропадает в редакции, отец целыми днями занят в райкоме. Учим других жить, воспитываем, а свой ребенок словно подкидыш...»

— Сегодня, Лютаурас, я никуда не пойду,— улыбается Юргита, прижав мальчугана к груди.— Мы будем вместе и после обеда, и весь вечер.

— Когда ты, мамочка, дома, мне так хорошо. Ты такие интересные игры придумываешь и такие сказки рассказываешь... И Алюте умеет, но с тобой лучше.

Юргита утыкается головой в плечо Лютауараса, с трудом сдерживает себя, чтобы не зарыдать в голос: «Ах, ты моя милая букашечка, моя любовь, простишь ли ты своей маме, когда вырастешь, что она так мало с тобой была в детстве?»

Наобнимавшись и наигравшись вдоволь, они отправляются в город. Лютаурасу интересно гулять, особенно с мамой, она столько знает и так хорошо объясняет. Больше всего ему конечно же нравится каток, там столько детей, а среди них и такие малыши, как Лютаурас. В другой раз он явится сюда с коньками — мама обещала купить. Замечательный сегодня день!

Юргита сидит у кроватки, пока глубокий сон не одолевает уставшего от дневных впечатлений мальчугана. Она счастлива, что хоть сегодня выполнила свой долг матери. Слышно, как крупные капли дождя стучат по обитому жестью подоконнику. Во дворе громко переговариваются мужчина с женщиной. Кто-то цокает каблучками по тротуару. Ну и зима — три раза выпал снег и три раза растаял. А ведь еще вчера, когда они возвращались с Малдейкисом из Лаукувы после подписания договора о соцсоревновании, ударил морозец, и все предметы казались удивительно яркими на фоне заснеженной земли.

VII

В глазах еще мерцало зимнее звездное небо, черная бездна которого разверзлась над головой, когда Юргита вышла во двор. С ней часто так: ни с того ни с сего врежется

и память какая-нибудь картина, и Юргита долго не может от нее отделаться. «Я привезу с собой единственный гостинец — полоску звездного неба...— улыбнулась она странной и неожиданной мысли.— С искусственными спутниками земли... Космический пирог...»

— Я, наверное, вам помешал,— извинился Малдейкис.— Обдумываете, наверное, статейку для газеты.

— Нет, товарищ Аполинарас. Сижу и с удовольствием уплетаю гостинец.

— Какой гостинец? А! Юркшайтис догадался — что-то в дорогу положил? Радушные люди. И мне в багажник бочонок пива вкатили. Так, может, скинемся и пороскошествуем? Найти бы только удобное местечко...

— Можете не искать, товарищ Аполинарас.— Юргита снова загадочно улыбнулась, поймав взгляд Малдейкиса, брошенный украдкой на дорожную сумочку, стоявшую у ее ног.— Мой гостинец не в вашем вкусе.

Малдейкис только разинул рот, но тут машину занесло так, что она несколько секунд металась от одной канавы к другой, пока не подчинилась водителю и не застыла поперек дороги.

— Лодыри! Не могут щебенкой посыпать...— Малдейкис вытер вспотевший лоб.— Еще чуток, и мы бы с вами в канаву сиганули. Тогда уж без трактора ни туда ни сюда.

— Может, надо было через Лаукуву? — опомнившись от испуга, сказала Юргита.

— Когда едешь с женщиной, все дороги опасны,— лукаво возразил Малдейкис и включил зажигание.— В конце концов, застрянь мы где-нибудь, что тут плохого? Ведь мы не в тайге, не в тундре, кто угодно на ночлег примет, постелет, и не обязательно отдельно...

— Не пугайте, товарищ Аполинарас.

— Простите. Язык мой — враг мой, Гита. Позвольте мне вас называть Гитой, ладно? Это и короче, и оригинальней.— От интимности голос Малдейкиса стал глуше.— Да и вы меня просто — Полис. Договорились?

— Нет, не договорились, товарищ Малдейкис. Пусть все будет как прежде, так лучше всего.

— Простите, я не хотел вас обидеть. Но что поделаешь, частенько расплачиваюсь за свое панибратство. И знайте, меня совершенно не интересует ни ваше семейное положение, ни профессия — вы для меня женщина и только женщина.

«А ведь не врет»,— мелькнуло у Юргиты.

Аполинарас Малдейкис продолжал:

— Жена моя в райисполкоме работает. Завотделом. Инженер. Несколько лет назад кандидатскую защитила, упорно в доктора рвалась. Вбила себе в голову, что это единственный способ не отстать от мужа и удержать его в своих руках. Не может, бедняга, логики постичь: настоящему мужчине нужна женщина, а не ее степени и звания.

— А ведь было время, когда вы эту женщину любили? — мягко заметила Юргита.

— Да, пока она была женщиной.

— А кто ее такой сделал?

— Я не оправдываюсь. Но, согласитесь, любовь зависит от двоих.

— Я не утверждаю, что от одного.

— Перед женитьбой каждый в той или иной мере испытывает любовный голод,— витийствовал Малдейкис, укротив скользившую по наледи машину.— А женившись, насыщаются до отвала и через какой-нибудь год-другой теряют аппетит. Нет, Гита, такой любви, какой ее представляют идеалисты и романтики, нет на свете. Она только для начала, для того, чтобы свести мужчину и женщину, для приманки, как запах цветка для пчелы. Отсюда, наверное, и название: медовый месяц. А после начинается нормальная жизнь: воспитание детей, борьба за кусок послаще... Да, да, дорогая Гита, за кусок послаще... Не какие-нибудь там абстракции, именуемые любовью, а именно кусок определяет, так сказать, жизнедеятельность человека. Нет, я не отрицаю, любовь, она в моей жизни играет важную роль, но это только вспышка молнии; после того, как она гаснет, ты слышишь только монотонный шорох дождя. Можно прекрасно уживаться без любви. Привычка, дружба... Но для того чтобы плод, так сказать, завязался, этого мало. Есть такое классическое выражение: он (или она) — плод любви. Все мы плоды любви. Плоды мгновения, вспышки молнии. Я не представляю себе, как можно лечь в постель без того накала чувств, имя которому любовь.

— Ну, знаете...— Юргита пыталась скрыть смущение.— Ваше понимание любви применимо ко всему живому на земле, кроме человека.

— Человек тоже биологическая единица. Он подчиняется законам природы,— запальчиво возразил Малдейкис, упиваясь своим красноречием.

Юргита ничего не ответила.

Молчал и Малдейкис, собирая силы для дальнейшего штурма.

Машина едва двигалась по скользкому обледенелому

большаку. Когда ее заносило, Юргита через переднее стекло видела усыпанное звездами небо. «Вспышка молнии...» — лениво думала она, охваченная каким-то леденящим равнодушием.

И вдруг, как это бывало с ней в минуты душевного подъема, она ни с того ни с сего мысленно перенеслась на миг в суровую позднюю осень, когда ноябрьский ветер срывал с деревьев листья и когда она до боли жалела о том, что никогда не сумеет увековечить на холсте то, что остается на всю жизнь самым дорогим воспоминанием. «До сих пор я не любила это время года — слякотное, грязное, с безнадежно короткими днями, а теперь оно для меня стало самым прекрасным»,— сказала она тогда Даниелюсу, сидя рядом с ним на заднем сиденье машины. «И для меня»,— ответил он взглядом, и улыбка вспыхнула на его лице. В тот миг он казался ей каким-то всемогущим волшебником — пожелал, чтобы автомобиль превратился в старинную карету, и вот они оба катят в ней, сказочный принц и принцесса, послушные удивительным чарам и — хоть ненадолго — оторвавшиеся от повседневности. Запряженная в королевскую карету четверка лошадей несется по курортному городку, зябко съежившемуся под серым войлоком облаков, сквозь которые редко пробивается луч зимнего солнца. «Мы дезертировали из своего столетия, дорогой, и не можем считать себя его истинными детьми, которых запах бензина должен волновать больше, чем конский пот»,— шептала она, прижимаясь к Даниелюсу.

А королевская карета все неслась и неслась... Как во сне, увиденном когда-то в детстве, как в волшебной сказке, которую они сейчас сами для себя придумали. Дома и деревья тонули в таинственном осеннем тумане, в котором, словно какие-то заколдованные гномы (или схожие с ними рыбы на дне морском), мелькали люди. Бесцветные, тусклые, как и всё вокруг в тот незабываемый полдень, как бы предназначенный самой судьбой для их счастья. Как сказочные боги, колесили они вдвоем по устланному золотой чешуей морскому дну, а гномы-рыбы оборачивались и удивленными взглядами провожали их, диковинных пришельцев из другого мира. «Я боюсь, что проснусь»,—шептала Юргита, лихорадочно сжимая руку Даниелюса. «Успокойся, милая,— шепотом отвечал он, склонившись над ней.— Нас усыпили, и этот сон называется счастьем. И разбудить нас может только смерть. Но мы с тобой никогда не умрем, потому что мы боги». Это она могла повторить вместо брачной клятвы в загсе той женщине, матери четырех

детей с благородным лицом мадонны, на котором, словно в зеркале, отражались чужая радость и печаль, той женщине, которая руководила их бракосочетанием. Но в тот торжественный миг любые слова казались мелкими и никак не могли выразить их чувств. Поэтому она только улыбалась, глядя сверкающими глазами на Даниелюса, который тоже улыбался и в растерянном взгляде которого можно было угадать отчаянное желание сказать что-то возвышенное. Она готова была поклясться, что в жизни не видела более красивого мужчины, чем он. Такого близкого, умного, благородного, понимающего ее с полуслова, готового сделать для нее все что угодно. Модно причесанные волосы с проседью очень молодили его лицо, кое-где изрезанное морщинами, которые тоже не старили, а придавали достоинство и одухотворенность. Влажные от тумана щеки высохли, но на густых бровях еще посверкивали капельки. Охваченная неожиданной нежностью, Юргита привстала на цыпочки и прикоснулась к ним губами. Мать четырех детей с лицом мадонны растрогалась до слез, хотя за время своей службы в загсе видела не одну счастливую пару.

А через несколько дней неожиданно выпал снег. Они стояли у гостиничного окна и смотрели на белую сказку точно так же, как тогда, когда познакомились, и перед взором каждого проносилось безгрешное детство. Студеные зимние вечера, весело потрескивающие в печи поленья, бабушкины сказки, вороны, каркающие на заснеженных большаках. «Сколько надо было пройти и сколько надо было выстрадать в одиночестве, пока мы нашли друг друга...» — — —

— Очень...— досадливо бросила Юргита, раскусив его хитрость. Она хотела отчитать Малдейкиса и потребовать, чтобы он больше не ловчил, завел мотор и ехал дальше, но почему-то побоялась показаться смешной и банальной.— И мы в поисках этой романтики отъехали километров пятнадцать в сторону?

— Да, виноват. Признаюсь.— Малдейкис снова захлопнул дверцы и откинулся на сиденье.— Противная дорога. Устал. А до Епушотаса еще километров двадцать. Противная дорога — это еще полбеды. Но вот прелестная женщина, которая хотя и рядом, но абсолютно равнодушна к тебе... Чертовы нервы, раздерганы до крайности, понимаете? Сам дивлюсь, как очутился у этого забора. Видно, не я вел машину, а леший.

Юргита рассмеялась:

— Вы выбрали себе профессию не по призванию, товарищ Аполинарас... Может, не поздно еще испытать свои силы на сцене какого-нибудь народного театра?

— Так что будем делать, Гита? — спросил Малдейкис, беспомощно развалившись на сиденье.— Передохнем в этом домике на курьих ножках, как рекомендуют в таких случаях правила дорожного движения, или, плюнув на смертельную усталость, двинемся вперед, хотя авария почти обеспечена?

— Может, рискнем.

— Вы храбрая женщина,— тяжело вздохнул Аполинарас и повернул ключ стартера. Раз, другой. Но мотор только чихнул и замолк. Попутчик Юргиты еще раз попробовал включить зажигание, но, ничего не добившись, вылез из машины и, откинув капот, принялся копаться в моторе.— Черт побери, неужели беду накликал? — сказал он, сев за руль. И в самом деле, сколько он ни поворачивал ключ стартера, двигатель не издал ни звука.

— Да не мучайтесь,— насмешливо произнесла Юргита.

— Не верите? — Малдейкис сидел расстроенный, вперив бессмысленный взгляд в дорогу, видневшуюся сквозь переднее стекло и тускло освещенную подфарниками.—Ах! И чего эта любовь не выделывает с человеком!

Юргита вызывающе расхохоталась.

Не прошло и десяти минут, как они уже сидели в домике у окна. Камин был полон дров и хвороста, оставалось только разжечь. Рядом с ним высилась кучка березовых чурок — про запас. Поначалу неприятная прохлада сочи-

лась сквозь одежду, но мало-помалу огонь разгорелся так, что Юргита и Малдейкис должны были отодвинуться вместе с креслами подальше от него.

Малдейкис встал и, не спросясь, погасил свет. Повернувшись боком к камину, Юргита смотрела на заиндевелые — во всю стену — окна домика, на мечущиеся таинственные тени и совсем не досадовала на это ночное приключение. Ей вдруг вспомнился давний вечер с Ричардасом, вспомнился только на одно-единственное мгновение. Пронесся мимо, как пассажирский поезд, ярко сверкнул окнами и скрылся в ночной темноте. И оставил только грусть, обременившую сердце. Будь рядом близкий человек... Но где он? За сотни километров. Занят — дела, дети...

«Если бы Даниелюс не уехал, я бы здесь не сидела...» — посетовала Юргита.

— Вы все еще заняты самосозерцанием? — произнес с хрипотцой Малдейкис.— Может, сухого вина выпьем?

«Да. Возьму и выпью,— пригрозила она кому-то.—Почему бы не развеяться с интересным мужчиной, если рядом своего нет?» А вслух сказала:

— Здесь есть даже вино? Вы просто маг и волшебник, товарищ Аполинарас.

Малдейкис скрылся за камином и вскоре появился, держа в руках бутылку испанского вина и два фужера.

— У каждого свое хобби. Кто собирает почтовые марки, кто пописывает плохие стишки, а я больше ценю любовь, нежели графоманию.

— Златоуст вы, товарищ Аполинарас, непревзойденный.— Юргита прищурилась от пламени и протянула руку к полному фужеру.— Думаю, удайся вам один стишок, вы бы их всю жизнь писали. И не только писали, но и забросали бы ими все редакции. А для Даниелюса это только забава.

Малдейкис, сердясь на себя за то, что обидел Юргиту, стал извиняться. Да, она права, графоман не тот, кто пописывает стишки для своего удовольствия и знает им цену, а тот, кому его собственные вирши кажутся гениальными и кто старается их во что бы то ни стало пристроить...

— Даниелюс — наивный ребенок,— серьезно закончил Малдейкис, подняв фужер и взглядом подбодрив Юргиту.— Сочинительство для него — игра, забава. А

разве можно, Гита, завидовать ребенку, играющему с куклой?

Юргита пригубила вина. Камин жарко пылал. Она обмякла, слегка кружилась голова. «Игра... Да. Если я его люблю, то и за это... за его ребячливость...»

— Какими бы его стихи ни были, они замечательны уже тем, что, сочиняя их, он как бы отряхивает с себя пыль будней. Немногие люди обладают такой способностью к обновлению, как...

— А вы не выдаете желаемое за действительность?

Она вздрогнула и уставилась на Малдейкиса: усомнилась, это его слова или ее внутренний голос.

— Вы что-то...

— Да.— Он придвинулся к ней поближе.— Разрешите, я вам долью?

Она покачала головой и метнула взгляд на свои часики, висевшие на шее.

— Уже за полночь. Пора кончать наши романтические посиделки.

— Прекрасные посиделки, позвольте заметить. Пока буду жив, не забуду вашего лица, озаренного мерцающим светом камина...— Малдейкис опустился на колени, обхватил ее ноги и осыпал их пылкими поцелуями.— Будьте моей... моей... моей...— бормотал он, уткнув голову в ее подол.

Юргита вскочила.

— Подайте мне шубу,— приказала она, покраснев.

Малдейкис, опомнившись вдруг, поднялся.

— Да, пора ехать,— покорно произнес он.— Простите меня. Когда вы рядом, я теряю голову.

— Не надо, товарищ Аполинарас.— Юргита злилась на себя за то, что голос ее звучал не так строго, как ей хотелось.

— Знаю, что не надо, но...— Малдейкис накинул на нее шубу и на миг прижал к себе. Но отпустил раньше, чем Юргита успела повернуться к нему.— Простите...

Юргита махнула рукой и направилась к дверям. Последние слова Малдейкиса были искренними и правдивыми.

VIII

С грохотом приближался поезд.

Юргита стоит на перроне, смешавшись с толпой. Сотрясая землю, мимо проносится паровоз в мокрых пятнах копоти, обдавая лица смрадом топлива. Вот и первый вагон. Второй, третий, четвертый. Тусклые лица за пыльными окнами. Стук колес, скрежет тормозов.

А вот и Даниелюс. Спрыгивает с разбухшим портфелем в руке со ступенек вагона, спешит, улыбается, счастливый, истосковавшийся.

— Я все время думал о тебе, Юргита,— говорит он, чмокает ее, берет под руку и направляется к машине, ждущей у здания вокзала.— Я почему-то все время беспокоился, как бы с тобой чего-нибудь не случилось. Так волновался, что, не будь я седым, наверное, поседел бы.

— А я сегодня у зеркала вырвала два седых волоса...

— А зачем ты это делаешь? Для меня ты всегда красивая. Да, как там наш Лютаурас? Наш львенок? [1]

— По нескольку раз на дню спрашивает, когда ты вернешься. Скажи я ему, что сегодня утром, он бы всю ночь не спал. Уж очень ему хотелось тебя встретить.

— Ишь какой! — улыбается Даниелюс, стискивая руку Юргиты.— Выходит, он меня и вправду любит! Раз так, то я не зря подарок купил ему.

— Ему?

— Да, нашему львенку. Совсем случайно набрел на коньки его размера...

— Что?

— Коньки. Почему ты так удивлена?

— И я обещала ему купить. Ты просто чудо!

Гедрюс Люткус стоит у открытой задней дверцы автомобиля, добродушно улыбаясь шефу.

— Как дела, Гедрюс?

— Порядок, товарищ секретарь.

Мужчины пожимают друг другу руки, и все усаживаются в машину: Люткус — за руль, Даниелюс и Юргита — на заднее сиденье.

— Знаешь, мне куда спокойнее, когда ты уезжаешь и возвращаешься поездом. Чаще всего разбиваются на машинах.

---

[1] Лютаурас — старинное литовское имя, в переводе — лев.

— Не говори так, пока до дому не доехали,— смеется Даниелюс и шарит правой рукой в кармане пальто.— Мы с Гедрюсом суеверные.

— Тьфу, тьфу,— Юргита как бы плюет через плечо.— Да ведь и я такая же. А вы, Гедрюс, тоже боитесь за свою жизнь?

— Чего мне бояться. Чему быть, того не миновать. Был у меня один знакомый, пожилой мужчина. Всю войну от Сталинграда до Берлина прошагал, а погиб на тротуаре: упала с крыши ледяная глыба и убила.

— Все равно на душе спокойнее, когда ты едешь поездом.

Даниелюс обеими руками сжимает ладонь Юргиты и надевает на ее безымянный палец прохладное кольцо.

Юргита молчит, как бы привыкая к нежданному подарку. Потом, не обращая внимания на водителя, прижимается к Даниелюсу и целует его.

— Теперь я верю, что думал обо мне,— лопочет она, разглядывая изумрудный глазок на кольце.— Мы с Лютуласом счастливы.

— И я,— говорит Даниелюс и прижимается губами к руке Юргиты.

Дома Даниелюс совсем тает. В квартире уютно, пахнет печеным, в вазах свежие цветы. Лютаурас радостно кричит, кувыркается. Ах, как приятно, когда папа возвращается из поездки! С какой несказанной радостью встречал и он, Даниелюс, отца, когда тот по вечерам возвращался из леса! Промерзшая краюха хлеба — заячий пирог — была такой же вкусной для него тогда, как сейчас для Лютауараса конфеты.

— Будем пировать,— игриво говорит Юргита.— И знай, Алюте к этим блюдам и пальцем не притронулась. Все я сама. В твою честь.

Да и самой Алюте дома нет: отправилась на несколько дней в гости к сестре.

На столе жареный гусь с яблоками, холодец из свиных ножек и фирменные блюда Юргиты, которые так любит Даниелюс: пикантные салаты нескольких сортов, селедка с белыми грибами... А в самом центре стола, на деревянном подносе, румяный воскресный пирог, нарезанный красивыми кусочками, тоже творение рук Юргиты, придающее всему праздничность и торжественность. Даниелюс вдыхает аппетитный дух, наслаждается уютом и теплом семейного очага, и снова откуда-то из глубин памяти выплывает,

как удивительный сон, детство: пылающая жаркими углями пасть печи, а перед ней вспотевшая мать, разглаживающая мокрыми ладонями пышное ржаное тесто на лопатке. Кадка, стоящая меж двух табуреток... ведра... подпирающая заслонку кочерга...

— Что с тобой, милый? — тревожится Юргита, заметив изменившееся лицо Даниелюса.

— Ничего. Просто твой пирог всегда напоминает мне о чем-то очень дорогом. Спасибо тебе, моя хорошая.

— Маму мою благодарить надо, а не меня. Это она меня научила. А ее научила бабушка. Если у меня родится дочь, то я, по семейной традиции, передам ей свой пекарский опыт,— улыбается Юргита.

Но Даниелюс не склонен шутить.

— Нынче не часто встретишь дома, где пахнет маминными пирогами,— говорит он, с нежностью глядя на жену.— Такие женщины, как ты, Юргита, в наше время редкость. Всецело отдать себя семье — это куда более высокий удел, чем корпеть где-нибудь в конторе за столом и таким способом тягаться с мужчинами за равноправие,— заключает Даниелюс, наливая шампанское в тонконогие хрустальные бокалы.

— Истинный удел? Благодарю за комплимент, мой милый. Да вы же сами соблазнили женщину привилегиями, раньше принадлежавшими только вам, мужчинам. Сейчас мы равноправные и самостоятельные. Хотя, честно говоря, иногда так хочется вернуться к рабству. Пусть ненадолго. Чтобы мужчина был твоим богом и владыкой, а ты — его обеспеченной рабой, но только не бесполым существом!..

— Что ж, за любовь,— говорит Даниелюс, подбадривает жену улыбкой, поднимает бокал.— Во всем мире творится что-то странное: мужчины превращаются в женщин, женщины — в мужчин. Остается только порадоваться, что сие глобальное явление нашей семьи пока не коснулось.

Юргита чувствует себя прекрасно, она весела, но изредка ее настроение омрачает то, что была не до конца откровенна с Даниелюсом, когда рассказывала о своей поездке с Малдейкисом. Правда, не скрыла, что тот пытался приударить за ней, но о домике в готическом стиле и о посиделках у камина и словом не обмолвилась. И сама этому дивилась, потому что обманывать Даниелюса не собиралась. Ну смолчала, успокаивала она себя (хотя сознательное умолчание ничем не хуже лжи), ну не хотела, чтобы

Даниелюсу было больно. Но это, как говорится, только одна сторона медали. Вторая, как она потом призналась самой себе, сводилась к тому, что Малдейкис, возможно, всерьез влюблен в нее. А смеяться над чувствами человека, какими бы ни были его намерения, негоже...

— Я никогда ничего не сделаю такого, что причинило бы тебе, дорогой, боль,— говорит Юргита, повергнув в удивление Даниелюса.— Клянусь! Никогда, никогда!

— Я верю тебе, Юргита. Но почему ты об этом говоришь?

— Не знаю...— отвечает Юргита, и глаза ее застилает туманом.— Вокруг столько грязи, хочешь не хочешь, запятнаешься. Если сама убережешься, то другой тебя ею, пролетая мимо, обдаст.

— Ты для меня всегда останешься незапятнанной. Меня не интересует, где, когда и что было.— Даниелюс прижимает к себе ее черноволосую голову.— Пусть тебя не мучат неприятные воспоминания.

Юргита кивает, по-детски шмыгая носом. Как хорошо, когда есть такие крепкие, надежные руки, которые могут обнять тебя, как хорошо, что есть такое преданное сердце! И как трудно умолчать о горькой правде ради того, чтобы оно было спокойным...

— Ах, какая я нехорошая, дорогой мой. Не успел ты ноги согреть, а я уже тебе настроение испортила. В такой день! Ну не эгоистка ли я? Даже не расспросила как следует, чем там все кончилось в Вильнюсе?

— — — —

что вылетишь из седла. Инициатива, говорят, это хорошо, но лучше, когда она согласована с верхами.

Ю р г и т а. Иначе говоря, инициатива сверху. А с детьми ты виделся?

Д а н и е л ю с. Да... Но я сразу об этом не сказал, думал, тебе будет неприятно.

Ю р г и т а. Почему? Дети — это часть тебя. А ты ведь весь мой.

Д а н и е л ю с. Спасибо, милая.

Ю р г и т а. Я думала, что твои дети могли бы стать и нашими, доставлять нам обоим радость и счастье.

Д а н и е л ю с. Да нет, вряд ли это возможно.

Ю р г и т а. Стряслось что-нибудь?

Д а н и е л ю с. Кажется, тех детей у меня больше нет. Я давно чувствовал, что понемногу теряю их, но у меня все-таки теплилась надежда — авось верну их. Хотя бы младшего. Он с самого детства льнул ко мне. Если бы я сразу после развода взял его к себе...

Ю р г и т а. Ты упрекаешь меня?..

Д а н и е л ю с. Юргита!

Ю р г и т а. Да, я виновата, что они лишились отца...

Д а н и е л ю с. Ах, не надо, дорогая!..

Ю р г и т а. Но и ты виноват, ведь по достоинству не оценил преданность любящей тебя женщины, думал, твои дети будут ей в тягость.

Д а н и е л ю с. Что ты! У меня нет никакого основания упрекать тебя. Просто я совершенно замотался... Позавчера я провел с ними весь день, и, представляешь себе, когда я поздно вечером пришел в гостиницу, у меня, честно говоря, было такое впечатление, будто я вернулся с похорон,— я умер для своих мальчиков. Конечно, как отца они меня не похоронили — все-таки вместе прожили не один год,— но мы друг друга не поняли. Фима с гордостью утверждала: это ее дети. Да, она права: теперь они ее дети в полном смысле этого слова. Правда, они меня открыто не презирают, однако смотрят на меня глазами матери. Тот, кто для Фимы ноль без палочки, и для них ноль, а кого она боготворит, на тех и они молятся. Мы исходили полгорода, который я люблю и перед которым преклоняюсь, как перед символом нашего прошлого, настоящего и будущего, и чья история мне дорога, но я ни разу не заметил, чтобы сердца их встрепенулись. Единственный раз они оживились — в универсальном магазине. Там я купил младшему магнитофон новой марки, а старшему — модный вельветовый

костюм. Мои дети продолжат род Гиринисов, но этого мне мало. Я хочу, чтобы они дорожили тем, что дорого мне.

Ю р г и т а. Может, младший согласится переехать к нам?

Д а н и е л ю с. Поздно, поздно...

Ю р г и т а. Лютукас, куда ты пропал? Иди сюда. Смотри, какие подарки тебе папа привез! Нет, нет, он тебе еще не все отдал...

Д а н и е л ю с. Садись рядом, сынок. Вот где настоящий Гиринис! Одно имя чего стоит — Лютаурас!.. Юргита, милая, прости, что я тебе поплакался в жилетку...

Ю р г и т а. Я тебя понимаю, милый.

Часть пятая

ТОСКА ПО ТЕНЯМ

I

Лето в самом разгаре. Кусты крушинника над Скардуписом усыпаны зеленоватыми горошинами завязавшихся ягод, а в старых усадьбах колхозного поселка, там, где была деревня Дягимай, цветут липы, от них струится приятный аромат меда, а в ветвях неистовствуют, жужжат пчелы. Пройдет неделя-другая, и зеленая одежда лета выцветет, желтизна пометит поля и посевы, каждый лоскуток, где, кажется, вчера еще весна расправляла свои цветастые крылья.

Йонас Гиринис проснулся, когда солнце только-только взошло, собрался было влезть в штаны, но раздумал, лениво закрыл глаза и проспал до самого завтрака. Когда он слезал с кровати, то почувствовал, что у него кружилась голова, какая-то слабость теснила грудь, все тело томила усталость. Но позавтракав, послонявшись по усадьбе, насытившись вдоволь свежим утренним воздухом, он воспрял духом. «Э, да разве поймешь старого человека,— успокоил он себя, радуясь, что дети не заметили его недуга.— Машина и та с годами начинает барахлить... Нет, нет, нового сердца никто не вставит, никто. Видно, откуковал свое. Мортяле, царство ей небесное, зовет...»

— Эй, вы, не забудьте... Послезавтра Даниелюс с Юргитой и внучком в отпуск пожалуют,— напоминает Йонас Гиринис женщинам, возвращающимся с огорода с охапками свекольной ботвы для свиней.

— Тоже мне отпуск — одна неделя,— машет рукой Юстина.

— Могли бы и на целый месяц, что тут такого?— гасит пыл свекра Салюте.— У нас что — накормить нечем, постелить негде? Вы, батя, не волнуйтесь, лицом в грязь не ударим.

— Смотрите у меня!

— Да если бы у нас нечем было, деревня накормила бы,— прыскает Юстина.— Все только и спрашивают, когда Даниелюс пожалует, каждый грозится в гости его позвать.

Старуха Ралене даже сладкий сыр с тмином собирается сделать: забыть не может, как секретарь велел своему шоферу остановиться и подбросить ее до Епушотаса.

— Нашла за что благодарить,— перебивает дочь Йонас Гиринис, но в голосе его нотки гордости,— Даниелюс что — барин какой, что ли, не сын Гиринисов? И я, коли в телеге место было, никогда не оставлял на дороге пешего, никогда не пролетал мимо.

— Никто и не говорит, что Даниелюс барин,— соглашается Юстина.— Люди его хвалят: каждого, мол, понимает, кого надо, мол, утешит, наставит... Эх, кабы таким для своих, для родни был...

— А чем, скажи на милость, тебя-то обидел?

— Чего там, не обижал... Но вот помочь Унте «Жигули» без очереди достать не желает...

— И правильно делает. Ты только подумай, если бы мы все стали порядок нарушать, что было бы? Я родился и вырос без этих ваших блатов, хочу, чтобы и дети мои о них не знали. А теперь что же получается — кто горазд, тот и хватает что получше да покрасивей, только бы обставить других! А уж мало кто о главном голову себе морочит — о чести, о совести...

Юстина и Салюте не хотят согласиться со стариком: кому нужен этот блат, эти знакомства, когда всего вдоволь?

Но Йонаса Гириниса голыми руками не возьмешь: человек должен быть человеком всегда и везде. Есть у тебя краюха хлеба, будь добр, поделись ею с другим, даже если придется от голодухи помереть.

— Благодетель...— ворчит Юстина. Она человек практичный, словами ее не проймешь.— Всякие паразиты таких добрячков только и ждут.

Йонас Гиринис нетерпеливо отмахивается от дочери (слушать ее — это все равно что черпать воду решетом) и сворачивает к сараю.

Поленница убрана — любо-дорого посмотреть, трава вокруг как будто гребнем причесана, ни единой щепочки. Дрова наколоты, под навес снесены. Хворост аккуратно вдоль всей стены до самого верху сложен. Не то что до лета — года на три хватит. Умри он сейчас, дети не раз помянут добрым словом: батя, царство ему небесное, наколол, напилил... Он конечно же не Жгутас-Жентулис, памятника ему не поставят, и все же легче эту юдоль слез покидать оттого, что тебя не забудут и хоть изредка вспомнят. Покуда эти яблони, высаженные тобой, будут плодоносить, покуда колодец, твоими руками вырытый... покуда

каштаны у ворот... Покуда твои дети — кровь твоя живая... Внучата... Нет, нет, так скоро тебя не забудут. А ежели, как задумал, еще осенью и дубок посадишь, то и через сто лет путник глянет на него и скажет: чьи-то руки вырастили этот исполин и благословили его бессмертие; да будет пухом земля этому благодетелю. Шутка сказать, и через сто лет вспомнят тебя, хоть и не будут знать, кто ты был!

«Суета сует... — шепчет старик Гиринис, примостившись как на седле, на выдолбленной топором колоде. — Что значат сто, да пусть не сто, пусть тысячи лет по сравнению с вечностью? Ведь все рано или поздно превратится в прах. Разве важно себя увековечить? Этого и тиран своими кровавыми делами может добиться. Важно так прожить отмеренный тебе срок, чтобы мог, умирая, со спокойным сердцем улыбнуться тем, кто остается. Вот именно, уйти из жизни со спокойным сердцем — никого не обидев, ни перед кем не осрамившись, ничем не обременив свою совесть».

Йонас Гиринис печально улыбается, жмурясь от ослепительного полуденного солнца. Странно: какое-то у него неумолимое, почти болезненное желание взвесить свою прожитую жизнь. Все то, что оставляешь, и все то, с чем собираешься покинуть сей мир. Дряхлеющая, предчувствующая свой конец плоть как бы ищет утешения, невольно стараясь убедить себя: ну вот, братец, нечего тебе жалеть всего того, с чем ты вскоре должен расстаться, ибо ты давным-давно чужой, никому не нужный, обреченный на одиночество в день беспощадного и неподкупного суда, которого никому не миновать.

Не потому ли примирившаяся с роковой неизбежностью душа Йонаса Гириниса наполняется солнечным покоем, словно по осени спелый сад пьянящим яблоневым духом? Не потому ли его охватывает чувство такого безотчетного снисхождения ко всему и такое желание сделать каждому что-то доброе, что глаза застилает слезами? Но вместе с тем приходит и другое чувство — смутное, полное какой-то безудержной жажды охватить как можно больше, потрогать, обнять... Куда-то идти, что-то делать. Вперед, вдаль, ввысь! Спеши! Спеши, ибо неотвратим тот миг, когда позовут тебя в царство вечного покоя. Ах, подняться бы с колоды — и в поле, на луг, к людям, к знакомым, как во времена оно отец, когда его обуревала весенняя ярость! Но ноги как будто налиты свинцом, и во всем теле такая лень, что кажется, только бы сидел и сидел, словно кот на солнцепеке. Жмет сердце, жмет. Пройдет, конечно. Не впервой хворь

и немощь в тиски берут. Намедни тоже нездоровилось, сердце барахлило, а вчера — просто не верится! — воспрял духом, да так, что пустился пешком и обошел почти все колхозные поля, словно два десятка сбросил с плеч. Свиньям корм задал, корове с телком, докосил последний лоскут в усадьбе — Унте до завтрака не справился, бросил косу и ушел. Ну чем не юноша, чем не силач! А после обеда, поди же, свалился. Может, не свалился бы, если бы не это хождение по полям. А уж если выбрался, то почему в эту, а не в другую сторону пошел? Почему через подворье Юозаса Гайлюса? Дернула же нелегкая. И надо же, только ступил на подворье, как с цепи собака этого сквалыги Бестия сорвалась. Злее твари во всей округе не сыщешь. К счастью, в руке посох был. Защищался им от взъерошенной зверюги, пока Альбертас не прибежал.

— Уф! Гадина! Человека задрать может, — вытирая пот и весь дрожа, пробормотал Йонас Гиринис.

Альбертас пригласил его зайти: чего-нибудь, мол, найдем от испуга...

Йонас Гиринис не любил Гайлюса, хотя когда-то они и жили по соседству — их наделы граничили. Но завернул он во двор Гайлюсов, потому что ему худо стало. Правда, в избу идти отказался, присел на лавку — передохнет маленько, пока Альбертас принесет кружку воды.

Но Альбертас вернулся не с водой, а с поллитровкой какой-то мутной жидкости. В другой руке Гайлюс-младший держал тарелку, на которой чернели несколько ломтиков хлеба и лоснилось нарезанное сало.

— Что это за пойло? — спросил Гиринис, когда Альбертас поднес эмалированную кружку.

— Отцовского производства, — пояснил Гайлюс-младший. — Гадость, но здорово действует. Прополощи горло, дядя, нервы успокоит.

Йонас Гиринис понюхал кружку, сморщился от отвращения и поставил ее на лавку.

— Такой гадости в жизни не видывал, — сказал, и его передернуло. — Выходит, батька твой этой дрянью людей травит?

— А как же? Новатор в Дягимай. Первопроходец! — Альбертас недобро рассмеялся. — Родитель целую фабрику открыл. Он гонит, а Пирсдягис с Мармой сбывают.

— Господи, господи, что творится на белом свете, — простонал Йонас Гиринис, прислонившись к стене. — Раньше в наших краях о такой гадости и слыхом не слыхивали.

Зло как пожар в лесу, только оброни искру — и все вокруг запылает...

— Не волнуйся, дядя,— неискренне утешил старика Альбертас. Каждое его слово звучало зло и глумливо.— Когда осенью первые бутылки нацедили, жидкость была желтая, как гной. От такой продукции даже самый горький пьяница денька два очухаться не мог — намертво укладывало. Говорят, один из компаньонов отца чуть богу душу не отдал. Но мой родитель упорно совершенствует технологию, и скоро жидкость его станет такой прозрачной, что хоть газету сквозь бутылку читай. Восемь месяцев производства — и такой прогресс! Неслыханные для отечественной промышленности темпы.

Йонас Гиринис сидел, закрыв глаза, привалившись затылком к стене, и не знал, что ответить. Еще зимой до него дошел слух о том, что в Дягимай якобы самогон появился, в два раза дешевле, чем казенная водка, но ему и в голову не пришло, что гонят его тут же, прямо под носом. Э, думал он, это дело рук не местных; теперь в колхозе полно всяких чужаков, съехавшихся отовсюду, вот они-то и творят такое, о чем раньше никто и заикнуться не смел. А что же оказалось — ошибся он...

— Твоему отцу всегда денег мало,— сказал Гиринис, не открывая глаз.— В толк не возьму, есть у него совесть или нет: из-за выгоды людей травить?

— А ты что, дядя, думаешь, казенная здоровее?—усомнился Альбертас.— Нет. Все травят бедного человека. Нечего за это на моего родителя сердиться. Другое дело, что он жуткий скупердяй. Рубля задрипанного не выпросишь. Для него, скопидома, жмота, скряги, денежка родного дитяти дороже...

«Господь всемогущий, спасибо тебе, что мои дети не такие»,— прошептал Гиринис и чуть было не перекрестился.

— Здорово, сосед.

Йонас Гиринис вздрогнул от неожиданности и открыл глаза. Напротив него, в трех шагах от лавки, стоял Юозас Гайлюс. Он кривил в притворной улыбке свое морщинистое испуганное лицо, но увы, скрыть сверкавшую в глазах ярость не мог.

— Здорово...— буркнул Гиринис, не двигаясь с места.

— Альбертас, почему так нерадушно гостя привечаешь? Милости просим в избу, за стол, соседушка. Пока что, слава богу, есть у нас чем гостя попотчевать. Коньячок поставим, тяпнем по рюмке для расширения сосудов, а вот

эту пролетарскую смесь пусть строители фабрики лакают. Как это ты так обмишурился, сын? Тащишь без разбору что попало.

Альбертас хихикнул:

— Из уважения к твоей продукции. Ты же сам говоришь: она похлеще коньяка — и прозрачна, и клопами отдает...

— Какой продукции? Ты чего чушь городишь, молокосос? Ступай, коли по-человечески не умеешь. Вот видишь, Гиринис, какие нынче дети! Отца родного готовы в ложке воды утопить. Купил я этой гадости пару бутылок исключительно для своих нужд — думал, копейку-другую сэкономлю, а этот Иуда взял да и поднес тебе. И впрямь меня бог весть в чем обвинить можно. А ведь за такие делишки в кутузку сажают, как мне кажется.

— Посадят такого, жди!— отрубил Альбертас.— Да ты из пасти дьявола улепетнешь.

— Вот видишь, соседушка, какого сыночка я вырастил?— Гайлюс-старший грузно опустился на лавку рядом с Гиринисом.— Ирод, ирод... Хватает отца родного за глотку. Хоть бы людей постеснялся. Ты чего лыбишься, сопляк? Ступай себе подобру-поздорову, не заставляй отца сквернословить!

Альбертас на всякий случай посторонился, отошел от лавки, но он не был бы сыном своего отца, если бы смолчал. Гайлюс-младший осклабился, оскалил белые кривые зубы и выложил все, что у него накипело:

— А ты меня не доводи до того, чтобы тебя за горло хватать. Уж если ты в самом деле родной отец, как об этом трубишь, то и поступай со мной, как с родным сыном. Поворoши мошну, купи сыну автомобиль. Может, скажешь, не заработал? Ведь я с малолетства на твоих огородах и в твоих теплицах вкалываю, к ним словно цепью прикован, чтоб они сгорели. Другие дети летом что делают? В Скардуписе барахтаются. А я — у твоей цветной капусты, помидоров, огурцов... Да разве ты человека хотел из меня вырастить — раба, вот кого! Среднюю школу и ту не позволил кончить, еле-еле на курсы трактористов отпросился... Ха! А еще родным отцом называется. Жадюга ты, скупердяй!

— Что ты несешь, побойся бога!— Гайлюс-старший схватился за голову и минуту-другую раскачивался из стороны в сторону, словно его кнутом огрели.— Ты что думаешь, я свое добро с собой в могилу унесу? Эту вот избу новую, эту усадьбу, эти сбережения? Все вам, детям моим, достанется. Тебе! И тогда ты сможешь делать с моим до-

бром все, что тебе заблагорассудится. Сможешь, если тебе захочется, свалить его в кучу и сжечь. А пока я жив — на-ка, выкуси! Не позволю, ни одного рубля по ветру пустить не позволю.

— Почему по ветру? Неужто «Жигули» такая никчемная вещь? Коли так, раскошелься на «Волгу»,— отпарировал Альбертас, кичась своим красноречием и пыжась как индюк.— В самом деле странный человек! Какое-то ископаемое, консерватор, даже признаться стыдно, что это мой отец. Все только и делают, что рвутся к машинам, хотят как можно скорее вложить деньгу в какую-нибудь стоящую вещь, а ты на мешке, набитом рублями, как собака на сене... Ты пораскинь мозгами, что будет, если власти деньги обменяют. Десять рублей на один. Да ты, старик, в инфаркте грохнешься. Я тебе это всерьез говорю, при свидетеле, подумай хорошенько и намотай себе на ус. Без авто человек сегодня как без рук. И уж совсем без машины каюк, когда собираешься кроме овощного хозяйства наладить производство самодельного коньячка...

Гайлюс-старший вскочил с лавки. Лицо посинело, подбородок трясется, по залысинам жирные капли пота катятся.

— Заткнись, пес! Пустобрех! Ложись! В будку! В конуру!— заорал он, топая ногами.— Недоумок! Ты, видать, забыл, где бы был сегодня, коли не я, твой отец? Раз, два, три, раз, два, три,— зачастил он по-русски.— Не до авто бы тебе было, не до «Жигулей».

Альбертас выгнул спину, как кот, зажмурился. Так и подмывало поносить и честить отца.

— Не до «Жигулей» было бы, я бы сейчас на танке разъезжал. Навел бы пушку, и бах, бах, бах!— ярился он, пощелкивая пальцами.— А ты со своими докторами сделал из меня сумасшедшего. Дядя Гиринис, разве я похож на сумасшедшего?

— Боже мой... боже...— прошептал Гайлюс-старший, бессильно плюхнувшись на лавку.— Ведь он и впрямь сумасшедший! Посмотри, соседушка, послушай, что этот несчастный порет! Взрослый, трезвый человек! Хорошенько послушай. Умоляю тебя, в свидетели позову, когда придется его в психушку запереть.

Альбертас побледнел.

— Ты за свои деньги все можешь сделать,— сказал он, вдруг присмирев и собираясь уйти.— Но знаешь, старик... это уже слишком. В один прекрасный день я тебя и удавить могу. Ведь сумасшедших не судят?

— Дитя... родное дитя и отцу такое! — простонал Гайлюс-старший. Некоторое время он сидел, обхватив руками лицо, глядя сквозь растопыренные пальцы на сына, стоящего в тени колодезного журавля, которая падала на свежескошенную траву, словно контур виселицы. Там же, у колодезного журавля, гоготала стайка индюков, надув свои красные зобы... «Осенью я за каждого из них возьму не меньше чем по двадцатке, — подумал он. — Несколько лет тому назад за такого больше червонца не давали. А нынче вдвое дороже платят. Жизнь становится лучше, что и говорить». А вслух произнес: — Вот, Гиринис, ты и увидел, какая она, моя житуха. Все только: Гайлюс такой, Гайлюс сякой. А всем наплевать на то, что этот Гайлюс, которого с дерьмом смешивают, света белого не видит. Когда-то вместе с другими, такими же, вывалили, как кошек из мешка. Надо было на пустом месте все сызнова начинать. А чем провинился, спрашивается? Тем, что работягой был, не ленился, да и башка, как говорится, варила лучше, чем у других. Вернулся, и половина построек тю-тю — спасибо соседям хорошим, сожгли... Отстроился, только ноги согрел — вон из своей усадьбы в колхозный поселок! Всю жизнь землю пахал, как вол подъяремный, а награда — горсть половы, так-то. Никакого просвета, никакого лучика! Подрастут дети, утешал я себя, очухаюсь, но и тут, соседушка, как видишь, счастье от меня отвернулось.

Йонас Гиринис долго молчал, растроганный печальной исповедью Гайлюса, и с благодарностью думал о своих детях. Не сложилась жизнь у Бируте. Могли найти себе лучшую долю Юстина и Унте, однако, разве сравнишь их с Альбертасом или с его глупой сестрой, которую ограбил собственный муж и бросил с ребенком на руках.

— Многие нынче не могут похвастаться своими отпрысками, — наконец отозвался старик Гиринис, желая утешить Гайлюса. — Видно, время такое. Седой волос не в чести у молодых. Строят из себя умников, дескать, мудрее их никого на свете нет. А ежели с другой стороны подойти... может, мы, старики, сами во всем повинны? Не умеем мы своих детей по-разумному любить, внушить им уважение, любовь... В самом деле, как же мое дитя будет меня уважать или любить, ежели я сам мелок, только чванюрю его?

— Ты это что, сосед, про меня? Я не сержусь, нет. Но есть отцы похуже меня, а дети у них как дети, — пожало-

вался Гайлюс, то и дело вздыхая.— Может, это им, говорю, от дедов и прадедов передалось... Но в нашем роду ни одного выродка не было. Ничего не знаю, не понимаю, какие-то коленца судьбы...

Йонасу Гиринису так и хотелось выложить ему всю правду («Ежели бы ты любил детей так, как любишь деньги, то и судьба никаких коленец бы не выкидывала...»), но совладал с собой: ляпнешь и еще больше разбередишь Гайлюсу душу.

— Ну, я пошел,— только и сказал Гиринис, медленно вставая с лавки.— Так дивно солнце светит, а воздух какой душистый! Тепло, ветерок едва шелестит, как шелковый. Нынче, когда что ни лето, то непогода, не часто выдаются такие погожие деньки.

Гайлюс сидел, по-прежнему обхватив голову руками, раскачивался из стороны в сторону и, увязнув в своих бедах, делился невеселыми думками с Гиринисом.

— Кажется, всего у нас вдоволь, сыты, одеты, и в бумажнике ветер не свищет. Есть у нас кое-что и в загашнике на черный день. Не нищие, слава богу. Могли бы жить припеваючи, как в раю, только бы лад да согласие... А вот лада и согласия-то нет! Не смилостивился господь бог над нами, хотя каждое воскресенье, несмотря на то что в костел ходить мне некогда, я повторяю все молитвы и то место из требника, где ясно сказано: «Ларец согласия, молись за нас...»

— Ну, я пошел,— повторил Йонас Гиринис.

— Уходишь? Уже уходишь?— засуетился Гайлюс.— Мог бы в избу зайти... Как хороший знакомый, как сосед... Чесноком от меня не разит, нечего воротить нос.

Йонас Гиринис покосился на бутылку с самогоном, которая почему-то оказалась под лавкой.

— Неправильно ты живешь, Гайлюс. Деньга тебе глаза застит — человека не видишь. Заплати тебе хорошенько, и ты, наверное, без особых угрызений совести своего ближнего на тот свет отправишь.

— Что ты говоришь, побойся бога, Гиринис!— вскочил Гайлюс.— Не слушай, что тебе тут мой недоумок наплел. Из кожи вон лезет, только бы отомстить за то, что машину ему не купил. Ежели бы достать ее по казенной цене, решился бы. Но платить вдвое... Нет! Пусть на этих машинах сами спекулянты катают — я свои денежки на ветер не привык бросать.

Йонас Гиринис нетерпеливо пожал плечами и, не протянув руки, затопал с подворья.

— Ты, соседушка, его бредням не верь. Клевещет он на меня! — Гайлюс-старший догнал Гириниса и зашагал рядом.— Может, кто и гонит ее, проклятую, только не я. И как же ее не гнать, ежели вокруг охотников уйма? Бизнес на пустом месте не сделаешь, как мне кажется. Мясо, к примеру, взять. Кто бы на рынке за килограмм по четыре рубля платил, если бы его в магазине вдосталь было? Точно так же и с этой проклятой. Развелось охотников, что клопов за обоями, только успевай бутылки считать. Дешево и сердито. Ты ее строителям только покажи. Наши, деревенские, ее пьют так, из форса, как бы от казенной отдыхают, а эти, строители, льют ее в глотку, как в пекло, потому как привычные к этому занятию, а кроме того, охота лишний рубль сберечь. Да что я тебе тут втолковываю, ты и сам не слепой. Не дурак, знаешь, что сорняк никогда не взойдет, ежели ему корни негде пустить.

— А ты эти корни не поливай, сорняку не потворствуй,— не выдержал Йонас Гиринис.

Юозас Гайлюс, подпрыгивавший рядом, как петушок, схватил Гириниса за рукав:

— Что я поливаю, кому потворствую? Говорил же я тебе, это Альбертас по злобе придумал. Ты только, ради бога, сынку своему, Даниелюсу, не проговорись. Невинного человека заложишь, Йонас, соседушка... И без того у меня хватает бед.

Йонас Гиринис недовольно высвободил руку из Гайлюсовых тисков, грубовато оттолкнул его и под яростный лай Бестии вышел на улицу. За четвертым двором обрывался новый колхозный поселок — продолжение старой деревни. Еще шаг-другой, и в глаза хлынет зелень широких полей, испещренная тускнеющими лоскутами озимых. «Славно люди живут,— пытался подавить горечь, оставшуюся после разговора с Гайлюсом, Гиринис, разглядывая новые усадьбы и любуясь уютными двухэтажными домиками, окруженными молодыми садочками. Узкая лента палисадников отделяла их от улицы. Вдоль заборов цвели сирень, жасмин и шиповник, перенесенные из хуторов и не успевшие еще прижиться на новом месте.— Что и говорить, грустно, сколько еще времени пройдет, пока вырастут деревья. Конечно, со старыми усадьбами новые дома не сравнишь. Но меня и палкой не загонишь в такой двухэтажный скворечник. Только что же людям делать, ежели случилась такая надобность? Переехали, живут, привыкают, жизнь налаживают... И неплохо налаживают. Почему бы Гайлюсу

не попробовать так? Честно, без обмана? Эх, худо, когда у человека в груди не сердце, а мошна бездонная...»

Пока Йонас Гиринис, любуясь новыми усадьбами, добирался до полей, настроение у него улучшилось, неприятная встреча с соседом уже так не тяготила его. Старик просветленно озирался по сторонам, окидывая взглядом однообразный равнинный пейзаж до самого окоема, дымившегося голубой опояской далеких лесов; они как бы обрамляли живую картину этого богатого края: новые серые поселки, попадающиеся кое-где забытые богом хутора, купой зеленых деревьев маячащие в широком просторе полей. Всякий раз, когда нога Йонаса Гириниса ступала на родные поля, он испытывал странное чувство: словно вошел в знакомую до боли комнату, в которой в его отсутствие кто-то переставил мебель. Это было неприятное чувство отчужденности, избыточности простора, хотя площади вроде бы и не прибавилось... В самом деле, ведь земля та же. Взять хотя бы кусок от шоссе вон до того взлобка, на котором когда-то серел крест, водруженный в память об умершем там нищем. Нынче здесь сплошное поле пшеницы, по меньшей мере гектаров пятьдесят, а то и больше. А ведь, кажется, совсем недавно на том самом месте были наделы Гиринисов и Гайлюсов, отделенные друг от друга заросшими межами, на которых громоздились валуны, собранные на пашнях. Колосилась та же пшеница, та же рожь, голубели зеленый лен, яровые, картофель, сахарная свекла... А вон там, на краю скардупского луга, был пруд, где поили скотину, а по осени мочили лен... То был не лоскут земли, а кусок ткани, переливавшейся всеми цветами радуги, особенно летом, когда все открывалось глазу во всем великолепии. А с трех сторон — хутора, того же Юозаса Гайлюса, Бутгинаса, Юодвалькиса... Дальше за ними другие. Равнины казались садом небесным, уставленным божьими ульями... сегодня взгляд летит через два, через три километра, и не за что ему зацепиться. Если на чем-то и задерживается, то чаще всего на каком-нибудь новом доме из кирпича и железа, на доме, где много удобств, но так мало тепла для души... Хорошо еще, Унте отстоял несколько хуторов, все-таки есть чем взгляд порадовать. Правда, холодно в них и пусто, как в покинутом птичьем гнезде, но какие они нарядные! Посмотришь издали, и светлее на сердце при виде стаек зеленых деревьев, загадочно шелестящих в тишине. И мнится тебе, будто присел ты в их тенечке, оставил лошадей для передышки на пашне и пьешь хлебный квас из глиняного кувшина вместе с соседями-покойниками, чей пот впитала

земля и развеяли ветры. Господи, боже мой, сколько пахарей выстроилось бы в ряд, ежели бы все знакомые встали из своих могил! Полны поля двуколок, троек... Плуги, бороны... Шел бы один пахарь навстречу другому с сеялкой на груди, разбрасывал бы широким взмахом руки семена, словно осеняя землю крестным знамением. И во всех уголках поют, весело понукают лошадей, птицы щебечут...

«Тени, тени...— бормотал Йонас Гиринис, растревоженный воспоминаниями.— Я тоскую по теням... Ну не смешно ли? Словно можно воскресить вчерашний день, а вместе с ним и самому помолодеть. Но разве я один такой? Каждому жалко прошлого, стало быть, и себя, ибо та сторона человеческого существования — прожитая жизнь — тоже тень. И не просто тень, а тень, удлиняющаяся с каждым днем, уходящая в ночь. Уж, видно, так заведено всевышним, что приходим мы на этот свет и приносим с собой тоску по теням...»

Йонас Гиринис улыбнулся, дивясь тому, как это мудрено сложилось у него в голове, и только успел он об этом подумать, как мысли вдруг перебросились на другое. Старик наконец понял, почему направился в поля не через окраину старой деревни (это было бы ближе), а через ее продолжение — через новые усадьбы: безотчетная и неосознанная сила толкала его все дальше и дальше от строящейся фабрики.

В прошлый раз, месяца три назад, проходя мимо стройки как бы по делу, не удержался и метнул взгляд на нее. Взрывы, которые весной сотрясали оконные стекла, давно замолкли (шум стройки не доходил до Дягимай). Только вблизи казалось, будто кто-то завел гигантскую машину: она тарахтела, скрежетала, гудела без умолку, и кто-то невидимыми руками возводил ее окованные железом стены. Одна огромная постройка (все ее называли корпусом) была завершена. Над корпусом возвышались две до половины зацементированные трубы. Поговаривали,— хотя Даниелюс и помалкивал,— будто до следующей осени строительство фабрики будет закончено, а какие-то цеха начнут работать даже раньше.

Йонас Гиринис заковылял через свой бывший надел по прямому, как струна, проселку, который был проложен для того, чтобы грузовики могли проехать на свекольные поля. Как широко разлившееся озеро, по обе стороны проселка колосилась пшеница. Она была старику почти до пояса. Крупные, только что отцветшие колосья ударялись друг

о друга, и эта неохватная картина наполняла сердце старого Гириниса какой-то тихой и стыдливой гордостью. И в старые времена урожаи здесь бывали не хуже. Люди любили землю, не жалели пота, чтобы напоить ее, и земля щедро вознаграждала их за преданность. Трудолюбие литовца всегда венчал сытный кусок, хотя частенько угнетатель-тунеядец большую часть краюхи вырывал у него изо рта и присваивал себе. Слово «лодырь» воспринималось как величайшее оскорбление. «Слава богу, пока наш человек не стал таким. Что и говорить, избаловали его машины, однако вкуса к работе он не утратил. Ишь какая пшеница! Колосок к колоску. Осенью как золото польется зерно в амбары! По сорок — пятьдесят центнеров с гектара. Весь Епушотас на год хлебом будет обеспечен. Нет, не распустились люди в Дягимай. И председатель умеет хозяйничать. Людей не понимает, но хозяйничать умеет. Отменный автомат, ничего не скажешь, все винтики на месте.. »

Йонас Гиринис свернул на посыпанную гравием дорогу, соединяющую склады и фермы крупного рогатого скота. Отсюда смутно виднелся шпиль костела деревни Гедвайняй, а рядом с ним в небо впивались две фабричные трубы, которые напоминали стволы дальнобойных орудий, и высокая колоколенка костела казалась по сравнению с ними игрушечной. Хорошенько вглядевшись, Гиринис заметил и третью трубу, а за ней — четвертую. Незаконченные, они возвышались не более, чем на пять метров над землей.

Старик страдальчески улыбнулся: так ласково, так приятно шумит пшеница, хоть возьми и прижми к груди, и так леденят душу эти персты из кирпича и цемента, проткнувшие безоблачное небо над Гедвайняй... Вот уже и четвертый вырос, пусть не до конца, но и он, дьявол, вытянется... А там, глядишь, и другие поднимутся. А ведь, кажется, совсем недавно их было только два, да и те недостроенные... Люди, люди, сами себе могилу роют!

«А вот и граждане могильщики...» Старик заморгал, как бы желая прогнать видение, однако та же троица, которую он встретил прошлой весной, упрямо брела навстречу ему со стороны Гедвайняй прямо через пшеничное поле. Один из них нес в руке белый пластмассовый бидончик, а двое других — обшарпанные, разбухшие портфели. Все они были так похожи друг на друга, что Гиринис усомнился (как и прошлой весной), не троится ли у него, старого, в глазах. Может, мужчина один, а ему только померещилось. Но нет, их действительно было трое. Они были одеты в одинаковые комбинезоны, обуты в одинако-

вые резиновые сапоги, а на круглые головы нахлобучены одинаковые шлемы. Казалось, они срослись телами. Не только их плечи, бедра, но и складки одежды были словно выточены на одном станке. Серая одежда, серая обувь, серые шлемы. Серые руки, лица. Серые глаза. Даже серые губы были одинаково очерчены и отвисали одинаково, и одинаково скалили они серые зубы.

Йонас Гиринис брел по дороге, не поворачивая в их сторону головы, но все-таки видел каждого из них, идущих через пшеницу навстречу ему. Когда же старик наконец заставил себя посмотреть на них («Отругаю чертяк, чтобы посевы не топтали...»), их уже и след простыл — словно сквозь землю провалились перед самым носом, прихватив с собой и его, Гириниса, потерявшего вдруг почву под ногами и полетевшего куда-то в пропасть. Когда Гиринис очнулся, пришел в себя, ноги у него были тяжелые, а грудь словно камнем придавило. Он с трудом ловил воздух, но простор вокруг как бы поредел. Охваченный ужасом, старик остановился, чтобы передохнуть («Неужто конец?»), но тут же подхлестнул себя: шевелись, старый, никого не дожидаючись, двигайся вперед; потихонечку, полегонечку, но двигайся, чтобы не рухнуть на дороге, как какой-нибудь бездомный пес. Честный селянин, землероб должен испустить дух в своей постели, как его отец, дед, прадед. Со свечой в руке, чувствуя, как горюют близкие, как прикасаются к тебе в скорби своими шершавыми от работы руками, которые через миг-другой навеки закроют тебе глаза. Волосы дыбом встают при мысли, что найдут тебя здесь, на дороге, застывшим, с остекленевшим взглядом, точно собаку, которую переехали и спихнули сапогом на обочину.

И напуганный Йонас Гиринис стал пробираться вперед, осторожно передвигая ноги. Вот и мосток через Скардупис. За спиной слышно, как, тарахтя, приближается пустая телега. Старик оперся о поручни моста — передохнет малость, а уж отсюда до дому рукой подать. Он уже видел пустой воз (за ним тянулся столб пыли), в который была запряжена пара норовистых гнедых и которым правил Пранюс Стирта. Да разве кто-нибудь другой так, по-сумасшедшему, может мчаться порожняком, погоняя вверенных ему лошадей и насвистывая: «С бабой дед плясал...»? Развозчик сена сидел, просунув через грядки ноги в резиновых сапогах, простоволосый, без пиджака, в рубахе нараспашку, от которой еще издали разило потом. Хоть Гиринис и недолюбливал зятя, считал его виновником неудавшейся жизни дочери Бируте, однако же, увидев его теперь,

весь просиял: как-никак свой человек, да еще в такую минуту... Гиринис хотел было крикнуть («Остановись, чертово отродье, подбрось до дому!»), но только беспомощно прошелестел губами. К счастью, Пранюс заметил тестя и тут же осадил гнедых, которые все же с разбегу унесли воз на довольно приличное расстояние от старика. Вот и пришлось Стирте развернуться и воротиться назад. Решиться на такой подвиг зять Гириниса мог разве что из-за бутылки. Спору нет, протарахтел бы родич мимо, ежели бы не заметил, как тесть испуганно разевает рот, беспомощно шевелит губами, таращит глаза. Взгляд его так и молил о помощи.

— Чего это вы тут перила подпираете? — подойдя, спросил он.— Может, в мою карету сядете, докачу до дому?

— Сяду,— пробормотал Гиринис, выпрямляясь.— Слабость какая-то на меня, Пранюс, накатила... Сердце жмет...

— Умаялись. С таким здоровьем, как у вас, негоже одному из дому отлучаться.— Стирта взял тестя под руку.— Обопритесь на меня и потихопечку, полегонечку...

— Никогда я не раскисал, на здоровье не жаловался,— с трудом произнес старик, нетвердо переставляя ноги.— Дед мой преставился, когда ему за восемьдесят перевалило...

— Раньше люди покрепче были...

— Может, и покрепче,— не стал перечить Гиринис, морща нос, потому что от Стирты несло перегаром. Да и сегодня, видать, зятек с похмелья пару бутылок пива выдул.— Но и со мной в юности мало кто мог тягаться.

— Куда уж там с вами тягаться! Да вы и сейчас как конь-трехлеток, когда его огреешь,— подольстился Пранюс, а сам с надеждой подумал: «Привезу старика, а он, не будь свиньей, скажет Юстине, чтобы сто граммов налила...»

Йонас Гиринис послушался совета, примостился на задке телеги, сел спиной к лошадям. Ноги свисали через перекладину, почти касались земли, болтались.

— Погоди... не спеши... успеешь,— остановил он зятя, который собирался пустить лошадей в галоп.— Сядь-ка рядом, разговор есть... Надо, Пранюс... Разве человек знает... До дому рукой подать, но кто знает...

Стирта, надеясь, что его не забудут, когда он переступит порог Гиринисовой избы, послушно плюхнулся рядом с тестем.

— Скверно живешь, Пранюс,— начал старик, то и дело вздыхая.— Не светит тебе пример твоего батьки, царство ему небесное. Мараешь ты его светлую память. Позоришь

не только всю свою, но и нашу родню, всех живых и мертвых. А когда твои дети вырастут и дождешься внуков, то и им не за что будет тебя уважать. Каждый из них оботрет об тебя ноги, как о тряпку, постеленную у дверей, хотя тебя самого давно в живых не будет, и, изредка вспоминая тебя, скажет: «А, жил тут такой Стирта, пьяница, несчастной жене кучу детей оставил...» Уж если ты, зятек, о чести понятия не имеешь, то хотя бы со своей совестью посоветуйся. Она-то у тебя, поди, есть? Может, сморщенная, может, крохотная, как фига, но все же есть? О детях своих подумай, о жене, ежели признаешь над собой их власть, а не власть бутылки. Ты должен дать мне слово... Понимаешь?

Стирта несколько раз кивнул головой.

— Пожалей Бируте. Ведь у тебя в груди не камень, а сердце. До срока ты ее, бедную женщину, в могилу сведешь. Что ты, Пранюс, скажешь господу в судный день, своего ближнего доконав?

— Виноват я, тесть, очень даже виноват,— покаянно прошептал Стирта, окончательно потерявший надежду выпить у Гиринисов стопку.— Но поправлюсь. Обязательно. Давно чую, как за спиной у меня ангельские крылышки растут.

— Негодник...— пробормотал Гиринис, не поднимая головы.— Горбатого только могила исправит. Ну и привел же господь бог в мир столько дряни... Никакого понятия о чести, никакой совести, только смрад сивушный...

Стирта снова одобрительно кивнул, широко усмехаясь в пышные усищи. Потом, как напуганная рысь, прыгнул в телегу и, даже не справившись у тестя, можно ли ехать, вытянул лошадей батогом, влетел на Гиринисово подворье с фасоном, подкатил прямо к порогу и, хоть прекрасно знал, что не полакомится водкой, помог старику дойти до лавки под окнами светелки, потому что изба была заперта.

— Может, говорю, какую-нибудь фельдшерку привезти,— предложил он.— Может, говорю, каких-нибудь лекарств добыть или что?

— Не надо. И без лекарств пройдет.

— Ну да, пройдет, непременно пройдет,— согласился Пранюс и, взобравшись на телегу, умчался в подворья, напевая: «С бабой дед плясал...»

«Вот это зятек,— простонал Йонас Гиринис, устроившись на лавке у жасминового куста.— Летит, мчится, как будто нечистый его гонит. А тесть... тесть пусть подыхает». Однако в глубине души он был доволен, что Пранюс так

легкомысленно оставил его одного. Стоит ли из-за какого-то пустяка мчаться за фельдшерицей в колхозную амбулаторию. Всю жизнь прожил без лекарей, без лекарств, здоровье даровали ему только работа и чистый полевой воздух. А теперь, на закате жизни, даже вспоминать неудобно: явится девчонка в белом халате, спустит с него штаны и какого-то керосину, что ли, в ягодицу впрыснет. Нет, нет, на сей раз ему только бог поможет, только бог, как помог он его отцу и матери, его деду и прадеду...

Так решив, Йонас Гиринис приволок из чулана старый кожух, расстелил его в саду под старой яблоней и прилег. Сразу станет легче на сердце от запаха яблок и травы. Нет лучшего лекарства для селянина, чем близость земли.

И впрямь полегчало. Даже дети, собравшиеся вечером после работы, ничего не заметили.

А сегодня утром снова сдавило; конечно, не так, как вчера, когда он шел через пшеницу. Но все же, как будто ножом саданули... Старость, ничего не попишешь, теперь не попрыгаешь, как жеребенок.

Йонас Гиринис слышит чьи-то шаги. Шлеп, шлеп, шлеп. Все ближе и ближе. Но лень поднять веки. Так приятно сидеть на колоде, так удобно и сладко на солнцепеке! И до чего же благоуханны запахи лета, как веет от них воспоминаниями юности! А перед глазами оранжевые обручи катятся один за другим в тумане. Кажется, вот-вот оторвешься от земли с этой колодой, с этим деревянным своим седлом и, точно в сказке, взмоешь в голубое поднебесье и понесешься вскачь...

II

— Не пора ли обедать, отец?— доносится до старого Гириниса знакомый голос.— Ну и нашел же ты местечко для отдыха! Разве в твоем возрасте можно жариться на солнце?

— Присел на минутку. Думал, новое топорище сделаю, да вдруг такая лень одолела...

— Ясное дело, одолеет. Летняя жара и молодого сморит, а ты... Салюте холодный борщ приготовила. И картошку отварила. Душу отведем.

— Холодный борщ, говоришь? Вот это еда!— Гиринис даже усы облизал. Поднялся с колоды, но тут же качнулся назад, словно его толкнули.— Что это за черт меня за зад тянет...— попытался пошутить старик.

— Умные люди в такое время дня тенек ищут, а ты — ни дать ни взять — барышня-дачница,— журит отца Унте, подхватив его одной рукой под мышки и помогая подняться с колоды.— Не хватало еще, чтобы разделся и выставил бы на солнце свое пузо.

— Может, уже отпустишь? Я и сам ходить умею,— Йонас Гиринис беззлобно отталкивает руку сына и, пошатываясь, первым вдоль забора входит во двор.— Лучше расскажи, что нового на полях слыхать?

— Клевер скосили. Телка ногу сломала, так Салюте говорит. Прирезали, а мясо — колхозникам по себестоимости. Решили и мы взять огузок.

— Правильно решили. Будет и у нас свежее мясо. В подвале, на льду, недели две простоит, не меньше. Как раз до приезда гостей.

— Гости без свежего мяса не сидят. Братец как-никак секретарь... В очереди не стоят, не думайте,— говорит Юстина, когда все усаживаются за стол и принимаются за холодный борщ.— Нам самим нужно отдохнуть от сала.

— При сале голодным не будешь,— поправляет дочь Йонас Гиринис.— А Даниелюс хоть и свой, но его надо как гостя принять.

— Вы говорите так, будто он один приезжает,— вставляет Салюте.— А с ним же и Юргита!

Унте всем телом налегает на миску, пряча глаза. Горячая волна заливает его небритые щеки и ярким багрянцем метит оттопыренные уши. Вместо того чтобы поддеть картофелину, он лезет вилкой в другую миску и выуживает из нее вареник, жаренный на сале,— любимое в северной Литве блюдо; женщины дополняют им обед, так как холодный борщ с отварным картофелем не считают здесь серьезным кушаньем. Поддел вареник и проглотил его, не окунув в сметану. А сметаны — полная миска, белеет среди другой посуды на столе.

— Говорят, в будущем году наш хор на праздник песни поедет,— пытается хоть что-нибудь сказать Унте, чтобы скрыть свое смущение.— По меньшей мере человек тридцать. Со всей республики тысячи соберутся. И это в самую-то страду! Ну куда, я вас спрашиваю, власти смотрят — в такую пору праздники?!

— А ты бы хотел, чтобы люди зимой под открытым небом пели?— язвит Юстина. Она никогда за словом в карман не лезет.

— Да у него недурно и под крышей получается,— заступается за сына Йонас Гиринис.— Никто в вашем хоре

так не выводит, как Унте. Ты, сын, правильно сделал, что к этому Юркусу в его самодеятельность пошел.

— Да что тут правильного, отец,— возражает Салюте, недовольная рассуждениями свекра.— Всю зиму в Доме культуры проторчал, будто прикипел к нему. Только наступит вечер — он за порог, летит как угорелый на эти свои репетиции. А разве от этого меньше пьет, когда приспичит?

— Пьет не меньше, это верно... Но Унте не Стирта,— Йонас Гиринис грустно смотрит на сына.— Когда же ты, Антанас, и впрямь образумишься? Как-то вечером, дело было весной, забрел я в Дом культуры послушать и ушам своим не поверил: неужто это мой сын? Всамделишный артист и то так не споет. И красиво, и печально, не я один слезу обронил. Растрогал стариков, душу разбередил, молодые деньки напомнил. Эх, эх, мы сами, отцы наши и деды эти песни певали. И только теперь поняли, какая в них красотища. О том вечере вроде бы и газета районная писала. Хор хвалила, директора конечно же, Юркуса, но больше всего тебя, сын мой. Ежели бы у тебя так повсюду концы с концами сходились, право слово, мог бы я тобой гордиться...

— А ты, отец, гордись, не гнушайся,— наконец не выдерживает Унте; холодный борщ он уже съел и с огромным удовольствием принялся уписывать вареники, то и дело макая их в сметану.— Как умею, так пляшу, что имею, то ношу. Ежели чего во мне и не хватает, то уж этого, отец, мне с неба не достать...

— Да шут с ним, с небом. Ты лучше скажи, откуда в тебе дурные привычки, пороки? Конечно, никто не рождается с трубкой в зубах и бутылкой водки в руке.

— Твоя взяла, отец, твоя...— ворчит Унте, налегая на миску.— Тебе, отец, подавай только все красивое, хорошее, а откуда все плохое, ты и не думаешь.

— Почему не думаю? Плохое от самого человека, откуда же еще? И братоубийцу Каина, и его жертву Абеля та же мать родила.

— Тебя не переспоришь,— бормочет Унте.— Пусть будет по-твоему...

Старик Гиринис ничего не отвечает. Молчат и обе женщины: Только когда кончили обедать, Юстина вспомнила, что встретила Ляонаса Бутгинаса.

— Просил зайти,— напоминает она брату.— До полудня будет в сельсовете.

— Бутгинас, что ли?

— Нет, Илья-пророк,— с издевкой отрезает Юстина.

Но Унте в эту минуту не до Бутгинаса: столько слов сказано, столько еды рядом... Он уминает последний вареник, но вкуса не чувствует. Впивается взглядом в потолочную балку. И мысли его где-то далеко, далеко... Мелькает лицо Юргиты и снова исчезает. Она приедет, конечно. Вместе с братом. Счастливчик Даниелюс... Будь на дворе зима или выходной, Юркус устроил бы вечер самодеятельности. Как ни крути, приятно петь, когда тебя слушает толпа. Немножко боязно, но приятно. А уж если среди слушателей Юргита... Правда, приезжала она весной, перед самыми посевными работами, потом еще в районной газете весь концерт описала. Сидела рядом с отцом в зале. Унте думал, что ничего хорошего из его пения не получится — так у него сердце колотилось. И в самом деле, первые куплеты он спел как-то вяло. А потом осмелел и как затянул — весь Дом культуры после каждой песни от аплодисментов и криков дрожал.

Юргита сидела в третьем ряду и улыбалась, подбадривая Унте, глаза ее жарко сверкали, и от этого сияния, наполнявшего грудь удивительным теплом, песня расправляла крылья, и клокотавшее радостно сердце возносилось куда-то ввысь. Саулюс Юркус, глава Дома культуры, стоял перед своим хором чуть-чуть наклонившись вперед (как лев, приготовившийся к прыжку), а хор, замерев, ждал его знака, чтобы повторить последние две строчки. Юркус улыбался в свою густую рыжую бородку, и, как белые клавиши, сверкали его крупные здоровые зубы.

Унте не припомнит, когда еще был так счастлив, как в тот вечер. Все, что он тогда пережил, все, что перечувствовал, так ярко врезалось в его память, что потом он еще долго жил этим, и в ушах по-прежнему отдавалась глубоко взволновавшая его мелодия, вот и сейчас она звучит, гремит, как далекие удары колокола, нарастает, проникает в самые потаенные уголки его сердца, и оно трепещет.

— Что ты навалился на стол, как медведь, это тебе не кровать,— корит его Салюте, возвращая мужа из безоблачных высот на грешную землю.— Ты что, не видишь — все поели, со стола убираем.

— Поели?.. А... Ну и хорошо, что поели.— Унте лениво встает.— Ой, до чего же порой бывает хорош белый свет! Живешь среди той же скотины, что и раньше, но вдруг в оконце свинарника залетает солнечный луч, и сразу все преображается. Словно волшебник махнул палочкой, и совершилось чудо — всюду светло, царят справедливость и добро.

— Болтаешь всё...— осаживает мужа Салюте.— Лучше прилег бы на часок.

— Слышишь?— вторит ей Юстина, сомневаясь в том, думает ли брат о каких-нибудь земных делах.— Бутгинас зовет. Видно, важное у него к тебе дело.

— Какое там важное,— напускается на нее Салюте.— Просто захотелось языком потрепать. Льнут они друг к другу, водой их не разольешь.

— Пусть лучше к Бутгинасу льнет, чем к какому-нибудь пьянице,— встает на защиту брата Юстина.

— Надирается он и у Бутгинаса, хватает ему и там...

— Ну уж ты не сравнивай. Твоему муженьку только понюхать дай, он полрайона исколесит, чтобы еще добыть.

— Не было бы чего добывать, он бы и не рыпался, не шастал,— не уступает Салюте, все более раздражаясь.

— Заступница нашлась!— возмущается Юстина.— Такие вот, как ты, потворщицы, пособницы, и портят мужей. Попался бы мне такой герой в руки, я бы с ним быстренько справилась. Он бы у меня не ползал на коленях перед бутылкой, не молился бы на нее. Одно из двух: или живи как человек, люби свою супругу, или ступай от меня, несчастной, на все четыре стороны, если тебе чертов напиток дороже.

— Ну уж, ну!— багровеет от злости Салюте.— Взяла бы и сделала из пьяницы трезвенника. Тебя послушать — так муж точно бочка какая-то: выцедила из него пиво, налила колодезную воду — и готово. Не думала, что ум у тебя такой короткий.

— Говори что хочешь, а я с пьяницей ни одного бы дня не прожила!— не сдается Юстина, громыхая посудой на кухне.— Ты что думаешь — я себе муженька найти не могла? Куда там! Не один ко мне сватался, хоть и не красавица. Еще и сейчас не поздно эту петлю на шею накинуть, только пожелай я, да подходящего не видать. Да, да, только пожелай я, разве мало сорокалетних женщин замуж выходит? Но ты скажи, где таких мужчин сыскать, таких, которых уважать и любить можно? Все лодыри, пьянчужки смотрят на бабу как на рабочую кобылку. А ежели кто на сивуху и меньше посматривает, ежели кто пообразованней да пообтесанней, то все равно — не он мои портки, а я его после замужества стирать буду. Я буду по дому хлопотать, а он — у телевизора сидеть. Где это ты видела, чтобы муж ужин готовил? Скотина, огород, дети — все на плечах у бедной бабы. Муж только вид делает, что воз тянет, а баба и впрямь в этот домашний воз впрягается, сил не жалеет.

Так на кой ляд мне впрягаться? Ежели бы нашелся такой, к которому я бы сердцем потянулась... А только из-за того, чтобы замуж выйти, чтобы кого-то в постели иметь... Нет, лучше одной! Пусть дуры тянут семейное ярмо, барщину отбывают. Такие, как ты, как моя сестра Бируте...

— Это уже не ты, а обида твоя говорит, Юстина. Осталась в старых девах, вот и злишься на весь свет.

— Старая дева, но зато свободная. Никто меня сапогами не топчет.

— Далась тебе эта свобода. Ни мужского плеча, ни детей...

— Дети! Ну, этого добра можно и без мужа нажить...

Унте не слышит их ссоры: как только сцепились, он вместе с отцом и вышел из избы — старик отправился в чулан на боковую, а сын через всю деревню — в сельсовет. Сквозь густые разлапистые деревья кое-где пробивается солнечный луч. Хорошо и свежо под прохладной, пахнущей зеленью листвой, в которой нет-нет да просвечивает голубой лоскут неба, усеянного белыми перистыми облаками. На дорогу с обеих сторон смотрят крохотные оконца старых изб, выкрашенные в желтый цвет крылечки, поскрипывают замшелые дубовые колодезные журавли, какие нынче уже не в моде. Примерно через полверсты зеленая крыша обрывается: новые кирпичные дома, садочки, не успевшие еще прижиться, и простор, простор, разве что попадется где-нибудь одно-другое молоденькое деревце, высаженное у дороги. Да чего и удивляться, ведь лет двадцать тому назад здесь тянулись пустые поля.

Во дворе Дома культуры ни одного человека. Пусто и на площадке для стоянки машин. На втором этаже несколько окон, одно из них — сельсовета.

— Присаживайся,— говорит Ляонас Бутгинас и тычет пальцем в потертое кресло у стены. А сам остается у окна. Без пиджака, в рубашке с засученными до локтей рукавами, оголившими смуглую, заросшую густыми волосами кожу, влажную от пота. Высокий лоб и широкое лицо сверкают, словно лоснятся от жира.— Ну и мучаюсь же я летом,— жалуется он, доставая из кармана скомканный носовой платок.— Двадцать градусов выше нуля еще куда ни шло, стерплю, но если выше, то пот с меня ручьями течет. А уж сущая беда, когда приходится надевать пиджак и завязывать галстук.

— Так ты, может, вызвал меня, чтобы сообщить о том, что перебираешься на север?— усмехается Унте, развалившись в кресле.

— Нет, у меня более веселая новость для тебя, но я ее оставлю на закуску. Как бы то ни было, давненько мы с тобой не виделись, и есть о чем побалакать.

— Давненько, больше недели. Летом у всех работы невпроворот. А у тебя еще эти сельсоветовские дела.

— Хорошо, если бы только сельсоветовские... — Бутгинас замолкает на минутку, не отваживаясь продолжать. Ты не думай, хлеб председателя сельсовета нелегкий. Особенно когда во главе колхоза такой, как Стропус.

— Топор! — цедит сквозь зубы Унте. — Носится с этими животноводческими комплексами, а на строительство Дома культуры ему наплевать.

— Хочет выше всех в республике взлететь. Герой Труда ему снится. А за культурную деятельность золотую звездочку так просто не дадут. Цифры и проценты требуются. Показатели! Мясо, молоко, зерно — вот где величайшие ценности с точки зрения материалиста.

— Здорово загнул. Может, у тебя и насчет памятника Жгутасу-Жентулису просветление в голове?

— Насчет памятника мне давно все ясно, сам все знаешь. Скоро тридцать лет, как наш земляк геройски погиб. До годовщины памятник должен стоять.

— Не понимаю я тебя, Ляонас. — Унте подскакивает, снова садится, безжалостно скрипя креслом. — Ты что, со Стропусом в одну дудку дуешь?

— И твой брат Даниелюс, секретарь, того же мнения.

— Мой брат! Откуда ты знаешь, может, он того же мнения, потому что должность велит?

— Да и я на кое-какой должности.

— Чинодралы! А где же ваши головы?

— Я согласен с твоим братом. Если человек погибает за других, то заслуживает всяческого уважения, — спокойным, ровным голосом произносит Бутгинас, как будто доклад читает. — Жгутас-Жентулис защищался до последнего патрона, уложил нескольких гранатами и взорвал себя, когда на него три дюжих лесовика поперли. Всех в одной куче мертвыми нашли. Ты уж, Унте, не сердись, но политик из тебя никудышный, лучше попридержи язык за зубами, если не очень разбираешься.

Унте сердито кусает губы, медленно поднимается с кресла. Быть грозе, неважно, что их водой не разольешь, как Салюте говорит; это так, но бывает, спорят часы напролет — и никакого согласия. Да взять хотя бы памятник Жгутасу-Жентулису; он для них как та неприступная гора, им бы обойти ее, если не желают друг с другом насмерть

рассориться. Или строительство фабрики, к которому Бутгинас, не соглашаясь с Унте, относится довольно трезво. Но Унте никто никогда не заставит идти в обход. Только прямо, только вперед, даже если придется шею свернуть! И пусть Ляонас не встает правде поперек дороги!..

Но Ляонас Бутгинас сегодня, как назло, настроен иначе — спорить не желает. Хлоп муху! Хлоп другую! Щелчок — и с ладони наземь летит расплющенное насекомое. Вроде бы неподходящее занятие для председельсовета.

— Знаешь,— говорит Унте, выложив все, что думает, и отчаявшись дождаться от Бутгинаса хоть какого-нибудь ответа,— когда поставите памятник, будет за что спрятаться, ежели, скажем, приспичит.

Ляонас Бутгинас спокойно проглатывает и эту пилюлю. А может, не расслышал? Нет, расслышал, даже вяло улыбнулся, хотя по выражению лица видно, что мысли его заняты другим. Уж очень он замкнутый человек. Ежели повнимательней присмотреться, то и он, друг, уже не такой, как прежде. Мешки под глазами вроде бы больше стали, морщины по обе стороны мясистого носа удлинились, да и румянец на щеках, от которых всегда веяло здоровьем и на которых всегда бойко цвела улыбка, и тот потускнел.

— Может, тебе нездоровится?— спрашивает Унте, недовольный затянувшимся молчанием и мушиной охотой.

— С чего это ты взял? Неужто у меня на роже написано?

— Не написано, но ты какой-то не такой, как раньше...

Бутгинас делает над собой усилие и поднимает глаза на Унте:

— Не такой, говоришь? Все мы не такие. Годы...

— Ври, сколько влезет.— Унте встает, мерит шагами тесную каморку.— Может быть, и годы, но люди другое говорят. От соседей ничего не утаишь. Как ни закрывай окна, все равно слышно, как тарелки бьют.

— Чепуху городишь...— Ляонас Бутгинас с минуту медлит, не решаясь открыться, хотя знает, всеми порами чувствует: не удастся ему на сей раз сохранить тайну.— Никто не закрывает, никто не бьет... Только, видишь, она — Герой Труда, в прошлом депутат Верховного Совета, а я — председельсовета. Вот и зазналась.

— Как же ей не зазнаться, ежели ты у нее под каблуком,— вставляет Унте, сочувственно глядя на своего друга.— С самого начала надо было вожжи в руках держать.

— Так только темнота деревенская рассуждает!— Бутгинас спохватывается, что слишком громко говорит, и при-

крывает окно.— Когда женщину любишь, и под каблуком у нее приятно. Когда веришь ей, уважаешь, она тебе тем же самым платит. Любовь, уважение друг к другу и составляют суть равенства мужчины и женщины. А не то, что женщина имеет право быть начальником любого управления, министром, парторгом, рыть траншеи для канализационных труб наравне с мужчинами. Представь себе, десять лет я служил Руте, как батрак, но не чувствовал себя им... Мыл посуду, жарил, варил, стирал пеленки. Она — на собрания, на съезды, на сессии, в президиумы, на трибуны, а я с коровой вожусь, со свиньями, верчусь на кухне в фартуке. Но не жалуюсь: счастливые это были годы. Я гордился, что ее всюду приглашают, уважают, превозносят, склоняют в печати, я видел ее счастливой в лучах славы, и это было для меня лучшей наградой. А теперь... Эх, и говорить стыдно...

— Почему стыдно?— не может взять в толк Унте.— Любовь прошла, что ли? А может, она тебя в дураках оставила, пока по всяким торжествам разъезжала? Подойди-ка поближе, дай пощупаю, велики ли твои рога.

— Мели, мели, если без этой молотьбы обойтись не можешь.— Бутгинас глубоко вздыхает, теперь он уже другим платком утирает струящийся по лицу пот.— Не понимаешь, что иногда женщине легче простить измену, если она искренне признает свою ошибку, чем ложь. Рута, по всей вероятности, не изменила мне, но верить ей я не могу. В жизни порой бывает так: вдруг что-то выясняется, и у тебя с глаз как бы шоры спадают. Столько лет с человеком вместе прожил, а оказалось — не такой он, каким ты его представлял.

И Бутгинас медленно, порой до шепота понижая голос, рассказывает все, что прошлой весной услышал от Стропуса.

— И это все?— удивляется Унте.— Стропус оклеветал Руту от злости к тебе, а ты взял да поверил.

— Нет, нет!— качает головой Бутгинас.— В том-то и дело, что это чистейшая правда. Весь год она мне душу жгла. Думал, переборю себя, забуду, и все пойдет по-прежнему. Куда там! Недавно поцапался я с Рутой и все ей выложил. А она, представь себе, даже не стала защищаться. Подумаешь, что тут, мол, особенного, несколько плохих коров заменили коровами получше. Улучшили, мол, рацион кормления и вообще создали, как говорится, более благоприятные условия... К тому же вместо нее, Руты, Стропус мог другую доярку выбрать и вознести ее на вершину славы... Я любил ее, Унте! Да, очень любил. Но если бы знал об

этой сделке со Стропусом, я бы вряд ли на ней женился. Я знаю, Рута и тогда больше других заслуживала того, чтобы ее выдвинули, у нее были самые лучшие показатели. Но есть на ее звездочке и ржавчина. Думаешь, эту ржавчину только я один вижу? Стропус людям рот заткнул, но, думаешь, те, которые в курсе дела, не перешептываются, не шушукаются?

— Чего былое вспоминать, чего, спрашивается, шушукаться? — старается утешить друга Унте, хотя сам не верит своим словам.— Твоя Рута все равно была лучшей дояркой, не зря ее отметили. А что до этой ржавчины, как ты говоришь, так и к ногам святого прах пристает.

— Ну и пусть пристает, но зачем же скрывать его? От самого близкого человека! — Бутгинас съеживается, как от удара.— Они со Стропусом все знали, а я оказался в дураках. Десять лет хранила она тайну, как змею за пазухой! Вот и скажи мне — мог бы ты верить такой женщине?

— Во всем Стропус виноват. Из кожи вон лез, только бы обогнать всех по показателям и соответственно по количеству орденов, позвякивающих на груди...

— Ах, уж эта спесь проклятая. Только бы взлететь повыше, только бы перещеголять опереньем другого. Неважно, какой ценой, но купить билет в ложу, где сидят избранные, чтобы все тебя видели. И моя Рута такой билет купила... А я, недотепа, думал, что главное в жизни человека — это честно вкалывать и жить по совести.— Голос Бутгинаса обрывается.— Какой-то я не от мира сего, Унте, в ногу попасть не могу с такими, как Стропус... А они прут. Иногда даже через трупы шагают. И смеются тогда, когда у меня слезы на глаза навертываются.

Унте беспомощно шмыгает носом. Что-то сказать бы надо. Обязательно. Но все слова гроша ломаного не стоят! Гиринис молча подходит к Бутгинасу и, обняв, по-мужски несколько раз сжимает его плечо. Потом направляется к двери.

Оба долго молчат. Слышно, как на улице грохочут машины.

— Я всегда с тобой, Ляонас,— говорит Унте, не оборачиваясь.

— Я знаю...

Бутгинас горько улыбается в спину Унте. Отходит от подоконника, садится за письменный стол. И он уже не просто Ляонас, а серьезный человек, предсельсовета...

— Звонили из Вильнюса. С телевидения. Тебя просят приехать и что-нибудь снять,— говорит Бутгинас, подперев

одной рукой отяжелевшую голову, а другой раскладывая какие-то бумаги.— Ишь как тебя твои старинные песни прославили, даже до столицы слух дошел.

Унте ошеломлен. Возвращается, придвигает кресло, садится напротив Бутгинаса. Нет, это какое-то недоразумение или розыгрыш.

— Дело серьезное,— принимается убеждать его Бутгинас.— Звонил ответственный товарищ. Поначалу просил Стропуса, но не нашел, а заместитель Стропуса без согласования с ним наотрез отказался что-либо решать.

— Что решать?

— Командировать тебя в Вильнюс или не командировать.

— Меня?! Посылать или не посылать?— сердится Унте.— И еще кто: контора Стропуса!

— Так поезжай, ничего никому не сказав,— пытается найти золотую середину Бутгинас.— Командировку тебе оплатит телестудия.

— Совсем у тебя котелок не варит, Ляонас! Разве я насчет оплаты? Стропус сядет у телевизора и будет выхваляться: видали, какой кадр я вырастил, наша самодеятельность — ого! Любитель пускать пыль в глаза! Два года болтает о строительстве Дома культуры, а сам палец о палец не ударил.

— И все же здорово, если ты по телевизору выступишь...— не унимается Бутгинас.— Всей деревне честь. А уж о твоих родичах и говорить нечего. Отца порадовал бы, сестер... Только круглый дурак может отказаться от такого предложения.

— А я отказываюсь. Пусть буду круглым дураком, но я отказываюсь.— Унте решительно встает с кресла.— Если этим телевизионщикам Антанас Гиринис так дорог, пусть сюда приезжают со всеми своими причиндалами. Спою от души, себя не пожалею. Запишут, а потом народу покажут. Разве они со Стропусом в прошлом году не так поступили, когда он им кучу глупостей про наш колхоз наговорил? Чем же я, скажи, хуже его? Нет, не помчусь я к ним, задрав хвост, и не подумаю.

— Как знаешь,— раздраженно бросает Бутгинас.— Твои, как говорится, свиньи, твои, как говорится, бобы. А я-то думал, что ты не упустишь случая со своим братом Повиласом в столице повидаться...

— Такая жара, а я, видишь ли, буду в городе потом исходить. Да и вообще, уж так ли давно я там был. Прошлой осенью, сразу же после Октябрьских:

Поскакал я в город Вильнюс
на базар на шумный...

Унте весело смеется, вспомнив что-то, и семенит к двери, громко повторяя куплет той же самой песни:

Поскакал я в город Вильнюс
на базар на шумный,
вижу, там стоит девица
средь подружек юных...
Словно звездочка на небе
средь просторов лунных...

III

С этой песней Унте прошлой осенью и уехал в Вильнюс к брату Повиласу. Трезвый, как только что родившееся дитя, выдувший за обедом всего пару кружек пива: и то потому, что цепелины были пересолены. Но настроение у него было прекрасное. Унте сам диву давался и не мог взять в толк, откуда эта веселость. Он и к автобусной станции спешил, задорно напевая назло деревенским сплетницам, уже шушукавшимся между собой: «Слышите, Гирисов Унте на улице глотку дерет. Снова набрался».

Уехал он вечерним поездом, чтобы к утру быть в Вильнюсе и в тот же день, закончив все дела, вернуться назад. Удобнее всего было бы позвонить брату тут же, вылезши из вагона, сесть в троллейбус или взять такси. Но Унте подумал, что не стоит в такое время будить людей. Если бы это был не Повилас, а Даниелюс — другое дело. Конечно, и с Даниелюсом по-свински нельзя, он человек уважаемый. Голова района, руководитель. Все заседает. Крутится, вертится, а работы никакой. Весь прок только в том, что иногда, когда пожалует на побывку, отцу поможет сено скосить... А Повилас, тот твердо на ногах стоит. Твердо. И взлетел высоко. Поставь девять лестниц одну на другую и то вряд ли доберешься. Ученый! И не какой-нибудь — за границей свои работы печатает. Да, Повилас памятник себе уже поставил, не то что Жгутас-Жентулис. Ну как не гордиться таким братом... Худо только, что дорогу в родную деревню подзабыл. Один только раз в году в Дягимай появляется. Дела у него, конечно. Работа, всякие там симпозиумы, поездки. Его понять можно: будешь тратить время на знакомых, на родню, в такую высь не взмоешь. Так и отдалился он от своих; какой-то чужой, словно тайной окутан, и еще более недосягаем, чем прежде. Будто стоит на

самой верхотуре, ухватившись за облака, а ты — мелкая букашка — внизу барахтаешься...

Унте с трудом отыскал свободное место, сел, достал из кармана бутерброд и принялся жевать его крепкими зубами. Кое-кто из пассажиров, заполнивших за ночь затхлый вокзальный зал ожидания, тоже подкреплялся чем бог послал, потому что все буфеты и столовки были еще закрыты. Одни запивали свою нехитрую снедь прямо из бутылок пивом или лимонадом, а кто с вечера не успел запастись напитками, довольствовался водой из крана. Скромные перронные лотки и киоски были не доступны для покупателей, а кто хотел скоротать время за чтением, должен был отыскать в своем кармане вчерашний номер газеты. Одним словом, были все условия для того, чтобы в этот ранний утренний час пассажир, оторванный от своих близких, почувствовал себя еще более одиноким.

Унте охватило такое уныние, что хоть садись в первый попавшийся поезд и мчись домой. От всех только и слышишь: город, город! Удобства. Культура. Бросаются, как бабочки на огонь, отбоя нет. А он, Унте, на этом кирпичном кладбище и неделю не протянул бы. Посмотришь издали, и уже с души воротит.

Желая превозмочь нахлынувшую на сердце тоску, Унте принялся думать о том, как он проведет этот день. Поначалу, пожалуй, надо наведаться к брату, а уж потом устраивать все другие дела — обойти магазины, купить кое-что детишкам, Салюте. Но, подумав хорошенько, Унте решил, что лучше всего начать с конца. Повилас, наверное, трудится с самого утра (так оно и оказалось — Унте позвонил ему), так что до обеда можно пошататься по городу, поесть, а под вечер нагрянуть к брату. Конечно, и там чем-нибудь попотчуют, но не набрасываться же в гостях на еду, как голодный зверь...

Часы показывали четверть восьмого, когда Унте вышагивал по плохо освещенной улице, вцепившись в ручку объемистого потертого чемоданчика из искусственной кожи, привезенного ему в подарок из Москвы Даниелюсом. На дворе стояла середина ноября, было пасмурно и до восхода солнца еще далеко; скоро откроются магазины, оживет базар, только успевай крутиться и проворачивать свои дела.

У троллейбусных остановок собиралось все больше людей. Унте обгонял их, переходя на другую сторону улицы, потому что не выносил толчеи. Тем не менее какой-то мужчина чуть не сбил его с ног в спешке, и Унте, удостоившись

трехэтажной, не местного происхождения брани, с грустью вспомнил Дягимай, где все было по-другому, по-свойски и так близко сердцу... Он ужаснулся при мысли, что и в магазинах придется толкаться, но утешал себя тем, что не найдет того, чего хочет, а значит, и не придется потеть в очереди. «Черт бы побрал эти очереди,— кипятился Унте, приближаясь к центру, где людей, сновавших толпами по тротуарам, было еще больше.— Отец рассказывал, что раньше в очереди стояли только крестьяне, и то на скупочный пункт, чтобы сдать бекон...»

Исходив до обеда не один квартал и придирчиво осмотрев несколько магазинов, Унте все-таки сделал кое-какие покупки. Ничего особенного он не нашел, но все же не с пустыми руками вернется. Салюте, конечно, поднимет его на смех — этого добра, скажет, и в Епушотасе полно, но Унте все-таки повеселел, брел по тротуару с разбухшим чемоданчиком, к которому были привязаны две коробки с ботинками для детей. Обрадует он своих пацанов, ясное дело. Да и Салюте не будет на него в обиде — красивый платок с цыганскими кистями ее дожидается. Может, такого подарка и не заслужила — уж больно она язык распускает,— но и обходить негоже — жена ведь («Ах, ежели бы этот платок да Юргите! На плечи ее круглые... как бы он к ее черным глазам подошел...»). Унте весь покраснел при мысли о невестке, устыдился, отругал себя («Ну и пентюх! Платок! Как какой-то деревенской бабе... Ты ей шляпку подбери. К ее внешности, к одежде. И не какую-нибудь, а новехонькую, по моде, такую, какие дамы в больших городах носят...»).

И грустно вздохнул, что в таких делах ни бельмеса не смыслит, а если бы и смыслил, то разве посмел бы лезть к ней с подарками?

Продовольственные магазины Унте обошел с утра. Купил три кулечка конфет, коробку халвы, несколько плиток шоколада. Вроде бы и все покупки, можно идти в ресторан обедать, бумажник все равно до донышка не опорожнишь — нынче не товар, а денежка верх берет. Бумажка задрипанная!

Унте свернул к ближайшей троллейбусной остановке — проедет пару остановок, ноги отдохнут. Но увидел вдруг женщину с авоськой, в которой соблазнительно желтели лимоны. Вот это да! Невиданный в Епушотасе плод; когда появляется в местном магазине, жены начальства через черный ход все и выносят. У Унте аж слюнки потекли. Ах, забыл тот день, когда чай с лимоном пил! И крикунья Са-

люте, и детишки — все истосковались по этому душистому чуду юга.

И Унте, не долго думая, шмыгнул в ближайший магазин. Встал в очередь, вытянувшуюся до самых дверей, хотя душистого чуда юга уже и в помине не было. Женщины (и пара дряхлых стариков) жались в очереди, как отара овец под ливнем, и лица их были хмурые, измученные долгим и терпеливым ожиданием. Гиринис снова вспомнил (который раз за день!) глинистые, размякшие от осенних дождей равнины Дягимай, такие безжалостные, такие изматывающие во время страды, но такие просторные и вольные.

(«Ах, ни за какие деньги меня в эту каменную тюрьму!»)

Вдруг взгляд его остановился на женщине, показавшейся ему вроде бы знакомой. Унте не поверил своим глазам — откуда же ей в столице взяться?— но когда присмотрелся повнимательнее, понял, ошибки нет: Юзе Гайлюте! Сгорбившаяся, похудевшая. Одни глаза да нос. Вцепилась в огромную корзину, набитую чем-то. Пальто обшарпанное и ботинки под стать ее внешности. А какую даму из себя строила, когда наведывалась к своим родителям, Гайлюсам, в деревню! Госпожа начальница! Она нарочно шла через всю деревню пешком, чтобы все видели ее во всем блеске. И никого не узнавала. А ежели кого милостиво и признавала, так только мужчин. Отвечая на их приветствия, развязно, как купчиха, улыбалась, царственно подносила руку к их губам, словно оказывала им величайшую милость. Никто в деревне толком не знал, какое место занимает ее супруг («Получает рубли, а тратит тысячи»,— шептали злые языки), но когда могущественный муж привел в дом другую, всем стало ясно, что Юзе Гайлюте без него — пустое место!

Унте подошел к ней и поздоровался. По правде говоря, делать этого не стоило, потому что однажды, когда госпожа начальница демонстрировала в деревне свое величие и среди прочих Унте была оказана честь приложиться к ее ручке, он недоверчиво обнюхал ее ладонь, как избалованный дог тухловатый кусок мяса, сморщил нос и отвернулся. Невозможно, чтобы женщина забыла такое оскорбление; кроме того, Юзе стеснялась своего нынешнего положения и потому сделала вид, будто не узнала его.

— Какая Юзе? Чего вам надо?— отрезала она по-русски для вящей убедительности. Однако ее лицо в пятнах то багровело, то бледнело, а темные мешки под глазами судорожно дергались.

Унте понял: чем дольше он будет стоять перед ней, нахально улыбаясь и сверля ее презрительным взглядом, тем скорее эта омещанившаяся крестьянка не выдержит и закатит истерику.

— Зря пыжишься, Юзе,— сказал он, собираясь уйти.— Посидели бы вместе в ресторане, я бы тебя обедом угостил...

— Ну и привязался! Полоумный!— снова по-русски прошипела Гайлюте, замахнувшись на него корзинкой.

Унте юркнул в проулок, громко хохоча, хотя на самом деле не очень-то ему было весело. Гиринис презирал таких людей, как Юзе Гайлюте, не упускал случая, чтобы поиздеваться над ними, но, как человек добросердечный, испытывал к ним, попавшим в беду, жалость. «Глупая курица на городском асфальте,— размышлял он, таща чемоданчик с коробками и совсем забыв о своем желании набить его лимонами.— Приехала в Вильнюс учиться, а вместо того подцепила себе муженька. Тот пожил с ней, пока была молода, несколько годочков, высосал все денежки и — пошла вон! Будь она поумней, вернулась бы в деревню и сахарную свеклу выращивала бы. Но разве образумишь такую искательницу красивой жизни!»

У Унте от таких мыслей даже аппетит пропал (с ним всегда так, когда расстроится), потому, видно, и обед решил отложить, а оставшееся время послоняться по улицам. Доехал до Старого города, по которому три года назад долго кружил с братом Повиласом, и еще раз облазил каменный лабиринт узких улочек, куда городской шум почти не проникал. Потом снова вспомнил Юргиту — только не сразу, сперва мелькнул перед глазами ее пейзаж, написанный акварелью (Унте видел его у Даниелюса), и, не отдавая себе отчета в своем поступке, отправился в Художественный музей, а оттуда — во Дворец выставок. Ходил, осматривал увешанные картинами стены, нередко ловя себя на мысли, что порой рамы куда красивее, чем сами полотна, и все подыскивал место, подходящее для акварели Юргиты, и, найдя его, отходил от стены подальше и, прищурившись, любовался воображаемым произведением. Когда он покидал храм искусств, у него в животе кишки от голода марш играли, было самое время отправляться к брату Повиласу, что он и сделал, съев перед этим двойной обед в близлежащем заведении под названием «Приют ремесленников».

IV

Невестка Унте, известный в республике архитектор, была в командировке, и Повилас Гиринис, вернувшись из института, хозяйничал на кухне один (детей у них не было). Обычно Повилас обедал на работе в столовой закрытого типа, но сегодня он так углубился в гипотезу одного выдающегося американского астрофизика (у него против нее были самые серьезные возражения), что забыл обо всем на свете. Мог он, конечно, заехать в ресторан (хотя в такие заведения хаживал только в случае крайней необходимости, как и к портному, фотографу или в парикмахерскую), но прими он такое решение, потратил бы не меньше часа. А бессовестно транжирить время казалось Повиласу Гиринису непростительным легкомыслием, чуть ли не преступлением, ибо если сложить воедино все минуты, потраченные на различные бытовые мелочи, то у самого большого скептика волосы бы дыбом встали: эва, сколько лет погублено! Если мерить космическими мерками, жизнь человека — только вспышка молнии, почти неуловимая для глаза истории, микроскопическая доля мгновения, которая осталась бы на веки вечные незафиксированной и покрытой мраком неизвестности, не используй мы все эти мгновения до конца.

Повилас Гиринис боготворил вечность, благоговел перед бессмертными именами, вписанными в ее книги, и лелеял мечту — оставить свой след в истории астрофизики, но деятельностью его двигало не честолюбие, а желание честного работяги сделать что-нибудь полезное для человечества: дело в том, что он искренне верил, что путь человека к познанию (а отсюда — к прогрессу) есть одновременно и путь к счастью. Он бывал счастлив, подсчитав, что приготовление котлет, купленных в кулинарном магазине, сэкономит ему по меньшей мере полчаса и на такие же полчаса продлит время его активной жизни, много лет тому назад посвященной его кумиру — науке.

Приход Унте зачеркнул эти сэкономленные полчаса. Ученый Повилас Гиринис, безнадежно запутавшийся в созвездиях, расстояние до которых исчислялось миллиардами световых лет, тотчас же вернулся на свою планету, превратившись в сентиментального, истосковавшегося по отчему дому ребенка. Глаза у него увлажнились, губы задрожали, когда, открыв дверь, он протянул руки к брату. «Как же так? Нежданно-негаданно...» И больше Повилас Гиринис не произнес ни слова. Он стоял, тяжело дыша,

прижав к себе Унте, от которого веяло удушливым теплом деревенского жилья, и тепло это захлестывало душу.

— Как хорошо, как хорошо...— частил Повилас прищурившись.— Сбрасывай овчину. Садись. Рассказывай, что нового у вас там, в Дягимай.

— Живем...

— Отец как, Юстина с Бируте?

— Все по-старому...

— По-старому, говоришь?— Повилас снова прищурился и покачал головой.— И я себе так представляю. Все как было: и наша усадьба, и изба, и родители, и сестры... Ты меня, брат, в детство вернул!

— Что поделаешь: сам домой не приезжаешь. Так считай, что дом к тебе приехал.

— Да, давненько я у вас не был. Надо бы хоть раз в год, но...— Повилас нескладно махнул рукой, как бы винясь и оправдываясь, хоть и знал, что Унте не поймет его.— Слишком мало времени отмерено человеку. Хоть бы календарный год был подлиннее, ну, скажем, тысяча дней...

— Хватит и столько, сколько бог положил, как отец наш говорит. Зачем эти тысячи?— несмело возразил Унте; он стеснялся брата, пришибленный его величием.

— Должно хватить,— уступил Повилас.— Нам отмерено несколько вершков веревки, это, конечно, меньше, чем надо, но научимся же использовать их так, чтобы взобраться на свою вершину. В конечном счете не все решает время: порой человек, умеющий собрать в кулак все запасы своей духовной энергии, может за день сделать больше, чем другой за десятилетия. Это единственный способ продлить свой век. Да, как здоровье отца?

— В последнее время на сердце жалуется... Переживания, годы...

— Постараюсь, обязательно постараюсь приехать,— засуетился Повилас.

— Ты хоть на юбилей выберись. Ежели, конечно, дотянет...— В словах Унте послышалась укоризна.— Мать мы без тебя в последний путь проводили...

Повилас мог оправдаться тем, что был в то время за границей, но промолчал. Видно, прямота брата задела его, а может, еще более оттенила его, Повиласа, бесконечное одиночество. Он знал: о чем бы они дальше ни говорили, все равно их слова не западут в душу.

— Входи,— сказал Повилас, распахнув дверь в гостиную.— Ты, наверное, не обедал? Жаль, хозяйка в отъезде, а я, увы, не ахти какой повар.

— Спасибо, я сыт. Наелся до отвала. Вот если бы чего-нибудь попить...

Брат достал из холодильника яблочный сок.

— Должно быть, пивцо лучше, но я его изгнал из дому: только лень нагоняет да притупляет мозги. Лучше мы с тобой кофейку выпьем и по рюмке коньяка.

Унте хотел было объяснить брату, что вот уже месяц, как ни пива, ни водки, ничего спиртного не употребляет, даже пятый день не курит,— до того не терпелось от всякой скверны душу очистить,— и все же не устоял, кивнул головой: что же, рюмочку коньяка с кофе можно... И зачем, спрашивается, брату напоминать о своей треклятой слабости; Повилас, оторвавшийся от Дягимай, наверное, и не знает о ней. А если и знал, то забыл давно... Пусть видит: и он, Унте, такой же, как другие,— выпивает, но голову не теряет.

— Хорошо у тебя,— сказал он, осмелев, и принялся оглядывать гостиную.— Картины, книги, чистый воздух... Пахнет как! Не так, как у нас в деревне. Целый день, с утра до вечера, в грязи, в навозе, минутки нет, чтобы газету почитать.

— Так, может, тебя в город потянуло?— настороженно спросил Повилас.

— Уж кого-кого, а меня не потянет. Просто к слову пришлось. Нет, не по мне эта бочка, битком набитая селедкой.

Повилас посмотрел поверх его головы и ничего не ответил.

— Как дела у Даниелюса?— после паузы осведомился он, налив себе рюмку.

— Руководит...— бесстрастно ответил Унте.— Уважаем, ценим. И жизнью вроде бы доволен...

— Ну, а ты?

— Как тележное колесо на раздрызганном проселке: из ямы в яму.

— Рассказывай.

— Да тут и рассказывать-то нечего. Такова доля всех деревенских жителей.

— Позволь, позволь, как же так?— удивился Повилас.— Деревенские жители, как тележное колесо на раздрызганном проселке: из ямы в яму, а горожане что — по асфальту с песней, аж искры летят?

— Летят не летят...— пробормотал Унте.— У каждого свои ямы...

Повилас отпил глоток коньяка, и Унте, последовав его

примеру, тоже поднес рюмку к губам и сам не заметил, как опрокинул ее до дна. Унте смущенно смотрел на оставшуюся бурую капельку в рюмке, чувствовал, как по телу разливается приятное тепло, светлеет в глазах и рушатся преграды между ним и братом, преграды, воздвигнутые долгими месяцами разлуки. Он вертел в руке чашечку с кофе и с надеждой поглядывал на почти полную бутылку коньяка, поглядывал и плутовато думал: какой осел изобрел этот низенький, как стул, столик. Сидишь за ним и так и подмывает проверить, все ли у тебя застегнуто? Унте не смотрел на Повиласа, но отчетливо представлял себе его высокий лоб, его глубокие и умные глаза, острую бородку клинышком, копну волос, посеребренную сединой и спадающую на воротник рубашки. «Какой-то... ну точно из сказки. Мудрец!» — мелькнуло у него. И его вера в могущество брата окрепла еще больше. Унте уже не сомневался, что Повилас поймет его и сделает все от него зависящее, чтобы помочь.

Повилас выпил полрюмки, налил полную брату, и Унте, опрокинув ее, стал покладистей и разговорчивей; не дожидаясь расспросов, принялся рассказывать о последних новостях в округе: о свадьбах, крестинах, поминках, хотя Повилас многих из тех, кого брат упоминал, забыл и вообще не знал, потому-то и слушал его рассеянно, с отрешенным видом, погруженный в собственные мысли и заботы, и оживился только тогда, когда Унте перешел к строительству фабрики. Кому нужна эта болячка под боком у Дягимай! Дым, смрад, гвалт, всякие проходимцы!.. Не ровен час, проглотит она деревню, как рак какой-нибудь, уже и теперь протянула к ней свои щупальца, никуда от нее не денешься: Гедвайняй — уже не Гедвайняй, а городок, запруженный строителями и со всех сторон обступивший фабрику. А ему, городку, видите ли, все мало: ширится, растет, прет на колхозные поля, пока в один прекрасный день... Да что там говорить! Приедешь, брат, через несколько лет на родину и отчей усадьбы не отыщешь. Тебя не шелестом пшеницы встретят, не цвеньканьем птиц, а холодными камнями нового города, ядовитым облаком фабричного дыма... Вот тебе и будущее твоих родных пенатов! Когда-то люди здесь жгли леса, чтобы отвоевать у них побольше земли для выращивания хлеба, а сегодня ту же самую землю превращают в пепелище, только ради другого — ради того, чтобы одеть ее в камень и сковать железом. Деревня, ясное дело, заволновалась, захотела от болячки отделаться, думала, Даниелюс на помощь своим придет, однако

он только наобещал с три короба, наобещал и оставил все как прежде. Может, у него и впрямь благие намерения, но что с того, если руки, видать, коротки... То же самое с памятником этому Жгутасу-Жентулису. Многие из тех, кто знал его, земляка нашего, против таких почестей, а Даниелюс... надо же... ну просто его не поймешь.

Повилас справился, кто такой этот Жгутас-Жентулис, и Унте терпеливо рассказал ему, невольно сгустив краски. Теперь и Повилас вспомнил, что слышал об этом человеке, хотя лично встретиться не довелось.

— Ну вот ты скажи, заслуживает он таких почестей? — кипятился Унте.— Уж если поднимать на алтарь, то поднимать достойного и освященного.

— История,— сказал Повилас,— капризная дама, она любит парадоксы. Часто бывает так: личности, обагрившие руки кровью невинных, личности, ничего, кроме мук и страданий, человечеству не причинившие, остаются в памяти этой капризной дамы навеки, а имя скромного творца непреходящих ценностей, от деятельности которого многое зависит и который вместе с такими же гениями добра двигает рычаги прогресса, зачастую предается полному забвению. Ну уж если и не полному, то во всяком случае достойной оценки не получает.

Унте покачал головой: не очень-то ему было понятно, куда брат гнет, и, чтобы внести ясность и успокоить нервы, опрокинул рюмку.

— Дело, понимаешь, в том, что люди, полагающие, что увековечивают какую-нибудь личность, не могут быть уверены, что ореол, которым они окружили эту личность, не потускнеет в течение какого-нибудь десятилетия,— витиевато продолжал Повилас, вертя в руке все еще не выпитую вторую рюмку.— Есть памятники, никому ничего не напоминающие, ибо, заметь, давно забыты те, в чью честь они поставлены. Здесь решающее слово — за временем, и только за временем. Стоит лишь нам просуфлировать истории свое мнение, как такая попытка неизбежно кончается фиаско: кроме нас, наш беспомощный детский писк никто не услышит.

«Хитер...» — с уважением подумал Унте о брате, почувствовав, как растет пропасть между ним и Повиласом. Рука невольно потянулась к бутылке, но Унте опомнился, устыдился и зябко съежился в кресле.

Повилас сделал вид, будто ничего не заметил.

— Бессмертный Эйнштейн и тот не отважился бы заявить: «Я абсолютно прав, мои решения не нуждаются ни

в каких коррективах времени»,— разглагольствовал Повилас, теребя пальцами левой руки седой клинышек бородки.— Теория относительности совершенна, однако этот шедевр — плод разума обыкновенного смертного, то есть продукт его — пусть и гениального — мозга, обусловленный определенным научным опытом, который, будучи втиснут в рамки конкретной эпохи, не может быть бесконечным. Поэтому нет ничего удивительного в том, что история знает немало великих открытий, в которые позднее были внесены коррективы, хотя от этого открытия они значения своего не утратили. А сколько гениальных творений человеческого разума еще ждет такой коррекции! И это понятно, ибо во Вселенной все, начиная со звездных систем и кончая человеком, движется, меняет свое положение, формы, качество... И поверь мне, нет никакого парадокса в том, что мы тому, чему вчера говорили «да», завтра скажем «нет»!

— А ты поясней не мог бы,— взмолился Унте, запутавшийся в рассуждениях брата и почувствовавший себя совершенно лишним за низеньким столиком.— Просто, без всех своих ученых уловок: надо ли такому Жгутасу-Жентулису ставить памятник или нет?

— Я уже говорил: последнее слово принадлежит времени, ибо то, что отдельная личность знает о конкретном человеке, и то, как его оценивает, вытекает из субъективного опыта этой отдельной личности. А такой опыт не может быть всеобъемлющим, а выводы не могут быть ни бесспорными, ни непогрешимыми,— безмятежно разъяснил Повилас, плеснув Унте и налив самую малость себе.— Отсюда и разногласия, различные взгляды, конфликты, разрешение которых, если перенести их в плоскость международных отношений, зачастую кончается весьма трагически.

— Да оставь ты это свое время в покое!— не вытерпел Унте, обиженный спокойными, труднодоступными тирадами брата.— Все эти субъективные объективы. Мне хочется знать, что ты сам, своей головой думаешь? А начитавшись книг, каждый может умом щеголять...

Повилас снисходительно улыбнулся:

— В книгах, брат, накоплена мудрость житейская. Однако же, ничего не понимая, ее оттуда не выцарапаешь. Для усвоения мудрости тоже нужна мудрость. И чем она глубже, чем универсальнее, тем мельче кажемся и мы сами, и окружающая нас среда. Мне хочется, чтобы ты хотя бы на миг почувствовал самое совершенное, никому не доступное воплощение мудрости, которое мы наблюдаем во Вселенной. Не поддающееся разуму, окутанное тайной, все новы-

ми и новыми загадками, встающими перед наукой, которые никогда до конца не будут нами разгаданы, ибо безбрежно пространство, которое нам их задает. Пространство без начала и без конца. Никогда и нигде не начинающееся и никогда и нигде не кончающееся. Да! Подсчитано, что свет летит к нам со скоростью триста тысяч километров в секунду. Представь себе, что где-то во Вселенной, на расстоянии в несколько тысяч световых лет от нашей планеты, родилась новая звезда, новый мир, намного превосходящий по своим размерам нашу Землю. Пока человеческий глаз зафиксирует первые световые лучи этого новорожденного в космосе, вымрут целые цивилизации, так и не узнав о существовании этого небесного тела. Сколько звезд светит нам, хотя они уже давно погасли. И, может быть, еще многие тысячелетия будут светить, лишая науку возможности констатировать их фактическую смерть. Вот в чем великий смысл бессмертия, вот где его символика! Когда я углубляюсь в это, меня охватывает ужас: о великая мать-природа, до чего же ограничен умишко человека! Хочется упасть на колени перед мудростью Вселенной, перед ее величием и удивленно воскликнуть: ах, как все смехотворно-мелко, ничтожно по сравнению с бесконечностью времени и пространства; в вечно движущемся потоке созвездий мы — всего-навсего космическая пылинка, которую нельзя разглядеть даже через самый совершенный оптический прибор. Так скажи на милость, какой же смысл имеют все эти памятники? Те, которые уже поставлены, и те, которые поставят. Слава, бессмертие? Только миг по сравнению с вечностью. Так стоит ли, брат, из-за таких пустяков переводить время, тратить энергию? Из-за какого-то Жентулиса, память о котором умрет вместе с тобой...

Унте тяжело вздохнул. Повилас вдруг отдалился от него, стал едва различимым, белым, в нимбе лучей вокруг головы — как образ боженьки в детстве, боженьки, которого Унте не любил, но боялся.

— Конечно, умрет,— ответил Унте этому боженьке, не ожидая от него ничего хорошего.— Столько, сколько твои звезды, никто не живет. И я не исключение. Но пока я жив, я хочу, чтобы было по моему разумению. Чтобы всякая дрянь глаза не колола и чтобы душу не бередила. По чистому двору истосковался, понимаешь...

Повилас сложил руки на груди и косо, как бы свысока, посмотрел на брата.

— Помнится, мать говаривала: языком двор не подметешь — работать надо. Если бы люди вместо того, чтобы

навязывать другим свое мнение, делали что-то по мере своих сил и по своему разумению, на земле давно бы царили мир и согласие. Твой Жентулис был землепашцем, вот и поднимали бы его сегодня на пьедестал за то, что он посеял и вырастил, а не за то, что с корнем вырвал...

— Ага! — оживился Унте. — Значит, ты согласен со мной: нестоящий человек?

— Я только констатирую факт, но это еще ничего не значит, — доносится с высот голос бога.

— Ничего не значит?

— Абсолютно ничего.

Унте с минуту помолчал, вперив посуровевшие глаза в какую-то точку между двумя картинами, и почувствовал себя так, словно оказался один в пустыне. Господи, до чего же здесь все чужое, аж оторопь берет! Разве этот бородатый человек, скрестивший на груди руки и наговоривший кучу выспренних слов о своих созвездиях, — его брат? «Еще пару рюмок — и во мне проснется дьявол», — ужаснулся Унте, поднимаясь с кресла, хотя так хотелось сидеть, никуда не двигаться до тех пор, пока не будет опорожнена бутылка.

— Как это понять? — спросил Повилас, глянув украдкой на часы.

— Пора. Поезд уходит в десять, а у меня еще билета нет.

— Я думал, ты заночуешь у меня, — холодно сказал Повилас.

Унте по-волчьи оскалился.

— А тебе что, очень хотелось бы?

— Времени у человека никогда не бывает в избытке, но уверяю тебя, не помешаешь. Отведу тебе отдельную комнату...

— Нет! — как топором, отрубил Унте, не поднимая на брата глаз. — Я так и задумал — в тот же день обратно. Не могу.

Вдруг он вспомнил, что в чемоданчике у него несколько кружков копченой колбасы — гостинец от Салюте, а Юстина и Бируте посылают брату сладкий сыр с тмином и рулет из филе. Бросился тотчас все выгружать, уверяя Повиласа, что, может, еще успеет в магазине кое-что купить, чтобы заполнить опустевший чемоданчик.

Повилас растрогался, как и в первые минуты встречи: шмыгая носом, вдыхал запах гостинцев, глаза его снова увлажнились, и перед взглядом поплыли родная деревня, изба, где он родился и вырос, лица близких, которых дав-

но не видел, а среди них и тех, кто никогда уже и не увидит.

— Приеду, обязательно приеду... — бормотал он в смятении, без устали дергая свою бородку.

— Ждем, — без особого восторга ответил Унте, схватив чемоданчик, к которому были привязаны коробки с ботинками.

Повилас искренне обнял брата. Попросил его передать сердечный привет отцу, сестрам, Салюте. А детям обещал выслать посылку с интересными книгами и еще кое с чем, дабы и взрослых порадовать.

Унте махнул рукой, как бы выразив тем самым свое разочарование («Зачем нам твои посылки, ты и так уже нас отблагодарил...»). Он надеялся, что Повилас его поймет, постарается помочь, а на деле оказалось — ту же песню поет, что и Даниелюс, только с другого конца. Ученый, как же... Исследователь звезд... А простой, серой земли, которая кормит всех, и не видит. Начхать ему на всякую там житейскую грязь — ложь, двурушничество, несправедливость, барахтайтесь, мол, в этом своем болоте, как свиньи, пока великий волшебник Время не осушит это болото и не покажет, что на самом деле кроется на его дне. А Жгутас-Жентулис тем временем будет напоминать о себе каждому встречному и поперечному.

«Ах, надо было тяпнуть на дорогу еще одну рюмку...»

Унте не заметил, как ввалился в привокзальный ресторан. Людей здесь была прорва, но до отхода поезда оставалось часа полтора, не меньше, так что входи, не дрейфь, заказывай себе ужин и графинчик водки, тем более что привязался к нему какой-то несчастный тип, от которого недавно сбежала жена и которому тоже позарез хотелось утопить свое горе в стаканчике. Поэтому в поезд оба сели, изрядно поддав, к тому же у каждого из них карманы оттягивала бутылочка белой, так сказать, на посошок. В вагоне к ним прикипела еще парочка таких, как они, и как начали, так дули до трех часов утра; может быть, они чокались бы и еще дольше, но остальные пассажиры не оценили по достоинству в такой поздний час репертуар Унте — его старинные песни.

Проснулся он от жажды, губы запеклись, голова кружилась, а изо рта несло так, словно там кавалерийский эскадрон остановился на постой. Унте не сразу все вспомнил. А когда вспомнил, то все равно не мог свести концы с концами. Покосился на полку, куда сунул покупки, и обрадовался. Чемоданчик с привязанными к нему коробками не

тронули. «Слава богу, пока еще не все ворюги...». Часы показывали: через пятнадцать минут Епушотас. Унте стал поспешно собираться. Но когда собрался и протиснулся к выходу, выяснилась одна неприятность: его преданные часы стояли, а поезд мчался по Латвии, и уже целый час миновал после Епушотаса. Унте обрушился на проводницу, бойкую молодуху, но та только мстительно скалила зубы, довольная своей проделкой: говорила же я вам с вечера, кончайте свой концерт, товарищ пассажир, а то проспите, вот и проспали.

Не оставалось ничего другого, как только ждать ближайшей станции, на которую, к счастью, через несколько минут поезд и прибыл. За это время Унте успел утолить жажду, выдув полбачка воды, и заключить мир с проводницей, ибо, что ни говори, виновата не она, а водка.

(«Больше эту гадость в рот не возьму!»).

В Епушотас он вернулся только после завтрака: никак не удавалось поймать попутку. Если какая-нибудь и останавливалась, то шофер коротко отвечал: извини, не туда, дружище. Наконец, когда терпение лопнуло, он схватил такси и, развалившись на заднем сиденье, влетел в родное местечко. «Пятнадцать рубликов собаке под хвост, но зато с фасоном»,— глумился он над собой. Выпитое вчера еще давало себя знать. Разум подсказывал: скорей в Дягимай, домой! Но вспомнил Салюте с ее бесконечными проповедями и нравоучениями, и на душе стало так муторно, что в ту сторону и смотреть не хотелось. А тут еще стала его эта чертова жажда донимать. Ну просто пожар! Лимонадом или водой из крана его не погасишь. Минеральная тоже не годится, слабовата. Пиво! — вот бальзам на рану. Но от пива только след остался — груды пустых ящиков на задворках магазина. Выпили. Выдули, выхлестали, вылакали. Даже прокисшее, чтоб у них всех заворот кишок... Вот же не везет доброму человеку, черт бы вас побрал! Что же, придется бормотуху или, как ее называют спившиеся канцеляристы в честь своего главного производственного средства,— «чернила». Недурно действует, если с водичкой смешать. Но и тут закавыка — этого лекарства ни единой бутылки на полке. Может, водки, коньяку. Бррр! При одной мысли с души воротит. С другой стороны, как говаривали наши предки, клин клином вышибают. Унте уже хотел было попросить этого лекарства, хотя и его в магазине что-то не было видно, но вдруг вспомнил, что по специальному распоряжению районных властей с первого числа сего месяца все алкогольные напитки, кроме пива, продаются

только по выходным. Стало быть, сегодняшний день — черный в календаре. Стало быть, блага, которые питают наш оптимизм, будут выложены на прилавки только в субботу утром, поскольку и двух дней (ежели их, конечно, рационально использовать) вполне достаточно, чтобы отравить всю неделю. Увы, сколько их, этих выпивох, заливающих день-деньской, не упускающих ни одного удобного случая, ищущих любой повод. Ходят из магазина в магазин, оглядывают непозволительно пустые прилавки и униженно подмигивают знакомым продавцам, авось сжалятся и вытащат из-под прилавка бутылочку белой. Только разве каплей утолишь жажду толпы? Потому-то многие, не надеясь на доброту и сострадание работников прилавка, садятся на мотоциклы, в автомобили, в грузовики (кто-то однажды даже на тракторе десятка три километров отмахал) и мчатся в Лаукувский район, где не действует «закон Даниелюса Гириниса». Ах, если бы кто-нибудь подсчитал, сколько времени уходит на эти поездки, сколько бензина... Все ведут счет только бутылкам, деньгам, уплывшим из бумажников, а лаукувские работники торговли радуются неслыханному перевыполнению плана по продаже алкогольных напитков, который является мечтой и недосягаемой вершиной для епушотасцев.

— Ну не олух ли тот, кто придумал такое! — громогласно заявил Унте, вперив рассерженный взгляд в продавщицу. — Прошу тотчас же продать мне две бутылки водки!

— Ишь какой отыскался! — обиделась молоденькая продавщица. — Ты не очень-то горло дери, все равно его не смочишь.

— Это Гиринис из Дягимай, нашего секретаря брат, — шепотом предупредила свою подругу вторая продавщица. И, заговорщически подмигнув Унте, тихо добавила: — Подойди-ка сюда, поищем то, что ты здесь в воскресенье оставил...

— Я? — осоловело уставился Унте.

— Неужто забыл? Только деньги не заплатил...

— Ну и развелось ловкачей, коза их задери? — взъярился Унте. — Ты мне этот запретный плод продай не как брату секретаря, не по блату, а как простому смертному. Обслужи, а не делай милость. Ясно?

Все в магазине дружно рассмеялись.

— Какой-то придурок! Свинья! Из дурдома сбежал, что ли? — напустилась на него щекастая продавщица, покрываясь красными пятнами.

Двое знакомых мужчин догнали Унте на улице.

— Ты что, Гиринис, зазеленел?

— Нет, покуда только почки пустил. Так сказать, вступление. Три недели в рот не брал, ни капли, а со вчерашнего дня взял — и расцвел.

— И мы вчера крепко поддали. У нас мотоцикл с прицепом. Может, слетаем за кордон, в Лаукуву, и прихватим там маленько?

V

Эти двое моторизованных знакомых были Робертас Марма и Альбертас Гайлюс. Будь Унте трезв, он в их сторону даже не плюнул бы, потому что презирал, но когда бывал под градусом, у него всю неприязнь как ветром сдувало. Поэтому-то и сидел он в коляске, оседлав огромную клетчатую сумку; Марма собирался набить ее бутылками доверху, потому что пора пополнить запасы тайного буфета в бане. Что ни говори, Унте была оказана величайшая честь, хотя Альбертас, ерзавший на заднем сиденье за спиной у Мармы, и не упускал случая поиздеваться над попутчиком.

— Летим, оседлав козла, как ведьмы,— перекрикивал он ветер, угрюмо свистевший над ними.— А могли бы как какие-нибудь паны, не будь ты, Унте, последний дурак: такой брат у тебя, а ты автомобиль у него до сих пор не выцарапал!

— Я не попрошайка, у родни ничего не клянчу.

— Дурак, право слово, дурак...

— Успею к Аврааму и без автомобиля. Вот тебе машина нужна, в ненастье на мотоцикле девок не очень-то покатаешь. Другое дело, когда спальня на колесах.

— Будут у меня и колеса!— выкрикнул Альбертас.— За меня не волнуйся. Прижму отца как следует, и будут. Увидишь, через год в это же самое время на «Волге» летать буду. Ты, посинев от холода,— на своем козле, а я как китайский мандарин — на автомобиле.

— Мандарин из своего папаши, может, и выжмешь, только не машину,— отрезал Унте, испытывая большое удовольствие оттого, что подкузьмил Гайлюса-младшего.

— Выжму и машину, вот увидишь! Даю честное слово!— Альбертас так распалился, стал так метаться на сиденье, что вмешался Марма («Не дури, перевернемся, черт бы тебя побрал!»).— У меня тоже терпенье не железное. Ежели старик и дальше меня за нос водить будет, схвачу за горло, не посмотрю, что отец... Я из него двадцать тысяч быстро вытряхну!

— Навряд ли...

— Честное слово, клянусь богом! Увидишь!

— Ты бы поосторожней с такими заявлениями...— отозвался Марма.

Но Альбертас упрямо гнул свое: хоть и через труп отца, но заберется в машину! Такой уж он: горячая голова; когда распалится — не считается со словами, может запросто осуществить свои угрозы, особенно в сильном опьянении, когда водка туманит разум. Альбертас был так захвачен мыслями об автомобиле, что в тот день (а может, и назавтра или еще позже, Унте хорошо не помнит) не раз затевал разговор о нем, всячески понося отца. Но разве пьяного разберешь? Чепуху нес, наговорил с три короба. Потом они куда-то поехали, с кем-то пили. В какой-то вязкой мгле тонули лица Альбертаса и Мармы. Потом снова возникли. Обклеенные обоями стены, цветочные вазочки на подоконниках... Широкозадая женщина у газовой плитки... потрескивание сковороды... терпкие запахи жареного... Унте чихал под одобрительные клики широкоскулого старика (если только это ему не приснилось), а Робертас Марма тремя пальцами брал квашеную капусту, время от времени противно икая, и просил прощения за свое хамство, ибо, когда сильно поддавал (что с ним случалось довольно редко), становился удивительно ласковым и вежливым. Но таким вежливым и пьяным, как на сей раз, Унте его вообще не видел. Не видел и таким откровенным: всю грязь, всю муть перед ним излил... Нет, Робертас Марма был совсем не похож на того человека, какого они до сих пор знали. Когда на третий или четвертый день вконец умаявшийся Унте, будучи не в состоянии остановиться и все оборвать, зашел к банщику, тот валялся на софе, несчастный, печальный, готовый от стыда сквозь землю провалиться.

— Все куролесишь?— Марма показал Унте взглядом на стул, садись, мол.— А я второй день лежу, точно оскопили. Никогда я не отличался особым рвением, когда пил, старался не перебрать, но на этот раз свалила меня, проклятая.

— Свалила,— согласился Унте, весь распухший от пьянки, от него несло перегаром, он все время облизывал иссохшие губы, намекая на то, что живительная капля дождя как нельзя более кстати потрескавшейся от засухи земле.

Увы, ни засуха, ни дождь не занимали банщика.

— Алкоголь и самого большого умника дураком дела-

ет, — причитал он, то и дело вздыхая.— Редко у кого хватает ума втихаря напиться, напиться и тут же свалиться. Завидую таким. Пусть они там, под столом, и поблюют, все равно не так стыдно, как, скажем, черт знает что языком намолоть. А я... Да, да, знаю! Мне пить нельзя уж только потому, что болтаю всякое, иногда такое ляпну, чего и во сне не приснится... Уж лучше раздеться и расхаживать по двору в чем мать родила. Какая-то патология, хоть удавись.

— Да, трепать языком ты мастак, это верно. Это ты умеешь! — охотно поддержал его Унте, ибо расстроенный вид Мармы приятно ласкал душу.— Но можешь не бояться: милиция не придерется, а Живиле не рассердится — славы ее не убудет.

— Живиле...— выдохнул Марма и схватился за лысину, покрытую испариной.— Ты все помнишь? За столом мы вроде бы впятером сидели. Так вот, эта пятерка расскажет другой пятерке, другая пятерка в свою очередь... Не только по нашей округе, а по всему свету слух пройдет. А правды в моих словах что кот наплакал. Желание маньяка, безумца пустить под пьяную лавочку пыль в глаза...

Унте зло рассмеялся.

— Одно время и я так думал. Хотел тебе даже по зубам съездить. Но поскольку ты себя с дерьмом смешивал, было приятно послушать. Ты и впрямь изрядное дерьмо, Марма.

— Не ругайся, и без того худо.

Но Унте испытывал величайшее удовольствие, трепля нервы банщику.

— Нализался ты, как солдат, изголодавшийся по бабе, а не как старик,— продолжал он, ехидно усмехаясь.— Все от тебя узнали, сколько раз ты с Живиле в лесу, у реки, на птицеферме...

— Езус Мария! Езус Мария...

— Помнишь?

— Лучше бы не помнить. Ах, Унте, будь человеком, хватит меня на огне поджаривать!

— Нет, еще чурочку подброшу.— Унте зачерпнул из ведра воды, напился.— И какой леший тебя, старого греховодника, к этой девке толкает? Оставь ее в покое, может, она свое счастье найдет. Ведь она тебе в дочки годится. Не женишься ведь. Да и она за тебя не пойдет. Разве такие игрища для твоего возраста?

— Много ты понимаешь...— пробормотал банщик, отвернувшись к стене.

— Да что тут понимать, в этих делах каждый нормальный человек смыслит. Почему бы тебе ей совет не дать, не помочь по-отцовски? И вместо того чтобы в пропасть толкать, научить? Будь я главой государства, я бы издал закон, по которому таких, как ты, приговаривали бы к расстрелу или к повешению.

Марма с минуту молчал, оскорбленный, прислушиваясь к угрюмому посвисту ветра за окном, за которым метались последние листья, сорванные с деревьев,— умирающие бабочки поздней осени, устилающие своими плесневеющими телами ледяную землю. Потом бесцветным голосом произнес, будто говоря самому себе:

— Уж очень скор ты на расправу, тебе бы только поглумиться над другим. А сам-то ты больше стоишь, что ли? Четвертый день не можешь от стаканчика оторваться, жену забыл, детей.

— Не знаю. Может, и я того же стою, только ты, Марма, в этом деле не судья. Но могу поклясться всеми святыми, что в пятьдесят лет за юбкой распутницы гоняться не буду.

— Не зарекайся. Есть такая вещь — любовь...

— Любовь? Так ты что — влюблен?!— Унте затрясся от хохота.— Ну, знаешь... Можно подохнуть со смеху!

— Да.— Марма повернулся на спину. Глаза помутнели, щеки судорожно дрожали.— В самом деле смешно. Смейся, издевайся, оговаривай, бегай по дворам и кричи, что Марма рехнулся на старости лет. Все козыри в твоих руках. Но что есть, то есть, и ничего не попишешь. Я люблю Живиле и, согласись она, тотчас женился бы.

— Любишь? Такой вот любовью ее и Альбертас Гайлюс любил, и еще дюжина до него и после него. Жеребячья любовь! Разве о любимой женщине так говорят, как ты говоришь? Сорвать с нее последнюю одежду и выставить на посмешище?

— Сам не понимаю, почему я так.— Марма схватился за голову, слова смешались, утратили смысл, слетая с иссохших губ.— Какое-то наваждение... безумие... шизофрения... Да разве найдешь в наше время хоть одного нормального человека? Думай что хочешь, только не по злобе, не из презрения к Живиле я наговорил все это. Скорее всего, похвастаться хотел, какой я, мол, мужик, и что такая деваха, молодая, красивая, не с кем-нибудь, а со мной... Точнее говоря, это все результат моих грез. Ведь последнее время я только и делаю, что о ней думаю, а иногда и до зари не смыкаю глаз. Раздеваю и одеваю, ласкаю и целую... Она в моих мыслях как грешный ангел витает.

— Да в тебя бес вселился, а не любовь. Бес! — решил Унте, уже без прежнего отвращения, а с жалостью глядя на Марму, который лежал, закрыв глаза, тихий и бледный, как покойник.

— И я так думаю. Я как раз в том возрасте, когда у мужчин шарики за ролики заходят. Я гоню от себя нечистого. Но нечистый не отступает, и все тут. Худо со мной, Унте.

— Вот это новость. Знал, что бегаешь за ней, след нюхаешь, но уж никак не думал, что ты так глубоко увяз.

— Вот, вот, в точку попал — увяз! Бросился как пес в пропасть с камнем на шее. И бог весть, выберусь ли? В мозги мои впилась, как клещ, дурацкая мысль и сосет, и сосет: возьми Живиле, и все пройдет. Может, тут, говорю, то время сказывается, когда я сидел? Ведь столько лет без женщины... Молодой, здоровый мужик... Посуди сам, разве иначе охватила бы меня настоящая большая любовь, да еще к гулящей, да еще в мои-то годы?

— Наконец-то ты заговорил как человек.

— А ты с выводами не спеши. Это только редкие минуты просветления. Как вспышки молнии. Гаснут, и я снова барахтаюсь в темноте. Должно произойти что-то необычное, чтоб меня от Живиле оторвало. Не знаю, может, смерть это сделает или другое равносильное ей событие. Эх, Унте, тебе не понять, что творится в моей душе! Все смотрят на Марму, словно он под черепашьим панцирем, а что под этим панцирем — никому и в голову не приходит. Банщик, и все. Блохолов, тайный лавочник. Но что у этого блохолова есть сердце, чувства... что у него там, под этим черепашьим панцирем, кипит страсть к женщине... четвертый год, с самого первого дня, когда он ее увидел... что там не просто огонечек, чтобы спичку зажечь, а жаркий, пылающий костер, в который без устали подбрасывают хворост... Нет, это и в голову никому не приходит.

У Унте даже пропала охота опохмеляться. Он только сел на стуле, скреб затылок, всерьез думал, уж не захворал ли Марма белой горячкой, диву давался.

— Говоришь, не огонечек для разжигания спички? Костер! Чувства, любовь... И так четыре года подряд?! На самом деле странно!

Для того, кто хоть раз любил, это не странно. Унте вспомнил Юргиту.

— Как же не странно, ежели за все время я от тебя ни одного доброго слова о Живиле не слышал. Все только насмехаешься, осуждаешь, издеваешься.

— Плохо делал. Но иначе и не мог. Ведь у меня сердце разрывается, что с другими она. Как по-твоему, должен я себя чем-то утешить, успокоить? Вот я ее и оплевывал как мог. Но куда ты, болван, убежишь от себя?

— Ясное дело, не убежишь.— Унте снова подумал о Юргите.— Ежели тебе судьба слишком поздно женщину послала, к которой сердцем льнешь, то добра не жди. Но и здесь голову терять нельзя. Отличать надо: что хорошо, что плохо. Ведь Живиле, как ни крути... Мне просто жалко тебя, Марма. Отвались от нее, пока не поздно. Погибнешь.

Марма сидел на софе в одной рубахе, сунув под стол ноги в дырявых носках, и пальцами обеих рук щипал увядшие щеки.

— Может, и погибну, может, и нет, не таким, как ты, судить,— сказал он, по-стариковски тряся головой.— К добру это тоже не приведет. Я это сразу понял, как только стал думать о ней. Ну точно искусственный спутник вокруг земного шара вращаюсь и дрожу, зная, что с каждым витком приближаюсь к нижним слоям атмосферы, где сгорю. Нет, никуда мне от своей орбиты не деться. Бессилен я. Обречен. И пускай! Ведь точно так же было лет тридцать назад, когда любил одну женщину. Никакую другую так не любил, как ту,— единственной на свете любовью. И сейчас я частенько вспоминаю ее, хотя она давно, должно быть, умерла. И вот явилась на свет другая, такая же, как та, ее двойник, можно сказать,— Живиле, и я не устоял... Понимаешь? В юности недолюбил, и вот это нерастраченное чувство подняло голову и зарычало как зверь, проснувшийся от зимней спячки... Ах, Унте, ты не понимаешь, что значит вернуться в юность! Хоть это возвращение обман, иллюзия, подогрев остывших чувств, но все равно всю душу переворачивает. Потрясение, после которого почти все заливает лавой.

Унте вместе со стулом придвинулся поближе к ведру, зачерпнул воды и маленькими глотками долго пил, глядя исподлобья на Марму — постаревшего, как бы сплющившегося, несчастного. И уже испытывал не презрение к этому человеку, когда-то способствовавшему гибели людей, а жалость и злобу: зачем он так бесстыдно раскрыл перед ним душу, все свои пороки и глубоко затаенную боль. Неужто это тот самый банщик, обычно насмехавшийся и бездумно глумившийся надо всем и бравший на рубль дороже за каждую бутылку водки?

Унте встал. Нет, просто подскочил с места, стукнув в сердцах пустой кружкой по столу. Он был зол как дьявол.

— Что это ты передо мной нюни распускаешь? — выпалил. — Не мог себе найти другого исповедника? Как будто я — выгребная яма, свалка? Умел жить до сих пор, Унте не спрашивал, вот и живи дальше, я тебе не сын и не отец.

Марма съежился на своей скрипучей софе, словно его огрели чем-то сзади.

— Не ерепенься, — простонал он. — Набух я, как волдырь. Вот и пришло время его вскрыть.

— Но почему при мне?! — воскликнул Унте.

— А при ком же? Все — свиньи, скоты, думают только о своем корыте. Да и ты такой же, только другого от корыта оттереть не норовишь. Незадачливый поросенок, которого не подпускают к вымени матки. И я теперь такой же. Потому вот и хрюкаем о своих бедах друг другу, неудачники.

— Только уж, пожалуйста, меня с собой не равняй, — еще больше ощетинился Унте. — Гусь свинье не товарищ.

— Эх, покончил бы ты раз и навсегда со своими сравнениями, — простонал Марма, нервно топча под столом одну ногу другой. — Откуда тебе знать, может, я уже жалею, что сболтнул лишнее? Может, мне уже стыдно моих признаний, как той пьяной болтовни про Живиле? Но слово не воробей: вылетит — не поймаешь. Однако знаю: ты умеешь держать язык за зубами, не разболтаешь, не разнесешь того, чего не надо, не оплюешь человека больше, чем его уже оплевали... Вижу, ты мужик что надо, потому и отважился я свалить, как ты изволил выразиться, свою грязь в чужую выгребную яму. — И, не дожидаясь ответа, Марма продолжал свою исповедь: — Столько лет я прожил один! Вокруг люди, а я все равно один. Своей собственной жене и той довериться не мог — обставила она меня. Я даже слезинки не проронил, когда она умерла. Закрылся в комнате, встал перед зеркалом и давай хохотать как сумасшедший. Страшно счастливы оба Мармы были — я и тот, второй, в зеркале. Но долго ли может человек разговаривать с самим собой? Мыслями делиться, советами, проблемы решать? Верить только себе? Самому себе доверять свои тайны? Возвышать себя самого и самого себя унижать? Учить себя и учиться у себя? Ведь это какой-то духовный онанизм, Унте! Хотя ты и сжился с ним, но никогда не откажешься — подвернись случай — от настоящего, не воображаемого удовольствия, как и от женского тела. Ну, как? Теперь ты меня понял?

Марма поднял голову, выпрямился, словно эта мысль позволила ему наконец почувствовать истинную ценность человека. Но Унте и след простыл. Только двери в большую

комнату бани были настежь распахнуты, зияли, как яма, и ветер уныло шумел за окном, упиваясь нескончаемой пляской умерших осенних листьев.

VI

Салюте была в ярости: мало того что несколько дней подряд пил-гулял, деньги транжирил, он еще, видите ли, домой с пустыми руками вернулся. Ну и дружки же у тебя, ничего не скажешь: не только пропили твои в поте лица заработанные рубли, но и не погнушались обокрасть.

Унте молчал, сжав кулаками пустую голову и стараясь вспомнить, где он в последний раз видел свой чемоданчик. Кажется, там, у этой толстой бабы, жарившей котлеты, он показывал ее пострелятам купленные ботинки, а потом — карусель каких-то лиц, каких-то впечатлений. Но кто же эта толстуха, черт бы ее подрал? Невестка Моти Мушкетника? Или старуха этого недотепы Сартокаса? А может, пани Зузана, перебравшаяся сюда в прошлом году с мужем и двумя детьми с Виленщины, ибо и к ним, если память не изменяет, он тоже заходил. Нет, нет, не разберешь: выпил столько, что все толстухи казались на одно лицо, как бутылки из-под водки. Ох, ох, сущие муки ада за несколько дней обманчивой свободы! Урок! Страшный, суровый урок! Больше в рот ни капли, ни капельки! Аминь.

Чемоданчик нашелся вечером: принес его Альбертас Гайлюс. Только коробка с ботинками пропала, а так все было в целости и сохранности. Правда, помято, скомкано, но не тронуто. Это мне спасибо скажи, хвастался Альбертас, я сберег. Унте краснел, воротил нос в сторону, словно кто-то поддел вилами навоз; вот оно что: оказывается, он и у Гайлюса побывал, хоть провались от стыда сквозь землю!

Всему колхозу свою пьяную рожу показал, бесилась Салюте. А отец тяжело вздыхал, закрывая ладонями затуманенные глаза, и ни слова... Эта постылая тишина действовала на Унте сильнее, чем самые суровые упреки. По сравнению с ней даже слезы, которые обильно проливал по пропавшим ботинкам младшенький, казались сущим пустяком.

Однако, когда утомленный от возлияний мозг понемногу прояснился, Унте засуетился, задвигался, с трудом собирая невеселые мысли. Он понял, что на этом его неприятности не кончаются. Самое скверное то, что он вчера пропу-

стил репетицию хора — последнюю перед концертом, намеченным на будущую субботу в Ельнотасе. Тридцать человек ждали его и не дождались... Здорово он их подвел. А оправданий никаких. Ежели бы его внезапно, скажем, какая-нибудь хворь уложила, тогда другое дело. Увы, ангел смерти не шелестит над тобой крылами, так что приготовься, брат, выслушать слова возмущения всего дружного коллектива, как, скорее всего, выразится товарищ Юркус, директор Дома культуры. Но хуже всего то, что об этом узнает Юргита. Ах, какой стыд, какой позор! За все время пьянки он ни разу не забыл про Юргиту. Она то и дело мелькала перед его осоловелыми глазами, как луч солнца, не надолго, на миг озаряющий затянутое грозовыми облаками небо и снова гаснущий, и тогда наступала кромешная тьма. Однако за этот короткий миг Унте успевал увидеть себя — ничтожного, жалкого, барахтающегося в непролазной трясине, из которой он может выбраться только чудом. Грязь, повсюду грязь... Весь он вывалялся в зловонной тине, с ног до головы. Даже душа и та заляпана грязью... И мысли, и чувства... Не сыщешь местечка, где бы он мог приклонить голову и не запятнаться. Разве он — оплевавший себя, ставший всеобщим посмешищем — имеет право думать о Юргите?

«Дернул же меня черт поехать в Вильнюс, к этому космическому мудрецу. Ведь с него все и началось».

Но, как ни пытался он свалить вину на брата, все равно не мог найти себе оправдания. Что за проклятый характер! Из-за каждой мелочи вспыхивает как спичка. Вместо того чтобы вовремя погасить, швыряет головешки в солому и разжигает пожар...

Посреди недели Саулюс Юркус, директор Дома культуры, зашел к Гиринисам и увидел, как Унте без дела слоняется по усадьбе. Юркус долго обеими руками ерошил густую — лопаткой — бороду, щурил веснушчатые веки и ждал, пока в его душе уймется злость, подавляемая величайшими усилиями воли, но злость не только не улеглась, но, наоборот, при виде виновника всех тягот, испытываемых хором, вспыхнула с новой силой.

— Ну что, вернулся с гастролей? — заговорил он так гневно, что рыжая всклокоченная борода запылала как факел.— Где же твой лавровый венок?

— Нечего тут...— буркнул Унте.— Что было, то было, не вырубишь...

— Хорошо, что ты можешь так, без всяких угрызений. Для тебя это все равно что высморкаться. Высморкался —

и снова за свое. А совесть твоя, позволь спросить, где? Сознательность? Чувство ответственности? Ведь концерт на носу, а ты совсем не готов и срываешь нам программу. Мы из-за тебя перед всем Епушотасом осрамимся.

— Знаю, знаю...— не произнес, а простонал Унте.— И у меня душа болит. И, может, больше, чем ты думаешь.

— Болела бы, таких фокусов не выкидывал бы. Тебе просто-напросто сознательности не хватает, товарищ Антанас. Страна штурмует новые высоты, а ты как жук по краям болота ползаешь. Где твой энтузиазм? Где твой полет? Когда все борются...

— И я боролся, пока осенний сев не закончили. Весна придет — и снова на борозду со всеми. Хлеб даром не ем, нечего меня упрекать.

— Вот ты уже и петушишься! Не любишь критику нисколечко и в суть не вникаешь. Советский человек борется за свое будущее не только производственными средствами, используя могучую технику, но и песней, музыкой. Искусство — наши крылья, оно вдохновляет на новые подвиги. А ты — осенний сев, товарищ Антанас... Как же можно так все опошлить?

— Много ли там с песней навоюешь,— раздраженно бросил Унте. Он не выносил назиданий Юркуса, почерпнутых из газет.— На одной песне пшеницу не вырастишь. На сердце от нее веселее, это верно.

— Веселей всем: и тем, кто поет, и тем, кто слушает,— вставил Юркус.

— Это и коню ясно.

— Если человеку на душе веселее, значит, и работа лучше спорится. А когда лучше спорится, то и пользы больше. Государству, партии, делу строительства коммунизма. Это же ты признаешь?

— Это, пожалуй, признаю. И что же мне теперь делать? На коленях вокруг Дома культуры проползти, чтобы простили?

Юркус запустил пальцы в рыжую лопатку бороды, словно желал ее выдергать. В запасе у него всегда имелся набор всяких газетных ответов, но ни один из них не годился для того, чтобы дать отпор Унте. Наконец директор набрел на спасительную мысль:

— А ведь большинство покупает билеты только из-за тебя, из-за твоих старинных песен. Не оправдал ты доверия народа, товарищ Антанас, такой позор на колхозную самодеятельность навлек, что... что...— Юркус закудахтал, не найдя подходящего слова, а когда такое слово, не унижаю-

щее достоинства работника культуры, наконец, село на язык, Унте не дал директору даже рта раскрыть и выпалил:

— Ну, уж ежели так, то пусть твой народ набьет мне морду. Сяду рядом с кассиршей, и пусть каждый входящий в зал вмажет мне...

Юркуса передернуло. Он длинными тонкими пальцами боронил не только бороду, но и копну волос, спадавших на воротник. Весь взъерошенный, пыжащийся, ставший от этого, кажется, в два раза выше, он походил на индюка, приготовившегося к драке.

— Все это несерьезно, товарищ Антанас. Непатриотично, а если начистоту, то даже преступно. Вместо того чтобы самокритично осудить свои ошибки, дать слово больше не повторять их, ты со своими шуточками... Полная демобилизация политической сознательности! Можно подумать, что ты какой-то безответственный субъект, ни у тебя прав, ни обязанностей. А тебе, сыну нашей многонациональной родины, открыты все пути в счастливое завтра. Все пути, понимаешь? Так как, должен ли ты вознаградить свою родину за это или нет?

— Послушай, что ты ко мне привязался? — начал злиться Унте.— Читай мораль своим комсомольцам.

— Чего привязался? Хочу, чтоб человеком стал,— гнул свое Юркус, свято веря в силу разъяснительной работы.— В самом деле, как же так можно? День-деньской в водке мокнешь! Разум свой отравляешь, талант губишь в то время, как миллионы стоят на трудовой вахте...

— Пусть себе стоят на здоровье, если им не нравится сидеть, а мне пора на работу.— Унте сплюнул через плечо и направился к хлеву, хотя толком и не знал, что он там будет делать, потому что рано еще было кормить скотину.

— Ну и цаца! — подскочил Юркус, пришибленный неожиданным финалом; все мудреные слова, все правильные мысли, отпечатанные у него в мозгу со всяких матриц, вмиг улетучились из головы.— Эй, опомнись, человече, ведь я же тебе только добра желаю. Напился, так напился. Только в другой раз так не делай. Отложим концерт на недельку, из-за этого мир не рухнет. Слышишь, товарищ Антанас? В субботу вместо концерта репетицию проведем. Очень прошу тебя, приходи.

Последние слова директора Унте выслушал на пороге хлева. Хотел было повернуться, что-то сказать Юркусу, но махнул рукой и шмыгнул внутрь.

Юркус приплелся следом, он, конечно, и в хлев нырнул бы, но испугался собаки, которая была хоть и невеличка, но брехала зло, грозно оскалив зубы.

— Так как — договорились, товарищ Антанас? — кричал Юркус, распушив рыжие космы.— Слышишь, а? В следующую субботу? Никто тебе дурного слова не скажет. А если я тебя обидел ненароком, то прости, это не из дурных побуждений, а из любви и уважения к твоему таланту, из желания объяснить тебе, каким даром тебя природа наградила.

Унте осклабился в сумерках хлева: «Ишь ты, когда хочет, то и по-человечески может». Постоял на навозе меж животных (с одной стороны — корова с телком, с другой — свиньи за загородкой), послушал, как Юркус, повышая голос, старается перекричать пса, этого верного стража усадьбы, и только тогда, когда кончилось это состязание, вышел во двор. С минуту он потоптался у ограды, вперив задумчивый взгляд в небо, обитое толстым войлоком облаков, помотал головой, пожал плечами, словно спорил с кем-то, а когда стемнело, второпях накормил скотину и направился в Дом культуры.

Между тем Юркус сидел за пианино и одним пальцем терзал клавиши; было грустно, хоть плачь. Аккорды уныло звучали в сумерках осеннего вечера, будя воспоминания недалекого детства, всецело связанного у Юркуса с детдомом, который приютил и вырастил его, несчастного подкидыша. Удивительные это были времена! Благодаря воспитателям все в жизни казалось ему ясным, простым, бесспорным. Страна Советов — остров добра, справедливости и достатка в океане загнивающих капиталистических держав, граждане ее — самые счастливые на свете, до мозга костей преданные святому делу строительства коммунизма, за исключением разве что невежд или врагов, и то лишь потому, что «и на солнце есть пятна». Словом, не жизнь, а сплошной праздник, брызжущий радостным фейерверком счастья. Но вот он оперился, сам начал крутиться в водовороте жизни, думать своей головой, смотреть на все своими глазами и вдруг увидел: не все то золото, что блестит. Думал, горы свернет, приехав в Епушотас, думал, культуру поднимет, сам вознесется исполином до небес и других увлечет, а тут одного человека убедить не может. И не какого-нибудь невежду или отщепенца, а брата Даниелюса Гириниса, секретаря райкома! Медуза, тряпка... Вот и должен перед таким в три погибели гнуться, умолять, унижать достоинство ответственного работника культуры. А не

унизишься — дело с места не сдвинешь. Не отвоюешь человека для общества, ведь не тебе самому он нужен, а государству, всей нашей стране. Вот почему Юркус и борется за него, унижаясь и снося оскорбления.

Кто-то побарабанил в дверь. Юркус подумал, что это Габриеле Стропене, но на пороге выросла ссутулившаяся фигура Унте.

— Услышал, что кто-то наигрывает в темноте... Вот и зашел.

— Жду товарищ Стропене, учительницу. В хор наш хочет,— ответил Юркус, удивленный неожиданным приходом Гириниса.— У дверей выключатель, нажми, товарищ Антанас.

Унте нажал, и уютный зальчик залило ярким светом.

— Председательшу, что ли? — не сразу сообразил Унте. Он только разевал рот и моргал, ослепленный светом.— И она туда же — в певчие? Вот это новость! Что-то я не слышал, чтобы у нее голос...

— Сопрано у нее. И, кажется, неплохое. Только на людях она никогда не пробовала,— с достоинством ответил Юркус.— Сейчас она придет, послушаем, и будет ясно.

— Так, может, сперва мое дело,— засуетился Унте, испуганный тем, что придется разбираться в присутствии нежелательной свидетельницы.— Я, видишь ли, насчет той пропущенной репетиции... Подумаешь, эка важность — одна репетиция... Приду вечерком, завтра, послезавтра, поору эдак часа три подряд и наверстаю. Так почему же нам в эту субботу, как и было намечено, с концертом в Епушотас не поехать?

Юркус словно костью поперхнулся. Его цепкие пальцы так и шныряли по рыжей растительности бороды, так и боронили упавшие на лоб волосы, а из-под них сверкали вытаращенные от неожиданности простодушные голубые глаза. Потом он взмыл, как подброшенный вверх факел, и бросился Унте на шею.

— Друг мой, дружище! Спасение! — восклицал он, похлопывая ладонями по плечам своего недисциплинированного солиста.— Ведь я же сегодня по этому поводу и заходил к тебе! Хотел попросить тебя... если, конечно, у тебя какой-нибудь свободный вечерок найдется. Но как-то у меня не сразу получилось, не о том я речь повел, да и ты, как ож, ощетинился. Думал, крышка, придется отложить концерт. А ты, оказывается, настоящий мужчина, товарищ

Антанас! Сознательный, совестливый, не лишенный чувства долга. Замшелый, толстокожий, но под этой твоей кожей — не слон и не крокодил...

Унте отшатнулся от Юркуса, нескладно освобождаясь из его объятий, но пока освобождался от них, очутился посреди зала. Может быть, Юркус еще задержал бы его, но тут неслышно, как привидение, на пороге выросла Габриеле Стропене.

VII

Знала ли она, что вечер этот окажется для нее роковым? Что придет лето — с запахами пастбищ, раскаленных знойным солнцем, с духом сохнущего сена в стогах над Скардуписом, под невинно-голубым куполом неба — и что под стрекот кузнечиков она сделает первый шаг к измене, к которой давно готовилась истосковавшаяся по любви душа? Нет, нет, она этого не подозревала, хотя и помышляла всякий раз, взбешенная равнодушием мужа.

Этот поздний осенний вечер она запомнила до мельчайших подробностей. Дико завывал ветер, срывал с деревьев листья, летевшие в лицо, из окон Дома культуры доносились глухие звуки пианино, а она стояла в нерешительности и не знала, что делать. Потом услышала, как захлопнулись двери. Пианино замолкло. И ей стало смешно, что стесняется какого-то рыжебородого парня, само имя которого всегда вызывало у ее мужа, Андрюса Стропуса, снисходительную улыбку. На самом же деле она просто не верила самой себе, думала, что осрамится. Но все получилось как нельзя лучше. Юркус попросил ее спеть дуэтом с Унте, и вскоре они оба лихо выводили развеселую народную песенку, которая должна была в субботу прозвучать и на концерте в Енушотасе:

Бежит филин по притвору,
шпорами сверкая,
а бедняжечки лисята —
со страху помирая.

— Прекрасно! — похвалил Юркус и захлопал в ладоши.

— Ага, голос есть,— поддержал его Унте.— С вами петь можно.

— Все говорят, что у меня хороший голос, а ты ни разу не соизволил прийти на наш концерт,— однажды весной упрекнула Габриеле мужа.

Тот только пожал плечами, отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и дальше продолжал что-то записывать в толстую тетрадь.

На столе стояла ваза с распускающимися веточками ракиты, но Андрюс Стропус на них и внимания не обратил. Габриеле хотелось схватить эту вазу и швырнуть ее на пол. Но, убегая в другую комнату, она только дверьми хлопнула, да так, что ледяной грохот стекла еще долго отдавался в душе.

За ужином он сказал:

— Не пойму, что с тобой. У тебя совсем расшатались нервы.

Она прихлебывала чай — нарочито громко, шмыгая носом, потому что испытывала удовольствие, когда он злился.

— Видать, не очень-то тебе впрок это твое публичное развлечение,— съязвил Андрюс Стропус.— Да и чести не делает. Ни мне, ни тебе. Пусть себе перед публикой кривляются всякие там свинарки, доярки, а твое место в школе.

— Мое место рядом с моим мужем, но у меня его нет,— отрезала Габриеле.

— Не пойму, чего мы не поделили. Тебе нравится как капустной бабочке порхать с одного кочана на другой и откладывать там свои яички; хорошо, порхай себе на солнце, пока какая-нибудь птица тебя не склюет; я же считаю, что человек рожден для полезной деятельности и имеет право получить за свой труд соответствующую мзду — славу, богатство, достойное положение в обществе. Два человека, два взгляда. Почему они не могут мирно сосуществовать? Конечно, я — деятельный человек — могу презирать тебя — капустную бабочку, но делаю исключение как женщине, ибо что до прекрасного пола, то у меня тут иное мнение.

Габриеле хотела было уточнить, что женщина для него — только довесок, что с первых же дней женитьбы он относился к ней как к игрушке, но смолчала, так как знала заранее, какой последует ответ («А может, я должен был помочь тебе сделать карьеру, вознести на вершину славы, как Руту Бутгинене?»). За десять с лишним лет совместной жизни Габриеле успела так хорошо узнать Андрюса Стропуса, что почти безошибочно могла угадать, как он в том

или другом случае поступит, какие слова сдобрит улыбкой, когда рассмеется или хмуро наморщит лоб, теребя черную щеточку усов под носом. В мыслях она не без иронии сравнивала его с читаной-перечитаной книгой, пошлой, скучно написанной, и хоть, кажется, знала эту книгу назубок, тем не менее была вынуждена заново ее перелистывать. Случалось, что она натыкалась на такое место, в которое раньше не успела вникнуть. Однако Габриеле никогда не испытывала удивления, словно именно этого и ждала. Как и в ту ночь, примерно года три назад, когда в одной сорочке бросилась к дверям, чтобы впустить его, своего Андрюса, только что вернувшегося из Вильнюса. И до чего же ей стало грустно, просто до слез, когда вместе с ним, ее мужем, в дом вошел и незнакомый мужчина, поразительно вежливый, элегантный, чуть-чуть навеселе, но Габриеле тут же успокоилась, подумав, что это не впервой. Поэтому только пристыженно ойкнула и юркнула в спальню. А следом за ней влетел ее благоверный, от которого тоже несло спиртным и табачным дымом, он обнял ее и принялся шепотом уверять, что это, мол, большой начальник, столичная штучка, полезный и уважаемый человек и что она, Габриеле, должна во что бы то ни стало произвести впечатление... Каким образом? Ее чертовски клонило ко сну, потому что с вечера долго не спала, дожидаясь приезда Андрюса. Она должна была заставить себя ласково улыбаться полупьяным мужчинам и вместе с ними нести какую-то околесицу, да еще неглиже... Да! Потому что, когда она попыталась было как полагается при госте одеться, Андрюс сказал, что она восхитительна в своей ночной рубашке, достаточно ей только халатик на плечи накинуть, а тот, из столицы, шумно поддержал его, пошутив, что грех, когда такая женщина скрывает свои прелести под одежкой. Так и сидела она на софе, зажатая между ними, и потягивала кофе с коньяком, мысленно ругая себя за то, что поступает так, как велит Андрюс. Не соглашается с ним, а все равно пляшет под его дудку. В тот вечер она, пожалуй, впервые почувствовала ненависть к нему, ее обуяло желание причинить ему боль, обидеть. Но Стропус не заметил, как потемнело от злости лицо жены: он был счастлив, что жена такая веселая, такая ласковая, так обворожительно улыбается гостю, а тот не спускает с нее глаз и сорит комплиментами. Несколько раз Стропус выходил из комнаты и задерживался дольше, чем следовало. И еще больше сиял при виде того, как гость воровато обнимает жену за талию, а другой рукой пытается притронуться к ее колену, соблазнительно бугрившемуся

под цветастым халатиком. Габриеле пронзила ужасная мысль, она испугалась, но избавиться от нее так и не могла: «А что, может, он и впрямь хочет меня уложить с этим своим начальником? Вот пройдет в спальню и не вернется, а мы с этим на софе...» Потрясенная таким неожиданным открытием, она грубо оттолкнула руку гостя и, извинившись, резко сказала, что пора спать, здесь не вертеп.

Андрюс Стропус долго не мог простить ей такой дерзости, то и дело напоминая, что преданная жена не подкапывается под карьеру мужа; Габриеле не на шутку пожалела о совершенной ошибке: надо было броситься на шею этому пьяненькому начальнику, и пусть бы Андрюс Стропус пожинал плоды своего гостеприимства.

— Ты меня толкаешь в объятия к чужому мужчине,— рассерженно сказала она в тот вечер.— Смотри, как бы не пожалел.

Он ответил так, как Габриеле и ожидала:

— Только, пожалуйста, без угроз. Ты умная женщина, хорошо понимаешь, чего бы ты лишилась.

— Да, лишилась бы безопасного приюта под сенью твоей славы и этого вот замка из красного кирпича, но никоим образом не любви — ее давно нет.

— Это я уже не раз слышал от тебя,— отрезал он.— Когда ты хочешь меня оскорбить, ты всегда поступаешь как гимназисточка, гадающая на ромашке: любит — не любит, любит — не любит. Не кажется ли тебе, что после стольких лет супружеской жизни это по меньшей мере смешно?

— Что? Любовь?

— Все эти сантименты, которые когда-то, может, и были нужны, как приятный запах цветка для приманки пчелы; но сейчас, когда цветок опылили, лучше говорить о плодах...

Она ждала, когда он снисходительно улыбнется, потом многозначительно нахмурит лоб, потеребит указательным пальцем щеточку под носом. И не ошиблась.

Да, он и впрямь был затверженной наизусть книгой — банальной, с расхожим сюжетом, и она, Габриеле, не в состоянии была прочесть в ней что-нибудь новое.

Надо что-то делать — заняться каким-нибудь побочным делом или закрутить роман, потому что скука просто с ума сводит. Габриеле знала, что у нее неплохой голос, любила петь в застолье, но мысль записаться в хор пришла нежданно-негаданно. Она сама в это не верила и записалась в хор

только потому, что уж очень это коробило Стропуса. Только бы насолить ему. Тем не менее во время каждого концерта она напряженно оглядывала первые ряды, надеясь его там увидеть. Увы, как она ни вглядывалась, его не было в зале. Андрюс Стропус не презирал ни танцы, ни песни, но был слишком занят работой, чтобы выкроить хотя бы часок для развлечений, от них ни на одно зернышко, ни на один килограмм мяса больше не станет. Да тут еще прибавились новые заботы: Стропус не первый месяц заглядывался на всесоюзное переходящее знамя и делал все, чтобы оно наконец увенчало трудовую победу колхозников. Так что полный вперед! Андрюса раздражало все, что, казалось, отодвигало осуществление его мечты. Дело чуть не дошло до того, что он собирался послать к чертовой матери самого Даниелюса Гириниса, прожужжавшего ему уши какой-то выставкой и какими-то художниками. Увешать стены Дома культуры холстами, пригласить каких-то мазил, чтоб те написали портреты передовиков, словом, попусту тратить драгоценное время! Выбросить на ветер несколько тысяч рублей!..

— Ты видишь только то, что из кармана плывет,— заметил Даниелюс Гиринис таким голосом, что у Стропуса пропало желание спорить с ним.— А ведь искусство — тоже капитал, только доход от него не подсчитаешь. Это доход для души. Не потому ли мы всячески поощряем тех, кто содержит в чистоте и порядке свои усадьбы, украшает их? Когда я вижу со вкусом одетого человека, я знаю, что и духовный мир его шире, богаче. Ясно, человек может и без искусства обойтись. Работать, как машина, выдавать продукцию. Но осмысленно жить и созидать без искусства — никогда.

— Почем в среднем одна картина?

Даниелюс назвал цену.

Стропус в мыслях произвел подсчет и тяжело вздохнул, вспомнив злополучное строительство Дома культуры, которое все-таки придется закончить.

Между тем Даниелюс Гиринис добавил:

— Надо добиться того, чтобы крестьянину были доступны все виды искусства. С литературой и музыкой он сталкивается ежедневно, а вот от живописи пока что далек. Пусть же те несколько картин, которые вы купите для Дома культуры, и послужат скромным началом связей художников и села. А чтобы нить не оборвалась, подумайте об устройстве первой художественной выставки в колхозе.

Андрюс Стропус вернулся из райкома чернее тучи. Ничего нового, конечно, Гиринис ему не сообщил — об этом же с ним, со Стропусом, и Ляонас Бутгинас толковал,— но он на его болтовню только рукой махнул: не бросать же все и делать так, как требует от тебя первый попавшийся головотяп. Другое дело — указание свыше... Ну, ежели так, что же, раскошелимся, чтобы, так сказать, был доход и для души.

Стропус вызвал своего заместителя, занимавшегося вопросами культуры, Тадаса Григаса, и велел купить несколько картин по рекомендации Даниелюса Гириниса. Тут же наспех поговорили и о будущей выставке.

А когда через месяц колхозники столпились в зале Дома культуры у стен, увешанных картинами, и принялись громко обсуждать каждую из них, Андрюс Стропус никак не мог взять в толк, где же этот так называемый капитал искусства, на который люди легкомысленно возлагают столько надежд.

— Бред сивой кобылы, фантазии бездельников,— сказал Габриеле Стропус, вернувшись с работы.— На одних слой краски толщиной в два пальца, на других вообще не поймешь, что намалевано. А ежели и поймешь, то, спрашивается, на кой ляд вся эта мазня? Эти деревья, поля, люди... Зачем они мне неживые, уменьшенные в десять раз, ежели и каждый божий день вижу всамделишных, не искаженных, в натуральную величину? Могу притронуться к ним, запах их учуять. Природа — вот кто истинный художник! А люди только неумело копируют ее. Стотысячная армия шарлатанов, претендующих на звание выгребателей грязи из человеческой души. Только подсчитай, какая польза была бы от них, если бы их заставили вкалывать и выгребать настоящую грязь.

— А мне эти картины нравятся,— возразила Габриеле только для того, чтобы возразить.— Даниелюс Гиринис понимает толк не только в беконе, тебе такое никогда бы в голову не пришло.

— Конечно, не пришло бы. Меня прежде всего волнует то, ради чего меня в председательское кресло посадили,— сельхозпродукция. Если я буду рассиживать перед какими-то холстами и упиваться всякими там сказочками, придуманными писаками, то, пожалуй, вы без хлеба останетесь. Такую роскошь я позволил бы, будь в сутках не двадцать четыре, а сорок восемь часов.

«Господарь...» — вспомнила Габриеле Антанаса Гириниса.

— Ты весь набит цифрами, как мешок половой, — съязвила она.

Он горько усмехнулся и тоже не остался в долгу:

— Все кипишь. Не могу понять тебя. Кажется, тебе до климакса еще далековато...

Габриеле вдруг захлестнула злоба, она не сдержалась и грязно выругалась.

Стропус презрительно пожал плечами и удалился в свою комнату, где на письменном столе белела стопка книжных новинок на сельхозтемы. В последнее время он стал уделять особое внимание животноводческим комплексам. А заинтересовался он ими после одного памятного события, показавшегося вначале курьезом, но позже Андрюс убедился, что есть над чем голову поломать.

Случилось это весной, когда он с группой представителей Епушотасского района отправился в Лаукуву для продления договора о соцсоревновании.

Аполинарас Малдейкис сиял, как ясная луна: позиции у его района крепкие, хотя кое-где епушотасцы и пробили брешь. Что и говорить! Даниелюсу Гиринису придется хорошенько попотеть, пока не поравняется. По урожайности вроде бы и догнал Лаукуву, но вот животноводство у него хромает. Вам ли, бедолагам, хвост Лаукуве прищемить! Один наш свиноводческий комплекс стоит половины Епушотасского района. Пятьдесят тысяч голов! Полная механизация. Стоит пошевелить пальцем, и из агрегатов по трубам пища прямо в кормушку попадает. Да это прямо-таки чудо в районном масштабе...

Аполинарас Малдейкис расхваливал свое чудо как мог, а Стропус между тем осматривал огромные помещения, по сравнению с которыми комплексы в его колхозе казались настоящими карликами.

Но когда Стропус открыл большие раздвижные двери, он (да и не только он) не поверил глазам своим и попятился назад; испуганно озирался по сторонам, мигал, думал, что-то с глазами случилось, не полчища ли крыс перед ним? Их здесь было много, целая прорва жирных, ленивых и бесстрашных. В загородках, на цементных дорожках. Казалось, подойди и чеши за ухом, как свинье, хрюкающей над кормушками.

— Это что же такое? — искренне удивился Аполинарас Малдейкис. Казалось, и он эту картину видит первый раз.

— Уж очень они на этом конце собираться любят, у этих дверей. Видите, какие жирнющие? — пояснила одна

на свинарок в белом халате.— В прошлом году их столько не было, за зиму расплодились... По ночам, бывает, какой-нибудь свинке и уши обгрызут...

— Ну, знаете...— краснел и белел Малдейкис.— Ведь их здесь сотни...

— Что вы, товарищ секретарь! — замахала руками та же свинарка.— Думаю, в среднем на три бекона одна... Теперь разделите пятьдесят тысяч на три...

— Как же так? И я до сих пор ничего не знал! — со слезой в голосе воскликнул Малдейкис.— Ведь они все колхозные корма сожрут! Боремся за снижение себестоимости свинины, а тут... Почему никаких мер не приняли? Может, наша химическая промышленность мало яда производит?

— Пытались мы их травить, только уж больно хитрые, положишь им отравленную пищу отдельно — не берут. Не примешивать же яд в корма? Беда, да и только...

— А куда вы смотрели, пока их мало было? — не на шутку рассердился Аполинарас Малдейкис, использовав запас врожденного оптимизма.— Что за вопиющая халатность! Нет, открытый саботаж! Я вас всех...

Андрюс Стропус понимал его: попробуй сохрани тут самообладание. Ведь эти паразиты каждый божий день пожирают около тонны кормов. А что же будет через год, через два?

— Я вижу только один выход,— сказал Стропус.—Половину помещения освободить, изолировать и перетравить их. Потом то же самое проделать с другой половиной...

— От крыс забором не отгородишься,— ехидно заметил кто-то.

Однако Стропус твердо стоял на своем: нет, выход есть, нечего руки опускать.

— Что же получается — действовать будет только половина комплекса? — огорчился Малдейкис.— Убыток за убытком...

Андрюс Стропус усмехнулся про себя: к убыткам нам не привыкать. Когда-то мы выращивали культуры, совершенно неподходящие для нашего климата,— сою, кок-сагыз. Миллионы на ветер пустили. Потом подоспела кукурузная кампания — снова урон собственному хозяйству. Без глобальных экспериментов никак не могли обойтись...

Мысли Андрюса Стропуса снова стали вертеться вокруг свиноводческого комплекса. Выяснилось, что и у них, в Дя-

гимай, объявились крысы, только никто на них внимания до сих пор не обращал. Правда, их пока немного — одна-другая, но Стропус встревожился — велел немедленно разбросать отравленный корм у фундамента помещения, снаружи, расставить капканы, а по утрам сам приезжал и подсчитывал, сколько грызунов извели. Нет, он уже научен горьким опытом лаукувцев и впросак, как они, не попадет. И чем дальше, тем уважительней думал Стропус о Даниелюсе Гиринисе, которому животноводческие комплексы-гиганты голову не вскружили. Да, умен секретарь, на мякине его не проведешь, не из тех легковеров, которые суются в воду, не зная броду.

Снедаемый бесконечными хозяйственными заботами, Андрюс Стропус долго ворочался в постели и не мог уснуть. В голове кишмя кишели всякие планы, как выжать из колхоза побольше пользы для государства. Стропус в приятных мечтах видел себя с Золотой Звездой Героя и депутатским значком на лацкане, стоит на трибуне в зале заседаний Верховного Совета и слышит гром аплодисментов. Однако нередко светлая картина его геройства и депутатства омрачалась другой: он совершил роковую ошибку, производственные планы безнадежно сорваны, и... Андрюс Стропус даже вздрагивал от ужаса, представив себе, как летит по служебной лестнице вниз, подавленный, вконец развенчанный, обиженный судьбой, которая порой любит посмеяться над своими прежними избранниками. Так что ничего другого не остается, как напрячь все силы, чтобы не осрамиться! Трудись, мозг, трудись!

Зачастую, ночью, осененный какой-нибудь идеей, он вскакивал с кровати и сломя голову бросался в свой кабинет, чтобы записать ее в заветную толстую тетрадку.

Габриеле тихонько ворчала, вздыхала, выказывая свое недовольство, а однажды не выдержала и ехидно выпалила:

— Может, у тебя с желудком не в порядке? Скрутило, что ли? Кажется не с женщиной рядом лежишь, а с чучелом, утыканным иголками...

Стропус обиделся, однако в последний момент совладал с собой, влез в непробиваемые доспехи равнодушия, ибо знал, что это больше всего ранит Габриеле.

— Я давно заметил, что мешаю тебе,— пробормотал Стропус, повернувшись к ней спиной.— Что же, у нас комнат достаточно, с завтрашнего дня я перебираюсь на диван. В самом деле, что за дикий обычай тереться друг

о дружку в одной кровати? Он противоречит всем правилам гигиены и санитарии...

— Каким? — помрачнела она.— Повтори.

Он повторил.

Тогда она приподнялась в постели и отвесила ему пощечину

— Рехнулась... За что?

— Прощальный салют.

— Сумасшедшая!

— Дурак!

— Что же, сладких снов! — он скатился с кровати и зашлепал к шкафу, где лежало постельное белье.

Габриеле бросила ему вслед подушку.

— Убирайся скорей на свой диван и лежи там себе на здоровье со своим колхозом, а я найду себе настоящего мужчину. Вот увидишь!

Стропус ничего не ответил, спокойненько взял в охапку одеяло с простыней, поднял с пола подушку и скрылся в своем рабочем кабинете. Габриеле ждала, когда с грохотом захлопнется дверь, ждала, когда грянет гром, но двери закрылись тихо, даже ручка не звякнула. В эти минуты Стропус был для нее самым страшным врагом, и она люто его ненавидела. Ненавидела за все, а главное — за эту треклятую выдержку, за умение владеть собой, за то, что здравый смысл всегда помогает ему выйти победителем, между тем как ей всегда достается роль униженной и раскаивающейся.

Через несколько дней, поддавшись неукротимому желанию, они как бы помирились, но в полночь Стропус снова вернулся в свою комнату. Габриеле поняла: в их семейной жизни наступил решающий перелом, все теперь стремительно покатится вниз. Что из того, что еще раз переспят вместе, отчаянно стараясь согреть охладевшее сердце поцелуями, что из того? Разверзшуюся пропасть все равно ничем не заполнишь — криками о помощи и громким хлопаньем дверей покойника не воскресишь. Кончено! «Надо бы разойтись,— все чаще думала Габриеле.— Порядочные люди так и делают, когда начинают ненавидеть друг друга. Но что такое эта порядочность? Может, отказ от теплой, сытой жизни, от солидного положения в обществе? Глупости! Этот замок из жженого кирпича порой кажется настоящей тюрьмой. Но не лучше ли она, эта тюрьма, чем сомнительная доля матери-одиночки?»

Между тем Андрюса Стропуса такие сомнения не грызли. Раздел семейного ложа он воспринимал как самое нор-

мальное явление, ничего не меняющее в их взаимоотношениях. Правда, операцию сию можно было провести более деликатно. Но, к сожалению, Габриеле как всегда... Слава богу, буря миновала, и теперь остается только радоваться. Уж ему-то, Андрюсу Стропусу, точно: у него отдельная комната, может вставать и ложиться, когда ему заблагорассудится. Господи, как он до сих пор сносил такое неудобство!

Поэтому Андрюс Стропус был бесконечно удивлен, когда в одно прекрасное утро Габриеле ни с того ни с сего сказала:

— Лучше всего, если каждый из нас пойдет своей дорогой. Пярле не маленькая, поймет. Да и мы еще с тобой не такие старые: глядишь, заново семью создадим.

Андрюс Стропус смотрел на нее, не в силах понять, что же случилось: еще прошлой ночью пришла к нему, хотя после всего почему-то зарыдала в голос, а теперь...

— Тебе частенько приходят в голову такие гениальные идеи? — спросил он с притворным удивлением и принялся за свое любимое занятие — теребить указательным пальцем щеточку усов.

— Почти каждый день. Хотя знаю, что из этого ничего хорошего не получится. Нет, я развода не боюсь,— солгала она,— мне только тебя жалко, как бы ты без меня не загремел в пропасть вместе со всеми своими грандиозными планами.

Он расхохотался:

— А может, наоборот? Ведь недаром в народе говорится: баба с возу — кобыле легче... Только не пытайся хитрить, Габи, я тебя насквозь вижу. Давай хоть раз начистоту.

— А я начистоту: нет мне житья с тобой.

— Может, соизволишь сказать, чего тебе не хватает?

— Прошлого. Тех времен, когда я еще не знала Андрюса Стропуса.

— Но ведь когда-то, кажется, я заменял тебе весь мир...

— Когда-то? Да. Пока я не была довеском к колхозу.

— Лучше скажи: пока не вбила себе в голову, что ты королева английская. Ты жуткая эгоистка.

— Неужто? Ведь я хочу только того, что мне по праву принадлежит: твоей любви.

— Снова любовь! — Стропус осклабился.— А ты можешь ответить тем же?

«Неужто тебе, дурень, не ясно? Разве мучилась бы, если

бы ничего не испытывала?» — неприязненно подумала она, но вслух сказала:

— Не знаю. Скорее всего, нет. Любовь может быть только взаимной. Когда взаимности нет, она как свеча: вспыхнула и погасла.

Андрюс Стропус недовольно махнул рукой и поплелся в свой кабинет. Но пробыл он там недолго. Вернулся, решив все раз и навсегда выяснить.

— Главная твоя беда, что ты сама не знаешь, что в жизни ищешь,— продолжил он нелегкий разговор.— А уж если у человека претензии берут верх над возможностями осуществлять их, несчастнее его не сыщешь. Ты, Габриеле, оторвалась от земли, фантазии вытеснили у тебя действительность, и виноват в этом я. Я не должен был лишать тебя хлопот по хозяйству, посылать дочку учиться в Епушотас. Думал, ты разумно распорядишься свободным временем — уйдешь с головой в работу, возьмешься за какой-нибудь научный труд, за диссертацию... Увы, я горько ошибся. Ты оказалась из тех женщин, которые довольны только тогда, когда их по уши загрузят хозяйством и когда они в хлопотах тонут, короче говоря, когда у них не остается времени для всяких там вспыхивающих и гаснущих любовных свечей. Дети, огород, толкотня в очередях — вот из чего складывается их день, день, который считается и счастливым и светлым, если муж приходит домой, не пропив получки. Такие, как ты, не умеют пользоваться свободой, вам подавай ярмо.

Габриеле неестественно громко рассмеялась:

— Что ты называешь свободой? Так называемую общественную работу, пустую болтовню с трибун? Или копание в какой-нибудь никчемной книге, чтобы сварганить научную подделку о принципах педагогического воспитания, существующих чаще всего только на бумаге? Разве эта бессмыслица — не то же ярмо, только надетое иначе?..

— Ты пропащий человек, Габи,— опечалился Стропус.— Я иду навстречу, тяну к тебе руки, а ты убегаешь.

— От чего убегаю? От твоей свободы, что ли? — Она сжала руками спинку стула.— Он, видите ли, дал мне свободу! Ха-ха-ха! Ты лучше меня в кандалы закуй, но душу насыть. Струю свежего воздуха впусти в комнату, называемую нашей жизнью. Душа моя страждет, понимаешь, ты, творец женского счастья?

Андрюс Стропус не выдержал.

— Так, может, тебе ксендза привести? — уколол он, направившись в свой кабинет.— И впрямь от этого Юркусова хора у тебя разум помутился,— сказал и захлопнул дверь до утра.

«Снова хор. Каждый раз хором попрекает. Не понимает, что только там и чувствую себя человеком».

— Там, за широко распахнутыми дверьми Дома культуры улетучивается леденящая сердце скука, пропадают надоевший до чертиков класс, крикливые ученики со своими бесконечными проделками, набившие оскомину книги, в которые приходится изредка заглядывать, когда готовишься к урокам. Господи, какая неблагодарная профессия! Никогда она Габриеле не прельщала. В педагогический попала только потому, что провалилась на экзамене в университет — слишком большой конкурс был, а пединститут в то время спасал не одного неудачника. Теперь и в ее школе полно таких — не учатся, но с божьей милостью перебираются из класса в класс, ибо где-то в министерстве считают, что это лучший метод повышения успеваемости. Вот так и пекут они посредственности, полагаясь не столько на знания своих воспитанников, сколько на инструкции, согласно которым вся ответственность за отстающих ложится на бедные учительские плечи. Конечно, из ее класса выйдут и толковые люди, сейчас не скажешь, в чьем ранце — жезл маршала, а в чьем пусто, хотя, в сущности, тебе абсолютно все равно, в чью голову вдалбливаешь знания — в голову гения или тупицы,— ничего от этого не изменится, и останешься такой же несчастной, какой была, ибо счастье или несчастье не от других зависит, а как бы заложено в нас самих. Мы уже рождаемся такими — счастливыми или несчастливыми. Со своей средой, со своими будущими друзьями и знакомыми, со своим Андрюсом Стропусом. Благословенные или проклятые. Судьба... Лишь когда оказываешься в этом доме, где только музыка и песня, начинаешь верить, будто убежала от судьбы. Будто захлопнула двери в бесконечный, необозримый мир и вступила в крошечное царство сладостного забытья. В царство, где скалит ослепительно белые зубы черное пианино, где снуют такие же, как ты, люди, сбежавшие сюда от житейских невзгод, где пламенеет рыжая борода Саулюса Юркуса, подпрыгивающая в такт музыке. Как хорошо здесь... Удивительно хорошо! Здесь все настоящее, столь необходимое в жизни. И сама ты необходима. Каждо-

му человеку, пришедшему сюда: Юркусу, Унте, слушателям, потому что без тебя в зрительном зале не прозвучит дуэт, не загремят аплодисменты. «Вы удивительно быстро освоили технику вокала, товарищ Стропене»,— не может нарадоваться Юркус. «Это верно, с товарищ Стропене петь — одно удовольствие»,— вторит восторженному Юркусу Унте. Публика восхищается: «Хорошо у них с Унте получается. Кто бы мог подумать, что председательша такая певунья!..»

Часто в субботний или воскресный полдень колхозный автобус, набитый хористами, петлял по районным проселкам. Песни, смех, остроты. Удивительный день очищения от скверны и забот! А вечером — концерт. В каком-нибудь отдаленном колхозе или соседнем райцентре. Со сцены зал кажется огромным и страшным, но когда перед тобой столько улыбающихся лиц, столько восхищенных глаз, когда слышишь такие аплодисменты — сердце твое оттаивает и ты как бы паришь на невидимых крыльях. И нет-нет да глупая мысль мелькнет: а что, если я сейчас в обморок грохнусь... Вот бы суматоха поднялась! Сотни людей: ах, ах, так прекрасно пела... Срывается концерт, у всех испорчено настроение. И все из-за меня! Из-за меня одной! Оказывается, и я что-то значу...

Габриеле просто вся светится, хорошего настроения хватит на целую неделю.

А Юркус еще нажимает, как говорится, на газ, ублажает.

— Вам сегодня больше всех хлопали, товарищ Стропене.

— Спасибо, но успех заслуженно делит со мной Унте.

— Зачем же делить, товарищ Стропене,— скромничает Унте.— Просто вдвоем лучше получается, чем у одного.

— Ну вот видите, товарищ Стропене...

— Меня зовут Габриеле, Юркус. Или сокращенно Габи. Называй меня по имени.

Юркус застенчиво мотает головой. Как это так — по имени? Ведь перед ним женщина. С положением, учительница. К тому же разница в возрасте.

— Ну, раз так, то называй меня тетей. Тетя Габриеле. Подходит?

Наконец пристыженный Юркус весь багровеет. Что-то бормочет, пытаясь во что бы то ни стало сгладить свою бестактность:

— Давайте поработаем, пока у нас есть время. В страду культмассовую работу придется отложить. Разве что в сере-

дине лета выдастся какой-нибудь свободный денек для концерта...

Вот и середина лета, но свободного денька как не было, так и нет. Репетиции и те только два-три раза в месяц — страда всех, кто жив-здоров, на колхозные поля согнала. Правда, в день выпадает часок-другой свободный, но разве отдохнешь, разве выпрямишь спину — бегом на свои огороды полоть сорняки. Кроме того, будь добр и свеклу сахарную прополи (Стропус нынче такую норму закатил!), никто за тебя не сделает, хоть и привезли из Епушотаса полк школьников. Счастливы те из них, кто успел вовремя в пионерлагерь укатить. И Пярле вместе с этими счастливчиками — нечего ползать по междурядьям и обламывать о землю хрупкие ноготочки. Андрюс Стропус намеревался дать норму и учителям, но те стали рвать и метать и не без помощи районо добились победы.

«Что за чертова жадность — посадить, посеять столько, что объять нельзя. Только бы побольше площадей, побольше доходов, только бы место повыше на пьедестале почета. А кто ради этого места день-деньской ишачит? Обыкновенный человек, работяга. А такие вот паны, как Андрюс Стропус, только командуют».

Габриеле не морочила бы себе голову такими мыслями, если бы не человек, имя которого все чаще вызывало у нее приступ ярости. Раньше она ждала, даже тосковала по Андрюсу, а нынче на сердце и легче, и спокойнее, когда его дома нет. Целыми днями напролет она может лежать с каким-нибудь романом в руках, хотя и ста страниц до вечера не прочитает. В голову лезут всякие мысли. Габриеле вспоминает пережитое, лица знакомых. Женщин, мужчин. В основном мужчин. Чаще всего тех, кого она придумала, тех, кого считает своим идеалом. Есть же, наверное, такие мужчины на свете! К сожалению, ей они не встретились, с ней они разминулись... Или, может, она ошиблась, приняв Андрюса за такого. Как противно! Все осточертело — и этот пустой, занимающий два с половиной этажа дом, и затхлые комнаты, и мебель, и кухня, и холодная цементная лесенка, по которой спускаешься вниз, словно в семейный могильный склеп. Противное лето, противные каникулы, наконец, противное солнце, которое вечером вовремя заходит, а утром вовремя встает. Все вовремя, все заранее известно. Никакого грома среди ясного неба. Бесконечное течение затхлого времени. Хоть бы скорей наступила осень. Правда, тоже противная, только уже без этой смертельной скуки...

Габриеле поднимается по лестнице наверх. Снова спальня, снова разворошенная постель, на стульях валяется одежда. Теплый полуденный ветерок скрипит распахнутой дверью и как бы приглашает выйти на балкон. Сквозь верхушки молодых лип, обступивших дом, открывается вид на Скардупские луга. Там чернеют тяжелые скирды сена, повернутые к деревне то боком, то сумрачно зияющим проемом. Аист расхаживает... Неужто?! Да, действительно аист! Здравствуй, редкий гостюшка, здравствуй! А справа, вдалеке, какой-то человек, в одной рубахе, сгорбившийся. Крутится, что-то ищет. Унте! Но почему он? Разве, кроме него, никто не горбится, не ходит в одной рубахе? Смешно, просто смешно, что он первым ей пришел на ум. Но уж если пришел, пусть так и будет. Он на том лугу, а я здесь, на этом балконе, повисшем над липами. Впрочем, лучше надену новое летнее платьице — и на луг, к этим скирдам, к этой высохшей, загнанной в канаву речке, к этому аисту. Разуюсь — и босиком по траве, как в детстве...

« — Здравствуй, Унте. Ты чего тут расхаживаешь вместе с аистом? Лягушек ищешь, что ли?

— Здравствуй, Габриеле. А почему ты босиком? Пятки не колет?

— Не колет, это ведь не трава, а шелк. Так ласково щекочет, аж сердце замирает...

— Так уж и замирает.

— Если не веришь, сам попробуй.

— Мои пятки, как кора, могу по стеклу...

— Знаешь, иногда я тоскую по тебе, Унте.

— Так уж и тоскуешь...

— Ей-богу! Жду не дождусь, когда репетиции начнутся.

— И я тоже. Я люблю петь. С тобой...

— Со мной? Ох, Унте, шельма, куда ты гнешь?..

— Ей-богу — только с тобой, Габриеле. Ты такая... необыкновенная...»

— Необыкновенная... Ха, ха, ха! — Габриеле тихо смеется над тем, что ей только что померещилось, гладит зарумянившиеся щеки, которые уже, кажется, не горят, а пышут огнем, этот огонь заливает все ее существо и жжет, жжет... Мурлыча что-то под нос, она бросается к шкафу, потом к зеркалу и через полчаса, накрасив губы, надев любимое платье, сбегает по лестнице вниз. На лугу только аист, выискивающий лягушек, и скирды — того, кто был в одной рубахе, и след простыл, растаял вдали. Но это и неважно. Ведь остался и дурманящий запах сена, и зеле-

ный шелк травы, горестное журчание хиреющей речки... А кто ушел, тот воротится, если суждено...

VIII

Но был ли это Унте? Ведь он не сгорбленный, только сутулится малость, да и нос у него другой, с горбинкой, и весь вид «помужчинистей». Унте, скорее всего, выйдет сегодня на луг, предчувствие никогда не обманывает Габриеле, но это случится пополудни, когда деревенские старики прилягут отдохнуть, а Даниелюс Гиринис отправится к речке с Юргитой загорать на солнцепеке. Но покамест все сидят за столом и с наслаждением наворачивают горячую картошку с холодной простоквашей.

Юргита. Вкуснятина! Лютаурас, сынок, не чавкай, это некрасиво.

Лютаурас. Ты же, мама, сама сказала, что вкусно.

Юстина. И мне нравится нынешняя молодая картошка.

Салюте. Вкусно, но копать ее еще рано — один убыток. Вот ежели бы еще дождичек полил...

Унте. Из-за корзинки картошки по миру не пойдешь, нашла о чем горевать.

Йонас Гиринис. Тихо, дети. Всякого добра у нас, слава богу, полно, только бы здоровыми были. Да почаще бы собираться вместе, не знать бы распрей и ссор, жить бы в дружбе да согласии. Будь здесь Бируте со своим Стиртой и Повилас с женой из Вильнюса, тогда бы и комар носа не подточил. Поэтому я и говорю себе: счастливый ты человек, старик, такую семью вырастил, молись и благодари господа бога.

Юстина. И мама, царство ей небесное, тоже так говорила...

Йонас Гиринис. Как же ей было не говорить, если она столько добрых людей на свет привела. Хорошая была мать, царство ей небесное, даруй ей, господи, вечный покой, и да всегда светит ей твоя благодать.

Юстина. Аминь.

Салюте. Аминь.

Лютаурас. Аминь, аминь...

Даниелюс. Н-да...

Унте. Так-то...

Юргита. Пусть светит...

Й о н а с Г и р и н и с. Могли бы и перекреститься, как мать учила. Из уважения к памяти покойной...

Д а н и е л ю с. Мы уважаем ее душевно, отец. Каждый раз, когда вспоминаем...

Й о н а с Г и р и н и с. Крепкий ты орешек, гиринисовой породы, и власть тебя не испортила...

Ю р г и т а. Она портит только того, кто приходит к ней испорченным.

У н т е. А другие ей не подходят.

С а л ю т е. Ты лучше заткни себе глотку картофелиной и помалкивай.

Ю с т и н а. Да что там картофелина. Ему глотку и колесом не заткнешь. Такой уж человек: вечно чем-то недоволен.

Д а н и е л ю с. Ну и пусть. Стоячая вода тиной покрывается.

С а л ю т е. Не заступайтесь за него, Даниелюс. Слишком уж вы добры и вежливы.

Ю с т и н а. То-то и оно. А Унте... не поймешь, кто когда ему хорош, а кто плох. Было время, брата Повиласа на руках носил, превозносил до небес, а вот осенью вернулся из Вильнюса и другую песенку запел.

У н т е. Разве моя вина, если человек свиньей заделался?

Ю р г и т а. По-моему, ты хватил через край, Унте.

Д а н и е л ю с. А ты что, не допускаешь, что Повилас тоже может быть прав? Нельзя обрушиваться на каждого, кто не согласен с твоими убеждениями.

С а л ю т е. Вот именно. Других свиньями объявляет, а сам давно ли из свинского состояния вышел?

Ю с т и н а. Давно, почитай, целый месяц...

Унте молча проглатывает последний кусок и встает из-за стола. Он бы отрезал как следует, но разве всех за столом переговоришь? Навалились на него, как стервятники на падаль. Юргита и та не нашла нужным доброе слово о нем сказать. Видать, он и впрямь дрянь порядочная. А уж если он такой, то ему ничего не остается, как пойти в баню к Марме и надраться.

— Куда это ты собрался, не сказав ни спасибо, ни до свиданья? — ехидничает Юстина.

— Каяться. А спасибо я сказал, надо было слушать, а не хлопать ушами,— отбивается Унте, чувствуя, как судорога сводит подбородок.

— Мог бы посидеть, пока другие поедят,— вставляет отец.

— Мог бы, да не буду.— Унте машет рукой и топает к дверям, лицо его пылает, глаза горят.

«Ну что я за мужик! Размяк, как снег в оттепель. Почему все в шутку не превратил? Последний осел, больше никто».

Унте даже застонал от обиды. Задрал голову, прищурился, впился глазами в синеву небес, пытаясь забыться. А погода какая! Как нарочно! В сенокос дождь целыми днями хлестал, едва клевер убрали, сено сгребли, а нынче который день ни единого облачка. Со всех сторон солнце горячими лучами, как кнутами, сечет — по спинам, по плечам, по раскаленному шиферу на крышах, по вишняку за хлевом, склонившемуся под тяжелым бременем спелых ягод. Вчера женщины собрали сколько могли, но все равно на ветвях от вишен красно. В саду до сих пор стоит стремянка, по ней Салюте с Юргитой поднимались. Под конец и Юстина пожаловала. Но Унте никого, кроме Юргиты, не видел, хотя изо всех сил старался не смотреть в ее сторону. Очень ей шло красное в крапинку платьице без рукавов — к шоколадному, загоревшему на солнце лицу, к белозубой улыбке ничего лучше не придумаешь! Улыбка у нее озорная и дразнящая. В какой-то миг Унте поймал ее взгляд и весь застыл от счастья: ему показалось, будто там, в той бездонной глубине, появилась щелочка, и в свете вспыхнувшей молнии он увидел то, что было только ему предназначено,— их взаимную сердечную тайну. Унте стоял, по-дурацки разинув рот, бледный, прижав руку к груди, где, словно пойманная птица, бешено колотилось сердце, а из накренившегося лукошка (он только что взял его у Юргиты) на траву сыпались вишни. «Унте, растяпа!» — визжала Салюте, и голос ее отдавался в ушах костельным органом. Юргита смеялась, кокетливо выпячивала губы, и трудно было удержаться от соблазна — подойти и поцеловать. Белели острые резцы, и красноватый кончик языка дразняще высовывался из полуоткрытого рта. Только таинственная, бездонная глубина глаз вновь стала непроницаемой, и молния больше не сверкала — все кануло в какую-то непроглядную тьму вместе с прогремевшим громом, взбаламутившим душу.

Преклонив колено, как в костеле, Унте собирал рассыпавшиеся вишни и чуть не плакал от досады. Юргита что-то говорила, но он не слышал, только кивал головой, ничего не соображая и не отваживаясь поднять на нее глаза. А когда все же разок глянул через плечо, то все заслонили ее ноги. Напрягшиеся, бесстыдно оголенные почти до бедер... Юр-

гита и раньше так стояла на стремянке, потому что ни одной вишенки не сорвешь, если не вскинешь высоко руки, и Унте было странно, почему это ему раньше не бросилось в глаза. «Даже смешно: до сих пор ни разу не подумал, что у нее есть ноги...» И снова метнул на нее взгляд, сердясь на себя за это. Теперь он увидел ее колени, повернутые прямо к нему — Юргита сидела на стремянке. Ну что за глупая слежка? Стыд и позор! Унте не мог понять, что с ним творится. Осмелиться подумать о Юргите как о женщине, с которой!.. Нет, нет, такого еще с ним никогда не было!

Вконец рассердившись на себя, он отдал собранные вишни Салюте и отправился в хлев разравнивать навоз, чтобы тяжелым трудом утихомирить бунтующую кровь. Но ночью ему опять приснилось то же самое: Юргита сидела в первом ряду в одном купальнике, закинув ногу на ногу, а Габриеле с Унте стояли напротив и пели. Тут же на сцене в корзине пестрели цветы. Корзина была работы Моте Мушкетника, как и та, в которую Юргита днем собирала вишни и на которую не могла налюбоваться: «Вот это да! Какая прелесть!»

«Будет у тебя еще и похлеще...» — пообещал во сне Унте.

И теперь, вспомнив об этом, он заковылял через сад к гумну, а оттуда по заросшей травой тропке — к Мотеюсу Кябярдису, настоящую фамилию которого люди и забыли, потому что более тридцати лет он для всех — только Моте Мушкетник.

Корзинщик обосновался в новом поселке, по соседству с Дягимай. До первой мировой войны здесь стояла небольшая деревенька, сильно поредевшая во время расселения на хутора: с той поры уцелело всего несколько старых усадеб; одна из них, крытая шифером, с поодаль стоящим глинобитным хлевом, принадлежит Моте Мушкетнику. Когда-то эти постройки принадлежали какому-то состоятельному крестьянину, и Моте никогда, конечно, не завладел бы ими, если бы не помог (как об этом тайком шептались люди) выселить настоящего хозяина со всем его семейством. Товарищ Кябярдис, понятное дело, такие обвинения отвергал, угрожая отправить сплетников туда, куда увезли того, кого они оплакивали, но полностью отвести от себя подозрения так и не смог.

— Ты и меня выкурил,— сыплет соль на рану Моте Юозас Гайлюс.— Был бы я человеком мстительным, плеснул бы керосином на стены — и полыхай... Но я не такой — твой грех, ты и греми с ним в пекло.

Моте Мушкетник сидит, оседлав табурет, посреди неуютной захламленной комнаты, в которой, как уверяют соседи, и черт ногу сломит. В седых космах — плешины, лицо опухшее, под глазами темные круги, кожа желтая, как у ощипанного гуся. Сдал за полгода человек, не узнать бывшего здоровяка. Он уже и в баньку не хаживает, чтобы с «новоявленными римлянами» сто граммов тяпнуть. Ежели бы и мог, и то вряд ли пошел бы, потому что после того, как Стропус несколько раз разогнал всех, пригрозив им всякими карами, никто не отваживается туда заглядывать с бутылкой в кармане. Теперь собираются, как по уговору, у него, у Моте Мушкетника, где и места хоть отбавляй (целых полдома отвел) и никто с поучениями не лезет; сын с невесткой устроились на другой половине, в дела старика не вмешиваются.

Вот и в этот летний полдень сюда весь квартет собрался, каждый сел туда, куда хотел: Сартокас с Пирсдягисом — на кровать, бог весть когда в последний раз стеленную, Гайлюс забрался в уголочек поближе к шкафчику, а сам хозяин — посреди свалки, со всех сторон заваленный корзинами и лозой.

— Злой ты, Юозас, ох, злой,— горестно говорит Моте, и грудь его исторгает не то хрип, не то треск. Поди пойми, что трещит — легкие или корзинка, которую он плетет, зажав между колен.— Приходишь, чтобы столько мерзостей наговорить. Мстишь... м-да-а, месть сладостна... Что ж, черпай этот мед, твое время, наверстывай, бей лежачего. Всегда так: когда видят, что сегодня ты последний дух испускаешь, вороны тут как тут. Попробовал бы ты Мотеюсу Кябярдису выклевать глаза тогда, в тот, как говорится, период. В порошок бы я тебя стер!

— Знаю,— соглашается Гайлюс, продолжая с удовольствием теснить Моте Мушкетника.— И теперь стер бы, ежели бы мог придраться, будь на твоей стороне сила, закон неписаный. Кончился ты, лопнул твой мыльный пузырь. Осталось тебе только корзинки плести да смерти ждать...

— А ты ко мне костлявую не торопи, первым ноги протянешь.— Собрав все силы, Моте воинственно выпячивает грудь, прижимает к бедрам кулаки; корзинка катится с колен на пол.— А если сам не протянешь, вернутся те

времена и доконают тебя. Белые медведи давно по таким папам скучают.

— То-то,— соглашается Пирсдягис.— Смозесь им там свои кулацкие проповеди цитать. Вот так,— добавляет он по-русски.

— Ну уж вы сразу и за горло...— миролюбиво вставляет Сартокас.— Что было, то сплыло, как ты сам, Мотеюс, говорил, ни к чему за старые времена цепляться.

— Говорил...— вздыхает Кябярдис.— Может, и говорил... А сегодня нет. Времена человека сгибают, времена и выпрямляют.

— Да разве я...— Гайлюс снова смирен, мягок, как всегда, когда впрыснет недругу изрядную дозу яда. Однако как бы не переборщить — аукнется.— Может, я и обидел кого, но не нарочно же? Простите, ради бога. Конь о четырех ногах, и тот спотыкается, а язык-то у человека один... Зря ты на меня так, Кябярдис. И ты, Пирштдягис. Стращаете этими белыми медведями, словно я какой-то враг народа, против Советов, против власти. И впрямь можно подумать, что у вас в башке пусто. Дурачье вы, дурачье... Чего, спрашивается, мне на рожон лезть, ежели я никогда лучше, чем сейчас, при этом строе, не жил? Денег у меня — куры не клюют, сыт, одет, никаких земельных налогов, да и приданое не давит. Катаюсь как сыр в масле, мне самый большой буржуй позавидует. На толстом суку сижу. И сижу твердо. А сверху мне на голову всякие блага сыплются, только собирать успевай. И, по-вашему, я, идиот, этот сук подрублю?

— То-то и оно-то. Живешь не тужишь, а языком мелешь,— не сдается Моте Мушкетник.— Все-то тебе не так, всем-то ты недоволен, тебе и в голову не приходит, что такие люди, как я, жизнь тебе построили и что эти блага сыплются на твою голову не по милости господа бога.

— Да по мне, все так, как надо, Кябярдис, и доволен я всем, просто язык у меня от рождения колючий, ненароком заденет кого не надо,— хитрит лис Гайлюс, извлекая из кармана штанов тепленькую поллитровку.— Но мы плеснем на колючки чертова зелья и спалим их...

— Вот это да! Вот это я понимаю! — сияет Сартокас, который ради покоя согласился бы и горячей смолы испить.

А Пирсдягис:

— Ну знаесь, Гайлюс... Ты и вправду цертово отродье!

Моте Мушкетник не упускает случая рассчитаться за оскорбление:

— Кто же его не знает? Сперва человеку в карман наложит...

— Хватит, Мотеюс! Квиты! — Гайлюс с размаху ставит бутылку на шкафчик. — Давай стаканы, нарезай сало — корзинки твои обмоем.

— Очень мне надо...

— Надо, как не надо? — вмешивается миротворец Сартокас и самовольно лезет в шкафчик, где всегда в запасе краюха хлеба и ломоть вареного сала, оставшегося от обеда.

До прихода Унте мужчины успевают изрядно разогнать кровь, потому что поллитровка Гайлюса была только началом, затравкой: оказывается, такую же и Сартокас принес, а Пирсдягис, желая всех переплюнуть, шумно ставит на шкафчик свою бутылку, которую прятал не где-нибудь, а в сенях под метлой. Моте Мушкетник хмурится — кто же столько выпьет? — однако от стаканчика не отказывается, хотя каждый раз опрокидывает его, горестно причитая («Ах, не могу, здоровье не позволяет, если бы кто-нибудь молодость вернул...»). Пирсдягис с Сартокасом тоже вздыхают, нацелив свои телескопы на созвездия юных дней. Что правда, то правда, горе мыкали, нужду терпели, но жили. Здоровья было хоть отбавляй, носы никогда не вешали. То, что они сейчас вчетвером выпьют, он, Пирсдягис, мог тогда один раздавить, а потом, взвалив на плечи два центнера пшеницы, по лестнице на гумно забраться. «А уз девок!.. Цто твоих ворон на пасне!.. Аз церно вокруг! Ай, ай, ай... Кто бы мог подумать, цто одной такой вороне в клюв попадесь и она всю зизнь тебе глаза клевать будет. Вот так!»

Моте Мушкетника не устраивает то, что Пирсдягис увиливает от общественной темы. Жили, ясно. Терпели нужду, ясно. То да се, юность... Но ежели бы не своя власть, фигу они бы видели, а не жизнь настоящую. Сами бы не видели и другим бы не показали. «Хотя что сегодня за этот показ... Сидишь вот, зажав корзину меж колен, и никто о тебе не вспомнит. Разве что на великие государственные праздники, оптом с другими, такими же, как ты, безымянными, обиженными, словно ты не Мотеюс Кябярдис, бывший глава советской власти в селе, а какое-то ископаемое. Забыли те, кому надлежит помнить, что в тебя из лесу метили, пытали, убивали, а ежели остался жив-здоров, то черт знает, кого за это должон благодарить...»

Пирсдягис одобрительно кивает, свернувшись калачиком на кровати:

— То-то и оно-то, одно сцастье, цто головы тогда не слозили, а цто до благодарности... Не доздесься! Им подавай твою зизнь, инаце поцтения не зди, памятника тебе не поставят...

— А Киеменас, первый председатель Дягимайского сельсовета? — не выдерживает Унте. — Был настоящим человеком, борцом за советскую власть, все его до сих пор добрым словом вспоминают, а кто ему памятник поставил?

— О, Киеменас, это да, — вставляет Сартокас. — Не одного человека от беды спас. Светлая у него была голова и сердце доброе... Ежели бы лесовики его до срока на тот свет не отправили...

Моте Мушкетник зло сплевывает и ногой растирает плевок. Не поставят, и не надо. Но почтить должны. По правде, по заслугам. Справедливости, вот чего не хватает! Уважения к отцам! Ведь дети их вот-вот забудут.

— А я почтил. Всех, — вставляет Сартокас, блуждая мутным взглядом по комнате. — Ты свидетель, Мотеюс: украсил десятиметровой резьбой дуб. Правда, я тогда не знал, что это барельефами называется, но делал.

Моте Мушкетник морщится, словно у него зубы рвут, молча смотрит на валяющуюся на полу корзинку, куда он каким-то непостижимым образом засунул обе ноги.

— Ну и человек! Он, видишь ли, все никак свои берельефы забыть не может, — цедит он сквозь гнилые зубы, все больше раздражаясь.

— Как забудешь, пять лет работал, — Сартокас чуть не плачет, вытирая грязным носовым платком покрытую испариной лысину. — Я тогда к рюмке почти не притрагивался — выпью глоток вина какого или кружку пива. А танцы для меня и вовсе не существовали. Потому я и женщину себе поздно нашел. Нет, я время попусту не тратил. Кто к бутылке, к бабам, а я — за свою резьбу. Бывали вечера, когда в раж входил, зорьки просиживал... Будет вещь, думал: мир, конечно, не перевернется, но вещь будет — самому любо-дорого и людям радость. А получилось, что зря работал...

— Не жалей, видал я эту твою вещь. И знаю, чего она стоит, — говорит Моте Мушкетник. — Всяких князей там вырезал, кулаков, бандитов, а меж ними... Эх, стыдно и сказать.

— Почему стыдно, Мотеюс? — не может взять в толк Сартокас, потому что Мушкетник первый раз так сурово отозвался об исчезнувшем произведении. — Может, потому,

что там и вы с Пирсдягисом? А рядом — Марма со своими лесовиками? Но там они нашему человеку пятиконечную на спине вырезают!

— Что с того, что вырезают? Все равно свою резьбу не жалей...

Сартокас не слышит. Перед глазами — те десять метров резьбы, они воскрешают в его памяти счастливые минуты творчества, и он с головой окунается в прошлое, слепой и глухой ко всему.

— Дуб,— вечное дерево, если хорошенько подумать...— говорит он, не чувствуя, как водит носовым платком по лысине, залитой потом.— Детям и внукам остался бы. Ведь там вся история Дягимай. И то, как в те годы президент сюда приезжал, как приветствовали его; и то, как потом твое хозяйство, Пирсдягис, с молотка пустили; и то, как ты, Мотеюс, в первые советские годы в Епушотасе с балкона речь толкаешь; и то, как немецкий танк летит через нашу деревню, а хуторяне ему шапками машут, как те же немцы людей расстреливают... гонят прикладами... И вы оба — ты, Моте, и ты, Пирсдягис, там с ружьями через плечо, там и грузовик с людьми, а среди них — Юозас Гайлюс с семейством, и как их встречает белый медведь. Ну, что я мог сделать, если правда такой и была? Ведь я и Витовта Великого вырезал только потому, что был он в старину нашим величайшим князем, в его королевство тогда и Дягимай входила и еще много, много земель до самого Черного моря... История, не я же это все придумал...

— Уж больно ты учен,— насмехается Моте Мушкетник.— А известно ли тебе, что из-за этой своей учености ты мог вслед за Гайлюсом загреметь? Ежели бы я не заступился, так оно и случилось бы. Но жалко мне тебя, дурня, стало... Ведь не мироед какой, не буржуй, а свой, бедолага задрипанный, пролетарий.

— Ты чего это меня дегтем мажешь?— обижается Сартокас.— Какой я тебе бедолага задрипанный? Что я — по миру ходил, попрошайничал? Мастером был, с именем, меня во всей округе знали, у всех нарасхват был, и литы у меня были — ого! Мог бы запросто ими твою хату, как дранкой, покрыть.

— Мог бы, да не покрыл.— Моте Мушкетник отхаркивается и сплевывает мокроту на пол.— Всем известно, какой ты был богатей. Рукотворец, горемыка несчастный, вот кто ты такой! Но все равно тебе бы хвост оттяпали, ежели бы не Мотеюс Кябярдис.

— Могли бы,— соглашается Сартокас.— Я перед войной надел собирался купить, в хозяева податься. Вполне подходящий кандидат для долгой зимовки.

— Думаешь, тебя бы за надел, который тебе ночами снился?— усмехается Мушкетник.— Ты бы по глупости своей вляпался. Из-за этой своей либеральной резьбы, из-за всех этих шмерельефов-берельефов. Ежели бы ты был не нашего класса человеком, плевал бы я тогда на тебя: пожалуйста, доставь мне радость, выставь эту свою контрреволюцию, объяви всем, какой ты сегодня, разоблачись, советской власти это только на пользу. Но ты есть ты, хоть и несознательный, хоть и с буржуазными предрассудками; а мне наш человек дороже дерева. Десять метров искусной резьбы, да черт с ними...

Юозас Гайлюс катает ладонью пустую рюмку на шкафчике, хитро прищурившись и затаив какую-то недобрую мысль. Странно даже, как это она раньше в голову ему не пришла.

— Только дерево. Да, только дерево,— говорит Юозас Гайлюс, передразнивая Моте Мушкетника.— И ты только чирк спичкой — и под него, как мне кажется... Пусть себе полыхает со всеми там шмерельефами-берельефами...

— Да ты никак с чужого голоса поешь.— Моте Мушкетник вытаскивает наконец из корзины ноги. В сердцах пинает ее, и та с треском летит через комнату к дверям.— Спалили мы дуб, что правда, то правда, чего мне отпираться, все равно уже недолго протяну. Но я один, что ли? Ну-ка, Пирсдягис, ну-ка, Еронимас, скажи, я один, что ли?

Пирсдягис вскакивает с кровати и снова садится, нервно потирает бока ладонями.

— Не один, конецно, Мотеюс, оба мы вытаскивали из беды Сартокаса. И эти смерельефы-берельефы из его сарая перетасцили к тебе и запалили. Хоросо горит дуб, из трех пудов овса пива наварили, пока он горел...

— А я, дурень, голову ломал: кто же мог их стащить?— бормочет вконец ошарашенный Сартокас.— У меня все надежда теплилась — может, найду. Ведь всякое бывает... А вы, оказывается, в огонь... пиво из трех пудов овса...

— Дикари!— бросает Унте, вставая со стула, на котором сидел у дверей.— Хотя ты, Пирсдягис, и мой тесть, хотя тебя и полагалось бы вторым отцом считать, но я плюю тебе в рожу. Символически.

— Да мы зе целовека спасали...

— Сожгли, спалили,— чуть не плачет Сартокас, схва-

тившись за голову.— А ведь я и по сей день почти все помню. Они для меня все словно живые — и люди, и дома, и деревья, и вещи... Каждый вырезанный образ — это я сам, потому что, когда работал, ничего другого не чувствовал, только это дерево, то, что из-под моего резца вышло, и то, что выйдет. Я был счастлив. Потел, ругался, когда не везло, но ведь и мать при родах кричит. Ты моих детей спалил, Кябярдис. И ты, Пирсдягис. Поджигатели!

— Выпей, Сартокас,— протягивает ему полную рюмку Юозас Гайлюс.— Смой с души боль. И Унте поприветствуй, потому как и он, вижу, оплакивает пепел твоих трудов...

— Да пропадите вы все пропадом,— Унте берется за дверную ручку. Всего три рюмки опрокинул, а уж весь красный, и мочки ушей посинели — до того взбешен тем, что услышал о барельефах Сартокаса. Хоть и сам давно потерял надежду, что они когда-нибудь отыщутся.— А ты, Моте Мушкетник, первый. Я хотел попросить тебя, чтобы ты сплел мне красивое лукошко с узорами, но теперь не стану. Узоры твои — липовые, без души, ежели можешь с легким сердцем превратить в пепел работу другого. Трус ты и мракобес. Древоточец, поджигатель! Такие, как ты, и моего покойного дядю Теофилюса в вагон сунули.

Моте Мушкетник пытается защищаться ехидненькой улыбкой, в которой и высокомерие, и бесконечное презрение, подогретое вновь вспыхнувшей классовой ненавистью; голова у него трясется, он долго шевелит посиневшими губами, пока наконец не выдавливает:

— И тебя сунем, когда время придет. Доиграешься... Кулачье! И угораздило же тебя, Пирштдягис, отдать свою дочь в кулацкое гнездо...

— Поосторожней, товарищ Кябярдис,— язвит Юозас Гайлюс.— Из того же гнезда и Даниелюс Гиринис, секретарь...

— Подумаешь, ну и что тут такого...— не теряется Моте Мушкетник.— Пусть он себе будет секретарем, а я ветеран.

— Езели ветеран, то, думаесь, тебе позволено нападать на каздого, кто тебе на мозоль наступил?— встает на защиту своей родни Пирсдягис.— Гиринисов никто никогда не сцитал кулаками, и они не являются таковыми. Уз слиском тебя, товарисц Кябярдис, влево занесло. Портунизм, вот так.

— Ха, ха, ха!— заливается Юозас Гайлюс, выпив Унтину рюмку.

А Унте уже за воротами, которых давно нет, вместо них из травы только прогнившие столбики торчат. Чешет по полевой тропке назад, шагает широко, руками машет, ругается на чем свет стоит. Ну не дурак ли, а? К такому паразиту за лукошком с красивыми узорами пошел! Будто не знал, чего он стоит, этот Моте Мушкетник. Ведь все в селе только худым словом поминают те времена, когда «товарищ Кябярдис» носился с одного подворья на другое, оседлав винтовку, как ведьма метлу, и наводил свой порядок: кто совершенный бедняк — будь он хоть последним лодырем, невеждой, мошенником,— того налево, к своим («Пролетарий, опора советской власти...»); а кто чуть побогаче, кто своим трудом и предприимчивостью пробился в жизнь, того направо, к буржуям, к врагам народа. Такова была его политика, когда он отделял зерна от плевел. Рубил сплеча, напевая «мы наш, мы новый мир построим», а рядом — Пирсдягис. Оба одного поля ягоды. Но чтобы до такого додуматься... Правда, кто-то злые слухи распускал, будто все эти барельефы Сартокаса стибрил и уничтожил Моте Мушкетник. Работа искусных рук мастера! Нет, только ненормальный или величайший злодей может такое сделать. Унте видел эти замечательные барельефы, когда был еще ребенком. Не очень-то он, конечно, разбирался, но до сих пор не может забыть отображенную на дереве жизнь, словно им самим прожитую, жизнь, как бы свившуюся в бесконечный пестрый клубок воспоминаний, где все свое, все дорого, и уж если что-то вырываешь оттуда, то только с «мясом».

«Узнай Юргита, что натворил этот Мушкетник, она к его плетеному лукошку и не притронется,— размышляет Унте, стараясь отделаться от горьких мыслей.— Лучше я сам ей сплету такое, с узорами... Вот пойду к речке, наломаю лозы и... пока не началась жатва...за какие-нибудь два-три вечера сделаю прекрасное лукошко. Главное — выбрать интересный узор, а все остальное...»

Черт бы побрал этого жадюгу Стропуса, чтоб он подавился всеми этими благами, из-за которых готов само пекло к колхозу присоединить. Натравил мелиораторов, повывели они всю ракиту над Скардуписом, паршивой ивы и той не сыщешь. Просто чудом уцелели кусты крушины да несколько березок, взобравшихся на косогор. И откуда только Моте Мушкетник, этот черносотенец, поджигатель, берет лозу для своих корзинок? Неужто из-за кордона

выписывает? — — — Вытоптали все, разорили. А речушка была такая красавица, извивалась, петляла, струилась по лугам, по полям! Не то что этот дренажный канал, тянущийся как навозная веревка, глянешь на дно — и муторно становится. Где они, темные омуты, водовороты, щучьи заводи, кишащие дремотными рыбами? Придешь, бывало, сюда в детстве с удочкой, вода просто кипит от рыбы. Щуки только плюх, плюх, что твои поросята, как отец говаривал. А голавли!.. Удилище ломалось, когда здоровенный попадался. Когда-то, говорят, и сомы здесь водились, даже утят хватали, а теперь стой и часами гляди в воду, пока какая-нибудь задрипанная рыбка приплывет. Да и та только и делает, что с боку на бок ворочается, а частенько — и просто кверху брюхом. Химия — всякие там гербициды, удобрения с полей, Епушотасская кожевенная фабрика сделали свое дело... А когда еще Гедвайняй вступит в строй, задымит своими красными трубами, сольет всю свою нечисть в Скардупис, то и лягушки не увидишь.

Унте растянулся на берегу дренажного канала и уставился на струящуюся воду. Он так долго смотрел, что у него приятно закружилась голова, в глазах замельтешили зеленые круги, заросшие тиной и водяными лилиями. Скардупис уже не Скардупис, а великая река, противоположный берег которой где-то у Епушотаса. И над этим водным простором летают невиданные, диковинные, огромные и страшные птицы с хвостами ящеров, с хищно оскаленными звериными пастями. «А ведь были же времена исполинов,— размышлял Унте, дав волю своему воображению.— Выходило из леса чудище — пасть чуть ли не на полметра раскрыта, зубы — как те тридцатирублевые транзисторы, а уж крылья, крылья... целый дом накроют... А ты, как выражается брат Повилас, ему, этому чудищу, даже до колен не доставал. Поросенок перед лошадью! Кузнечик! Чудище махнет крылом, и от тебя только мокрое место... Могучая была природа. Так-то. И человек был могуч. А теперь? Теперь мелюзга. В лесу ли, на поле ли, в океане ли. Вроде бы и выше ростом стал, но все равно мелюзга, попробуй разгляди его за машинами. Пройдет тыща лет, миллионы, геологи хватятся, а костей исполинских нигде нет. Только всякие там валы, задние мосты, кузова, оси. А может, за это время и они сплошь покроются ржавчиной? Будут качать головами геологи, диву даваться: а где же наши предки? Неужто миллион лет назад на земле человека не было?»

— А тебе-то какое дело, кто и как через миллион лет

думать будет,— говорит Альбертас Гайлюс, вытирая окровавленный нос.— Иногда ты мужик как мужик, Унте, а иногда ну просто полоумный, не поймешь, чего хочешь.

— Заткнись, а то снова съезжу...

— И у меня вот кулак, не посмотрю, что ты старше. Ну не смешно ли: расквасил человеку нос из-за нескольких рыбок, в то время как промышленность их косяками отравляет...

— Может, оно и так, но эти-то плавают брюхом вверх от твоих помоев.

— Подумаешь, трагедия, в речке цистерну промыл. А откуда тебе знать, может, им нравится аммиак?—усмехается Альбертас.— Они брюхом вверх плавают от удовольствия, ведь и мы, поддавши, еще не такое выкамариваем...

У Унте от такого нахальства даже в глазах потемнело, и он снова вмазал Альбертасу. Отвесил ему как следует (правда, и сам получил), хотя потом жалел, что погорячился, тем более что у него, Унте, тоже несколько дней «фонарь» под глазом голубел.

«Думаешь, мне важно, что через миллион лет будет?— мысленно спорит Унте с Альбертасом.— Если я не выливаю в реку дерьмо, от которого кто-то погибает, не ломаю деревца, кляну мелиораторов, то не потому, что я хочу природу сохранить, как в этом уверяют Юркус и его газеты. Я не краснобай, и, по правде говоря, их, златоустов, забота о будущем человечества кажется мне абсолютной чепухой. Не шибко меня интересует, что будет после того, как я помру. Детей, ясное дело, надо на ноги поставить, это забота родителей, но лезть из кожи вон из-за всего мира... из-за тех, кто бог весть когда родится... Да и потом разве можно заранее знать, чего ему, этому будущему миру, больше всего понадобится... Может, вместо того чтобы отблагодарить меня за мои старания, он мне кукиш покажет: дескать, ты здесь, дорогой Унте, что-то напутал, кто тебя просил, мы, дескать, сами с усами, лучше знаем, как себе стелить.. Так что можно и обмишулиться...»

Унте хитро улыбается, довольный таким умозаключением, и дальше вьет тонкую нитку мысли о том, что каждый в жизнь приходит со своим приданым и через рукав детской распашонки видит предназначенный ему лоскут неба. Его, Унте, приданое — это зеленый изгиб реки, старая усадьба, заросший тиной пруд за сараем; все это живое, и горько, ох, как горько, когда надо с чем-нибудь из этого приданого

расстаться. Срубили березку, которая склонялась в детстве к окну горницы, и он как бы близкого человека потерял; обокраденная душа оплакивает каждый куст ракиты над осушенным старым руслом реки; оплакивает отравленную рыбу, пичугу, которая в прошлом году еще щебетала здесь, а нынче ее уже нет, и больше она никогда не прилетит; оплакивает вспаханную в поле тропинку, потому что с малолетства так сросся с этим полем, что, кажется, приложи ухо к земле и услышишь, как стучит ее израненное сердце. Не так ли будет с нашими далекими потомками, которые придут в этот мир с его дренажными каналами вместо рек, с его искусственными водоемами для рыб, с его лесами фабричных труб, заслонившими от глаз мертвые посевы; в этот мир с его многоэтажными коробками, именуемыми удобными жилыми домами? Ведь и они, эти люди будущего, наверное, будут думать, что нет ничего милей и лучше на земле, чем то, что они нашли здесь в день прихода. Может, и им покажется, что только приложи ухо к земле и услышишь, как стучит ее израненное сердце. Скорее всего, так оно и будет, если они, потомки наши, будут не какие-нибудь выродки, как ты, Альбертас, а нормальные люди с нормальной душой. Настоящий человек должен чувствовать сердце земли, ибо он не пасынок ее, а дитя.

Унте зажмуривается, долго лежит так, опьянев от горчащего запаха трав, от убаюкивающего журчания ласковой речушки и нескончаемого стрекота кузнечиков, которым вторят другие долетающие издали звуки: мычание коровы на лугу, детские крики и доносящийся время от времени грохот машин. И вдруг песня! Затаив дыхание, Унте прислушивается к грустной мелодии, такой знакомой, так берущей за душу, что теплая волна печали захлестывает грудь. И откуда-то внезапно всплывает детство. Лето. С косарями в льняных рубахах, с запахом сохнущего клевера. Со звоном натачиваемых кос... Смех... А над головой голубое-преголубое небо, оно все звенит от птичьих трелей и песен! Забыв обо всем на свете, Унте жадно ловит эхо песни, доносящейся оттуда, из того лета его детства, и непрошено в голову приходит невеселая мысль о том, что теперь редко кто так затянет, разве что какой-нибудь пьяный, топающий через поля. Правда, вчера пела Юргита. Вышли они оба с Даниелюсом погулять по лугу по-над Скардуписом и затянули какую-то песню, новую и до чего же красивую. Даниелюс обнимал Юргиту за талию, склонив седую голову набок, и изо всех сил подтягивал своим звонким баритоном. Все, кто слышал, не могли надивиться,

говорили: надо же, секретарь, а гуляет по лугу со своей женщиной и поет вместе с ней, как обыкновенный смертный, любо-дорого посмотреть и послушать. Унте был рад, что загодя скосил сено, потому что и на сенокосе старший брат показал бы, на что горазд, хотя, по правде говоря, чего ему браться за косу,— он запросто другую работу найдет, чтобы размяться. Отец, довольный, улыбается, а Унте тихо злится. И теперь, залатав дыру в плетне, Даниелюс отправился с женой на луг и затянул песню, а он издали косился на них, пока певцы не скрылись за березами в крушиннике. Унте понимал всю нелепость своего поведения, убеждал себя, что пора превозмочь соблазн, заставляющий его покорно следовать за братом и Юргитой, но никак не мог устоять перед ним и, влекомый какой-то странной силой, шагал дальше. До самых кустов крушинника, обступивших белоствольные березки, которые беспечно шелестели на теплом полуденном ветру, пахли свежими вениками и навевали непонятную тоску. Перед глазами — две пары следов, оставшихся на недавно скошенной траве; Унте старался шагать так, чтобы попасть в след Юргиты, и как бы чувствовал ее ласковое дыхание, от которого с каждым шагом становилось теплее на душе. Унте корил себя, что такому серьезному мужику, как он, приходят в голову такие глупости, что это по-детски, по-дурацки, но не мог совладать с собой. Еще шаг, и он рухнет на поляну, прижмется разгоряченным лицом к траве, которую пригнула к земле нога Юргиты, но подумал, что пора возвращаться, потому что неудобно, если они здесь все трое неожиданно столкнутся. Как ни убеждал он себя, все же продолжал, как собака-ищейка, идти вдоль кустов крушинника: до того хотелось посмотреть на Юргиту вблизи, без помех, в ту минуту, когда она не чувствует, что на нее смотрят, и ему, Унте, не надо стесняться чужих взглядов, от которых трусливо съеживаешься. Он даже забыл о Даниелюсе, о той непреодолимой преграде, отделяющей его от Юргиты, словно брат стал бледной тенью своей жены, тенью, которая, глядишь, совсем исчезнет, как только солнце зайдет за тучу. В душе Унте росли тревога, предчувствие чего-то дурного, казалось, он вот-вот увидит то, от чего рухнут его мечты, иллюзии, и он изменит свое отношение к Юргите. А может, сам невольно к этому стремился, желая освободиться от власти созданного им божества, и инстинктивно искал возможности сбросить с себя ярмо? Так или иначе, но он не очень удивился, когда, спрятавшись за куст крушины и осторожно раздвинув ветки, увидел раздевающихся Юргиту и Да-

ниелюса. Лучшего места, чтобы понежиться и загореть, трудно было придумать, а солнце жарило вовсю. Он впервые увидел Юргиту такой — без платья, обнаженной. Унте вдруг осенило, что он в общем-то и не видел нагой женщины. Даже свою Салюте, которая, раздеваясь, всегда гасила свет и в темноте влезала в свою длинную ночную сорочку. К обнаженному телу женщины он только прикасался, и тело это — первый и единственный сладкий плод с древа познания — принадлежало его жене. У него даже в глазах потемнело, когда он увидел, как Даниелюс раздевается догола. Унте весь залился краской, ему вдруг стало стыдно за брата, словно он сам стоял голый перед его женщиной. Но через какой-то миг разделась и она, Юргита: растянулась на подстилке, выставила колени, соблазнительную округлость которых Унте, казалось, только теперь заметил. Он потупил глаза и какое-то время просидел под кустом, пытаясь справиться с напором смутных и противоречивых чувств. Окруженный как бы огненным валом, он перестал дышать, чтобы не задохнуться. Время остановилось, а если оно и шло, то до жути медленно. Опомнился он только тогда, когда очутился вдали от крушинника. Навсегда, на всю жизнь Унте унес оттуда смутившую его картину: два обнаженных, распластанных тела... Рука Даниелюса на груди Юргиты... Непостижимая улыбка в уголках ее полуоткрытого рта... Лицо какой-то чужой, совершенно чужой женщины, не похожей на Юргиту! Там, в душе Унте, она жила, как Заклинание, Тайна, Святая, а теперь, когда как бы приподнялся невидимый занавес, оказалось, что Юргита только Женщина. Унте весь день не мог себе найти места, ему было бесконечно горько и трудно, словно близкого человека похоронил. На Даниелюса он и смотреть не мог, а задерживая то и дело взгляд на Юргите, видел то, о чем раньше и не помышлял. И вчера, когда они собирали вишни, а она сидела на стремянке, Унте украдкой следил за каждым ее движением — уже не Святой, а Женщины,— и все это ненасытным вожделением откладывалось в его смятенной душе.

«Я обязательно должен сплести ей лукошко,— подхлестывает он себя.— И уж когда сплету, она поймет, что это не просто подарок. Будет ходить с ним по Епушотасу, на рынок, в магазины и вспоминать...»

Унте долго и тяжко встает. Перед глазами — и это лукошко, и Юргита, и ее округлые коленки на стремянке в вишняке. Встает и уходит, опьяневший от запахов нагретого луга, от изматывающей полуденной духоты, безнадеж-

но запутавшийся в своих чувствах и мыслях. Он проходит мимо крушинника, мимо полянки с помятой травой, мимо белоствольных берез, мимо продолговатых трапеций скирд, от которых под ущербным солнцем падают длинные тени.

— Эй!— кричат ему эти тени вдогонку.

Унте даже не оборачивается. Пусть их! Ведь это зов, исторгнутый из его опустошенной души, на которую легли такие же длинные, длинные тени...

— Эй, эй! Куда это ты так чешешь? Ничего вокруг себя не видишь.

Сперва он узнает голос, а уж только потом ту, которая окликнула его. Сидит раздетая у лаза в скирду. Такая же загоревшая, такая же шоколадная, как Юргита. Только крупнее, чем та; верхняя губа словно припухла, глаза маленькие, с выцветшими ресницами смотрят, но не светят.

— А...— мычит Унте и неохотно останавливается.— Здравствуйте, товарищ Стропене...

— И опять Стропене! Кажется, я тебя учила, как меня называть,— беззлобно бранит его Габриеле и взглядом кокетливо просит у него прощения.— Твердолобый ты, Унте, быстро забываешь. Вместе поем, а до сих пор так и не спелись. Садись!

В другое время Унте только бы улыбнулся и прошел мимо («Барыня, видишь ли, нашлась, приказывает...»), но сегодня в него, похоже, какой-то бес вселился. «Глупости...— шепчет он самому себе.— Ну не осел ли я на самом деле?..» И все-таки покорно бредет к скирде, садится рядом с Габриеле.

— Самое время сено возить,— говорит Унте, понимая, что ничего глупее не скажешь, и как бы видя себя со стороны с идиотской улыбкой на побагровевшем от волнения лице.— Отстоялось в скирдах... А такая жара и вёдро...

— Хорошо, передам Стропусу,— усмехается она.

Унте пристыженно замолкает, но имя Стропуса для него, словно преграда для скакуна,— один прыжок, и взял!

— Не похоже, что он тебя голодом морит, этот Стропус,— вдруг осмелев, отрезает Унте.

Теперь Габриеле в силках. Такого не ожидала! С минуту-другую она в растерянности. Наконец находит выход:

— Откуда это ты про чужие дела знаешь? Не подслушиваешь ли, часом, под окнами?

— Когда ветер дует, всегда чуешь, чем пахнет.

— Ты уж постарайся с женщиной повежливей,— не выдает своей обиды Габриеле.— Ведь я же все-таки женщина? И не скажешь, что дурнушка. Правда ведь?

«Кривляка...» — проглатывает Унте, а украдкой метнув взгляд на ее бронзовые бедра, выпирающие из-под купальника, говорит:

— Такой уж он, Стропус, никому не нравится. А для тебя он, может, и очень хороший.

— Райком, с твоим братом во главе, его ценит.

— Им прежде всего подавай производителей продукции.

— Ты бываешь неглуп. И совсем бы поумнел, если бы поменьше водки пил и побольше бы женщин любил.

— Ну и загнула! Зачем мне женщины, нешто у меня жены нет?

— Да пошутила я...— Габриеле переворачивается на спину, разминает ноги упражнением «велосипед».— Ты не такой, не ветрогон. Если бы все мужчины были такими, крепче советской семьи на свете не было бы.— И снова плутовато смеется.

— Ну, это ты, наверное, шутишь.

— Почему шучу? Что-то не слышно, чтобы какая-нибудь женщина тебя соблазнила? Разве что прошлой зимой Живиле, эта птичница...

— Бабьи пересуды, и больше ничего.— До неузнаваемости изменившийся голос Габриеле — то интимно приглушенный, то заговорщический, то вкрадчиво доверительный — странно возбуждает Унте.— Тебе не к лицу сплетничать...

Габриеле глубоким вздохом отвечает на его упрек. Смиренно, без слов, как бы извиняясь. Из лаза веет теплом, сеном и запахом женщины. Так, должно быть, пахнут ее надушенные волосы, а может быть, подмышки?

— Жарко...— выдавливает он наконец, все поняв.

— Так чего же ты жаришься на солнце? Да еще одетый.— Габриеле сладко потягивается, крепко прижимаясь к его боку.— Там, в середине, должно быть и вовсе хорошо...

— Где?

— Ну там, в скирде.

— Да, в жаркий день все от солнца прячутся,— бормочет он и против своей воли растягивается на спине. Теперь голова и грудь в тени; что-то нежно щекочет щеку. Наверное, ее волосы?

— В детстве мальчишки строили шалаши, и мы играли в индейцев,— говорит она и глубоко вздыхает.

— Детство... Славно, хорошо...— тихо произносит он.

— Да, очень хорошо...— шепчет она, и Унте чувствует, как она при этих словах нетерпеливо вздрагивает.— Я до сих пор помню запах жухлой листвы.

— А мне больше всего нравится запах сена. Когда клевер цветет... луга...— Унте не замечает, как сам переходит на шепот.

— Боже! И я такая же!— чуть слышно дивится она.— Я просто опьянела от запахов. Сколько ни вдыхаю, больше хочется, все равно мало, как пьянице одной рюмки. Давай залезем туда, где и вовсе хорошо...

Унте застывает. Сердце, кажется, раскалывается на тысячи осколков, осколки разлетаются по всему телу, и не поймешь, где стучит. И мнится: рядом уже не Габриеле, а Юргита. Это ее губы сладко шепчут, это она дышит, это ее глаза завораживают, ослепляют своим светом и сковывают. («Ах, Юргита, Юргита!») Потемневшим взглядом впивается Унте в ноги, извивающиеся, словно два удава, выползшие погреться на солнце. Словно сквозь какую-то сизую мглу он видит, как эти два удава отскакивают друг от друга и, по-змеиному извиваясь, уползают в глубь скирды. А следом Унте. «Ах, Юргита, Юргита...»

Часть шестая

СОЛНЦЕ СКВОЗЬ ТУМАН

I

На прощанье Унте протянул Юргите новое лукошко, доверху набитое краснощекими яблоками.

— Сам сплел. На память...— похвастался он, потому что уж очень люб ему этот яркий узор, искусно сплетенный из разноцветной лозы. Право слово, удалось!

Юргита подняла подарок над головой, покрутила, повертела, словно искала в этой затейливой вязи какой-то потаенный смысл, который если кто и мог объяснить, то разве что сам мастер. А яблоки падали одно за другим на землю, пока пол-лукошка не опустело. Унте, нагнувшись, собирал их в охапку; старался не смотреть на ноги Юргиты, но те, как нарочно, лезли в глаза, как тогда, во время сбора вишни, когда Юргита стояла на стремянке.

Даниелюс, расцеловавшись со всеми, сидел в машине.

— Возьми у нее это лукошко,— бросил он Люткусу, деланно улыбаясь.

Шофер Даниелюса поставил лукошко с яблоками рядом с собой на сиденье и включил мотор.

— Счастливого пути! Счастливого пути!— замахали руками родичи, столпившиеся во дворе.

Порозовевшая Юргита сидела на заднем сиденье рядом с Даниелюсом, который сделал вид, будто ничего не заметил. Глаза Юргиты были опущены и жарко сверкали под черными ресницами — она отказывалась верить в то, что только что произошло: Унте внезапно обнял ее, когда она, как сестра, чмокнула его в щеку, обнял и горячим поцелуем обжег ее губы, пронзил взглядом, неукротимым, страстным, пугающим и одновременно манящим. Что-то похожее, заставившее ее зябко съежиться, Юргита почувствовала позапрошлой зимой, когда они вдвоем мчались по березняку и вывалились из саней и когда он, Унте, нес ее на руках. Честно говоря, ей и в голову не приходило, что за его привязанностью к ней, за его искренним, неподдельным уваже-

нием кроется что-то большее. Но разве у них с Даниелюсом началось иначе? Правда, понравился он ей с первого взгляда, как только они познакомились. Чем-то привлек ее, даже приворожил. Хотя любящей она почувствовала себя намного позже. Не сразу разобралась в том, настоящая ли это любовь. Настоящая, а не та, слепая, с первого взгляда, страстью опустошающая душу. Ей хотелось другой — выстраданной, выношенной, испытанной временем, которая, словно могучая река, вымывает песок и поднимает на поверхность донные камни. Хотя зачем она ей, эта любовь? Затем, чтобы еще раз обмануться?

Всю ночь напролет она, помнится, писала очерк о Доме культуры, а когда закончила его, увидела, что этот Дом культуры почти на задний план оттеснила фигура Даниелюса Гириниса, который произвел на нее такое впечатление, что она несколько дней почти до осязаемости чувствовала его близость. Редактор, пришедший в восторг, сказал, что это лучшее из всего написанного ею, а сотрудники наперебой поздравляли ее, только она, Юргита, с удивлением думала: «Видно, я и вправду к нему неравнодушна...»

На другой день в редакцию позвонил Даниелюс. Он был очень взволнован и никак не мог связать свои мысли.

— Я что-нибудь напутала, погрешила против истины?— спросила Юргита, затаив дыхание.

— Как бы это вам сказать... Факты вроде бы и не искажены, но...

— Но?

— Уж очень вы меня по-геройски изобразили...

— Сами не знаете, какой вы...— пришла в себя Юргита.— И потом, разве на нескольких машинописных листках расскажешь о человеке, да еще о таком, как вы?..

— Вы слишком добры ко мне...— смутился Даниелюс.— Больше не собираетесь к нам?— добавил он, помолчав.

— Не я выписываю командировки — редактор.

— Между прочим, я, наверное, скоро буду в Вильнюсе. Я очень хотел бы вас видеть.

— Может, и встретимся,— сдержанно ответила Юргита, тем не менее Даниелюс почувствовал, что она довольна.

— Юргита...

— Я слушаю.

— Очерк ваш отличный. По-моему, и не могло быть иначе, все, к чему вы прикасаетесь, превращается в чудо... Я вас люблю, Юргита!

Юргита зажмурилась и так стояла с минуту, прижав

трубку к пунцовой щеке. Потом почему-то притронулась к ней губами и, мечтательно улыбаясь, положила на рычаг. Весь день был как праздник... Вторник... среда... четверг... Так пробежала неделя, а может, и больше. Этот Гиринис из Епушотаса как-то оттеснил на задний план все, чем Юргита до сих пор жила. Она с благодарностью думала о нем, сумевшем снова пробудить в ней удивительное чувство любви, которое, как ей казалось, она навеки похоронила. Бывали минуты, когда ее захлестывала какая-то смущавшая душу нежность. Хотелось броситься к телефону и позвонить ему, но в равной мере ее томили и тревога, и сомнение. В такие минуты даже Ефимья, которую она в глаза не видела, оказывалась в выигрыше: ведь к ней Даниелюс привык, и вряд ли ему в таком возрасте будет легко приноровиться к другой женщине. А если он и приноровится, то разве ее, Юргиты, достоинства не станут ее же недостатками? А дети? Не отнимает ли она у них отца? Не станет ли между ними черной тенью, ворвавшись в чужую жизнь? Не слишком ли дорого придется ему заплатить за любовь? А неизбывная боль, которую она причинит Ефимье? Юргита глубоко сочувствовала каждой покинутой женщине, понимала, как нелегко им приходится, и потому искренне жалела Ефимью, судьба которой оказалась теперь в ее, Юргиты, руках. В самом деле, какую страшную ответственность берешь на себя, когда тебе представляется неограниченная возможность смять человека или помиловать его. Человека, ни в чем не повинного, не сделавшего тебе зла, человека, единственная вина которого в том, что он не сумел стать любимым. Подумал ли об этом Даниелюс, собираясь оставить Фиму? Конечно, подумал, но кто же не знает, что эгоизм влюбленного сильней, чем милосердие и чувство долга...

Юргите было чертовски трудно выкрутиться, когда в один прекрасный день Даниелюс позвонил и сказал, что послезавтра будет в Вильнюсе. Он, дескать, был бы счастлив, если бы она улучила свободную минутку... Дескать, соскучился. И вообще есть серьезный разговор. Она ответила, что, скорее всего, он не застанет ее в Вильнюсе. А если и застанет, то будет страшно занята, поэтому ничего твердо обещать не может. Гиринис, видно, почувствовал в ее словах неправду, смешался и принялся расспрашивать ее, что случилось. Ровным счетом ничего, что же со мной может случиться, отшучивалась она. Он как будто заразился ее беспечностью, но когда прощался, голос у него был грустный.

«Поди знай, может, я бегу от своего счастья,— размышляла Юргита, бессмысленно глядя на замолкший телефон.— Да, но, кроме него, Даниелюса, есть еще три человека, которые тоже хотят быть счастливыми. Так, уважаемый, лучше нам больше не встречаться».

Когда он приехал в Вильнюс и позвонил, она объяснила ему, что, к сожалению, через десять минут уезжает, мол, в аэропорт и, когда вернется в Литву, точно не знает.

«Вот и все,— печально подумала Юргита.— Любовь еще жива, а ей уже могила вырыта. Остается поставить надгробный камень и в утешение написать: «Из пяти сирот — двое несчастных, а трое — довольных» — и надеяться, что оба несчастных никогда не стали бы счастливыми».

Прошло несколько недель. От Даниелюса не было никаких вестей. Такое его поведение, казалось, должно было ее радовать, но Юргита мучилась. Ах, зачем она с ним так глупо в прятки?.. Он этого не заслуживает. Лучше все сомнения — в глаза, лучше сразу: не надейтесь, расстанемся друзьями.

А в одно прекрасное утро Юргита совсем обомлела, когда услыхала, кто с ней желает встретиться...

Юргита назначила время встречи и при этом добавила, что делает это из профессионального любопытства. «Мне интересно, товарищ...»

«Гиринене...— раздалось на другом конце провода.— Ефимья Гиринене, жена вашего любовника... Вам еще хочется удовлетворить ваше профессиональное любопытство?»

«Вашего... любовника? О, это уже сенсация! Что же, до завтра, Ефимья Гиринене»

И нажала пальцем на рычаг.

На следующий день они встретились в редакции. Литработник, сидевший с Юргитой в одном кабинете, ушел, и лучшего места для откровенного, а может быть, и бурного разговора нельзя было придумать.

— Садитесь,— сказала Юргита и быстро оглядела Фиму, успев заметить все до мельчайших подробностей: добротную, но без особого вкуса сшитую одежду, аляповатые сочетания цветов, кольца на руках, тяжелые серьги. От Гиринене несносно пахло терпкими духами.

«Интересная женщина: чтобы доказать свое превосходство, чуть ли не пол ювелирной лавки напялила на себя». Юргита вдруг почувствовала себя раскованной и уверенной в себе.

Гиринене села и в свою очередь пристально оглядела

Юргиту. Губы ее все время кривились в насмешке. Цепкие глаза не сулили ничего доброго, но как она ни старалась, не могла скрыть, что Юргита произвела на нее впечатление.

Обе долго молчали. Юргита подошла к окну, открыла его — духи по-прежнему раздражали ее,— глянула на улицу, на зеленеющий на противоположной стороне парк, где вовсю хозяйничала весна. Она чувствовала, что Гиринене ловит каждое ее движение и от неловкости все время пощелкивает замком сумочки.

— Я вас слушаю, товарищ Гиринене,— наконец не выдержала Юргита.— Чем могу быть полезна?

— Зачем вы так?— выдохнула Фима.— На вид вроде бы порядочная, а лезете в чужую семью. Я хотела вчера вам кое-что по телефону сказать, но вы бросили трубку. Конечно, есть такие любители подслушивать, но раз грязь, то зачем ее от людей скрывать?

— Будьте добры, спокойно объясните, что случилось?

— Не считайте меня дурочкой и не пытайтесь, пожалуйста, отрицать, что у вас и в мыслях не было поймать в силки моего мужа.— Гиринене широким жестом открыла сумочку, извлекла оттуда сложенный лист бумаги и положила на стол.— Вот часть письма, которое мой муж не успел отправить вам, своей... любовнице... Вот копия. А оригинал давно там, где ему положено быть. Ждала, думала — образумится. Напрасно. Мы почти не живем вместе. Вот уже несколько месяцев, как у нас отдельные спальни, отдельная еда, остается только формально разойтись,— сказала Фима и заплакала.

Юргита пробежала глазами конец письма. Только он, Даниелюс, может написать такие слова...

— Да вы успокойтесь, товарищ Гиринене, поверьте, мы с вашим мужем не зашли так далеко, как вам показалось. Правда, я люблю его, а он — меня, но разве любовь — силки?

— Ах, ах,— причитала Гиринене, обхватив руками стол.— Скажите, пожалуйста, разве он вам пара — такой молодой, такой красивой? Гоните его к черту! Оттолкните его! Не пойму, что женщины в нем находят — он же такой увалень.

Юргита была готова поклясться, что ее с Даниелюсом ничего, кроме дружбы, не связывает и ничего связывать не будет, но последние слова Гиринене подействовали на нее, как пощечина.

— Вы зря обижаете своего мужа, никакой он не увалень! Он прекрасный человек!— воскликнула Юргита.

Гиринене подняла голову и посмотрела на Юргиту влажными, покрасневшими глазами.

— Прекрасный! Чужие мужья всегда хороши. А что касается Даниила, то... Эх, ничего вы в жизни не смыслите. Ничего! Мало с мужчиной переспать, чтобы узнать его; надо пожить с ним под одной крышей. Поживешь и вдруг обнаружишь, что он свинья не меньшая, а может, и большая, чем другие. Пока мы им нужны в постели...

— Извините, но меня не интересуют ваши будуарные дела,— перебила ее Юргита.— Ведь и в вашей жизни, надо думать, было время, когда вы вашего мужа считали самым лучшим на свете?

— Наверное, было, не помню.

— Не помните... Значит, вы его просто не любили. Значит, развенчали своего принца еще до коронации.

— Принц... господи!— простонала Фима.— Ну и лексикон! Я была обыкновенная женщина, хотела выйти замуж, а он был обыкновенный мужчина...

— По-моему, он мог быть обыкновенным мужчиной для других, но только не для вас,— не уступила Юргита.— Для вас он должен был быть единственным, тем, о ком мечтаешь и кого ждешь.

— А вы, вы разве долго ждете? Хватаетесь за чужого мужа, а потом читаете его жене нравоучения.

Юргита побледнела, некоторое время молчала, пытаясь совладать с нахлынувшей злостью.

— Да, другого такого нет и никогда не будет. Никогда! Вы можете, если вам так нравится, называть его подлецом, увальнем, недотепой, деспотом, развратником, лить на него помои, а для меня он все равно останется самым лучшим, единственным.

Фима захохотала:

— Ну и загнули! Артистка! Думаете, я так вам и поверила, что вы к нему... из любви? Такая молодая и неустроенная к такому солидному, с положением... Ой, мамочка, можно помереть со смеху! Ну знаете, ну знаете...

— Вы уж, пожалуйста, не умирайте,— сказала Юргита, подождав, пока Фима успокоится.— С вами нельзя быть искренной, с вами надо говорить только на вашем языке. Поэтому вернусь к началу: чем могу быть полезна?

— Я уже говорила: не посягайте на чужой очаг.

— Что вы, никогда в жизни! Поверьте! Только разрешите спросить: он, ваш муж, и впрямь такой... недотепа, как вы говорили?.. Словом, бремя для вас?..

— О, да! — воскликнула Гиринене. — Женщине нужен не такой муж. Бегите от него, товарищ Юргита, как можно дальше и без оглядки.

— Вы это всерьез? — Юргита присела на подоконник. — Но как же я смогу вам помочь, если вы и дальше останетесь со своим недотепой? А не лучше ли сделать так: вы от него бегите, а я его догоню. Этого увальня, этого недотепу, этого деспота. И тем самым спасу вас, товарищ Гиринене, можете не сомневаться.

Фима попятилась вместе со стулом.

— Я никому не позволю над собой издеваться! — закричала она. — Есть кому заступиться за несчастную женщину, не все такие бессердечные. Смотрите, как бы вы не пожалели. Да, да, как бы не пожалели. Стоит мне зайти к редактору и выложить ему все, как вы тут же вылетите из газеты, как... О, вы еще меня не знаете! Я не позволю, чтобы какая-нибудь потаскуха подрывала устои нашей морали... На моей стороне общественность, закон, авторитеты. И вам несдобровать! Обоим!

— Поступайте, как вам совесть велит. — Юргита усмехнулась. — Что верно, то верно, на вашей стороне стена. Крепка, но, увы, только стена. А на моей стороне — любовь. Каким, скажите, видом оружия вы собираетесь ее одолеть?

— Вы... жестоки... — прошептала Фима, уткнувшись лицом в ладони.

— Я всего лишь женщина. В конце концов я, может, и пожертвовала бы собой, если бы видела смысл в такой жертве.

Фима негромко всхлипывала, обхватив спинку стула, но когда она подняла глаза, они были почти сухими. Юргиту поразил ее взгляд — смиренный, почти заклинающий.

— Смысл такой: почти двадцать лет он мой муж. А я его жена, мать его детей. Может, вы и правы — любовь и все прочее... Состарилась, надоела... Мужчину к себе не привяжешь, не телок. Любовь так любовь. Что ж, любите друг друга, что ж. Мало ли таких семей? У мужчины другая женщина, но ему и на законную супругу не наплевать. Живет, как принято в обществе, выполняет свой супружеский и отцовский долг. Никакого шума, никаких разводов. Так вот я и думаю...

— Думаете? — Юргита соскользнула с подоконника. — Что вы думаете? Что удобнее всего делить мужа. На двоих? — Она широко распахнула двери: — Будьте здоровы. — И, гордо повернувшись, вернулась к окну.

— Ладно, ты еще пожалеешь, нашлась... фифа принципиальная!..— прошипела Фима, шагнув к Юргите. Но в последний момент сдержалась и бросилась к дверям.— Еще пожалеешь... ой, пожалеешь!— неслось из коридора под стук каблуков.

Так вот она какая, жена Даниелюса. И столько лет он с такой женщиной...

В самый разгар лета, Юргита взяла отпуск и вместе с подругой пустилась на байдарке по удивительным рекам Дзукии. Они то и дело останавливались, чтобы полюбоваться на редкостный пейзаж и поплескаться в воде, потому что дни выдались жаркие, солнце пекло нещадно. Подруга фотографировала, а Юргита писала этюды. Всю дорогу ее преследовало странное видение: где-то впереди буйствует водопад, течение подхватывает их байдарку, и пенистые волны швыряют ее вниз. Водопад приснился ей в первый же день их путешествия. Потом ей привиделся во сне обрыв, такой высокий, что росшие на нем сосны снизу казались тонкими спичками. Белая песчаная стежка петляет вверх. Юргита поднимается по ней легко, словно на крыльях, и ей несказанно хорошо. До чего же они удивились с подругой, когда на другой день и вправду увидели точно такой обрыв, как во сне, хотя путешествовали по этим местам впервые. Подруга отправилась с фотоаппаратом по берегу речушки в противоположную сторону, а Юргита вскарабкалась вверх по склону.

Там маячила рассеченная надвое родниковой речушкой деревня. Покинутая, опустевшая, вымершая дзукийская деревня.

У Юргиты сжалось сердце. Она выбрала место поудобнее и открыла папку. Изба без дверей. Изба без окон. Фундамент. И вот там тоже только фундамент. Груды слежавшейся глины. И деревни умирают, как люди. Как любовь. Как цветные сны. Миллиарды смертей на свете. И вот на этом листе будет запечатлена еще одна... Еще одна Трагедия, еще один Миг Исчезновения, еще одна Случайность. Юргите казалось, что вот-вот что-то должно случиться. Что-то неожиданное и роковое. Однако она не подумала, что здесь, в этой деревне-кладбище, Случайность взглянет на нее глазами Даниелюса, возьмет за руки и скажет: «Идем!» И на сей раз уже навсегда. Потому что тебя послала мне сама судьба. Так оно и есть, как ты говорила:

если Любовь настоящая, такая, которая пишется с большой буквы, то она меня и на краю света найдет. Идем!

II

В восемь часов утра начинает бешено крутиться колесо времени. Душ, завтрак. Несколько минут перед зеркалом. Скромная дань материнской ласки своему мальчику. Поехали! Внизу, у дверей, ждет всегда вежливый, приятно улыбающийся Люткус. Юргита — в редакцию, Даниелюс — в райком. В полдень, если, конечно, повестка дня не изменится, снова повторят тот же маршрут, только в обратную сторону. Скорей ешь, орудуй ножом и вилкой, жуй — кончается обеденный перерыв. Конечно, редактор и слова не скажет, если опоздаешь, как-никак супруга самого хозяина района... Но как раз поэтому и негоже опаздывать.

Даниелюс благодарно улыбается, чутье подсказывает ему, о чем она думает. Он поднимается из-за стола. Она поднимается из-за стола. И оба снова уезжают: груда немытой посуды, неубранный стол, любимое дитя, для которого родители только гости в доме,— все передоверено Алюте. А что делают те, у кого нет никакой Алюте? Те, у кого двое, трое детей... А еще стояние в очередях в магазинах, на комбинате бытового обслуживания... В тех семьях уже с шести, с семи утра начинается бешеная гонка за временем, бегство от своих чад, от очагового тепла...

Да, хорошо, когда есть Алюте и машина, которая тебя увозит и привозит, и вылизанная квартира, и мальчик, соскучившийся по тебе, бросающийся тебе на шею, как только распахнешь дверь. Отлично, о'кей! Но разве в этом настоящее счастье? Не каждый же день они уезжают вместе на работу, а по вечерам возвращаются домой — пленумы, собрания, совещания, частые поездки по району, в Вильнюс... Недели не пройдет, чтобы два-три вечера не ухлопать, а порой и день-два насмарку. Ничего не попишешь... Для руководства времени столько, сколько надо, а для нее, Юргиты, как говорится, остаток. Крохи... И она ему — только крохи. Как и малышу своему. «Все трое довольствуемся крохами...» И только когда они друг от друга далеко, они спохватываются: какое это счастье быть вместе.

Почти всю прошлую неделю Даниелюс провел «на колесах»: три дня в Москве, два в Вильнюсе. А сегодняшний начался с совещания актива. Послезавтра на весь день он

отправляется в Гедвайняй на стройку. Даниелюс медленно жует поджаренные, еще теплые, тосты и ласково поглядывает на Юргиту — великолепный вечер: рядом с тобой твоя женщина, ты можешь протянуть через стол шершавую пятерню и погладить ее руку...

— Ты что-то хотел сказать, дорогой?

— Мне очень хорошо с тобой, Юргита. Очень.

Она благодарно улыбается и молчит.

Но через минуту-другую нерешительно говорит:

— Я должна была сказать тебе сразу, но не хотела портить настроение. Знаешь, вчера мне из Вильнюса вернули статью. И с довольно сердитой припиской. Оказывается, проблемы, которые я в ней поднимаю, не заслуживают никакого внимания.

— Этого следовало ожидать...

— Я о своем бывшем редакторе была лучшего мнения.

— Что я тебе говорил? Нечего зря надеяться.— Даниелюс почти доволен, что его пророчество сбылось.— В каждом из нас живут два существа: чинуша и человек — кто сильней, тот и перетягивает. Твой бывший редактор, видать, скорее чинуша. Уж в этом случае — точно.

— А ты? Ты разве поддержал мою статью?— хмурится Юргита.

— И я чинодрал,— неохотно соглашается Даниелюс.— Но пойми, есть вопросы, которые надо решать, руководствуясь здравым смыслом.

— Вы с моим редактором пара — оба в полном здравии,— ехидно замечает Юргита.— Но правы ли вы? Ведь кроме здравого смысла есть еще сердце. Умом и я понимаю, что могу со своей статьей наткнуться на стену. И даже шишку набить. Я ее уже и набила. Но мне очень хотелось тебе помочь и поэтому, не считаясь с последствиями...

— Прости. Я тебе в самом деле благодарен за то, что ты в своей статье указала на некоторые недостатки, которые тормозят строительство фабрики. Тем самым ты отчасти как бы оправдала меня и сняла определенную долю ответственности со всего нашего штаба.

— Что из того, если мои же благие намерения остались в моей же рукописи? Правда, столичный редактор и, может быть, кто-нибудь из его сотрудников познакомились с истинным положением дел. Но о том же самом ты уже не раз докладывал наверху. А результаты?

— Ну, улучшилось снабжение стройматериалами и еще кое-что.

— А рабочая сила? Прислали дополнительно, но разве на таких можно положиться? На перековку...

— Вот это ты и не должна была акцентировать в своей статье. Зачем идти против течения?

— Мне кажется, главное — создать такие условия, чтобы человек не попал в тюрьму. А ты что — веришь, что за решеткой можно перевоспитать того, кто вконец испорчен?

— Кое-кто там, конечно, исправляется.

— Не ты ли говорил, что тюрьма — это как бы курсы усовершенствования преступников, а не учреждение для их перевоспитания?

— М-дааа... Но это не значит, что человека можно списать вместе с приговором,— Даниелюс пытается отстоять свои начальственные бастионы.— Даже если из ста исправится один, все равно... Иногда стоит создать правило ради исключения...

«Иногда стоит...» Еще одна попытка отмежеваться от самого себя...

Она долго смотрит на Даниелюса, разочарованная, несчастная, и он, сообразив, в чем дело, начинает краснеть и бледнеть. Раньше Юргита так болезненно не относилась к его двойственности, заключавшейся в том, что одно его «я» не ограничивалось никакими казенными рамками, а другое — руководителя — порой вынужденно опровергалось тем, что первое «я» только что утверждало. Смириться с этим мирным сосуществованием двух «я» Юргита не могла, хотя и понимала, что такая двойственность неизбежна: личность, призванная выполнять высшую волю, должна подчиниться продиктованным этой волей принципам, которые, к сожалению, не всегда и не во всем совпадают с ее убеждениями. И чем человек сложнее, тем его первое «я» более оторвано от второго «я» — руководителя, исполнителя высшей воли, тем острее конфликт между ними. Даниелюс никогда не снизойдет до того, чтобы каждое слово, продиктованное сверху, принять как совершенство, ибо, признавая авторитеты, он отнюдь не гнет перед ними шею и не теряет своего достоинства. Вместе с тем — даже если придется покривить душой — он сделает все для того, чтобы оправдать их ошибки, потому что признание таковых унизило бы его самого. Правда, иногда, избавившись от этого своего второго «я», он как бы раскрывался полностью. Откровенно возмущался, сомневался, искал выхода из тупика. Беспомощный ребенок, растерявшийся на перепутьях жизни!

— Почему бы тебе всегда не быть таким? — говорит она, глубоко вздыхая.

— Каким?

— Настоящим. Отстаивающим только то, с чем ты сам согласен.

Даниелюс молчит. Пристыженный, огорченный, полный сомнений. Долго ли еще вилять, выкручиваться? «Ясно! Понятно! Хорошо! Очень хорошо!..» М-даа, Юргита права — зачем притворяться? Но и не лучше делать то, во что сам не веришь. Не веришь, а все-таки... Мол, такие указания, постановления, рекомендации... мол, состою... принадлежу... мой долг подчиниться... Дисциплина и тому подобное... Конечно, есть у тебя, Гиринис, и свое мнение, право высказаться «за» или «против». Но только до тех пор, пока оно совпадает с мнением коллектива, выражающего высшую волю. Может быть, у тебя отрицательное мнение, что же, отрицай, не соглашайся с принятым решением, пожалуйста, но свое мнение на свет божий не вытаскивай, храни его, как какую-нибудь древность, которую изредка снимают с запыленной полки, чтобы показать жене, близким и польстить своему самолюбию; мол, вы что думаете — я не понимаю... думаете, не вижу, как надо... Да, да, надо иначе... но увы... И уж совсем недолго превратиться в полное ничтожество, послушного исполнителя чужой воли, если менять свое мнение в любую минуту. Конечно же при наличии его... Так нет! Коли что делаю, говорю: так надо. Только так, а не иначе. И неважно, что порой стопроцентной уверенности нет, что сомневаюсь или вовсе не согласен. Спорю, опровергаю, предлагаю другое решение, до тех пор пока наконец не стану исполнителем. Когда же сделаю первый шаг — капитулирую и мнение большинства принимаю как свое. Нет, Юргита, я не лицемер! Я не раз выражал свое критическое мнение насчет памятника Жгутасу-Жентулису. Поначалу я категорически возражал: я против, таким памятники не ставят. Но когда там не согласились с моим мнением, когда доказали, убедили меня, что я руководствуюсь местническими взглядами в то время, как надо шире... по-государственному... Короче говоря, когда я вынужден был отказаться от своего мнения и принять чужое решение, я поднял знамя руководителя-исполнителя и ополчился против своего первого «я», против Унте и многих других. Жгутас-Жентулис все-таки взойдет на пьедестал напротив старого Дома культуры, там, где по плану талантливого выскочки Петренаса вырастет новое здание.

Представляю себе, как нелепо он будет выглядеть через несколько лет, когда оно будет построено... прижимающий гранату к груди, без шапки, с всклокоченными космами, в одной рубашке, бесстрашный, с героическим выражением лица, весь — презрение к неминучей гибели.

На открытии монумента мне, наверняка, придется сказать несколько слов. Я буду смотреть куда-то поверх бронзовой головы на пасмурное весеннее небо. Все время светило солнце, но в тот день, как назло, будет пасмурно... И на лицах людей будет скорее выражение любопытства и удивления, чем торжественности. Назавтра в районной газете напечатают снимок, опишут открытие памятника и приведут выдержки из моей речи. Каждый год сюда будут приходить пионеры с венками, слушать рассказы о легендарных подвигах земляка, потом они разойдутся, полные благородной решимости следовать его примеру. «А может, правы те, кто считает, что самоотверженный поступок искупает все,— взглядом спросит у меня Юргита.— Но каково им, землякам Жгутаса-Жентулиса, которые сегодня, придя домой, расскажут своим детям всю правду, покажут и оборотную сторону Луны? Не унижаем ли мы себя, утаивая от современников пусть и толику того, что было? Не могу больше! Не могу!» Я чувствую прикосновение рук Юргиты, чувствую, как дрожат ее ладони, как она хватает своей крохотной рукой мою пятерню, жмет ее и пальцы ее подрагивают, словно перед нами бездна, и Юргита отчаянно держится за меня, чтобы туда не провалиться. И вдруг меня осеняет: ведь я теряю ее! По частичке, понемногу, после каждого такого падения в бездну, хотя она, быть может, пока этого и не понимает. Не видит, как растет между нами стена, в которую тяжелым, непробиваемым камнем ложится каждое разочарование. Глаза Юргиты гаснут, руки отдаляются, на губах тает улыбка.

Даниелюс подпирает руками голову. Что за страшное видение! Оно наплывает всякий раз, когда между ним и Юргитой возникает леденящая пустота. Даниелюс пялится на экран телевизора и панически старается понять, что там показывают. Слышит тихие шаги Юргиты. Нет, это не она — это Алюте. Юргита сидит рядом, в кресле. Может, чуть дальше, чем обычно, но это действительно она, любимая и любящая. Пока! Еще любящая... Сидит, склонив набок голову, по-детски сложив белые руки на коленях. Белые-пребелые на темном фоне платья. Хрупкая, живая, с головы до пят весенняя. Недаром Аполинарас Малдейкис с нее глаз не сводит, а в позапрошлом году заманил в садо-

вый домик, хотя там и ничего... Но почему она об этом сразу не сказала? Почему?

Даниелюс весь напрягается, протягивает руку. Ее плечи... шелковистые волосы... нежная, теплая шея... Он наклоняется к ней, привлекает к себе. Она послушно приникает к нему; кресло скрипит, кажется, оно само движется по паркету. В комнате никого — ни экрана, ни Алюте, только они. Счастливые. Немножко грустные, но счастливые до самозабвения.

III

Утром Юргита просыпается с таким чувством, будто за окном дождь. Некоторое время она лежит, наслаждаясь теплом уютной постели. Даниелюс вроде бы уже встал. И Алюте хлопочет на кухне. Как хорошо, что и в редакции сегодня выходной!

Она зажмуривается, внимательно прислушивается к монотонному шелесту во дворе, и из тумана недавнего прошлого медленно высвечивается одно летнее утро, именно то летнее, а не другое, когда Даниелюс уехал в Вильнюс. Хотя, если хорошенько подумать, ничего особенного тогда и не случилось.

...Алюте кричала вдогонку: зонтик, родненькая, зонтик!

Юргита подняла воротник замшевого полупальто и побрела по размокшему тротуару. Она обожала солнечные дни, но сегодня от души радовалась мерзкой погоде,— грязные улицы почти пусты, и можно блуждать наедине со своими мыслями, забыв обо всем на свете. Если судить по календарю, то пора надевать шубу или, на худой конец, теплое пальто, тогда меньше было бы любопытных взглядов, но Юргита всегда делала так, как ей казалось удобней и лучше, а рутина всегда ее раздражала. Пусть судачат, что супруга первого без зонтика, одета не по сезону, в джинсах, засунутых в сапожки, которые в этом благопристойном райцентре подошли бы скорей какому-нибудь сорвиголове, чем женщине с солидным положением.

Юргита знала, что сплетни — удел не только Епушотаса (у жизни свои законы), однако все равно не любила этот провинциальный городок, который жители почему-то гордо величали городом; он остался для нее таким же непривлекательным, почти отталкивающим, как и в первые дни, когда она сюда перебралась на постоянное жительство. Рутина, пересуды, смешные притязания, интеллигенты,

похожие на вчерашних крестьян, одетых франтовато. Только любовь к Даниелюсу согревала ее, не давая закоченеть под этими чужими небесами.

Мимо прогрохотал грузовик. Юргите показалось, что водитель нарочно взял вправо, поближе к тротуару, чтобы обляпать ее жижей. Она остановилась, обернулась, вытерла лицо. Мокрый снег слепил глаза, сквозь белую завесу едва виднелись дома, маячившие на противоположной стороне улицы: вокруг них, как рыбы вокруг потонувшего корабля, сновали люди. Неподалеку от этих домов была автобусная станция — как бы еще одна жертва в снежном море. Счастлив тот, кто сейчас сядет в автобус и умчится из этого города утопленников, чтобы больше никогда сюда не возвращаться.

Вот тогда и случилось то, чего сама Юргита никак не могла себе объяснить. Опомнилась она только на полпути в аэропорт. В окне автобуса мелькали поля. Мокрый снег прекратился, но зарядил дождь. Юргита почему-то подумала, что в Вильнюсе сейчас наверняка солнце светит. И увидела широкую улыбку счастливого Даниелюса. Будет ему сюрприз! Однако вскоре радость ее поблекла: вдруг поняла, что если и полетит, то не из-за того, что соскучилась, а для того, чтобы бежать от какой-то преследующей ее тощищи. Да, да, это неожиданное бегство не ради Даниелюса, а ради себя самой. Сумеет ли она ему это объяснить? Нет. Потому что факты только констатируют, но ничего не объясняют.

Поэтому-то она и вернулась назад, не улетела...

Юргита пытается отделаться от настроения, навеянного воспоминаниями. Но сердце все сильнее захлестывает непонятная тоска и тревога.

— Зонтик не забудь,— напоминает она Даниелюсу, услышав его тихие шаги в спальне.

— Я тебя разбудил? Прости.

— Когда за окном дождь, я почему-то вспоминаю нашего Межелайтиса: «Здесь Литва. Здесь льют дожди литые...» — говорит Юргита, открывая глаза.

— Никакого дождя нет.— Даниелюс раздвигает шторы, и всю комнату заливает яркий свет утреннего солнца.

— И вправду...— Юргита удивлена и немного разочарована.— А мне показалось... Такой шум, словно вода с крыш...

— Это ветер.— Даниелюс улыбается, наклоняясь над кроватью.— Полежи еще, понежься, ведь сегодня у вас выходной.

Юргита молчит, вперив беспокойный взгляд в потолок. Лицо изменившееся, отрешенное — выражение, всегда настораживающее Даниелюса.

— Не льет... Странно...— наконец произносит она и снова закрывает глаза, словно боясь, что он прочтет ее мысли.— Я вспомнила одно дождливое утро. Со всеми подробностями. И так ярко, словно все было вчера.

— Наверное, то утро было давным-давно, когда мы еще с тобой жили врозь?

— Нет, то было прошлой зимой. И жили мы не врозь, а вместе, хотя в тот день ты и был далеко от дома.— Она снова молчит. Подбадривает себя, а может, ищет подходящие слова: скажешь — и все поймет.— С тобой никогда так не бывает: вдруг наваливается такое, чего и не объяснишь? Вдруг захочется сделать то, о чем минуту назад еще и не думал. Короче говоря, хочу в Вильнюс! Сегодня же. Соскучилась, как сказочная Эгле, по родному дому. Навещу родителей, схожу в театр, в филармонию... А через три-четыре дня я снова твоя...

— Через три-четыре дня...— бормочет Даниелюс.— Это же целая вечность! Ну ладно, поезжай, понимаю тебя. Оставь своего сказочного Жильвинаса...

Юргита быстро сбрасывает с себя одеяло — через два часа самолет, а до аэропорта изрядный кусок.

— Только не грусти, хороший мой,— частит она, обвив руками его шею.— Я уезжаю, но не покидаю тебя.

Под крылом самолета — муравейник крошечных домиков, изрезанный змеящимися фиордами улиц, по которым во все стороны снуют разноцветные жучки-автомобили; на солнце сверкают шпили костелов, все ближе и ближе извивы Нерис, опоясанные зеленью, с белым пароходиком на водной глади, с лодками и рассыпанными по берегам песчинками — людьми.

Здравствуй, родной город! Ты снова по-отечески протягиваешь мне свои руки, такой милый, такой близкий и удивительно уютный, что, кажется, ничего дурного не случится, возьми и упади я в твои радушно распростертые объятья. Мои ноги еще не коснулись земли, но я уже слышу твое горячее дыхание. Я чувствую, как бешено колотится твое сердце, и в его биении бурным эхом отдается знакомый мне мятежный зов. Я вдыхаю запах асфальта, смешанный с выхлопными газами, с медовым ароматом только что отцветших лип, вижу, как ветер гоняет облака пыли, вижу

зелень в твоих стилизованных парках и скверах, где стрекотало мое детство и куда я приходила со своими мечтами в годы девичества.

Людской поток подхватывает Юргиту и вносит в битком набитый автобус. Зажатая со всех сторон, она одной рукой держится за поручень. Удушливый запах тел, перебранка — кто-то кому-то наступил на ногу, кого-то толкнули локтем в лицо. Но Юргите хорошо, очень хорошо — знакомый ритм города захватывает ее, диктует свои правила; за окном автобуса бегущий кинематографической лентой уличный пейзаж; машины, вечно спешащие куда-то горожане, запрудившие тротуары... Да и в самом автобусе — давка, толчея, масса тел без устали качается, обновляясь на каждой остановке. И все до боли свое, и чертовски приятны эта бесконечная спешка, это бегство от кого-то куда-то, это безостановочное движение, от которого все дрожит.

А вот и дом, свидетель Юргитиной юности. Двор, в котором она никогда не играла, окна, в которые она глядела уже будучи взрослой девушкой,— гнездо детства в другом районе города, его снесли бульдозерами, и теперь там маячит многоэтажное крупнопанельное здание универмага. Может быть, завтра Юргита съездит туда и постоит, словно у какого-нибудь гигантского памятника погребенному детству.

Родители, конечно, счастливы, шутка сказать, дочка приехала на целых три дня. И Юргита счастлива, что доставила им эту радость. Однако уже на другой день она зашла в кассы аэрофлота и купила билет на самолет, вылетавший в тот же вечер. Что же это — всего сутки пробыла в Вильнюсе... Вчера посидела, поговорила с родителями... Дверь на балкон была открыта, с улицы доносился запах вьюнка, убаюкивающий шум города струился в комнату вместе с лунным сиянием, и Юргита как бы черпала это сияние пригоршнями, растянувшись на своем почти забытом девичьем ложе.

В самом деле, она вчера даже и не думала брать билет на сегодня. В другой комнате о чем-то шептались родители, советовались, наверное, чем бы порадовать дочку в эти дни гостевания, а она смотрела на свои руки, залитые лунным светом, и черпала его горстями. Полнолуние всегда было связано у нее с какой-то тревогой и укорачивало ее цветные сны. Перед глазами проносились какие-то картины — хаотичная мозаика прошлого: вчерашний день, юность, детство, школьные годы. Она мечтала стать художницей, но требовательность к себе порождала массу сомнений, не будет ли она посредственностью, а если даже ценой упорно-

го труда добьется чего-то, то стоит ли из-за него, из-за этого «чего-то» надевать на себя ярмо мнимого жреца искусства? Золотая медаль широко открыла ей двери в высшие учебные заведения, но и теперь она не могла бы с полной уверенностью сказать, в какие именно двери ей следовало войти, какую профессию выбрать. В самом деле, может, продолжить семейную традицию и поступить на медицинский? Но Юргита предпочитала подвижный образ жизни, ее привлекали поездки, путешествия, возможность общения с новыми людьми, и потому ее выбор пал на журналистику. К тому же ее не оставляла юношеская уверенность в том, что, исцеляя души, а не плоть, она сможет принести людям куда больше пользы. О святая простота! О юношеская наивность! Все, что тебе кажется простым, позже встанет перед тобой непробиваемой стеной. Еще не раз тебя до глубины души обидит отношение некоторых твоих коллег к своей профессии, равнодушие, злоупотребление властью в личных целях. Таких меньшинство, будешь себя утешать, но они глубоко внедрились, и тебе, от природы тяготеющей к добру и справедливости, будет бесконечно тяжко. Нет, журналистика — это не только веселые путешествия и приятное общение с людьми, это тяжкое бремя, особенно для женщины, если бремя это честно нести до конца.

...Утром Юргита встала в приподнятом настроении, позавтракала с родителями и отправилась в город. Весь день был расписан: визит в редакцию, после обеда встреча с подружками где-нибудь в кафе, получение в кассе театра билета на завтрашний спектакль (об этом она договорилась заранее). Однако к редактору решила не заходить, хотя, уезжая из Епушотаса, и собиралась; в самом деле, стоит ли требовать от человека, чтобы он один взялся решать такие проблемы, ключ к решению которых надо, пожалуй, искать на другом, более высоком уровне. Да, Даниелюс прав, относясь ко всему трезво. Действительно, зачем браться за неапробированные темы. Когда скажут — вперед, в новом направлении! — тогда и двинемся, а теперь давайте с песней по старым рельсам катить. Хохоча во весь рот, беззаботно славя светлое будущее. Вперед, через мусор и навоз, не видя этих завалов, вперед! В Гедвайняй, скажем, строят новый промышленный гигант. Тогда-то и тогда-то будет пущена первая очередь, столько-то и столько-то произведено продукции... Руководители сидят в президиуме и улыбаются, инженеры поддерживают, рабочие аплодируют тем и другим. Успешно выполним... перевыполним... Ура! Мо-

жет, есть какие-нибудь трудности? А где их не бывает? Но мы, дескать, руководствуясь указаниями... чувствуя ответственность... как патриоты... в знак благодарности... принимая на себя обязательства... борясь за светлое... Нет, не страшны нам никакие трудности. Не страшны!

Но, для того чтобы пустить первую очередь такого гиганта, одного энтузиазма мало. И если ее не пустят, неужто один Гиринис будет виноват?

Юргита знала: убедить шефа не удастся, однако приготовилась к прямому и откровенному разговору. Не столько как журналистка, не умеющая трезво оценивать события, сколько как любящая женщина, которая может совершить глупейший поступок ради самого близкого человека, чтобы только не сидеть сложа руки...

Редактор был в заграничной командировке, и Юргита обрадовалась, что не надо будет ни доказывать, ни опровергать. Она поднималась по широкой лестнице и была не в силах подавить странное чувство отчуждения, какое, вероятно, испытывают попавшие сюда новички. Вот ее рабочий кабинет, тысячу раз виденная картина, открывающаяся с балкона, знакомые лица... Ей и теперь было грустно, словно она что-то потеряла навеки. Ну что за необузданный эгоизм! Что за максимализм! — сердилась она на себя. Во что бы то ни стало заполучить то, что в ту пору казалось самым дорогим, и не пожертвовать взамен ни крохи из того, чем до сих пор обладала!

Она с насмешкой подумала: какая тут может быть жертва, когда получаешь больше, чем теряешь, и с облегчением вздохнула. Никогда она так неприкаянно не чувствовала себя в редакции, как сейчас. Какая-то чужая, как будто приблудная. А ведь и полугода не прошло, как была здесь в последний раз. Нет, так быстро время не может замести следы.

Коллеги Юргиты тащили ее к себе, угощали кофе, рассказывали пикантные истории, столичные новости, спрашивали, как дышится на вольном деревенском воздухе. Перед тем к ней в коридоре прицепился Бушма из сельхозотдела, подскочил, обдал легким запахом «чернил» и давай рассказывать новый анекдот, суть которого Юргита так и не уловила, хотя сам рассказчик помирал со смеху. К ним присоединился выскользнувший из своего кабинета приятель Бушмы Гурбус, как всегда спешивший в секретариат; и он был весь начинен слухами и сплетнями. Гурбус тут же поведал ей, как однажды на весьма высоких торжествах в районе он увидел такую картину: все жены начальников

были одеты в одинаковые импортные платья, хотя каждая из них, приобретая свой наряд прямо на базе, не сомневалась, что только у нее будет столь редкая и шикарная обнова. Гурбус конечно же не подумал, что этим пошленьким рассказом может обидеть Юргиту: если раньше, до замужества, она бы весело посмеялась вместе с ним, то сейчас принялась защищать жен начальников.

— Я все чаще убеждаюсь в том, что провинция — это не географическое понятие. Провинциальным может быть любой человек, где бы он ни жил,— сказала Юргита своей бывшей сослуживице Инезе, когда они обе зашли в кафе не только за тем, чтобы выпить кофе, но и чтобы вспомнить старые времена.

Инеза стояла на своем: район остается районом, независимая женщина может раскрыться только в большом городе, потому что здесь лучше условия для развития интеллекта и короче дистанция от быта до бытия. Пока она выпила свою чашечку кофе, Юргита должна была выслушать целую лекцию об эмансипации «слабого» пола, о залоге женского счастья, увы, пока что недоступного нам, потому что движемся мы к нему черепашьими шагами; а виноваты сами — нет у нас, мол, достоинства ни на грош, потому-то мы, женщины, в кабале у своих двуногих трутней...

Инеза как была, так и осталась верна своему старому боевому знамени: за гегемонию женщин против мужчин которые, как и все самцы в природе, ничтожнее, чем женский род, стоят на более низкой ступени умственного развития (не говоря уже о мире чувств!) и никоим образом не заслуживают того места в обществе, какое сами себе отвели. Она вся пламенела от обиды, защищая свои идеи, которые никто и не собирался громить. Но когда Юргита, которой затянувшийся монолог подруги надоел, попросила передать привет ее мужу, Инеза вдруг зарыдала в голос. Развелась. Взгляды на жизнь не совпали... Как и с первым.

Юргита попрощалась, подумав про себя, что Инеза охотно отдала бы все завоеванные у мужчин свободы за одно ласковое прикосновение любимого.

Нет, нет, не дай бог быть на ее месте! И свобода у нее мнимая, и к тому же нелюбима. А главное — сама никого не любит. Юргита вспомнила свой вчерашний разговор по телефону с домом. Казалось, говорила не по простому, а по видеотелефону и видела обоих — большого и малого, и на сердце было тепло-тепло, словно Лютауараса она обнимала, а сама прижималась к Даниелюсу. Есть ли на свете лучшее

убежище от всех невзгод, чем твоя семья! Она шла по улице, не оглядываясь, мимо проходили люди, проплывали дома, витрины магазинов, но Юргита ничего не видела, как бы ослепленная тихой радостью.

Потому, наверно, когда она наткнулась на кассы аэрофлота, остановилась и решила, что лучше всего купить билет заранее. На вопрос же кассирши — вам на сегодня? — Юргита, сама того не почувствовав, кивнула.

И вот она улетает, оставив пригорюнившихся родителей, не побывав на спектакле, не побродив по улочкам Старого города, не забежав и на минутку к брату Даниелюса Повиласу. Домой! Скорей домой!

...Звездная летняя ночь сгустилась под крылом идущего на посадку самолета. Мелькнула луна и тут же скрылась, словно мяч, который сильным ударом послали на другую половину поля. Вдали, на горизонте, замерцала цепочка огней. Епушотас! Как хорошо, что среди этих огней есть и твой — стосковавшийся, ждущий...

Юргита быстро сбегает по трапу и бросается к неказистому зданию аэропорта, подбегает к телефону-автомату, почувствовав тревогу. Переминается с ноги на ногу, не может дождаться, пока удобно устроившийся в будке парень кончит любезничать со своей подружкой. Все! Слава богу!

Дрожа от нетерпения, Юргита хватает трубку. Алюте. Сразу же после первого звонка. Словно сидела у аппарата и ждала.

— Дорогуша, родненькая! — выдыхает она в трубку, сразу и не сообразив, что хозяйка звонит из Епушотаса, а не из Вильнюса. — Как хорошо! Господи, господи...

— Что случилось? — кричит Юргита, и губы ее сковывает волнение. — Говори яснее. Что случилось?

— Товарища секретаря... хозяина... — хрипит Алюте, проглатывая слова, и в трубке слышно, как она захлебывается слезами.

IV

Что это с ним?

Растерянный и испуганный, он смотрит на черную стену мрака. Чья-то рука-невидимка режет ее ножом, словно толстый ватный занавес, и в проступающем проеме открывается белый, подернутый туманом луч с белыми, копошащимися на нем существами... «Больница... Я в больни-

це...» — наконец понимает он. И этой единственной вспышки мысли достаточно, чтобы сознание прояснилось и, утомленное первым впечатлением, снова затуманилось и погрузило его в небытие. Потом, как бы сквозь сон, он улавливает чьи-то голоса, но не уверен, не бредит ли. Один голос ему очень хорошо знаком, но чей он? Тут же его заглушает другой, скорее всего — доктора («Нельзя, товарищ Гиринене. Еще нельзя...»). А... теперь все ясно: Юргита! Ватный занавес опускается, отделяя его от белой мглы с такими же белыми существами. И когда наконец они снова появляются — на этот раз уже не во мгле, а на светлом фоне палатной стены, выпуклые, яркие, осязаемые,— он страдальчески зажмуривается, как бы ослепленный солнцем. Неужто и вправду жив?.. Жив! Даниелюс чувствует, как кто-то притрагивается к его щеке прохладной ладонью, как чей-то приглушенный добрый голос настойчиво расспрашивает о самочувствии. Он отвечает, не открывая глаз. Скорей бы они убрались из палаты: во всем теле страшная усталость, хочется провалиться в вязкую тьму и спать, спать...

— Оставьте меня в покое...

Они вполголоса обмениваются какими-то фразами — двое мужчин и одна женщина — и выходят из палаты.

— Дела идут на поправку,— бросает один из них на ходу,— еще несколько дней, и вы будете на ногах.

«Знаю. Эти слова вы повторяете каждому, пока тот не сыграет в ящик — — — Ну, чего я, в самом деле, злюсь на тех, кому должен в ноги поклониться?»

Даниелюс лежит пристыженный, ругает себя, неблагодарного, и никак не может отделаться от странного чувства отчуждения. На стене напротив кровати — зеркало. Он видит его верхнюю часть. Приподняться бы на локтях и посмотреться бы в него — неужто это и вправду я? Но он только чуть приподнимается и тут же падает на подушку, аж в глазах темно. Нет, нечего и пытаться. Но это не очень его огорчает, он ощупывает себя насколько может,— бока, забинтованную голову,— пробует пошевелить ногами. В порядке. Только правая ниже колена вся горит, тяжелая, словно горячими камнями обложена. Неужто перелом? Касается ее пальцами здоровой ноги. Да, гипс...

Даниелюс чуть не плачет от досады. Теперь сомненья нет — несчастье! Угодил, как слепой в колодец. Он силится вспомнить, как все произошло, но в сознании мелькают какие-то отдельные картины, расплывчатые, неяркие, разрозненные, хоть убей, не выстраиваются они в одну цепь,

по которой можно бы восстановить все, что случилось. Андрюс Стропус куда-то бежит, кричит как сумасшедший. Истерически вопит какая-то женщина. Чьи-то по-волчьи оскаленные зубы, глаза. Глаза вроде бы людей, но в них звериная ярость, не от голода, а от ненависти к таким же, как они, людям. За глотку — и кончено! Тебя позорно сбили с ног, с грязью смешали твое человеческое достоинство, тебе долго зализывать свои телесные и душевные раны, а они по отбытии срока вернутся домой и примутся за то же самое. А все потому, что мы гуманисты, потому, что благородные, верим в торжество добра, потому, что совесть не позволяет нам раздавить клопа сразу, без размышления, мы непременно должны подержать его взаперти, пока не оголодает, а потом отпустить, чтобы вдоволь напился крови, и только тогда его, разбухшего, снова упечь за решетку!

— Таких расстрелять мало,— слышится чей-то голос из толпы.— Привязать бы к столбу на площади, как в старину, и жилу за жилой, пока не подохнет...

— Истинная правда,— отзывается Пирсдягис и, наверное, в десятый раз принимается со всеми подробностями рассказывать, как зашел утром к Гайлюсу и нашел их обоих, несчастных, мертвыми.

Даниелюс пытается отделаться от этой страшной картины, беспомощно цепляясь взглядом за белые стены палаты, но никак не может уцепиться и, как ни старается отвлечься, все равно возвращается к тому, что случилось. «Ведь немного нужно было, чтобы и со мной то же самое... Чтобы та же рука... да, та же... Только, может, под другим именем — Разорителя, Опустошителя, Зверя...» Юозас Гайлюс смотрит на ту руку остекленевшим от ужаса взглядом. На ноги свален шкаф — дверцы болтаются, все перерыто. Стулья и лавки опрокинуты, постели обшарены, даже половица в самом углу оторвана. Гайлюнене лежит в ночной сорочке поперек кровати, обхватив грудь руками. Никаких следов насилия: просто сердце разорвалось от страха. А у Юозаса Гайлюса горло перерезано каким-то острым предметом — то ли ножом, то ли бритвой — точно так, как Альбертас Гайлюс и обещал сделать...

Полдень, убитых уже нет — увезли в Епушотас для вскрытия, но Пирсдягис мастер рассказывать.

— Деньги, сволочь, искал,— возмущенно перебивает его кто-то.

— На автомобиль. Из-за какой-то железной коробки родного отца...

— Такие уж времена: хватают друг друга за горло, как оголодавшие волки...

Появляется Альбертас, конвоируемый двумя мужиками. Под глазом синяк, рубаха из штанов вылезла, разорвана на плече, белое тело виднеется.

— У доярок его застукали,— хором начинают они.— В коровнике. С Микалените! Укокошил родителей — и на девку, бугай... Милиция уже объявилась?

Ясное дело, объявилась. Правда, на часок в Епушотас отлучалась — трупы отвозила,— но сейчас опять по двору рыскает. Только и знают — ходить вокруг усадьбы, вынюхивать, а преступника пусть народ сам ловит.

— Надо было его раньше приволочь, пока родители, бездыханные, лежали,— раздается недовольный женский голос.

— Ведите его в избу. Кровь-то там еще не высохла. Увидит и, может, у самого из носу хлынет.

— Хлынет, даже у такого. Невинно пролитая кровь отмщения требует, убийцу на чистую воду выводит...

— В избу его! В избу!

Вталкивают Альбертаса на порог, потом в сени, потом в избу, где все разворошено, сдвинуто,— как было утром, так и осталось. Толпа входит за убийцей следом, гудит, что-то выкрикивает.

— На колени, гадюка!

Альбертас, белый как мел, смотрит на лужу крови под ногами, кусает посиневшие губы, и его руки, связанные за спиной, судорожно дрожат. Серое лицо искривлено гримасой, кажется, Гайлюс-младший вот-вот нахально улыбнется, но нет, затряс подбородком, заморгал глазами, и на ресницах слезы повисли.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, совесть у него заговорила!

— Артист!

— На колени, кому сказано, отцеубийца!— наперебой, все более ожесточаясь, выкрикивают в толпе.

Альбертас как будто только сейчас соображает, что случилось.

— Да вы что, рехнулись?! Как же это я сам, своими руками, родителей!.. Идиоты!..— кричит он, пытаясь вывернуться из рук конвоиров.

— Ишь какой! Еще и ругается...

— Вытер окровавленные руки о девкин подол и думает, все поверят...

— В зубы ему!

И кто-то послушался, съездил. Теперь и впрямь из носа красная струйка потекла.

— Ладно, Пирсдягис, я тебе этого не прощу. Припомню!

— Вот тебе есце! Вдобавок!— и Пирсдягис, подпрыгнув, как петушок, плюет Альбертасу в лицо.— Нам, дягимайцам, этого только не хватало — собственного отцеубийцы. Пулю в лоб — и все! Вот так,— добавляет он по-русски.

— Граждане, соблюдайте порядок и спокойствие!— пытаются утихомирить толпу милиционеры, протискиваясь сквозь ее заслон.— Что это за самосуд? Для этого есть закон. Гражданин Альбертас Гайлюс, вы арестованы по подозрению... А вы, гражданин Пирс... Пирс... Пирс...

— ...Пирштдягис...

— А вам, гражданин Пирштдягис, положено десять суток за хулиганство.

Все трое, растолкав толпу, выходят во двор: первым — милиционер, за ним — Альбертас, за Альбертасом — второй милиционер. Вытягивая шею, Гайлюс-младший оглядывается, словно нож ищет, чтобы перерезать петлю, которую люди вот-вот накинут ему на шею. Нашел!

— Секретарь! Товарищ Гиринис! — кричит он.— Неужели вы верите, что я родного отца?

Растерянный Даниелюс делает знак милиционерам: ведите, мол, ведите...

— Погодите, я хочу знать: неужто и вы?..— вырывается Альбертас.

— Успокойся,— раздраженно бросает Даниелюс.— Суд выяснит что к чему... Выяснит... Правду рано или поздно установят.

— Правду?! — орет Альбертас, подталкиваемый милиционерами.— Один два года правды в тюрьме ждал. Кто вернет мне время, погубленное до суда, кто рассчитается со мной за поруганную честь?

— Честь?! Ха, ха, ха! — прокатывается по двору дружный хохот.— А она у тебя когда-нибудь была?

— О чести надо было раньше думать,— доносится голос Ляонаса Бутгинаса.— Пока родители были живы. Пока ты их поносил, честил. Пока собственные делишки были для тебя дороже, чем жизнь отца и матери. Но чего от тебя хотеть, ведь ты плачешь не оттого, что они в морге, не оттого, что остался сиротой и никогда их больше не увидишь, а за свою шкуру... боишься.

— Будет он по ним плакать, если сам их зарезал...

— Паразит!

— Ублюдок! — тяжелыми камнями летят со всех сторон сердитые слова.

— А я не верю, что он их порешил...

Даниелюс оборачивается на голос: Робертас Марма. В одной рубахе, без шапки, наклонивший продолговатый лоснящийся череп. Гиринис не узнал бы банщика, если бы кто-то не окликнул его по имени,— до того он иссох, постарел, подурнел: глаза опухли, нос заострился, уши еще больше оттопырились. В глазах столько злости, насмешки и презрения, что смотреть противно.

— Так и вы, сударь, так сказать, на резню пожаловали? — приветственно кивает он.— Право слово, комедия!

Даниелюс, не сказав ничего, поворачивается и уходит.

Робертас Марма плетется сзади, говорит что-то, но Даниелюс и ухом не ведет.

Так они оба выходят на улицу: один — пытаясь во что бы то ни стало завязать разговор, другой — упорно отмалчиваясь. Тут Даниелюса должен ждать Люткус с машиной, но пока его что-то нет: наверное, в деревне задержался дольше, чем рассчитывал.

— Интересно, чья очередь теперь? — говорит Марма, ни на шаг не отставая от Даниелюса.— Подумать только — двое богу душу одновременно отдали! Ну и ну, парами резать стали! Кто знает, может, послезавтра и Марма сложит на груди руки. Такие времена... Плывет к нам всякая дрянь, ни ей границы, ни ей кордона, иголку в стогу сена легче сыскать, чем в таких просторах преступника. Нагрянет в баню темной ночкой какой-нибудь бандюга, и прощай, Марма. А потом придет время Пирсдягиса с Сартокасом. Аминь, нет больше «новых римлян». Стропус по этому случаю должен бы пир на весь мир закатить: ведь мы ему столько крови попортили...

— Кажется, ты когда-то учителем был,— не выдерживает Даниелюс.— Обмельчал, здорово обмельчал, Марма, тебя от простой деревенской сплетницы не отличишь.

— Чего от банщика хотеть, секретарь? Недаром в народе говорят: с кем поведешься, от того и наберешься. Такова уж, видно, судьба. И не только моя. Если мы бы выиграли, мы бы людьми остались, а вы бы нам баню топили, полки для нас мыли, а теперь...— Марма многозначительно кивает головой, на миг как бы втянув жало, но потом снова рубит сплеча: — Сами же сунули человека под жернова, раздавили, превратили в ноль и удивляетесь, что он такой.

— Кто был человеком, тот человеком и остался,— повторяет Даниелюс, уже жалея, что вступил в спор,— тот нашел в себе силы выбраться из грязи, если там по ошибке увяз, выпрямиться. Тот винит не других, а себя и старается честным трудом искупить свою вину.

— Вы полагаете, поражение — это преступление? Это трагедия! Ваш железный кулак сбил меня с ног и повалил наземь. Я погиб, я уничтожен, больше не воскресну, разве что в день Страшного суда. Почему же я еще должен раскаиваться всю жизнь? Бить себя в грудь, просить прощения, ругательски ругать себя? Нет, я не кающаяся овечка! Бандик, ничтожество, но не кающаяся овечка!

— Стало быть, каким тридцать лет назад был слепцом, таким и остался. Очень жаль, что за столько лет ничему у жизни не научился.— Даниелюс с жалостью оглядывает Марму с ног до головы и тут же добавляет: — Не понимаю, что ты ко мне присосался. Если дело есть, выкладывай, зачем вокруг да около? А еще лучше — приходи в райком, двери моего кабинета открыты для всех. Поговорим и все, что надо, выясним. А сегодня я очень занят, Марма. Очень!

— Занят? Знаю, что занят. Все мы чем-нибудь заняты. Один своими радостями, другой горестями, третий всем понемножку. Кто рожден, чтобы карманы обчищать, кто — чтобы их набивать деньгами. А если я присосался, как вы образно и весьма метко изволили выразиться, то только потому, что тоже занят.

Марма смотрит поверх плеча Даниелюса на околицу деревни, щурится, хотя солнце светит не в глаза, а в затылок. Мимо проходит селянин, другой, поднимают шапку, здороваются с секретарем. Тот в ответ кивает головой. И Марма кивает своей плешью, лицо у него такое, будто они с Гиринисом только что встали из-за пиршественного стола. Даниелюсу, понятно, такая фамильярность не по нраву, но Робертас Марма, тот просто тает от удовольствия.

— Вернее говоря, был занят. Чертовски занят! Решал гамлетовский вопрос. Теперь все нити в моих руках, и я могу ознакомить вас с результатами решения.

— Не обязательно,— нетерпеливо бросает Даниелюс, с надеждой поглядывая на дорогу, но Люткуса не видать.

— Обязательно, очень даже обязательно! — частит Марма, впившись в Даниелюса цепким, горячечным взглядом.— Начнем с того, что я из-за вас — из-за таких, как

вы,— должен был уйти в лес, с чего все и заварилось. Потому что, если бы не лес, не познакомился бы я с одной женщиной, не полюбил бы ее и не прижил бы с ней дочь, а потом, проданный своей супругой, не попал бы в заключение. Вы, конечно, скажете: лес — это все равно плохо. Причем, мол, здесь женщина? Конечно, лес — это не мамин пирог, скорее всего, я бы там погиб, может, сейчас никто бы и не знал, где моя могила, и все-таки, будь моя воля, я предпочел бы смерть, чем такую жизнь. Но разве выбор зависел от меня? Недавно эта женщина приехала в Дягимай к своей младшей дочери, прижитой с другим мужчиной. Я-то думал, ее давно в живых нет, а оказалось... Когда все выяснилось, меня как будто громом ударило. Три дня я бился головой о стенку, боясь кому-нибудь показаться. Подумать только: когда-то я был близок с матерью, а теперь ласкал ее дочь! Не хватало еще, чтобы у этой ее дочери в жилах моя кровь текла. Господи боже, смилуйся надо мной! Но все-таки я не могу вышибить из головы, что она, эта ее дочь,— моя плоть. Знаю, нашей с нею дочери теперь должно быть тридцать лет, а Живиле только двадцать четыре, и все-таки дрожмя дрожит у меня сердце, словно я стою на краю пропасти и смотрю вниз. Так вот как иногда бывает: любишь женщину, она тебе судьбой дарована, сосватана, и надо ведь — та же судьба отрывает ее от тебя, не успевшего испить любовь до дна, а потом подсовывает тебе ее дочь. Странно, не правда ли, секретарь? Словно эта не испитая до дна любовь какая-то болезнь, от которой не излечила тебя мать, поэтому теперь за нее должна это сделать ее дочь. Но кто я для ее дочери? Только смешной и жалкий старик, которым играли и бросили. А с ее матерью я мог бы спокойно прожить остаток жизни. Тем более что и судьбе было так угодно: ведь после стольких лет та моя женщина нашла дорогу в Дягимай! Кроме того, и любовь, пусть малая толика, в душе осталась. Пусть не любовь, а только общие воспоминания юности. Но и они, эти воспоминания, могут связать мужчину и женщину, когда они оба одиноки и когда никаких других связей между ними и в помине нет. Теперь же все кончено — между нами встала дочь. Мой смертный грех, мое проклятие. Спутала, смешала жизнь. Но и это, чует мое сердце, еще не все. Кто-то где-то роет мне новую яму и разжигает там угли... Как только шагну через порог, так прямо головой туда... Да, я обречен! А кто в этом виноват, если не вы, господин Гиринис? Если не такие, как вы? Ведь это вы перевернули мир вверх тормашками, превратили его для ближних своих в кладбище, на кото-

ром уцелевшие в живых до сих пор оплакивают мертвецов!

— Не тех ли, которых вырезали вы по ночам, когда приходили из лесу? — отвечает Даниелюс, когда Марма замолкает.

— Положим, и тех. А вы что, сидели сложа руки? И потом, я лично ни одного не убил. Разве что в бою, не видя в лицо. А это уже другое дело.

И Марма снова замолкает — он, кажется, выдохся. Слышно, как он шмыгает носом, зло сопит, покрякивает за спиной Даниелюса. Теплый южный ветерок поднимает с обочины облако пыли и засыпает ею глаза. Резким запахом отдает раскаленный на солнце асфальт, заглушая аромат отцветающего жасмина.

— Все? — спрашивает Даниелюс.— Кончил?

— Куда уж там все? — отчаянно машет рукой тот.— Но главное я сказал: на совести таких, как вы, не одна разбитая жизнь. И мне хочется, чтобы вы помнили о них, когда благословляете с трибуны своих счастливчиков.

Даниелюс с горькой усмешкой и жалостью долго смотрит на Марму. И тот смотрит на Даниелюса. Напрягшийся, с горящими, залитыми ненавистью глазами, столько ее накопилось за десятилетия, что, кажется, хватит ее для того, чтобы взорвать весь мир. Наконец человек предстал в своем подлинном обличии. Прятал, таил в сердце — и раскрылся!

С минуту длится противоборство взглядов — унижающее сострадание победителя и ярая ненависть потерпевшего поражение. Марма бледнеет, лицо его становится еще более серым, словно его покрыло дорожной пылью: сперва сереют губы, потом набрякшие мешки под глазами, потом впалые щеки. Еще миг, и он бог весть что натворит, не выдержав нервного напряжения. Но Марма только сплевывает и отворачивается. Проходит шагов десять, резко оборачивается, словно надеется услышать от Даниелюса что-то важное, а может, желая что-то сказать, стоит обмякший, растерянный, удивленный.

— Жалко, Марма, что ты за тридцать лет не образумился. Может, в этом и наша вина — уж слишком мягкосердечными были...

— Как же, как же — вы гуманисты. Хи, хи, хи! Право слово, комедия.— Марма разевает рот до ушей и, хихикая, уходит.

«Это все, что ему осталось...»

Даниелюс глядит банщику вслед («Да, мы гуманны,

порой даже чересчур гуманны, и эта гуманность нередко оборачивается против нас самих...»). Но Мармы нет — улетучился, как призрак, рассыпался, ударившись о белизну стены. Белые двери там. Какая-то белая женщина возле дверей. Промелькнула и растаяла, как только что призрак Мармы. «Неужто мне снится? Но с Мармой я действительно встречался. И этот парень, которого подозревают в убийстве отца, умолял, чтобы я заступился за него. И запах асфальта, смешанный с отцветающим жасмином. И лужа крови рядом с опрокинутым шкафом, и мухи, жужжащие над ней... Ведь все это было? Было! В тот же день, когда и меня пырнули, когда попотчевали горькими, так сказать, плодами со сладкого древа нашего гуманизма.

— — — Кажется, я снова заснул...»

Скрипят отворяемые двери.

«Снова они! Со своими лекарствами, уколами...»

Даниелюс зажмуривается, притворяется спящим.

«К вам гостья...»

Гостья? Но в палате совершенно пусто; это эхо вчерашнего дня — и этот скрип дверей, и эти слова.

...Из оцепенения, сковавшего все существо, его вывел голос сестры, он открыл глаза и увидел у кровати фигурку съежившейся женщины. Но почувствовал ее присутствие раньше, еще до того, как она вошла в палату, до того, как он услышал ее шаги, ее дыхание, до того, как учуял запах ее любимых духов. «Вот как! — мелькнула мысль, но он подумал, что это сон.— Видать, все любящие одарены таким чутьем». Даниелюс громко произнес ее имя и испугался — таким чужим, неживым показалось ему слетевшее с обметанных лихорадкой губ слово.

Юргита опустилась на колени рядом с кроватью. Она смеялась и плакала, уткнувшись ему в грудь, а он дрожащими пальцами гладил ее шелковые черные волосы и бормотал что-то бессвязное и невнятное. Даниелюс ужаснулся при мысли, какой малости не хватило, чтобы он на веки вечные потерял радость видеть ее.

— Я тебя утомила, дорогой,— спохватилась она, заметив у него испарину.— Доктор сказал: не больше десяти минут.

— Ты... давно в Вильнюсе?

— Приехала вместе с тобой на районной «скорой». Но пустили меня к тебе только сегодня. Врачи говорят — главное для тебя покой. Покой, покой, покой...

— Ты... в гостинице?

— Нет, у родителей.

— А... это хорошо,— Даниелюс вздохнул с облегчением.

Юргита снисходительно улыбнулась, поняв причину его беспокойства, и, наклонившись к нему, обеими руками стала гладить его и целовать в щеки, в лоб, в пересохшие губы.

— Не горюй, мой милый, я с тобой. Я ухожу, но с тобой, здесь, в этой палате, мои мысли... мои чувства... Когда проснешься среди ночи, знай, и я не сплю, думаю о тебе.

Даниелюс. Как хорошо, Юргита, что ты снова пришла! Я почти всю ночь не спал, в голову лезли какие-то жуткие мысли. Врачи успокаивают: никаких, дескать, последствий не останется, бывают травмы и потяжелее, а люди все-таки живут и работают. Но врачи для того и существуют, чтобы успокаивать.

Юргита. Что случилось, дорогой? Зачем волноваться? Ты что, хочешь выздороветь за день?

Даниелюс. Что случилось? Представь себе, муж узнает, что жена сутки напролет просидела у дверей его палаты, когда он был без сознания, потом раз десять звонила по телефону врачам, справляясь о его здоровье, и наконец в одну прекрасную среду или пятницу он видит ее у своей кровати. Что для него в эту минуту самое важное? Должно быть, ее переживания, хлопоты, бессонные ночи, во время которых она из-за него глаза выплакала? А я? Я ничего, ничегошеньки не вспомнил... Палатный врач сказал: «У вас прекрасная жена». Все то, что я услышал о тебе, подействовало на меня не хуже, чем лекарства. А ведь поначалу было так: все словно в пропасть провалилось, сгинуло, исчезло... Стоило тебе выйти за дверь, и я снова оказался в бездне...

Юргита. Успокойся. Ты всегда был слишком чувствительным, а теперь, когда... Врачи и вправду гарантируют полное выздоровление. Посмотри мне в глаза и убедишься, правду говорю или вру. Ну, посмотри, посмотри!

Даниелюс. Наклонись. Ближе, ближе... Еще ближе! Дай почувствовать твою правду губами. Вот так. Ох, какая она соленая и горячая! Бедняжка моя, бедняжка, сколько ты из-за меня натерпелась!

Юргита. Завтра после обеда тебя обещал навестить Повилас.

Даниелюс. Скажи ему, что мне будет очень приятно. Сегодня перед обедом у меня тоже был гость — товарищ Клигас. Помнишь, я когда-то не раз рассказывал тебе

о Вадиме Фомиче. Оказывается, они с Клигасом были друзьями.

Юргита. Были?

Даниелюс. Да. Вадима Фомича больше нет в живых. А я на него обижался, что не отвечает на мои письма, думал, может, он перебрался куда-нибудь в другое место — широка наша страна, а выходит, умер. Вспоминаю позапрошлую зиму, когда я был в Вильнюсе и на улице увидел человека, которого принял за Вадима Фомича...

Юргита. Ты, видно, тогда о нем думал...

Даниелюс. Да, думал. Но почему именно в тот день, в тот час и минуту? Товарищ Клигас ездил на похороны. Вадим Фомич умер позапрошлой зимой, в тот самый день, когда я гнался за чужим человеком, уверенный, что это Вадим Фомич... Странно, не правда ли? Какое-то мистическое совпадение.

Юргита. Ты устал, дорогой. Пока не поправишься, постарайся как можно меньше думать. Голова часто болит?

Даниелюс. Вот видишь, и тебе кажется, что у меня размягчение мозгов...

Юргита. Даниелюс!

Даниелюс. Ах, прости, я стал таким раздражительным. Столько дел, а я в больнице! Голова разламывается, когда подумаешь, что первую очередь мы собирались через несколько месяцев пустить... Кроме того, осень наступает на пятки, уборка урожая...

Юргита. До осени ты уже будешь прыгать, как ягненок.

Даниелюс. Ты так считаешь?

Юргита. Не сомневаюсь. Между прочим, Стропус от кого-то узнал, что я у родителей, и позвонил. Справлялся о твоем здоровье. Хочет нагрянуть к тебе, но не осмеливается.

Даниелюс. Пусть не боится — он хороший председатель. Конечно, было бы идеально, если бы я мог добавить: и человек. Но увы... Пока что в наше время нередко бывает так: на первом месте производственник, а уж потом человек. Да, человек — — — человек — — — Погоди, я начинаю вспоминать — — — все по порядку. Все! До самого этого проклятого мгновения — — — как на экране — наплывом — картина за картиной. Утро. Садимся оба в автомобиль. Возле аэропорта вылезаем. Звоню начальнику гедвайняйского строительства: «К обеду буду у вас...»

V

В Гедвайняй Даниелюс уехал очень расстроенный, хотя губы еще чувствовали теплый поцелуй Юргиты. Он никак не мог отделаться от назойливой мысли (а в последнее время она все чаще приходила ему в голову), что почему-то медленно и верно теряет Юргиту — свое счастье, дар судьбы, без которого жизнь не жизнь, а только повинность.

Свернул в Дягимай, хотя до Гедвайняй мог добраться и другой дорогой, но должен был отвезти лекарства отцу, который хворал все чаще и чаще. Здесь Даниелюс и узнал о трагедии, потрясшей всю округу, об убийстве стариков Гайлюсов. Где в ту ночь были их дети? Дочь — давно в Вильнюсе, младшенький спал на сеновале, а Альбертаса не было дома. Мало кто сомневался, что виновник он: уж очень он при жизни поносил отца, угрожал, болтал всякое. Даже Андрюс Стропус, сдержанный, неторопливый в своих решениях, считал, что нечего искать преступника на стороне, преступник — из того же дома. Старик Йонас Гиринис мотал головой, пожимал плечами, не зная, что и подумать, но, хоть убей, не мог представить себе, что сын может поднять руку на тех, кто дал ему жизнь. Унте приструнил отца: не знаете Альбертаса! Однако, когда немного поостыл, изменил свое мнение, почти соглашаясь с Робертасом Мармой, который «тоже порядочная дрянь, плюет на каждого прохожего, но на сей раз, может быть, и прав: уж слишком много всякой дряни проплывает мимо...».

Усадьбу Гайлюсов Даниелюс покинул еще более подавленный. Перед глазами стояли перевернутая вверх дном изба, кровавая лужа на полу, Альбертас со связанными руками, в ушах звучали его вопли и злопыхательские заявления Мармы. Даниелюс хотел было поехать прямо на стройку фабрики,— чего, мол, второй раз к отцу заворачивать, ведь лекарства он отдал,— но вдруг решил хотя бы на минутку остаться наедине с собой, побродить по родной усадьбе, по тропкам, исхоженным в детстве, пожить воспоминаниями тех дней, которые как живительная родниковая вода смыли бы с души муть и горечь.

Дом был пуст — все домочадцы отправились на работу в колхоз. Отец — сильно сдавший, с еще более благородными чертами лица, чем раньше,— хлопотал у частокола, латая дыры. Вокруг него вертелись малыши сестры Бируте, которых она оставляла на попечение отца, пока не управится на ферме. Даниелюс присоединился к ним, надеясь хоть немного рассеяться, но на сердце стало еще тяжелей.

Он подавленно посматривал на стрекочущих детей, весело кружившихся, как ласточки, и пытался представить себе, какими они будут лет через двадцать, двадцать пять. Тогда они будут взрослыми мужчинами и женщинами, и дед их, придавленный тяжелым надгробьем, будет лежать на кладбище, а дыры в частоколе придется латать Унте... Смена поколений, ничего не поделаешь. Вечный процесс перевоплощения человечества, как говорит брат Повилас, который еще в гимназии был уверен, что слово «смерть» попало в лексикон людей из-за их невежества — никто не умирает, только обретает иное обличье, переходит из одного экзистенционального состояния в другое. Ладно, пусть будет, как брат говорит. Но слово не меняет сути дела. Так ли уж важно, умер человек или перевоплотился — все равно, потеряв его, мы будем чувствовать в сердце пустоту, особенно если был он нам дорог. Повилас сызмала по-своему видел и объяснял каждое явление. Все на земле казалось ему слишком обычным, будничным, потому и потянуло его к звездам, потому-то и выбрал он науку, ставшую для него чуть ли не религией. Оторвавшись от своей планеты, он и от родного гнезда оторвался — появлялся в Дягимай раз в три года, а то и реже. Даниелюс, бывая в Вильнюсе, не очень-то спешил увидеться с братом, частенько возвращался домой, даже не позвонив ему. По правде говоря, он и не испытывал к Повиласу чувства братского тепла и нежности, как к Унте, хотя и считал себя выше его; Унте раздражал, иногда приводил в ярость, но зла на него он не таил, прощал, как беспомощному, легко ранимому ребенку, которого тем не менее необходимо держать в ежовых рукавицах. А рядом с Повиласом Даниелюс всегда чувствовал себя каким-то мелким, как бы довеском, хотя брат-астрофизик, считая свою науку вершиной всего (ключом к познанию Вселенной, а следовательно, и мира), с уважением относился и к другим отраслям человеческой деятельности. Даниелюс не завидовал его славе, даже гордился успехами брата, хотя не мог, к сожалению, ничего осязаемого им противопоставить. Цифры, проценты выполненных планов — вот и все, чем он мог похвастать, когда речь заходила о результатах его работы. Даниелюсу казалось, что Повилас смотрит на него свысока, преисполненный олимпийского величия (чего доброго, у него было на это право), постоянно подчеркивая, что общественный прогресс держится на трех китах — на науке, производстве и творчестве. «А ты что производишь или создаешь, милый братец? Вороха бумаг для республиканских архивов. Нет, твои штабеля папок

даже там не нужны. Заседания, совещания, обсуждения, постановления — эта вот водица крутит колесо твоей мельницы». Повилас никогда ничего подобного не говорил вслух, хоть и снисходительно относился к любому труду, который не дает осязаемых результатов, но при встрече с ним Даниелюс никак не мог отделаться от ощущения, что Повилас может так подумать. Было больно от того, что ты сеешь, а урожай соберут другие, и, скорее всего, только тогда, когда сам ты не сможешь увидеть это своими глазами, порадоваться плодам своего труда. Воздвигаешь здание, но сам пока живешь в пристройке, хотя и та еще не закончена. Все, ради чего трудишься, к чему стремишься, не для тебя — для будущего. Для тех, кто родился в день жаркой твоей страды и кто еще придет за ними. Тебе же достается только человеческая неблагодарность и сомнительная надежда, что и ты когда-нибудь будешь оценен по заслугам и стерпишь все: унижение, незаслуженное равнодушие, недоверие, и будет это словно награда за твердость и убеждение, что ты позарез нужен людям. Твой труд — творчество, хотя ты и не творец; наука, хоть ты и не ученый; производство, хоть ты своими руками не выточил ни одной детали, не проложил ни одной борозды на колхозных полях. Ты только партийный руководитель, коммунист. Но не выше ли это других сфер человеческой деятельности, ибо ты двигаешь все, стимулируешь, стараешься вдохнуть во все душу? Тебя можно сравнить с отцом, а тех, кого доверили тебе,— с детьми; твоя задача направить их по правильному пути в будущее, ни на миг не терять мучительного чувства ответственности за судьбу каждого из них. И совершенно неважно, что сам ты чаще всего остаешься в тени, в то время как твои подопечные хватают звезды, которые никогда не зажглись бы для них без твоей искры. В твоем сердце ни капельки зависти или обиды, только искренняя радость; она, эта радость, и есть как бы скромная награда за твои заслуги, хотя большинство их и не замечает. Тебя не ослепляет сияние чужой славы — ты счастлив! Счастлив, что кого-то в твоем районе отметили, кому-то дали орден или присвоили высокое звание. Счастлив, что человек при встрече радушно улыбнулся тебе, от души пожал руку, уважительно кивнул головой, снял шапку. Счастлив, что в его взгляде ты почувствовал тепло доброго, отзывчивого сердца, и для того, чтобы ты поверил в него, в это тепло, тебе не нужны никакие слова. А если иногда кто-то и произносит их, то скупо, стыдясь своей чувствительности... Да, приятно греться у очага чужого счастья, потому что зна-

ешь: здесь и тебе по праву принадлежит место. Но как страшно, когда этот очаг внезапно рушится и весь дом полыхает в огне. Может, твоей вины и нет в этом пожаре, но на сердце все равно тревога, потому что если отец радуется счастью своих детей, то он не может не печалиться и от их печалей.

Гайлюсы не принадлежали к доверенным тебе детям, о которых, деля наследство, надо помнить в первую очередь. Нет, ты смотрел на них скорее как на подкидышей, слишком поздно пригретых, но питал надежду, что со временем они перекуются. В конце концов, разве их жизнь — это твоя ошибка? Нет, таких, как Юозас Гайлюс или Робертас Марма, обществу не вернешь. Они прожили свой век разрушителями. Другое дело — Альбертас. Что касается Альбертаса, то тут вину на прошлое не свалишь, тут ее надо принять на себя, утешаясь мудрой присказкой наших прадедов, что яблоко от яблони недалеко падает...

Запутавшись в своих мыслях, Даниелюс и не почувствовал, как очутился в саду, оставив у частокола отца с малышами сестры. Он останавливался то у одного, то у другого дерева, оглядывая густые ветки яблонь, усыпанных завязавшимися плодами, которые подрагивали среди листвы в бликах света, суля хороший урожай. Сад был старый, вон те яблони отец посадил еще в юности. Даниелюс с Повиласом советовали их выкорчевать — какой прок в них, захиревших, но Унте на дыбы встал: дерево не злак — его за год не вырастишь, оно должно само умереть, как человек. Поэтому выкорчевали только те, которые начали сохнуть. Отец молчал, не поддерживая ни Даниелюса, ни Унте, но всем ясно было, что душой он на стороне младшего. Да и как же иначе? Ведь эти яблони были его юностью, букетом цветов, увядающих на могиле его счастливых дней, он на месте вырванных с корнем высаживал юные ростки. Порой сам, порой Унте или кто-нибудь из детей. Даниелюс, если приезжал домой осенью, всегда справлялся, не найдется ли свободного местечка, чтобы яблоньку посадить. Чаще всего свободное местечко находили, потому что отец всегда старался сохранить для сына, редкого гостя в доме, лоскуток земли для саженца.

Так мало-помалу и вырос новый сад, как вырастает семья, где ежегодно прибывает по ребенку, а нередко и двойня родится. Однако вместе с новыми яблонями шелестели на ветру и старые, бесплодные, которые старик Гиринис любил по воскресеньям обходить, как надгробья своих родичей и знакомых в день поминовения усопших;

подойдет к каждому дереву, постоит в раздумье, прижмется щекой к шершавому стволу, как бы надеясь услышать под корой жаркое биение сердца.

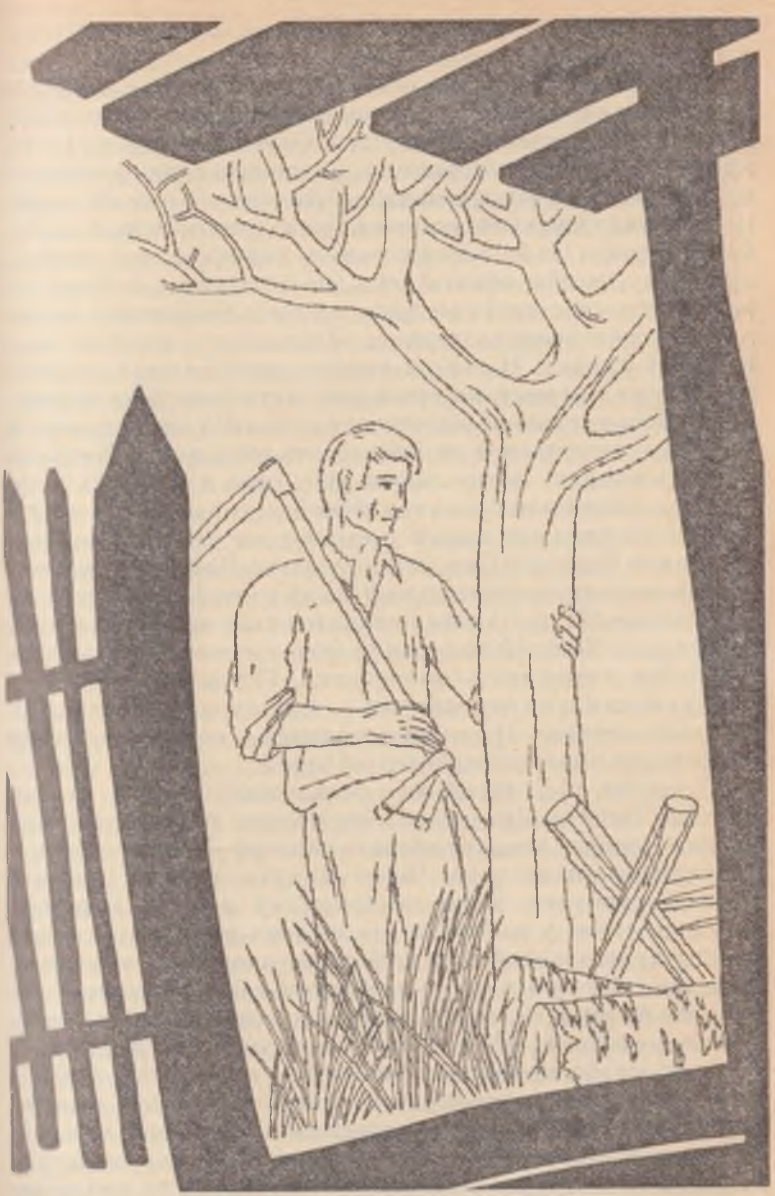
Даниелюс — по обыкновению отца — также обошел каждое высаженное им деревце. Всего их было восемь — шесть яблонь и две груши; столько раз он по осени приезжал сюда в гости. Три деревца он посадил вместе с Фимой и только одно окопал с Юргитой. Будь на каждом из них табличка с именами тех, кто их высаживал, он, наверное, сорвал бы ее и швырнул в сторону, чтобы о прошлом и знака не осталось. Но, как говорится, против фактов не попрешь. Приезжал сюда три осени подряд? Приезжал. И, как нарочно, стояли тогда пригожие солнечные деньки. Под ногами шуршали тронутые изморозью листья. Меланхолия, печаль. Лицо Фимы, странно изменившееся, более красивое и привлекательное, чем прежде. Даниелюс давно питал к ней что-то похожее на неприязнь, бывало, даже ненавидел, а тогда, глядя на ее пальцы, услужливо поддерживавшие воткнутый в лунку саженец, он, как бы возвращая деревцу жизнь, почувствовал к Фиме прилив нежности, вызванный торжественностью минуты. Даниелюс улыбнулся ей так, как давно не улыбался, и сказал что-то ласковое, но тотчас же устыдился своей доброты, устыдился и пожалел о ней, потому что это внезапно нахлынувшее чувство было ненастоящим, похожим на то, которое когда-то обуяло его в юности и в жертву которому он принес свое счастье. Юргита не знала, что эти три яблони высажены вместе с Фимой. Это было его невинной тайной, которой он не придавал никакого значения, но раскрыть которую все же не решался. Как, впрочем, и чувство нежности, охватившее его когда-то к Фиме. Хотя та, наверное, тотчас забыла об этом. Смешные мелочи! — ловил он себя на мысли, дивясь самому себе. Хотя и понимал, что всякий раз, навещая отчий дом и глядя на высаженные вместе с Фимой яблони, он это обязательно вспомнит. Хорошо бы, чтоб они зацвели... тогда вместе с Юргитой другие саженцы...— нет-нет, да мелькало у него в голове. Но он тут же горько подтрунивал над собственным простодушием: мыслимо ли собрать все то, что растратил за жизнь с одной женщиной, и отдать другой?

«Мы с Юргитой никогда не будем такими счастливыми, какими могли бы быть, не попадись на моем жизненном пути Фима. Правда, и жизнь Юргиты до встречи со мной не сравнишь с чистым листом бумаги... Как подумаешь, и впрямь столько следов оставили на свежем снегу, пока

добрались до того домика, который принято называть сказочным».

Даниелюс остановился возле низкорослой разлапистой яблони. Она была единственной в саду, посаженной Повиласом. Брат привез ее из какого-то питомника под Вильнюсом. Зимняя, говорил он, а уж яблоки такие вкусные — пальчики оближешь. В прошлом году на ней завязалось несколько плодов, но все опали, нынче, наверное, даст первый урожай. Даниелюс наклонил ветку с яблоками и провел по ним, прохладным, благоуханным, ладонью. «Не умру до тех пор, пока не отведаю хваленых Повиласовых яблок»,— сказал сегодня отец. В его голосе звучала укоризна: чего, мол, сын не привез саженец раньше. Но спасибо, что хоть привез, мог и не привезти. Повилас редко приезжает осенью, он обычно является тогда, когда посадка закончена и новая яблонька уже стоит в одном ряду со старыми. А если случалось, что до его приезда яблоню не сажали, то Повилас не переживал, смотрел на прихоть отца, ставшую как бы традицией, скептически, потому что не терпел сантиментов. Сад есть сад, его надо разбивать сразу, а не пихать в землю по деревцу в год. Отец мог ответить сыну на его упреки, но молчал, зная, что только Унте понимает его. («Деревья, как люди, должны родиться и умирать по одному. Ведь отсюда и секрет вечной молодости...») Повилас снисходительно улыбался, угадав мысли отца, брал в руки лопату и отправлялся за гумно. Хоть он и редко приезжал, а посадил здесь разных деревьев больше, чем в отцовском саду. Но три года тому назад, навестив отчий дом, Повилас ни одного своего деревца не нашел: вместе со старыми деревенскими тополями их слизала с постоянно меняющегося лица земли мелиорация. «В моих небесах больше порядка, чем на Земле,— горько усмехнулся Повилас.— У каждой звезды свой путь, которого она строго придерживается, а вот на вашей планете поди пойми, что завтра случится за порогом родного дома...»

Из всех деревьев, посаженных Повиласом на родине, осталась только эта низкорослая яблоня, о таинственных плодах которой отец сказал: пока не отведаю — не умру. Сейчас отец сидел на траве, прислонившись спиной к плетню, и спал, склонив голову к плечу. Из приоткрытого рта текла слюна, как бы свидетель того, как сладок сон умаявшегося в трудах человека. А может, ему снилось, что он пробует яблоко с посаженного Повиласом дерева? «Не умру, пока не отведаю с каждой яблони...» Может, потому



он и старался ежегодно высаживать по деревцу? Что ж, у каждого, видать, своя мечта...

Даниелюс смотрел на отца, кимарившего у плетня. До чего же он усох, лицо посерело, голова белым-бела, только торчат пожелтевшие мочки ушей. Одна рука отца на бедре, другая на траве — в морщинах, в шишках, с почерневшими пальцами. Руки земледельца!.. У Даниелюса сжалось сердце, возникло жуткое ощущение, будто отец не живой, а мертвый, в гробу. Он больше никогда не поднимет свою шершавую руку, чтобы обнять тебя, не зашевелит губами, не улыбнется, не согреет мудрым и благословляющим взглядом истосковавшееся сердце... Был отец — мост на этот берег. И рухнул. И вот ты стоишь один на этой стороне, теперь уже сам мост, который, увы, дети твои даже не замечают. Печаль сдавила Даниелюсу горло. Он еле сдержался, чтобы не нагнуться и не поцеловать отца в лоб. Хотелось поднять правую, потом левую руку отца и прижать к губам — сердце было полно такой любви, такой доброты к тому, кто подарил ему жизнь и кто вот-вот угаснет. Но было жалко его будить. «Спи, спи,— шептал Даниелюс, полной грудью вдыхая пронзительный запах подзаборной крапивы и лопухов.— И пусть тебе приснится твой вечно обновляющийся сад. Каждый год, как только сыщется здесь место, мы будем высаживать по саженцу. Потом на смену нам придут твои внуки, а после них — дети твоих внуков и внуки твоих внуков... И так из поколения в поколение, чтобы никогда не перестали цвести яблони».

Здесь же, под старой, уже бесплодной яблоней, играли малыши Бируте. Даниелюс, сняв пиджак и накинув его на плечи,— солнце стало припекать сильней — мимо сарайчика направился во двор. Через минуту, сам не понимая почему, вернулся. Дети по-прежнему играли, а старик Гиринис стоял у плетня и смотрел на верхушку старого ясеня, прислушиваясь к щебету неугомонных скворцов. Даниелюс быстро повернул обратно, обрадовавшись, что отец его не заметил: настроение было такое, что ни с кем не хотелось говорить. Не каждый, пожалуй, согласится с тем, что вечные беспокойства, сомнения, муки дают больше пищи для души человека, чем покой, косность и самодовольство. «Разве буря, вырывающая с корнем деревья, лучше, чем теплый солнечный полдень после долгожданного дождя»,— отрубил бы мудрый отец. И он, и те, что думают иначе, были бы по-своему правы...

Даниелюс пересек двор, вышел через ворота на улицу и вернулся. Так он ходил минут десять от скотного двора до

улицы и обратно, чувствуя странное волнение. Казалось, кто-то сковал его обручем, время от времени отпуская, да и то только для того, чтобы тотчас еще туже стянуть. Такое волнение, подумал Даниелюс, охватывает, наверное, скотину перед грозой — хочется куда-то бежать, спрятаться, чутье подсказывает, что вот-вот произойдет что-то неотвратимое. Но что это он?.. Неужто нельзя думать о чем-нибудь приятном? Хотя бы о палисаднике Юстины, который со всех сторон окружает старую избу. Каких только цветов сестра не насадила! Тут и белые, и голубые лилии, и анютины глазки, и рута, и мята, душистые ярко-желтые настурции, ими весь фундамент увит. А неподалеку, в двух шагах от стены, разноцветные кустики пионов вперемежку с георгинами, которые по осени будут полыхать красными и желтыми шапками, пока не сглотнут их заморозки. По обе стороны крылечка — по божьему деревцу; вдоль забора — сирень, жасмин, шиповник, шесты с хмелем торчат. И вся эта зелень такая буйная, так густо переплелась, что закрывает вид на улицу и двор. Таким палисадник был при матери, таким остался и при дочерях. Каждый второй год отец обрубал кусты под заборами, захиревшие выкорчевывал, а на их место высаживал новые, незлобиво бормоча при этом, что слишком много разных деревьев вокруг дома развелось, от этого только сруб гниет. С наружной стороны бревна и впрямь выглядели неважнецки — почернели, кое-где замшели и потрескались, но внутри они желтели, как старый воск, только задень их молотком или обухом топора — и звенят. Избе было по меньшей мере лет сто — ее еще дед строил, когда был молод, в деревне не было ни одной избы с трубою, но за десятилетия трудолюбивые женские руки соскоблили слой сажи, отполировав дерево до темно-розового блеска. Даниелюс хорошо помнит — он тогда еще ребенком был,— как отец с какими-то мужиками отдирал старую замшелую крышу. Начался ливень, вода струями текла сквозь потолок в избу, и до чего же было приятно плескаться в лужицах на полу. Вскоре после этого избу украсила новая крыша из дранки. Покрашенная в красный цвет, она издали сияла и казалась ничем не хуже крыш дягимайских богатеев, крытых жестью и черепицей. А еще позже и пол настелили. И только после войны перекрыли прохудившуюся крышу, заменив на сей раз дранку жестью. Соседи советовали покрыть шифером — дешевле, мол, но Унте с отцом заартачились: пусть будет жесть, покрашенная, как и прежде, в красный цвет, все-таки не так, как у всех,— на шифер уже смотреть тошно... Тогда

и веранду заново застеклили, окрасили в желтый солнечный цвет. Сартокас украсил ее резьбой. И крылечко во двор тоже новое сколотили, потому что доски быстро сгнивали под дождем. Даниелюс улыбнулся, вспомнив долгие зимние вечера, когда отец, бывало, сварит пиво, порой совсем некрепкое, только чтобы жажду утолить, но мужики входят в раж, сядут втроем и весь бочонок за ночь и выдуют. Выдуют и тут же, у забора, отольют.

За последние несколько десятилетий изба не очень-то изменилась, разве что окна вырубили побольше, но тоже каждое с шестью стеклами. Как бы там ни было, дом был самым старым в деревне, которую теперь называли центральным поселком колхоза. На этот дом равнялись еще пять-шесть изб довоенной кладки — две глиняные, одна бревенчатая, а три из жженого кирпича, однако они выросли позже, отец помнит, как их строили. Когда-то эта довольно-таки большая деревня, тянувшаяся по обе стороны большака с добрый километр, поредела, зачахла, от нее осталось бы не больше, чем пять-шесть изб, если бы при новой планировке сюда не перенесли колхозный центр. За три пятилетки в опустевших усадьбах появились новые дома и общественные здания. Даниелюс видел Дягимай с самолета, видел ранней весной, когда удобряли поля. Приютив под сенью изрядно поредевших, но не вырубленных до конца деревьев новые домики и подсобные постройки, деревня шагала по обе стороны асфальтированного шоссе, увитая электропроводами, утыканная телеантеннами на шиферных крышах, как серый солдат в новом мундире, не замечающий, что он давно уже шагает по полям и ступает своей твердой ногой завоевателя туда, где только-только злаки колосились, жаворонки и чибисы гнезда вили. То там, то сям торчали разбросанные по равнине силосные башни, словно какие-то купола провалившихся в землю храмов, а вдали маячила строительная площадка фабрики, окруженная только что выстроенными многоэтажными домами, где обосновались строители. Когда фабрика начнет работать, в этих домах поселятся рабочие. С каждым годом их будет все больше и больше, потому что производство конечно же возрастет. Появятся магазины, школы, детсады... Дом будет жаться к дому, а железобетонная лавина попрет во все стороны, заливая все новые земельные участки.

Даниелюс глянул на часы и вдруг вспомнил, что его ждет Люткус во дворе колхозной конторы, где он должен встретиться со Стропусом и оттуда поехать с ним на строй-

ку: председатель выложил свои претензии секретарю райкома и по этому поводу хотел поговорить с ним и с начальником строительства.

Вместо того, чтобы серьезно и полезно работать, кое-кто из колхозников уже и самогон гонит, а ведь раньше в здешних краях никто этим не занимался; пиво из сахарной свеклы варят, вино из яблок и морковки делают, а все потому, что до базара, где можно по-купечески деньгу зашибить, рукой подать. Надо бы всех этих фабричных пьянчуг к рукам прибрать — это во-первых, а во-вторых, не заманивать на стройку колхозников.

Даниелюс и начальник строительства улыбались, считая, что и Андрюсу Стропусу негоже стоять в стороне. Мог бы покрепче прижать, скажем, колхозных самогонщиков. («Что?! В тюрьму? А кто же будет в колхозе работать?») Это во-первых. А во-вторых, мог бы он поактивнее с расхитителями стройматериалов бороться, не было бы их на фабрике, если бы среди колхозников не нашлись покупатели. («И этих в тюрьму? Поздно?! Ладно! Но вместе с теми ворюгами!») Кто-то из собеседников предложил усилить разъяснительную работу, все это поддержали, хотя про себя и подумали: поможет как мертвому припарки. («Сделайте так, чтобы человек мог свободно купить то, чего ему недостает, и не будет ни воров, ни спекулянтов, ни паразитов другой масти, которые сливки снимают, а сами ни черта не производят».) Начальник строительства считал, что надо избавиться по меньшей мере от четвертой части людей — от всех деморализующих элементов, в основном отбывающих срок, с гордостью называющих себя «спецами».

Чем дольше Даниелюс ходил по территории стройки, чем глубже вникал в ее проблемы, тем больше убеждался в том, какую своевременную, серьезную статью написала Юргита. Но разве такой статье место в районной газете? В ней ставятся вопросы государственной важности, и о них следует говорить не просто где-нибудь и с кем-нибудь. Республиканская газета могла бы попытаться... Что ей стоит посоветоваться с вышестоящими товарищами, согласовать... Проклятое равнодушие, страх должности лишиться, злополучное желание подняться на одну ступеньку выше! «А я сам? Разве я лучше таких? Правда, я стараюсь не опускаться до их уровня, а результат?..»

Домой Даниелюс собрался перед самым заходом солнца, когда кончалась вторая смена. Всем скопом они обошли введенный недавно в строй корпус, где денька через три-

четыре должен начаться монтаж машин. Пробираясь сквозь завалы различной техники и стройматериалов, мужчины двинулись к машине. Люткус, раздевшись до пояса, с остервенением накачивал, обливаясь потом, шину. Другие три шины тоже сели: какой-то негодяй исполосовал их ножом, пока Люткус, оставив на минутку машину, трепался со знакомым шофером. Понадобится по меньшей мере час, прежде чем они смогут выбраться отсюда.

Начальник строительства, решив, что это очередное свинство «спецов», предложил свой автомобиль, но Даниелюс, как бы подбадривая себя и других, впавших в уныние, сказал: было бы преступлением не воспользоваться случаем и не пройти в такой погожий весенний вечер четыре-пять километров пешком. Вместе со Стропусом и потопали они из Гедвайняй в Дягимай, куда, залатав покрышки, должен был явиться и Люткус.

Как только они вышли на колхозные поля, настроение у них исправилось. По правде говоря, Андрюс Стропус и так не унывал: как ни суди, как ни ряди, а он недаром полдня проваландался с секретарем райкома: добился от него обещания, что колхозников впредь не будут принимать на стройку, приворожившую не одного хорошими заработками. Кроме того, нынешний год обещал быть урожайным, и если все удастся свезти в амбары, то, глядишь, и старая мечта о золотой звездочке сбудется. Была у него еще одна причина для хорошего настроения, для того, чтобы улыбаться, оглядывать ясным взглядом вечереющие поля — мир, воцарившийся в семье. Брюзжавшая дотоле Габриеле, неожиданно успокоилась и с каждым днем становилась все нежнее и заботливее. Случилось что-то непостижимое, чего Стропус не мог, да и не хотел понять. Он был счастлив при виде такой Габриеле. Скорее всего, сын родится — наследник нужен. А если дочка, тоже неплохо, младенец снова свяжет их, да, свяжет, потому что, еще не родившись, уже вернул мир в их дом. Будучи осторожным, хотя и не скрытным человеком, Стропус не любил делиться с другими подробностями своей интимной жизни, но в этот весенний вечер так светила полная луна, висевшая на горизонте, так пьяняще пахли росистые луга, сулившие Золотую Звезду, а товарищ Гиринис был так любезен, что Стропус не мог удержаться и открыл ему душу.

Даниелюс молчал; он шел рядом, не сводя глаз с красного солнечного диска, который закатывался за горизонт, понемногу тонул в голубой дымке леса и как бы натягивал на потемневший, уставший за день лик земли розовую,

почти уже не просвечивающую вуаль. Остывший к вечеру воздух благоухал луговым настоем щедрого на цветы начала июня, повсюду ликовали пичуги, постепенно замолкая и покидая многоголосый, неповторимый хор, где звонче всех заливался соловей, трели которого изредка перебивала своим нетерпеливым кукованием кукушка, прощавшаяся с весной.

Андрюс Стропус, не обращавший внимания на всю эту вечернюю идиллию и усомнившийся, слышит ли его Гиринис, продолжал:

— В юности и я любил, но не так, чтобы из-за женщины с ума сходить. Я не из тех, кто считает, что его избранница — единственная, без которой жизнь немыслима.

— Тогда либо ты не встретил такую женщину, либо твое сердце глухо к любви.

Стропус снисходительно хмыкнул:

— Я не поэт, секретарь. Как-то и Габриеле мне сказала: ты не поэт, ты хозяйственник. Ничего не поделаешь, бывает, что у женщины от хорошей жизни появляется желание изобразить себя несчастной.

Даниелюс лениво пожал плечами.

— Знаешь, мне иногда жаль тех, кто подсчитывает доход от своего сада, но не видит, как он цветет,— сказал он, не отрывая глаз от дороги, которую окутывали вечерние сумерки, подкрашенные тусклым светом луны.— Но если этого для их счастья достаточно, то пусть подсчитывают. Главное, чтобы человек чувствовал себя счастливым. Даже у морской рыбы есть своя глубина: одна нырнет поглубже и задохнется, а другая только и может на дне жить.

— Я счастлив, секретарь,— поспешил заверить Стропус, не выдавая своей обиды.— И глубина у меня достаточная. Не завидую счастливым, которые из любви готовы друг другу глаза выцарапать. Взять хотя бы наших Бутгинасов. Помните? Разве вы всех...

— Почему всех? Ведь имя Руты Бутгинене когда-то гремело. Правда, работал я в ту пору далеко отсюда, на другом конце Литвы, но все-таки изредка в Дягимай наезжал. Довелось несколько раз и в доме Бутгинасов побывать. Да, они прекрасно ладят, хотя она и старше его. А теперь, я слышал, у них что-то снова разладилось, трещит.

— Не трещит, а ломается, крошится, и все к черту летит,— почти весело ответил Стропус.— И во всем этом, видите ли, я виноват. Во всяком случае, так думает ваш брат Антанас.

Даниелюс пожал плечами, покачал головой, окинул пронзительным взглядом Стропуса.

— А... припоминаю. Он мне что-то говорил... Да! Знаю я эту историю, с «улучшенными» коровами. А может, ты, председатель, и вправду виноват? Если разобраться... Я начинаю понимать Бутгинаса. Это человек кристальной честности. Самолюбив? Спору нет. Но больше всего на свете не терпит подлости, особенно лжи. Узнай я когда-нибудь, что жена моя утаила от меня что-то важное, я бы подумал, что женился на женщине, которой нельзя доверять, а уж уважать и подавно. А вера и уважение — это два краеугольных камня, на которых держится любовь. Тайна в супружеской жизни похожа на бомбу замедленного действия, из-за нее страдают оба: один, догадываясь, что она есть, другой — зная, что она не только есть, но в любой момент может взорваться.

Андрюс Стропус не спешил с ответом, размышлял словно ступал по еще нетронутому льду, не так шагнешь и провалишься. Наконец он решился и сказал:

— А по-моему, куда лучше, когда супруги меньше знают о прошлом друг друга.

— Молчание — золото?

— Для семейного покоя все средства хороши...

— А покой нашей души? Ведь от себя не убежишь. Мыслимое ли дело обнимать женщину, отгородившись от нее тайнами?

— Для меня это слишком тонкая материя.

— А тебе подавай ту, из которой можно что-нибудь сшить? — усмехнулся Даниелюс.— Но ты не унывай: не ты один так думаешь, так, пожалуй, думают девяносто девять процентов. Да, на твоей стороне большинство. А беднягу Бутгинаса поддерживает, может, только один процент...

— Но в этот процент входит и секретарь райкома...

— Да, он входит.— Даниелюс сделал вид, что не почувствовал в словах Стропуса колкости.— Работай он, этот секретарь, в Епушотасе, когда ты Бутгинене широкую дорогу к золотой звездочке прокладывал...

— Вы думаете, между нами что-то было?! — вскипел Стропус.

— Нет, не думаю, у меня для этого просто нет оснований... Но разве важно, с какой целью ты проторил ей дорогу? Как ни крути, а это нечестно. Говоришь, до килограмма грамма не хватило, вот ты его и добавил. Мелочь, по-твоему? Нет, прибавил ли ты столько, сколько не хватало до

нормы, или столько же снял с нее, и то, и другое — мошенничество. Жалко, дело давнее, а то можно было бы тебя на бюро пропесочить.

Андрюс Стропус ничего не ответил, хотя, судя по выражению лица, не был согласен с секретарем. Молчал и Даниелюс, не желая вникать в это дело: ничего не добьешься, только настроение испортишь. Да еще в такой замечательный весенний вечер, когда сама природа как бы предлагает насладиться ее красотой, как бы просит: забудь на минутку про повседневные заботы.

Так, наслаждаясь щедрым лунным сиянием и перебрасываясь изредка словечком-другим, они отмахали добрую половину пути. Скоро посыпанный щебнем проселок вольется в шоссе, а значит, до Дягимай полкилометра, не больше.

Поселок маячил вдали, как какой-то диковинный зверь. Только кое-где в окнах светились огоньки — люди уже спали,— певучий покой вечера нет-нет да нарушала мчащаяся по шоссе машина. Соперничая с соловьем, еще неистовствовала кукушка, с юга, со стороны Скардуписа, доносились хриплые клики давно вылупившихся чибисов. Иногда раздавалось мычание коровы на пастбище, огороженном проволочной изгородью. Чем дальше от Гедвайняй, тем острей пахло живительной луговой зеленью вперемешку с высохшим пометом и потом скотины. Откуда-то повеяло дымом. Даниелюс подумал, что где-то неподалеку развели костер, и почти в то же самое время увидел идущих навстречу людей. Они появились внезапно, словно выросли из-под земли. Сквозь вопли и восклицания изредка пробивался женский голос.

— Давайте свернем,— посоветовал осмотрительный Андрюс Стропус.

— Дорога широкая, как-нибудь разминемся,— насмешливо ответил Даниелюс.

— Смотря с кем...— буркнул недовольный Стропус.

Горлопаны, заметившие двух мужчин, идущих им навстречу, видать, подумали о том же, потому что вся ватага перемахнула через канаву и по краю пастбища побрела к простиравшемуся тут же ржаному полю. Теперь голос женщины изредка переходил в вопль. Мужчины матерились, ругали ее на чем свет стоит, по обрывкам фраз чувствовалось, что они в ярости.

— Здесь что-то нечисто,— встревожился Даниелюс, ускорив шаг.— Эй, люди, что вы делаете?

— Эй, эй! — вскинулся Стропус. — Опомнитесь, секретарь! Это вам не город, в милицию не позвонишь...

— А мы двое на что? — отрубил Даниелюс и пустился трусцой. — Неужели ты не слышишь, сколько ужаса в голосе женщины? Как бы мы не стали с тобой свидетелями преступления...

— Не знаю. Ничего не знаю, секретарь. Знаю только одно, что можно напороться на серьезные неприятности, — частил Стропус, пытаясь схватить Даниелюса за руку.

Их было трое. Даниелюс отчетливо видел: двое тащили за руки женщину, которая билась, как овца перед закланием, третий подталкивал ее в спину. Даниелюс перемахнул через канаву.

— Секретарь... Будьте благоразумны, секретарь... — умолял Стропус, переминаясь с ноги на ногу на проселке.

— Эй, вы! Куда вы тащите эту женщину?! — закричал Даниелюс.

Мужчины медленно повернулись и после небольшой паузы решили, что этого прохожего надо бы проучить, чтобы не совал нос не в свое дело. Между тем женщина вдруг вырвалась из рук и бросилась к проселку, злобно смеясь и выкрикивая:

— Вот вам, во! — она размахивала кулаком, уткнув локоть в живот. — Видала я вас в белых тапочках в гробу! Мэээ!

— Ну не паскуда! — выругался кто-то из троицы. — Ну, погоди, попадешься нам в другой рраз. Так прочистим дымоход, на всю жизнь запомнишь.

— Мэээ, мэээ, мэээ... — неслось в вечерней тишине под топот убегающей.

— Нехорошо себя ведете! И шуточки ваши опасные, — произнес Даниелюс, собираясь уйти. И тут же добавил: — В другой раз девушку провожайте через лужок по одному, а не скопом. Спокойной ночи!

Но не успел он и двух шагов сделать, как его тут же обступили со всех сторон. Это были приземистые, широкоплечие неопределенного возраста типы, хотя, пожалуй, не старше тридцати лет. В вечерних сумерках Даниелюс не мог разглядеть их лиц. Мужчины были в ярости, как звери, у которых увели самку. Все трое были изрядно пьяны.

Даниелюс сжал кулаки, приготовясь к защите. «Стропус!» — закричал он и не узнал своего голоса. Но

председатель чесал по проселку к деревне и что есть мочи орал:

— Люди! Спасите, люди! Бандиты!

Этот отчаянный крик сверлил голову до тех пор, пока сбитый с ног и корчащийся от пинков Даниелюс не потерял сознание — — —

Часть седьмая

ОТЕЦ

I

Старожилы не припомнят такого дождливого года. Где это слыхано, чтобы началось в конце июля и с небольшими перерывами лило до конца августа! На другой день, глядишь, вроде бы прояснилось, порой и денька два ни капли с неба, по ночам сквозь просветы в тучах даже звездочки блеснут. А назавтра опять затянет — от окоема до окоема. И сколько ни гляди себе в окно, ничего хорошего не увидишь — два месяца одно и то же: куры ходят под дождем, нахохлившись, гуси бродят, противно гогоча, по вишняку напротив избы, да и сам вишняк, печальный, стоит по колено в воде. А утренняя сводка гласит: и далее погода неустойчивая, с осадками... Так вот каковы дела, Йонас Гиринис. Хоть бери и сколачивай Ноев ковчег!

Но не только в усадьбе Гириниса лужи хлюпают, каждая ложбинка запружена. В колодцах воды столько, что перевесься через сруб — и черпай ведром. Широко разлился Скардупис, затопив луга и посевные площади в низинах. Только по взлобкам, куда не добралась вода, можно, кажется, шагать без опаски, хотя и здесь ноги вязнут в глине до щиколотки. Обманчиво выглядят те поля, с которых урожай еще не снят, но подойдешь поближе и увидишь, как поблескивает среди злаков вода, между борозд сахарной свеклы, буйно заросших ботвой, воду и вовсе не заметишь.

Надо видеть в такие дни деревню. В каждой избе свои заботы и горести, свои радости и чаяния, но все это нынче отступает на второй план. Главное теперь — спасти плоды своего труда. Многие помнят дождливые лето и осень двадцать восьмого года, когда вода затопила суглинистые равнины. Вопль гибнущего хлеба еще долго отдавался в ушах тех, кто о той тяжелой поре знал только понаслышке. А если бы и не знали, все равно бросились бы спасать урожай, ибо это долг каждого литовца, впитавшего на протяжении веков вместе с молоком матери уважение к труду и к хлебу, ставшему символом жизнеспособности

и стойкости народа. Даже «новые римляне», которые после смерти Гайлюса повесили носы, потому что Моте Мушкетник-Кябярдис захворал не на шутку, а Сартокас к нему перестал ходить, узнав, что он погубил его знаменитую рельбу, даже они, эти пенсионеры-выпивохи (а у них, кажется, была одна-единственная забота — спокойненько попивать на солнцепеке и поругивать каждого, кто под руку подвернется), на время отказались от своей привычки, докажем, мол, тем, кто помоложе, что значит совесть ветерана. Может, и не отказались бы они от своей пагубной привычки, если бы не разговор на крылечке старика Гиринса. Собрались они потешить душу пивком, которое полгода тому назад для своих поминок сварил Йонас Гиринис, но видя, что смерть не торопится, а пивцо начинает киснуть, стал открывать для соседей и родичей одну бочку за другой, пока за пару месяцев, нацеживая каждый день по жбанчику, по ведерочку, не открыл последний бочонок.

Чаще всего мочил в пиве свои цыганские усы Пранюс Стирта. Не отставал от него и Еронимас Пирсдягис — куда бы ни шел, куда бы ни ехал, все норовил свернуть на подворье Гиринисов, дорогую, мол, доченьку Салюте проведать. Унте посмеивался над тестем и тоже потягивал пивцо, но после того, как опорожнял полкувшина, первый поднимался из-за стола. С Нового года Унте словно подменили: выпивать выпивал, но пьяным его никто не видывал.

— Ну и воля у него,— сказал в тот день на крылечке Пирсдягис, когда Унте ушел, оставив почти полный кувшин.— Музцина! А мы гнием зазиво...

— Не пойму, что в такой день делать,— льет как из ведра,— удивился Пранюс Стирта, этот сизоносый развозчик кормов, обращаясь к Йонасу Гиринису, который грел в ладонях выпитый наполовину стакан.— В такой день только сидеть и пить. Кто знает, может, завтра море из берегов выйдет и затопит всю Литву. Просыпаешься ночью, а твоя постель плывет, и ты вместе с ней как муха...

— Ус так и поплывесь. Дребедень какую-то городись и рад,— пристыдил Стирту Пирсдягис.

— Может, и не поплывешь, но все одно худо,— не сдавался Стирта.— Пол-урожая сгниет, на трудодень дырку от бублика получишь.

— Ницево не полуцись. Ни грамма! — выпалил Пирсдягис, разморенный пивом и потому как никогда самоуверенный.— Смотри, цтоб на семена хватило, да скотине колхозной. Вот так.

— Да этот колхоз как лотерея: вкалываешь, душу вкла-

дываешь, здоровье отдаешь, а за это по осени, может, фигу получишь,— простонал Стирта и тут же забыл свою печаль.— Одно счастье, что с голоду не подыхаешь — не те времена. Теперь голодать не будешь, если даже все до последнего зернышка сгниет: в вагонах, на пароходах из других мест привезут — дружба народов, братство...

Йонас Гиринис слушал, слушал и не выдержал:

— Тебе важно, чтоб ты ноги не протянул. А на то, что такой труд гибнет, тебе наплевать. Ведь там, в этих залитых водой полях, капелька и твоего пота. Пусть не чистая, пусть смешанная с водкой, но все-таки...

— И моя капелька, ясное дело,— согласился Стирта.— Но неужто мне ее сейчас из воды вылавливать? Э, где наша не пропадала. Чем стонать, давайте лучше выпьем...

— Да у тебя уже язык заплетается,— рассердился Йонас Гиринис.— Ну чего от тебя хотеть, коли у тебя на работе и руки заплетаются. Твой отец тебе бы еще и похлеще сказал, негодник.

— Может, не будем трогать мертвых,— мирно предложил Стирта.— Вечный им покой.

Пирсдягис одобрительно кивнул головой.

— Два сапога пара,— горестно вздохнул Йонас Гиринис.— Вылакаете жбан и пойдете искать еще...

Стирта негромко, чуть ли не декламируя, запел:

Я не пить пришел, не гулять пришел,
а родню свою любезну навестить пришел...

Йонас Гиринис покосился на них и, не сказав ни слова, ушел.

— Знал бы, где ключ, открыл бы...— протянул Стирта, «выжимая» из кувшина последние капли.— Старик пиво в погребе держит. Есть у него и получше этого, нам только помои подсовывает. Жмот!

— Кулацкая кровь сказывается, ницего не пописесь. И в твоих зилах от отца остаться долзна бы, да, видать, испарилась.

— Для тебя каждый, кто лучше тебя живет, кулак,— надулся Стирта.— Мой отец девку нанимал, это верно, но только тогда, когда мы, дети, под стол пешком ходили.

— А цто, я против отца твоего, цто ли? — смягчился Пирсдягис.— Увазали его люди, этого от него не отнимесь. А езели не так сказал, то только потому, цто так нас уцит марксизм, философия. А от нее, от этой философии, хоть в лепеску разбейся, никуда не убезись. Всех бурзуев на свете соберем, как рой пцел, и загоним в свой улей. Зальте,

не зальте, но мед все равно будете рабоцему классу давать. Вот как.

— Знаешь, у меня идея,— воспрянул Стирта, печально оглядев пустой стакан.— Старик, голову даю на отсечение, в сарайчике свеклу чистит. Давай подсобим ему часок, может, расщедрится и еще пивка поднесет. Вчера я так у него целый жбан заработал.

Пирсдягис удивился: Гиринисы такие работяги, а до сих пор со своих соток урожай не убрали. Право, странно. И уж совсем не поймешь, почему они у себя на огороде сахарную свеклу выращивают. Ежели так, может, они собираются и сахарное пиво варить?

Стирта успокоил Пирсдягиса, заверив его, что со стороны Гиринисов никакой угрозы для его предприятия нет, дескать, гони себе спокойненько, как решил после смерти Гайлюса, непобедимого конкурента; а сахарная свекла у Гиринса — с колхозных полей по договору со Стропусом, тот велел даже ботву с их двора свезти, когда старик всю ее очистит; вот так почти неделю по грузовику на дню с ботвой привозят, а назад без ботвы на склад, на весы и на железнодорожную станцию.

— Ись какой хрен! — удивился Пирсдягис.— За сердце хватается, а сам такую лямку тянет. Езели ты не вресь, то тоцно. Посли, показесь мне этого героя.

Первое, что бросилось им в глаза, когда они вошли во двор, были настежь распахнутые двери сарайчика и огромная куча сахарной свеклы с ботвой. Йонас Гиринис примостился у подножия этой груды, вытаскивал из нее по одному бураку, очищал его от земли, срезал ботву, бросал через плечо во двор, где под дождем уже высилась свекольная горка. Пирсдягис удивился, как он этого раньше не заметил, тем паче что еще издали виднелась широкая колея, проложенная грузовиком от самого сарайчика. Посетовав на такую свою невнимательность, он предложил Гиринису помочь — они со Стиртой уже доставали из-под полы ножи для хлеба, которые предусмотрительно прихватили на кухне,— однако Йонас Гиринис отказался: мол, и сам до вечера управлюсь.

— Больше сегодня мне уже не подкинут,— усмехнулся он в усы, разгадав хитрость помощников.— Ежели хотите, милости просим завтра на толоку, закажу тройную норму.

Стирта сплюнул под ноги, попав плевком в лужицу, а Пирсдягис пожал плечами и буркнул себе под нос:

— На кой ляд эти заказы? До завтра мозно и не дотянуть...

— А лучше всего,— продолжал Гиринис не то всерьез, не то в шутку,— ежели, конечно, у вас хоть капелька совести осталась, не мне, а самому Стропусу помощь свою предложить. Он-то уж найдет, куда вас запрячь.

Стирта снова сплюнул, повернулся, зашагал домой, гадая, куда же Бируте спрятала прокисшее вино, которое он вторую неделю ищет, чтобы промыть желудок, и никак не найдет.

Пирсдягис, переминаясь с ноги на ногу, потоптался под дождем и тоже решил было смыться, но вдруг его обуяло желание что-нибудь сказать своему родичу. Как же так: человек работает, да еще не совсем здоровый, а ты, налакавшись его пива, возьмешь и ничтоже сумняшеся попрешь домой?

— Так цто, здоровье на поправку посло, раз так за работу взялся?

Йонас Гиринис ничего не ответил.

— Гм... Этот Стирта совсем распустился...— попытался подольститься Пирсдягис, крутя в руке палку.— Такой верзила, а с кормами возится. Не в отца уродился, не в отца... Вот как.

Но Йонас Гиринис как ни в чем не бывало чистил свеклу, срезал верхушки вместе с ботвой и кидал в кучу. Он не раскрыл рот даже тогда, когда Пирсдягис, недовольно шмыгая, ввалился в сарайчик и, устроившись на другом конце кучи, принялся орудовать кухонным ножом. Так они оба трудились не час и не два — взъяренные, не поднимая друг на друга глаз; только сверкали ножи, только хрустела и шуршала ботва, на которую с корней сыпались комья земли. Наконец Йонас Гиринис не выдержал:

— Стараешься, так-то... Не задарма ли?

— А цто, разве плохо цисцю? — вспылил Пирсдягис и бросил очищенную свеклину прямо Гиринису под ноги.

— Чистишь ты хорошо, но пива тебе не видать,—уязвил тот, переправив Пирсдягисов бурак в кучу.

— Оцень мне твоя кислятина нузна...

— Как не нужна? А ради чего живешь? Стаканчик, жбанчик, бутылочка, рюмочка — вся твоя музыка, под нее ты и пляшешь.

— Не обизай, я свое отработал.

— Кто отработал, тот в могиле, а ты — еще ничего, красный, как кирпич.

— Красный, но мог бы быть и труп несцастный,— чуть не рассвирепел Пирсдягис.— Ты цто, забыл, сколько насых борцов за народное дело лесовики ухлопали?

— Борец! — прыснул Йонас Гиринис.— Ежели ты когда-нибудь и был похож на борца, то нынче от такого сходства ни тени: борешься только с рюмкой, да и то не ты ее, а она тебя на лопатки кладет. Да что и говорить, Еронимас, дрянь ты. Можешь дуться, не дуться, что я тебе правду-матку в глаза режу, но дрянь.

— Гиринис! Кулацкое отродье! — вскочил Пирсдягис, весь посинев.— Я за твоего Унте свою Салюте, доць родную... Рабоций класс предал, а ты со мной эдак!

— Эдак и не иначе! — повысил голос и Йонас Гиринис.— Хоть ты мне по невестке и родня, но каким был подонком, таким и остался. Как и эти твои собутыльники «новые римляне». С утра до вечера хвастаетесь, будто когда-то какие-то подвиги совершили. А нынче, когда и впрямь надо что-то делать, вы палец о палец не ударите.

— Я?! Дрянь? Подонок? — пропищал Пирсдягис, то и дело подскакивая и снова опускаясь на насиженное место.— Езели так, то увидись!.. Не посмотрю, цто моя Салюте за твоим Унте, цто мы родня... Найдутся люди, которые тебе язык укоротят, не бойся. Не скроесься за спиной Даниелюса, хотя он и высоко взлетел. Достанем!

— Ха, ха, ха! — затрясся от хохота Йонас Гиринис, не совладав с собой.

Пирсдягис, вконец пришибленный его презрительным хохотом, хватил оземь палкой и бросился вон. Мчался как угорелый, ничего не видя под ногами, разбрызгивая во все стороны грязь и едва успевая прятать от густых брызг голову; шаг шагнет и смачно выругается, плюнет на врага, то и дело грозя ему кулаками; полы расстегнутого ватника трепыхаются на ветру, как крылья черной птицы, седая голова с редкими свалявшимися волосами подрагивает, Пирсдягис настолько взбешен, что шапку на крылечке забыл, а вместе с ней и мешок, чтобы от дождя укрыться. В таком-то виде — осунувшийся, мокрый и грязный до ушей — и ввалился он к Моте Мушкетнику-Кябярдису, чуть ли не до смерти напугав и без того еле живого корзинщика. Одному богу известно, о чем они там говорили, кого поносили, а кого оправдывали, советуясь между собой, но когда через час-другой Пирсдягис выскользнул во двор, он был спокоен, как агнец. Изменилась и его наружность: Моте Мушкетник одолжил ему поношенную шапку и полиэтиленовый плащ с отодранным рукавом, и Пирсдягис, облачившись в него,— сверкающий, шелестящий, словно леденец, завернутый в прозрачную обертку,— потопал к усадьбе Сартокаса. От Сартокаса он двинулся к Стирте,

где его угрюмо облаяли собаки, и еще кое-кому не дал в тот вечер покоя. Но если кто и мог сказать, где он до полуночи пропадал, когда и в каком виде явился, то только старуха Пирсдягене.

— Мотеюс Кябярдис головастый музик... голо... голо... головастый...— бормотал он, едва ворочая языком, выкладывая все свои горести.— Теперь таких председьсовета не сыс... не сыс... не сыс...

Наказав, чтобы жена разбудила его ни свет ни заря («Мы показем ему дрянь... подонка...»), Пирсдягис в полиэтиленовом плаще и в сапогах рухнул на кровать и прохрапел до завтрака, отравляя избу перегаром. Есть он ничего не стал — да ему и не хотелось — и собрался так быстро, что уже через час был в конторе колхоза, где его уже ждали вчерашние собутыльники. Все четверо ввалились в комнатку председателя, оставив открытыми двери — до того в ней было тесно. Андрюс Стропус таращил на стариков глаза, моргал, уверенный, что те решили над ним поглумиться. Он попросил, чтобы старики повторили свою просьбу, и Пирсдягис снова невнятно ее изложил.

— Не хватает Мотеюса Кябярдиса и Пранюса Стирты,— добавил Сартокас, когда Пирсдягис все снова рассказал.— Кябярдис — тяжело болен, он только, когда приспичит, с кровати слезает, а Стирта, известный всем лодырь, в толоке участвовать отказался.

Андрюс Стропус внимательно оглядел стариков, младшему из которых, Сартокасу, было шестьдесят пять, а старшему за восьмой десяток перевалило, и сам не заметил, как встал из-за стола. Он не знал, что делать: то ли плакать, то ли смеяться. Почему-то растерянно двумя пальцами потирал горло, пока не нашел подходящих слов.

— Это в самом деле здорово, мужики, что вы в такой трудный момент, когда рабочие руки на вес золота... И вы, товарищ Пирс... товарищ Пирштдягис... Ей-богу, приятно, что наступает такой день, когда можешь о человеке мнение переменить.— Стропус вышел из-за стола и пожал каждому руку.

Один из стариков произнес что-то вроде проповеди:

— Ты, наверное, думаешь, что мы не землепашцы, что у нас сердце кровью не обливается при виде того, как урожай гибнет. Но мы вот только горевали вместе со своими старухами и штаны у телевизоров протирали. Такие уж мы, видать, тяжелые на подъем, надо, чтобы кто-нибудь взял нас за шкирку и заорал в самое ухо: вставайте и идите! Спасибо Пирсдягису, он заорал, а мы подскочили...

— Да,— протянул ошарашенный Андрюс Стропус,— волнующий почин, надо, чтобы печать заинтересовалась. Бригада пенсионеров-добровольцев на уборке корнеплодов... Здорово! Сейчас же звякну в редакцию нашей районной газеты, пусть корреспондента и фотографа пришлют.

У Пирсдягиса на языке вертелись другие слова («Заорал, как зе. Как не заоресь, если каздый, кому не лень, на голову садится...»), но сдержался, смекнув, что не время теперь рассказывать о сшибке с Йонасом Гиринисом. У Пирсдягиса просто дыхание перехватило, когда он услышал, что может попасть в газету. Не просто так попасть, как много лет тому назад, когда его вскользь упомянули по случаю какого-то юбилея вместе с другими, а с фотографией: каждый, кто возьмет газету, увидит. Тысячи увидят. Весь район. А кое-кто и за его пределами. «Еронимас Пирсдягис! Дрянь, подонок и вдруг такое увазение! У Йонаса Гириниса, у этого святоси, целюсть от удивления отвалится. Ись какое коленце этот Пирсдягис выкинул! «Волнуюсций поцин...» Застрельсцик! И вправду не лыком сит. Изгалялись, насмехались над целовеком, а смотри-ка... В самом деле, вот дает! Ведь так и до ордена недалеко...»

II

А Пранюсу Стирте на ордена начхать. Пусть и самого высокого пошиба — это все-таки не сто граммов, не жбан отменного пива, а уж о бутылке «чернил» и говорить-то нечего, лучшего напитка для охмурения не сыщешь, пей без закуски сколько влезет. Несчастные люди, сидят часами из-за этих цацек в президиуме, нет, чтобы на возу с кормами посидеть, когда по всему телу хмель приятно растекается, когда сердце полнится такой добротой, что кажется, каждого встречного и поперечного облобызаешь, подарками засыплешь, посулами и ласковыми словами и, будь твоя воля, каждому по бутылке всучишь; даже вот этого телка, который только что промчался мимо, задрав хвост, хочется похлопать по заду... На этом возу, потягивая из бутылки, ты благодетель благодетелей, царь царей, президиум всех президиумов — вот каким богатеем делает тебя это чертово зелье! Так выпьем же за него! Чтоб с утра до вечера быть веселыми, а ночью сладко спать! Чтоб всегда у нас было кого запрячь в телегу — да здравствуют гнедые! Чтоб всегда вертелись колеса, был полон воз — да здравствуют корма! Чтобы, забираясь на воз, было что в карман сунуть — да здравствует эта сладкая, горькая, благословенная. Что-

бы никогда никакая злая рука не свергла тебя с этого тарахтящего трона, с которого белый свет кажется таким добрым и милым! Ура!!!

Парень с девкой миловался,
муж с женою баловался,
с кошкой кот у норки мышки —
и пошли у них детишки...
Ой, делишки, ой, дела,
так семья росла, росла!

— Так что, Стирта, и снова весел? Поешь?

— А, это вы, председатель? А я-то думал, чего это лошади встали? Уперлись, как в стену, гады, я чуть себе язык не откусил. Пою, председатель. Весело. А чего плакать, если мочи и без слез полно? Надо быть веселым, председатель. Ведь вся наша жизнь на оптимизме держится. Опля!

— Погоди, погоди! — Андрюс Стропус хватает вожжи, придерживая лошадей.

Стирта сникает, беспокойно глядит на председателя, почуяв что-то неладное. Пирсдягис, развернувший на уборке корнеплодов широкую деятельность, грозил ему, но Пранюс на его угрозы только рукой махнул. А теперь этот старик словно из-под земли вырос, прячется за спиной председателя и рожи строит. Неужто вместе со Стропусом примчался на его машине, которая во дворе Моркуса вся грязью заляпанная стоит? Барин! Конец света, и только, если и Пирсдягис барином стал!

— А, и ты здесь, Еронимас? — храбрясь, процедил Стирта.

— Не хотел я, но так надо,— отрубил Пирсдягис.— Слезай, я буду корма развозить.

— Ты? — Стирта с минуту смотрит на конские хвосты, шмыгает своим сизым носом и постукивает огрубевшим мизинцем по виску.— Никогда у тебя там винтики на месте не стояли, а теперь и вовсе разболтались.

Андрюс Стропус широко улыбается. Недоброй, злорадной улыбкой, хоть бери и в рожу ему плюнь.

— Слезай, слезай, Пранюс,— умасливает его, явно издеваясь.— Спустись со своих высот на грешную землю. Поедем на поля: там твоего оптимизма чертовски не хватает, не убрать нам без него корнеплоды.

Стирта откидывается, пятится назад, словно его пытаются за ноги с воза стащить.

— О-о-о,— стонет он, разевая рот, как рыба, выброшенная на берег, и обеими руками тычет то в воз, то в лошадей, то себя в грудь, пока, наконец, обретя дар речи, не выдавли-

вает: — О-о-о-ох! Эту ответственную работу будет делать Пирсдягис?! Этот сморчок?! Опомнись, старик! Ведь ты задыхаешься, когда в штаны влезаешь. А чтоб вилами махать, мужик нужен. Богатырь! А ты кто? Муравьишка! Мускулов треба. Коняги-то какие! Как понесут тебя. Не удержишь и ни за грош, что называется, пропадешь... В могилу до срока захотел, старик. Ладно, слезаю, председатель, но Пирсдягису гроб заказывай. Вы только подумайте, пятнадцать возов за день! Это вам не пятнадцать рюмок...

— Пяти и то не наберется, Пранюс, так что десять отними,— тем же слащавым голосом произносит Стропус.

— Пусть будет пять, председатель, спорить не стану, пусть будет пять. Но зато какие! Пока съездишь, воз хоть выжимай. Гребешь, гребешь, пока подденешь вилами. А уж когда подденешь, то легче камни поднимать, прямо-таки потроха выворачивает, председатель...

— Это все потому, Пранюс, что ты у каждого двора простаиваешь. Двадцать минут езды, а ты копаешься два-три часа.

— Копаюсь... Почему копаюсь? Всякое бывает, председатель... Вы что думаете, этот вот не будет копаться? Нашли мне экспресс, председатель. Неужто Еронимаса Пирсдягиса не знаете?

— Пирштдягиса, почтеннейший,— поправляет Стропус.

— Нет, Пирсдягиса,— возражает Стирта.— Кто же его иначе называет?

Тут Стропус перебивает, их торг ему давно надоел.

— Ну хватит вам, хватит,— говорит он Пранюсу, который вжался в клевер так, словно пули над ним свистят, только ступни белеют.— Слезай-ка, пусть на ферму едет дядя Пирштдягис. А мы с тобой в машину и на поля... Сам видишь, какая осень. Старики, дети и те трудятся, учеников из Епушотаса привезли, а ты, такой могучий мужик, с утра до вечера баклуши бьешь. Стыдно, товарищ Стирта.

— Вот так! — как бы ставит под словами председателя печать Пирсдягис.

— Хорошо, я слезу, председатель. Слезу,— наконец уступает Стирта.— А на мое место пусть хоть сто тысяч чертей!.. Сей момент, сей момент... Только дайте привести себя в порядок. Имею право: каждый, изгнанный из дому, имеет право вещички свои прихватить.

— Ись дом себе на возу устроил! — шипит внизу Пирсдягис.— Лоботряс! И такой до сих пор корма возил! Цудо просто, цто весь скот в колхозе не подох.

Стирта ложится на спину. Господи, какое грязное небо! Каплет и каплет, как будто невыжатое белье развесили. Эх, кабы так бутылки наполнялись, как лужицы на полях... Но куда там! Сколько было на дне, столько и осталось. Пранюс поворачивается на бок, высасывает последние капли портвейна, потом мочится в бутылку, закрывает ее наглухо и ставит вверх горлышком в клевер. Отличный цвет, хихи... Как из магазина за рубль с копейками. То-то обрадуется Пирсдягис, когда найдет чем горло смочить... Пранюс скатывается с воза, похихикивая, и, даже не взглянув на мужиков, чешет в деревню.

— Эй, эй, Стирта, опомнись! — кричит ему вдогонку Стропус.— Со мной шутки плохи.

— И я такой же,— отрезает Пранюс, расхрабрившись от выпитого портвейна.

У котяры есть подруга,
а у мужа есть супруга,
а у парня, коли смелый,
есть всегда бутылка белой.

— Ладно, иди, иди. Но смотри, как бы ты свои сотки не пропел! — зло бросает Стропус и, не дождавшись, пока Пирсдягис взберется на воз, направляется к машине.

А Стирта чешет прямо через деревню, но на сей раз не сворачивает ни в один двор. По идее, надо вроде бы в более приличную одежду влезть, но настоящего труженика по чему узнаешь? Может, по галстуку или по белым ручень-кам? Нет! Ежели им и впрямь рабочие нужны — а их никогда на фабрике не было в избытке,— то и такого, ненадушенного, примут. И без всяких разговоров, шутка сказать, такую махину строят! Экскаватор на экскаваторе, кран на кране и еще всякая там другая техника. Вот где простор для человека, действуй, это тебе не грязевые ванны Стропуса на уборке сахарной свеклы!..

— Кто тут у вас самый главный?

Самого главного нет — занят очень. Тот, кто пониже чином, тоже занят, а тот, кто пониже того, кто пониже,— свободен, но ничего не может: строго-настрого приказано случайных людей из колхоза не брать. Напрасно Стирта пальцами показывает: примите, мол, не пожалеете, ответ один — нет и нет. На другой день та же катавасия. Правда, пробился он к самому главному, чуть ли не руки ему целовал, умолял: дайте работу, но должен был несолоно хлебавши воротиться домой, поджав хвост.

Бируте без запинки выпалила: просадишь свой огород. Стирта ощетинился: не бойся, не посмеет и ара тронуть,

как ни крути, многодетная семья. Но, оставшись один, Пранюс подумал: может, и вправду со Стропусом шутки плохи, он тертый калач, что-то Пранюс не слыхивал, чтобы кто-нибудь его вокруг пальца обвел... Иные подтрунивали над Стиртой, подначивали: смотри, Пранюс, как бы тебе иждивенцем супруги не стать. Иждивенцем? Вы что — рехнулись? Тогда баба его совсем со свету сживет. Попробуй сорганизуй при ней бутылочку. Чем так, лучше петлю на шею — и под балку.

И вот Пранюс Стирта топает по размякшему картофельному полю с корзиной в руке. Поначалу он подался на сахарную свеклу, к старику Сартокасу — противная работа, но все-таки более или менее чистая,— но Стропус погнал его на картошку. Там, где плуг прошел, где клубни наверх выворочены, там уже и вода сочится. Сапоги засасывает, едва ноги переставляешь, весь по колено в глине. А тут еще корзину с картошкой тащи, и не только с картошкой — землищи столько прилипло! Мало того, ссыпай ее в мешки, а потом эти мешки, тоже грязные, насквозь промокшие, грузи на платформу, прицепленную к трактору. Уж Унте куда лучше: сидит себе за рулем — и пи-пи-пи... Конечно, и он весь день с мешками возится: то грузит на платформу, то помогает ссыпать картошку на складе, но все равно его работа не то что у Стирты — серьезная, подобающая мужику... А тут копошись, копайся в грязной жиже, пока какую-нибудь картофелину нашаришь, порой по ошибке камень выудишь, аж в глазах зелено. С утра до вечера спину не разгибаешь, поясницу так и ломит. К чертовой матери такое золотоискательство! Был бы ты на поле один, собрал бы то, что наверху лежит, что глаз видит, и — полный вперед, даже корзину на землю не ставил бы. Но вокруг люди, видят, следят, к тому же каждый из себя начальника строит, контролирует: то бригадир, то руководитель подотдела, то сам Стропус, готовый из-за паршивой картофелины горло перегрызть.

— Товарищ Стирта, смотри у меня! Слишком много оставляете,— остерегает Стропус, носком сапога порывшись в земле.

— Оставляю? Как не оставишь, председатель, ежели очки дома забыл! Зрение, председатель, хромает.

— Дело твое,— не очень сердится Стропус.— С борозды два мешка. Такова норма. А при желании можно и три собрать. Правление решило: все, что сверх нормы,— работающим на уборке.

Стирта не рвач, но тут же прикидывает, сколько буты-

лок «чернил» можно купить за мешок картошки. Черт с ней, с этой сверхнормой! Хотя кое-кто так целую тонну заработал...

Отдав распоряжения, одного поругав, другого похвалив, Андрюс Стропус сворачивает на полевую дорогу. Не магистральную, но посыпанную гравием, с канавами для стока воды. Нынче везде на колхозных полях такие дороги. Ухлопали на них немало, но через год-другой денежки окупятся, хотя вряд ли подсчитаешь, сколько техники было сломано, сколько топлива перерасходовано, сколько нервов испорчено, пока вязли в грязи.

— Так рано! — удивляется Габриеле.

— А разве не пора уже обедать?

— Пора, но я думала...

— Ты думала... Нет, голубок, в колхозной столовке пусть холостяки питаются, а отцу двоих детей негоже,— шутит Стропус, стаскивая в прихожей грязные сапоги.— Как наш наследник?

— Крикун,— тихо произносит Габриеле.— Тебе повезло, он только что заснул...

Пока Стропус переодевается в сухую одежду, умывается, причесывается, опрыскивает себя одеколоном, Габриеле небрежно накрывает на стол, и вот уже по дому плывут такие запахи, что слюнки текут. Но счастливому отцу не до запахов, он входит в спальню и застывает возле коляски, покрытой нарядным голубым покрывалом. В ней на белой пуховой подушке спит, запеленутый, как гусеница, его отпрыск. Стропус наклоняется и внимательно разглядывает розовое личико. Смотрит так долго, что ребенок, как бы почувствовав ласковый взгляд, расплывается в счастливой улыбке, и на его щечках появляются две симпатичные ямочки.

— Габи, эй, Габи! — шепотом зовет Стропус жену и манит ее пальцем.— Иди сюда. Скорее!

— Красивый будет хлопец,— говорит Габриеле, и улыбка застывает у нее на губах.

— Мы его назовем Аудрюсом. Небольшая замена букв в моем имени, а какой эффект! Хорошо придумано, не так ли?

— Я бы дала ему другое имя.

— Какое?

— Еще не знаю, но другое.

— Если хочешь, можно и другое.— Стропус послушен как никогда.— Потом разве важно, как мы его назовем? Самое важное, что у нас сын! А я, признаться, уже отчаял-

ся, думал, не дождемся наследника. Я человек не старорежимный, не суеверный, но как-то приятно знать, что фамилия Стропус не исчезнет.

За столом разговор заходит о колхозных делах. Габриеле рассеянно слушает мужа, изредка вставляя словечко. На лице у нее знакомое выражение скуки, но прежней враждебности нет, ее вытеснили странное сияние глаз, скрытая насмешка, время от времени проступающая на полураскрытых губах, отчего они в ту минуту кажутся такими чужими и отрешенными. Еще задолго до родов Габриеле очень изменилась, однако к тому, чем жил Стропус, все равно осталась безразлична. Сидит с ним и ругает проклятую осень, жалеет, что урожай вовремя не сняли, опоздали на целый месяц, но видит она не потери, причиненные непогодой, не беду, а только неудобства для себя: никуда, мол, в такую слякоть носа не высунешь, а выйдешь — и прощай туфельки.

Андрюс Стропус, тот все время себя подбадривает: все-таки все винтики крутятся быстрее, чем он надеялся. Люди-то оказались не такими, как он о них думал, а куда лучше. Задвигались, зашевелились. Раньше, до того, как разбушевалась стихия, каждого упрашивай, на каждом шагу агитируй, а теперь слово сказал — и мигом делают. Пенсионеры и те вышли на поля, чтобы хлеб от погибели спасти. Многие предложили свои избы и бани для просушки зерна, потому что колхозная сушилка с такой сумасшедшей нагрузкой не справится, такого еще не бывало, чтобы почти каждый колосок надо было у дождя отвоевывать. Если одними косами и жатками, то пол-урожая в поле останется. Но Антанас Гиринис, спасибо ему, молотилку усовершенствовал, очистку зерна ускорил... Казалось, никому не нужное ископаемое, музейный экспонат, а надо же — голова на плечах. И про свои прямые обязанности не забыл... Бывает же так, думаешь о человеке одно, а он совсем другой. Был для тебя вчера хламом последним, а сегодня, глядишь,—мужик, каких мало, хоть к награде представляй.

— Унте?!

— Да, он. Чего вытаращилась?

— Ничего...

— Как ничего? В зеркало посмотрись.

Андрюс Стропус отодвигается от стола. От его испепеляющего взгляда жена еще более пунцовеет. Красные пятна даже на груди, под распахнутым халатом.

— Не понимаю, чего пристаешь...— чуть не плачет.

— Не пристаю. Я просто вспомнил, что у вас с Гиринисом Унте хорошо дуэтом получалось.

— Ну и дурак же! — Габриеле подскакивает, задевает тарелку, та летит под стол.— С кем меня... Интеллигентку, учительницу!

У Андрюса Стропуса отлегло от сердца.

— Ну, ну. Подойди, поцелую...

III

Навстречу, грохоча, прет трактор с прицепом, до половины нагруженный мешками с картошкой.

Андрюс Стропус не замечает, как сворачивает на обочину и выключает мотор машины. Машет рукой, чтобы Унте остановился. Никакого дела у него к Гиринису нет, просто так задаст ему какой-нибудь вопрос, только пусть постоит, чтобы повнимательней в лицо ему всмотреться. В нос, в глаза, в губы... Идиотское любопытство, стыдно даже признаться.

— Езжай, езжай...— говорит Стропус раздраженно Унте, остановившему трактор.— Спросить у тебя хотел, но вижу... Все вижу! Езжай.

Унте пожимает плечами и уезжает по проселку. «Ну и чокнутый! Хотел, видно, краем глаза посмотреть, нет ли в кабине мешка краденой картошки. Осел! Неудивительно, что жена ему рога наставляет...»

При этой мысли Унте морщится, словно на больной зуб ледяной водой плеснули. Гм... Зря он тогда с этой учительницей связался. Хоть Стропус и осел, но зря. Правда, в тот день было так жарко и так кружилась голова от запаха сена... А в скирде была такая прохлада! И все время перед глазами мелькали оголенные колени Юргиты... Черт знает что с ним в тот день творилось...

Неделю, а может, и больше он без стыда не мог подумать об этой глупой истории. А примерно через месяц все снова повторилось. Он был под хмельком, а ласки Габриеле были такими нежными, поцелуи такими жаркими, что он и растаял как воск на обмолоченной комбайном копне соломы. В субботу была репетиция хора. Но он не пошел, чтобы не встретиться с Габриеле. А в понедельник она сама остановила его, когда он затемно возвращался с полей, где весь день сеял рожь; фары мотоцикла издали осветили фигуру женщины, она стояла посреди дороги, что-то выкрикивала и по-дурацки смеялась. Унте объехал ее, чуть не

угодив в канаву, обдав ее облаком удушливых выхлопных газов, и умчался.

— Хам ты, вот кто,— пристыдила она его на следующей репетиции хора.— Как ты ведешь себя с женщиной, которую недавно... Стропус прав, у тебя ни капли интеллигентности.

— Видно, хватает, если я сплю с женой интеллигента,— отрубил оскорбленный Унте.

— Не сплю, а спал. Большое значение имеет здесь, уважаемый, прошедшее время. Заруби себе это на носу,— предупредила его Габриеле, дав тем самым понять, что между ними ничего подобного больше не случится.

Домой они отправились врозь, но вышло так, что неподалеку от своего дома Унте чуть не налетел на Габриеле — та стояла возле колхозной бани.

Ударили сильные осенние заморозки, потом пошел снег, и все растаяло; похрустывая ледком по насту, приближался Новый год. Частенько после репетиции Унте с Габриеле задерживались, возвращались домой на час, на два позже других хористов. Не было в таких долгих задержках нужды, все могло быть короче, потому что после того он ни о чем другом не думал, как только незамеченным прийти домой к Салюте. Но на то, чтобы отряхнуть с одежды соломинки, чтобы придирчиво осмотреть, не осталось ли каких-нибудь подозрительных следов, требовалось время. Такие отношения с Габриеле угнетали Унте, порой он без отвращения и думать не мог об этих припадочных любовных ласках, но сколько ни зарекался не пить подпорченную плевками воду, все-таки пил ее, чтобы вскоре снова в нее плюнуть. Интимная близость оставляла у него чувство подавленности — казалось, совершил преступление, за которое рано или поздно будет держать ответ Однако отчасти это приносило ему и какое-то смутное удовлетворение... И не мог удержаться от злорадной улыбки при мысли, что этак он самым непотребным образом унижает Андрюса Стропуса, мстя ему не только за себя, но и за Бутгинасову обиду, хотя если бы Унте мог разобраться в своих чувствах, то понял бы, кто на самом деле толкнул его в объятия Габриеле.

На десятилетие со дня смерти матери приехал Даниелюс с Юргитой и сыном Лютаурасом.

Унте хмурился, смотрел, как отец, торжественный и собранный, молится за покойницу, и чувствовал себя как преступник в приличном обществе — только глянут в лицо и сразу опознают. Он надеялся, что Даниелюс не стерпит

и оборвет молитву, не желая мириться с пережитком прошлого, но брат почтительно слушал, как отец, а за ним все домочадцы повторяют ее слова. Пахло горящими свечами и еловыми ветками, лежащими перед каждым на белой скатерти. Над ними, как и над словами, витали воспоминания о родичах-покойниках, а вместе с воспоминаниями по комнате бродила тень покойной матери, скликавшая всех в один круг. И никто не обиделся на Даниелюса, когда он искренне сказал, что от старого бога, совершающего чудеса, ничего не осталось, кроме этого стола со свечками, зажженными в память покойной, этого ставшего обычаем обряда, который будет жить до тех пор, пока люди не придумают новые, отвечающие духу времени; ведь человек не может без корней, никогда его душа, как и дерево, не расцветет и не принесет плодов, если взять и отрезать ее от ствола. Юргита согласно кивала. Кивал и отец, хотя то, что говорил сын, было ему недоступно, а вот невестке он верил слепо. Унте вдруг подумал, что для старика Юргита значит не меньше, чем значила и для него, пока он не спутался с Габриеле. Ему стало дурно, даже пот прошиб при мысли о председательше. Он украдкой смотрел через стол, метя в Даниелюса, но то и дело попадая взглядом в Юргиту. Если бы она сидела на другом краю света, а не напротив, он все равно видел бы ее. Она была для него вездесущей. Такая красивая, в черной бархатной юбочке, в черной блузке со стоячим воротничком, обтягивавшей узкие, круглые плечи, на которые была небрежно накинута белая ажурная шаль с длинными кистями. Он подумал, что нет, наверное, такой одежды, которая не шла бы ей, нет такого украшения, которое не подчеркивало бы ее красоту, выделяя ее среди других женщин. А с этим золотым медальоном на груди она казалась просто мадонной. Нет, такую, как она, нигде не встретишь. В целом свете! Юстина спросила, что у нее в этом медальоне. Юргита, загадочно улыбаясь, открыла его и поднесла к губам. Потом сняла с шеи и пустила его по рукам, чтобы каждый посмотрел. Унте принял медальон от Салюте. Ему показалось, что цепочка теплая. Ну да, она согрелась на груди у Юргиты. А может, в руках, которые ее держали? Унте метнул взгляд на крохотную овальную фотокарточку Даниелюса в медальоне и, словно обжегшись, передал украшение отцу. Через силу глянул на Юргиту, на брата, счастливого, гордого, улыбающегося, и с завистью подумал, что Даниелюс, наверное, больше достоин счастья, чем он, Унте, запятнавший свою любовь в объятьях чужой женщины. То, что он не чувствует ника-

кой вины перед Салюте, словно она и не жена, его нисколько не удивляло, между тем Юргита все глубже проникала в сердце; не та, с соблазнительно оголенными бедрами на стремянке в вишняке, а та, первоначальная, приворожившая его пять лет назад, когда он впервые встретился с ней. И в этот святой поминальный вечер Унте снова видел ту, прежнюю, Юргиту — целомудренную, не запятнанную ни похотливой мыслью, ни тайным вожделением,— и он, не сводя с нее глаз, поднимал ее на одну ему доступную, созданную его бескорыстным чувством высоту.

На другой день в Доме культуры состоялся концерт колхозного хора. После концерта начались танцы. Унте постарался первым уйти домой — ему было не до танцев,— но на полпути его догнала Габриеле.

— Зря ты за мной...— сказал он.— Наша песенка спета.

— Стряслось что? — испугалась она.

— Спета, и все. Неужто тебе пяти месяцев барахтанья в грязи мало?

— Боишься, как бы Стропус не узнал? — уколола она.— Эх ты, слюнтяй! А я-то думала, эти штаны мужчина носит...

— Заткнись,— проворчал Унте.

— Он, видите ли, в грязи барахтается! — вскипела Габриеле.— А ты хоть знаешь, что, барахтаясь в этой грязи, ты мне ребеночка подарил?

— Я?! — остолбенел Унте.

— А кто же? Может, святой Антоний? Да, я беременна, благодетель.

— Ну, знаешь... ну знаешь...— пробормотал Унте, извиваясь как угорь.— Как же так... ткнула пальцем в меня — виновен, и кончено! А где эти пять месяцев Стропус был? Неужто ты с ним ни одной ночки? А может, эта честь принадлежит ему?

— Пяти месяцев не потребовалось, хватило и разочка, ты, недотепа. А разочек этот в ноябре был. На всякий случай вторую половину октября и начало декабря добавь. Стропус тогда ко мне даже не прикасался. Стропусом, видите ли, откупиться решил. Негодяй! — И Габриеле, не сдержав ярости, так ударила Унте по лицу, что кровь хлынула из носу.

Унте нагнул голову, шмыгнул носом, но за платком не полез: пусть себе течет, пусть вытечет вся до последней капли, если уж он в такой переплет попал! Наградить чужую семью своим ребенком... Да еще чью — Стропусов!

Несколько дней Унте ломал голову, что же делать. Когда же наконец он нашел выход, минул Новый год. Каждый день он выходил из дому в надежде встретиться с Габриеле, а та, как назло, не показывалась. Унте думал, что увидит ее на ближайшей репетиции хора. Но увы... Юркус чуть ли не со слезами на глазах объявил: товарищ Стропене ушла из хора, и сейчас вся программа ложится на плечи одного солиста — товарища Гириниса. Унте только обрадовался, он не представлял себе, как после всего можно петь дуэтом с «товарищ Стропене».

Встретились же они совершенно случайно где-то в середине января. Унте возвращался из колхозного сельпо, а Габриеле шла навстречу. На ней была нутриевая шубка, на голове шапка из того же меха, а на ногах красные сапожки. Она холодно поздоровалась, ответив на его приветствие, хотела было пройти мимо, но Унте обернулся и, буркнув, что надо поговорить, пристроился рядом.

— Здорово ты тогда мне съездила,— сказал он, не зная, с чего начать.— Крови, почитай, поварешку потерял...

— Крови? — удивилась Габриеле.— Неужто у тебя она есть? А я-то думала, в твоих жилах течет газоль пополам с водкой...

— В самом деле? — так же насмешливо, как она, переспросил Унте.— Так кого же ты собираешься рожать — ребенка или трактор? Махонький такой тракторишко... О, тогда я могу быть совершенно спокоен.

— Не паясничай,— посерьезнела Габриеле.— И уйми дрожь в коленках: у тебя из-за ребенка не будет никаких неприятностей. Стропусу я пока что ничего не сказала, но если все всплывет, я постараюсь его убедить, что отец — он.

— А как же ты сама? — спросил Унте.— Тебя что, совесть не замучает — ребенок все-таки чужой?

— Почему чужой? Ведь я его на свет рожу, а не кто-нибудь.

— А я?

— Твое дело сторона. Выпал, как роса поутру. Подул ветер — и сухо.

— Как сухо? Ведь я отец, я дал ребенку жизнь. И наравне с тобой отвечаю за его будущее. А теперь получится, что этот ребенок какой-то подкидыш, что у него отца родного нет. Бросил под забор и ушел. Уж ежели так, то не лучше ли, чтобы он вообще света белого не увидел...

Габриеле нервно рассмеялась.

— Смотри-ка, что придумал. Выходит, лучше убить, чем уступить Стропусу! Вот не думала, Унте, что ты такой страшный человек.

— Какое же здесь убийство, если, как говорится, он только зачат? Не чувствует, не мыслит, не живет...— Унте помолчал, пытаясь сосредоточиться и свободной рукой дергая полы ватника.— А если он вырастет недотепой, похожим на вас со Стропусом,— это лучше?

— Знаешь, ты сейчас снова схлопочешь по носу,— сказала Габриеле, краснея от злости.— У нас ему будет хорошо, он будет сыт, обут, воспитан, а у тебя он вырос бы таким же олухом, неучем, хамом, как ты.

— Может быть,— спокойно ответил Унте,— но я не хочу, чтобы этот ребенок был похож на вас... А почему, объяснить не могу... Просто чую сердцем, и все. Не хочу!

— Не хочет! Граф нашелся! — рассвирепела Габриеле и уже не шла, а почти бежала, и длинноногий Унте едва поспевал за ней.— Уж только поэтому возьму и рожу. Тебе назло. Пусть живет и глаза тебе колет. Да, теперь уже ни за что, хоть соловьем заливайся, меня не отговоришь.

— Назло,— пробормотал Унте.— Если так, то я тоже могу отомстить тебе: схожу к Стропусу и расскажу всю правду,— пригрозил он, зная, что и пикнуть не посмеет, потому что для него нет ничего страшнее, чем осрамиться перед Юргитой.

— Пошли! Хоть сейчас идем к нему, и выложишь ему все, что хочешь.— Габриеле ехидно рассмеялась.— Стропус никогда не поверит, что я так низко пала. Подумать только — с Гиринисом! С Унте! А если он и поверит, у него хватит ума, чтобы и виду не показать. Ты его, бедняга, плохо знаешь, если думаешь, что, узнав правду, он выставит свою жену за дверь. Нет, он поднимет меня, как кренделек, упавший в грязь, оботрет и снова будет есть, словно кренделек и не падал. Это дело его мужской чести.

— Чести...— Унте растерянно покачал головой.— Я не понимаю такой чести. Что же, вы оба — очень подходящая пара. Как две капли воды: один — двурушник и другая — двурушница.

— А ты?

— Может, и я не лучше,— согласился Унте.— Скорее всего, если уж так запутался. Но я из этого хоть добродетели не делаю.

Габриеле ничего не ответила. Свежий снег хрустел под ногами, воскрешая в памяти что-то давнее, испытанное, и от этой звенящей белизны, залившей все вокруг и прони-

кавшей в сердце унылыми одинокими тенями, становилось удивительно грустно. Просто не верилось, что так нелепо кончится их история, и то не по ее, Габриеле, вине, а из-за Унте; может, потому она так злилась на него, но все-таки изредка нежное материнское чувство к зачатой жизни окатывало теплом, казалось, вернулись те счастливые дни, когда она, молодая, ждала Пярле и когда Стропус ее еще, видно, любил. Она, конечно, тогда могла и ошибиться по неопытности, но что поделаешь. Важно, что они оба чувствовали себя счастливыми. Габриеле думала, что и сейчас, перед этими родами, что-то похожее повторится. Эти глупые мечты Габриеле не лелеяла, но и не могла заглушить их. Зов материнства смешивался со смутными надеждами и желанием отомстить Стропусу («Что заслужил, то и получил, расти теперь чужого ребенка...»). Габриеле без раздумий подчинилась этому зову, ни разу не подумав о том, чтобы прервать беременность; подсознательно в ней жило предчувствие, что только оно, это греховное семя, упавшее на пустырь ее одиночества, может изменить окружающую обстановку, сделать ее не столько благоприятной, сколько другой. Да, главное — другой.

Деревня с обеих сторон дороги глядела на них через окна, а они шли молча, каждый думая о своем, пока Унте первым не нарушил звенящую тишину:

— Будь здорова.

И свернул в свой двор. Перед этим он успел украдкой глянуть в лицо Габриеле: в ее глазах стояли слезы.

IV

В тот же вечер Унте, не находивший себе места, отправился к Бутгинасам.

Ляонас искренне обрадовался, увидев друга, и как истый хозяин велел Руте выставить на стол угощение. Та, привыкшая за долгие годы командовать в доме, обиделась и куда-то удалилась, многозначительно хлопнув дверьми: мол, ты и сам прекрасно знаешь, где что стоит!

Дети на кухне делали уроки, настроение у них до этого было отличное, потому что родители обещали после ужина устроить концерт. Теперь же, когда дело приняло такой оборот, придется лечь спать не только без музыки, но и без оладьев, которые мама собиралась завести на дрожжах.

Унте хотел было уйти, увидев, что взбаламутил покой в семье, но Ляонас Бутгинас забрал у него шапку и насиль-

но усадил («Иначе ты мне не друг...»), а сам стал накрывать на стол. Унте терпеливо ждал, глядя, как Ляонас, разозлившись на жену, тащит закуски, и удивился: «Уму непостижимо, тот ли это Ляонас, который столько лет жил, держась за подол жены?! Даниелюс хорошо сказал: жизнь творит чудеса».

— Нелады у нас,— сказал Бутгинас, угадав мысли Унте.— Иногда вроде бы ничего, но и дня не проходит, чтобы не поцапались. Вот и сегодня: могла же как человек. Ведь это женское дело — угощение... Да еще такому близкому человеку, как ты. Так нет же, обиделась на мою просьбу и упорхнула в деревню. Хочет меня на колени поставить, верховодить, как раньше. Нет! Будем на равных, пусть каждый делает, что положено — мне по мужской части, ей по женской, и порядок.

— Не любишь ты ее,— буркнул Унте, отхлебнув из стакана польской водки, которую, видать, держали для другого случая, но Ляонас взял и в отместку нарочно выставил на стол.

— Не строй из себя уж такого знатока чужих сердец,— рассердился Бутгинас.— Любовь — не камфора, не улетучивается. Много ты, Унте, понимаешь в сердечных делах...

— Почему не понимаю? — набычился Унте.— По-твоему, я не знаю, что такое любовь?

— Знаешь, знаешь, успокойся.— Бутгинас подвинул гостю тарелку с неровно нарезанной ветчиной.— Но, видишь ли, в жизни порой бывает так, что человек сам себя не узнает. Скажем, я. Когда-то я мог ей ноги мыть и воду пить, а теперь пальцем для нее пошевелишь и чувствуешь себя униженным. Не-ет, пусть все сама, как и подобает! Хватит! Порой так взыграет ретивое, что хочется все делать ей наперекор, каждый пустяк, а порой обмякнешь, как воск на огне, кажется, вот-вот упадешь на колени, начнешь ей снова служить и будешь счастлив, как раньше.— У Бутгинаса увлажнились глаза.— Э, поди разберись, Унте, в человеческих чувствах. Спутались, смешались, как нити с размотавшегося клубка, попробуй найти конец, распутай.

— То-то и оно, что запутались,— согласился Унте, вспомнив Габриеле.— Идешь вроде бы по ровной дороге, и тебе и в голову не придет, что нечистый тебе ножку подставит. Ан нет, подставляет. И летишь, брат, кувырком в болото, откуда сухим не выберешься.

— Так что, у тебя с Салюте тоже худо? — как бы обрадовался Бутгинас.— По правде говоря, вы никогда и не ворковали, как голубочки.

— Живем, детей растим, и все. На кой черт ворковать? — Унте замолк, устыдившись своей неискренности, и, заметив ухмылку Ляонаса, добавил: — С другой, может, и ворковал бы, но с Салюте... То-то... не каждому удается найти свою горлицу.

— Любовь — великая штука, Унте,— погрустнел Бутгинас, глядя на выпитый стаканчик.— Кто однажды ее испытал и потерял, всю жизнь будет оплакивать.

— Красиво говоришь. Умеешь. Не зря в предсельсовета ходишь,— добродушно усмехнулся Унте.

— А ты не смейся. Молод еще, когда-нибудь на собственной шкуре испытаешь. Ведь бывает и так: кого любовь в юности обошла, того в старости разыщет.

— Бывает,— вздохнул Унте.— Жизнь как свалка — чего только в ней не раскопаешь.

Он взял отпитый до половины стаканчик, поднес к губам, подержал, повертел, согрел в ладонях и снова поставил на стол. Перед глазами как живая стояла Юргита. Унте так и подмывало все рассказать Ляонасу. Расскажет и, кажется, гору с плеч свалит. Но он вдруг испугался, смекнув, что это кощунство — делиться с другим тем, что принадлежит тебе одному и составляет чуть ли не смысл твоей жизни. Нет, пусть это останется в сердце, за семью замками, как святыня в алтаре: если ее и извлекают на свет божий, то только для того, чтобы перед ней преклониться. Унте умом, может, и не понимал, но чутье ему подсказывало, что никто перед его любовью преклоняться не станет, ее, скорее, осквернят, поглумятся над ней, потому что таков уж человек — возьмет да унизит то, что самому недоступно.

— Ну чего замолк? Давай выпьем,— засуетился Бутгинас и налил в стакан Унте.— Почему это — я все время по полной, а ты все время по половинке?

— Не хочу. Я свое отпил.

— Ладно, не пей. За это тебя, дружище, только похвалить можно.— Бутгинас снова опрокинул свой стаканчик до дна.— А я стал перебарщивать. Все ссорюсь с Рутой, нервы не выдерживают. Вот и заливаю для успокоения. Знаю, от этого никому не легче. Стараюсь держаться, но ничего из этого не получается.

— И не получится, если не противиться. И со мной так раньше было: клялся всеми святыми, мол, больше ни капли, а, глядишь, пройдет неделя-другая, и я снова готов, шатаюсь по канавам, по болотам, в глазах темно... Меры не знал. Чем больше, бывало, хмелею, тем чаще за рюмку хватаюсь, а надо бы наоборот. Но уж если разошелся разве

остановишься. Сам себя, бывало, приструнивал, как коня, которого первый раз запрягли: тише, не дури, не мечись в оглоблях, а нечистый только похихикивает, только подзуживает: веселья в жизни, Унте, что кот наплакал, дуй дальше до победного конца. И я дул. А нынче на встрече Нового года заартачился и...

— ...и ни капельки?

— Так легче. Пока не начал, и не надо. Нечистый, конечно, искушает, но ежели ты не отведал его зелья, то еще можешь отбояриться. Но попробуй удержаться, когда лицо уже пунцовое и в затылке стучит. А я на Новый год взял да и удержался,— похвастался Унте, разомлев от польской водки и пытаясь свыкнуться с мыслью, что пора вставать из-за стола.

Ушел он, изрядно выпив. Бутгинас упрашивал его, обещал открыть новую бутылку (ясное дело, из мести к Руте, которой все еще не было), но Унте — нет и нет: дал себе слово с Нового года пить столько, чтобы свиньей не стать. Но когда он оказался во дворе, то и сам не заметил, как зашагал к бане, словно кто-то накинул ему веревку на шею и приволок к окну комнатенки Мармы; некоторое время Унте переминался с ноги на ногу, как бы норовя сорваться с привязи, негромко ругался, зубами клацал, то требуя, чтобы банщик проснулся, то желая ему, чтобы заснул навеки. Наконец он все-таки сорвался с привязи и чуть не заплакал от радости, почувствовав волю. Смрад этот Марма, смрад его водка, все смрад! Ура! Он мчался домой как угорелый, но когда опомнился, то увидел, что стоит возле Гайлюсовой усадьбы. Сплюнул и снова пустился куда глаза глядят. Побродил часа три, вернулся к Салюте почти трезвый и вконец измочаленный. Было приятно оттого, что поборол себя, правда, не знал, куда деться от злости и головной боли. Однако на другой день расхаживал гордый, выпятив грудь, и хвастался домочадцам, что не может без отвращения думать о водке, хотя на самом деле похмелье затягивало его, как прорубь утопленника.

Собутыльники посмеивались: испортился Унте Гиринис; был настоящий мужик, мог зараз две бутылки выпить, а теперь уже рюмашки считает, как бухгалтер колхозный приплод,— некуда дружкам от стыда глаза девать.

Унте такие разговоры приводили в ярость, он едва сдерживался, чтобы не дать злопыхателям в морду, и решил еще крепче «завязать», потому что любил действовать всем наперекор.

Так прошла зима, настала весна. Равнины запахли первыми прокосами клевера. Из Вильнюса приехали телевизионщики. Сняли Унте на тракторе, со Стропусом у колхозной конторы, потом в зале Дома культуры, где он должен был спеть несколько старинных песен. Саулюс Юркус выразил сожаление, что телевидение не приехало раньше, когда еще пела Габриеле,— товарищи могли бы снять удивительный дуэт. Правда, оба они исполняли только современные песни, а старинные никто так не выводит, как Антанас Гиринис. Один из приезжих ухватился за слова Юркуса и предложил пригласить товарищ Стропене («Не важно, что она больше в хоре не поет...»), но Унте и слышать не хотел о дуэте. Все, что произошло между ним и Габриеле, которую он когда-то чуть ли не презирал, казалось ему какой-то нелепой выдумкой, созданной его взбудораженным от алкоголя воображением. Порой ему почти удавалось убедить себя, что так оно и есть, но, услышав пересуды людей или увидев полнеющую с каждым днем Габриеле, он должен был признать свое поражение. Т а м, под платьем, его ребенок! Было странно и неспокойно на душе оттого, что у ребенка будет другая фамилия, другой отец, который вовсе не отец ему, словом, совсем не такая судьба, какая могла у него быть, живи он с родным отцом. Бывает же такое в жизни! Вырос ты на своих равнинах, как лесное дерево, семена которого занес сюда ветер, а ведь мог же корни пустить и где-нибудь в Африке среди слонов и жирафов или где-нибудь в сибирских снегах, ежели бы ветры судьбы занесли туда твоего отца. А Юргита? Почему такая женщина должна была родиться в большом городе, в интеллигентной семье, а не под соломенной Пирсдягисовой кровлей, там, где выросла Салюте? Кормила бы она сейчас гусей, была бы любимой женой, хозяйкой, и Даниелюс только издали... при виде ее слюнки бы пускал... Н-да-а-а, будь она Салюте Пирсдягите... Но разве лебедь может вылупиться из куриного яйца? Ну и дубина же ты, Унте, стоеросовая! Разве на кусте крапивы вырастишь розу... И вправду совсем свихнулся! Человек не выбирает ни счастье, ни несчастье, они к нему сами, непрошеные, приходят. Скажем, Гайлюсы. Разве не хотелось им спокойно дожить свой век и умереть в постели при свете погребальных свечей? То же можно сказать об Альбертасе, которого алчность сделала отцеубийцей (хотя в этом деле еще много неясного); да и доля Мармы не слаще: приехала мать Живиле, и выяснилось, что это та самая женщина, с которой он в молодости дочь прижил. Несчастье не обошло

стороной и Даниелюса, хотя он совсем его не ждал в тот пригожий летний вечер, когда вместе с Андрюсом Стропусом возвращался со стройки.

О несчастье, случившемся с братом, Унте узнал сразу же, но увидеть его не удалось, потому что, когда он помчался на мотоцикле в Епушотас, Даниелюса уже увезли в Вильнюс. Алюте всхлипывала у дверей, взывая ко всем святым, и нельзя было понять, кого ей больше жалко — «нашего дорогого секретаря» или «дорогушу, родненькую хозяйку», которая уехала на «скорой помощи», чтобы ухаживать за мужем и слезы лить.

На другой день Унте позвонил в Вильнюс. Не по своей воле, а по слезным просьбам домочадцев, потому что сам он не любил и не умел говорить по телефону. Дежурная сестра ответила, что больной пока что без сознания. Назавтра повторилось то же самое. Дела брата, видать, совсем плохи, мелькнуло у Унте... да, всякое может случиться... И вдруг его обжег стыд: как он может так спокойно думать о смерти близкого человека. Но ничего с собой поделать не мог: все эти дни он все равно больше думал о Юргите, чем о Даниелюсе.

Однажды дежурная сестра предложила ему поговорить с Юргитой, которая находилась рядом. Столько не виделись, и вдруг после такой беды — говори! Когда ты с человеком с глазу на глаз, то порой стоит бросить взгляд, кашлянуть, многозначительно помолчать, и тебя понимают, а когда по телефону говоришь, то чувствуешь, словно перед тобой железная стена... Услышав ее голос, Унте почти онемел. Наконец промямлил что-то. Как Юргита ни старалась, он все равно почувствовал в ее голосе приглушенные рыдания и положил трубку, даже не сказав «до свиданья». Только на полпути к дому пришел в себя и стал вспоминать, что она ему говорила. Как и обещала по телефону, Юргита через несколько дней вернулась в Епушотас, а потом приехала в Дягимай. Она осунулась, но держалась бодро, хотя старик Гиринис сразу же своим цепким взглядом заметил, что невестка притворяется, желая успокоить его. Унте слушал рассказы Юргиты, одобрительно кивал головой и ждал, когда же она, как тогда по телефону, предложит ему поехать в больницу к Даниелюсу.

Уехали они в субботу. Разнаряженный, надушенный дорогим одеколоном Люткус сидел за рулем, Юргита — рядом, а Унте с Юстиной устроились на заднем сиденье. И отец с Бируте хотели поехать, но Юргита отговорила старика: поездка, мол, может повредить его забарахливше-

му сердцу, а Бируте не решилась оставить дом и детей на попечение мужа, который, как и раньше, преданно служил зеленому змию. Решили, что отец и Бируте навестят Даниелюса в другой раз, а Унте присмотрит за Стиртами и за своим домом. Но пока они собирались, Даниелюс начал ходить, и старик Гиринис, успокоившись, решил подождать, пока сын совсем выздоровеет и вернется в Епушотас.

В другой раз Унте отправился в больницу к Даниелюсу и без Юстины, и без Бируте — та снова не могла вырваться из дому. Люткус всю дорогу корректно молчал, коротко и вежливо отвечая только на вопросы. Юргита погрузилась в свои мысли и почти не замечала устроившегося за спиной попутчика. Унте испуганно вздрагивал, краснел от ее голоса и притворялся спящим. Было удивительно хорошо молчать, смотреть на ее черноволосую головку, откинувшуюся на спинку сиденья, и чувствовать нежный аромат духов. Мимо, как во сне, проносились поля с разбросанными на них поселками, стадами, со снующими машинами, с блеклыми озимыми, которые, отяжелев от влаги, клонились к земле под пасмурным небом уходящего лета.

Даниелюс не мог найти себе места: пора начинать косовицу, а метеорологи ничего хорошего не сулят. Он ходил по палате, стуча костылями, волоча ногу в гипсе, и, когда посетители его успокаивали, тряс головой и грозил высшими карами тем, по чьей вине человек вынужден сменить живую работу на больничную койку.

Унте хотел сказать, что он полностью разделяет гнев брата — мало их всех повесить, надо бы прилюдно жилы вытянуть, чтобы другим неповадно было,— но стеснялся других посетителей, пришедших раньше его: товарищей Клигаса и Малдейкиса. Поэтому сидел съежившись в уголочке у окна и тихо слушал, вздрагивая всякий раз, когда в разговор вмешивалась Юргита.

Юргита. Ты поправляешься не по дням, а по часам...

Даниелюс. Да, я сейчас себя чувствую неплохо. Если бы не эта гипсовая колодка...

Товарищ Клигас. Радуйся, что так кончилось.

Малдейкис. Конечно, конечно. Когда суешь голову под топор, не удивляйся, если лоб рассекут.

Даниелюс. Человек до последней минуты не знает, как поступить в такой момент.

Товарищ Клигас. Знает, товарищ Даниелюс, хотя возможно, и не дает себе в том отчета. Наши поступки запрограммированы, все зависит от наших убеждений, тем-

иерамента, жизненного опыта... Если человек бежит, оставив товарища в несчастье, то не потому, что у него длинные ноги...

Юргита. ...которые подгоняет инстинкт самосохранения и необузданный эгоизм.

Малдейкис. А может, здравый рассудок, вынужденный мгновенно решать: либо броситься в огонь, либо разумно отступить, хотя кое-кто такое отступление склонен называть предательством.

Юргита. По-моему, в таких случаях первенство должно быть отдано сердцу. Когда утопающий взывает о помощи, некогда рассуждать, стоит ли ему протягивать руку, и дрожать от мысли, как бы обоим не пойти ко дну.

Малдейкис. Это личная точка зрения.

Даниелюс. В самом деле?

Малдейкис. Есть еще государственная. Государству не все равно — один или двое пойдут ко дну. Был случай, когда погиб очень полезный товарищ, бросившийся спасать другого. А спасенный оказался закоренелым бандитом, отсидевшим пятнадцать лет за убийство.

Товарищ Клигас. Да, ужасная история. Но это только случайность. Неужто вы, товарищ Малдейкис, полагаете, что этим можно оправдать бесчеловечный поступок?

Малдейкис. Что вы, товарищ Клигас! Напротив! Это я так, к примеру. Кому не ясно, что долг каждого человека... Постарайтесь меня правильно понять, товарищ Клигас. Я потрясен до глубины души, я этих негодяев готов в порошок стереть, ведь Даниелюс не просто мой знакомый, его несчастье не может меня не волновать.

Товарищ Клигас согласился, что несчастье и вправду ужасное, но теперь, когда все уже позади, не мешало бы вспомнить пословицу: нет худа без добра. Так и в этом случае — человек столкнулся с испытанием и показал, чего он действительно стоит, раскрыл то, чего в нем до сих пор не замечали. И тут же товарищ Клигас принялся рассказывать о затянувшемся строительстве фабрики в Гедвайняй, о том, что вряд ли в начале квартала будет пущена первая линия. Так что товарищ Гиринис был абсолютно прав, когда сигнализировал, прав, хотя те, кто навязал ему свою волю, и не хотят этого признать.

— Акции Даниелюса растут,— сказал Малдейкис, покинув вместе с Юргитой и Унте больницу и предложив им пообедать в ресторане.— Готов биться об заклад, что его переведут в Вильнюс. После нескольких лет добровольной ссылки вы, Юргита, вернетесь к нормальной жизни. Ведь вы не станете отрицать, что в этом захолустье чувствуете себя, как канарейка в клетке?

— Нет, не стану,— искренне призналась Юргита, рассеянно разглядывая меню.— Думаете, это так просто: вырвал из городского асфальта дерево и перенес в провинциальную березовую рощу? В городе мои корни, пусть я и оторвалась от них, но они мои. Трудно укорениться на чужой почве.

«Это не ее слова,— подумал Унте, сердясь на Малдейкиса за то, что тот примазался к ним.— Точно так же о ней сказал когда-то Даниелюс, только, кажется, сравнил не с деревом, а с цветком».

— Ну вот, видите,— не унимался Малдейкис, стараясь расшевелить хмурую Юргиту.— Снова в город своего детства, и будете счастливы.

— С Даниелюсом я везде счастлива.

Малдейкис нетерпеливо махнул рукой, словно хотел что-то сказать, но сдержался и только многозначительно улыбнулся («Говорите, говорите, но мы-то знаем, как на самом деле...»).

Юргита вспомнила, что не раз говорила Даниелюсу, что чувствует себя чужой в Епушотасе и никогда, наверное, не будет здесь счастливой. Не выболтал ли это Малдейкису сам Даниелюс в редкие минуты откровенности, когда, доверившись искренности собеседника, мог открыть душу не очень достойному человеку.

— Могу повторить: с Даниелюсом я везде счастлива,— сказала она, глядя Малдейкису прямо в глаза.

— Хорошо, будьте счастливы.— Малдейкис глубоко вздохнул, помолчал, покосился на Унте, как бы прикинув, стоит ли при нем заводить такие разговоры. Наконец решился:— Возможно, правильно говорят, что каждый — кузнец своего счастья. Давайте же ковать его и верить, что самый близкий человек — единственный на свете. Давайте вместе с другими из него делать мученика и героя, даже если здравый рассудок противится этому... Я лично считаю, что героический поступок должен привести к эффективному результату.— Малдейкис перевел дух и продолжал:— Матросов закрыл грудью амбразуру и заставил замолчать вражеский пулемет, тем самым он спас жизнь не одному

своему товарищу. А связываться с хулиганами из-за какой-то девки, которую каждый запросто тащит в кусты, это... Скажете, он этого не знал? Скажете, поступил как рыцарь и тому подобное?.. Пусть так! Но прежде всего он должен был подумать о себе, о том, что нужен обществу, и конечно же о вас, любимой женщине. А если бы Даниелюс погиб? Ведь он мог бы пройти спокойно мимо.

— Он не был бы Даниелюсом, если бы прошел мимо. Был бы чужим человеком, и мы бы никогда в жизни не встретились.

— Вы особенная женщина.— Малдейкис поднес к губам свою рюмку и, потягивая, выпил ее до дна. Унте тоже. Только Юргита равнодушно ковыряла вилкой салат.— Я это давно заметил. В ту минуту, когда мы познакомились. Даниелюс родился под счастливой звездой.

— Когда вы познакомились? Когда же это было? — глупо спросил Унте, лихорадочно искавший повод вмешаться в разговор, потому что чувствовал себя чужим и ненужным.

Малдейкис изобразил на своем лице удивление, посмотрел на него свысока и осклабился:

— Когда-то! Когда царили хорошее настроение, светлые надежды и красивая женщина!

— Тогда товарищ Малдейкис думал, что я не достойна Даниелюса,— ответила Юргита, уважительно глянув на Унте, который, покраснев до ушей, опустил низко голову.

— Н будьте жестокой. Я сразу заметил, что вы особенная женщина. А я простой смертный.

Малдейкис вдруг замолк и принялся за еду.

Унте, вспотев от волнения, глядел на них исподлобья, потому что, как он ни старался, все у него получалось не так. Дома, кажется, умел держать себя за столом и за острым словцом в карман не лез, а здесь был сам не свой. А если что и говорил, то просто курам на смех. Нож был удивительно тупой, вилка скрежетала, неподатливый бифштекс скользил по тарелке, Унте чуть было не перевернул ее. А уж столик как на курьих ножках — только задень, и качается во все стороны; от стыда хоть вой, когда на скатерть то суп прольешь, то коньяк из налитой доверху рюмки. Унте с завистью смотрел на Малдейкиса: как любезно говорит он с Юргитой, как услужливо протягивает ей хлеб, как чинно подносит фужер с минеральной водой, тотчас угадывая малейшее ее желание!

— Товарищ Антанас,— повернулся он вдруг к Унте.—

Вы когда-нибудь любили всерьез? Такую женщину, которая приковывает к себе ваше сердце, связывает вам руки, и кажется, что погибнете, если не вырветесь на волю?

Унте смешался, пожал плечами, пробормотал что-то. В голове вдруг мелькнуло: «Да, я такую люблю. Но не гибну, мне хорошо, что она есть. И трудно. Очень трудно. Но пусть эта добрая ноша не покидает меня, пока я живу на земле».

— Вы любите женщину, а ей все равно. Нет, она вас просто презирает. И вдруг слово берет ваша мужская гордость. Погодите, грозится эта гордость, я в ваших глазах такой и сякой — карьерист, перестраховщик, ничтожество. Еще посмотрим! Когда-нибудь вы вспомните меня и должны будете признать, что горько ошибались. Я вам докажу, что я лучше, чем кажусь.— Последние слова Малдейкис произнес, повернувшись к Юргите, на губах которой сияла улыбка.— Вот видишь, товарищ Антанас, чем все кончается, когда любишь такую женщину. Она делает тебя несчастным, но и более добрым, однако это слишком скромная награда за отвергнутую любовь. И все-таки награда.

— Если то, что вы сейчас сказали, правда, та женщина может гордиться,— тихо промолвила Юргита.— Не так уж часто удается сделать добрее испорченного человека.

— Испорченного? И это после всего, что вы услышали? — Малдейкис не скрывал своего разочарования.— Ваше неверие убийственно!

— Хорошо, попробую поверить. За ваши успехи, товарищ Аполинарас. Куда бы вас судьба ни занесла, будьте всюду счастливы,— попыталась пошутить Юргита.

Все трое подняли рюмки, чокнулись. Унте даже пролил немного, так сильно ударил,— лаукувский секретарь начинал даже нравиться ему, особенно после его проповеди, с которой он обратился к нему, как к равному.

— Счастливы... Не надо иронизировать, милая.— Малдейкис вдруг нахмурился и, неразговорчивый, рассеянный, стал искать взглядом официанта. А когда тот подошел, сам расплатился, властно приказав Унте спрятать бумажник в карман.— Позвольте откланяться,— сказал он загробным голосом, когда все вышли из ресторана.— Живите! — Он по-мужски пожал Унте руку и, наклонившись к Юргите, неожиданно чмокнул ее в щеку.

V

Унте не возьмет в толк — сон ли это или явь. Но перед глазами отчетливо белеет бескрайнее, чуть заснеженное поле, по которому тянется, убегает грязная стежка следов. Неужто это он прошел тут босиком? Только что. Даже пальцы на ногах от стужи закоченели. Все так подлинно, зримо, что так и подмывает встать и высунуться в окно — может, и впрямь снег выпал. Но Унте боится разбудить Салюте, которая шмыгает во сне носом. Разбуди ее, она и прилипнет! А Унте не до того, словно рядом не женщина, а какой-то комод, отслуживший свой срок.

Унте лежит неподвижно, напрягая слух. Что-то вроде бы не так, как бывало раньше, когда просыпался. Как будто слышишь чей-то разговор за стеной и мучишься оттого, что угадать не можешь, кто говорит. И вдруг его осеняет: больше не льет! Вот уже неделю не слышно, как назойливо стучат капли, падающие с крыши, которая осенью почти не просыхала,— так редко появлялось солнце. Устоялись в полях лужи, подсохли дороги, хотя Скардупис еще не вернулся в свое русло. И пускай! Не беда, если кое-где вода прибьет клевер к земле и озимых несколькими гектарами меньше будет, чем в прошлом году. Стропус хитер, что-нибудь придумает, чем-нибудь заткнет эту брешь, засеет весной подпорченную землю летней пшеницей. По сравнению с тем, какой убыток понес бы колхоз, если бы сгнила даже десятая доля урожая, это пустяки. А теперь чин чинарем, все спокойненько свезли под крышу — зерно, корнеплоды,— малую толику не удалось отвоевать у грязи. Стропус пыжится как индюк: такие, мол, условия, а средняя урожайность не меньше, чем в прошлом году! Как будто он ее один, эту среднюю урожайность, выжал. Но золотую звездочку прицепят ему одному, это уж точно; все об этом только и говорят: будет в Дягимай и второй Герой. Что и когда будет, это еще неизвестно, но Стропус уже сегодня закатывает пир колхозникам. А ведь такой жмот! И впрямь неслыханно. Закатывает, конечно, не за свои денежки, но кто не знает, что и колхозной копейки у Стропуса зубами не вырвешь?

Унте думает о сегодняшнем пиршестве, и мысли о нем совсем прогоняют сон. Это будет не просто выпивка с песнями на дармовщинку, а настоящий праздник. Тем, кто отличился на осенних работах, премии дадут. Будет играть духовой оркестр из Епушотаса. Правда, и своим, дягимайцам, разрешат дудеть, но тем доверили главную часть тор-

жества. Со всего района Стропус всех председателей колхозов пригласил. Из Епушотаса, само собой, начальство пожалует. Так что Даниелюса с Юргитой жди, хоть Даниелюс еще прихрамывает, ходит с палочкой. Люди говорят, будто и из Вильнюса кое-кто явится. Ну, Стропус уж если развернется, то развернется, земля вокруг дрожать будет. А ведь такой жмот! О всяких там пирушках-вечерушках и слышать не хотел, для него каждое увеселение — пустая трата времени и денег. Вот что значит: сын у человека родился, да еще золотая звездочка перед глазами засветила, она ему столько лет по ночам снилась...

Салюте уже не шмыгает, а храпит и даже икает. Унте осторожно отодвигается на край кровати. Ну уж под такую музыку можно и посмелей вылезать из-под одеяла — все равно не почувствует.

Унте влез в штаны, сунул ноги в деревянные башмаки — клумпы, заменяющие шлепанцы, и тихонько двинулся к двери.

На другом конце избы спит отец с обоими внуками. Вчера весь день провалялся в постели, жаловался, что воздуху не хватает. Унте хотел вызвать из райцентра врача, но Йонас Гиринис сказал, что он его не подпустит — пусть и не пытается. Ха! Где это слыхано, чтобы доктор кого-нибудь из мертвых воскресил! Коли уж к тебе смерть пришла, то только ксендз может с ней договориться.

Небо пасмурное, но не темно — где-то за облаками кочует месяц. Взгляд Унте останавливается и задерживается на кровати в углу. Отец накрыт до пояса, видно, сбросил с себя одеяло. Белая голова, мертвецки белые руки, сложенные на белой груди. Может, уже не дышит?!

У Унте от ужаса перехватывает дыхание.

— Отец... отец...— шепчет он, нагнувшись.— Ты спишь?

Седые пучки бровей вздрагивают и снова застывают. Слава богу, слава богу...

Унте медленно, не сводя глаз с лица больного, садится на край кровати. Руки отца холодноваты, как воздух, кажется, и от всего тела веет холодом и запахом осенней прели.

— Чего шатаешься по ночам? — чуть слышно шевелит он губами.— Завтра новый день тебя ждет.

— Выспишься тут... Когда Салюте храпит, за околицей собаки начинают брехать.

— А ты не слушай. Салюте хорошая. Держись за нее. Мужчина должен держаться за свою женщину. Слышишь?

Иногда в твоей голове черти казачок пляшут. Гони их прочь. Коли осрамишь род Гиринисов, я в гробу перевернусь. Будь добр, мой сын, дай моим костям спокойно истлеть.

— Не надо так, отец,— шепотом на шепот отвечает Унте, наклоняясь к сложенным на груди рукам, чтобы старик лучше слышал.— Тебе еще жить и жить, ведь ты сам говорил, что дед по материнской линии до девяноста дотянул.

— Тогда люди покрепче были. Хуже ели, это так, но зато дышали глубже.

— И ты крепкий, отец. Увидишь, пойдем мы с тобой сегодня на торжество, посидишь со всеми, на сердце и полегчает. Музыку послушаешь, песни. Получишь удовольствие. И я петь буду.

— Хорошо поешь.

— Ну вот, видишь. Выспись хорошенько до утра. А я во двор пошел.

— Принеси попить.

Унте принес отцу кружку воды. У дверей висела верхняя теплая одежда. Унте нащупал свою куртку, нахлобучил шапку с козырьком и тихо, чтобы не разбудить детей, выскользнул в сени. Однако чуткая Юстина, спавшая в светелке, все-таки услышала шорох и в одной сорочке бросилась к дверям с топором в руках.

— Это я, не бойся,— успокоил сестру Унте, которая после гибели Гайлюсов стала болезненно подозрительной.

— Чего валандаешься по ночам? — зло прошипела она.— Ты что, в ведро не можешь?

— Могу. Хоть прямо в постель,— оскалился Унте.— Но мне, видишь ли, почудилось, будто я бреду босиком по снегу.

— Что? Что?

— Почудилось, говорю. Ну и захотелось проверить, выпал снег или нет.

— Сумасшедший!

— То-то,— согласился Унте.— Порой неплохо постоять ночью одному, когда земля спит.

— Ладно, иди, иди! Стой себе, пока кто-нибудь по голове не стукнет,— разозлилась Юстина, спохватившись наконец, что держит в руке топор, и пытаясь спрятать его за спину.— Какой-то чокнутый. Недопеченный.

— Знаю, сестрица. Ты частенько поддаешь мне паружару, переворачиваешь на угольях с боку на бок, а я как был недопеченный, так и остался. Спокойной ночи.

Унте осторожно закрыл наружные двери, то и дело прислушиваясь. Вдоль забора прошел через весь двор, мимо угла хлева, мимо заглохшего пруда, окруженного тесным кольцом берез. Замерзшая трава глухо шелестела под ногами. Морозило. Посветлели земля и крыши. Когда займется заря, перед глазами откроется невиданная белизна, даже сероватый цвет голых деревьев не запятнает ее. Прохладный воздух по-осеннему так благоухал, так бодрил душу, что казалось, пьешь, томимый жаждой, воду из чистого родника.

Унте потоптался у гумна, повернувшись спиной к саду и глядя сквозь голые ветки ясеня на маячащие вдали поля, где привычный к темноте глаз все отчетливее схватывал контуры предметов. Послышался вроде бы шорох шагов. Да, кто-то идет! Унте, обливаясь потом, стал ждать. Ничего подозрительного. Но почему же он не может отделаться от мысли, что там, за деревьями, стоит Робертас Марма. Он вот-вот выйдет — белое привидение, скелет с пустыми глазницами — и протянет костлявую руку смерти. Бежать! Но Унте усмирил свой страх и упорно продолжал стоять, как бы прикипев к земле, хотя пот с него струился рекой. И вправду осел! Ведь эти шаги померещились ему точно так же, как и грязная стежка следов через заснеженное поле. Глупо думать, что тот, кто однажды умер, может встать из могилы. А Робертас Марма почти три месяца в сырой земле: последний раз Унте видел его в тот августовский день, когда с Юргитой возвращался из Вильнюса.

VI

От выпитого в ресторане коньяка по телу разливалась теплынь. Выпил Унте немного, но все-таки дошел до того предела, за которым начиналось безостановочное опустошение бутылок. Начиная с Нового года он всякий раз укрощал в себе просыпающегося зверя, хотя это и требовало от него нечеловеческих усилий, а в тот день как предчувствовал: не выдержит, сдастся. Да он и не пытался удержаться — слишком много на него навалилось всякого. Чего стоил только обед с Юргитой и Малдейкисом! Чувствовал себя как чурбан неотесанный, у них все за столом красиво получалось: и еда, и разговоры, и обхождение. А он, пентюх деревенский, хоть и не в лесу вырос, не мог кусок мяса по-человечески разрезать, чтобы рюмку не опрокинуть. Ду-

бина стоеросовая! А уж совсем пришибло Унте то, что Малдейкис влюблен в Юргиту! Безнадежно! А она не только смотреть на него не хочет, но и презирает. Такого-то мужчину! Образованного, учтивого, красавца писаного. Вот это женщина! В сердце у нее есть место только для одного человека — для Даниелюса. Хоть он не ахти какой красавец и не умеет так складно молоть языком, как Малдейкис... Брату подфартило. Счастливый человек...

Когда Унте и Юргита возвращались домой, он все время с нежностью смотрел на нее, радовался, что она стала оживленнее и разговорчивее, чем на пути в Вильнюс, и охотно болтает с ним о Даниелюсе и об обеде в ресторане. В присутствии других Унте всегда стеснялся Юргиты, держался на почтительном расстоянии, но наедине с ней было куда проще. Правда, был в машине и третий человек, Люткус, но Унте смотрел на него как на шофера, и только. Так что всю дорогу они довольно раскованно беседовали, не обращая внимания на усиливавшийся дождь, сопровождавший их от самого Вильнюса. Унте не мог надивиться, что Юргита говорит с ним искреннее и серьезнее, даже уважительнее, чем с Малдейкисом, и прямо-таки балдел от счастья. Его так и подмывало сделать ей что-нибудь приятное, доброе, совершить какой-то стоящий поступок, чтобы хоть как-то возвыситься в ее глазах. Он смотрел в окно машины на блеклые, кое-где наполовину скошенные озимые поля, мокнущие под хлестким дождем, и в душе посмеивался над своими глупыми детскими фантазиями, совершенно не догадываясь о том, что скоро они станут былью: «Может, будет дождливая осень. Как та, что на памяти отца, когда вилами приходилось урожай из воды выуживать. С комбайном и соваться не пробуй, из грязи не выберешься. А я не посмотрю ни на что, сяду за руль, и все. Только бы придумать что-нибудь, чтобы колеса не вязли. Да и в молотильном механизме пора что-то переделать, потому что зерно мягкое, не ровен час, бункер забьет. А от очистки придется совсем отказаться... То-то будет разговоров: Унте Гиринис — рационализатор! Пил, гулял, кутил, а оказывается, у него голова на плечах! Профессор по части комбайнов! Снова, как прошлой осенью, нагрянут телевизионщики, фильмец снимут, покажут всей республике: вот он, этот молодец, который не только хорошо поет, но и умеет сделать то, что ученым инженерам не по зубам. В самом деле, кто этот Малдейкис, если отбросить его умение держаться за столом? Партийный красавчик... Что и говорить, очень бы я тогда возвысился в глазах Юргиты...»

Унте так разошелся в мыслях, что совсем потерял чувство реальности. Будет осень дождливой или нет, он уже строил себе Ноев ковчег. И так ясно видел перед собой каждую деталь своего детища, словно кто-то взял и сунул ему под нос чертежи, осталось только отправиться в колхозные механические мастерские и стать у фрезерного станка. Позже, когда эти усовершенствования действительно понадобились, он сам удивлялся тому, как точно все прикинул — ни убавить, ни прибавить. Его словно на крыльях несло, он страшно волновался, голова кружилась от высоты, оторопь брала, но сердце стремилось еще выше. Юргита что-то сказала. Он ответил, но сам не знал что. «Дремлешь? Ладно, отдыхай, отдыхай, хорошо дремать в дороге»,— услышал ее голос и сразу же очнулся. Но только потом сообразил, что машина уже летит по Епушотасскому району. Дождь прекратился, над полями повис зыбкий туман, сквозь окно струился прохладный, пахнущий мокрыми злаками воздух. Захотелось вдруг вылезти из машины и одному пуститься по этому залитому асфальту. Скорее на проселок, где пахнет настоящей землей, где с обеих сторон шелестят посевы, сверкает росная ботва сахарной свеклы, туда, где ты чувствуешь себя своим среди своих. Юргита? Она тоже своя, из сердца ее не выкинешь. Но и бесконечно далека, как звезда на небе, которую ты первый нашел, назвал, а все-таки никогда к ней руками не прикоснешься.

Последние километры казались Унте бесконечными. Как только машина въехала в Епушотас, он хотел попрощаться, но подумал: пусть первая сойдет Юргита — не надо будет объясняться. «Может, поужинаем вместе?» — предложила она, когда Люткус остановился возле их дома. Унте соврал, спешу, мол, как бы на кормежку скотины не опоздать, а сам, как только они отъехали, попросил Люткуса выпустить его у аптеки, неожиданно вспомнив про важное дело, которое надо непременно уладить в Епушотасе. Услужливый Люткус сказал, что подождет его и довезет до Дягимай, но Унте успокоил: не беспокойся, доберусь туда на автобусе.

Так они и расстались: один подался на «Волге» в гараж, другой — в ресторан. У Унте вдруг появился аппетит, пропавший было в Вильнюсе, когда он нарезал неподатливый бифштекс. За столиком сидела пожилая женщина с волосатой бородавкой на носу, но Унте не замечал ее и чувствовал себя хозяином, наворачивал тощий гуляш, запивал его водкой, пока не выдул трехсотграммовый графинчик.

А когда управился с гуляшом, пожалел, что не заказал целой бутылки, потому что при разливе всегда крадут, паразиты. Иначе за что купишь себе машину, хрусталь, всякие там дорогие кольца, на какие шиши расфуфыришься и перещеголяешь другого? «А все за наши денежки, из нашего кармана...» Дерут без зазрения совести с кого только могут, комбинируют, любой паршивый торговец нынче норовит с министром сравниться. Не он тебе, покупателю, служит, а ты должен ему земные поклоны отвешивать, пока нужную вещь получишь, и то не по казенной цене, а с доплатой, которую эти негодяи и суют себе в мошну. Эх, дал бы кто-нибудь автомат, и всех их, паразитов,— трах, тарарах!.. Целился бы в торговца, а попал бы все равно в вора. Ууууx!

Унте заскрипел зубами, совсем забыв про соседку, смиренно ждавшую официанта. Черт побери, что за графинчики-крохотулечки! Проглотил, как ягоду, даже щеки не порозовели. Надо бы еще граммов сто, чтобы не чувствовать себя псом, которому палку в пасть суют. Но официант о добавке и слышать не хочет: и так принес больше, чем положено одному за ужином.

— Да ты войди в положение,— умолял Унте, не теряя надежды.— Тебе бы кое у кого опыт перенять. Вернулся мой знакомый издалека, рассказывает: хочешь бутерброд, закажи сто граммов. Хочешь второй, закажи еще сто, а коли к тем двум еще и яйцо пожелаешь, всенепременно третьи сто граммов поднесут. Пока человек наестся вдоволь, так его накачают, что он к дверям на карачках... Вот что значит добросовестно выполнять план. А ты саботажник. Накапал мне, здоровому мужику, как микстуры какой. Могу и рассердиться, и пожаловаться...

— Но, видишь ли, тебе больше нельзя: ты уже заговариваешься,— отрезал официант и потребовал, чтобы Унте скорее расплатился за то, что съел и выпил.

Унте оплатил счет и вышел, демонстративно кинув официанту одну копейку чаевых. Ужасно тянуло в другой ресторан, но Унте хорошо знал, что в такое время нет свободных мест. «Шут с ним, поедем домой». Послонялся, послонялся по тротуарам, пока не пришел автобус, и через пятнадцать минут приехал в Дягимай. Этот ворюга из ресторана испортил настроение, но выпитое делало свое, и мир снова казался веселым и прекрасным. С таким настроением в постель? К дорогим детишкам? К Салютє? Не-е-єт, успеется... У отца в заначке бочка первосортного пива. Что ему стоит нацедить жбанчик и выпить со мной бокаль-

чик? Выпить и, ясное дело, мораль прочесть. Ладно, обойдемся без его пива и моралей, сегодня другую музыку подавай. К Бутгинасу ходить нечего, это ясно, он только рассорит Руту с Ляонасом, и больше ничего. Чего доброго, эта злючка и в избу не пустит. «Ну не дура ли? Вбила себе в голову, что я Ляонаса сбиваю с пути истинного, и теперь эту мысль из нее не вышибешь». Может, к Пирсдягису? Все-таки тесть. Но о чем с ним говорить? Мыльный пузырь, пустельга. Только своим героическим прошлым тешит себя. Нет, лучше к Марме. Тоже дрянь порядочная... Вот уж странно устроен мир: коли человек как человек, мог бы с ним посидеть, да время неподходящее, а коли пустое место, хоть среди ночи стучись, откроет тебе и пристанет как банный лист.

Было около одиннадцати часов вечера, темно, накрапывало, однако по краям небо светлело — жди завтра хорошей погоды. Люди, уставшие за день от тяжких трудов, спали, только кое-где в окнах горели огоньки.

С автобусной станции Унте направился прямо к бане. Марма, наверное, дрыхнет. Тем лучше — вытащит из постели сонного, тепленького, попросит бутылку и будет, как граф, тянуть до утра. Банщик, конечно, захочет, чтобы Унте надрался как свинья, но нет, он ни за что не напьется, не доставит этому ублюдку такого удовольствия. Будет по капельке потягивать из бутылки (другую назло Марме за свои деньги выставит ему), чтобы на всю ночку хватило и чтобы настроение до утра не падало. Пусть не спит, подлюга, коли ресторан у себя открыл, пусть трясется от злости, завидует счастью и радости другого, потому что у него самого их нет. Конечно, он своими несчастьями не выхваляется, помалкивает в тряпочку, но от людей ничего не утаишь. Ежели бы мать Живиле не приехала, а сама Живиле умела бы держать язык за зубами, то... У нее никогда не было никаких секретов, и потому она выболтала и тот, который открыла ей мать, узнавшая о связи дочери с Мармой. И пошли слухи о том, что женщина эта с банщиком еще с юности знакома, что у них даже общий ребенок был и что теперь старый распутник должен был сгореть от стыда, вспомнив, как миловался с ее дочерью.

Марма на самом деле ходил чернее тучи: скис, как только встретил приехавшую мать Живиле. Рассказывают, что он не сразу ее узнал. Женщина тоже застыла перед ним как вкопанная. Потом начала смеяться. Рассказывают, что губы Мармы судорожно задрожали. «Какая ты... какая ты...» — бормотал банщик, пятясь от нее и тараща глаза,

словно его душили. Женщина все хохотала и хохотала, а по щекам у нее текли слезы. «Ты Марма!.. Тот самый Марма!.. Робертас! — восклицала она, как бы свихнувшись.— И когда-то я этого человека любила! Распутника! Угу, угугу!!!» Марма бледнел и пятился от ее бесовского хохота, пока не стукнулся спиной о калитку, возле которой они встретились, когда шли через колхозный поселок. Мать Живиле бросилась к нему, отвесила каждой рукой по оплеухе, плюнула ему в лицо и ушла. А на другой день совсем исчезла из Дягимай, даже Живиле не проводила ее в Епушотас, на железнодорожную станцию.

Все это вспомнилось Унте, когда он подошел к бане и увидел в окне Мармы свет. «У, акула! Вкрутил двухсотваттную лампочку, аж глаза слепит. Словно колядующих ксенженек ждет...»

Двери бани были широко распахнуты. Унте прошел через раздевалку (под ногами громко скрипели половицы) и, остановившись на пороге комнаты, прислушался. Убедившись, что гостей нет, забарабанил костяшками пальцев, как был приучен с детства отцом и матерью. Никто не ответил. Еще раз побарабанил. И снова тишина.

Робертас Марма сидел за столом, склонившись над толстой тетрадью, и что-то писал, изредка отрываясь от бумаги и поскребывая ручкой у виска, словно так надеялся привести в движение заглохшую мысль. Когда Унте вошел, Марма даже головы не поднял, и если бы Гиринис был повежливей, то бог весть сколько бы еще топтался у дверей.

— Ты чего это? — не выдержав, спросил он.— Людей не узнаешь? Ведь не таракан вполз.

Марма глянул исподлобья и, ничего не ответив, перевернул страницу.

— Чего тебе? — как ругательство, грубо процедил он сквозь зубы.

— Пол-литра. Разве к тебе за чем другим ходят? — Унте небрежно плюхнулся на диван напротив Мармы, сидевшего по другую сторону стола.— Из родника я и сам могу воды зачерпнуть, а отравы только у тебя получишь.

Марма вздрогнул и откинулся на спинку стула, словно его ударили в подбородок.

— Отравы? — повторил он, вдруг отрезвев от этого слова.— Какой отравы?

— Ты что из себя Мажвидаса [1] изображаешь? Закрой

---

[1] Мажвидас — зачинатель литовской письменности, издавший первую литовскую книгу в 1547 году.

свой катехизис и открой бутылку. Ты что, не понимаешь: меня разобрала охота вываляться в дерьме.— Унте достал из заднего кармана смятый банкнот — червонец — и швырнул Марме на стол.— Другую бутылку поставь себе. Будем оба пить.

— Нет. Я — нет,— замотал головой Марма, да так осторожно, будто боялся, чтобы та не рассыпалась.

— Что стряслось?

— Времени в обрез. До утра должен все кончить.

— Что? Эту тетрадь исписать? Неужто и ты стишки кропаешь, как Даниелюс?..

— Нет, я о грехах других, обо всем, что плохо. О черном черным по белому. Свои-то я забывал. Вот и пришло время вспомнить. Надо. Ибо если мы не вспомним, нам всевышний в день Страшного суда припомнит. А тогда пощады не жди.

Унте заморгал от удивления.

— Ха...— прыснул.— Неужто в монастырь собрался? Не представляю... Был человек, продавший черту душу, и вдруг у него ни с того ни с сего ангельские крылышки выросли. Молчишь? Так что, может, десятки мало?

— Не надо мне твоих денег.— Марма отодвинул от себя банкнот, а сам подошел к буфету и, достав оттуда бутылку, поставил ее перед Унте.— Засунь в карман и ступай с богом.

— Смотри, какой строгий.— Унте щелчком вернул червонец Марме.— Тащи еще бутылку. Вторую. Себе. Сказано же — плачу я.

Марма медленно достал бумажник, нашарил там пятерку и положил рядом с Унтиным червонцем. Потом взял его двумя пальцами, как что-то очень грязное, и, распахнув дверцы топящейся печки, швырнул деньги в огонь.

— Возьми сдачу и оставь меня в покое,— сказал он, сев за стол и снова склонившись над тетрадью.

Унте ошарашенно глазел на него и не знал, что сказать. Первый раз он видел такого Робертаса Марму — удивительно серьезного, благопристойного, празднично сосредоточенного, делающего все не так, как раньше привык делать. Да и сама комната была какой-то необычной. Унте не мог сказать, что именно в ней изменилось, но что-то было не так, как обычно. Наконец, не уверенный, что это не сон, выдавил:

— Сжег... Ты, случайно, не помешался? Пихал в чулок — эдакий жадюга — и вдруг в огонь... Ведь десятки не валяются на дороге.

— Не валяются, но сегодня — что для меня десятка? Ноль.

— Ты, может, поэтому и печку в такое время затопил, чтобы все сжечь? — усмехнулся Унте.

— Как бы человек этого ни желал, все равно все не сожжет,— загадочно возразил Марма, вперивши отрешенный взгляд в одну точку.— Можно сжечь мебель. Дом. Наконец, себя. А как же со всем миром? Ведь он тоже для меня ноль. Разве его в печь впихнешь?

— Эта старуха совсем тебя доконала.— Унте встал.— Боевая. Расписала тебе рожу посреди деревни, и будь здоров. Вот это история: в молодости любовь с матерью, а на старости — с ее дочерью.

— Уходи...— прошептал Марма.

Унте медлил, о чем-то думал. Потом схватил со стола бутылку и засунул в карман.

— Кайся, кайся! — зло бросил он, направляясь к двери.— Посыпай голову пеплом, может, бог тебя простит.

Но вышел на свежий воздух, и сердце сжалось. Вся злость на Марму как бы испарилась. Ему стало стыдно, словно ворвался в чужую комнату, нагадил там и был пойман с поличным. Ну и сукин сын — швырнул в огонь десятку, как щепку. Ноль, мол, для него. И водку за чужие деньги отказался пить. Пыжится как индюк, чего никогда с ним не было, поди пойми хитрость человеческую. Марма надулся, возвысившись над тобой, а ты, желая его унизить, только сам унизился.

Унте стоял возле бани, пришибленный унижением, которое чем дальше, тем сильнее угнетало его, и не мог справиться с нахлынувшей яростью. Бутылка в кармане не холодила тело, а почему-то жгла, как раскаленное железо. Ничего не соображая, Унте взял ее за горлышко и, размахнувшись, хватил ею о стену бани. Со звоном рассыпалось стекло, запахло водкой. А во взбаламученной голове мелькнуло: «Один червонец в огонь, другой — пятеркой об стену. Сумасшедшие!..»

Два дня Унте не мог найти себе места. Что бы ни делал, о чем бы ни думал, повсюду за ним плелась тень презрения. Ругал себя почем зря за безволие, не в силах простить того, что выдул в ресторане злополучный графинчик; не выпей он эту водку, никогда не очутился бы у Робертаса Мармы, потому что приходил к нему только тогда, когда почти ничего не соображал. Он презирал себя, поносил, клялся и божился, что ноги его не будет в этом вертепе, а бес рано или поздно все равно тащил его туда. В последние годы он,

конечно, наведывался в баню все реже, восемь месяцев прошло с тех пор, как он там был, думал, навсегда покончит со своими отвратительными выходками. Ах! Неужели ему так и не суждено стать настоящим мужчиной? Слюнтяй! И он еще смеет мечтать о такой женщине, как Юргита, на что-то надеяться!.. Какое счастье, что она не видела его, когда он уже не человек, а скотина!

Так честил себя Унте. Он без отвращения не мог даже посмотреть в сторону бани и радовался, что и Марма не мозолит ему глаза: целых два дня банщика нигде не было видно.

А на третий день колхоз потрясла весть: Робертаса Марму нашли мертвым. Он лежал в своей комнате, свесившись с дивана. На нем была отличная пиджачная пара из черного бостона, белая рубашка, черный галстук, на ногах черные, до блеска начищенные ботинки — хоть бери и клади в черный гроб. Вскрытие установило: угорел. Напрасно везде искали толстую тетрадь, которую Унте видел накануне смерти банщика и которая, наверное, могла бы пролить свет на причины его гибели. В последнюю минуту Марма, видно, одумался и сжег свои записи. Кроме того, вскрытие показало, что незадолго до смерти он заразился срамной болезнью.

Сразу же после похорон Мармы приехала санитарная машина из Епушотаса и увезла Живиле.

— Думаете, одного банщика заразила? — судачили селяне.— Да к ней же толпами отовсюду валили. Путалась со всякими проходимцами, вот и подцепила...

Унте испуганно молчал и благодарил судьбу, что, потеряв от водки всякий ум, сам не нарвался... Хоть он и не такой, как другие... Но мало ли что может случиться, когда глаза словно адовой смолой залиты. Господи, как вовремя Робертас Марма затопил печь...

VII

За завтраком отца не узнать, бодр, весел: вчера жало, давило, а нынче как рукой сняло. Может, господь и впрямь смилостивится и чуть подождет... Отец радуется, что после Стропусовых торжеств Даниелюс с Юргитой заедут, переночуют. Так что все дети соберутся вместе. Обещалась и Бируте со своей семьей прийти. Не будет только Повиласа — ему до отчего дома всегда дальше, чем до звезд. Но и попрекать его нечего: на семидесятипятилетний юбилей отца все-таки приехал, почтил старика.

До обеда Йонас Гиринис слоняется по усадьбе, подойдет, поднимет то, что не так лежит, положит на место, каждую щепочку, как муравей, тащит — это в закуток, это на растопку, это на свалку. Частенько останавливается, дух переводит, и так отрадно смотреть вокруг, туда, где благодарно склоняется каждое деревце в саду, ухоженное заботливыми руками, туда, где ковром манит к себе мягкая отава, а над прудом, свесив зеленые косы, шушукаются белоствольные березы, которые он когда-то посадил в юности.

Дети журят его: смотри, отец, снова сляжешь, тоже, мол, работник нашелся, словно без него не справимся...

Журят незлобиво, из любви, и лицо старика, изрезанное глубокими морщинами, светится улыбкой, когда он говорит, словно защищаясь от щенка, норовящего лизнуть руку: может, и лягу, но человек уж так устроен, что должен двигаться, пока ноги носят.

— Смельчак нашелся,— сердится Юстина.— Будут потом бабы судачить, дети, мол, не жалели, работать заставляли, так до срока и загнали в могилу.

— А ты не слушай их, балаболок, слушай, что сердце говорит,— не сдается старик.

— А оно так и говорит: кончай здесь возиться — и в постель.

Бируте, приехавшая к сестре на велосипеде, чтобы что-то одолжить, поддерживает Юстину.

— Верно, верно,— ворчит и Унте, на сей раз ополчаясь против отца.— Не столько пользы от твоей работы жди, сколько беды.

Йонасу Гиринису после обеда ничего другого не остается, как только жаться к боку жарко натопленной плиты, на которой булькает картофельное варево для свиней. «Ладно, ладно,— думает старик, посмеиваясь в усы.— Посижу, пока вы отправитесь на эти свои торжества... А потом сам себе буду хозяин».

В избе переполох, как перед свадьбой. Салюте отправила детей к Стиртам — пусть там все вместе вечер коротают, и давай с Юстиной вертеться перед зеркалом, все время охорашиваясь и меняя наряды. Одно платье слишком простое, другое не годится для такого случая, а к третьему не подходят туфельки и платок. А тут еще мимоходом заскакивает Бируте (ее Пранюс где-то застрял с кормами, одному богу известно, когда домой явится), и начинается такая стрекотня, что ни слова не разберешь.

Унте бродит, съежившись, боясь попасться на глаза, чтобы бабы не заклевали. Ну где уж тут, человече, тебе

отвертеться! И галстук у него не такой, как надо, и не в той рубашке, и ботинки плохо начищены, перебивая друг дружку, набрасываются на него сестры, хотя сама Салюте все приготовила ему и на кровать положила.

— Да отвяжитесь вы! — сердится Унте.— Не буду я сто раз переодеваться.

— Хорошо и так...— пытается заступиться за мужа Салюте.

— Для тебя любой хорош, лишь бы в брюках был,— язвит Юстина.— Никакого понятия. Неряха! Хоть бы ботинки почистил — как из мучного мешка вылез.

У Унте молниями сверкают глаза. Ей-богу, он в долгу не останется!

— Ты лучше на себя посмотри,— отрубает он и на всякий случай пятится к двери.— Ногти накрась, брови подведи, может, какого-нибудь старика и подцепишь, если он тебя с чучелом огородным не спутает.

— Вот я тебе, пустомеля! Совсем распустился, свинтус этакий! — Юстина хвать метлу, замахивается, сейчас она намнет ему бока, но Бируте вовремя останавливает ее.— Заступница нашлась! Ты что, сама захотела получить?! — брюзжит она, и голос ее звучит уже не зло, а примирительно.

— Здоровый мужик, а ведет себя иногда как последний молокосос,— поругивает Унте и жена.

— Дети! — не выдерживает Йонас Гиринис, дотоле с добродушной улыбкой наблюдавший за ними.— Седые, а ума нет. Унте, будь мужчиной, посторонись, дай женщинам дорогу.

— Даю, даю, пусть себе чешут, куда хотят,— машет рукой Унте и ныряет в дверь. Ботинки? Шут с ними, почистит тряпкой в сенях.

Унте выходит во двор, переминается с ноги на ногу, задрав голову к небу. Старая привычка, а острая на язык Юстина время от времени посмеивается над ним, утверждая, что Унте ищет новую звезду, которую брату Повиласу пока не удалось найти. Пусть она говорит, что хочет (божий одуванчик!), а он — только ногу за порог, и взгляд его сразу вверх стремится; охота на птиц поглядеть, на облака, за которыми как ни в чем не бывало солнышко ярко светит; отдохнуть от черных балок в избе, хоть ты в ней и не узник. Наконец, и земля иначе выглядит — чище, милей, и сам тверже на ногах стоишь, когда возвращаешься к себе, облетев взглядом вместе с птицами поднебесье. А сегодня еще такой денек выдался! В ноябре-то!.. С самого утра небо

чистое, только по краям то тут, то там вздымается горка облаков, набухших от влаги. Но дождя, наверное, не будет. Нет, совсем даже не похоже. Как ни крути, а природа совестлива: за долгие слякотные дни старается отплатить хорошей погодой.

Мысли Унте обрывает гром духового оркестра, заигравшего у Дома культуры марш. Видно, какие-то важные шишки пожаловали. Это точно! Да и самое время собираться. Ах, эти бабы! Кудахчут, копошатся, как наседки, чего доброго, к началу опоздают.

— Скорее! — понукает он, приплюснув нос к окну.— Уже четыре, а ведь еще дойти надо!

— Иди, иди,— отзывается появившаяся в дверях Юстина.— Салюте, накинь намордник своему телку и веди, а то, видишь, носится, бедняга, по двору и дверей в хлев никак не найдет.

Унте машет рукой, решив смолчать, потому что, когда старая дева входит в раж, ее глотку и колесом не заткнешь, и ковыляет прочь со двора. А вслед за ним — все три женщины, идут и гогочут, как гусыни. У Бируте под голубой нейлоновой курткой теплится орден «Материнская слава». Юстина тоже орден пристегнула — Трудового Красного Знамени, хотя и ворчала, потому что не хотела выделяться среди других; но наказ Стропуса был прост: кто ослушается и придет без орденов и медалей, тому несдобровать.

Возле Дома культуры их догоняет колхозный автобус, битком набитый колхозниками из дальних поселков, а с противоположной стороны прикатил грузовик, украшенный красными флажками, в нем тоже негде яблоку упасть. Из обеих машин шумно высыпают люди, галдят, шумят во дворе.

Выстроившийся у двери оркестр играет туш. С таким подъемом и задором, что, кажется, Жгутас-Жентулис, возвышайся он на своем каменном постаменте, пустился бы в пляс.

Унте с женщинами присоединяется к толпе и под звуки торжественной музыки заходит внутрь.

— Только во второй или третий ряд, не дальше,— предупреждает Саулюс Юркус, выросший словно из-под земли.— Тебе после собрания придется петь. Кроме того, так распорядился товарищ председатель.

— Распорядился? — нахохлился Унте.— Я сам собой распоряжаюсь.

— Ну, пожелал, просил, если угодно,— спохватывается Юркус.

— Ладно уж, ладно... Что уж поделаешь, когда красиво просят.

Устроился в третьем ряду вместе с женщинами. Бируте с Юстиной и без Унтиной милости положено сидеть поближе к сцене — орденоносцы, а Салюте ведь жена... Где-то неподалеку должна быть и Юргита, но ее что-то не видно. Неужто не приехала? Может, и Даниелюса нет?

После третьего звонка в зале ни одного свободного местечка. Люди стоят вдоль стен и в коридоре у открытых дверей. «Наприглашал отовсюду гостей, своим негде сесть,— мысленно ругается Унте.— А про новый Дом культуры спросишь, сразу, как рак,— на попятный».

Сцена празднично украшена флагами и портретами руководителей государства. Наверху через весь зал протянут транспарант, на котором крупными белыми буквами выведено: СЛАВА БОРЦАМ ЗА ХЛЕБ! В глубине сцены висит дубовый венок, которым во время первого праздника урожая — а с тех пор минуло много лет — был увенчан лучший колхозник. Длинный стол президиума покрыт красным сукном, на нем керамическая ваза с розами из колхозной теплицы. Слева — огромная трибуна, которая несколько лет пролежала без дела на складе и которую почтительно вернули на прежнее место.

Унте увидел брата: прихрамывая, он вместе с Андрюсом Стропусом, опираясь на палочку, вышел из-за кулис. За ним, как водится, предрайисполкома, три председателя соседних колхозов, сами хозяева — лучшие полеводы, животноводы, механизаторы, снискавшие добросовестным трудом общее признание и уважение. Один за другим усаживаются они за стол на загодя размеченные места. Почти у каждого на груди какой-нибудь знак или отличие. А у кого нет, тому утешением служит приглашение в президиум, мол, вы человек заслуженный, но пока не отмеченный наградой.

Стропус встает, стараясь улучить удобный момент, чтобы с самого начала завладеть залом. Благодарит собравшихся, приветствует гостей и колхозных передовиков, обращает внимание всех на то, что на празднике присутствует сам первый секретарь райкома Даниелюс Гиринис, кратко и тепло отзывается и о предрайисполкома, объясняет, почему пустует один стул в президиуме: обещал приехать из Вильнюса «почетный гость, всеми уважаемый товарищ Багдонас, старый друг района, для которого Епушотас — второй дом». Однако по неизвестным причинам его пока нет, опаздывает, «поэтому мы пунктуально, как того требу-

ет от нас товарищ Гиринис, и ценя время собравшихся, решили начать. Итак, позвольте считать наше торжественное собрание открытым».

Андрюс Стропус кивает первым рядам, одаривает зал улыбкой гостеприимного хозяина и предлагает в председатели собрания Тадаса Григаса, главного агронома.

Все как один конечно же за его кандидатуру.

Тадас Григас звонким голосом, чуть запинаясь от волнения, оглашает повестку дня.

Первый пункт — доклад председателя колхоза товарища Стропуса.

И снова трибуна принадлежит хозяину. Правда, на сей раз не успел он на ней как следует обосноваться: встал, напрягся, приготовился властным взглядом повергнуть всех к своим ногам; казалось, вот-вот зазвучит его хрипловатый, но достаточно звонкий голос, и насмешники смогут потыкать друг другу в бок, похихикивая над тем, как Стропус иногда подносит руку к лицу и поглаживает мизинцем черную щеточку усов под носом... казалось, вот-вот... Но, увы, у дверей вдруг возникает шум, и показывается рослая фигура Багдонаса, энергично пробирающегося сквозь толпу.

Стропус растерянно улыбается, поднимает руку, не то здороваясь с ним, не то зовя на помощь: ну и положеньице! Багдонас тоже улыбается, делает знаки, чтобы на него не обращали внимания, и по ступенькам поднимается на сцену, потому что в президиуме увидел Даниелюса Гириниса, показывающего на пустой стул рядом с собой.

Стропус наконец спохватывается и, повернувшись к Багдонасу, начинает хлопать. Президиум вторит его хлопкам. Публика, привыкшая следовать за президиумом, тоже бьет в ладоши, правда, не очень громко, но самолюбие Багдонаса удовлетворено.

— Вот, товарищи, наконец среди нас и самый уважаемый, самый почетный наш гость товарищ Багдонас,— возвещает Стропус так торжественно, словно речь идет о каком-то мировом событии.

Даниелюс сдержанно жмет руку Багдонаса.

— Мы здесь уже двадцать минут,— шепчет он, считающий отсутствие пунктуальности одним из смертных грехов.

— Только двадцать? Куда же вы так спешите? Подождать не можете, пока все соберутся? — покусывает нижнюю губу задетый Багдонас.

— Все давно собрались. Прошли те времена, когда часами надо было ждать, пока зал наполнится. А теперь

видите? Люди наконец поняли и оценили пользу пунктуальности.

— Это формальная точка зрения, товарищ Гиринис. Директора школы, а не партийного руководителя.

— В каком смысле, товарищ Багдонас?

— А в самом прямом: приучайте ваших подчиненных к пунктуальности, но так, чтобы в их глазах не уронить авторитет руководящих товарищей.— Багдонас демонстративно поворачивается к предисполкома; тот склоняется к уху высокого гостя, готовый извиниться за то, что осмелились начать торжество без него.

Наконец Стропус может проявить свое красноречие. Подносит стакан ко рту, отпивает глоток, поправляет галстук и не забывает проверить мизинцем, на месте ли черная щеточка под носом. Да, все в порядке, можно рубануть сплеча. Первым делом, конечно, об успехах, хотя их и омрачает (увы!) воинственная политика империалистических кругов. Ничего не поделаешь, надо отдать дань международному положению, неважно, что все, слава богу, грамотны, все читают газеты и без Стропуса знают, кто такой палач Кампучии Пол Пот, за несколько лет истребивший четверть населения своей страны.

Мало-помалу Андрюс Стропус приближается к делам республики, упомянув среди прочих фактов роста народного благосостояния такой: нынче каждый житель Литвы покупает в десять раз больше пищевых продуктов, чем в последние годы буржуазного господства. Разве это не доказательство того, что люди стали питаться намного лучше, чего, ясное дело, нельзя было бы добиться без высокоразвитого сельского хозяйства?

Кто-то, выпивший, видно, перед собранием для храбрости, выкрикивает с места, что у него не десять ртов, а один и потому при всем желании он не сможет съесть больше, чем раньше.

Но Андрюс Стропус, оседлав своего конька, мчится без оглядки, никакими выкриками его с пути не собьешь. Вооружившись, как говорится, для сравнения цифрами, он без труда доказывает, что средняя урожайность увеличилась по республике по меньшей мере вдвое. А посему выращивается больше мяса и надаивается больше молока. Можно себе представить, сколько миллионов кормит Литва, если еще в буржуазные времена крестьяне не знали, куда бекон девать. Один дягимайский колхоз производит столько, сколько требуется для пропитания нескольких тысяч человек.

Тот же, выпивший перед собранием для храбрости,

бросает: «А люди где? Неужто только челюстями и работают, чтобы успеть съесть в десять раз больше?»

Этого Андрюс Стропус не прощает. Такие люди, отрезает он, которые приходят на собрание в нетрезвом виде, и впрямь работают только челюстями и языком. Отрезает и переходит к заключительной части доклада — самой важной и интересной для собравшихся, начавших было позевывать от скуки.

— Товарищи, погода в нынешнем году нас не баловала. Старожилы не припомнят такой дождливой осени, да и конец лета нисколько не был лучше. Поэтому, товарищи, мы отказались от районного праздника урожая. И правильно, товарищи: какой может быть праздник, когда урожай в поле мокнет и у всех похоронное настроение? Пессимизм, товарищи... Но наши героические колхозники — не те, кто только языком и челюстями работает, как изволил выразиться один из таких типов, а настоящие патриоты своей земли, всей душой преданные своему делу,— нашли достаточно сил, чтобы одолеть этот пессимизм. Так-то, товарищи. Мы все прониклись уверенностью в свои силы, ополчились против козней природы и ответили вызовом на вызов. И победили, товарищи. Поэтому сегодняшние торжества, товарищи, я назвал бы праздником победы человека над стихией. Гордитесь, люди Дягимай, слава вам! Вы одолели то, перед чем веками гнули шеи наши пращуры, чему молились, что просили пощадить, защитить от засухи, ливней, града, от всех прочих бедствий, которые обрекали человека на голод и эпидемии. Вы победили бога, товарищи, которого когда-то сами сотворили. Торжествуйте! И позвольте мне от имени благодарной родины, товарищи, крепко пожать руку каждому, кто самоотверженно выполнил свой гражданский долг. Кое-кого, к сожалению, нет в этом зале, нет и Йонаса Гириниса, который, будучи серьезно больным, так помог при уборке сахарной свеклы, других его одногодков, скажем, товарища Еронимаса Пирштдягиса, поднявшего на очистку урожая пенсионеров колхоза...

— Я здесь,— донесся голос из первых рядов.— Йонаса Гириниса нет, а я присол...

Андрюс Стропус озадачен — реплика Пирштдягиса не была заранее предусмотрена, но тотчас находит выход:

— Хорошо, что пришел, товарищ Пирштдягис,— говорит он, снисходительно улыбаясь, но с подобающим почтением.— Прошу на сцену, покажись всем, пусть твоя седина одних вдохновит, а других пристыдит. Тадас, представь собравшимся всех наших героев.

Пока Тадас Григас читает список наиболее отличившихся колхозников, Пирсдягис вскарабкивается на сцену и, багровый от счастья, вытягивается в струнку перед публикой, по-солдатски выпятив грудь. Рядом с ним выстраиваются другие передовики. Епушотасский духовой оркестр играет туш. Публика аплодирует, все растроганы, кое у кого на глазах слезы умиления. Подбородок Пирсдягиса дрожит от волнения. Дай старику слово, и он зарыдает навзрыд.

Унте не верит своим ушам: зовут и его! Рационализатор, приспособивший технику к неблагоприятным условиям уборки... Благодаря его смекалке спасены десятки тонн зерна, сэкономлены колхозу тысячи рублей... Тадас Григас что-то еще говорит, перечисляя заслуги Антанаса Гириниса, но у Унте словно уши заложило. Его фамилию еще раз повторяют, он неуклюже встает и идет к сцене под бурные аплодисменты и восклицания:

— Ишь, сукин сын! Не только петь умеет...

— Головастый мужик!

— Держись, Унте!

— Чего ему там держаться: такого буйвола дубиной не свалишь.

Даниелюс кивает головой, улыбается брату («Вот таким будь всегда...»). Но ошеломленный Унте ничего не видит: лица за столом президиума расплываются, образуя странную мозаику. И зал тоже: перед глазами как бы простирается огромный ковер с вытканными на нем лицами, и самое яркое из них — Юргиты, хлопает напропалую в ладоши, улыбается ласково, шевелит губами, и кажется, похвалу ее слышишь. Унте как зачарованный смотрит на нее. И так хорошо на душе оттого, что она рядом, видит, как его вознесли, слышит добрые слова в его адрес; хорошо, что он может возвыситься в ее глазах и быть на миру таким, каким ей хочется его видеть; хорошо, что эти почести хоть чуть-чуть соскребут с него грязь, в которой он барахтался всякий раз, когда пускался в долгий и изнурительный разгул.

Андрюс Стропус стоит на трибуне, повернувшись к выстроившимся передовикам, плотной стеной отгородившим президиум от зала. Опять не так! Все должны были стоять по бокам президиума, но Пирсдягис первым выпятил грудь и встал посреди сцены, а к нему пристроились остальные. Зря заранее не предупредили их, не отрепетировали: экспромт, мол, создаст впечатление большей достоверности, выход передовиков на сцену будет-де хорошей школой для тех отличившихся, кто по своей халатности не явился на

собрание: они останутся без премий, ибо деньги вручают только сегодня, в торжественной обстановке, в бухгалтерии их не получишь.

— Подходите по очереди,— тихо приглашает Стропус.— Только по одному.

Очередь Пирсдягиса, но он не сразу соображает, в чем дело.

— Твоя, твоя, товарищ Пирштдягис,— поторапливает его Стропус, держа в руке конверт с деньгами и Почетную грамоту колхоза, еще пахнущую типографской краской.

— Это мне?! — удивляется Пирсдягис, улыбаясь до ушей.— Так много и такие красивые...

Кисло улыбается и Андрюс Стропус, пожимает старику руку, здоровья желает, благодарит от имени Родины за вклад в уборку урожая.

— Да здравствует Родина! — восклицает Пирсдягис, помахивая конвертом с деньгами, и мешком валится со сцены на свое место.— За святое дело, товарисцы!

Оркестр наяривает, аж окна дрожат.

Когда очередь доходит до Унте, в раскрытой папке Стропуса всего-навсего пара Почетных грамот и конвертов.

— Рад поздравить тебя и пожелать всех благ,— говорит Стропус кислым голосом, но оркестр тут же заглушает его.

— Что?

— Мужчиной, говорю, становишься,— кричит в ухо Унте Стропус и пожимает ему руку.

— В самом деле? — усмехается тот, сверкая глазами, и еле сдерживается, чтобы не рубануть: «Ну об этом судить твоей жене...» — А я уж думал юбку купить...

— Не огрызайся, сегодня праздник.

— То-то и оно-то, что праздник, председатель.

Унте хлопает по ляжке Почетной грамотой и собирается уйти. (Конверт с деньгами уже засунут в карман расстегнутого пиджака.) Взгляд Унте блуждает по залу, ищет е е взгляд. Увидел, поймал. Может, не ему предназначенный, но такой ясный, такой теплый, что все вокруг хорошеет, добреет, и с губ срываются такие слова, каких он еще никогда не произносил:

— Общий праздник. Так что и тебе всех благ, председатель. Спасибо за почести. А я уж постараюсь. Постараюсь, председатель...

Взволнованный Андрюс Стропус еще раз протягивает руку Унте, но тот, повернувшись спиной, спускается со сцены, как бы ведомый взглядом Юргиты, хотя он и потерял ее из виду.

— Размахиваешь полами, как ворона, застегнись,— бормочет Салюте Унте, не успевшему как следует усесться.

— И сколько там, в этом конверте? — тычет брата в бок с другой стороны Юстина.

Унте тут же достает конверт из кармана и, даже не раскрыв его, отдает сестре. Ему ни о чем другом не хочется думать, как только о Юргите. Как можно дольше вспоминать ее улыбку, взгляд...

— О! Целых сто рублей! — снова тычет брата в бок Юстина.

— Сколько, сколько? — тянется за конвертом через голову Унте Салюте.

— Говорю же, сто. Хватит Унте не на один выпивон. О! Здесь еще какая-то бумага...— Юстина, затаив дыхание, разворачивает ее. Вот это да! Выписка из решения колхозного правления о разрешении Антанасу Гиринису приобрести автомобиль...— Унте, машину получаешь! Слышишь? Вот это премия! Должен председателю руки-ноги целовать.

— Машина! — восклицает Салюте, забыв, что вокруг люди.— Покажи! Дай мне конверт! Четыре года ждали. Господи, за что ему руки-ноги?.. И впрямь машина! Унте, смотри, теперь и мы будем кататься. Захотел — на базар, захотел — детей в школу. Другие и на Кавказ ездят. И мы теперь по-людски. Чего родной брат не сделал, сделал председатель.

— Может, ты заткнешься? — сопит Унте и краснеет.

— Видали! Он, болван, еще не понимает, что машину получает,— качает головой Юстина.— Недотепа!

VIII

Веселье в колхозе в самом разгаре. Все началось после долгого перерыва — надо было накрыть для гостей столы. Зал Дома культуры кишмя кишит. Народу набилось уйма, яблоку упасть негде. Хозяйки едва пробираются между столами, тащат одно блюдо за другим, как бы соревнуясь с именитыми деревенскими пивоварами, которые таскают ведра, заботясь только об одном,— чтобы кувшины не пустовали, а их, как в старинной песне, что Унте поет, хоть целых пять выпей, не зашатаешься,— председатель запретил подкладывать туда динамит («Пусть пиво веселит, но с ума не сводит...»).

Столов — пять рядов, от одного конца зала до другого тянутся. Справа места для почетных гостей. Они сидят по одну сторону стола у стены, чтобы все собравшиеся их

видели. В самом центре — Багдонас, одесную — Юргита с Даниелюсом, а ошую — Стропус, счастливый отец возрожденной семьи, один, без жены, потому что Габриеле надо кормить ребенка. Далее — председатель Епушотасского горисполкома, знатные люди из соседних колхозов и прочие представители района, издали сверкающие широкими улыбками и орденами. А среди них несколько дряхлых стариков — почетных колхозников, так сказать, ветеранов, прокладывавших первые артельные борозды уже тогда, когда большинство сидящих в зале еще бегало без штанишек. Задирайте носы, дорогие деды, подкручивайте усы, честь вам и хвала!

Второй ряд столов можно назвать столом героев дня — Андрюс Стропус усадил за него тех, кто на собрании был отмечен и награжден премиями. Сидят попарно, с женами. А для пущей важности туда же посажен предсельсовета Ляонас Бутгинас с Рутой, пока что единственным в колхозе Героем Труда. Остальные разместились как попало. Ничем не отличившиеся полеводы, скотницы, доярки и прочие, даже не помышлявшие о пьедестале почета. Многие из них не скрывают своего разочарования, потому что на столе только соки и лимонад, кое-где бутылочки с минеральной водой, но ту, с градусами, не ищи. Только пиво говорливо, и все. Пой, веселись, милейший, обхаживай свою смазливую соседку.

Пранюс Стирта, запоздавший на пир и подсевший к таким же, как он, хлещет стакан за стаканом у дверей, а потом по-бычьи мычит, косясь на пустой кувшин: пусть баба мне рога наставит, если не докажу Стропусу, этому дягимайскому проповеднику трезвости — доморощенному епископу Мотеюсу Валанчюсу, что можно и от воды окосеть.

Явился на торжество и Моте Мушкетник-Кябярдис, немного оправившись от хвори. Сидел в зале, терпеливо ждал, пока кончится собрание, как и подобает честному и сознательному гражданину. А теперь тянет из стакана, как капельки микстуры, распахнув стоячий воротник и поглаживая густые усы («Ох, как хочется еще годок-другой протянуть...»), елозит среди героев дня и не может отделаться от грустной мысли: «Может, уже последний раз, товарищ Кябярдис, ты, ветеран, неустанный радетель за родную власть в деревне, может, последний раз...»

На другом конце того же ряда светится седая голова Сартокаса. Сел было опрометчиво за один стол с Мотей Мушкетником, но вовремя спохватился. Ах, и он здесь, этот

поджигатель, чтобы его черти побрали, чтобы гореть ему в пекле!

Унте вроде бы положено вместе с героями, но Саулюс Юркус согласовал с председателем, и всю самодеятельность усадили в отдельный ряд — в третий, в самой середине зала. Отсюда, к всеобщей радости, грянет колхозный хор, а Унте затянет старинные песни. На сцену выйдут только танцоры, и то ненадолго, потанцуют — и назад. Праздник! Да будет он праздником для всех!

У каждого ряда столов свое название, их придумали дружки Стирты, остряки.

Первый — «господский».

Второй — «геройский».

Третий — «художественный».

А два последних — «железного» люда.

— Выпьем, выпьем, «железные»,— подхлестывает Пранюс своих приятелей.— Пусть они себе там всякую чепуху болтают, переливают из пустого в порожнее, а мы — по полному. До дна!

Хозяйки посадили было Бируте во второй ряд. Она поклялась, что даже краем глаза не посмотрит на своего пьянчугу, если тот явится. Но, видя, как он все более входит в раж, не выдерживает, бросается к нему и давай стыдить.

— Кыш, курица, кыш, ступай яйца класть,— незлобиво говорит Пранюс и ухмыляется.— А то как рассержусь... Ты думаешь, ежели у Стирты золотое сердце, то он позволит, чтобы баба на нем верхом ездила? Нет, лучше наоборот... Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха! — гогочут в конце стола так, что эхо прокатывается по коридору и вылетает в открытую дверь.

Бируте в слезах возвращается на свое место.

— Говорила тебе, не лезь,— возмущается Рута Бутгинене.— Пусть. Так скорее ноги протянет. Ну и размазня ты, Бируте. С такой дрянью кучу детей... Не понимаю...

Бируте шмыгает носом, вздыхает.

— Да я и сама не понимаю,— искренне признается она.— Хорошо, что куча — есть с кем душу отвести. Без них хоть возьми и удави ь.

Ляонас Бутгинас не выносит оговоров, пытается заговорить о другом.

— Хорошая сходка,— говорит он, не зная, куда девать свои длинные ноги под столом.— Давно такой не было. Плечо к плечу, душа в душу.

— А что здесь хорошего? — отзывается Моте Мушкетник-Кябярдис, устроившийся напротив. Не хотел он туда садиться, но сел, пока Бутгинасов не было, а когда те пришли, неудобно было встать и уйти.— Жена Унте, ну та, которая при свиньях, сказала: одних только беконов три пошло на эти столы. Сами видите, какие горы колбас, рулетов-шмулетов со всякими начинками. А еще куры, гуси. Десять баб два дня стряпали, чтоб сегодня тунеядцы могли брюхо набить.

— Почему тунеядцы? — краснеет Ляонас Бутгинас, не на шутку разозлившись.— А кто урожай из воды вытаскивал? Вам бы, дядя, не языком молоть, а шапку снять и многим поклон отвесить.

— Стану я им кланяться,— пунцовеет и Кябярдис.—За что? За то, что свой гражданский долг исполнили? Дудки! — вставляет он по-русски.— А ты, Бутгинас, хоть знаешь, сколько сегодня три бекона стоят? Без малого пять сотен. А ведь еще и весеннюю телку прирезали. И уток, кур, по меньшей мере, несколько дюжин ощипали... На одно пиво пудов тридцать солода ухлопали. Сложи все, Бутгинас, взвесь, подсчитай. В толк не возьму, откуда у этого жмота Стропуса такая щедрость? В мое время за такое разбазаривание народного богатства прокуратура за глотку брала.— Моте Мушкетник ерзает на стуле, и тот подозрительно трещит под ним; совсем недавно человек семь пудов весил, а теперь изрядно отощал — какая-то таинственная хворь его изнутри точит.

— Ты, Моте, хватил через край,— не выдерживает Еронимас Пирсдягис, одним из первых занявший место у стола героев. Правда, на уборке урожая он не надрывался, только корма за Пранаса Стирту возил, но конверт с деньгами шелестит во внутреннем кармане пиджака, и, хочешь не хочешь, сердце склоняется на сторону Стропуса. А тут еще — честь, это, пожалуй, самое главное! — Разве Стропус за цузие деньги столы накрыл? Все насе, насими колхозниками заработано. Эти три бекона, телка, утки, солод... Все свое кусаем!..

Моте Мушкетник с обидой глядит на Пирсдягиса, кривя набрякшие бесцветные губы, и чуть слышно шепчет:

— Таким мужиком был, Пирсдягис! И продался...

— Злым ты стал, Кябярдис,— грустно говорит Бутгинас.— Радоваться надо, ведь это наш общий праздник.

— То-то,— поддакивает Пирсдягис, не в силах простить Моте Мушкетнику, что тот исковеркал его фамилию.— Перед смертью каждая муха злее кусает.

— Укусит и тебя. Смотри, как бы тебя раньше меня на погост не снесли,— отрезает Кябярдис и обиженно поворачивается в другую сторону.

Между тем за столами, где сидят самые почетные люди, судят-рядят о другом. Кое-кто даже на скуку жалуется, особенно женщины — зажаты между мужчинами и должны слушать совсем не то, что им хотелось бы услышать. Заслуженные ветераны, славная троица почетных колхозников, тоже невеселы, виновато посматривают на другие столы, словно оправдываясь перед своими земляками, почему не вместе с ними пиво потягивают.

Зато как рыба в воде чувствует себя за столом Юлюс Багдонас, как никогда щедрый на добрые слова. Нет, он не комплиментщик, ему куда легче выудить какую-нибудь подходящую цитату из сочинений классиков, чем похвалить женщину, но сегодня он уделяет рядом сидящей Юргите много внимания; предлагает одно блюдо, другое и даже отваживается сказать такие слова, какие не часто себе позволяет:

— Вы, товарищ Гиринене, являетесь украшением нашего стола. Королева бала. У вас прекрасная жена, товарищ Даниелюс.

— Не сомневаюсь,— Даниелюс улыбается и с любовью глядит на Юргиту.— Хотя когда-то многие, в том числе и вы, были другого мнения.

— Я? Что вы? Кто мог на меня возвести такую злую и подлую напраслину?

— Не волнуйтесь, товарищ Багдонас, я прощаю вас,— говорит Юргита, обворожительно улыбаясь.

— Но я действительно...— продолжает оправдываться Багдонас.— Если все принять за чистую монету, половину работников надо было бы уволить — столько всяких жалоб на них.

— И на Даниелюса?

— И на него, товарищ Гиринене. Но мы разобрались, тщательно проверили и... Это большое искусство, уважаемая, отделить зерно от плевел. Бывает так, что того, на кого больше всего наветов, мы повышаем. Например... Но нет, это пока что секрет. Ничего конкретного, только наметки, прикидки...

— Вы сегодня загадками говорите, товарищ Багдонас,— хитрит Юргита.— Заинтриговали и молчите. Разве можно не считаться с королевой бала?

Юлюс Багдонас согласен считаться, но пока что с секре-

том повременит. Это, мол, сюрприз. А сюрпризы женщины любят.

— О, какой вы знаток женщин, товарищ Багдонас!

— Отведайте пивка,— предлагает Андрюс Стропус, наконец вмешиваясь в разговор.— Для женщин у нас припасена бутылка-другая сухого вина. Может, позволите налить, товарищ Гиринене?

— Сделайте одолжение.

— Да, но на других столах таких бутылок я не вижу,— замечает Даниелюс.

Андрюс Стропус разводит руками.

— Там только покажи, мужики сразу же себе в глотки зальют. Мы решили один раз обойтись без крепких напитков. Для поднятия настроения хватит и пива.

— Это что, и на нас, гостей, распространяется? — усмехается Багдонас.

— Нет... Извините... В самом деле, бутылочка коньяка, может, и не помешала бы,— почувствовав себя неловко, объясняет Стропус.— Но видите ли, если поставить ее на стол, это, знаете, как-то...

— Совершенно верно, Стропус,— вставляет Даниелюс.— В этом зале все должны быть равны.

— Кроме женщин,— говорит Юргита, поднимая фужер.

— Кроме некоторых из них,— добавляет Багдонас.—За женщин, товарищи! За нашу очаровательную соседку!

— Ты — сама галантность, товарищ Юлюс,— иронизирует Даниелюс.— Когда ты был председателем колхоза... Словом, влияние большого города чувствуется. И очень...

Багдонас добродушно скалит зубы.

— Мы что-то здесь бормочем себе под нос,— говорит он, не скрывая своего превосходства,— и совсем с залом не общаемся. Тосты нужны! Дай мне, Стропус, как бывшему председателю колхоза, слово.

В зале шумно, голоса Стропуса почти не слышно, приходится хорошенько постучать ножом о тарелку.

Багдонас ждет, пока уляжется шум, застегивает пуговицы пиджака, снова расстегивает, глядит исподлобья на потолок и, потирая медвежьи лапы, рубит сплеча. Прежде всего позвольте сердечно поздравить трудового крестьянина, который пашет, сеет, поливает своим потом землю, чтобы с наименьшими потерями осенью снять урожай. Герой! Особенно нынче, когда природа во что бы то ни стало старалась поставить его на колени. Не сдался! Дягимай

победила не только стихию, но и другие колхозы. Епушотасского района, заняв первое место. Веселись народ, у тебя есть на это право! Ура!

Мощное «ура» катится через все столы, сливается с дружными хлопками.

— Но, товарищи, разве могли бы вы похвастаться такими успехами, не будь у вас такого опытного работника, преданного делу партии, как ваш председатель? Нет, товарищи, без товарища Андрюса Стропуса вы не смогли бы добиться таких успехов. Ибо когда не крутится большое колесо, то не двигаются и маленькие колесики.

— За большое колесо! Урааа!!!

Хлопки. Все поднимают стаканы.

— Погодите, погодите, товарищи,— останавливает всех Багдонас.— Я еще не кончил. Стропус — важное, но не самое большое колесо. Есть колесо побольше, без него весь агрегат района скрипел бы, тарахтел бы, но не двигался бы в нужном направлении. Я имею в виду Гириниса, вашего секретаря...

Последние слова Багдонаса тонут в возгласах и аплодисментах.

— Это уж точно!

— Даниелюс — человек!

— За Гириниса? Хоть всю бочку!

— Ваше здоровье, товарищ секретарь! Живите сто лет всем нам на радость и счастье. Ура!

— ...рааа! — катится по коридору, вырывается во двор, в вечерние сумерки и эхом отдается в поселке.

Багдонас, не рассчитывавший на такой отклик зала, долго стучит ножом по тарелке, пока не утихомиривает разбушевавшуюся публику.

— Ваш район, товарищи, сегодня в республике шагает в первых рядах. И в этом большая заслуга товарища Гириниса,— кончает свой тост Багдонас.— Его организаторские способности, чуткость к трудящемуся человеку, принципиальность — вот та основа, на которой зиждутся все ваши успехи. Поэтому, уважаемые, я предлагаю тост за ваших прекрасных руководителей — Даниелюса Гириниса и Андрюса Стропуса.

Багдонас нерешительно садится, вдруг вспоминает, что не все сказал, но все в зале встают, и ему ничего другого не остается, как встать. Звенят стаканы, люди что-то выкрикивают в честь Гириниса, а те, кто поближе и посмелее, чокаются с секретарем, высоко поднимая стаканы. И Стирта протискивается вперед, чтобы чокнуться со своим родичем

(«Брат моей бабы, вы что, не знаете, ядрена-зелена!»), но Бируте с Рутой Бутгинене оттаскивают его в сторону.

— В каждой деревне свой дурак, а у нас — Стирта,— смеется Бутгинас.

Андрюс Стропус загодя обсудил с членами правления, кому первому и какие тосты говорить. Но Юлюс Багдонас все расстроил. Теперь другого выхода нет, придется самому что-то сказать. Зацепиться за это большое колесо Багдонаса, отдавая дань колесикам поменьше, и склонить на свою сторону сердца всех собравшихся, а главное — властей.

И изо рта Андрюса Стропуса вылетают слова — одно другого краше. Поклон простому труженику-колхознику, без героического, самоотверженного труда которого мы не шагали бы от победы к победе. Поклон уважаемому секретарю райкома Даниелюсу Гиринису, так сказать, руководящей силе и разуму Епушотаса. Поклон нашему гостю Юлюсу Багдонасу, который и есть главное колесо, двигающее весь механизм и дающее сложной машине колхозного производства правильное направление.

— За наших дорогих руководителей, товарищи!

Далее все идет, как и было намечено. То тут, то там кто-то острит, кто-то невинным анекдотцем веселит соседей. У столов, отведенных для самых почетных гостей, вертится все больше развеселившихся — надо думать, не от лимонада.

— Знаете, я не кончил свой тост,— признается Юлюс Багдонас Даниелюсу и хитро щурится.— Я не сказал самого главного.

— Чего же?

— Что тебя решили перевести в аппарат. Будем служить вместе.

Даниелюс с Юргитой переглядываются. Пришибленный новостью Стропус смотрит на них исподлобья.

— Это и есть обещанный вами сюрприз, товарищ Юлюс? — не может поверить Юргита.

— А что? Разве такая женщина, как вы, его не достойна?

— Несколько лет тому назад меня тоже хотели перевести в аппарат,— без особой радости говорит Даниелюс.

— Тогда это тогда, сам знаешь... А теперь строительство фабрики и высокие показатели по району поставили тебя на ноги,— заверяет Багдонас.— Товарищ Гиринене, вы победоносно вернетесь в свой любимый Вильнюс.

— Может, прежде всего следовало бы спросить, обрадовала ли эта новость самого Даниелюса Гириниса. И что

думают по этому поводу люди. Обрадуются ли они, расставаясь со своим секретарем?

— Люди?..— Багдонас зыркает на Юргиту, не уверенный в том, расслышала ли она его, и тут же смекает, что об этом не стоит и говорить.— А что касается товарища Даниелюса... Мне еще не доводилось встречать людей, которые отказывались бы от повышения.

— И я не отказываюсь,— вмешивается Даниелюс, поймав беспокойный взгляд Юргиты.— Куда там! Мне очень приятно оказанное доверие! Но я буду откровенен: голова от этого повышения кругом у меня не пошла. Здесь моя родина, дорогие мне с детства люди — это во-первых, а во-вторых — работа в районе мне больше по душе, чем раскладывание бумаг по папкам. Если бы все зависело только от меня, я бы из Епушотаса и шагу не сделал.

— Ха! — Багдонас недоверчиво улыбается, глядя то на Юргиту, то на Даниелюса.— А ваше мнение, товарищ Гиринене?

— В существенных вопросах наши мнения полностью совпадают, товарищ Багдонас. А что касается общеизвестной формулировки, которую вы наверняка имеете в виду, о том, что установка партии — приказ для каждого коммуниста, то сегодня ее смысл куда шире: выбор зависит от самого человека.

— Да...— отзывается Даниелюс.— Если ради этого выбора не приносятся в жертву интересы самого близкого человека...

— Любить — это и значит жертвовать,— тихо говорит Юргита Даниелюсу.— Если повышение омрачит тебе жизнь, то и мне возвращение в город моего детства не доставит удовольствия.

— Юргита... Юргита...— потупившись, шепчет Даниелюс.— Ты всегда отдаешь больше, чем получаешь...

Багдонас отворачивается, прячет под белесыми ресницами завистливый взгляд и что-то бормочет под нос.

— Так, может, закончите свой тост, товарищ Багдонас? — осторожно напоминает председатель, обрадовавшись тому, что Гиринисы заняты беседой между собой; после того как Стропус бежал с места происшествия, панически зовя других на помощь, он всегда чувствует себя неловко рядом с секретарем.

— Какой тост? А... Вряд ли стоит сообщать о том, что еще не скреплено печатью,— возражает раздраженный Багдонас.

Андрюс Стропус разочарованно кусает губу — снова

придется жить и работать вместе с Гиринисом... Но свое разочарование он удачно прикрывает веселой улыбкой и с самодовольством хлебосольного хозяина окидывает гудящий зал, где за «художественным» столом Саулюс Юркус готовит к выступлению свою певческую армию. Самое время прийти на помощь тем, кто поднимает тосты и кто, похоже, уже выдохся...

— Может, для храбрости, Унте? — толкает Гириниса кулаком в бок сосед, с которым тот не раз шумно выпивал.— Я знал, что будет только пиво, да и то хреновое, поэтому бутылочку прихватил.

— Да нет, пожалуй...— не поддается искушению Унте.— У меня и от пива щеки горят...

— Гореть-то горят. Но пиво есть пиво...

Мужики по двое-трое, а то и целой ватагой встают из-за столов — «коней поить». Частенько попадаются такие, у кого в кармане булькает тепленькая бутылочка водки, у других для подкрепления припрятаны «чернила». Озираясь, не видит ли кто-нибудь из властей, они потягивают по глоточку и возвращаются как будто на крыльях.

— Хотя бы настоящее пиво сварили...— сетуют они.

— Оно вроде бы ничего, но пиво есть пиво.

— А наш-то, наш-то прямо из кожи вон лезет, чтобы секретарю угодить. Знает, что тот пьянства терпеть не может, потому-то на столах один лимонад...

— А уж как тогда осрамился, вспомнить стыдно.

— Конечно, осрамился. Настоящий мужик попер бы на этих хулиганов. Пусть зарежут, но чтоб бежать...

— Да какой он мужик... Думаешь, ребенок его?

— А чей же? Может, ты постарался?

— Не я, но баба у него хват...

— Ну уж, ну! Это уж ты перегнул палку, Йокимас. Хватил через край.

Наконец Саулюс Юркус решает: все готово, на смех не поднимут. Хористы все пунцовые, но не перебрали, выпили столько, сколько для веселой песни требуется. И песня льется, заставляя замолкать столы, озаряя разгоряченные лица восторженными улыбками. Многие стучат в такт ногами о половицы, тихонько подтягивают даже безголосые. Но разве тут голос важен — сердца друг с другом говорят, забыв вражду и ссоры, злость, затаенную печаль... Вот и стекаются все голоса, как речушки, в широко разлившуюся реку, неудержимо стремящуюся вперед, прокладывающую себе путь и отвоевывающую для своего русла все новые и новые пространства. Юркус стоит на стуле между

столами и яростными жестами едва сдерживает своих певцов; он и сам пунцовый, как розан, но не от пива — только два-три глотка хлебнул,— а от этого общего веселья, захватывающего каждого, у кого пылкое сердце и горячая до сумасбродства кровь.

Под горою ива,
колодец без дна,
там бродит тоскливо
девчонка одна...

Унте с восхищением смотрит, как летают во все стороны руки Юркуса, как трепыхаются его длинные рыжие волосы, как подпрыгивает на длинной шее в такт музыке голова. Не парень, огонь. Немножко помешан на этом своем светлом будущем, но в своем деле мастак... Вот смеху было бы, если бы он сейчас грохнулся со стула на пол...

Унте улыбается, представляя себе, как бы Юркус выглядел. И у Юркуса на губах играет улыбка («Браво, браво, самодеятельность! Хорошо тянут!»). Все хористы, облепившие столы третьего ряда, в расстегнутых рубахах, в испарине, пахнущие сытными яствами,— одна сплошная, негаснущая улыбка.

Стой, погоди, девица,
Дай скакуну водицы...

Юркус вдруг спрыгивает со стула, делает знак хористам, чтобы дальше пели, и бросается на сцену к пианино. И песня под его страстный аккомпанемент взлетает еще выше.

Холодна роса, а я боса,
отморожу ноги...

Унте кажется, что все взгляды обращены на него — до чего же красиво звучит его голос. Чтоб самому убедиться и другим показать, чего он, его голос, стоит, Унте замолкает, и песня на самом деле угасает. Сквозь толпу он не видит Юргиту, но как бы чувствует ее удивление («Смотри-ка, какой певун!»).

Песня замолкает, и долго еще гремят аплодисменты и одобрительные возгласы. Саулюс Юркус элегантно раскланивается, потом, охваченный вдохновением, машет рукой и просит певцов встать. Однако они не сразу понимают, чего он от них хочет, а когда наконец смекают и недружно встают — торжественность минуты упущена.

— Черепахи! — выговаривает им Юркус, возвращаясь на свое место.— Власти были в восторге, а вы...

— После песенки такой не мешало б по одной! — орет Унтин сосед, колотя его кулаком в бок.— Так, может, теперь не откажешься во двор?..

Унте пожимает плечами, всеми силами противясь искушению. Господи, каким легким он стал! Словно к каждой ляжке по воздушному шару привязали, и шары эти тянут его вверх. Что ни говори, но и пиво силу имеет! А ежели еще веселая песня!.. У Унте в груди не сердце, а пылающий факел...

— Ну, может... На сей раз... Так или иначе, но пузырь — не цистерна бензовоза...— хитро улыбается он, не чувствуя, как встает и перешагивает через скамейку.

Сосед за ним. И еще пара мужиков, смекнув, видно, в чем дело, пробирается к выходу. Чтоб песня лилась позвончей...

— Смотрите у меня, товарищи,— предупреждает Юркус, почуяв что-то неладное.— Это дело нашей чести. Неважно, что за столами сидим.

— Не опростоволосимся, не бойся! — заверяют те.

И на самом деле: возвращаются, и еще звончей льется песня. Унте выводит первым голосом, да так, что стоит ему выдержать паузу, и тишина в ушах аж звенит — все сосредоточенно, затаив дыхание, слушают, как он поет.

Лают гончие — значит,
мимо молодец скачет.
Все гляжу я в оконце —
мимо скачет и скачет,—

органно гудит в зале, и он не сразу взрывается аплодисментами и возгласами «ура», потому что, когда умолкают последние аккорды, у каждого в душе еще звучит пленительная песня, а кое у кого в глазах и слезы стоят.

Ляонас Бутгинас просит слова. Тост его короткий: за колхозных певцов, с которыми и работа спорится и горе — не горе. И, конечно, за своего друга Антанаса Гириниса, за его серебряное горло, как выразился один из телевизионщиков. Успехов тебе, Унте, во всех твоих делах!

Лицо у Унте полыхает как мак, перебрал пива, да и белой добавил. Столы упорно требуют, чтобы он сказал слово. О чем? О том, что самая красивая женщина здесь — Юргита, а у Стропуса рога? За рогатых! Унте тихо хихикает, ничего себе, веселенький тост. Ах, хорошо бы снова выйти во двор — бутылка соседа выпита еще не до дна... Но Стропус, подчиняясь воле гостей, стучит ножом о тарелку: слово имеет Антанас Гиринис...

Унте встает, поправляет галстук, передразнивая Стропуса. В голове пустота. По плану Юркуса еще не время для старинных песен, но чем, черт побери, откупишься от всех?

Стальная коса у меня,
косил клеверок я три дня.
Ура, коса, урааа! —

вдруг выталкивает память, и Унте, долго не раздумывая, затягивает.

Юркуса от ужаса даже пот прошиб. Подобрав полы пиджака, он бросается на сцену к пианино, но Унте, как говорят, неуправляем. Спев второй куплет, возвращается к первому, а закончив его, перескакивает к последнему. Не Юркус ему, как обычно, аккомпанирует, а он за собой Юркуса ведет.

Но успех огромный — всех покорила неукротимая мощь песни, ее завораживающая душевность и простота.

Унте спел одну песню, другую. Юркус сидит у пианино, опустив руки и разинув рот от удивления. И впрямь, на кой его аккомпанемент? Теперь уже все течет плавно, куплет за куплетом, слово за словом, даже самому Унте не верится. Но так оно на самом деле. Иначе зал после каждой песни не кричал бы: бис!

— В консерваторию бы его,— говорит Юргита.

— Да, дягимайский Норейка,— соглашается Стропус.

Даниелюс молчит, загадочно качает головой.

Юркус возвращается со сцены несолоно хлебавши. Врезал бы он Унте по первое число, но тот уже пробирается между столами к выходу.

У дверей стоит Юргита. Интересно, вышла подышать или для того, чтобы улыбнуться ему и пожать руку?

— Ты хорошо пел, Унте.

— Я? Да сначала я все спутал.

— Нет, нет, все очень хорошо получилось. Еще тебя надо с премией поздравить. Молодец!

— Ерунда! Не меня одного наградили.

— Скоро домой поедем. Может, вместе? Отец ждет...

Унте чувствует на себе пристальный, невеселый взгляд Юргиты и все понимает. Опустив глаза, ничего не видя, кроме ее черных лакированных туфелек и островочка пола вокруг них, Унте тихо говорит:

— Вы не бойтесь... Пока я не перебрал... Когда вы рядом, ничего дурного со мной не случится.

— Разве я тебе что-нибудь сказала?

И вдруг он вспоминает недавний сон... будто несет Юргиту на руках.

— Поеду... конечно, вместе поеду... Ведь отец один... И вообще...— растерянно шепчет он.

— Ваш Юркус музыкантов выстраивает. Сейчас выйдут танцоры.

— Выйдут...— не слыша своего голоса, повторяет Унте и смотрит на уходящую Юргиту.

Смотрит, забыв обо всем, пока она не исчезает в толпе. Как хорошо, что этой ночью он будет сидеть с ней в отцовском доме за одним столом. И утром за завтраком...

На плечо Унте опускается тяжелая рука. Сосед, не дождавшийся, когда Гиринис придет допивать бутылочку? Нет, Андрюс Стропус! Протягивает Унте правую руку (хотя сегодня уже и здоровались), кисло хвалит его песни и сетует, что нет Йонаса Гириниса: хотел, видишь ли, ветерана поблагодарить, пожелать ему доброго здоровья. Что ж, придется это сделать завтра или послезавтра, заехав к ним домой. Конечно, впечатление не то что на людях. Но когда такое внимание проявляет сам председатель, то это все-таки для человека уже кое-что...

Унте кивает головой, думая совсем о другом. Даже не замечает, как Стропус уходит.

Соседа с бутылкой и его дружков за углом не видно. Шут с ними! На «коней» посмотреть можно и не глотнув водки. Надо только зайти вон за ту белеющую неподалеку башню.

Унте идет, запрокинув голову к небу. Оно почти чистое, только кое-где дремлет облако. Звезды... На юго-западе в каких-нибудь двух вершках от земли розовеет серп месяца. Через неделю жди полнолуния. Но скоро, наверное, начнется слякоть, и нарадоваться на луну не успеешь. Ах, что за ночи нынче в ноябре!

Унте вдруг спохватывается, что не за башенку зашел, а за постамент Жгутасу-Жентулису, на который тот пока еще не взобрался. Извини, дружище, хоть тебя здесь и нет. Не сердись, утешайся тем, что будешь стоять в хорошем месте, коли черт ногу не подставит, и смотреть на новый Дом культуры, на котором Стропус чуть было крест не поставил. Наконец-то мы расшевелили этого производителя мяса — фундамент заложили. Спасибо за это и Даниелюсу — поддержал. Да, дружище, это будет не Дом, а настоящий храм, глаз не оторвешь. Так что ты уж не сердись, что я тут у тебя под носом...

Унте озирается и, прислушиваясь к музыке, доносящейся из зала, возвращается через площадь назад.

IX

Прикинув, что Унте и женщины, наверное, уже в зале, Йонас Гиринис принимается за сборы. Позавчера в бане был, так что исподнее менять нечего, а вот носки надобно новые надеть, шерстяные, ведь уже не лето, к тому же к ботинкам подходят, которые Даниелюс недавно в подарок привез. Брюки и пиджак старые сойдут, не на бал же собрался, раздеваться не придется. Нет, пиджак не наденет, лучше свитер, который Бируте связала («И когда она только, несчастная, успевает?»), а наверх куртку из искусственного меха, подарок Повиласа к юбилею... А вот шапку, отороченную мехом выдры,— по заказу Юстины. А карманные часы Юргита купила в Вильнюсе. Что ни надень или в карман ни сунь, как этот портсигар серебряный,— все ими, детьми, куплено, подарено, аж сердце щемит.

Йонас Гиринис уже оделся было, но заметил, что не брит,— три дня бритвой к бороде не прикасался, сам на себя не похож. Скинул часть верхней одежды и сел перед зеркалом. С Унтиной электрической было бы куда проще — ни намыливать, ни умываться, но старик никак не мог расстаться со старой бритвой, которая с молодости верно служила ему. Сточилась совсем, ею еще покойный отец скребся, но идет как по маслу. Сбрил кустики щетины, и усы вроде бы пышней, правда, и их чуть-чуть подстричь не мешает. Ну вот и порядок! Чуток укоротил — концы, может, и не такие острые, но зато вид молодецкий, безносая не узнает... К выбритому лицу, пожалуй, подошла бы крапчатая косыночка на шею, ее недавно Юргита привезла. Да неловко как-то, вещь-то женская, купи ее кто-нибудь другой, не Юргита, никогда бы не повязал, но все, что нравится невестке, все, что согрето ее ласковыми руками, дорого ему, поэтому и не отверг подарок, чтобы Юргиту не обидеть.

Вырядившись так, Йонас Гиринис взял из угла палку с головой черта вместо набалдашника (тоже подарок детей) и направился к двери. В сенях остановился, словно забыл что-то. Обулся ли он? Шапку взял? Портсигар набил, чтобы угостить кого, если встретит? Да, обулся, взял. Нет, ничего не забыл. Даже Юргитин подарок — косыночку на шею повязал. Ах, эта память на старости лет, все подводит да подводит... Успокоился, но все-таки из дому вышел в таком настроении, словно оставил что-то важное, то, чего по возвращении не найдешь и никогда не обретешь. В самом деле, откуда человеку знать, может, он последний раз переступа-

ет порог своего дома? Господь бог не укажет тебе ни дня твоего, ни часа, ни минуты, не ткнет перстом: «Стой, жалкий червь земной, тут конец твоего пути!» Может, и хорошо, что не укажет: утром продираешь глаза — жив еще, и этот день словно подарок; радуешься каждому мгновению, еще тебе принадлежащему, каждому шагу, каждому глотку воздуха, радуешься и не забываешь, что он, глоток тот, может быть последним. Как и взгляд, улыбка, слово на устах, живая мысль, которую скуют однажды ледяные пальцы смерти. Каждое мгновение ты должен быть готов распрощаться с жизнью. Поэтому все, что берет в тебе начало,— думы, поступки — должно быть без сучка и без задоринки: чистейший взгляд, светлейшая улыбка, добрейшее слово, полное мудрости и любви к людям, которые, может, и не были добры к тебе, но не скоро забудут, если прожил ты жизнь по совести и по велению сердца. «Этот человек не откладывал на завтра то, что можно и надо сделать сегодня,— скажут они.— Он не говорил: я завтра тому-то и тому-то скажу доброе слово, пристыжу негодяя, заглажу обиду, которую причинил не по злобе, а по недомыслию. Нет, он все сделал сегодня, ибо знал, что завтра может и не быть. Поэтому и не унес с собой свою доброту в могилу, а оставил ее людям; ушел в мир иной, осудив негодяя и воздав за зло, и не оставил после себя ничего, что запятнало бы имя его детей и его собственную светлую память. Да будет ему пухом земля Дягимай».

Уходя, старик глянул на свое отражение в зеркале, стоявшем в углу светелки. Нарядился как на свадьбу. А что, если взять да нагрянуть неожиданно на колхозный праздник! Стропус намедни вроде бы намекнул на то, что Йонас Гиринис, мол, своим приходом всем окажет честь. Мягче стал председатель, добрее к нему, старику, особенно после уборки сахарной свеклы. Даже по плечу его похлопал, на похвалу не поскупился, когда услышал, что он, Йонас Гиринис,— насколько, конечно, здоровье позволяет — хочет внести свою лепту в уборку урожая. А на другой день зашел в сарайчик, посмотрел, как идет дело, посидел за кувшином пива, нацеженного из начатой бочки. Оказывается, он не только председатель, но и человек, то-то... Нет-нет, не такой уж он вредный, этот Андрюс Стропус, его только надо раскусить. В конце концов, у каждого коня свой норов. Но на сей раз старик на торжество не пойдет, путь его лежит в другую сторону.

Почитай, с середины лета не бывал там и не верил, что когда-нибудь еще доведется. Но в последнее время все чаще

не давала покоя мысль: пойти и еще раз глянуть на трубы фабрики в Гедвайняй. И посмотреть не через щель в заборе, а войти через ворота и сунуть голову прямо в пасть закрытому за ними зверю. Может, и впрямь не так страшен черт, как его малюют, ежели сам Даниелюс его подкармливает? Наверное. Не станут же заниматься пустым делом сотни людей, да еще с помощью такой прорвы машин: от них за версту вонь, а шум такой, хоть уши затыкай. Ясное дело, если власти взялись за такую стройку, стало быть, есть в ней прок. То же самое и люди говорят, и Даниелюс объясняет — «неизбежная необходимость...». И вправду, во всем мире трубы дымят, и мир ничего, живет. Будет жить и Дягимай, не пропадет. Но вот только место ли здесь для фабрики? Место зверя в клетке — в городе, а не в полях, где веет святым хлебным духом и потом пахаря. Землице, на которой всходят колосья, нужна душа, людская любовь, а железо и бетон — для нее погибель. Нет-нет, не в Гедвайняй надо было этого зверя заарканить. И Даниелюс, видать, так думает, хоть и не говорит. И вот, пожалуйста, вторую неделю две трубы дымят. Да, сын мой: мудр ты и силен, но есть сила и мудрость побольше твоей...

Рассуждая так, Йонас Гиринис огородами, задворками выбрался на дорогу в Гедвайняй. По асфальтированной улице идти, конечно, и легче, и удобнее, но охота почувствовать под ногами живую землю, собирающуюся уснуть на зиму под обожженной заморозками травушкой, под жухлой, тлеющей листвой. Да, это не смерть, а только сон. Сон этих замерших полуголых деревьев, потрескивающих сухими сучьями, этой неживой травы, этого выросшего под березой муравейника, который торчит, как старая-старая могила. Пригреет весеннее солнышко, и снова все возродится, и жизнь начнет двигаться и ткать свой бесконечный пестрый ковер. Это только ты, человече, уж коли умрешь, то больше не воскреснешь. Душа? А кто ее видел? Вернулся ли хоть один оттуда и сказал, как там на самом деле? Нет! Ад и рай здесь же, на земле. За добрые дела — добрая награда, за дурные — дурная, как, скажем, Робертасу Марме и Гайлюсу. Господь бог справедлив. Иногда со стороны кажется, что и невинного он обижает, обрекает на незаслуженную кару. Но это только так кажется: все равно этот невинный что-то в своей жизни сделал не по земному и не по небесному закону, ибо от всевидящего ока ничего не утаишь, это только мы, смертные, многого не видим. Ведь это так, Повилас, сын мой? Ты там через всякие приборы на небо глядишь, не заметил ли

ты где-нибудь ангела пролетающего или черта, скачущего с вилами? Нет, нигде ничего.

— Но мир, отец, вечен.

— Какой мир? Земля?

— Земля, я, ты. Все живое не пропадает без следа.

— Даже скотина?

— Ни скотина, ни дерево, ни мотылек.Ничто не умирает, только приобретает другое обличье. И мы с тобой тоже, отец. Тела наши превратятся в прах, сольются с землей, земля в свою очередь... На наших костях взойдут злаки, расцветут цветы, вырастут города, а люди будут дышать воздухом, насыщенным атомами и наших останков. Может случиться, что на планете исчезнет всяческая жизнь, но планета все равно будет вращаться в пространстве, жить, а вместе с ней — и прах тех, кто был когда-то жив. Планеты и звезды тоже, отец, вечны. Они могут изменить свое положение, расколоться на две, три и больше, несколько могут соединиться в одну, но исчезнуть — никогда.

— Как и подаренная тобой куртка,— пошутил тогда Йонас Гиринис.

Повилас обнял его за плечи, по-мужски сжал и сказал, обласкав старое сердце:

— Рановато еще, отец, о смерти думать.

— Голова кругом идет, как подумаешь, что там нет ни конца ни краю,— дивился Йонас Гиринис. — Звезды, за ними еще звезды. Путешествуй себе миллионы лет, а все равно ни на какую стену не наткнешься. И когда же это сотворили? И кто сотворил? А может, эти бесконечные просторы и есть сам бог? Вездесущий, всевидящий? А человек, прах земной, только его частичка?

— Так ли уж важно, отец, как это назвать — богом, пространством или еще как-нибудь?

— Для меня — важно. Бог есть бог, и другого имени ему не придумаешь. Да и не надо!

Повилас только кивнул головой и больше ничего не сказал. А Йонас Гиринис и дальше один разматывал запутанный клубок мыслей, все более примиряясь с одной, кощунственной, что он — частичка бессмертного бога, благословленный волей всевышнего вечно летать в бесконечном просторе с умирающими и заново возрождающимися мирами. И до того у него было хорошо на душе, словно она вознеслась уже ввысь, оставила на земле все заботы вместе с этими угрюмо вздымающимися в небо трубами.

Повилас приезжал в самом начале лета, перед несчастьем, случившимся с Даниелюсом, но у старика в ушах до сих

пор звучал голос любимого сына, он чувствовал его спокойный взгляд, полный не только уважения и гордости за отца, но и мудрости.

Порой он останавливался, уязвленный какой-то мыслью, которая тут же рассыпалась, как червивый плод, и приглядывался ко всему вокруг — к каждому дереву, дому, просвечивающему сквозь ветки, траве под ногами, а ноги каждые десять шагов просили: присядь куда-нибудь, присядь. Все это он столько раз видел, знал до мельчайших подробностей, но потускневший взгляд все равно скользил по старым, давно исхоженным стежкам-дорожкам — не так ли в последний раз обнюхивает следы хозяина загнанный пес, предчувствующий свой конец?

Пока Йонас Гиринис выбрался на дорогу в Гедвайняй, прошло добрых полчаса. Вдали деревня — нынешний колхозный поселок — казалась чужой и грозной, словно сказочное чудище: тянется перед твоими, мелкая букашка, глазами на несколько верст. Поднимет голову, раскроет свою бездонную пасть — и нет тебя. Присев на край канавы, склонив голову, Йонас Гиринис прислушивался к грому доносящейся музыки, и в памяти одна за другой проносились картины прошлого: когда был молод и крепок, когда с соседями так весело затягивал, что в другой деревне парни не выдерживали и подхватывали песню.Да, были во время оно певуны. Не надо было им ни сцен, ни залов, музыка прямо под господней кровлей лилась. Только гармошка, скрипка и барабан, да иногда дудочка во рту озорника музыканта — и без всякого заказа, от всей души, ноги сами при первых звуках несли тебя к девке; а уж в субботу вечером как пускались в пляс на подметенном дворе — искры из-под башмаков летели! Умели люди веселиться. Говорят, трудное было время, но веселиться умели. Так и Мортяле, царство ей небесное, на этих танцах прилипла ко мне на всю жизнь... Не женщина была — огонь. Может, потому и сгорела до срока. И детям своим она огонька того подбросила. Унте даже, может, и с лихвой, но пусть пылает дитя, пока не настанет пора и не пригаснет. Послушать Повиласа, так звезды тоже горят, пока не гаснут и не превращаются в миры. Станет человеком и Унте.

Йонас Гиринис с грехом пополам встал, опираясь на палочку, и зашагал дальше. Звуки марша то были слышны, то затихали. Казалось, невидимые музыканты пробовали трубы, не отваживаясь грянуть во всю мощь и приберегая силы для встречи Йонаса Гириниса. Щебенка шуршала под

ногами, а они были тяжелыми, как будто их землей обложили, все время требовали передышки, но старик не поддался искушению: вечер на носу, а до фабрики еще топать и топать. На миг ему показалось странным желание посмотреть на фабрику вблизи и непременно сегодня. Разумнее всего вернуться назад, вот-вот солнце зайдет и придется домой ковылять в потемках. И вправду сдурел, старый! Глумился над собой, а все-таки шагал вперед, как будто его на веревке тянут. Все время перед глазами маячили трубы Гедвайняй; из двух в чистое небо уже валили черные клубы дыма. В воздухе уже не так пахло полями, все резче несло неприятным, непривычным для носа запахом. Йонас Гиринис вдыхал его, и ему чудилась огромная, раскаленная гора металла, заваленная плотным слоем мусора. Оттуда, с той горы, возвышавшейся где-то далеко-далеко, прямо на него по щебню шли трое мужчин. Только что большак вроде бы пустовал, и вдруг они! Словно из-под земли выросли. Призраки! Гиринис остановился и зажмурился. С минуту постоял, навалившись всем телом на палку, испуганно прислушиваясь, как кровь стучит в висках. Боялся открыть глаза, знал, что эта троица подходит все ближе и ближе. В серых шлемах, в серых комбинезонах и в такого же цвета резиновых сапогах. И лица их серые, словно покрытые дорожной пылью. И глаза серые, и губы, которые, кажется, вот-вот откроются, чтобы улыбнуться прохожему серой, ничего не значащей улыбкой. Их трое, но все они один — до того похожи! Как один ставят ноги, как один машут руками, смотрят прямо перед собой, словно не в состоянии повернуть серые окаменевшие шеи. У двоих в руках по бидончику (тоже одинаковому), а у третьего большой серый портфель (а может, саквояж?), набитый пустыми бутылками, которые они понесут назад из деревни полными...

Йонас Гиринис, боясь открыть глаза, стал поворачивать назад. Но чужие шаги уже раздавались рядом. Все громче, все грознее, словно гусеницы танка, преодолевающего преграду. «Неужто? Но что я им плохого сделал?» Старик снова обернулся и, выставив палку, медленно открыл глаза. Навстречу шел человек. Один. Никакой металлической троицы в сером не было. «Господи, да я, кажется, того?.. А так хотел умереть в полном уме, чтобы детей не осрамить и людей не насмешить!»

Подумал, что разумнее всего вернуться домой, но пожалел себя, ведь такой кусок отмахал. К тому же он не из тех, кто легко отказывается от своих затей.

— Здорово, дядя! — заговорил с ним человек, прибли-

зившись к нему настолько, что Йонас Гиринис, хоть и слаб глазами стал, узнал его.

— Здравствуй. Не Альбертас ли Гайлюс будешь?

— Он самый, дядя. А вы куда на ночь глядя? — Альбертас с любопытством оглядел старика с головы до пят. — Нарядились по-жениховски. Может, и впрямь на свадьбу?

— Не нарядился, а по-людски оделся. Положено. А ты что думаешь, я оборванец какой? — Йонас Гиринис тоже пытливо оглядел Альбертаса. Коротко остриженный, заросший щетиной, пришибленный. Да и неудивительно, ведь не с ярмарки возвращается. — Так что... отпустили?

— В мире покуда правда еще есть.

— Правда, говоришь? — Гиринис недоверчиво покосился на Альбертаса. — А кто на твое место сел? Нашли?

— Не нашли, но и я невиновен. Доказано. Виновных не отпускают, дядя.

— По-всякому, сынок, бывает, по-всякому... Но ежели не врешь... Может, присядем на край канавы? У меня хорошие сигареты. Подымишь. То-то... Ноги мои уже не те, что в юности... И глаза сдали. Порой одного за троих принимаю, как вот тебя, когда ты на дороге появился. Смерть на пятки наступает. Пора. Так, садись и говори. Отец твой был не ангел, но все-таки человек. Кто его убил?

— Знать бы...— Альбертас помолчал, пока не выцарапал из портсигара сигарету, прикурил и добавил: — Наверное, их чужаки порешили. Мало ли нынче всяких?

— Да, да,— кивнул головой Гиринис.— Так что, стало быть, чист? Нет на твоих руках отцовской крови? Невиновен?

Альбертас исподлобья глянул на Гириниса, и лицо его передернулось. Он выплюнул в сердцах сигарету и вскочил на ноги.

— И вы, дядя, со всеми заодно,— злобно прошипел.— Неужто у меня на роже написано, что я могу родного отца зарезать? Да провалитесь вы все!..

— Погоди, чего вспылил? Слишком молод, чтобы на меня, на старика, дуться.— Гиринис хватил палкой о то место, где только что сидел Альбертас.— Садись! Садись, говорят тебе, чертов сын! И не лезь в бутылку — мне запрещено волноваться. Сердце...

— А вы не оскорбляйте, дядя,— сказал Альбертас, и злость у него понемногу улеглась.— Все на меня, как псы, набрасываются. Не могу больше. Дорого я за свой язычок заплатил, дядя.

— Зачем же ты столько чесал им? Злое слово, как выстрел, попадет в человека — не встанет. Ежели не другого убьет, то тебя самого. Вот тебе и досталось.— Йонас Гиринис помолчал, о чем-то подумал и снова протянул портсигар Альбертасу, который послушно сел рядом с ним.— А Робертаса Мармы нет. Слыхал? Покарал его господь.

— Как только вышел в Епушотасе из кутузки, так сразу и узнал.— Прикрыв ладонями от ветра горящую спичку, Альбертас закурил.— Да и Живиле — отродье дьявола. Хорошо, что я ей еще до того пинок в зад...

— А кто ее такой сделал?— посуровел Гиринис.— Мужики! Такие жеребцы, такая шваль, как ты.

— Э, давайте лучше, дядя, не будем. Как говорится, ежели сучка не захочет, то и кобель... Короче говоря, порядочную никакими пирогами на такой путь не заманишь. Своей головой думать надо.

— А ты думаешь?

— Думаю. Есть о чем, дядя. По-вашему, я что — глух и слеп, жизни вокруг не вижу?

— Прозрел, что ли?

— Да я слепым никогда и не был, а уж нынче...

— Был, право слово, был, только из спеси не хочешь признаться.

— Вижу, все вижу, дядя.

— Если видишь, то гляди во все глаза. И все в сердце откладывай, не рядом, а в сердце. Может, будешь человеком. Ты еще можешь. У тебя еще время есть.

Альбертас ничего не ответил. Только жадно сосал сигарету, изредка задыхаясь от дыма, вздыхал, сплевывал, низко опустив голову. Молчал и Йонас Гиринис. Помрачневший, суровый, вперивший тусклый взгляд в опустевшие равнины, над которыми уже гасли последние лучи солнца.

— Давно я не видел в ноябре такого красивого заката,— произнес он, словно говорил сам с собой.— Солнце ярко-красное, чистое, как росой умытое. По краям неба облака несутся, но оно не в облако село, а словно прошло через какие-то ворота и скрылось в земле. Не одно прекрасное мгновенье даровано человеку богом, а человек что ему за это? Нехорошие мы, Альбертас...

— Чтобы я своих родителей...— вдруг зарыдал Альбертас.— Унте, тот ни за что бы не поверил! Ни за что!

Йонас Гиринис подождал, пока Альбертас успокоит-

ся, потом медленно повернулся и положил ему руку на плечо.

— Зачем Унте? И я не поверил. Я тебе верю, Альбертас, сынок мой.— Голос Гириниса дрогнул; костлявое лицо помолодело, осветилось каким-то невыразимым светом, какой обычно излучает переполненная счастьем душа.— А тогда вместе со всеми я думал: погубил своих родителей и сам голову в петлю сунул. По ночам вы мне мерещились, все Гайлюсы. Думал, светопреставление, если такое на земле деется. А выходит — ошибся. Все мы, слава богу, ошиблись. Ты для меня как будто из мертвых воскрес. Как блудный сын, вернувшийся к отцу. Счастливый день. Может, потому и ноябрьское солнце так красиво село, и вечер такой приятный, и музыку так далеко слышно. По меньшей мере в трех верстах отсюда гремит, а кажется, тут же, под окнами светелки, играет. Слышишь?

— Слышу, дядя.— Альбертас помолчал, прислушался, но ничего не услышал.— И впрямь, как будто под окнами светелки...— бросил Гайлюс-младший, беспокойно глянул на Гириниса и добавил: — Может, домой, дядя? Вместе. Веселее будет.

Йонас Гиринис оперся на палку и попробовал встать.

— Нет. Домой еще не пойду. Ты иди. Тебе пора. Как раз на самое веселье угодишь, а я послоняюсь один. Охота взяла. Старому иногда лучше побыть одному. Ежели что, то я прожектор с собой прихватил. Темноты не боюсь. А ты ступай, сынок, веселись с другими. Тебе положено.

Поднялся и Альбертас.

— Со всеми? Чтоб они на меня как на дикого зверя, которого из клетки?.. Ни за что! Вот к вам, когда вернетесь, я бы зашел... Как подумаешь, что мне одному в пустом доме делать, страх берет. Лучше куда глаза глядят...

— А что там хорошего — на чужбине?— Йонас Гиринис неодобрительно замотал головой.— Прошлое все равно будет плестись следом за тобой, как навозная веревка. Каким грязным был, таким и останешься. Разве важно, что о тебе другие ничего не будут знать? Ведь ты, сынок, не барсук, головой в землю не зароешься, от самого себя не спрячешься. Если бог явил тебе свою милость и ты остался невинным, то старайся и дальше прожить как человек. И не норови бежать от тех, кто тебя в грош не ставил, а попытайся заслужить их благосклонность и уважение, пристыдив их добрыми делами. Чтобы люди, глядя на тебя, говорили: «Вот это да! Таких в роду Гайлюсов еще не было».

— Не знаю, дядя...— пробормотал Альбертас.

— Чего не знаешь?— насторожился Гиринис.

— Так ведь, если б не те, я, может, сам отца... своими руками... Иногда казалось — могу...

— Хорошо, что ты это сам понимаешь. Ступай. Ступай и думай, как начать жизнь сначала. Иди, иди, мой сын.

Альбертас постоял, посмотрел на Гириниса, который неровными старческими шажками семенил по обочине. Потом Гайлюс-младший вдруг повернулся, словно разозлившись, и зашагал дальше к деревне.

А Йонас Гиринис шел своей дорогой. Он улыбался и ласкал взглядом каждый придорожный куст, каждую вспорхнувшую оттуда пичугу, просил прощения у каждого камешка, нечаянно задетого ногой,— хотелось его поднять и погладить, как живую тварь,— так хорошо стало на душе Гириниса, столько любви накопилось в его сердце после встречи с Альбертасом, словно он сам, старик, вышел из тюрьмы, куда невинно был упрятан к своему стыду и к ужасу соседей, и нынче шагал по свету, как победитель зла, под приветственные слова соседей, запрудивших обочины. Невиновен! Невиновен! Невиновен! Сверкающими по-юношески глазами смотрел он на маячившие напротив трубы фабрики, которые, казалось, настолько приблизились, что их можно было руками потрогать, а эти каменные корпуса, вздымавшиеся за высоким забором, уже не внушали ни страха, ни опаски. Через широкие металлические ворота выползали грузовики, груженные какими-то ящиками, а туда вползали другие — со стройматериалами, потому что строительные работы не были еще закончены. Но фабрика уже дышала неокрепшими легкими новорожденного. Издали до Гириниса доносились неслыханный машинный грохот, сердитые окрики, которыми люди укрощали рассвирепевшего зверя. Оглушенный все усиливающимся грохотом, старик закрыл руками уши, но грохот был сильней его. Палка выскользнула из рук старика и упала с таким треском, словно фабричная труба рухнула. «Это во мне... все во мне...» — мелькнуло у него, и в тот же миг старик Гиринис почувствовал, как земля качнулась под ногами и густеющие вечерние сумерки заслонили своим черным крылом небо. Потом это крыло, расколотое вспышкой ослепительного света, расступилось. Но ненадолго, на долю секунды, а может, и меньше. Однако Йонасу Гиринису хватило и ее, как всегда хватало времени для того, чтобы уладить свои дела. Он протянул руку к вспыхнувшей молнии — застывшему мгновению вечности, за которым начи-

налась Бессмертная Вселенная Повиласа, и прошептал, скликая всех и зная, что голос его будет услышан:

— Придите! Будьте со мной, дети мои...

И тотчас увидел Унте. Прежде всего Унте, это запутавшееся в соплях и потому самое милое свое чадо.

Следом за ним плелась Бируте в окружении ватаги своих птенцов, бедняга, несчастная, хоть и отмеченная орденом материнства. «Господи всемогущий, будь милосердным, воздай ей за все горести на земле сей...»

А за ней Повилас, гордо откинув свою мудрую голову, знаток вечных созвездий, который в детстве был таким добрым и ласковым, а когда вырос, наведывался к отцу раз в три года.

К Повиласу жался Даниелюс, а за руку Даниелюса ухватилась Юстина, эта вечная старая дева, эта добродушная брюзга, у которой от всех душевных напастей была только одна защита — работа и работа...За ее спиной старик Гиринис увидел Салюте с двумя детьми, а рядом с ней Юргиту, держащую за руку маленького Лютауараса, который беспокойно топтался на месте и что-то кричал деду.

Потом на мгновение (а может, это длилось только миллионную долю мгновения) все исчезло, и взгляду открылось другое — необъятные просторы звездного неба, из которых, как из внезапно раскрытого зимней ночью окна, повеяло холодом. Старик Гиринис слезящимися глазами глядел на вспыхивающий несметным количеством звезд простор, рассеченный широкой светлой полосой, которую Повилас величал Небесной Рекой, и с пронзительной ясностью вспомнил, о чем ему рассказывал сын. Йонас Гиринис увидел своего отца, этого кающегося скитальца, уходившего в страду куда глаза глядят, и рядом с ним себя, маленького мальчика в сыромятных лаптях... Оба стояли, задрав головы, и прислушивались к гоготанию гусей в поднебесье, тянувшихся острым клином на юго-запад, чтобы по весне вернуться на родину. А над тающими в той дали клиньями светила белесая, в звездной пыли, лента Небесной Реки, которую литовцы издревле называли Тропою Птиц, потому что пернатые по ней улетали в теплые страны. Отец это знал, он был мудрым человеком, хотя иногда и превращался в скитальца. Он знал не меньше, чем Повилас. По-своему, но знал. И говаривал, взяв за руку Йонаса Гириниса, маленького мальчика в сыромятных лаптях: «Воспарим же, пострел, ввысь! Каждый хранит в себе птицу. Давай же оседлаем ее — и ввысь!»

И Йонас Гиринис почувствовал, как становится невесомым, как под ноги ему ложится мерцающая лента звезд, а по обе ее стороны — поля пшеницы, и воздух звенит над ней от птичьего щебета, и не охватишь простор взглядом.

Он снова увидел перед глазами своих детей и внуков, весь род Гиринисов, тех, кто родился, и тех, кто еще родится. И было хорошо ему оттого, что у каждого из них своя птица, поднимающая их на своих могучих крыльях над землей, что каждому из них светит какое-нибудь созвездие — воплощенное бессмертие.

Подойдите, дети. И ты, Даниелюс, хотя когда-то до боли обидел меня. И ты, Альбертас, сирота горемычный. Подойдите все. Я хочу сказать вам... сказать... Пока не погас еще этот свет, длящийся мгновение — — —

1980 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. УНТЕ 3
Часть вторая. СТАРШИЙ БРАТ 61
Часть третья. ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ, ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ 121
Часть четвертая. ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ 193
Часть пятая. ТОСКА ПО ТЕНЯМ 250
Часть шестая. СОЛНЦЕ СКВОЗЬ ТУМАН 343
Часть седьмая. ОТЕЦ 392

Авижюс Й.

А 20 Дягимай: Роман. Пер. с литов.— М.: Советский писатель, 1987.— 472 с.

Роман известного литовского прозаика, лауреата Ленинской премии Йонаса Авижюса посвящен современной литовской деревне. В нем на фоне событий, происходящих в деревне Дягимай, рассматриваются сложные задачи современности, уклад жизни литовского села, проблемы и перспективы его развития. Основное внимание автор уделяет духовному миру своих героев. В 1982 году роман «Дягимай» удостоился приза Общества книголюбов и Госкомитета по делам печати и полиграфии Литовской ССР как самая популярная книга года.

А $\frac{4702360200-295}{083(02)-87}$ 323—87 ББК 84. Ли 7

Йонас Казимирович Авижюс

ДЯГИМАЙ

Редактор И. А. Сергеева
Худож. редактор А. С. Томилин
Техн. редактор Г. В. Мисюль
Корректор Л. А. Розыбакиева

ИБ № 6169

Сдано в набор 18.12.86. Подписано к печати 2.09.87. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Обыкновенная новая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 24,78. Уч.-изд. л. 26,87. Доп. тираж 100 000 экз. Заказ № 1228. Цена 2 р. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

2p.